# Борис ЗАЙЦЕВ

БИБЛИОТЕКА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

# ДАЛЕКОЕ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

В книгу Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) – первого председателя Всероссийского союза писателей, отправленного в 1922 году в добровольно-принудительное изгнание, вошла часть его огромного творческого наследия, в частности мемуарно-биографическая проза. Это написанные в присущей ему поэтической манере беллетризованные биографии «Жуковский», «Жизнь Тургенева», «Чехов», а также мемуарные произведения «Москва» и «Далекое».


- Борис Константинович Зайцев
  - 
  - Жуковский
    - Мишенское и Тула
    - Университетский пансион
    - Поэт
    - С Протасовыми
    - Деятель
    - Снова Протасовы
    - Воейков и Жуковский
    - Дерпт – Петербург
    - При дворе
    - Милые сердцу
    - Горе
    - Новые судьбы
    - Светлана
    - Наставник
    - Прощание с Россией
    - Елизавета Рейтерн
    - Семья, Гоголь, «Одиссея»
    - «Его душа возвысилась до строю…»
  - Жизнь Тургенева
    - Колыбель
    - Отрок и юноша
    - Чужие края
    - В России
    - Виардо
    - Франция
    - Дела домашние
    - Ссылка и воля
    - Сумрак
    - Шестидесятые годы

- Баден
- Катастрофа
- Париж
- Буживаль
- Слава
- Савина
- Судьба

- Чехов
  - Даль времен
  - Труба
  - «Доктор Чехов»
  - Рост, первая слава
  - В пути
  - Сахалин
  - «Отдых»
  - Первый год Мелихова
  - Лика, «Чайка»
  - Вновь Мелихово
  - Художественный театр
  - Ялта
  - О любви – Книппер
  - «Архиерей»
  - Последнее путешествие
- Добавления и заметки
  - К главе «Даль времен»
  - К главе «Доктор Чехов»
  - К главе «Вновь Мелихово»
  - К главе «Ялта»
  - К главе «О любви»
  - К главе «Архиерей»
- Москва. Главы из книги
  - «Мы, военные…» (Записки «шляпы»)
    - I
    - II
    - III
    - IV
  - Офицеры (1917)
    - I
    - II
    - III
  - Москва 20–21 гг.
    - Studio Italiano
    - Паек
    - Интермеццо

        - Эклер при Нэпе
        - Федериго да Монтефельтро
    - М.О. Гершензон
    - «Веселые дни» 1921 г.
        - Лавка
        - Развлечение
        - «Дело»
        - Coup d’etat (Крутая мера)
        - Путешествие
        - Ночь
        - «Что день грядущий мне готовит»
        - Звезды
        - Сидим
        - Москва
        - Чтения
    - Революционная пшеница
    - Пасть львина
    - Прощание с Москвой
  - Далекое. Главы из книги
    - Побежденный
    - Андрей Белый
    - Бальмонт
    - Вячеслав Иванов
    - Бердяев
    - Пастернак в революции
    - Другие и Марина Цветаева
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80

# Борис Константинович Зайцев
# Далекое

© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru

# Жуковский

# Мишенское и Тула

Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит она прямо на север, к Калуге. Там возрастает Угрой. Медленно, неустанно пронизывает извивами зеркальными Русь чрез Рязань до Волги – светлая душа страны.

На полпути между Орлом и Калугою протекает через уездный городок Белев. Он небогат, незнатен. Чем ему похвалиться? Собором, острогом, убогой гостиницей да садами над Окой, с яблонями и вишнями?

Ничего выдающегося, но хороший край, Окою украшенный. Как бы перепутье между лесами Брянска, Полесьем и хлебно-степными просторами за Орлом, к Ельцу. Ни леса, ни степи. В меру полей, перелесков, лугов, деревень, барских усадеб. Ничего дикого и первобытного. В необъятной России как бы область известной гармонии – те места Подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла.

А всего в трех верстах от Белева, в том же соседстве Оки неторопливо-прозрачной, село Мишенское, в конце XVIII века принадлежавшее Афанасию Ивановичу Бунину, одно из многих его поместий. Все здесь широкого размаха: огромный дом с флигелями, оранжереи, пруды, парк, роща дубовая. Недалеко сельская церковь – как бы своя. Речушка, конечно, в Оку впадающая, вид на далекие пышные луга. Просторная, бессвязная, во многом бестолковая помещичья жизнь.

Сам Афанасий Иванович человек добрый и благородный, ничего в нем сурового, несмотря на суровое крепостное время. Конечно, все довольно просто: охота, водочка, развлечения деревенские. И слабость явная – по женской части.

Он женат на Марии Григорьевне Безобразовой. Нередкое вообще в русской жизни сочетание, в те времена особенно: мужа неплохого, но распущенного, и женщины, несущей бремя покорно и безответно, «подымающей» дух дома.

Одиннадцать раз рожала Марья Григорьевна, шесть раз, за короткое время, пережила горе смерти детей, среди них единственного сына, уже студента Лейпцигского университета. Но остались четыре дочери, в Мишенском и возраставшие: Авдотья, Наталия, Варвара и Екатерина.

Женская половина, конечно, и более просвещенна, и духовно культурнее: без арапников и доезжачих, пейзанок и водочки. Дочерей ведет Марья Григорьевна в религиозном духе и в духе литературной образованности. Сама читает много, но лишь

русские альманахи и журналы (какие названия! «Приятное и полезное препровождение времени», «Распускающийся цветок», «Иппокрена, или Утехи любословия»). Девицы же насыщаются и французским: «Новая Элоиза» Руссо, «Адель и Теодора» г-жи Жанлис, и в подобном роде – чувствительное и романтическое. Все с детства хорошо говорят по-французски, дом полон гувернанток и учителей. Доносятся иногда звуки и крепостничества – то рекрутский набор, то продажа людей, а то, может, и наказание. Но в те времена все это уживалось. Впрочем, дом Буниных совсем не был суровым. Скорее мирный дом.

Разумеется, сохранились и черты древние: приживалки, бедные родственники, даже домашний шут был у Афанасия Иваныча, Варлашка, – смешил во время обеда.

Жил у них в доме небогатый дворянин из Украины, полудруг, полуслужащий, полуприживал Андрей Григорьевич Жуковский. Скромный человек, богобоязненный, хорошо играл на скрипке, аккомпанировал одной из дочерей, Варваре Афанасьевне, игравшей на фортепиано и «изрядно» певшей. Был и «управителем» богослужебного пения в доме и церкви. Этот Андрей Григорьевич оказался не зря в доме Буниных. Да и русской литературе принес смиренный дар свой.

В 1770 году Марья Григорьевна родила младшую дочь Екатерину, а в следующем рекруты уходили из Мишенского на войну с турками. Одному из них сказал на прощанье Афанасий Иваныч полу в шутку: «Вот, идешь воевать, турок бить – ты бы мне турчанку с войны привез, да помоложе».

Война оказалась удачная. Все, что надо было, забрали, что надо – сожгли и разграбили. Взяли город Бендеры. Народу при этом перебили достаточно, и воитель из Мишенского ухитрился захватить в плен не одну, а двух турчанок, сестер, вовсе молоденьких: на глазах старшей, Сальхи, – а было ей всего шестнадцать лет, – убили ее мужа. Фатьме, младшей, едва исполнилось одиннадцать. Воитель сам был собственностью Афанасия Иваныча; турчанки – собственность воителя. Но, возвратившись в Мишенское с награбленным, турчанок передал он Афанасию Иванычу. Может быть, тот велел поднести ему чарку водки.

Так в Мишенском появилась Турция. Грабителям предстала она в облике очаровательном и трогательном: Сальхи, молодой вдовы – «прекрасной, ловкой, кроткой, добронравной», и бедной девочки Фатьмы, захиревшей и скоро умершей: Бог знает, что испытала она на войне и в плену.

Сальха же выжила. Ее сделали няней младших дочерей Бунина, Варвары и Екатерины. Ее странная звезда медленно

начала подыматься. Умерла прежняя домоправительница, Сальха заняла ее место – русские девушки-госпожи обучили ее русскому языку. Она поселилась отдельно, во флигеле сбоку.

Не в характере Афанасия Иваныча было бы пропустить такую Сальху. Нравился он ей или не нравился, нам неизвестно. Может быть, что и нравился. Все равно, если бы и нет, пленница безответна и беззащитна. Но безответной привыкла она быть и на родине, в Бендерах своих, как и все женщины ее народа. Она стала ему близка. Можно думать, что просто даже он полюбил эту милую, молодую, прелестную Сальху. Во всяком случае, так она сделалась ему необходима, что и сам он к ней переехал во флигель.

Времена были не такие, чтобы Марья Григорьевна могла от него уйти. Ей оставалось терпеть. Она и терпела. Сопротивляться могла лишь отчуждением от мужа и холодом, отделением своих детей от отцовского мира. Варе и Кате запретили бывать во флигеле. Сальха появлялась в большом доме только по вызову, принимая хозяйственные распоряжения. Так что жизнь ее, тихая и покорная, полная труда и порядка, шла в этом флигеле незаметно, так бы незаметно и прошла, если бы…

Одна за другой появлялись у ней девочки, ненадолго, и умирали. Их было три. Безвестно родились, ушли безвестно. Но вот 29 января 1783 года явился на свет Божий мальчик. Этот не умер.

Очевидно, по просьбе самого Бунина, Андрей Григорьевич Жуковский, в то время в доме у них уже не живший, явился через два дня после рождения младенца к Марье Григорьевне для переговоров: хотел быть восприемником турецкого мальчика, крестной же матерью предлагал Варю Бунину – ей тогда минуло пятнадцать.

Не так легко было согласиться, но Марья Григорьевна согласилась. И выиграла. Добром, прощением взяла. Жизнь ее была нелегка. Она знала, что такое горе. Последнее ею испытанное была смерть единственного сына, студента в Лейпциге. Теперь посылался ей новый сын, плод «греха» и обиды. Каков будет он, разумеется, не могла себе и представить. Но вот зов услыхала. Маленький, новый, полупленный беззащитный человечек… Сердце ее дрогнуло и открылось. «Безмолвно усыновила она его в своей душе».

Так все и вышло. Андрей Григорьевич и Варя крестили его. Имя ему нарекли Василий, по-гречески царь. Но по-русски звучит мягко, скорей женственно.

Младенца, явившегося на свет от союза барина русского со смиренной турчанкой, записали: Жуковский. Василий Андреич

Жуковский.

* * *

Мальчик явился в семью знаком мира. Полюбив его, Марья Григорьевна вполне приняла положение. Афанасий Иваныч вернулся в большой дом. Отношения их стали лучше – над чем-то поставлен крест. К Сальхе же Марья Григорьевна и вообще благоволила: подкупал и характер турчанки, и то, что она ведь неправославная, в Турции там у них всюду гаремы, сошлась не по своей воле, покорность и кротость проявляла полнейшую. Теперь же, когда хозяйка дома приняла сына ее как родного и повела его наравне с собственными детьми, у Сальхи к Марье Григорьевне отношение стало прямо благоговейное. Сальхою, впрочем, она перестала быть: ее окрестили тоже, имя дали Елизавета Дементьевна. Она обратилась просто в ключницу Буниных.

Сыну этой Елизаветы Дементьевны было два года, когда крестная его, Варя Бунина, вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова и переехала в Тулу. Там родилась у ней, несколько преждевременно, дочь Анна, девочка слабенькая, едва живая. Ее взяла бабушка Марья Григорьевна в Мишенское. Она оказалась первой подругою детства Васи Жуковского, его «одноколыбельницей», как он потом выражался (маленьким он ложился иногда к ней в кроватку, когда она плакала, и успокаивал ее). Другая подруга была Маша Вельяминова, дочь Наталии Афанасьевны Буниной, вышедшей замуж за Вельяминова.

Так среди девочек, в тишине и раздолии барской России, под благословением Оки, начал свою жизнь мальчик Жуковский. Был он характером жив и весел, лицо нежное, темные глаза, темные, хорошо вившиеся от природы волосы, ранняя склонность к мечтательности (несколько и рассеян) – светлое дитя, вызывающее расположение. Царственный оттенок имени его имел характер мирный и возвышенный.

Выясниться это могло лишь позже. Про эти же младенческие годы его можно сказать, что они шли в воздухе мягкой женственности.

Но вот появляется и «мужественное», тоже довольно рано, в облике непривлекательном. Первый его учитель, немецкого происхождения, но из Москвы, из портняжного заведения, учит его грамоте. Мальчику шесть лет. Учится он неохотно. Учитель сердится, ставит его на колени (на горох), пускает в ход даже розги. Но Жуковский счастливее в этом Ивана Тургенева, столько

в детстве терпевшего от собственной матери: духу Мишенского жестокость несвойственна. И Марья Григорьевна и крестный Жуковский вынести такого обращения с мальчиком не могли. Коль скоро приехал, так же незамедлительно и отослан Яким Иваныч в портняжную свою мастерскую на Балчуге или в Хамовниках.

Андрей Григорьевич пробует сам учить крестника. Нельзя сказать тоже, чтобы удачно. Голова ученика занята другим. Вместо дела рисует он на стене фигуры – с ранних лет в нем сидела страсть к рисованию, прошла через всю жизнь. Вот однажды увидел он в комнате Елизаветы Дементьевны икону Божией Матери Боголюбской. Никого вокруг не было. Он ее срисовал мелом на полу и, по-видимому, удачно. Сам ушел. А когда горничные явились, то были поражены; крестясь, с молитвою побежали сообщить православной турчанке о чуде. Она спокойно все объяснила – у мальчика руки испачканы были мелом.

Андрей Григорьевич очень его полюбил. Очевидно, что обращался не так, как Яким Иваныч. Близость была большая – есть глухое упоминание, что одно время крестник жил даже с ним, отдельно от семьи, «на чердаке во флигеле». Почему вышло это – неясно. А как будто показывает, что не совсем естественно было положение мальчика в семье. Да иначе и быть не могло.

В дальнейшем не видно Андрея Григорьича. Незаметно, бесшумно ушел он из жизни крестника. След же, конечно, оставил (благотворный).

А вокруг произошли некоторые перемены. Афанасий Иваныч получил место в Туле. Туда переехали всей семьей. Мишенское осталось для лета. На учении мальчика это отозвалось тем, что его отдали в Туле в пансион Роде, полупансионером. Учился он там неудачно.

Крупнейшим же событием этого времени оказалась для него смерть Афанасия Иваныча, в марте 1791 года. Не то чтобы любил он его или был близок. Скорее обратно – далек, да и неясно восьмилетнему мальчику, кто это, барин не барин, отец не отец – некое неопределенно-высшее существо. Но это была первая встреча со смертью. Встреча торжественная. Духовенство и ризы, погребальные свечи, церковное пение, траур, могила в часовне, стоявшей на месте старой церкви (похоронили в Мишенском, где тогда и жили – весну и лето). А затем постоянные службы заупокойные, куда ежедневно ходил он с «бабушкой» и полуплемянницей, «одноколыбельницей» Аней Юшковой. Церковь сельская чуть не через дорогу (позже он сам и нарисовал ее, рисунок сохранился). Этот храм – первое пристанище души

его, начало длинного и не без сложностей духовного пути. А натура видна с первых лет. Ему нравился нежный херувим на царских вратах. После Херувимской, когда врата затворяются, подходил он к ним и целовал херувима в обе щеки. Аня достать не могла – он ее подымал и прикладывал.

Но не вечно же серьезное и возвышенное. Он ребенок живой, веселый, вокруг него девочки – кроме Ани Дуня и Маша, Катя Юшковы, сестры Вельяминовы, еще разные по соседству. Жизнь для них в Мишенском очень привольная, много игр и забав. Есть даже и военные, где он командует: ставит сверстниц во фронт, заставляет брать укрепления, сажает под арест (между кресел). Они живут очень дружно со своим «дядюшкой», который им довольно странно приходится как бы свой, но и сын турчанки, обратившейся в Елизавету Дементьевну, скромно позвякивающую ключами.

Года два продолжается для него так: летом Мишенское, на зиму опять переезжают в Тулу, опять пансион Роде, теперь уже полный, домой только в субботу.

Но затем и его, и Аню совсем поселяют в тульском доме Юшковых, Марья же Григорьевна остается с частию внучек и Елизаветой Дементьевной в Мишенском.

* * *

Варвара Афанасьевна Юшкова, «крестная», была милая, образованная женщина, умница и натура поэтическая. Любила и музыку – музыка еще в Мишенском процветала, при Андрее Григорьиче Жуковском со скрипкою его и хоровым пением.

В Туле размах оказался шире. Варвара Афанасьевна занялась даже городским театром, вводя там усовершенствования, а у себя устраивала литературно-музыкальные вечера.

Литература в доме ее почиталась, и сама она была направления передового – сентиментализм только еще появился. На вечерах ее читали новые произведения Карамзина, Дмитриева и других того же духа. Интересовалась она и текущей литературой альманахов, журналов.

Крестник учился уже не в пансионе Роде, закрывшемся, а в народном тульском училище.

Старший учитель училища этого, Феофилакт Покровский, человек образованный, сам немного писавший (сотрудничал в «Полезном и приятном препровождении времени» под псевдонимом «Философ горы Алаунской»), не приручил мальчика к науке и вообще его не понял. «Я помню, – писал старый

Жуковский старой Анне Петровне Зонтаг, бывшей Ане Юшковой, – как он запретил мне ходить в училище, но совсем не помню, что было причиною его ко мне неприязни».

Особенного, разумеется, ничего не могло быть. Просто был он ребенок своеобразный, со своими вкусами. А ему вдалбливали нелюбимое (например, математику). Заинтересовать не умели, ничего не вышло, училище пришлось бросить.

Но у Юшковых достаточно было гувернанток и учителей. Французский язык знал он с раннего детства, немецкому учился теперь дома, да еще и многому другому.

Главное же, что было в доме Варвары Афанасьевны, это дух культуры и уважения к искусству. Это скорее доходило до турецкого мальчика, чем математика философа Алаунского. Доходило и что-то в нем возбуждало. Возбуждение с ранних лет рвалось выразиться. Зимой 1795 года крестнику было всего двенадцать лет. Очевидно, он уже много читал и недетского – сочинил, например, подражая, пьесу «Камилл, или Освобожденный Рим», которую и поставил сам к приезду Марьи Григорьевны в гости из Мишенского.

Занятие замечательное. Сам он и автор, режиссер, актер – играет Камилла. Девочки в белых рубашках, с шарфами, лентами, изображают сенаторов в тогах. Место представления – столовая дома Юшковых. Сцена освещена церковными свечками, горят также плошечки из скорлупы грецких орехов с налитым туда воском. Занавес – простыня. Кулисы и декорации – мебель из других комнат. В первом ряду зрителей бабушка Марья Григорьевна, гость почетный, в чепце с лентами. А с непочетных берут при входе по гривеннику на расходы.

Героиню, Олимпию, играла довольно полная тульская девица в белой рубашке поверх розового платья. Красная шаль на голове изображала порфиру. Это была какая-нибудь миловидная и здоровая Anastasie или Eudoxie соседней семьи дворянской, но тут обращалась в царицу. Камилл перед собранием сенаторов дает отчет о своей победе. Приводят Олимпию, раненую, с распущенными волосами. «Познай во мне, – говорит она, – Олимпию, Ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму!» «О боги, Олимпия, что сделала ты?» – восклицает Камилл. «За Рим вкусила смерть!» И Anastasie падает мертвая.

Так прославили в Туле Рим. Пьеса имела успех шумный. Автор и актеры в восторге. Автор – как и многие молодые авторы, – сорвав успех в одной пьесе, решает написать другую. Насколько же это интереснее, чем зубрить правила арифметики философа горы Алаунской!

Выбирается произведение еще более подходящее (по духу

чувствительности): простодушный, идиллический роман Бернардера де С. Пьера «Павел и Виргиния». Драматург двенадцатилетний выкроил из него пьесу «Г-жа де ла Тур». Теперь уж он опытный режиссер, труппа у него закаленная, он гораздо увереннее и крепче. Но театр вещь коварная. Не все знаешь заранее, подымая занавес, – оттого столь и суеверны актеры.

Все вышло не так, как ждали. Возможно, что исполнители не совсем поняли роли и сплоховали в игре. Но решил дело случай, непредусмотренный.

На сцену явился десерт, изображавший завтрак действующих лиц. Перестаралась ли Варвара Афанасьевна – был ли десерт слишком вкусен, обилен? Слишком ли проголодались все эти Анеты, Машеньки, Anastasies? Летописец сообщает кратко: «Актеры вышли из ролей, и представление расстроилось», – разумеется, к ужасу будущего романтика занялись больше десертом, чем искусством. И насколько «Камилл» прошумел, настолько провалилась «Г-жа де ла Тур». Автор был очень недоволен. Зейдлиц, первый его биограф, трогательный и верный друг, считает, что неуспех этот на домашнем спектакле, казалось бы пустяковый, оставил след в сердце автора навсегда: робость некоторую, неуверенность в селе. С этого раза он всегда отдает сочинения свои сперва на суд сверстниц-девушек («девический ареопаг», будто бы повлиявший даже на общий склад поэзии его), а потом на суд друзей-профессионалов. Во всяком случае, опыт с неудачей был ранний. Разумеется, и плодотворный.

* * *

Может быть, частию плодотворно было и странное положение его в семье. Пусть наравне с девочками воспитывается и учится, и любит его Марья Григорьевна (полуматерински), все-таки он не совсем равный. Кто отец его? В очень ранних годах это еще не имеет значения, но вот время идет, он уже автор «Камилла», вопрос должен вставать – и перед ним, и перед девочками. Кто же этот Вася Жуковский, полубратец, полудядя, и свой, да не очень? В какой-то момент, конечно, все станет ясным. Очень возможно, что в женской половине дома юшковско-бунинского это вызовет даже сочувствие к нему с тенью укора Бунину старому. Все же отрок, чья мать турчанка-ключница, хоть и уважаемая, но полуприслуга, полурабыня, отец же незаконный – такой ребенок ступенью ниже настоящих барских детей.

В жизненном смысле для молодого Жуковского это было труднее, в нравственном же полезнее: удаляло от кичливости,

высокомерия барства. Скромно пришел в жизнь, скромно ее проходит. В Пушкине, даже в Иване Тургеневе все же сидел помещик, «дворянин», от которого надо было освобождаться (Пушкина – смерть и страдания ее освобождали). Жуковский сразу явился странником, почти не укорененном в быту крепостничества. Не приходилось ни знатностью, ни богатством гордиться. Он, может быть, первый из «интеллигентов» российской литературы.

Этого интеллигента, однако, в конце 1795 года решила направить Марья Григорьевна по военной части. (Сын он был Елизаветы Дементьевны, а судьбою его распоряжалась «госпожа» – он ее звал всегда: бабушка.)

Знакомый майор Постников повез его в Кексгольм, в Финляндию, где стоял Нарвский полк – в нем некогда служил и Афанасий Иваныч. Туда был записан Жуковский с самого своего рождения.

Кое-какие следы предприятия этого сохранились. Сам Жуковский вспоминал через много лет, как проездом, в Петербурге, видел Императрицу Екатерину на великолепном празднике в честь Потемкина. Уцелели и письма его из Кексгольма к матери, простодушно-ребяческие, почтительные и в наивности своей милые. Мать он называет «Милостивая государыня, матушка Елизавета Дементьевна», спрашивает о ее здоровье, говорит о своем («здоров и весел»). Описывает и свою жизнь: «Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласками». (Дар располагать к себе был щедро ему дан – с ранних лет.)

«Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шедши за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем».

Подписывается он: «Навсегда ваш послушный сын Васинька».

В другом письме сообщает, что у них был «граф Суворов, которого встречали пушечной пальбой со всех бастионов крепости. Сегодня у нас маскарад, и я тоже пойду, ежели позволит Дмитрий Гаврилович».

От родных он вдали, но ему там неплохо. В следующем письме, от января 1796 года, пишет: «У нас здесь, вправду сказать, очень весело; в Крещение была у нас Иордань, куда ходили с образами и была пушечная пальба и солдаты палили из ружей…» «Всегда ваш послушный сын Васинька».

Правда, что развлечения больше в пальбе, но, очевидно,

драматург и режиссер тульский не очень и требователен, мир же, перед ним открывающийся, вовсе для него нов.

Войти в этот военный мир ему не предстояло. Екатерина умерла, на престол взошел Павел и отменил прием в войска малолетних. Постников отвез «Васиньку» обратно в Тулу. Ему надлежало учиться другому – не ружейным приемам и не арифметике философа Алаунского.

# Университетский пансион

В 1779 году поэт Херасков, тогда куратор университета Московского, основал при нем Благородный пансион – нечто вроде гимназии и лицея, исключительно для дворянских детей. К концу XVIII века, после некоторых перемещений, пансион обосновался между Тверской и Большою Никитской, в приходе церкви Успения на Овражке, в доме Шаблыкина. Главный вход с Вражского переулка (позже Газетного). Во дворе особняк, а у входа небольшой белый флигель – квартира инспектора. Очевидно, свой сад, целая усадьба. В особняке жили, учились, воспитывались юные дети дворян российских.

Заведение было особенное, в своем роде единственное. Им управлял «директор университета» Тургенев и инспектор Прокопович-Антонский, люди культурнейшие, настроения возвышенного. Они ставили себе целию не только обучить, но и воспитать, просветить душевно. Где-то на горизонте тень знаменитого Новикова, мистика, масона, узника Шлиссельбургского, просветителя и «друга человечества».

Удивительно обучение этого пансиона: в шести классах преподавали тридцать шесть предметов. От математики до мифологии, от Закона Божия до наук военных. Но главное – литература, история, знание языков. Были уроки и искусств: музыки, живописи. Особенное внимание обращено на языки – русский в первую голову и живые иностранные. На них ученики обязаны были даже говорить в самом пансионе.

Для многопредметности поправка была такая, что не все обязательно. Учащиеся, по своим склонностям, выбирали группу знаний. Над всем же – дух воспитания и просвещения нравственно-религиозного. Он живым был потому, что живые люди вели дело. В Италии XV века Витторино да Фельтре, известный педагог, создал свою Casa gioiosa[1], учебное заведение, проникнутое духом гуманности и свободы, – оно воспитало ряд людей замечательных и знаменитых, оставило в Возрождении светлый след. Московский пансион, хоть и иного оттенка, имел с ним общее. И знаменитостей выпустил тоже немало. Среди них: Жуковский, Лермонтов, Грибоедов.

Для Жуковского вышло отлично, что судьбой его распорядилась не мать, а «бабушка». Эта бабушка у смертного ложа Афанасия Ивановича обещала никогда не расставаться с Елизаветой Дементьевной, а «Васиньку» вести как сына.

Обещание выполнила. Заботясь о будущей его независимости, выделила ему из наследства каждой дочери по

2500 р., к совершеннолетию у него появились, хоть и небольшие, все же свои средства. Главное же, ввела в культурный круг того времени. В Благородный пансион отдавала как бы и в родственное заведение: Юшковы были знакомы с Тургеневым. Конечно, отлично знали характер пансиона.

Для Жуковского трудно представить себе школу более подходящую. Порядок, спокойствие и размеренность, хорошие учителя, товарищи любопытные, благочестие, литература и искусства… – можно подумать, что прямо готовили будущих писателей.

Некогда Яким Иваныч ставил его на колени за нерадивость, философ горы Алаунской удалил из народного училища, но вот теперь все оборачивается по-иному. Из тридцати шести предметов выбирает он не математику и фортификацию, а что сердцу ближе («словесное отделение» пансиона). И преуспевает в высшей степени. Уже через год, на акте 1798 года, признан голосом всего класса первым.

Это первенство не было случайным. Оно прочно, ибо связано с натурою его – поэзией.

Прокопович-Антонский, благожелательный масон, был первым председателем Общества любителей российской словесности. Для заседаний Общества этого отдавал залу пансиона, а распорядителями были ученики. Наблюдали за порядком, усаживали гостей и т. п. Литература взрослых шла сама к ним, ею они дышали, впитывали ее. Среди них самих основалось Собрание воспитанников – литературное общество молодежи. Тут уж они не только слушали, но и выступали сами. На этих собраниях автор «Камилла» заявил себя сразу, и в 1799 году, при первом же открытом заседании, выбран был председателем, произнес речь. Так до конца председателем и остался.

Собрания эти происходили часто, раз в неделю, а иногда и дважды: значит, интерес был большой. От шести до десяти вечера заседали, читали произведения свои, переводы из иностранных авторов, обсуждали, спорили. Прокопович-Антонский всегда присутствовал. Иногда приглашал и знаменитостей литературы – Карамзина, Дмитриева.

Окончив, ученики шли ужинать – ужин для них подавался отдельно, позже. Разговоры и споры продолжались за ужином, а затем в спальнях. Спать, может быть, и мешали. Но как возбуждали, в высокую сторону, юные души!

Сохранился документ, касающийся жизни юнцов этих. (Старобельский мещанин Коханов спас в Харькове в мелочной лавке от рук лавочника протокол одного заседания юношеской

Академии 18 мая 1799 года.)

«Председатель В.А. Жуковский (ему шестнадцать лет) открыл заседание речью «О начале обществ, распространении просвещения и об обязанностях каждого человека относительно к обществу». Потом читали стихи воспитанника Лихачева «Ручеек» – передали на отзыв. Жуковский «внес, сверх месячных работ, перевод из Клейста, в стихах», некто Поляков тоже отрывок перевода. Жуковский читает замечания свои на сочинение секретаря Родзянки: «Нечто о душе». Возникает обмен мнений. С некоторыми замечаниями его соглашаются, с некоторыми нет. А в заключение Александр Тургенев читает Державина «Россу по взятии Измаила».

…«Председатель В.А. Жуковский назначил очередного оратора, чем и кончилось заседание».

* * *

Жуковского времен пансиона можно представить себе юношей тоненьким, изящным, с вьющимися волосами, очень миловидным и благовоспитанным. Как и все вокруг, а вернее, даже больше товарищей, ведет он жизнь труда. В пансионе встают в 5 утра, в 6 уже за повторением уроков, в 7 на молитве и так далее, классы, занятия весь день с большой точностию, до 9 вечера, когда «после ужина и молитвы» предписано «спать ложиться благопристойно, без малейшего шума». Все вообще в пансионе «благопристойно»: не ссориться, не шуметь, быть вежливым, законопослушным.

Это для него и нетрудно – как раз таков склад его душевный, с добавлением истинной, врожденной скромности.

Не видно, чтобы мечтательность мешала тут занятиям его учебно-литературным: надо думать, что в них было нечто, утолявшее и мечтательность, и фантазию – всё учение и все выступления в Собрании воспитанников вращались ведь вокруг литературы и искусства.

Как и в Мишенском, находился он здесь в не совсем естественном положении. Товарищи его – вплоть до ближайших друзей Андрея и Александра Тургеневых, принадлежат к крупному русскому барству. Все это – старое дворянство, с вотчинами, крепостными, более чем обеспеченной жизнью. Вопроса материального для этих юношей нет. Предки их давние и всем известные. Жуковский происхождения сомнительного, «усыновленный» маленьким дворянином. Платят за учение его Бунина и Юшков, денег карманных у него мало. В этом он один

из последних в пансионе. Приходится подрабатывать переводами. Правда, снобизма в заведении не было. И к счастию, жизнь его так сложилась, что внутренней стесненности не оказалось, самолюбие не задето. Не видно, чтобы он страдал от своей относительной бедности и незнатности. Товарищи его любили. Культ дружбы вообще начался для него с этого пансиона.

Духовная же его одаренность всеми ценилась и признавалась. Сверстники выбрали его председателем, начальство поручало ему и Костомарову даже некоторое водительство над учениками. Им предписывалось, чтоб они давали вечерние молитвы «лучшим из старшего возраста». Чтобы читались избранные места из Св. Писания и других нравственных книг. Тут же указывалось: «Утренние и вечерние размышления на каждый день года» протестантского проповедника Штурма, «Книга премудрости и добродетели» Додслея. «Все сие послужит к величайшей вашей пользе, к назиданию вашего сердца».

Жуковский читал, значит, и сам, и другим мистические толкования Христофора Христиана Штурма, одного из последователей Клопштока. Это – хвалебные гимны Творцу. Величие Бога в природе: гусеница, муравей, «обыденная муха». Жизнь моя, красота лугов, гром и т. п. – все проявление и обиталище Бога. Книга Додслея также проникнута религиозно-мистическим духом.

Если представить себе общий облик духовный Жуковского, на протяжении всей его жизни, то вполне можно думать, что именно эти чтения мистиков, в раннем и нежном возрасте, залегли глубоко, вошли чуть ли не основным в окончательное сложение его души.

* * *

Наибольшая слава того времени, разумеется, Державин. Подоблачное, поднебесное, откуда летят громы, голос трубный, скорее природно-стихийный, чем человеческий. Слог крупнозернистый. Все мужественно, прямо, сильно, иногда дико, иногда путано, в общем величественно, масштаба перворазрядного. Легче удивляться ему, чем любить. Для скромного мальчика Жуковского это некоторый Синай, перед которым он благоговеет, чью оду «Бог» переводит на французский язык, к самому же Синаю относится со священным ужасом. Но это не его мир. Сам он иной закваски. Из другой породы душ. Державинско-екатеринское, век «орлов» и прямолинейного грандиоза отходил. Карамзин более выражал эпоху. Карамзин мог

сесть вечером на берегу Эльбы под Дрезденом и, созерцая заход солнца, вдруг от умиления заплакать. Но он выразил в России новый уклон души – на Западе проявившийся уже и раньше.

К сердцу, душе человека, мимо громов, побед, государств, космоса – к великому космосу сердца – уклон вглубь. На него юный Жуковский сразу откликнулся. Это свое для него, родное и дорогое. Державину благоговение, самому жить в воздухе Карамзина, карамзинистов.

Оду свою «Благоденствие России» он читал в пансионе в 1797 году – ему было четырнадцать лет. Произведение, разумеется, детское. Внешне – из владений Державина: восхваление Павла, в тоне напряженно-возвышенном. Есть строки, прямо Державина напоминающие («Зиять престали жерлы медны»), но пропето все голосом иным, и не в том дело, что голос этот еще слишком юный и не установившийся, а в том, что выражает он совсем иную душу. Для нее не «жерла» характерны, а –

С улыбкой ангельской, прелестной,
В венце, сплетенном из олив,
Нисшел из горних стран эфира
Сын неба, животворный мир.

Певец, так поющий, никогда по державинскому пути не пойдет.

Рядом, того же года, мотив и иной, совсем уж духа интимного. По форме – первый намек на летучий, сквозной строй Жуковского взрослого. Это «Майское утро».

Бело-румяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черныя нощи.

Подымается солнце, воздадим хвалу жизни, посмотрим, как бабочки вьются, пчелы летят, все живет и все дышит («да будет» всему Творению, как и у Штурма, всегдашнее благословение Жуковского) – но дальше горлица стонет по погибшем друге. Меланхолический звук заканчивает стихотворение:

Жизнь, мой друг, бездна
Слез и страданий…

Счастлив стократ
Тот, кто, достигнув
Мирного брега,
Вечным спит сном.

В «Майском утре» этом есть, конечно, Дмитриев, тот известный в свое время сладковато-изящный карамзинист Дмитриев, лирик и баснописец, важный сановник и впоследствии министр, который бывал в пансионе на Собраниях воспитанников, слушал молодого Жуковского, одобрил его, пригласил к себе и ободрил. Дмитриевский «Стонет сизый голубочек» в Жуковском засел не напрасно, как и все карамзинское. Если это еще подражание, то уже показавшее в полуребенке легкого и нежного музыканта слова.

Замечательно, что уже в ранних, ученических стихах Жуковского черты будущего его облика во многом означены. «Добродетель», «К Тибуллу», «К человеку» – стихи несколько более поздние. Во всех них одно: да, мы мгновенны, смертны, «вся наша жизнь лишь только миг», «в тени ветвистых кипарисов брожу средь множества гробов», «Тибулл, все под луною тленно» и т. п. – но над всем высшее и оно побеждает. Смерть не последнее. Она преодолевается (для Жуковского этого времени) силою нравственной:

Тогда останутся нетленны
Одни лишь добрые дела.

И еще позже, в 1800 году:

Любя добро и мудрость страстно,
Стремясь друзьями миру быть,
Мы живы в самом гробе будем.

Важно не то, как именно решает юноша мировые вопросы, важно устремление его души: преодоление смерти. Всегда, с ранних лет, при веселом и живом характере, подверженном, однако, приступам меланхолии, ощущал он остро бренность жизни. И всегда жило в нем сознание, что есть нечто сильнее смерти.

* * *

Его первые шаги в литературе не были трудны. Печататься он начал очень рано, с четырнадцати лет, и без усилий. Сохацкий и Подшивалов издавали журнал «Приятное и полезное препровождение времени» – там помещались и лучшие из писаний молодежи Благородного пансиона. Жуковский, глава и председатель Собрания воспитанников, легко принят был сотрудником. Правда, в этом было еще нечто детское («Мысли у гробницы» появились с подписью: «Сочинил Благородного унив. пансиона воспитанник Вас. Ж.») – все же это начало литературы, открывающаяся дорога. Пансион и тут ему помогал, да и вообще шаг Марьи Григорьевны, поместившей его сюда, оказался для всей его жизни решающим. Он возрастал в тишине и труде, в воздухе культуры, любви к поэзии. Это было важнейшее, важнее самих наук, усердно им изучавшихся. В пансионе была своя атмосфера, ею он и напитывался, с ней приезжал летом в Мишенское – там гость и брат дорогой дли всей юной женской части населения. Девицы Юшковы и Вельяминовы обожали его – десятилетняя Дуня Юшкова, позже Киреевская, мать известных славянофилов бр. Киреевских, писала ему в пансион, называя «Юпитером моего сердца». Приезжая из Москвы, начиненный возвышенностями и прекраснодушием, он читал им и собственные писания, и произведения Фонтенелля, Бернардена де с. Пьера и др. Был это, разумеется, для деревни некий духовный пир.

А в Москве сам он, через тот же пансион, вошел в общение с замечательными людьми, глубокий след в нем оставившими.

У директора университета Ивана Петровича Тургенева бывал Жуковский запросто, «по воскресеньям приходил читать переведенные украдкою по четыре пьесы вдруг». Это потому вышло, что с сыновьями его, Александром, учившимся в пансионе в одном с ним классе, и с Андреем, студентом университета, он вел близкую дружбу. О Тургеневе же отце сохранились у него воспоминания светлейшие.

Еще гораздо больше значила дружба с Андреем и Александром – это просто часть его внутренней жизни, воспитание лучших, чистейших свойств.

Андрей был старше его, крепче, мужественнее, с характером кипучим, по складу, видимо, поэт. Александр мягче и сентиментальнее, раскидистей и беспорядочней. Андрей более центр кружка молодежи тогдашней, коновод, собственным путем идущий, других за собой увлекающий. Он задает тон, утверждает литературные вкусы. Для Жуковского он на первом месте. Александр на втором. Очень одарен, переменчив, сосредоточиться трудно, нечто от дилетанта в нем, но доброта и очарование

огромные. Этот – на всю жизнь, сорок с лишним лет, до самой смерти переписка. Плющ вокруг древа – так вместе и прожили, с пансионских времен.

Через тот же пансион познакомился он с Карамзиным, к которому благоговение сохранил на всю жизнь. Оттуда же и знакомство с Дмитриевым – тот выслушивал его стихи, делал замечания благосклонные, поддерживал. Дмитриева называл он впоследствии своим учителем – главнейшем в мастерстве стиха, а Карамзина «евангелистом» – этот как бы открывал ему самому его душу.

В 1800 году Жуковский блестяще окончил пансион, имя его было записано на золотую доску. Прокопович-Антонский весьма к нему благоволил: выйдя из пансиона, Жуковский даже жил у него некоторое время в маленьком белом флигеле у входа в дом Шаблыкина, что в приходе Успения на Овражке.

# Поэт

Александра, Андрея Тургеневых, других юношей дружественных, как братья Кайсаровы, Блудов, несла среда, их взрастившая. Кончил учение – сразу в «архивные юноши», Министерство иностранных дел (тогда называлось: Иностранная коллегия). Открытая дорога к власти, почестям, сановничеству. Тетушки, дядюшки опекают по службе, крепостные крестьяне трудятся в поместьях, чтобы гладко шла юная жизнь.

У Жуковского такой гладкости не могло быть. Предстояло решать, чем же зарабатывать. Стихами не проживешь. Переводами для книгопродавца Зеленникова тоже. Он избрал нечто скромное, в скромности своей даже безнадежное: поступил в «Контору соляных дел», на очень маленькую должность канцелярского служащего. Занятие не из трудных, но уж слишком ничтожное. Он находился там под начальством князя Долгорукова, который уже имел о нем представление как о даровитом молодом поэте. Чиновника из него, разумеется, не вышло, служба скользнула бесследно. Позже он заметил о ней кратко: «…Я вошел в главную дурацкую Соляную контору городским секретарем в 1800 году, вышел из нее титулярным советником в 1802». Нельзя, однако, сказать, чтобы жизнь его за эти полтора года была пуста. Напротив, как приготовление, даже плодотворна. «Ты, кажется, не можешь не быть доволен своей участью, – пишет ему Тургенев, – уединение, независимость, легкая служба… Окружен Греем, Томсоном, Шекспиром, Попе и Руссо! И в сердце – жар поэзии!»

Вне канцелярии – под знаком дружбы и литературы прошло это время. В 1800 году основалось в Москве избранною молодежью Дружеское Литературное Общество. Его столпы – Андрей Тургенев, Мерзляков, Жуковский. В него входят и студенты университетские и воспитанники Благородного пансиона. Получился целый кружок – кроме главарей – братья Кайсаровы, Родзянко, Журавлев и еще другие, среди них странный и жуткий тип, странным образом затесавшийся к юношам-энтузиастам и сентименталистам: Воейков, циник и насмешник, хромой, некрасивый, ядовитый, чем-то прикидывавшийся, чем-то, до времени, их юное прекраснодушие обманывавший. На Девичьем поле был у него свой дом, особняк, там летом 1800 и 1801 годов устраивались пирушки сочленов Общества – собрания, их участникам запомнившиеся по-хорошему. О них писал Андрей Тургенев, вспоминая и ветхий дом, и глухой дикий сад, являвшийся убежищем друзей, которых

соединит Феб. Там давали они обеты вечной дружбы и любви к родине. Мерзляков говорит о ненастных сентябрьских вечерах, когда скрипели от ветра старые березы, а они –

С любезной трубкой и вином
Родные песенки певали
И с бурей голос соглашали.

Все это – в тоне возвышенном. Не просто встречи молодежи, а молодежи, к чему-то стремящейся, ищущей в духовном и литературном мире. Для Жуковского это как бы продолжение подготовительных годов, воспитание вкуса, ума, чувств. В этом Дружеском Обществе от Андрея Тургенева получает он первые, вероятно, толчки в сторону германской поэзии, медленно до него доходившей и такую важную роль сыгравшей впоследствии.

Здесь же крепнет культ дружбы – тоже для него сила огромная.

Но все это кратко. Жизнь их разводит, Андрей Тургенев уезжает в Петербург, брат Александр и А. Кайсаров за границу, в тот Геттинген, откуда молодые люди того времени выходили «с душою прямо геттингенской». Там будут они насыщаться германской наукой и входить в воздух германского романтизма и литературы. Жуковскому же неуютно в Москве, в Соляной конторе, без Дружеского Литературного Общества, с одним князем Долгоруковым и его снисходительным поощрением. До какой-то минуты все это терпится. Но для юноши «с демоном», как Жуковский, долго тянуться не может. Вот он складывает чемоданы – в них рукописи, в них собрания сочинений Шиллера, Гердера, Лессинга, да много другого, французского еще вроде Флориана, Жанлис – и в апреле 1802 года, по просыхающим российским дорогам, при зелени нежной, весенней, грачах на полях, жаворонках в небе – домой, в Мишенское. Что будет дальше, неведомо, но надо учиться, писать, работать. К Оке, Белеву, поэзии. В Мишенском многое переменилось. Старого Афанасия Иваныча давно нет. Марья Григорьевна, как и прежде, глава семьи, почитаемая «бабушка». Девочки же полуплемянницы (Юшковы, Вельяминовы) стали девушками, чувствительными, изящными. Как и матери их, они образованны и начитанны, поклонницы Руссо и Карамзина, склонны ко вздохам и туманной меланхолии. (Барышня того времени, нервная и восторженная, у которой умер отец, – в душевном волнении, чтобы достаточно выразить горе, могла же сбежать в подмосковную деревню и там водвориться у знакомых «поселян», захватив с собой Библию и Руссо: ненадолго, разумеется.)

Мишенское для Базиля не дурацкая Соляная контора. Здесь живет он среди милых сверстниц родственных, среди книг, полей, лугов, холмов приокских. Ничто не указывает на грубость или распущенность быта мишенского – стиль Афанасия Иваныча отошел. Никаких псарей, выпивок, похождений. Царство женщин, и в высоком духе. Гений-хранитель ведет юношу путем чистым, вдали от соблазнов крепостной жизни. Он и вообще как бы вне ее. Полон внутренним своим – тем живет. Иногда весел, иногда грустит. Ведет жизнь поэта и ласкового сверстника барышень. Как и во времена вакаций Благородного пансиона, читает им вслух. Как и тогда, новое, возвышенное, одушевленное идет в деревенский угол именно от него, образованного и изящного Базиля. Но, конечно, он и к одиночеству стремится, уходит и сам к какому-нибудь Гремучему ключу, «сочиняет» стихи, есть даже «холм» его любимый, где он этим занимается: барышни все высмотрели и знают.

Демон не зря уводил его из Конторы соляных дел. Наступал час прорыва плотины – жуткий для юноши и решающий час. Стихи в Благородном пансионе, оды на актах – это все еще полудетское. Роковое лишь начинается.

Оно состоит в том, что наконец силы молодости прорываются целиком. Они несут стихийно, как любовь, страсть. Они выражают, вне его воли, создавшийся облик поэта, еще юношеский, но уже ответственный. С «этого» начинается Жуковский, остающийся в литературе.

Раньше ученик, теперь молодой художник. Он взял для начала своего чужое – элегию Грея, английского сентименталиста середины XVIII века. Эта элегия не со вчерашнего дня его тревожила – подымала органическое, стихийное. Он ее и ранее перевел. Но тогда не был еще готов. А теперь время пришло. Опять за нее взялся, она его возбудила, он перевел-претворил заново, в не своем свое выразил.

> Уже бледнеет день, скрываясь за горою:
> Шумящие стада толпятся над рекой;
> Усталый селянин медлительной стопою
> Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

Как будто и прежнее, но сказано иным голосом, уже взрослого. Элегия длинна, певуча, есть в ней нежное колыхание стихов и все овеяно меланхолией чистой и прекраснодушною. На деревенском кладбище спят «поселяне», люди безвестные, но, может быть, и неведомые гении, так и ушедшие, не проявив себя, – как уйдет и сам юный певец кладбища этого, томно

бродящий и близ реки и близ ивы, –

Он кроток сердцем был, чувствителен душою…

Кладбище воспевал английское, но по русским полям бродил легкий певец, легкокрылый какой-то, с вьющимися от природы волосами, мечтательными глазами. Забирался на взгорье, недалеко от Оки. Там вздыхал, может быть, «проливал слезы» – и сочинял. Девушки-сверстницы из Мишенского любили имена мифологические. Называли этот «холм» – Парнас.

Однажды Базиль и принес с Парнаса свою элегию. Прочитал им вслух. Вызвал всеобщий восторг. Произведение было послано Карамзину. Карамзин автора знал и благоволил к нему. Издавал в Москве «Вестник Европы», первый, лучший тогдашний журнал. Карамзин – старший и уже знаменитый, но и свой, родной, тоже «чувствительный». Как-то он отнесется? Что скажет? Прежний перевод Жуковского не очень ему нравился…

Тут Базиль не мог бы пожаловаться на одиночество: все Мишенское, вся молодая и чистая, такая светлая девическая его часть была с ним. Вместе надеялись, вместе волновались и ждали. Ответ Карамзина был ясен. В VI кн. «Вестника Европы» на обложке его розовой стояло: «Сельское кладбище». Подпись полная – уже не «воспитанник Благородного пансиона…», а просто фамилия, несколько иного даже начертания: Жуковский, а не Жуковской, как раньше. Это был уже тот Жуковский, который входил в русскую литературу, чтобы занять в ней свое место.

Девушки были в восторге. Радость всеобщая. Их поэт, свой с детства – признан, как же не радоваться.

Карамзин тоже почувствовал, что восходит новая звезда. Через несколько времени, в статье о Богдановиче, он приводил стих из «Сельского кладбища» как образцовый.

* * *

Владимир Соловьев находил, что лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белева из легких строф молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским – Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот – воздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия. Откуда взялось все это у Жуковского, светлого и совсем не болезненного?

Разумеется, много тут от самого духа времени. Загадочно сложение человеческих душ. Несомненно, что тогда по вершинам

российским прошло дуновение меланхолии, чувствительности, обостренной отзывчивости на трогательное и печальное. Жуковский – сын своего времени, его выразитель. Иначе быть не могло.

Но и собственная жизнь отозвалась. Нельзя думать, что уж так идиллически-ясно прошло детство его и юность. Странное положение в семье (да и в обществе) давно было шипом внутренним. Его не обижали, воспитывали и учили, считалось, что любят. Но, видимо, недостаточно. Как-то с прохладцею, может быть, и снисхождением. Ему же хотелось большего.

В дневнике его 1805 года записано: «Не имея своего семейства, в котором я бы что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что был перед ними вырощен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привык отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия, и потому, что всякое участие казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем».

«Не был любим никем» – это преувеличение. Но ему так казалось, и это мучило. Что Марья Григорьевна, что крестная Варвара Афанасьевна, что другие сводные сестры могли его полулюбить, прохладно и покровительственно, это понятно. Но родная мать? Та самая Елизавета Дементьевна, бывшая Сальха, которая до могилы так с Буниными и оказалась связанной?

С матерью не совсем ладилось у него тоже. Детские его письма, кроме почтительности и послушания, не говорят ни о чем. Почтительным и послушным остался он навсегда. Но этого ему мало. «Самое общество матушки, по несчастию, не может меня делать счастливым: я не таков с ней, как должен быть сын с матерью; это самое меня мучит и мне кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, нежели вблизи».

Слишком уж они разные. Слишком она ключница, для нее Бунины благодетели. Он же поэт и ее незаконный сын (хоть незаконный, но сын). И в этой юной полосе жизни, после дурацкой Соляной конторы, в милом Мишенском все же нечто отравляет ему отношения с матерью. Елизавета Дементьевна при господах даже сесть не может – вечное напоминанье о неправильности и ее, и его положения. Это угнетало за нее. А за себя – ранило молодое самолюбие.

Для Тургеневых, Кайсаровых, Блудовых будущее бесспорно. Для Жуковского крайне туманно. Игра молодых сил, неясность положения, фантазия, чувствительность, все извлекает из души, даже помимо устремления эпохи, звуки томно-меланхолические. Смерть, разлука, любовь к другу, собственная судьба – все так

остро в такие годы. Все еще только слагается, взгляда на мир прочного нет, а живое сердце, горячее, смутно предощущает уж горести, бездны, величие бытия. Бытие же само предлагает примеры грозных своих дел.

В грусти «Сельского кладбища» многое было от эпохи, но вот и сама жизнь выступает. Блестящий Андрей Тургенев, любимец отца, любимец приятелей своих, поэт, будущий деятель дипломатии русской – все как будто раскрыто перед ним в жизни – двадцати двух лет умирает внезапно, в июле 1803 года. («Распотевши поел мороженого» и через четыре дня скончался.)

«Дружба есть добродетель», – говорил Жуковский, опять выражая нечто от времени своего. Дружба тогда считалась священной, ей было поклонение. Все эти прекраснодушные молодые люди, до-пушкинские Ленские, были возбудимы необычайно. (Уехал в 1801 году Андрей из Москвы в Петербург. На другой день друг его, Андрей Кайсаров, заходит к его брату, Александру Тургеневу, желая утешить в разлуке с Андреем. Александр тотчас заплакал. Тогда Кайсаров «обнял его, как брата любезного моего Андрея, уговаривал его и сам заплакал». Он обнимает его и целует руки. Тот тоже плачет и целует Кайсарова. Входит старый Тургенев, отец Иван Петрович. Увидев, что они плачут, и сам заплакал. А ведь Андрей уехал всего только в Петербург.)

Андрея этого Жуковский просто обожал. Он любил очень и Александра, дружил с Мерзляковым, но откровенно сознавался им обоим, что к Андрею у него чувство выше, глубже, необыкновеннее… «Не будучи с ним вместе, я его воображал со сладким чувством… ему подавал руку с особенным, приятным чувством». Андрей на два года его старше. Он мужественнее, сильней. Заражает энтузиазмом своим, любовию к литературе, возвышенностью всего склада: Жуковский сам энтузиаст, но тихий. Андрей – проживи он дольше – мог быть и в дальнейшем его «руководцем».

И такой друг внезапно уходит. Можно себе представить, как это воспринималось. Плакали и целовали при отъезде в Петербург – как же ответить на вечную разлуку?

О горе Жуковского знало, конечно, опять Мишенское, берега Оки, холм Парнас и милые девушки. Поэзия наша узнала в стихотворении «На смерть Андрея Тургенева».

> В сем мире без тебя, с душою, благ лишенной,
> Я буду странствовать как в чуждой стороне.

Без друга для него жизнь не жизнь. Встретятся они «во гробе».

Он ждет этой минуты, как счастия.

Надежда сладкая, прелестно ожиданье!
С каким веселием я буду умирать!

Жуковскому было всего двадцать лет, когда написались эти стихи, не лучшие у него. Последняя строка вызывает улыбку, но и сочувствие. Так ли уж, правда, приятно умирать, даже для свидания с другом, юноше, ничего еще по-настоящему не испытавшему? Когда Жуковский – еще «весь впереди», с назначением узнать и славу, и любовь, и горе, и разлуку – писал простодушный свой стих, был он, конечно, правдив – как поэт. А больше ведь нельзя и требовать. Жизненно это значения не имеет.

Кое-что он мечтал сделать для памяти Андрея: издать его письма, которые всюду возил с собой, перечитывая в Белеве; хотел написать краткую историю его жизни. Предлагал отцу посвящать день смерти Андрея какому-нибудь обряду – он должен бы напоминать им «любезнейшего человека», соединял бы всех в общем чувстве. Хорошо бы, если бы они все в этот день думали и делали одно. (О церковном поминовении Андрея не упоминается. Религиозность Базиля была еще слишком туманной и от церкви далекой. То, что заупокойная литургия или даже панихида лучше соединяла бы друзей в общем чувстве, ему не приходит в голову.)

Думал и поставить Андрею памятник, на что Мерзляков, живший тогда в Москве, возражал, что лучше пусть будут они сами «могилами живому, вечно живому духу нашего друга».

В писании Жуковского незабвенность Андрея сохраняется – трогательная и преданная. Через шестнадцать лет – в стихотворении «Надгробие». Чрез сорок пять, на закате его самого, в полных любви строках прозы: воспоминание о кроткой, непритворной и доброжелательной душе друга, об остроте его ума, в которой ничего не было ранящего, способного кого-нибудь обидеть в беседе, ибо соединялась она с «нежностию» сердечною».

Андрей был крепче, властней и сильнее, чем изображает его здесь Жуковский. Что-то он дал ему от себя. Это не умаляет любви, сохранившейся до полувека.

* * *

«Вадим Новгородский» – первый опыт Жуковского в художественной прозе. Вещь неоконченная, напечатана в «Вестнике Европы» 1803 года, с простодушным примечанием

Карамзина: «Молодой автор этой пьесы и мой приятель, г. Жуковский, известен читателям “Вестника Европы” по Греевой элегии, им переведенной».

Не приходится скорбеть, что «Вадим» не закончен. Повесть – не мир Жуковского. Он лишен здесь главной своей прелести – воздушно-музыкального стиха. Остаются «чувствительность» и сладостность, вполне карамзинские. Карамзину должно было это нравиться. Сейчас отрывок интересен только как летопись души: введение к нему опять отзвук смерти Андрея. («Я не зрел твоей могилы; в отдаленном краю осыпает ее весна цветами – но тень твоя надо мной…» и т. д.)

Это все та же, меланхолически-мечтательная линия жизни внутренней. Она сильна и бесспорна в юном Жуковском, но не одна в нем. Никак нельзя представлять его себе только томным певцом, героем – поэтом «Сельского кладбища», скитающимся непрестанно у «светлых вод» и развесистых ив, оплакивая себя и погибших друзей. В нем была и другая сторона. Он любил жизненность, порядок, деятельность – но разумную, недаром плохо учился в детстве и хорошо в Благородном пансионе. Он и в Мишенском в эти годы много работал, читал, учился, переводил, сам писал.

В Москве живет Мерзляков, приятель по Дружескому Литературному Обществу, старше его лет на пять, уже бакалавр и преподаватель в университете. Из мишенско-белевского уединения Жуковский с ним переписывается. Мерзляков трезвый, даже не без едкости, практический человек, в литературе склонный к классицизму, с романтизмом Жуковского не мирившийся, все же принадлежавший к кругу Андрея Тургенева. Переписка живая, бодрая, есть в ней струйка, связанная и с Андреем, но вообще она очень жизненна: Мерзляков занят литературными делами Жуковского. Устраивает ему переводы, торгуется с издателями, зовет в Москву – «Вестник Европы» лишается Карамзина, надо работать там. Видно, что дела материальные весьма занимают Жуковского – иначе и быть не могло, хоть в Мишенском все же он должен жить и имея свой заработок. Для него, разумеется, важно, даст ли Зеленников за «Ильдигерду» пять рублей за лист или больше. Правда, что, занимаясь с учениками, Мерзляков представляет себе Жуковского под Белевом в виде Анакреона или Овидия, но Анакреону (на которого, кстати, Жуковский совсем похож не был) на что-то существовать надо, и он трудится неустанно. Кроме Шписа и Коцебу («Мальчик у ручья», вышедший в 1801 г.), над которыми работал и раньше, переводит – несколько позже – «Дон Кихота» в переделке Флориана. Это труд уж обширный. В 1804–1806 гг.

«Дон Кихот» вышел в шести небольших томах. Стихи романсов и песен в нем переданы очень легко и гармонично.

В это как раз время ездит он летом к Карамзину, гостит у него подолгу в подмосковном Кунцеве со знаменитыми его дубами, лесами, папоротниками – перед Карамзиным благоговеет, это старший брат, друг и наставник. Мерзляков зовет его к себе в деревню, тоже гостить. Жуковский отговаривается неотложностью занятий. Но обещает все-таки приехать – тут и выясняется, что Жуковский строит себе в Белеве домик.

Это кажется неожиданным. Меланхолические певцы будто бы думают только о том, с каким веселием станут они умирать. Оказывается, не совсем так. Они строят и дома.

Со стороны внешней постройка белевская дело рук Марьи Григорьевны Буниной. Она настояла на том в свое время, чтобы у «Васиньки» оказалась к совершеннолетию хоть небольшая, все же своя сумма денег. Со стороны внутренней – очевидно, Жуковский хотел именно своего угла вполне, где бы мать не была ключницей Буниных, а он был бы полным хозяином. Поэтому и начал постройку в Белеве, на Казачьей улице. С берега Оки открывался там чудесный вид на реку, луга, окрестности. Все так выбрано, чтобы нравилось поэту. Но поэт, на время становясь строителем, вполне мог интересоваться и тем, сколько стоит какой-нибудь тес на крышу, где дешевле достать стекло. Летом 1804 года дом еще не готов. «Нам не надо, – пишет ему Мерзляков, – твоего дома, если он не отстроен: мы проживем в палатке. Стихи твои будут нагревать сердца наши». (Мерзляков так писал, но в конце концов ни он, ни Воейков, у которого он жил тогда в Рязани, в белевскую «палатку» не приехали.)

Жуковский же, наблюдая за постройкой, продолжал и писать. Он еще совсем одинок, единственная любовь его – Муза. Ей он и отдается. Молод, но чувствует, что дело серьезное. 1804 год заканчивается большим стихотворением «К поэзии»:

Чудесный дар богов!
О пламенных сердец веселье и любовь,
О прелесть тихая, души очарованье,
Поэзия!..

По словесному одеянию предвозвещает кое-что здесь Пушкина. По содержанию это гимн художеству вольному, независимому, вознесение поэта на ту же высоту, куда и Пушкин его поставит. Это отчасти программно. Вроде и обета поэтического.

Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
Презрев минутные успехи –
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон пустой, –
Презревши роскоши утехи,
Пойдем великих по следам!

Независимым поэт обязан быть, он возжигает сердца, славит героя, украшает бытие, громит «жестоких и развратных». Награда – слава в потомстве. Дается же эта слава и свобода бедностию. Оттого и презирает он «роскоши утехи». Оттого в Белеве нужен ему не дворец, а домик.

# С Протасовыми

Старшая дочь Бунина, Авдотья Афанасьевна, еще в начале восьмидесятых годов вышла замуж за Алымова, начальника таможни в Кяхте, и уехала туда с ним. Выпросила у родителей разрешение взять с собой младшую сестру Екатерину, девочку лет двенадцати. Для чего отпустила эту Катю Марья Григорьевна за тридевять земель, из раздолья мишенского в алымовский сибирский дом? Возможно, и для того, чтобы девочка подрастающая не видала связи отца с Сальхою и не знала о ней.

Екатерина Афанасьевна, тогда еще Катя Бунина, попала в Сибири совсем в другой мир. Сестра ее в замужестве не оказалась счастливой. Детей не было, с мужем она жила неважно. Некий сумрак глухого севера лежит над отрочеством и юностью Екатерины Афанасьевны в доме Алымовых.

Дух жизни строже. Нет ни крепостных, ни разлива помещичьего, ни побочной семьи. Но в самой законной семье тоже нет света и радости. И притом дикий, далекий край, одиночество, мечтательность…

Странно, но и волнующе подумать, что где-то в азиатских дебрях близ Китая русская девочка-девушка утешается и живет внутренне Жан Жаком Руссо. Нельзя сказать, чтобы в той полосе жизни своей была она религиозна церковно. Но, конечно, «религия души» в ней жила, направляясь по другому руслу. Евангелием ее оказалась «Новая Элоиза». Это была главная, если не единственная книга, которую она читала в доме начальника кяхтинской таможни. Знала ее чуть ли не наизусть – рядом с ней и «Адель и Теодору» Жанлис. Видимо, много в одиночестве думала, видела жизнь сестры незадачливую – и слагалась в девушку самостоятельную, замкнутую и крепкую. Несколько и суровую. Что надумала среди сибирских пихт и лиственниц, под музыкальное сопровождение Руссо, то уж и сделает. Сама себе владыка.

Так прожила она восемь лет и, наконец, с той же сестрою Авдотьей, разошедшейся с мужем, в 1790 году возвратилась в Мишенское. Тут нашла много перемен. Мать с отцом помирились, Афанасий Иваныч жил в большом доме, а не с Сальхой во флигеле. Сальха обратилась в тихую и степенную Елизавету Дементьевну. Кроме того, бегал кудрявый и милый мальчик Вася Жуковский, который тут-то и оказался ей братом. Она была старше его на четырнадцать лет. Он считал ее вроде тетушки, называл на «вы» – «Екатерина Афанасьевна». Она его – ты, Васенька. Ни она, ни он не подозревали, как свяжет их в

дальнейшем судьба.

Через год Бунин скончался. Еще через год Екатерина Афанасьевна вышла замуж за Андрея Протасова, орловского уездного предводителя дворянства.

Так что жизнь снова отдалила ее от Мишенского и мира Буниных. Новый мир вряд ли ей был близок – Андрей Иваныч любил жить широко, шумно. Да и положение обязывало. Балы, обеды предводительские, открытый дом… – так полагалось. Но азартная игра в карты, предприятия спекулятивные, с надеждой вдруг стать миллионером, в действительности разоряясь и залезая в долги, – этого у предводителя могло и не быть. К несчастию для Екатерины Афанасьевны, у Андрея Иваныча как раз было.

Все это привело к тому, что он запутался, разорился и умер. В страшный год Аустерлица (1805) она осталась вдовой с двумя девочками, Машей и Александрой, двенадцати и десяти лет. Долгов оказалась куча. По векселям наросло вдвое и втрое против того, что было под них получено. Екатерина Афанасьевна все приняла. Долги – так платить. Не в ее духе увертываться, выворачиваться. Она стала распродавать имения. Скоро осталось одно Муратово Орловской губернии. Но там не было господского дома – жить негде. Разумеется, недалеко Мишенское со всей широтой его жизни. Но, по-видимому, от своих она отошла сильно – да и правда, вся юность ее и ранняя зрелость прошли вне дома. Характер сдержанный, гордый, обязываться не хотела. Приняла решение устроиться хоть и скромно, но самостоятельно. Для этого наняла в Белеве небольшой дом и там с детьми поселилась.

Замкнутая и одинокая жизнь для нее не новость. В сибирском уединении, в чтении и размышлениях о важнейшем – религии, нравственности – вырабатывался характер цельный, не без властности. Он теперь и проявился.

В Белеве можно представить себе ее жизнь как полумонашескую. Очень мало похоже на орловскую. Портрет показывает нам молодую Екатерину Афанасьевну женщиной видной, скорее изящной, одетой по моде того времени, нечто действенное и решительное в лице, очень привлекательное. Пусть небогатая теперь, но знатная барыня – этого нельзя скрыть. Живет спокойно, с достоинством. Много работает – отлично рисует, вышивает шелками и бисером целые картины по собственным рисункам. Воспитывает детей. К этому времени входит в русло религиозности православно-церковной, с некоторой внутренней прямолинейностью и честностью. Девочек ведет довольно строго, в духе церковном, сама ходит с ними аккуратно на богослужения.

Несомненно, была она на виду, пользовалась уважением и влиянием. Вот случай, рисующий и положение ее в Белеве, и характер.

В городе вспыхнул пожар, при сильном ветре. По тем временам средства тушения были ничтожны – две-три бочки с водой да какая-нибудь кишка. Огонь двигался, остановить его не удалось. Он уже подбирался к церкви, под которой был сложен в подвалах порох, до трехсот пудов. «Порох надо убрать», – заявила Екатерина Афанасьевна начальнику белевской полиции. «У меня нет людей». – «Как нет людей? А арестанты в остроге?»

Градоначальник не возражал, но, видимо, не оказался расторопным. Считал ли он это ненужным, робел ли чего, но сам за арестантов не взялся. Екатерине же Афанасьевне действовать разрешил. По тем патриархальным, да еще провинциальным нравам не показалось странным, что вдова предводителя орловского явилась в тюрьму и вывела арестантов. Провела через город к церкви, еще державшейся. И наблюдала, как тащили они из подвалов мешки с порохом, бросали в Оку. Скоро занялась и сама церковь, сгорела.

* * *

Молодой «появившийся» поэт Жуковский был еще появлявшимся человеком Жуковским. Он еще только слагался. Многое было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодатных сил молодости. Напряжение их изливается в областях высших – вековечные вопросы мучают и жизнь хочется создать достойно. Хочется и учиться, и путешествовать, и завести семью. Есть планы поездки за границу с Мерзляковым, в Геттинген для университета. Есть думы и томления о Боге, вере – все надо выяснить и решить.

Тяготения религиозные у него уж в детстве, во времена смерти Бунина, поцелуев херувима на царских вратах, позже чрез духовные гимны Штурма в Благородном пансионе. Далее – переживание смерти Андрея Тургенева. Душа расположена. «Счастье – в вере в бессмертие». Это для юноши Жуковского уже ясно, но самой веры, полной и настоящей, еще нет. Пантеистическое же не удовлетворяет. За гробом он хочет с Андреем встретиться. Однако, если «по смерти душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного

смертью со своими любезными?».

Если только капля, то с Андреем не встретишься. Нужно бессмертие личное. А это так трудно для разума, так трудно понять и так, кажется, невозможно представить себе… – это гораздо безумнее азиатской «капли». Да, он знает: религия необходима. «Она нужнее и действительнее простой умственной философии; но только хочу, испытаю и увижу». А пока что – колебания. Им, оказывается, помогли и некоторые впечатления жизни: не все так розово было и в Мишенском. Он живо себе представляет, «какое блаженство должна давать прямая религия». Это в теории. А в действительности с ранних лет видел он христиан только по имени, не имевших понятия, как ему казалось, «о возвышенности чувств христианских». Чувства их и расходились «с правилами и словами». Так что закваска его христианская была кое-чем и отравлена.

Но вот дружба дельна, трещин в ней никаких. В дружбе – стремление к добродетели, выход из одиночества и нередко тоски славных приокских мест, с детства знакомых. Пусть друзья далеко – Александр в Германии, Мерзляков в Москве, Блудов, Кайсаров тоже далеко, все-таки они и с ним, в духе и переживании. Может он чувствовать и одиночество свое, находят на него полосы упадка. Ничего не клеится, и работать дома не хочется – все-таки есть кому написать и есть от кого получить ответ.

Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Случайное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 г. М.Н. Свечиной – типа amitie amoureuse[2] – не в счет.) Никаких Лаис, Дорид пушкинской юности. Никак не коснулась его Афродита Пандемос. Тургенев Иван Сергеевич, вовсе не бурного темперамента, все же с ранней юности прошел чрез крепостную распущенность. Жуковский был незаконным сыном, но у него самого не было незаконных детей. В этом юность его вообще такова, будто он подготовлялся к монашеству.

Но, конечно, он к нему не готовился и оно было ему вполне чуждо. Напротив, много и серьезно думал о любви, семье. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснодушием и нежностию, желаемую жизнь: для заработка трудиться, читать, заниматься садоводством, иметь верного друга или верную жену. «Спокойная, невинная жизнь». Занятия литературой. Любопытно еще в программе – и характерно для всего Жуковского: «Удовольствие некоторых умеренных благодеяний» (этим будет заниматься всю жизнь, и даже «неумеренно»). Наконец, «счастье семьи, если она будет».

Это несколько вяло, но у Жуковского вообще голубая кровь,

не в смысле барственности, а по отсутствии кипения жизненного. Это избавило его от многого тяжелого и грубого мужской юности. Мучеником пола он никогда не был – в этом его чистота, счастье и некоторый ангелический характер природы. Это же и лишало той силы, которая дается стихией. Его лазурность есть одновременно и разреженность.

Он мечтал о любви, и женщине, и семье – возвышенно и туманно. Судьба вела его так, как надо. В деревенском уединении были у него и некоторые знакомства приятные (например, сосед барон Черкасов, который нравился ему просвещенностью и умом). Но для сладостного излияния сердца все это неподходяще. А сердцу пора уже было изливаться.

* * *

В 1793 году, в самом начале бурь, надвинувшихся на Европу, в орловской глуши родилась у Екатерины Афанасьевны Протасовой дочь Маша. Через два года другая, Александра. Обе они возрастали в тишине и довольстве барства русского (разорение Андрея Иваныча не за горами, но девочки этого, разумеется, не чувствовали). Были они разные, и по внешности, и по характерам. Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с не совсем правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически-мягкого одеяния – нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мира сего – бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Это – жизнь, резвость, легкий полет, гений движения. Собою красивее, веселее и открытей сестры, шаловливей. Везде, где проносится, – смех и забава, ее надо иногда и унять. Она может кататься верхом, грести в лодке, брить кошкам усы – последнее даже любит. Ее звонким голосом полон белевский дом.

В 1805 году Маше было двенадцать, Александре десять лет. Надо учиться, а средства скромны, это не Мишенское времен старого Бунина.

Но вот оказалось, что все складывается правильно – учитель есть, совсем рядом, свой же близкий, Вася Жуковский, бескорыстный, бесплатный, поэт – уже с некоторым именем. Екатерина Афанасьевна согласилась. Уроки начались.

Домик Жуковского в Белеве был уж готов. Но, видимо, он в нем не жил. Надо полагать, там поселилась мать его Елизавета Дементьевна. Ему же удобнее было в Мишенском, из Мишенского

он ходил пешком ежедневно за три версты в Белев на урок к Протасовым. Охотно видишь в весенние, летние дни романтическую фигуру в плаще, может быть в шляпе широкополой, из-под которой кольцами вьются кудри, шагающую среди тульских полей к скромному домику в Белеве – там ждет строгая маменька и две тоненькие девочки.

Уроки скучная вещь. Но вот бывают же и нескучные. Эти белевские были такими именно. Нельзя представить себе, чтобы для девочек приход ежедневный милого, ласкового учителя-юноши, юноши-поэта, который на полах плаща своего приносил в дом всю поэзию и природы, среди которой только что брел, и души русской, – чтобы приход этот не был праздником. Это не пяльцы, не вышивание матери, не нянюшкино бормотание. Целый мир новый являлся, в очаровательном облике. Открывал он им и еще миры – прошлого и настоящего.

В теплом веянии дней майских, июньских девочки записывали гусиными перьями в ученические тетрадки выдержки из поэтов, историков, имена прославленных корифеев Европы. Можно ли было быть невнимательной, не приготовить заданного?

Учитель учил их так, будто и им предстоял путь поэзии и литературы, – нечто от своего Благородного пансиона внес в белевское преподавание. История, философия, изящная словесность. При этом некоторая система (для «романтика» этого всегда типичная): утром история и сочинения. Вечером философия и литература. Понятия о натуре человека и логика. Теология и нравственность, грамматика, риторика, изучение поэтов, эстетика. Позже (уроки продолжались года три, девочки подросли) – сравнительный литературный метод. Во всяком случае, в Белеве читали Шиллера и Бюргера, Гёте, Шекспира. Трагедии Расина чередовались с Корнелем и Кребильоном, оды Горация с Державиным.

На уроках присутствовала и Екатерина Афанасьевна. Частью это был надзор, частью самообразование.

Девочки, быстро вытягиваясь в девушек, усердно, легко воспринимали. Юный учитель и сам обучался с ними. Он в то время еще не был силен в германской литературе, возрос на французской, и язык немецкий знал не блестяще. Все это совершенствовалось на глазах Екатерины Афанасьевны. Девочки делали успехи, учитель был ими доволен, и они им довольны, но о чем Машенька мечтала, оставаясь одна, ложась спать, или в звездную ночь глядя из окна девической своей комнаты в сторону Оки и Мишенского, куда ушел в летнем сумраке Базиль со своей поэзией, – этого мать не знала. Знала подушка, может быть, немного сестра Саша. Но все это еще так неясно, и томно, и

обольстительно. Не жизнь, а мечтательное преддверие жизни. Может быть, в чем-то эта скромная Маша – полевая кашка – предваряла и Таню Ларину, и Лизу Калитину.

В том же роде и чувства Базиля: чем дальше, тем больше. Вот он сам говорит – ему слово: «Что со мной происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл! Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве».

Вряд ли, записывая, угадывал, что будет для него этот «ребенок», с которым, когда вырастет она, мог бы быть счастлив, – о жизни семейной, дружеской и возвышенной юный Жуковский уж думал по поводу Машеньки. Думал и о том, как мысли о ней будут оживлять его и «веселить» во время путешествия. Думал и о Екатерине Афанасьевне, ее отношении ко всему этому – и ничего не угадал: как мечтатель, прозорливостию вообще не отличался.

Сердце его возжигалось, но поэзия еще в ущербе: за весь 1805 год всего три стихотворения. Следующий, однако, 1806-й богаче. Писание идет разными пластами. Самый обширный – басни: Флориана, Лафонтена. Усердно переводит их, печатает в том же «Вестнике Европы», где появилось «Сельское кладбище». Это – скорее для заработка. Для большой литературы дает он очаровательную элегию «Ручей», нечто нежно-пейзажно-меланхолическое, полное легкости и музыки. Вдохновлено печалью прохождения и жизни, и того, что в ней особенно высоко: дружбы. («И где же вы, друзья?..») Это – мужское стихотворение, опять мелькает тень Андрея на фоне идеализированного приокского пейзажа, как бы и пропетого.

Ручей, вьющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!..

Тихая эта гармония проникает всю элегию – «как тихо веянье зефира по водам», – может быть, именно она привлекла Чайковского. Слова знаменитого дуэта Лизы с подругою в «Пиковой даме» взяты отсюда:

Уж вечер… облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает…

«Легкозвонность» Жуковского принимает здесь оттенок

зеркально-прозрачный, отблеск солнца вечереющего лежит на всем, всему сообщает прелесть, одухотворенность.

Не для «внешней» литературы еще один слой писания его, отныне он будет сопутствовать потаенно, по разным записочкам и альбомам, явному ходу поэзии. Это мотив Машеньки, прославление белевской Беатриче. Вот он дарит ей, на 16 января, альбом стихов. В середине заглавного листа рисунок сепией: мужчина, женщина, холмик с вазой, деревня. Наверху надпись: «Памятник прямой дружбы». И затем, на обороте листа четверостишие:

Мой друг бесценный, будь спокойна!
Да будущего мрак тебя не устрашит!
Душа твоя чиста! ты счастия достойна!
Тебя Всевышний наградит.

В летописи литературы не так значительно, в летописи сердца важно: первое звено цепи, его к ней и ее к нему приковывавшей. Знала ли об этом Екатерина Афанасьевна? Вряд ли могла бы одобрить хоть и вовсе невинное и поэтическое, все же возжигание чувств в полуребенке. А оно продолжается. Того же октября 1806 года и другое стихотворение, ею же вдохновленное («Младенцем быть душою…»), полное того же лучеиспускания. За весь 1807 год всего одно четверостишие, но это еще ясней и ярче. («М. при подарке книги».)

На новый год в воспоминанье
О том, кто всякий час мечтает о тебе,
Кто счастье дней своих, кто радостей исканье
В твоей лишь заключил, бесценный друг, судьбе!

Какое может быть уж тут сомнение? Маше скоро пятнадцать. Своего полудядю-наставника знает она слишком хорошо – иначе как всерьез ко всему в нем относиться не может. Обращая к ней эти стихи, он, конечно, брал на себя ответственность. Но легкомыслия в этом не было.

«L’amor che muove il sole e l’altre stelle»[3] – любовь, все движущая, и его вела, давала право. Права на чувство он у Екатерины Афанасьевны не спрашивал. Но она, если бы знала об этом стихотворении, должна была бы ужаснуться.

А в то время ход жизни его вел к тому, что из белевских краев предстояло удаляться. Звала литература. Точнее, в ней практическая деятельность. Он в деревне не мог больше

оставаться. И уехал в Москву.

## Деятель

В конце 1803 года Карамзин отошел от «Вестника Европы» – взялся за «Историю государства Российского». Журнал передали Панкратию Сумарокову. Тот вел его неудачно. Качеповский, несколько позже, также не преуспел. Стало ясно, что, если не принять решительных мер, дело погибнет. Вспомнили о деревенском Жуковском. И обратились к нему как к надежде литературы российской.

Шаг оказался правильным. Для Жуковского «Вестник Европы» был колыбелью. Равнодушным к нему он не мог быть. С другой стороны – для молодого поэта предложение лестно, возбуждает, дает выход и силам, и самолюбию. (А сил было достаточно.)

В Москве поселился он, по-видимому, вновь у Прокоповича-Антонского, в доме Шаблыкина по Вражескому переулку, в комнатке белого флигеля.

Началась полоса некоторого кипения – молодому выдвинувшемуся автору на первых порах всегда интересно быть редактором, кого-то привлекать, кого-то отдалять, создавать друзей, врагов, чувствовать, что его труд нужен, даже срочен, если иногда утомителен, то и направлен к цели высокой, настоящей. Есть и ответственность, и сознание власти.

Жуковский взялся горячо. Его призвали поднять журнал, он и подымал. В 1808 году «Вестник Европы» вышел уже за его подписью. В «Письме из уезда» он дает как бы программу, свое отношение к журналистике. Оно очень серьезно и даже возвышенно. Чтение должно быть интересным, но и что-то давать. Это не просто забава. Цель журнала осведомлять и питать. Надо печатать произведения поэзии, своей и чужеземной, повести и романы, но серьезные, а не «ужасные» или «забавные». Философия, вопросы морали, осведомление о всем движении идей в мире, новейших открытиях («действующих на благо общества» – о разрушительных не было еще речи). «Журналист описывает новейшие и самые важные случаи мира» – служит связью с самыми отдаленными краями земли. Но только не занимается политикой. Критики тоже не много: нужно творчество положительное, не разложение (вполне Жуковский, утвердитель, а не подкапыватель). И на самое звание писателя взгляд соответственный: «Любить истинное и прекрасное, наслаждаясь ими, уметь их изображать, стремиться к ним самому и силою красноречия увлекать за собой других – вот благородное назначение писателя».

Непременно стремиться самому к истинному и прекрасному!

Задача роста, самовоспитания, самоусовершенствования. Путь в сущности религиозный. Зачаток линии Гоголя, не Пушкина.

1808 год наполнен писанием и деятельностью. Это не угашает тяготений белевско-мишенских. Маша осталась в глуши. Жить ему можно в доме Шаблыкина, а глубоко и потаенно – не важнейшею ли – частью души находиться в белевском домике Екатерины Афанасьевны. Расстояние лишь обостряет. Маша главенствует – теперь и проза Жуковского ею проникнута. Вот ей исполнилось пятнадцать лет. Во второй кн. «Вестника Европы», вышедшей в это время, помещена повесть Жуковского «Три сестры» с подзаголовком: «Видение Минваны». Минване тоже пятнадцать лет. В день рождения своего она выходит на прогулку к реке и роще сентиментального пейзажа и там встречает трех таинственных дев, Вчера, Нынче, Завтра, – от старшей, Вчера, выслушивает нежно-философические наставления, вполне отдающие молодым редактором «Вестника Европы». А затем девы, показав ей смысл прошедшего, настоящего, будущего, так же мгновенно исчезают, как явились. В «Трех поясах» – она же Людмила, скромная и незаметная, но обаятельная, – берет верх над сестрами, она, цветочек «маткина душка», становится невестой киевского князя Святослава.

Ей и стихи в этой повести:

Роза, весенний цвет…

(гордая роза опалена солнцем, а «маткина душка» процвела).

И «Марьина роща» с нежным певцом Усладом, грозным Рогдаем – и тут уже прямо Марией – внутренно устремлена к непрославленному городку Белеву (хотя действие происходит на берегу Москва-реки). Повесть печальна. Рогдай убивает Марию из ревности, любовь ее и певца Услада перенесена в вечность, за гроб. В здешней жизни она не осуществилась.

Проза всех этих произведений не подымается над карамзинским, «сладостным» повествованием. В литературе место ее малое. Это лишь история сердца.

Но стихи той же полосы, тою же любовию прямо или косвенно вдохновленные, украшают вполне «Вестник Европы». Сохраняются прочно и в словесности нашей. Кто, кроме Жуковского, мог написать такую «Песнь» («Мой друг, хранитель-ангел мой…») – некий священный гимн Маше, таким восторгом, светом полный, всю жизнь потом волновавший его (да и ее):

Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной.

……
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

Любовь есть восторг, но и горечь: не зря он начинал под знаком меланхолии. Вот послание «К Нине». Смерть – уносит ли с собою и любовь? Все ли мгновенно, погибает?

О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?

В словах как бы и утешение:

О Нина, я внемлю таинственный голос:
Нет смерти, вещает, для нежной любви.

Но тон послания островозбужденный, взошедший на вечной печали расставания с любимой.

Мой друг, не страшися минуты конца…
……
Я буду игрою небесныя арфы
Последнюю муку твою услаждать…

Смерть бродит около. От нее надо закрыться, ее преодолеть.

«К Филалету» (Послание Ал. Тургеневу) меланхолией напоено уже вполне. Есть в нем глухой намек на судьбу собственной любви («…И невозвратное надежд уничтоженье»). Даже отдать жизнь свою за счастье близкого существа не дано, не говоря уже о счастливом завершении любви.

(Жуковский мог только еще мечтать о браке. Ничего выяснено не было, но висела угроза: родство. Маша – дочь его сводной сестры, полуплемянница. Может ли стать женою? Благословит ли на это мать?)

Все было еще впереди, а пока напряженная и обостренная, скромно-монашеская, полная творчества и труда жизнь в Москве. Среди чтения рукописей и корректур, треволнений и восторгов сердечных идет медленная внутренняя перестройка по части литературной. Основная и давняя его закваска – французская. На ней взошел он. Но уже Андрей Тургенев кое-что заронил: есть и германская литература. В 1806 году просит Жуковский

(Александра Тургенева) прислать «что-нибудь хорошее из немецкой философии», она больше возбуждает энтузиазм. Гёте и Шиллера знает он довольно давно, но доходят они неторопливо, как и язык немецкий. (Первый перевод его из Шиллера «Тоска по милом» – 1807 год – говорит о неполном владении языком.)

В «Вестнике Европы» он дает все еще много места французской литературе. Печатает Шатобриана (путешествие в Грецию, Иерусалим), Жанлис, Шанфора. Как критик находится во власти Лагарпа, хотя уже и Лессинга знает. Но Германия выдвигается – для его же собственной славы и успехов. В 1808 году напечатал он балладу «Людмила», переделку Бюргеровой «Леноры»: начало поэзии «чертей и ведьм». К его миру сердечному эта вещь отношения не имеет – писание чисто литературное. Бюргера ставит он еще в это время рядом с Шиллером. В гробовой и могильной балладе что-то его задело, он воодушевился, применил все к славянскому миру, соответственно облику своему кое-что и смягчил, во всяком случае написал остро и возбужденно. Можно так или иначе относиться к «Людмиле», но считать ее вялой нельзя. В ней есть неприкрытая обветшалость, но под ветхими декорациями жива острота самого созидания. Написавший ее писал рьяно. И как с Жуковским часто случалось, менее удержавшееся в потомстве более шумело при жизни. «Людмила», конечно, имела успех: ярко, эффектно, ночная скачка с женихом-мертвецом, церковь, петухи, вместо свадьбы могила и брачное ложе со скелетом – читателям нравилось. Но во всяком случае, хорошо было то, что Жуковский, хоть и через Бюргера, несколько аляповатого, подходил к германской поэзии, где для души его нашлась истинная родина. Скоро появляются уж и Гёте, Шиллер, среди всего этого один лишь француз – Мильвуа с «Песнью араба над могилою коня». Здесь блеснул Жуковский двустишием-рефреном:

> Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
> Он спит, на зыбкий одр песков пустынных пал…

шестистопный ямб летит молнией самого коня, мчащегося в пустыне (благодаря пэонам, слогам без ударения, убыстряющим ритм: радость поэтов русских в ямбе, чем и Жуковский и позже Пушкин так упивались).

Надо считать, что двухлетие это в Москве, когда он редактировал «Вестник Европы», было для него успехом. Он много работал: поэт, новеллист, критик, статьи о театре, частию публицист и философ. Журнал на всем этом выиграл. Те, кто Жуковского из деревни вызвали, не ошиблись. Но если они

думали, что так навсегда и засядет он за гранки, корректуры, чтение рукописей, исправление переводов и возню с типографией, то тут не угадали. Молодого поэта редакторство может увлечь, но лишь временно, новизной, знаком успеха, материальной удачей. Жуковский при всей и мечтательности своей и полете всякое дело исполнял добросовестно. Литературное же и подавно. Как кормчий «Вестника» был на высоте. Но не вечно же этим заниматься. Тем более что тянуло в края белевские.

В 1810 году он Москву покидает – вновь для деревни.

# Снова Протасовы

Екатерина Афанасьевна Белевом не удовлетворилась – решила перебраться в Муратово. Для этого пришлось строить там новый дом.

Не без удивления узнаешь, что Жуковский, из Москвы уже возвратившийся, не только изготовил план муратовского дома, но и взялся наблюдать за постройкой – вот, ему нравилось заниматься и такими делами.

Для себя же купил небольшое именьице рядом с Муратовом, некий поэтический Tusculum. Деньги – все то же бунинское наследство, но и все очень скромное, как в Белеве: домик на берегу реки. Чистота, свет, порядок – любимые черты для него. Много цветов. Перед окнами целые их террасы: ландыши, розы, тюльпаны, нарциссы. Все это сходит к реке «едва приметным склоном». Мельница «смиренна» шумит там колесами, вздымающими жемчужную пену.

Мелькает над рекой
Веселая купальня –

он сам так описывает в стихах свое жилье, разумеется, с условностью анакреонтической. Живо изображает швабского гуся, который домик свой –

На острове, под ивой,
Меж дикою крапивой
Беспечно заложил.

Здесь поселяется Жуковский, один – вроде гуся этого, но «вблизи» кое-кого. Маша теперь совсем близко. Уроков он ей более не дает, но, конечно, все с нею и связано, если бы не она, никакого Тускулума бы не появилось, да и теперь он постоянно в Муратове.

Это не значит, конечно, что его жизнь беспорядочна или праздна. В Тускулуме своем он непрерывно работает. Пишет сам, составляет антологию поэтическую «Сборник лучших русских стихотворений», занимается самообразованием. История увлекает его. Он вдруг убедился, что очень мало по этой части знает, выписывает чрез Ал. Тургенева книги, сидит над разными Гаттерерами, составляет хронологические таблицы, пишет

конспекты по периодам историческим: начало того методического Жуковского, который впоследствии будет воспитывать наследника. Этим всем хочет восполнить образование – сам считает его слишком поверхностным, в Тускулуме обучение свое по-любительски и продолжает. Берется за древность – латинский язык, чтобы в подлинниках читать поэтов. Но и тут недалеко уходит. С древними поэтами знакомство его окажется чрез переводы. Но не в древности, не в истории сила. Она в вечной стихии, вечно волнующей человека. Маша, «маткина душка», которую опекает сурово-сибирская мать, – вот она и рождает в нем «звуки небесные», подземно дает славу.

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!
Лиры нет для тебя!

Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!

Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Маша за сценой, смиренно невидима и неслышима (стихотворение это сохранила в своем портфеле. Нашли его после ее смерти, а напечатано оно после смерти Жуковского).

Он же живет полной, не вялой жизнью, в напряжении, творческом труде, огне любви. Позже об этой полосе своей скажет: «То была поэтическая жизнь, и только тогда я был поэтом». Последнее, разумеется, неверно. Но что жил он в Тускулуме поэтически-пронзительно, сомненья нет.

Было некоторое метание: между творчеством и любовью. Какие-то противоположности, волны душевные, но размах их не мал и в столкновении сила.

Скучно не было. С внешней стороны жизнь не отшельническая. По тем временам даже разнообразная. Кроме Муратова ездит он в Чернь, имение нового своего приятеля Плещеева. Там ему очень хорошо – совсем по-другому.

Плещеев богатый русский барин, натура художническая, одаренный любитель. Музыкант сам – играет на виолончели, сам сочиняет немного. По его нотам жена его, красавица Анна Ивановна (которую он называл почему-то «Нина»), поет отличным

голосом романсы – среди них много на слова Жуковского: музыку писал муж.

К ним ездил Жуковский за сорок верст, как домой. Там его любили. Там он меньше стеснялся, чем с Екатериной Афанасьевной в Муратове. Дом Плещеевых – пышный, веселый наряд, украшение. Хозяева молодые, с артистическими чертами. Привет, широта, гостеприимство. Смуглый Плещеев с толстыми губами, черными кудрявыми волосами сам развлекался и развлекал гостей. Праздники, увеселения. Домашний театр – сам писал комедии, для опер сочинял музыку, всякие пантомимы, фарсы, конечно, не без Жуковского. Сам отлично читал, режиссировал, выступал на сцене со своими дворовыми актерами. Лицо его было некрасиво. Но что-то в нем чувствовалось приятное, и в азарте сценического исполнения, в воодушевлении театральном он просто даже и трогал. Жуковский очень его любил (в письмах называл «черная рожа», «мой негр»), тот тоже любил его. Жуковский у них жил подолгу, как поэт при маленьком дворе, но как поэт-друг, а не прихлебатель. Тут он был на равной ноге при неравном богатстве: уравновешивалось тем, что для них он не просто Жуковский, а Жуковский – надежда, чистая восходящая звезда России.

Когда от них уезжал, то из Тускулума своего переписывался в стихах, сам писал по-русски, негр отвечал французскими стихами. (Все или почти все это было шуточное, вероятно. До нас ничего не дошло – дом в Черни сгорел, с ним и все, что Жуковского касалось. Но, конечно, пропало неважное. Важное сохранилось.)

В это время он написал «Громобоя», романтическую поэму по повести Шписа «Двенадцать спящих дев».

«Громобой», как и «Людмила», – то писание Жуковского, которое теперь считается историческим. Есть отличные места, есть стихи, вошедшие в грамматику примерами, в общем же наивно, простодушно и полно ужасов не ужасающих.

Однако чрез «Людмилу» и чрез «Громобоя» должен он был пройти. Если бы они пропали, как шутливые стихи Плещееву, в ткани литературного развития его оказался бы прорыв.

К Шиллеру он подходил долго и неуверенно, но как раз теперь встреча произошла внутренно: чрез него можно было сказать нечто и о себе. (В «Жалобе» это просто стон по «маткиной душке».)

Именно теперь некоторый кинжал пронзает ему сердце.

Маше семнадцать лет. Ему самому двадцать семь. Между ними все уже ясно – в светлом и высоком духе. Дело идет к соединению жизней. Однако не может быть речи о браке, пока не

благословит мать.

По-видимому, первое объяснение Жуковского с Екатериной Афанасьевной произошло в 1810 году. Ссылаясь на близкое родство, она заявила, что брак невозможен. В благословении отказала ему начисто.

* * *

Год рождения Маши (1793) был годом Вандеи, разгара французской революции. Ее раннее детство, как и юность Жуковского, проходили в гигантской Скифии, еще сумрачно помалкивавшей, защищенной лесами, равнинами, морозами. Для европейского человека это страна царя и рабов. Запад кипел уже. Громы, паденья царств, молния Наполеона пронзали его. Россия все еще отсиживалась дома. Выпустила, правда, и свою молнию, Суворова. Позже тоже посылала свои войска на запад, медленно, на чужой земле начала проливать кровь своих сынов – и неудачно.

Гроза нарастала. Жизнь же в России шла по-прежнему. В Белеве, в Москве и в Муратове Жуковский писал стихи, Маша училась, молилась, мечтала о любви и наконец полюбила, и весь тон, весь дух и цвет жизней их, мирных и поэтических, так далек был от надвигавшихся событий! Да и понимали ли они в них что-нибудь? Маша читала и Гёте, и Шиллера, и многое другое, о Наполеоне слышала, конечно, как о чудище, но вот именно в дали неизмеримой – в другом мире. Какое он имел отношение к ее жизни?

Жуковский был более ответствен; писатель, одно время и редактор. Но и он в этих делах не много смыслил.

«Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел». Ивику надлежало петь бесхитростные песни, возвеличивая любимую, меланхолически мечтая и тоскуя. Он так и поступал, однако и он в 1806 году, когда Россия воевала еще на чужой земле, – написал «Песнь барда», отклик на современность.

Но это все еще далеко, глухо. «Нас не касается» – Эйлау, Фридланд, очень тягостно и кроваво, но где-то в Восточной Пруссии, там же Тильзит, два молодых императора о чем-то сговариваются, празднуют, заключают мир, навсегда маленький городок прославивший, но никакого мира в мир не принесший.

В то самое время, когда Жуковский помогал Екатерине Афанасьевне строить в Муратове дом, когда писал «Громобоя», просил руки Маши, – тут-то для родины назревало… В 1811 году людям, следившим за политикой, было уже ясно, что война

неизбежна. И война страшная. За Наполеоном Европа, он действительно властелин, это борьба за Россию. Но Жуковский, даже когда занимался журналом, политики сторонился. Теперь, в Тускулуме, и того менее. 1811 год шел для него под знаком неудачи объяснения с Екатериной Афанасьевной – и еще печаль постигла его в месяце мае. Закончилась давняя, путаная, греховная – в общем-то приведшая не ко греху – история с его собственным появлением на свет. Скончалась Марья Григорьевна Бунина, его воспитательница и «просветительница», а через двенадцать дней и мать настоящая, Елизавета Дементьевна, некогда девочка Сальха из Бендер. Странно скрестились эти жизни. Началось с горя, прошло чрез рождение светлого дитяти, через примирение «соперниц», из которых одна – барыня, а другая – рабыня. Кончилось тем, что рабыня-соперница как бы не смогла даже пережить смерти барыни – привязанность взаимная существовала между ними уже давно. 12 мая 1811 года скончалась Марья Григорьевна, 25 мая того же года Елизавета Дементьевна.

Эти уходы по-разному отзывались в Жуковском. Марья Григорьевна уже легенда, миф детства, величественное и далекое, с жизнию его теперешней мало совместимое. Нечто и благосклонное, но связанное с тяжелым в самом основном. Существо, к которому отчасти питал он благодарность, отчасти боялся его, отчасти пред ним благоговел. Любил ли просто, по-человечески?

В матери настоящей ничего жуткого, никакого смущения перед высшим, начальственным. Но и любви недостаточно – надо бы больше. Он и сам угрызался, а любовь не появлялась. Можно быть и почтительным, и послушным, но… – «Я люблю ее гораздо больше заочно, чем вблизи». Это его томило. Чувств к родителям по-настоящему он не знал, ни к матери, ни, тем менее, к отцу. Прямо высказывал горечь, завидовал тем, в чьей жизни родители что-то значили.

Все-таки с этими женщинами уходило нечто от детского и дорогого.

Жил же он настоящим. Настоящее – это Муратово, Маша и Александра, сестра ее, да и сама Екатерина Афанасьевна. К ним прирастал он кровно.

Основное светило – Маша. Но как раз к тому времени из младенчества переходит к юности и младшая сестра, Александра, та, что наполняла дом шутками и проказами, брила кошкам усы, хохотала, играла, пела.

Маша Penserosa[4], Саша Allegro[5] – так он их называет. Allegro он очень любит, совсем по-другому, чем Машу, она будет

милым домашним гением его, светлым видением, оживляющим все вокруг. Будет ему верным другом, поклонницей и переписчицей.

Разумеется, все о томлениях его с Машей ей известно. Это союзная и родная душа. Блеск жизни ее только еще начинается, и вот входит она уже в русскую литературу – более даже открыто, чем Маша. (Ее незачем скрывать.) Ей посвящен был «Громобой» – с особым двенадцатистишием. Теперь появилась «Светлана». Это гораздо больше! «Светлану» он тоже ей посвящает, но тут связь с нею гораздо глубже, она сама как бы Светлана, баллада ею вдохновлена. Саша Протасова живет в хореях этих, ее свежесть, ясность, жизнерадостность брызжет из каждого стиха, несмотря на «жуткие» сцены с завыванием метели, с женихом-мертвецом.

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.

Во всем легкий мороз, крепость, даже суховатость, редкая у Жуковского, и непобедимо-мажорный тон. Страшное только приснилось. Это не трагедия, как у Людмилы, а тяжкий сон – пред зеркалом, в гаданье видит его Светлана, мучаясь в разлуке с женихом, а с пробуждением ее, в том же русском святочном морозе, с колокольчиком, сквозь туман и блеск солнца на снегу в санках подкатывает настоящий жених: вернулся.

Ты, моя Светлана…
Будь, создатель, ей покров!
……
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга.

Точно бы светлая стихия Светланы оказалась тут сильнее самого Жуковского. Он ей поддался и написал один из ранних шедевров своих, весь проникнутый свежестию ключа. «Светлана» – удача художника. Остро и сдержанно, немногословно и – поэзия, порождено вдохновением и одето ризами неветшающими – чего большего может желать поэт? Самой Саше Протасовой дано как бы новое крещение, в литературе… С этого времени входит она в жизнь Светланою: дала душу балладе, сама приняла отблеск прекрасного и

светоносного имени, как бы еще ее возносящего.

А времена были грозны. Ночью комета блистала хвостом своим, «зверь из бездны», над которым не один Пьер Беаухов ломал голову, собирал рать многоплеменную, на самых уже границах России. Александр молчал. В молчании этом нельзя было еще разгадать будущего упорства, желания идти до конца. Гений действия, победы жег Наполеона. Гений охранения, сознания великих тайных сил страны владел Александром.

В начале лета 1812 года французские войска перешли Неман. Война началась.

Первое время она заключалась просто в движении войск на восток. Витебск в июле – решающая минута. Наполеон остановился. Мог бы и зимовать, все наладить с продовольствием армии, ее устройством, ждать весны для похода на Москву. Все так и советовали. Поколебавшись, он двинулся дальше. 5 августа был под Смоленском, с боем взял его. Можно думать, что Россия поражена страхом нашествия, горестью и тревогой. Несомненно, все, что близко было от Смоленской дороги, старалось бежать. Но немного в сторону – та же глушь и ширь, годами налаженное мирное житие. Муратово Екатерины Афанасьевны в Волховском уезде Орловской губернии, Тускулум Жуковского, Чернь Плещеевых под ударами не находились – это южнее, в стороне, все-таки от Смоленска не более двухсот верст. Тут все по-прежнему. Война войной, жизнь жизнью. 3 августа день рождения Анны Ивановны Плещеевой. По тем временам (и тем движениям сведений) в Черни, наверное, не знали, что Смоленск уже в опасности. Война далеко, Бог с ней. Пока что – семейный праздник с угощениями, театром, танцами, чтением. Все муратовские барышни тут, другие соседи, соседки, Жуковский из Тускулума своего.

Торжество проходило блестяще. В августовской ночи летели падающие звезды. «Негр» распоряжался, успевал всюду. Красавица рожденница сияла. Рядом с фейерверком, в ее честь возносившимся, поэт устроил и свой собственный, к ней не имевший отношения: в этот день нашел подходящим прочесть свое стихотворение «Пловец» – Плещеев написал к нему музыку, Жуковский собственно «пел».

Буря занесла пловца «в океан неисходимый». Мрак, бездна, ветры… Челн погибает. Пловец в отчаянии, совсем пал духом. Но «невидимой рукою сквозь ревущие валы» Провидение ведет его и не дает погибнуть. Мрак вдруг исчезает и –

Вижу райскую обитель…
В ней трех ангелов с небес.

Они его и спасают. Он же ничего не хочет для себя.

Дай все блага им вкусить;
Пусть им радость – мне страданье;
Но… не дай их пережить.

Что Маша была для него ангелом, самоочевидно. Светлана-Александра легким гением – понятно. Но Екатерина Афанасьевна? Он ее очень почитал, частию души и любил, все же натяжка героична. Наверно, хотел тронуть, расположить. Действие получилось обратное. Екатерина Афанасьевна просто разгневалась – нет, это уж немножко слишком! Быть влюбленным в близкую родственницу – это его личное дело. Но на людях и прозрачно выставлять все, подчеркивать, вовлекать девушку в неосуществимые фантазии…

Бедный пловец. Объяснение вышло бурным. Известий о нем нет, но на другой день Жуковский должен был оставить Муратово: она просто изгоняла его.

Надо думать, что еще ранее, в июле, когда обнародован был манифест о создании новых военных сил, Жуковский уже собирался на войну. Возможно, кому-нибудь в Москву и писал. Теперь же, во всяком случае, мгновенно собрался и вылетел из своего Тускулума – время самое подходящее.

12 августа он уже поручик Московского ополчения. Враг занял Вязьму и наступает на Можайск.

А в Орловской губернии Екатерина Афанасьевна, прежде чем отбыть с детьми в Муратово, объявила девицам Юшковым, племянницам своим, о любви Жуковского к Маше, его намерениях и о своем отказе.

Про Машу, конечно, они давно знали. Базиля обожали, все горой за него стояли и на тетку обрушились. Тотчас рассказали об этом Плещеевым. (До Маши дошло все это позже, чрез тех же Плещеевых.)

А Жуковский со своим ополчением выступил навстречу неприятелю. Дошли до самого Бородина.

Миловидный поручик с прекрасными мечтательными глазами провел ночь 25 августа лицом к лицу с Наполеоном – в кустах, в резерве армии Кутузова. Ночь эта, перед сражением Бородинским, была тиха, довольно холодна, небо в крупных звездах. Сначала раздавались единичные выстрелы (звук – точно рубят в лесу деревья), потом и это утихло. Заснули все, тишина неизмеримая. Только небо да звезды. Спал ли поручик, и если

нет, то о чем думал?

Утром грянула пушка, начался бой. Ополченцы стояли на левом фланге, неприятель напирал здесь всемерно, добиваясь прорыва. Фланг медленно гнулся в течение дня, но известно упорство войск русских под Бородином: ни прорвать фронт, ни обойти французам не удалось. Ополченский резерв медленно отодвигали. В бой не вводили. Артиллерийскому же обстрелу он подвергался – снаряды падали в его расположении. Были потери.

Жуковскому участь князя Андрея не назначалась – не ходил он взад-вперед, ошмурыгивая сухую полынь, дожидаясь роковой бомбы, волчком перед ним взвывшей. Но весь грохот боя слышал, облака дыма, к вечеру свившиеся в сплошную тучу, видел. Страду русского солдата пережил. Не так, разумеется, как толстовские герои. Зло и трагедии, малые или мировые, – не его мир. Это от него отскакивало, никак не проникало, как и он в них не входил. Наполеон мог укладывать тысячи людей, ясности Жуковского не затмевал.

Ясность страшного дня затмилась ночью. Кончилось все вничью. Но с этой ночи Жуковский со своими ополченцами и остатками армии неуклонно откатывался, отступая на Москву. Наполеон вскоре ее занял. А потом наступило затишье. Наполеон сидел в Москве, русская армия множилась и укреплялась. Жуковский успел слетать на несколько дней в родные края.

Очевидно, не так уж велик был разрыв с Екатериной Афанасьевной. Слишком эта семья своя. Слишком он врос в нее, чтобы из-за «Пловца» разойтись. Все-таки ему было предложено смирение – являлся он не победителем. Нелегко было, но явился: ибо здесь для него жизнь. И только здесь.

А Наполеон выступил из Москвы в обратный путь. Напирая, тесня, мучая, двинулись за ним, так же неотвратимо, как отступали, русские преследующие войска. Жуковский укатил в армию – опять объяснения с Машей остались сзади. В Муратове Маша тосковала, он в раннем осеннем холоду шел за Наполеоном. На одном переходе случайная встреча: Андрей Кайсаров, времена университетского пансиона, Дружеского Общества… – встреча имела последствия. Через брата своего, полковника Паисия Кайсарова, Андрей устроил его в штаб Кутузова.

У генерала Скобелева, квартиргера Кутузова, Жуковский писал приказы по войскам. Скобелев срывал даже успех его трудами, Кутузову нравилось красноречие скобелевских приказов и реляций. А тот не стеснялся Жуковским пользоваться. Так было и под Вязьмой, и под Красным.

Но это все еще не литература. Военная литература вторглась

в этого неподходящего человека незадолго до Тарутина.

Жуковский написал теперь не канцелярскую бумагу возвышенного стиля, а произведение поэтическое, войной вдохновленное, вроде поэмы: «Певец во стане русских воинов».

Со стороны формы это удача. Несомненно, внесено новое. (Оссиановский мотив появлялся уже у Державина. Есть и тут он, все-таки от Державина очень далеко.) Если надо кого-то воспевать и прославлять, то для 12-го года именно так и надлежало делать. Певец перебирает всех полководцев российских, начиная со Святослава, особенно напирает на современных. Чередуя четырехстопный ямб с трехстопным, возглашает восхвалительные тосты. «Хор воинов» подхватывает последнее четверостишие, как бы «гремит славу» героям. Есть места блестящие. О родине сказано «навсегда», и с детства запало всем («Страна, где мы впервые вкусили сладость бытия…»), есть строки хрестоматийные, есть изобразительность и острота, как бы и не идущие к мечтательному поэту. Но нежное утро – вполне Жуковский, как и строка: «Есть жизнь и за могилой».

В целом же это произведение «на случай». Нет самого в поэзии важного: бесцельности. Тут все имеет цель, все «нужно». Оттого шумно и смертно. Все для минуты и для дела. Отошла минута, дело отгремело, и произведение увяло. Но пока дело шумит, и оно плод приносит. Не тот, не истинный, но для жизни удобный.

«Певец во стане» дал Жуковскому славу и открыл путь к трону, чего не могла сделать Маша, «маткина душка». Белевская Лаура! С ней он безвестно изнывал бы в Муратове. А теперь, одев блеском слова своего нужное в жизни, вступил на первую ступень лестницы, ведущей к орденам, дворцам, царям. Создатель лирики русской был связан с Машей. Будущий тайный советник Жуковский заключался уже, как в зерне, в этом «Певце во стане русских воинов».

Давний сочувственник его и покровитель Дмитриев поднес эти стихи императрице Марии Федоровне. Ей они очень понравились. Она просила передать, что желала бы иметь их написанными рукою автора, – Жуковский, разумеется, и сделал это, приложив еще стихотворение «Мой слабый дар царица одобряет…».

В конце 1812 года «Певец» появляется в «Вестнике Европы», в январе 1813 года выходит отдельным изданием, а в мае того же года, по желанию императрицы, издание повторено. (В списках стихотворение ходило по всей России.)

И все-таки военная поэзия, да и вообще «военное» – случайность в жизни Жуковского.

Некогда майор Постников возил мальчика Васеньку в Кексгольм, определяя в полк. Из этого ничего не вышло: он оказался в Благородном пансионе. Теперь, в трагическую минуту России, на тяжелом повороте личной жизни кинулся он вновь туда, куда не надо. («Знакомый с лирными струнами, напрячь он лука не умел».) И вновь это лишь мелькнуло. Не только воевать, но и приказами, реляциями о сражениях не дано ему долго заниматься. Едва написав «Певца» и (после Красного) «Вождю победителей», Жуковский в Вильне заболевает. Тогда это называлось горячкой. Было ли у него воспаление легких, тяжелый грипп? Во всяком случае, нечто решительное и бурное. В декабре он оправился, но, очевидно, не настолько, чтобы в армии оставаться. Армия преследовала Наполеона, голодала и холодала. Ей предстояла еще борьба в Европе, Лейпциге, кампания во Франции, Париж. Ей нужны были не Жуковские.

Его отпустили с миром, в январе он возвратился уже домой.

* * *

Дома было туманно и нелегко. Маша знала все от Плещеевых – да теперь и сам он не скрывал. «Пловец», внезапный отъезд в армию… – вряд ли и тогда она не угадала. Теперь все было ясно. При чувствительности своей, нервной хрупкости и способности глубоко переживать, Маша трудно выносила этот год – даже хворала: вероятно, в нервном перенапряжении.

Жуковский чувствовал себя островозбужденно и непрочно. Сердечные дела в неясности. Решения не было, а должно было быть. Несмотря на резкую сцену в августе, не могла Екатерина Афанасьевна прервать все с ним, действительно удалить из Муратова. Для нее было в нем двойственное: и да и нет, и свой, близкий славный Базиль, с детства в доме произраставший полубрат, и невозможный жених, смутитель покоя дочери (да и матери: не надо думать, что Екатерина Афанасьевна легко это переживала).

Ее взгляд был ясен: она знает, что Базиль сын ее отца, степень родства его с Машей брака не допускает. Одно из двух: или скрыть от священника, что отец жениха Бунин, или священник венчать не станет. Она Машу любила (хоть и деспотически), и Базиля любила, но Церковь и закон выше. Церковь обманывать нельзя.

Жуковский церковным тогда не был (да в полной мере никогда и не стал). Упорство ее казалось ему странным, неправедным. Казалось формализмом – тем в быту христиан, что

он праведно не принимал. Он близок к счастию, к радости великой и для себя и для прекрасного юного существа; ему препятствуют из законничества. На отношениях с Екатериной Афанасьевной это не могло не отражаться.

Так в колебаниях и волнениях, беспокойстве о здоровье Маши проходил 1813 год. Литературе дал он, среди другого, два произведения значительных: «Тургеневу» («Друг, отчего печален голос твой…») – полно меланхолии, чувства глубокого и чистого: невозвратимость ушедшего, дорогих друзей, кого нет больше. Давний облик Андрея, отца его Ивана Петровича, разуверенье в настоящем – это послание есть прямая летопись души. «Ивиковы журавли» более объективны. Все-таки в самом Ивике, «скромном друге богов», есть нечто знакомое. В его чистом простодушии, в смиренной закланности узнается весьма белевское.

Муратовский поэт безответен, и нельзя сказать, чтобы был дальновиден. Вспомнив юные времена (Благородного пасиона, Дружеского Общества), он вступает в переписку с прежним приятелем своим Воейковым, тем самым, в доме которого на Девичьем поле собирались некогда молодые поэты и мечтатели. Именно у него они –

> Святой союз любви торжествовали
> И звоном чаш шум ветров заглушали…

Об этом Воейкове сохранились у Жуковского поэтические воспоминания. Он представлял себе его совсем не так, как надо было. И пригласил теперь в свои края, погостить и пожить. Воейков предложение принял – в конце 1813 года появился в Муратове.

# Воейков и Жуковский

Хромой, почти уродливый, гугниво говоривший человек вдруг появляется вблизи Жуковского, им же самим приманенный. Воейков и писал, и воевал, и, выйдя в отставку, путешествовал по России. Ему хотелось посмотреть, понаблюдать. В нем была острота и язвительность, цинизм, но и сентиментальность. Весь он двойной – двуснастный. Мог оскорблять – и умиляться. Предавать и плакать, сочинять пасквили и каяться.

Обладал склонностью к сатире. Писал стихи, пользовался даже известностью. Влажной стихии поэзии, в которой плавал Жуковский, в нем не было. Он Жуковскому льстил, как поэта его не понимал и, вероятно, в душе над ним зло смеялся. Но вот попал под одну с ним кровлю.

Несмотря на нервность, напряжение этого года для Маши и Жуковского, в Муратове все еще жили весело – особенный блеск вносили Плещеевы. Воейков не скучал. Маша слишком тиха и задумчива, он сразу начал ухаживать за Александрою, младшей – Светланой Жуковского. Ей восемнадцать лет, она прелестна, весела, резва, шутница и проказница, бреет кошкам усы и обыгрывает в шахматы пленного французского офицера, с товарищем своим у них гостящего.

Новый год очень весело встретили. В полночь поднялся в зале между колонн занавес. Там стоял Янус, двуликий бог, украшенный короною, – свой же дворовый изображал его. Одно лицо у него было старое, другое молодое. Жуковский, разумеется, сочинил стихи. Обратившись к молодежи в зале старым лицом, Янус декламировал:

Друзья, я восемьсот
Увы! тринадесятый
Весельем небогатый
И очень старый год.

Потом повернулся. Теперь лицо его юно. Он продолжает:

А брат, наследник мой,
Утешит вас приходом
И мир вам даст с собой.

На голове этого муратовского Януса прикреплена свеча.

Строго ему наказано: если воск потечет и будет капать на темя, терпеть, терпеть… Неизвестно, потекла ли свеча. Во всяком случае, часы как раз пробили двенадцать. Господа начали чокаться шампанским. Янус, на кухне освободившись от своих лиц и короны, хлопнул, разумеется, вволю российской водочки.

Воейков записал: «18 1/I 14 г. встретил Орловской губернии в селе Муратове очень приятно в доме Катерины Афанасьевны Протасовой». Перечислив присутствовавших, добавляет: «Мне должно было быть очень весело в сем раю, обитаемом Ангелами, но… Où peut on être mieux qu'au sein de sa famille?[6] и я иногда задумывался, даже грустил».

Таково время. Искренно или неискренно, без сентиментализма нельзя. Отчасти же он и играл одинокого, бесприютного, тоскующего по семье скитальца, завоевывая девичье сердце, а еще важнее: располагая к себе мать – хозяйку и владычицу. Жуковский же о его планах не подозревал. По наивности своей полагал, что именно ему, Жуковскому, будет Воейков содействовать в сердечных его делах – собственно в том, чтобы переубедить Екатерину Афанасьевну и добиться согласия на брак с Машей.

Но это еще не сегодня, не завтра. Пока же что широкая и беззаботная жизнь помещичья продолжается.

16 января Плещеевы отвечают праздником у себя – день рождения Анны Ивановны. Негр постарался. В Черни размеры его оказались еще больше.

Утром отстояли обедню. Затем отправились в рощу, где Анну Ивановну встретила крепостная богиня и прочла у жертвенника стихотворное приветствие. Тут же подали великолепный завтрак. (Надо думать, скорее закуску á la fourchette, стоя, и по преимуществу чокаясь.) Прогулка по огромному парку – там заранее выстроен целый город, домики наполнены костюмированными пейзанами, есть даже рынок. Торговки раздают гостям сувениры, на память о дне рождения. В башне камера обскура показывает портрет Анны Ивановны, вокруг нее пляшут живые амуры.

Днем, вероятно, карты, для молодежи petits jeux[7], вечером превосходный обед, а потом спектакль. Утренняя Феклуша или Дуняша, изображавшая богиню, выступала теперь в Филоктете Софокла, а затем Негр сам смешил публику во французском фарсе. В заключение фейерверк. Плещеев называл жену почему-то Ниной («К Нине» и известное послание Жуковского). В ее честь огненные буквы сияли в парке. Но с этим вышло недоразумение. Война еще не кончилась. Только недавно был страшный Лейпциг. Некоторым из подвыпивших помещиков показалось, что буквы

эти горят в честь Наполеона… – Плещееву пришлось потом объясняться с губернатором.

Воейков во всем этом принимал участие – в играх, шарадах, писал девицам стихи в альбомы: отличная обстановка для ухаживания за Светланой. О 16 января у Плещеевых записал (на полях сочинений Дмитриева): «Двойной праздник fete des rois[8] и возврат Жуковского из армии в прошлом году. Меня выбрали в короли бобов. А.И. Плещеева пела Светлану с оркестром, потом Велизария, потом Клоссен играл русские песни на виолончели. За ужином все, кроме меня, подпили; пито за здоровье Ангела-хранителя Жуковского, за любовь и дружбу. Горациянский ужин! благородное пьянство! изящные дурачества!»

Среди этих изящных дурачеств и горациянских ужлнов вряд ли мог быть покоен Жуковский. Он писал разные шутливые стихи, много их посвящал Светлане, крестнице своей, но дело его с Машей не двигалось – время же шло, он уже целый год дома. Надо что-то предпринимать.

31 января Воейков уехал на время в Петербург, по делам. Жуковский же собрался к Ивану Владимировичу Лопухину – за поддержкой и укреплением. Если Лопухин брак одобрит, это может подействовать и на Катерину Афанасьевну.

Под Москвой, в роскошном Савинском, где на пруду был Юнгов остров, урна, посвященная Фенелону, и бюст Руссо, среди мира, тишины, книг доживал свой век масон Лопухин, Иван Владимирович, друг покойного Ивана Петровича Тургенева, тоже гуманист, но и мистик, складки новиковского кружка. Его знал Жуковский с ранней юности. Встречал в доме Тургеневых. Как и к Ивану Петровичу, сохранил отношение благоговейное. К нему, как к могущественному союзнику, заступнику и некоему патриарху новозаветному, решил совершить паломничество.

В феврале и отправился. Зима уже надламывалась. Время к весне, погода отличная. Ехать далеко, но его несет легкая сила. «Весело было смотреть на ясное небо, которое было так же прекрасно, как надежда». «Я не молился, но чувствовал, что Бог, скрытый за этим ясным небом, меня видел, и это чувство было сильней всякой молитвы». Вот так и ехал, в тихой восторженности. Мечталось о прекрасной жизни с Машей, в любви и благообразии, благоговении и чистоте. В вечном благодарении Богу за счастие – и все это чрез Машу. «Так, ангел Маша, вера, источник всякого добра, осветитель всякого счастия!»

Все в ней, все через нее. Маша поднята на высоту Беатриче, Лауры, это уже полусимвол, не Дева ли Радужных ворот Соловьева, Прекрасная Дама молодого Блока?

Это она освящает его, ведет к Богу. До этого у него были и

сомнения, иногда даже противление религии – формальная сторона ее неблизка ему, то, что видел он вокруг, не удовлетворяло. Нужна религия сердца. И вот чрез смиренную Машу, во всем детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии.

В таком настроении приехал он к Лопухину и провел несколько дней в этом Савинском – среди мудрости, тишины подмосковного патриаршего бытия. По замерзшему пруду ходил на поклон Фенелону и Руссо, чистый вставал в чистоте февральских утр, открывал душу свою Ивану Владимировичу, в котором воплощалось теперь лучшее, что он знал в жизни: дух дома тургеневского, память об Иване Петровиче, об ушедшем друге Андрее.

Лопухин вошел во все его сердечные затруднения. Соответственно религии сердца, к делу подошел не со стороны канонических постановлений, а изнутри. На брак благословил. Обещал и поддержку у Катерины Афанасьевны. Жуковский вполне мог считать, что поездка его имела успех.

Смысл ее, во всяком случае, велик. Он не столько в практическом, сколько во внутреннем. Это февральское путешествие по полям и лесам России, тайные и глубокие переживания пред лицом Бога, все тогдашнее высокодуховное настроение его не могло пройти даром. («Я говорил Отцу, который скрывался за этим светлым небом: “Ты готовишь мне счастие, Тебя достойное, и я клянусь сохранить его, как залог милости, и не унизиться, чтобы не потерять на него право”».)

Все это слагало Жуковского, делало его именно таким, каким и вошел он впоследствии в Пантеон наш.

* * *

Дело, из-за которого Воейков уехал, было простое, житейское: хотел чрез Александра Тургенева получить в Дерпте кафедру русской литературы – и хлопотал об этом. Но и жениться собирался на Светлане. Жуковскому кажется это странным. Если Воейков полюбил, так на что ему Дерпт, профессорство… – сиди в милом Муратове, предавайся любви, счастию. Вот он пишет ему в Петербург: «Твои дела идут хорошо: говорят о тебе, как о своем, списывают твои стихи в несколько рук».

«Ради Бога, скажи мне, на что может быть тебе нужно теперь твое профессорство? Это имело бы еще смысл, если б надежда на брак рухнула. Но как раз все обратно. Неужели такая радость сидеть в Дерпте на службе и дожидаться надворного советника,

когда ждет любовь?..»

Жуковский иногда и сам бывал жизнен, умел считать деньги, заботиться о заработке. Но тут стихия его поэтическая все затопляет. Он в пафосе прекраснодушия. Воейкова называет «брат» (словарь прежней чувствительности, времен Андрея Тургенева). Мечтает о каком-то идеальном содружестве-сожитии с тем же Воейковым (очевидно, оба уже женаты на сестрах) – будут вместе трудиться, давать себе и другим счастие в любви, тишине и возвышенной жизни. На горизонте друзья – Вяземский, Батюшков, Уваров, Плещеев, Тургенев. «Министрами просвещения в нашей республике пусть будет Карамзин и Дмитриев и папою нашим Филарет».

У Воейкова, жениха и полупрофессора, будущего сочинителя «Дома сумасшедших», такие письма вряд ли вызывали благодушную усмешку. «Полоумный Жуковский!» Но вот он, Воейков, вовсе не такой, отлично знает, чего хочет, и своего добивается.

Александр Тургенев был в это время уже крупным чиновником. Вместе с Кавелиным кафедру Воейкову устроил. В Муратове воейковские дела тоже устраивались.

Полюбила ли его Светлана? Трудно себе это представить. И на нее, и на Машу Воейков по первому же разу впечатление произвел неважное. Но они обе жизненно еще дети. Близко знали всего лишь одного Базиля. Не по нем ли и вообще о людях судили? А Воейков друг Базиля. Разве же у Базиля может быть плохой друг? Маменька тоже к нему благоволит…

Воейков распустил хвост павлиний, писал восторженные стишки, изображал себя скитальцем и натурой загадочной, жаждущей, однако, брега тихого и светлого. Известное впечатление произвести мог. Несмотря на уродство свое, Светлану заговаривал.

Главное же, заговаривал Катерину Афанасьевну. Тут действовал сразу по нескольким линиям. Есть известие, что изобразил себя владельцем двух тысяч душ, доставшихся ему якобы от брата, раненного под Лейпцигом и скончавшегося. Богат, но несчастен, ибо одинок. И вот, наконец, встретил Ангелов, они вернули его к жизни и т. п. При всем этом – лесть и поклонение безмерные. Торжественные послания Екатерине Афанасьевне, тоже какое-то одурманивание ее, даже влияние умственное: нечто от разлагающего своего духа сумел он в нее вселить. (Выросшая в церковной строгости Екатерина Афанасьевна отказывается, например, под его влиянием, соблюдать посты.)

А для Воейкова власть – блаженство. Многим он обделен. Ни

славы, ни таланта, ни обаятельности Жуковского у него нет – пусть зато безраздельное владычество, хотя бы в одной семье.

Из отлучки своей он возвращается победоносно. Кафедру получил. Правда, это и осложняет: переезд всех в Дерпт. Тем не менее он объявлен женихом – и тут совеем уже ясным оказывается, что Жуковский в виде жениха Маши никак ему не интересен, скорей вреден. Он хочет царить в этой семье один, ничего ни с кем не деля.

Теперь видит Жуковский резкую разницу отношения к нему и Воейкову. С ним холодны, за Воейковым всячески ухаживают. Он жених. Свадьба назначена на июль – о чем Жуковский узнает стороной. Все это томит, волнует.

В конце апреля он вновь объясняется с Екатериной Афанасьевной о браке, бурно и неудачно. «Она сказала мне, что ей невозможно согласиться, потому что она видит тут беззаконие. Я отвечал ей, что ничего подобного тут не вижу, что я не родной ей, потому что закон, определяющий родство, не дал мне имени ее брата…»

Она отказала ему начисто. Замечательна притом двойственность положения. Жуковский считает Екатерину Афанасьевну формалисткой, законницей, не желающей уступить йоты, и сам находится на формальной почве. «Закон» не знает, что он сын Бунина, поэтому жениться можно, – сам же он это знает («Я сын ее отца»).

Каковы были побуждения Екатерины Афанасьевны? Одно ли сознание церковное ею руководило? Или хотелось для Маши более основательной партии, мужа с имениями, крепостными? Жуковский, конечно, тяжело на нее негодовал. Он был чист, чистою душою рвался к счастию – своему и Машину. Счастие это отнимали.

От Жуковского идет линия осуждения Екатерины Афанасьевны. Сочувствие на его стороне, бесспорно. Тяжелого чувства к ней преодолеть нельзя. Все же дело со сватовством этим сложно, обоюдоостро, и «по-своему» в чем-то была права и Екатерина Афанасьевна (на обман священника не шла. Может быть, следовало хлопотать в Синоде, разрешили бы? Но этого она и не пробовала сделать!). Во всяком случае, ей самой все это нелегко обходилось. «Изъяснение с ним стоило мне опять двух пароксизмов лихорадки».

Так писала она верному другу Жуковского, той недавно овдовевшей Авдотье Петровне Киреевской, которая еще девочкой, Дуней Юшковой, называла Базиля «Юпитером моего сердца». Эта юная, пламенная женщина – портрет показывает ее задорную, очаровательную головку с полумужской прической, – она-то и

умоляла Екатерину Афанасьевну согласиться на брак. Предлагала, если тут есть грех, взять его на себя – она пойдет в монастырь отмаливать.

Но характер Екатерины Афанасьевны упорен, чтобы не сказать упрям. Суровая юность сибирская, властное управление детьми во вдовстве – ни Базиль, ни Дуня Киреевская, ни другие племянницы не могли ее сломить. Намеренье насчет монастыря с ужасом она отвергает, но с позиции своей не сдвигается.

Маша верна себе: матери о Базиле все сказала, но воли своей нет. Как маменька скажет, так пусть и будет, и все так должно произойти, чтоб не нарушить маменькина спокойствия. Можно подумать, что Маша вообще тут ни при чем. Она может плакать, сохнуть – все это втайне и неважно: только бы маменька была довольна.

Жуковский же после объяснения вновь из Муратова изгнан – пока не вернется Воейков. Весь май он скитается где-то вблизи – в Черни у Плещеевых, в Долбине у Юшковых. Горек для него этот май. То кажется ему, что еще можно бороться: Лопухин напишет, Владыка Досифей Орловский разрешит: его хорошо знает друг Тургенев. Наконец, Воейков возвратится, повлияет…

А потом другое: нет, надо все принять, смириться. От своего счастия отречься, только о Маше думать, ее спокойствии, остаться братом-сестрой с любовию надзвездной. «Разве мы с Машей не на одной земле и не под одним отеческим правлением?» Бог-то их всех выше. Он и устроит, во славу любви-дружбы.

До нас дошли тетрадки, в 16-ю долю листа в синей обложке: письма-дневники Жуковского и Маши – безмолвный, трогательно-нежный диалог. 21 июня передает он ей свой дневник за май. В нем ничего не записано, а письмо объясняет почему: слишком трудно было преодолеть мрак. «Пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости – и вот все. Можно ли было об этом писать? Рука не могла взяться за перо. Словом, земная жизнь была смерть заживо».

Но вот теперь, в Муратове, в конце июня, с ним происходит странное. Он пишет письмо Марии Николаевне Свечиной (тоже родственнице, но не стороннице брака). Начало письма мрачное, «и мысли и чувства были черные». Вдруг останавливается… «будто свет озарил мое сердце и взгляд на жизнь совсем переменился». В некой восторженности он встает, не докончив письма, идет в залу искать платка. Там встречает Машу. Она подает ему изломанное кольцо. Он дает ей свое. Все как бы в полусне, сомнамбулически. Но нечто случилось, оба понимают, что произошло важнейшее: поменялись кольцами, обручились на новое, возвышенно-прекрасное, но в земном плане безнадежное.

Кольцо даже не им дано ей и не ею ему. Промысел ведет их высшим – пусть сейчас и горестным путем.

* * *

В конце июня, начале июля скитается Жуковский близ Орла. Едет вслед за Протасовыми, останавливается там же, где только что они ночевали. Маша ведет его за собой.

В Куликовке под Орлом, только печалию его и отмеченною, на постоялом дворе сидел он на том же месте, «где ты сидела, мой милый друг, и воображал тебя». Хозяйка знала, что одна из барышень той госпожи, что останавливалась у ней, выходит замуж. Жуковский уверил ее (да на мгновение и сам, может, поверил), что жених именно он, но не младшей, а старшей дочери.

«Вчера, подъезжая ко Мценску, я смотрел на рощу, которая растет близ дороги; погода была тихая, и роща была покрыта прекрасным сиянием заходящего солнца». Вот рамка горя. Оно принимает оттенок просветленно-мечтательный. Оно все-таки не безысходно, ибо за ним возвышение души, ее возвышение все той же Маше. Все для нее. Для ее счастия и радости должен он жить – это и укрепляет. О, разумеется, не всегда. Путь еще долог, труден.

Мир, тишину русского вечера деревенского он вкусил в каких-то Сорочьих Кустах. В Разбегаевке не остановился, видел, однако, там двор, «где ночевала Маша с матерью».

«Около меня бегают три забавных мальчика, хозяйские дети. Я перекупил у них землянику, за которую они предлагали грош, а я дал пятак. Надобно было видеть их гордость, когда они торговались, и смирение, когда торг не состоялся». Но, конечно, он их и утешил: пятак дал, а землянику вернул, между ними же и разделил. (Очень ему подходящи эти дети. Только ему, как взрослому, смиряться приходится не из-за гроша и пятака.)

В Губкине лежит в сарае, в санях на сене. Читает Виланда «Diogenes von Sinope»[9] «и часто прерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял и по кладбищу – даже срисовал его».

Далее философствует. Провидение «располагает случаями жизни, располагает их к лучшему и человеку говорит: действуй согласно со мною и верь моему содействию. Что бы ни было, мой друг, но мы должны смотреть на все, что ни встречается с нами, как на предлагаемый нам способ свыше приобрести лучшее. Надобно только верить».

Побывал он в летнем своем блуждании и в Орле, и у Павла Протасова, дяди муратовских барышень (тот его подбодрял, в

деле брака сочувствовал).

В конце концов 9 июня Жуковский оказался в Муратове.

Что Екатерина Афанасьевна приветствовала брак Воейкова со Светланою, еще понятно. Гораздо удивительней – Маша и Жуковский одобряли его. Оба искренно, глубоко любили Светлану, оба толкали ее на несчастный шаг. Оба поняли поздно и каялись в пустой след. У обоих ошибка, по-видимому, шла от неверной оценки Воейкова – вина Жуковского больше. Со своим голубым туманом в глазах он и накануне свадьбы мог еще обнимать Воейкова, целовать его, плакать, давать «слово в братстве». Братство! Все тургеневско-кайсаровское еще владело им, сладостные слова мешали видеть. Что же сказать о Маше, которая вся была в возвышенных книгах, религии, смирении и на все смотрела глазами Базиля?

Из-за безденежья свадьбу не раз откладывали. Наконец, Жуковский продал именьице свое и все отдал Светлане в приданое – денег не пожалел (жизнь его вся под этим знаком: ему Бог посылает сколько надо и он раздает тоже сколько надо).

14 июля Светлану с Воейковым обвенчали. Жуковский присутствовал, конечно. В церкви вдруг грусть напала на него. Защемило в душе. Не уголок ли будущего проглянул сквозь торжество таинства? «Мне показалось сомнительным ее счастие, сердце мое было стеснено и никогда так не поразили меня слова “Отче наш” и вся эта молитва».

Для него самого эта свадьба тоже была переломом. К сердечным его делам будто и не имела отношения, все же нечто определила. Уехал к Авдотье Киреевской, в чудное Долбино, Екатерине же Афанасьевне написал длинное и возвышенное письмо. В нем закрепляется новое его положение: теперь разговора о браке нет. Привязанность к Маше он сохранит навсегда. Счастия быть для него не может, жить надо и без счастия. Он так и надеется. Маша как была ему другом, так и останется и навсегда будет его благодетельницей, как и была. С Екатериной Афанасьевной он, может быть, скоро увидится. Но с семьей ее и Муратовом, «моим настоящим отечеством», расстается навсегда.

Осень проводит в Долбине, под Лихвином. Там дети Киреевской, там над бюро у него висит «милый ангел», а в «шифоньере» Машины волосы, рядом же хозяйкина печатка с вырезанным на ней четверолистником. Тут он – хоть и путник сейчас, как всегда в жизни, – но поэт и дому истинный друг. Авдотья Киреевская тоже его не выдаст.

Долбина этого никто бы не знал, если б не тут изживал горести сердца своего Жуковский.

Здесь он много писал. Золотая, одинокая осень в старинном доме, с уютом, любовию семьи, прогулками по пустеющим полям, лесам звонким, отдающим охотничий рог и гон гончих… – чем не поэзия и благодать? Одного нет, очень важного: счастия. Маша вдали.

Но не зря вел он ее годами в духе религии и искусства. Теперь, в горький для нее час, она свое горе принимает с великим смирением, а его тихо, упорно толкает к творчеству. Да, он поэт. Пусть идет горным путем. «Tu me prometteras de t'occuper beaucoup, Basile, tes compositions feront ma gloire et mon bonheur»[10]. Ее мучило, что истории с ней отвлекали его от искусства. Но вот теперь да не будет так. Он свободен и одинок – все для поэзии.

На него призыв действовал животворно. Да вообще горе животворило, не подавляло. То, чего Маша хотела от него, получалось: никогда столько он не писал, как в осенние эти месяцы в Долбине. И тотчас проступает в нем всегдашняя любовь к порядку, расписаниям. Надо приобрести полное понятие о религии – для этого чтение Священного Писания, книг моралистов, размышления. Но и непрестанные упражнения в прозе («каждый день две или три страницы»). Стихи тоже обязательно. В том же роде распоряжения и для самой Маши – чтобы и она жила если не художнической, то духовно-нравственной жизнью.

В половине сентября особенное обстоятельство его подбодрило: Екатерина Афанасьевна согласилась, чтобы он поехал с ними в Дерпт (куда назначен Воейков). Только поехал! В качестве просто друга. Но теперь она ему доверяет и не опасается. Как скромен он, как мало избалован! Чуть не счастием кажется ему и это. И всегда, всегда завет Маши: писать.

Литературе осень в Долбине, напряженная, со сменой воодушевления и тоски, вся в остроте, на высоких нотах, дала много. Никогда столько он не писал. Исполнял ли расписание свое или не исполнял, но как раз тут дал ряд произведений первой линии, и довольно крупных: «Ахилл», «Варвик», «Эльвина и Эдвин», «Алина и Альсим», «Эолова арфа», «Теон и Эсхин».

Пронзителен для него мотив разлуки. Всюду проходит он теперь. Два сердца влекутся друг к другу – их разлучают. Смерть, веянье красоты и поэзии, стон арфы Арминиевой, повешенной певцом на дереве, – в арфе звенит его душа – этим питается сейчас писание Жуковского. Над «Эоловой арфой» пролито было читателями море слез: плакать или не плакать – зависит от характера, но баллада настолько, действительно, трогательна, так «легкозвонна», певуча, нежна и духовна, написана такими

блестяще перемежающимися строками разного размера, что и сейчас вся поет и вся говорит во славу вечной, неумирающей любви.

«Теон и Эсхин» не менее знаменит. Может быть, даже более. Это спокойнее, не так рыдательно, дальше от ткани жизни тогдашнего Жуковского, но источник все тот же. Примирение, принятие жизни – со всеми горестями ее: для Жуковского тема основная, зрелым художником зрело выраженная. С детства и навсегда засели в нас прославленные стихи:

> И скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин,
> Обет неизменной надежды:
> Что где-то в знакомой, но тайной стране
> Погибшее нам возвратится?

«Для сердца прошедшее вечно» – заповедь эта проходит через всю его жизнь. Осень же долбинская и написанное в ней (под благорасположением Дуни Киреевской, истинного друга) есть истинное подтверждение того, как для художника полезна скорбь. Высота изживания скорби у Жуковского особенная: ни с кем не сравнимая.

Богатство же натуры проявилось еще в том, что рядом с «Эоловой арфой» написал он в Долбине и кучу стишков шутливых, для альбомов, писем – разное умещалось в нем одновременно (как бы жило в слоях души на разной глубине).

Он вступил теперь в самую острую полосу бытия своего художнического, как и в самую значительную полосу жизни. Странно связалось это с Воейковым. И замечательно разнствование судеб их.

Воейков получил кафедру, уезжал в Дерпт с молодой и блистательной женой. Все ему удавалось. В семье он считался божком, в Дерпте должен был основать прочное и устроенное гнездо.

Жуковский после ряда просьб отброшен презрительно, не без унизительности. Временами ему запрещается даже бывать в доме, который для него все. Близкие его уезжают в Дерпт. Он деревню свою для них продал. Отнята надежда на брак и на счастие, он бездомен, куда ему, собственно, преклонить главу, кроме как – временно – к Долбину. Он разбит по всей линии.

Победитель Воейков, Жуковский побежденный. Из них один пойдет под гору, во тьму и сень смертну, другой «из глубины воззвах» будет восходить чистою и прекрасною стезей.

# Дерпт – Петербург

Юрьев, Дерпт, по-немецки Dorpat, – тихий городок в Эстонии, западней озера Пейпус, на речке Эмбаг: немецкая закваска в нем сильна. Город университетский, ученый, со студентами, профессорами, корпорациями – все на иностранный лад.

В феврале 1815 года попадает сюда русская дворянская семья, верней, две семьи, Воейковы и Протасовы, все к Дерпту малоподходящее. Воейков должен читать русскую литературу в университете. Светлана его жена. Екатерина Афанасьевна и Маша просто близкая родня, без определенной деятельности. Где-то на горизонте Жуковский – у этого совсем никакой роли, и в Дерпт он лишь наезжает.

Из Муратова ехали долго, сложно – чуть не тысячу верст на лошадях! Добравшись, сперва поселились на постоялом дворе «в одной комнате и гадко». Но нашли наконец отдельный дом, куда и переехали. Светло, тепло. Все завалено посудой, книгами и мебелью – утрясется не так мгновенно. В одной половине Воейков со Светланою, в другой Маша с матерью.

Воейков со своей смесью язвительности и беспутства, надменности и самоуничижения, с литературным самолюбием, всегда ущемленным, должен стать благонравным профессором. Екатерина Афанасьевна, помещица и крепостница, глава дома целого в Орловской губернии, здесь будет примеряться к полу-Европе без дворовых и девок, которых можно бить по щекам и ссылать на дальний хутор. Для Светланы – Плещеевых рядом нет, время забав и хохота прошло, нет и французских пленных офицеров. Надо быть скромной профессоршей. Она с мужем «Eine echte Ehepaar»[11]. Меньше всех, пожалуй, ощущает перемену Маша со своими книгами и вышиванием, молитвой.

Знакомятся с профессорами, ректором. Профессора являются с визитами. Чинно, скучно. «Хорошо ли чувствует себя в Дерпте госпожа надворная советница Voyeikoff?» – «Благодарю глубокоуважаемого профессора – превосходно». – «Как находит она наш город в отношении чистоты и порядка?»

Тут Дерпту мог, разумеется, позавидовать родной Белев, да и Орел, Тула. Хорошая сторона города также музыка. Вот привозят им билеты (все здесь музыканты). Каждую неделю профессора, студенты устраивают концерт – сами выступают. Новоприбывшие, конечно, посещают их. Едут в университетской карете, «на казенных лошадях и на казенный кошт». Машу удивляет нарядность, даже блеск концертного зала. «На концерте 700 человек, один одет лучше другого, все женщины красавицы, зала,

как Московская, музыка прелестная».

Мирное житие начинается, и первое время действительно идет мирно. Воейков даже находит, что просто он счастлив – еще в марте считает себя счастливым. А уж Жуковскому не терпится. В Петербурге выпал ему большой успех. Тургенев прочитал императрице Марии Федоровне послание Жуковского Александру I, с триумфом возвратившемуся из Парижа. Стихи государыне так понравились, что чрез Тургенева и Уварова передала она автору полное свое благожелание – если ему что надобно, она с удовольствием сделает. Жуковскому следовало бы сейчас же лететь в Петербург, пожинать урожай. Но он был душой в Дерпте. Туда стремился, в Петербург даже не заглянул. Императрице, разумеется, ответил («Мой слабый дар царица одобряет…»), это была верноподданническая отписка. Знакомиться не торопился. Торопился же в Дерпт – и не на радость. Там все слагалось не так, как идиллически предполагал он в минуты одушевления.

Во-первых, Катерина Афанасьевна сочла, что Машу тоже пора выдавать замуж, придумала ей даже жениха, некоего генерала Красовского. Генерал Маше никак не нравился. Вся затея совсем нелепая, Жуковский от нее пришел в ужас. Его настроение было такое: да, он от счастия своего отказывается, все для Маши, и, конечно, Маше надо выходить замуж, но все-таки за того, кто ей понравится, а не за первого встречного генерала. Но Красовский был приятель Воейкова, и Воейков его поддерживал.

Получилось так: в Муратове у Воейкова с Машей отношения были добрые. Первое время в Дерпте тоже. Но с приездом Жуковского и когда он увидел, что Маша к Красовскому холодна, а Жуковского любит по-прежнему, все стало меняться – резко к худшему, и с ней и с Жуковским. Видимо, Воейков и Екатерину Афанасьевну возбуждал против них – Жуковский, мол, зря тянет безнадежный роман, понапрасну вовлекает девушку в треволнения. А ее просто надо выдать замуж за порядочного человека. Это повело к тому, что за Жуковским завели надзор. С Машей наедине быть нельзя, никаких разговоров и объяснений, это опасно.

Он, конечно, был оскорблен. Приехал в высоком настроении, от счастия отказался, все лишь для Маши, он отец ее теперь, а его подозревают в закулисных шашнях, считают чуть ли не соблазнителем. О Маше Воейков говорит теперь, что «за ноги вышвырнет ее из дому» (оберегал «честь семьи»). Заставляет присутствовать, когда «жених» приезжает, грубит ей и т. п.

Жуковский и Маша стали переписываться записочками.

Теперь только понял Жуковский Воейкова. «Человек, который имел полную власть осчастливить тебя и который не только этого

не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удерживаться от ненависти». (Письмо Маше.)

Если уж Жуковский заговорил о ненависти, значит, дело Воейкова плохо. «Дай мне способ делать ему добро, и я сделаю, но называть белое черным и черным белое и уважать и показывать уважение… – в этом нет величия: это притворство перед собой и перед другими».

Так живут они, одиноко по своим комнатам, сходясь только за обеденным столом, в семье, полной внутреннего напряжения, затаенных тяжелых чувств, слежки, нелюбви. Роль «отца», когда сам молод и живешь рядом с любимой девушкой, не так-то легка. Весь этот апрель мучителен. В дневнике Жуковского – «белой книге» – томления его сохранились. Да и в записочках к «ней». («Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось».)

И тут же собственный «Теон» – «всё в жизни к прекрасному средство». Сколь, однако же, легче уверить себя в возвышенности жизни без счастья, чем взаправду принять жизнь такую.

И Маша, Маша. Ее надо устроить. Надо ей дать возможность жить, дать на чем стоять, перевоспитать, что ли. Чтобы любила она его не «как прежде», а как брата или отца. Она тоже должна удалить «все собственное, основанное на одном эгоизме» (т. е. любви женской). С наивностию думает он – и записывает, – что ее счастие может состоять в жизни, согласной с матерью и семьей, в сознании, что и он счастлив одной дружбой, работой и т. п. Да, пусть даже и замуж выходит, но не за такого же Красовского, а кто ей по душе и по сердцу – «чтобы с другим иметь то, что надеялась со мною». С полной смелостью ставит он тут героическое решение, с полною прямотой открывает и душу свою, человеческую, страждущую, никакими Теонами, как лекарством, бесспорно не излечимую. «Та минута, в которую для этой цели я решился пожертвовать собою, была восхитительна, но это чувство восхищения часто пропадает и я прихожу в уныние» – вполне понимаешь, что приходит в уныние, но вот мы через сто с лишним лет не перестанем приходить в восхищение от смиренных слов чистого сердца, с такой безответностью нам предложенного. «Я решился пожертвовать собой», – есть ли другой такой пример в нашей литературе?

Вышло же из этого только то, что Екатерина Афанасьевна, явно Воейковым подстрекаемая, потребовала опять, как и в Муратове, чтобы он удалился. Вновь его изгоняют. Воейков вошел в семью, он из нее вышел – таково было его мнение, очень от истины недалекое. В начале мая, ничего не решив, уезжает он в

Петербург.

* * *

Вдова императора Павла императрица Мария Федоровна жила полною, напряженною жизнью. Нельзя упрекнуть ее в бездеятельности. Приюты, институты, разные училища, благотворительность – во все это она была погружена вполне. «Ведомство императрицы Марии» – след трудов ее остался в России до самой революции. С немецкой дотошностью занималась она институтками и сиротами, глухонемыми, вела огромную переписку, разъезжала по благотворительным учреждениям. Да и вообще была культурна. Поддерживала знакомство с литераторами, учеными. К ней приезжали Карамзин, Крылов, Дмитриев, Нелединский-Мелецкий – на литературные собрания в Павловске.

О Жуковском имела она уже понятие и чувствовала к нему расположение. Теперь предстояло и встретиться.

Это произошло в мае 1815 года, когда он приехал в Петербург после всех тягостей дерптской весны.

Мундира для представления не оказалось. Но были друзья, они и выручили: нужное одеяние достали. Уваров повез его во дворец.

Жуковскому тридцать два года. Он видел и знал уже довольно много людей, разных общественных положений. Но к таким Гималаям приближался впервые. Муратово, Долбино, Дерпт – до чего это скромно-провинциально рядом со дворцом императрицы, зеркальными полами, статуями, бесшумными лакеями.

Разумеется, ему жутко в этот майский день. Уваров ведет его по дворцу. Пройдя небольшую комнату, входят они в другую, перед дверями которой ширмы. Из-за ширм голос произнес: «Bonjour, monsieur Ouvaroff»[12], Жуковский думает, что это придворная дама. Вошли, оказалось – сама императрица. Вдали, в глубине большой комнаты, великие князья Николай и Михаил Павловичи. Жуковский хотел что-то сказать благодарственное, заранее приготовил, но ничего не вышло, только все кланялся. Все же разговор завязался. Мария Федоровна неважно говорила по-русски – быстро и не совсем внятно. Жуковский в волнении своем с ужасом заметил, что плохо понимает. Выручил Уваров: задал императрице вопрос по-французски. Она перешла на французский, и дело наладилось. Стали вспоминать прошлое, войну, тяжелые времена. Как тогда полагалось, государыня была

чувствительна: несколько раз слезы показывались у нее на глазах. Держалась она очень милостиво и приветливо. «Беседовали» около часу. Когда гости стали откланиваться, она ласково сказала Жуковскому: «Мы еще с вами увидимся».

В словах этих оказалась половина его судьбы. Застенчивость, миловидность, то необъяснимо светлое, что излучал он и чем покорял людей самых разнообразных, все это на нее действовало, конечно.

Выходили вместе с великими князьями. Уваров попросил у Николая Павловича разрешения представить Жуковского – и вот он пред огромным красавцем с глазами, о которых позже скажут, что в них было нечто страшное. Было ли или не было, но пред ними все потом трепетали. А тогда еще никто не думал, что этому юному гвардейскому офицеру, занимавшемуся только армией (но занимавшемуся!), предстоит долгие годы править Россией.

Неизвестно, как себя чувствовал в ту минуту Жуковский. Но будущее предстало во весь рост. От литературной своей матери получал Николай Павлович Жуковского – для семьи и воспитания ее.

Очевидно, Жуковский ему тоже понравился.

* * *

А от Дерпта все-таки не отстать. Петербург – блеск, слава, пышность, не совсем в духе его. Сердце не здесь. Оно там, где и трудно, и мучительно, но где судьба души.

Европа заканчивала страшную полосу бытия своего – 18 июня отгремело Ватерлоо, а в Дерпте никому не ведомая Светлана 26 июня, ни о каких Ватерлоо понятия не имея, родила дочь Екатерину – для Жуковского повод укатить в Дерпт: Светлана его крестница, а теперь его записали крестным маленькой Кати. Значит, надо быть в Дерпте.

На крестины он опоздал, его заменял старый Эверс, профессор теологии, патриарх дерптский, будущий его друг (а Светланы уже друг).

Лето Жуковский проводит в Дерпте. С Екатериной Афанасьевной как будто мир, но все лишь внешнее. И неестественное. Вновь живут по своим норам. Как и раньше, большое и тягостное бросает свой сумрак из глубины. Вот Тургенев зовет в Петербург в конце июля – государыня хочет его видеть. Впрочем, если «солнце» удерживает в Дерпте, то необязательно сейчас же скакать. Из ответа Жуковского видно,

что «солнце» ему издали лучше светит. Вблизи много есть затемняющего. «Уехать отсюда не будет для меня жертвою; напротив, здесь остаться было бы жертвою, жертвою всего, что мне дорого, лучших своих чувств. Не говорю уже о надеждах, их нет, да оне и не нужны».

Non sine te, non tecum vivere posum – издали тянет, а вблизи мучит. Так в неестественных положениях и бывает. И пожалуй, единственное, что осталось хорошего для него от лета, была завязавшаяся дружба со старым Эверсом, философом и богословом, в жизни тоже премудрым. Весь мир Жуковского – одинокий восьмидесятилетний старик, полунищий, для которого будто бы ничего в жизни нет, а вот он все ясен и светел, как вечерняя летняя заря, которую радостно ему созерцать, выходя за город на пригорок. Эверс, закат жизни, так же Жуковскому подходил, как другое существо – утренняя заря, студент Зейдлиц, с которым знакомство его с праздника корпорации, какого-то «фукс-коммерше». Эверсу жить не долго, Зейдлицу еще целую жизнь. На всю эту жизнь он пленился Жуковским и Машей, Светланой. Милой и благодетельной тенью пройдет «добрый Зейдлиц» рядом с жизнями этими. Только добро, только забота, любовь от него исходят ко всему клану жуковско-протасовскому, ему дано всех пережить и всех увековечить в жизнеописании Жуковского, первом по времени, до сих пор сохраняющим важность первоисточника.

24 августа все-таки выехал Жуковский в Петербург. Путешествие было нерадостное. Его мучили мечты и фантазии, на каждой станции он что-то писал, все Екатерине Афанасьевне. Мерещилось невозможное – вдруг в Дерпте на всё соглашаются, вновь дружба, тихое, мирное житие… Он писал, рвал, опять сочинял. В этом полубреду въехал в Петербург «с самым грустным, холодным настоящим и с самым пустым будущим в моем чемодане».

В Петербурге поселился у Блудова, давнего своего приятеля еще по Москве, времен Дружеского Литературного Общества.

4 сентября был вторично представлен Марии Федоровне, в Павловске. Теперь это произошло более значительно, более и интимно. В сущности, Жуковский гостил у императрицы. Прожил в Павловске во дворце три дня, подобно поэту Возрождения при просвещенном дворе Италии. Мария Федоровна допустила его в простую домашнюю обстановку, вместе обедали и ужинали, гуляли. (Павловску посвящена «Славянка» – так называлась речка там, вдохновившая его.)

В сентябрьском дворце, парке Павловска с тихими водами его, лебедями было нечто как раз от поэзии. В гостиной же

императрицы Нелединский-Мелецкий читал дамам стихи Жуковского. Кроме хозяйки великие княгини присутствовали, две-три ближайшие придворные дамы. Лебеди на прудах, осенняя позлащенность берез в окнах, красные клены, мягкие отсветы паркета, слезы на глазах слушательниц от «Эоловой арфы» – все это очень Жуковский. Как всегда, скромен он и мил. Великий дар его вызывать к себе расположение тут проявляется вовсю.

Он, однако, невесел. О днях во дворце вспомнит с приязнью, но вообще ему в Петербурге нелегко. Дерпт томит. Даже в Павловске, дожидаясь с Нелединским государыни, наводит он разговор на родство с Машей. Нелединский чертит кружки, рисует дерево генеалогии: на бумаге выходит будто Жуковскому благоприятное. Разговаривает о том же потом с Протасовым, братом мужа Екатерины Афанасьевны. Как и Нелединский, Протасов на его стороне. Пишет даже свояченице письмо в этом смысле. И всё неизвестность: а вдруг повернется в хорошую сторону?

Так вот и колебалось в душе. Но над всем печаль. Придворный успех ее не покрывает. (Ему дали уже должность чтеца при императрице, явно прикрепляя ко двору.) В Петербурге неуютно. Бросает из «мертвого холода в убийственный огонь». Кажется ему даже, что и поэзия отошла. «Думаю, что она бродит теперь или около Васьковой горы, или у Гремячего, или в какой-нибудь Долбинской роще» – дорогие, как бы утерянные края Мишенского и Киреевских. А деятельность «около литературы» в Петербурге немалая. Начинается она в том же сентябре.

Князь А. Шаховской, довольно известный писатель тогдашний, принадлежавший ко кругу Шишкова и «Беседы любителей», поставил в конце сентября пьесу «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Среди других был изображен в комедии жалкий «балладник» Фиалкин – насмешка над Жуковским.

Пьеска пустая, и автор пустой. А вышло из этого нечто неожиданное и не без значения. На первом представлении присутствовал Жуковский. Друзья сидели с ним в третьем ряду кресел – граф Блудов, Вигэль, Жихарев. Когда Фиалкин появлялся, публика оборачивалась к Жуковскому – разумеется, шепот, смешки, лорнеты. Сам Жуковский относился спокойно (помогал удивительный характер). Друзья-литераторы кипятились и негодовали. Пьеса имела успех, хоть и не из-за Жуковского, он же писал родным несколько позже: «Теперь страшная война на Парнасе, около меня дерутся за меня, а я молчу».

Война состояла в том, что молодые писатели решили наконец выступить против старых – вечная история в истории литературы.

Уже сложились две группы: одна охранительная, сторонники Шишкова и церковнославянской старины, другая шла от Карамзина, более современного духа. Шишков был адмирал, сановник, его «Беседа любителей русского слова» – академия, с генеральским оттенком. Заседали на торжественных, скучноватых собраниях, в парадной зале. Приезжали важные старики в орденах, министры и светские дамы. Шишков поучал их тайнам собственной филологии. Ненавидя все иностранное, старался вводить «русские» слова – чаще всего коряво и безвкусно. Образцом считался церковнославянский язык: из него исходить, им питаться. Получалось все недаровито. И громоздко, но торжественно, как колонные залы заседаний, как кареты, мундиры, бальные платья дам. Из первоклассных бывали у них Державин, Крылов (последний по недоразумению). К ним, разумеется, принадлежал и князь Шаховской со своими «Липецкими водами».

Молодежь взволновалась, решили создать противовес. Так после премьеры Шаховского учредилось общество «Арзамас».

Граф Блудов, А. Тургенев, Батюшков, Дашков, Жуковский, граф Уваров, В.С. Пушкин, князь Вяземский – вот его сердце. Секретарем оказался Жуковский, а позже явилось еще существо, совсем юное, лицеист Александр Пушкин. «Беседа» выросла из придворно-чиновничьего. Была парадно-скучна. В «Арзамасе» все наоборот. Большинство его тоже были баре, но стиля хотели простого, с забавностью, шуткой, хотели быть связаны и с современной жизнью. В пределах широкой, привольной тогдашней жизни их можно было назвать богемой.

Собиралась эта богема в квартире графа Блудова. (Квартира отличная, но денег так мало, что иногда Блудов с Жуковским хлебали щи у Гаврилы, дядьки хозяина, – наследства Блудов еще не получил.)

Заседали, острили, высмеивали стариков из «Беседы» (но не Державина и не Крылова), придумывали шутки и забавы. Клонилось же это все к утверждению естественного и простого, не-боязни языка современного, не-презрения к обыденности. Передразнивая масонские ложи, завели они ритуал посвящения новых членов, насмешливый и увеселявший.

У всех были клички. Жуковский – Светлана, Тургенев – Эолова арфа, граф Блудов – Кассандра, Уваров – Старушка. Пушкин назывался Сверчком. При вступлении каждый должен был произносить похвальное слово покойному предшественнику, как в академиях. Но никто у них еще не умирал. Покойников брали напрокат у «Беседы», и панегирики эти были, конечно, веселые.

Вообще чуть не все связывалось с шуткой, иногда совсем детской. Арзамас городок Нижегородской губернии, недалеко от Саратова. Мало чем помянешь его. Но вот в те времена славился он гусями. Литераторы молодые заводят «Арзамасскую Академию» (и в заключение заседаний едят гуся), Шаховского называют Шутовской (помирают со смеху), Блудов пишет целую статью «Видение в Арзамасе ученых людей».

Вот они принимают в сочлены В.Л. Пушкина, «дядю», и тоже поэта. Нарядили в хитон с раковинами, на голове огромная шляпа, глаза завязаны. В таком виде ведут по комнатам огромного дома Уварова, по узкой крутой лесенке сводят вниз, бросают ему хлопушку под ноги, заставляют проделывать всякие глупости, стреляют из лука в чучело, изображающее Шишкова, подносят огромного замороженного гуся и т. п. – потом кладут его, наваливают на него несколько шуб и так, лежа под шубами, обливаясь потом, дядюшка Пушкин выслушивает шутовскую речь секретаря (Жуковского: «Какое зрелище пред очами моими! Кто сей, обремененный толикими шубами страдалец?» – и т. д. – смысл тот, что жар шуб должен омыть его от «коросты «Беседы», и тогда он невинным вступит в ряды арзамасцев).

Все это тянулось долго и… – нравилось. Довольно удивительно, что как раз Жуковский был зачинщиком всех таких шуток. Тот, чей стих «легок и бесплотен, как привидение» (Гоголь), любил всякую острословную чепуху, шутливые стишки, выдумки, решительно никакой славы ему не прибавившие, но за которые он стоял горой. У Жуковского не было капли юмора, но очень любил острить, сам хохотал по-детски и насколько был скромен в большой литературе, настолько высоко о себе мнил в жанре комическом. А теперь, осенью 1815 года в Петербурге, это могло бы казаться и совсем странным: труднейшая осень, с такой внутреннею тоской и все эти дурачества «Арзамаса».

* * *

Иван Филиппович Мойер был сыном ревельского суперинтенданта. Вначале изучал богословие в Дерпте, потом занялся медициной. Учиться уехал за границу – шесть лет провел в Павии, трудился под руководством знаменитого хирурга Скарпы. Работал и в Вене. Отлично играл на рояле, встречался и был знаком с Бетховеном. Кроме последней – теперь как бы легендарной черты биографии, – все остальное обыденно, просто, высоко, будто и слишком добродетельно: хоть бы какой недостаток! В 1812 году в Дерпте заведует он военным

госпиталем, потом работает в университетской клинике, через три года получает звание профессора.

Портрет показывает приятное, округлое и доброе лицо в очках, с мягкими некрупными бакенами на щеках, усы и подбородок бриты, шея в высоком галстуке, из-под которого торчат углы крахмального воротничка. Облик благодушия и смирности, старонемецкого сентиментализма.

Этот Мойер лечил Протасовых и Воейковых. Летом он познакомился и с Жуковским – оба друг другу понравились чрезвычайно. А еще больше нравилась Мойеру Маша. Да и она относилась к нему с большой симпатией.

В доме же, после отъезда Жуковского, стало совсем плохо – Воейков распустился до невозможности. Все у него выходило теперь неудачно. Вначале профессора приняли его хорошо, скоро, однако, увидели, что он такое. Пьянство, грубости, сцены в семье – в маленьком городе все известно. Лектором он оказался плохим, студентам из немцев и предмет малоинтересен. Посетителей у него все меньше. Он злится, завидует, срывает это на домашних.

Вот запись Маши (ноябрь – не из веселых): «После ужина он опять был пьян. У мамы пресильная рвота, а у меня идет беспрерывно кровь горлом. Воейков смеется надо мной, говорит, что этому причина страсть, что я так же плевала кровью, когда собиралась за Жуковского, что через год верно от какого-нибудь генерала будет та же болезнь».

В гадких этих намеках разумеется Мойер. Он просил уже руки Маши, но ему отказали. Теперь положение иное. С одной стороны – Жуковский произвел из Петербурга последнюю попытку воздействовать на Екатерину Афанасьевну: по его просьбе Павел Протасов написал ей еще письмо, все о той же возможности брака Жуковского. (Кажется, именно это письмо и ускорило события в Дерпте, всех растревожило.) Затем положение Маши из-за Воейкова становилось невыносимым. «После ужина он опять пьян, грозит убить Мойера, маменьку и зарезаться». «Если бы Жуковский и Кавелин могли бы видеть один из этих ужасных вечеров, они бы сжалились над нами».

Мойера он грозится убить потому, что Маша, да и Екатерина Афанасьевна решили на этот раз Мойеру не отказывать. Произошло это в отсутствие Воейкова – он уезжал в Петербург по делам к Жуковскому и Кавелину (с последним вышли у него неприятности). И вдруг оказалось, что Мойер жених Маши. До Маши-то Воейкову дела мало, но как так решили без него, да еще новый соперник в семье, новый и сонаследник по Муратову – и во всяком случае полный защитник Маши; с г-жой Мойер не станешь

уж так обращаться, как с безответной Машей Протасовой.

Маша совсем не имела к Мойеру чувства, как к Жуковскому, – видимо, просто он расположил ее к себе качествами бесспорными. И не ее одну, всех располагал. В Дерпте пользовался отличной славой. Достаточно ли этого для брака, другой вопрос. Но Маша явно была в безвыходности: или продолжать мучительную жизнь при Воейкове, на замужество с Жуковским не рассчитывая, или все резко переломить. В своей тишине, в слезах смиренных приняла она решение, частию похожее на самозаклание. Но ведь вообще была из породы агнцев. «Мой милый, бесценный друг… – Я не закрываю глаза на то, чем жертвую, поступая таким образом». А вот оказывается, что этим дает счастье матери и еще доставит ей «двух друзей».

В отстранении «себя», в жизни «без счастия» видна ученица Жуковского. Будто и не из сильных, но, когда надо вкусить горечь, силы находятся. Чтобы «маменьке» было покойнее, для этого и ломать жизнь.

Жуковский все это принял с горячностью крайней. Поражен, негодует. Считает, что Машу насильно хотят выдать. Не может быть, чтобы взаправду она полюбила, так скоро, так сразу забыла все прошлое. Нет, невозможно. Письмо его (25 декабря 1815) – целое произведение. И спор, и нападение, и выдержки из ее письма, и опровержения. Ему нелегко. Возражать вообще против того, чтобы Маша вышла замуж, нельзя – с ним самим брак невозможен. Он и не возражает. Но хочет, чтобы сделано было по ее воле и с известной разумностью. Пусть она пораздумает, приглядится. Против Мойера он ничего не имеет, но она почти и не знает его, для чего же спешить?

Это, в сущности, уже поражение. Уже признается, что Маша должна выйти не за него, а за другого, уж и другой этот не таков, каким был Красовский… – вопрос только в том, не вынуждено ли у нее решение, и если оно свободно, то пусть пройдет хоть некоторый срок. А затем, надо самому посмотреть.

В январе он опять уже в Дерпте, чтобы самолично «вложить персты», вновь вблизи перестрадать, прикрываясь возвышенным прекраснодушием, и убедиться, что другого выхода нет. Лучше Мойера не найти. Мойер любит ее высокою, преданною любовью.

Вот живут они трое, бок о бок – Мойер, Маша, Жуковский, в этом немецко-университетском Дерпте. Медленно, неотвратимо уходит счастье Жуковского – в пышных и возвышенных словах, в призываниях дружбы, мира, спокойствия – именно и уходит. Теперь Екатерина Афанасьевна спокойна. Не боится уже. Жизнь Маши на рельсах. С Жуковским не возбраняется и разговаривать наедине, и гулять, все уже решено. Только Воейков беснуется:

никак не может принять, что не он один в доме. И среди безобразий своих вдруг напишет чувствительное послание жене, о Жуковском отзовется превыспренно, можно подумать, что и он вот, Воейков, тоже из стана поэтов. Но никто всерьез этого не подумает, только скажет, что душа человеческая пестра и противоречива. Одной краской ее не напишешь.

В Дерпте Жуковский входит в жизнь города – университетскую, литературную и духовную. Много знакомств с профессорами типа Эверса и других, со студентами вроде Зейдлица. Поэзия германская являлась тоже: занялся он Геббелем («Овсяный кисель») – нельзя сказать, чтобы уж очень блестяще. Университет поднес ему доктора honoris causa[13], дело рук новых друзей, может быть, и не без Мойера. Но это все лишь поверхность. «Из глубины воззвах» этого времени надо считать «Песню»:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанья
И замолчавшие мечты?

Не все покойно в отказавшемся Жуковском. Из-под торжественного облачения душевного доходят стоны. Душа стремится в край,

Где были дни, каких уж нет,
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет…

Пушкин сидел еще в Лицее, а в литературе раздавались уже звуки, которые он подхватит, взовьет, возведет в перл. Но раздались-то они у Жуковского. Он русский Перуджино, чрез которого выйдет, обгоняя и затмевая, русский Рафаэль.

В это время написано «Весеннее чувство» («Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь…») – с той спиритуальной легкостью, которая лишь одному Жуковскому и свойственна. «Воспоминание» весомей – грусть что-то да значит («И слез любви нет сил остановить»…). Тут же и другая «Песнь» («Кольцо души-девицы я в море уронил»).

А жизнь и события ее текли. Жуковский любил называть странствие наше ночною дорогой, где расставлены фонари, освещающие путь, – память о прожитом и есть память о светлых этих участках близ фонарей. Свадьба Маши и Мойера (14 января

1817) была, разумеется, для него большой вехой, но, конечно, уже не фонарем, радостно что-то освещающим.

Вот как описывает он себя после ее свадьбы: «Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но боровшись имел некоторую деятельность; борьбу кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником».

И дальше:

«…Я не могу читать стихов своих… Они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня; они говорят о той жизни, которой для меня нет». Он вступал в некоторый душевный туман – или оцепенение.

# При дворе

Осенью 1816 года красавец огромного роста, с которым познакомил Жуковского у императрицы Марии Федоровны Уваров, уехал в Берлин: налаживался брак его с Шарлоттою, дочерью знаменитой Луизы Прусской.

Эта Шарлотта, видная, замкнутая и просвещенная девушка, провела детство и отрочество в изгнании – Наполеон был врагом всей королевской семьи. Они жили уединенно и бедно, пока по Европе шумел победитель. В сыром, скучном Мемеле Луиза приучила свою Шарлотту к труду, чтению, религии. Позже они перебрались в Кенигсберг. А с падением Наполеона – вновь в Берлин.

Русский великий князь для немецких королей находка. Николай всю осень провел в Шарлоттенбурге, где жил двор, – кроме невесты больше всего занимался парадами и военными делами. А потом уехал дальше, побывал в Англии. Но свадьба решена была окончательно, и священник Музовский стал подготовлять Шарлотту к переходу в православие.

На следующий год, через четыре месяца после свадьбы Маши и Мойера, Шарлотта выехала уже в Россию – для бракосочетания.

Николай очень ей нравился, да и она ему. Можно думать, что просто они были друг в друга влюблены. Все-таки уезжать было тягостно. Родной мир оставался сзади – впереди гигантская и жуткая Россия.

Жених выехал встречать невесту к границам государства своего и вез ее как можно скорее, но по тем способам передвижения все же медленно, на Ригу. В дороге угощал смотрами и солдатами. («Нельзя поверить, чем этот господин способен заниматься по целым дням», – записал язвительно немецкий генерал, сопровождавший принцессу.) Принцесса была не очень весела: боялась императрицы, боялась перемены религии, вообще чуждого, нового мира.

Императрица, однако, приняла ее ласково. Но тяжелого настроения не рассеяла. «С самого своего выезда в Петербург вплоть до 24-го июня Шарлотта плакала, как только оставалась одна». Но потом причастилась – стало легче. Император Александр был с нею мил, со всегдашнею своей прохладной и таинственною ласковостью, под которой неизвестно что. Под руку с ним, в белом платье с крестиком на груди, подходила она впервые к Св. Чаше, неверным голосом, на полузнакомом языке прочитала наизусть Символ Веры и из Шарлотты Прусской превратилась в Александру Федоровну, а через неделю в русскую

великую княгиню.

После свадьбы молодые непрерывно переезжали из дворца во дворец, главнейше же вращались вокруг Павловска, где жила императрица Мария.

Тем самым попадали в ее просвещенно-литературный круг. Александра Федоровна сама этим интересовалась. Николай больше любил военное дело, но не надо думать, что литературу не ценил – позже вслух читал жене в Аничковом дворце сам, а теперь, в дурную погоду, в Павловске им читали Уваров, тот Плещеев-негр, что был соседом Жуковского по имению, и сам Жуковский.

Тут и произошла встреча Жуковского с великою княгиней, столь огромно отозвавшаяся на его жизни. Как и многим другим, он ей понравился. На долгие годы это определило его судьбу – и жизненно, и даже литературно.

К императорскому дому Жуковский прирастал не со вчерашнего дня, медленно, но верно. Началось это два года тому назад, с майской и сентябрьской встречи с императрицей Марией. Потом чтение ей вслух, потом стихи патриотические, поднесенные государю, назначение пенсии (небольшой, но пожизненной). Все это внешнее. Жуковский ничего не добивался. За него старались друзья. Он же благодарил, исполнял, что полагалось, но на сердце иное. Свадьба Маши все определила. Оставались лишь воспоминания и минуты тоски, прорывавшей серость жизни его теперешней. В это именно время встретился он с юною великою княгиней, перестраивавшей душу для российской жизни. Может быть, с некоторого конца и подходили они друг другу, даже друг в друге нуждались, так что не зря получил он назначение преподавать ей русский язык и литературу: труды с ней заполняли для него некоторую пустоту, дух же изящества и благородства женского его вообще воодушевлял. И вот представляется ему случай делать нечто подходящее, как-то жить.

Придворным был он, разумеется, никаким. Но ученица ему нравилась.

Он занимался с ней от всего сердца. Много вместе читали. Для нее составил краткую русскую грамматику. Изящный, тихий поэт тоже был приятен. Позже ее считали холодноватой и надменной, но в те годы, еще не отравленные болезнью, трудностями с мужем, охотно видишь в ней молодую женщину с тяготениями романтическими, склонную к поэзии – и вот встретилась она в этом сумрачно-роскошном Петербурге, в блеске двора, с душой нежной и чувствительной, с настоящим певцом. Он дает ей нечто, противоположное строгом у великолепию

окружающего.

Начинается взаимовлияние. В нем самом (и в его стихах), в русской литературе, куда он ее вводит, она что-то для себя находит утолительное. А его приближает к германской поэзии – все сильней и решительней, – и он выходит на дорогу свою. Выпускает под ее покровительством книжечки «Для немногих» («Fur Wenige») – переводы из немецких поэтов: Гёте, Шиллера, Геббеля, Кернера, с немецким сопроводительным текстом. Изящные сборники, в художественных обложках с рисунками того времени. В № 4 помещен знаменитый перевод «Лесного царя», всем с детства знакомый, так и оставшийся непревзойденным. Там же большое собственное его стихотворение, весьма знаменательное и имевшее отношение к его личной судьбе: на рождение наследника.

Император Александр зиму 1817/18 гг. проводил в Москве, «малый двор» в. к. Николая и Александры Федоровны тоже. Москва оправлялась от пожара и разгрома французами, государь хотел быть вблизи населения, воплощая величие и победоносность России. Жуковский сопровождал двор. Жил тоже в Кремле, продолжал обучать Александру Федоровну, а в свободное время бродил с графом Блудовым, давним приятелем еще с коронации Александра I, по Москве, разыскивая уголки поэтические, восторгаясь ими по-детски.

А ученица его родила в Кремле сына. Жуковский и написал ей по этому случаю послание.

В нем есть внешнее, есть и внутреннее. Верноподданническое и человеческое – нечто от искреннего прирастания к царской семье, к самой Александре Федоровне. Она для него и великая княгиня, и бывшая ученица, милая знакомая. Литературное достоинство послания не выше среднего. Но некоторые общие высказывания замечательны.

Родился мальчик Александр, не простой мальчик, будущий царь-освободитель. Судьба его особенная.

> Уже в ее святилище стоит
> Ему испить назначенная чаша.

Величие этой судьбы Жуковский чувствовал. И издали, над колыбелью, в суровый век Аракчеева, будущему своему ученику дал завет нового времени – воистину Новый Завет:

> Да встретит он обильный честью век!
> Да славного участник славный будет!
> Да на чреде высокой не забудет

Святейшего из званий: человек.

Некогда возвестил он Светлане светлую и счастливую жизнь – и ошибся. Теперь ничего не возвещает, но напутствует. Послание написано в мажорном и торжественном тоне, с любовию, но и наставительностью: так отец мог бы говорить сыну.

В некотором смысле отцом он ему и оказался. Больше отцом, чем отец настоящий. Только вряд ли скромному его взору мог примерещиться тогда, в Кремле, страшный конец императора Александра. Этого и не требовалось. Пророком Жуковский никогда не был.

* * *

В те годы ему суждена была жизнь довольно блестящая и разнообразная – внутренне же пестрая, то живет в Петербурге у Блудова, позже у овдовевшего своего друга «негра» Плещеева, перебравшегося в Петербург, то едет в Дерпт к своим «вечным»: эти уж навсегда. Но во внешнем устроении над всем двор и ученица. Ей он предан, хоть не все в его душе открыто для нее. В глубине многое, чего не скажешь в оде ли или послании. Это к Дерпту направлено.

И как нередко у него: шумные заседания «Арзамаса» со всякою чушью, шутливыми несмешными стихами, жареным гусем и возлияниями, а тайные записи все о неугасшем, да и угасимом ли? Там цвет поэзии его.

«Протокол двадцатого арзамасского заседания» – трудно поверить, что один и тот же человек писал:

«Взлезла Кассандра на пузо, села Кассандра на пузе» – и далее нечто длиннейше-скучнейшее, над чем помирал со смеху недавно выпущенный из Лицея Александр Пушкин, также и другие сотоварищи и собутыльники, – и –

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины,
Неприступною звездою
Ты сияешь с вышины!
Ах! звезды не приманить!
Счастью бывшему не быть!
Если б жадною рукою
Смерть от нас тебя взяла,
Ты была б моей тоскою,
В сердце все бы ты жила!

Ты живешь в сиянье дня!
Ты живешь не для меня!

Это из Шиллера. Но Шиллером проговорило сердце, и Шиллер обратился в Жуковского, несмотря на неподходящее название («К Эмме»), несмотря на последнюю, третью строфу, где является Эмма и ослабляет две первых строфы.

Стихи помечены: 12 июля 1819 года. Рядом, все в том же «гробу сердца» его, другое стихотворение: «Мойеру».

Счастливец, ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою?
Возьми ж их от меня и страстию своей
Достоин будь судьбы твоей прекрасной,
Мне ж сердце и душа и жизнь и всё напрасно,
Когда нельзя отдать всего на жертву ей.

Этих стихов не знала ни Александра Федоровна, ни, вероятно, и ближайшие его друзья – Тургенев, Блудов.

За них не получал он ни наград, ни пенсий. Просто, в Дерпт съездив, повидав жизнь милых сердцу (в феврале 1819-го), написал все это летом для себя. А записалось золотом в наследие литературное, да и человеческое. (Хорошо бы найти другого русского поэта, способного сказать сопернику хоть приблизительно подобное!)

А ученица его между тем захворала. В июле 1820 года занятия с ней пришлось бросить. Но для него болезнь эта оказалась и благодетельной: Александру Федоровну отправляли лечиться за границу, среди других в свиту ее был назначен Жуковский.

Много лет назад, еще во времена Мерзлякова, сын турчанки и русский европеец мечтал уже о Западе – собирался в Геттинген. Тогда это не осуществилось: не был он готов. В Отечественную войну сверстники его Европу увидели, докатились до самого Парижа. Но он заболел и не докатился. Теперь не он болел, но ему пора видеть новое. Художник созрел в нем. Лагарпы, Флорианы, Жанлис, Коцебу давно позади, близки Шиллер и Гёте. Вот теперь и пора встретить ту Германию, духовный союз с которой главенствует над всем взрослым его писанием.

В сентябре он трогается, чрез Дерпт и Ригу, в довольно-таки дальний путь. Это его волнует и воодушевляет. Несколько жуток

берлинский двор, он боится там скуки и казенщины, но зато Дрезден, галереи, Рейн, замки, Швейцария! И люди удивительные… (В эту поездку мельком встретился он с Гёте.)

Опасения насчет Берлина не подтвердились. Наследный принц, брат Александры Федоровны, проявил себя очень приятно, оказался даже склонным к литературным интересам. Новое и замечательное увидел Жуковский в театре, Шиллерову «Орлеанскую деву» – позже и перевел ее, прославил на русском языке.

А у себя дома королевская семья устроила пышное представление – инсценировку поэмы Мура «Лалла Рук»: живые картины в духе феерии восточной, где великий князь Николай играл роль поэта-короля, Александра Федоровна героиню, Лалла Рук. Жуковский всюду присутствовал. Из поэмы перевел эпизод, озаглавив его: «Пери и Ангел». Вообще же состоял как бы придворным поэтом – положение не из легких.

Помогал легкий характер. Да еще то, что к царской семье привязывался он тоже семейно, по-другому, конечно, чем к Протасовым и Юшковым, все же входил в жизнь этих частью надменных, частью и сентиментальных «верхушек пирамиды» как благодетельный и благосклонный, скромный дух. Жуковский именно «при них», и обиходный, свой, но и внешний, за ним поэзия и красота – это они, к счастью, чувствовали и понимали.

Шум, блеск двора, сердце же закрыто. У Маши только что родилась дочь. Он спрашивает друзей о ее здоровье. А самой ей приписка: «Маша, милый друг, напиши мне о своей малютке. За неимением твоих писем перечитываю твою книжку и, кажется, слышу тебя: это бесценный подарок!»

Очевидно, бесценный, раз взял с собой в европейское дальнее странствие (видимо, ее «письма-дневники»).

«Тут вся ты, мой милый друг и благодетельный товарищ. В твоем сердце ничто не пропало; еще, кажется, ты стала лучше». «Читать твою книжку есть для меня оживать. И много милых теней восстает».

На нескольких строках три раза слово «милый». Это Жуковский. Это нечто и от того времени. Не от Аракчеева и Бенкендорфа, а от нежных душ, чувствительных, мечтательно-меланхоличных.

Так шла зима. В апреле тронулся он в путешествие по Германии и Швейцарии.

* * *

Жуковский рано начал рисовать, с детства. Занятие это очень любил, оно прошло чрез всю его жизнь. Поэт, в стихах своих музыкою проникнутый, одухотворивший ею слово, музыки как искусства не любил. Живопись же считал родною сестрой поэзии – в собственной его поэзии эта сестра роли не играла. У него был острый и живой взор. Видел и замечал превосходно, но для стихов этим не пользовался. Весьма склонен был прославлять Божие творение. Делал это в описаниях природы (прозой) и в рисунках.

Еще собираясь в путешествие, летом 1820 года усердно рисовал виды Павловска и упражнялся в гравировании их на меди. За границею это пригодилось»: в Германии, Швейцарии встретилось как раз то, что его артистически воодушевляло. Он много рисовал в дороге.

Первое крупное, может быть, и великое впечатление его в этой поездке – Дрезден. Подъезжал он к городу вечером 1 июля. «Вышел из своего смиренного Stuhl Wagen'a»[14], пошел пешком. «Город светился зеленью каштанов, кленов и тополей; вблизи, между темно-зелеными деревьями, мелькала мельница, за нею зеленел широкий луг, далее виден был прекрасный Дрезденский мост, над ним темные липы Брюлева сада и величественно из-за вершин древесных выходил купол церкви Богоматери и великолепная католическая церковь с высокими башнями».

«Долго бродил по террасе Брюлевой; пестрая толпа сверкала на солнце под зеленью лип, и все было чрезвычайно живо; небо ясно угасало и на светлом безоблачном западе прекрасно отделялся высокий крест, стоящий на мосту: этот вид давал картине что-то необычно величественное».

Под таким углом встретился он с Дрезденом, пребывание там оказалось значительным для него внутренне.

Вот встреча с Фридрихом, живописцем, и Тиком – главой немецких романтиков того времени. Оба ему понравились. С Фридрихом отношения сохранились надолго, Тик произвел впечатление яркое, но так и мелькнул странно-таинственною звездой. Они виделись, много беседовали, Тик читал ему «Гамлета» – чтец был замечательный, – но Шекспир не так уж понравился: тяжкое, сумрачно-кровавое и «слишком человеческое» в нем не было близко Жуковскому.

С Фридрихом он сошелся. Об этом пейзажисте и художнике романтическом без него и вовсе бы мы ничего не знали. Жуковский в нем ценил «верность» изображения природы и «человечность».

В те времена целы были еще дворцы Дрездена, картинная галерея Цвингер, терраса Брюля над Эльбой, где позже

прогуливался тургеневский Кирсанов. Мирный, цветущий город, осиянный искусством, так Жуковскому подходил.

В эти июльские дни встретился он в галерее с Сикстинскою Мадонной. Смотрел ее не один раз. Но однажды лишь, просидев перед ней час в одиночестве, ощутил как бы тайное вхождение ее, мистическую встречу. Полагал, что творение это есть видение Рафаэля, как бы запись посещения, и в тот удивительный, одиноко-счастливый час собственной жизни пережил это видение сам. «Гений чистой красоты» – слова Жуковского, Пушкин пустил их в ход позже.

Для Жуковского в тот час встреча с Мадонною была не только встреча с красотой, но и с самим Божеством. Чрез картину открывался ему высший мир.

По террасе Брюля, как и Кирсанов, он гулял часто, Эльбою любовался. Как некогда Карамзин, она погружала его в мечтательные настроения. Да и родное вспоминалось – Белев, Ока, разные Темряни, Жебинская пустынь, Дураковская церковь.

Из Дрездена, всё на лошадях, с товарищем своим Олсуфьевым, двинулся он дальше, через Саксонскую Швейцарию к Карлсбаду, а там на Констанцкое озеро и в Швейцарию. Ехали в коляске, иногда вылезали, пешком по тропинкам сокращали дорогу. Любовались видами диких Саксонских гор, полных разных легенд.

Тут же он рисовал: все хотелось запомнить и изобразить. Близ Бастей, над Эльбою, с высоты отвесного утеса расстилался перед ним Божий мир. Словами вполне живописными и взволнованными изображает он его:

«И над всем этим неописанным разнообразием гор и долин вообразите тот же чудесный туман, волнующийся, летающий, но гораздо более прозрачный, так что по временам можно было различить все, что таилось под его воздушными волнами; но иногда вдруг он совершенно сгущался, и в эти минуты казалось, что стоишь на краю света, что земля кончилась и что за шаг от тебя уже нет ничего, кроме бездны неба».

Та же изобразительность, если не ярче, в описании Констанцкого озера:

«…Когда озеро спокойно, видишь жидкую, тихо-трепещущую бирюзу, кое-где фиолетовые полосы, а на самом отдалении яркий, светло-зеленый отлив; когда воды наморщатся, то глубина этих морщин кажется изумрудно-зеленою, и по ребрам их голубая пена, с яркими искрами и звездами; когда же облако закроет солнце, то воды, смотря по цвету облака, или бледнеют, или синеют, или кажутся дымными».

Так может писать только имеющий любовный, памятливо-

точный глаз – мир близок и прекрасен, надо все запомнить, ничего не упустить.

Началось путешествие по Швейцарии. Подымался он на Риги-Кульм, видел Чертов Мост, Сэн Готард, спускался в Италию до Милана, назад на Женеву. Побывал и в Шильонском замке, что дало нашей литературе «Шильонского узника».

На лоне вод стоит Шильон;
Там в подземелье семь колонн…

Из Байрона взял самую не-байроновскую поэму. Обратил ее в меланхолически-нежный вздох.

Вот как написана смерть младшего из трех братьев – мучеников за веру:

Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне… увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах…

Легкая цепь смежных созвучий в четырехстопном ямбе с непременными мужскими рифмами – впечатление ясной и прозрачной печали, включенной в удивительную гармонию природную. Все очень трогательно, но это уж не карамзинский сентиментализм: эпоха Пушкина и Лермонтова. Ей Жуковский предтеча. Пушкин был еще полулучеником, Лермонтов вовсе ребенком. Пушкин испугался даже, что некоторые строки «Братьев разбойников» его как бы и от «Шильонского узника». («Мцыри» всей поступью своею – при полной мужественности – тотчас вспоминается, как только берешься за «Узника».)

Из Вевэ Жуковский проехал во Фрейбург, побывал в Люцерне, видел «Умирающего льва», дальше путь его к Цюриху. Шафгаузенский водопад опять дал возможность блеснуть описанием (все это, как и письма саксонские, направлялось Александре Федоровне. Все было литература, вошло в собрание сочинений).

Путешествие же заканчивалось. Оно питало и укрепляло его, художника уже зрелого, в расцвете сил, силам этим давало новый уклон. Он узнал новых людей (среди них, хоть и мимолетно,

самого Гёте). Видел новые страны, новую жизнь, испытал новые чувства. Осенью в Берлине оказался автором первейших пьес – «Орлеанской девы», «Шильонского узника». Вряд ли в Белеве написал бы их. В альбомах сохранились и его рисунки.

Путешествием обязан он двору. Двор его вывез с Александрою Федоровной, двор разрешил и теперь провести остаток года в Берлине. Но никто не подумал в то время об одном странном влиянии, которое оказал Запад на Жуковского: он физически ощутил невозможность крепостного права. «Аннибаловых клятв», как Тургенев, не давал, но, вернувшись, отпустил на волю своих четверых «людей». Так что и дальше не зря именно он будет обучать будущего царя-освободителя.

# Милые сердцу

В повествовании своем поворачиваю назад, снова к Дерпту.

С самого переезда сюда начала Маша переписку с кузиною Дуней (Киреевской, позже Елагиной). Эти смиренные письма сохранились, на радость литературе нашей. В них нет горизонтов. События исторические – мимо. Лишь человек, его жизнь и томления, незаметное, как бы и бледное существование: но вот оно полно трогательности и значения.

Дуню она обожает с детства. Та живет сейчас далеко от Дерпта – в Долбине, в краях Мишенского и Муратова, туда все думы, чувства.

«Когда мне бывает грустно очень и неожиданно вдруг сделается полегче, то я тебя благодарю за это; мне кажется, что в эти ужасные минуты мой ангел-хранитель научает тебя за меня молиться». Дуня более бурнопламенна. И тоже ее обожает – так всегда было. («Помнишь ли, как ты боялась, чтобы тебя не спасли прежде меня?») Быть спасенной в болезни, если бы Маша погибла, было бы для Дуни несносно. И в разгар тягостей и борьбы за свадьбу Маши с Жуковским предлагала же она – если венчаться им из-за родства грех, так она, Дуня, пойдет в монастырь, там будет замаливать прегрешение. Авдотья Киреевская такая и была. Половинчатости в ней нет.

Страстная, но и требовательная. В переписке местами есть ревность, шипы и тернии. Очарователен дух интимности. Маша называется иногда «Ге» – так прозвали ее Дунины дети (будущие известные славянофилы). Вдруг появляется какой-то «Клушин» – будто фамилия, но это кличка, шифр выражает некоторое настроение души («У меня нынче был Клушин»).

Дуня не одобряла, что Маша решила выйти замуж за Мойера. Жуковского она возносила не менее Маши, считала, что брак с Мойером нечто «против Жуковского», вероятно и полагала, что за свое и его счастье надо бороться упорнее, – если бы с нею такое произошло, вряд ли она уступила бы. Но у Маши иной характер, с детства слишком она в руках матери и слишком вообще в жизни из обреченных, ведомых на заклание. Да и душевно у них в Дерпте все было запутано.

Жуковский с Мойером подружились, всё желали друг другу счастия и всё заговаривали друг друга возвышенными словами. Где ж устоять смиренной мечтательнице? «Мойер любит Жуковского больше всего на свете, он говорит, что откажется навсегда от счастия, как скоро минуту будет думать, что не все трое мы найдем его»…

Все трое найдут счастье в браке Маши и Мойера – это надо было придумать! И вот ровно на другой день пишет она в Долбино: «Дуняша, мне иногда часто бывает тяжело, очень тяжело, но это пройдет». Через два дня: «А ты, моя душа, ты всегда присутствуешь в хорошем и дурном, в радости и неприятности. Ты связана со всеми чувствами и любить тебя есть то же, что дышать». (В другом месте о своем сердце: «оно твое крепостное».)

Какой бы поток слов ни изливался, выходить замуж – хоть и за отличного человека, любя другого…

«Je t'avoue, Eudoxie, que le moment où je me suis décidé a été affreux, mais Dieu a tant fait pour moi, que je le remercie pour la résolution que j'ai prise»[15].

Это апрельское настроение. И все лето невесело.

Осенью еще хуже. Ряд писем Дуне и вовсе не отправлен, из-за грусти. А время подходит к свадьбе. В декабре 1816 года брак ее с Мойером открыто уже возвещается – предсвадебные визиты и развоз карточек по бесконечным родным и знакомым Мойера – 278 извещений! «Сегодня приезжают к нам отдавать карточки, а мы сидим в задней комнате и погасили все огни в гостиной». «Как я ни уверена в своем счастии, но мне так страшно, что я бы рада совсем умереть».

С этим будущим счастием, от которого лучше умереть, поздравляет ее некто, в церкви услышавший оглашение помолвленных – оттого и решился поздравить открыто. А она чуть не заплакала от поздравления – «отчего, сама не знаю. Дунька, дай Бог мне счастия, не правда ли?». К свадьбе должны съехаться бесчисленные родные Мойера, из разных мест, даже из Выборга – кузен Тидеболь с женой и детьми, друг Цокель и всякие еще другие. «Я готова закричать, как Варлашка[16]: «Боюсь!»

В январе 1817 года, чрез неделю после венчания, Маша пишет кузине, что в замужестве счастлива и для нее началась жизнь иная (преимущество перед прежней в том, что теперь рядом не сумасбродный Воейков, а тихий, ученый врач, деятель, музыкант, филантроп, но скорей «брат», чем муж: Иван Филиппович Мойер).

Они поселились отдельно. Екатерина же Афанасьевна осталась, как прежде, со Светланою и Воейковым. Воейков от брака Маши был в ярости – его не спросили, это давало ей независимость и ослабляло его долю в управлении Муратовом. Да и вообще он разыгрался. Светлана запиралась от его скандалов у себя, страдала молча. Но теперь и Екатерина Афанасьевна узнала, что такое оскорбления: нападал он и на нее, требовал денег, а однажды изругал, как служанку.

Только с Машей ничего уж не поделаешь. Это его злило.

Маша теперь г-жа Мойер, живет в надежном укрытии, в крепко слаженном и серьезном доме. Туда в пьяном виде не ворвешься, безобразия не учинишь.

Дом и жизнь Мойера были устроены на германско-европейский лад. Ничего от Мишенских, Долбиных. Никакого крепостничества. Ни широты и поэзии, ни распущенности барства. Порядок, труд, мещанское благополучие… – и серость.

С утра Мойер в университете, по больным. Маша работает дома, заходит «к маменьке». В третьем часу обедают, до трех Мойер спит, до четырех прием – дом наполняется разными людьми: мужчины и дамы, дети, купцы, мещане, чухонцы, бароны, графы. «Иному вырывает Мойер зуб, другому пишет рецепт, третьему вырезывает рак, четвертому прокалывает бельмо, и всякий кричит на разные голоса».

Между 4–5 Мойер запирается у себя «в горнице», готовится к лекциям. «В пять сани готовы и он едет в университет, а я ухожу в свою горницу». Тут Маша читает – по плану, сделанному еще в Муратове: рука Жуковского, все как и прежде. Где Жуковский, там тоже распорядок, в своем роде не хуже мойерского. К этому Маша привыкла с детства.

Приходит Саша, любимая Светлана, «бостон, пикет, фортепиано». Сестра Мойера наливает чай, стряпает кушанье и разговаривает. Мойер же приезжает в девять. В десять ужинают, в одиннадцать ложатся.

В эту жизнь, когда приезжает в Дерпт, входит Жуковский. Как и прежде, он свой и любимый, как всегда «непричем» у чужой, как-то устроенной жизни.

Его уважают и ценят и в обществе, и в университете, и русские, и немцы (некий Зенфт выразился о нем: «Жуковский необыкновенный человек, obgleich ein Russe»[17] – Маше пришлось защищать родину). С этим светилом залетным дружит и Мойер, на это есть основания. Есть просто и сходственные черты в обоих.

Иногда они проявляются.

Вот выходит Жуковский на прогулку. Зима, холодно. На углу нищий – курляндец с отмороженными ногами сидит на камне. Жуковский дает ему пять рублей, идет дальше. Нет, мало дал. Возвращается – еще пять, снова уходит. Снежком завевает в Дерпте этом, плоском и мирном. Прокатил на тяжелых лошадях в высоких санях ректор, Жуковский почтительно с ним раскланивается. Курляндец позади, но все не выходит из головы. «У меня двести рублей, а у него только десять» – возвращается, дает еще пятьдесят. Опять идет, слегка в горку к церкви. «Да, у меня обе ноги целы, могу еще и прогуливаться и в кармане полтораста, а ему каково?» Опять назад и еще пятьдесят.

Вряд ли часто встречал курляндец такого странного путника. Вряд ли Жуковский далеко ушел бы в тот день, если бы нищий, в полном восторге, не сдвинулся со своего камня (может быть, и опасался, что назад отберут: слишком уж непривычная сумма). Сдвинулся и добрался до почтовой помощницы Лангмахер, где из милости в углу и ютился. Она записывала доходы его каждый вечер. Ей все и рассказал. Выручка нынче была несметная.

А курляндцу продолжало везти. Через несколько времени у камня его остановился другой господин, в очках, с добрыми подслеповатыми глазами, в малых бакенах, с выбритыми усами и подбородком, в высоком галстуке и солидной шубе – нечто основательно-благожелательное. Тоже дал денег, потом посмотрел на ноги, задумался.

И очень скоро курляндец оказался в лучшей дерптской клинике. Добрый Самарянин в очках устроил его там бесплатно. Вынужден был одну отнять, а другую лечил и вылечил. Его звали Иван Филиппович Мойер. Он был муж Маши и тот смирный похититель счастья Жуковского, при котором надеялся тот создать счастье для всех троих.

Что могло выйти из этого счастья, предвидеть нетрудно, но семейную и повседневную опору в муже Маша нашла.

Тем же летом и осенью много перемен произошло вокруг: Дуня Киреевская, после пятилетнего вдовства, вышла замуж за А.А. Елагина. Умерла Анна Ивановна Плещеева, жена «негра», красавица «Нина», инициалы которой в двенадцатом году приняли подгулявшие помещики за наполеоновские. Воейков написал гнусное письмо Елагиным о Маше (будто она была любовницей Жуковского), и та две ночи не спала, все плакала – потом простить себе не могла, что из-за этого столько страдала. Сколько Светлана плакала за эти годы, мы учесть не можем – у нее характер оказался самый замкнутый, прежнее веселье девочки заключилось теперь в строгий образ страдающей сильфиды.

А Жуковский в это время то в Москве со двором Александры Федоровны, то в Петербурге, наезжает и в Дерепт. Как всегда, за парадной стороной его придворной жизни тайная и глубокая сердечная. Где бы он и Маша ни находились, чем бы ни занимались, они связаны подземно-неразрывно. Может быть, друг друга даже на расстоянии воспитывают, возводят ступенью выше – и все идет чрез острую тоску, сменяемую воодушевлением и вновь тоской.

Дуня Елагина в 1818 году беременна, и Маша пишет ей: «Благословляю твою пузу», ей самой скоро предстоит то же, а пока она признается, что привязанность ее к Мойеру «не уравновесила ее чувств». Это ее «благодетель», благодаря ему

обрела она некий «покой» – но не больше. Иван Филиппович этого письма не видал. Было ли бы оно ему приятно?

Но вот в следующем году самому Жуковскому Маша пишет уже в другом тоне: «Кто лучше меня познал совершенное счастье? Теперь каждое дыхание должно быть благодарность.

…Ты не можешь вообразить, как ты мне бесценен и как дорого для меня чувство, которое к тебе имею».

А через два дня к Дуне вновь по-иному. Здоровье «расстроилось», и Мойер велит ехать в деревню на поправку, но она не верит и не желает.

В первый раз слышится тут звук ее кратковечности. («Одного только желать смею: покою поскорее». «Une vie inutile est toujours trop lonque»[18].)

Вот заехала она наконец и в деревню Лифляндии, на отдых. Но не радуется. Все здесь не по ней. Нет русского помещичьего склада. Девушка, молодая женщина в Муратове или Долбине занята литературой, поэзией, музыкой – так было в «их» доме. Это несколько над жизнию, жизненное делают за нее другие. Тут же ей приходится стряпать на кухне, ключи от погреба и амбара у нее, она «жалеет» даже, что училась столько в свое время, а вот не умеет варить мыла и готовить паштеты. И вообще эта Лифляндия не по ней: скучно-немецкое и мелкотравчатое.

Странные мысли приходят теперь – о близкой кончине. Раньше этого не было. Кажется, что в Лифляндии ее позабыли, похоронили. Письма редки. Является горечь: «огорчить» бы их смертью! Но в общем покорность и смирение.

«Quand je pense que je dois mourir bientôt, je suis d'une indifference étonnante pour le présent, il n'y a que passé que prend tout mon coeur[19]. Кто был так счастлив, как я? Как мне не благодарить со всяким дыханием Творца за жизнь? Правда, что она пройдет без пользы и без следов, но всякая хорошая мысль, хорошее воспоминание не есть ли крест на могиле?»

А между тем не только Дуне Елагиной, но и ей самой предстояло произвести новую жизнь. Вот конец марта 1820 года и ее слова: «Знаешь ли ты, что у меня в пузе шевелится маленькое творенье?»

Все эти месяцы ожидания новой жизни переживает она в мистическом смирении. Есть нечто от святости и самоотдания в ее отношении к младенцу. Воистину благоговейно приветствует она тайну. «Я его без страха пускаю в свет, потому что есть на этом свете Бог, его создатель, и вы, мои фонарики; вы и его жизнь осветите! Благослови же моего малютку на жизнь и обреки ему на крест свое сердце.

…Поручаю вам моего ребенка, вы отдайте его и Богу таким,

как вы сами, а я без ропота, без страха отдаю себя во власть Божию. Прощай, благослови меня так, как я во все минуты жизни тебя благословляю!»

У ней такое настроение, что сама она уходит. В тихом восторге перед появляющимся существом она себя как бы отводит – ей будто и не дано жить с младенцем. Она переступает за предел. Но Жуковский, Жуковский! Этот души ее не покидает. В самые горькие минуты, когда «без ума грустно», она заберется в свою «горницу», скажет громко: «Жуковский», и всегда станет легче».

С юных лет он процвел в ней обликом сверхземным. Лучше нет и не может быть. Оттого само имя его магично: довольно сказать «Жуковский», и мрак уходит – с какою простотой! Лучшее в нем сияет, но все это и свое, домашнее, с детства любимое. Он для нее одновременно и Единственный, и «дурачок», и «рожица». («Прощай, рожица! Люблю тебя».)

В июне 1820 года, когда он собирался в первое свое странствие по Европе с Александрою Федоровной и в Павловске упражнялся в рисовании видов, а Маша приближалась к торжественному дню появления младенца, так она написала ему: «Теперь только узнала я всю прелесть жизни и всю цену любви, но теперь же научилась знать настоящую любовь к Отцу моему. Признаться ли тебе? Когда я думаю о Боге, о всей Его любви к нам (ко мне особенно), то мне трудно воздержаться просить Его взять меня к себе, я чувствую какую-то сверхъестественную прелесть в мысли все покинуть в ту минуту, когда жить так хорошо! Когда всякий звук есть гармония, когда ни одна печальная мысль не портит настоящего, когда в будущем ждешь и видишь одне радости! Я никогда Бога так не любила, как теперь. Получив от Него столько, мне бы хотелось в полной мере отдать Ему все.

…Младенец мой! всякое его движение восхищает, возносит душу. Мне равно хочется остаться с ним и с вами, и возвратиться к Тому, который дал мне вас и его».

Осенью того же 20-го года она написала Жуковскому же, за несколько дней до родов: «прыгун… докладывается сильно, однако чаще приятно, нежели с болью».

Это было начало путешествия Жуковского. Направляясь в Германию, он заехал по пути в Дерпт, пожил там, повидал милых сердцу.

12 октября у Маши родилась дочь Екатерина.

* * *

«Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю… и как семя всходит, не знает он».

Но когда зелень появится, и колос, и зерно, тогда все ясно.

В годы Белева, Муратова Жуковский недаром учил и воспитывал сестер Машу и Александру-Светлану. Маша и Александра возрастали в духе любви. От Жуковского излучалось нечто. Он не навязывал, не принуждал. Но вот возросли два юных существа, два духовных плода отображения Жуковского, неповторимые, но и облики родственно-очаровывающие. И Маша и Светлана каждая сама по себе. Но в них Жуковский – светлым своим сиянием. Поэтому их жизнь – и его жизнь. Их томления – его томления. Их возношения души «горе» – его возношение, как и их крест его крест. Говоря о Светлане и Маше, говоришь о Жуковском.

Жуковский был крестный Светланы, и дочери ее крестный, любил ее нежно и вековечно (по-другому, чем Машу) – и пред ней все-таки был виноват: на брак с Воейковым не только мать толкала. Он и сам благословил, равно как Маша. Маша-то безответна по девическому своему неведению. Жуковский всегда людей плохо понимал, он отчасти здесь жертва прекраснодушно-мечтательного своего характера, все же он взрослый, он и ответствен.

Светлана, которой сулил он всегда свет и радость, которая и была по натуре свет-радость, – ей-то и выпала тягость главная. Вот пьянство и безобразия Воейкова, его скандалы (иногда и самоугрызения), обиды Маши, оскорбления Екатерины Афанасьевны, затруднения в университете, мучения с денежными делами – легконогая, с легким дыханием дева Светлана (хоть и мать, но и дева) все несет на себе. Въезд ее к Авдотье Елагиной в 1818 году есть попытка вздохнуть. Но потом снова Дерпт – и теперь по-другому. Жуковский, Тургенев устроили наконец для Воейкова нечто в Петербурге (службу, а потом участие в «Русском инвалиде»). Надо из Дерпта трогаться. Но Воейковы кругом в долгах. Заимодавцы терзают, выехать нельзя. Светлана одна должна путешествовать в Москву к брату мужа за деньгами, чтоб хоть сколько-нибудь расплатиться. Кредиторы заставляют ее ехать на линейке, чтобы скорее съездила.

И съездила, все унижения претерпела, мужа, себя и детей вывезла. В Петербурге со всем гнездом своим вновь прильнула к Жуковскому – он как раз находился на отлете: только и успел познакомить ее с другом своим Александром Тургеневым.

Много лет прошло со времени Благородного пансиона. Из юноши, читавшего товарищам стихи Державина, Тургенев обратился в видного чиновника (директор Департамента

духовных дел). Полный, бурный, подвижный, увлекающийся и добрый – странный чиновник. Как и Жуковский, всеобщий заступник и ходатай. По нежности сердца и общему расположению особый друг женщин.

Жуковский, уезжая за границу, поручил ему Светлану. Тургеневу она сразу понравилась. «Светлана его вряд ли не лучше его стихов», – Тургенев тоже считает Светлану частию самого Жуковского.

В Петербурге Светлана свободней, чем в Дерпте: горизонт шире, больше людей. Впервые видит она близ себя человека блестящего, друга Жуковского, ласкового и покорного, очаровательно преданного ей. (Ее опыт в «любви» – лишь хромой Воейков.)

Первые месяцы все идет превосходно. Переписка с Германией оживленная. Жуковский очень доволен, что у Светланы с Тургеневым дружба. Как всегда, он приветствует возвышенные союзы душ, воображает то, чего хочется ему, а не то, что есть в действительности. Светлана слишком еще мало пылала. Любви не знала совсем. Тургенев знал, но слишком легко воспламенялся – бурный, полный, склонный к энтузиазму, склонен был и к глубоким чувствам. У Воейковых стал бывать постоянно. О Светлане писал, что «от Светланы светлеет душа». «При ней цвету душою. Она моя отрада в петербургской жизни».

Все шло полным ходом – у Светланы, по-видимому, также. В начале 1821 года она ездила в Дерпт к Маше, вернувшись, болела в Петербурге (болезнь эта волновала Тургенева, вызывала нежность и боль любви). Еще по более ранним письмам его Жуковский почувствовал, что одной дружбой дело его со Светланой не ограничится. И предостерегал. Тургеневу для его же счастья надо уничтожить в чувстве своем все, «что принадлежит любви». Тургенев, прочитав это, задумался, но и усмехнулся: Жуковский равен себе, судит по темпераменту собственному. Уничтожить любовь! Тогда уничтожится счастие. Да и сам Жуковский разве мог себя одолеть? Устроить всеобщее благоденствие?

Для Светланы дело стояло еще сложнее: она мать семейства, жена. Дочь Екатерины Афанасьевны выросла в семье благочестивой и благообразной. Да и сама такая. По натуре с детства резва и шаловлива, но ученица Жуковского, и рядом с проказами, смехом записаны в отроческом ее альбоме изречения аскетические.

Значит, надо бороться. Попытки она делает (старается не встречаться с Тургеневым. Это не удается, слишком именно хотят видеться обе стороны). Тургенев продолжает быть своим и

завсегдатаем в доме, читает со Светланой, ласкает детей. Но рядом Воейков. Отчасти от Тургенева он и зависит, тот могущественный его покровитель, но начинается ревность. По восторженному своему характеру Тургенев не всегда сдержан. Плохо собой владеет. В гостиной вдруг поправил выбившийся у Светланы локон – Воейков закипел. И по городу начинают говорить о чрезмерной близости Тургенева к жене Воейкова.

Когда Жуковский возвратился из Германии (февраль 1822 года), дело было в разгаре. Он застал не то, на что рассчитывал, уезжая. Шел настоящий роман, со стороны Тургенева открытый, бурный, Светлана находилась в вечном отступлении и обороне, под перекрестным огнем. Воейков ей устраивал истории – и теперь некоторое основание имел. Мучил и Тургенев.

Жуковский сразу и довольно твердо выступил: дружба – да, любовь – нет. Убедившись же, что именно тут любовь, стал прилагать усилия, чтобы ей помешать. В глазах Тургенева вел игру против него. В этой борьбе, волнениях, иногда до пьянства, – прошел год. Отношения их пребывали в хаосе. Но, по-видимому, линия «закона» брала у Светланы верх – она дочь своей матери и дитя строгого душевного воспитания. (Запись в отроческом альбоме, из немецкого мистика: «Молись и трудись. Молчи и терпи. Улыбайся и умирай».) С Тургеневым она берет иной тон, он в отчаянии, упрекает ее, упрекает Жуковского, говорит резкости – только ухудшает дело, потом умоляет о прощении.

В марте 23-го года Светлана уезжает в Дерпт к родам Маши – отъезд ее в большой мере устроен Жуковским. Тургеневу это ясно. Он пишет Жуковскому исступленное письмо. Обвиняет его в пособничестве Воейкову, в измене дружбе, предательстве, считает положение его «отвратительным» и порывает с ним. «Прости навеки».

Вряд ли когда-либо получал Жуковский подобное. Ответ его неизвестен. Последствия со стороны Светланы были те, что это лишь отдалило ее от Тургенева. Встречались они теперь редко. Но вот в доме Карамзина Тургенев стал упрекать ее в холодности, она его в эгоизме и в том, что благодаря ему положение ее у себя дома ужасно, – получилась «сцена». Кончилось же тем, что она запретила ему бывать у себя: при всей мягкости своей вдруг поступила резко.

Тургенев впал в полное отчаяние. До нас дошли некоторые его стоны. «Люблю ее неизъяснимо и люблю по-прежнему и сильнее прежнего». «У ног ее прошу прощения, если любовь может быть виновата». «Буду любить и помнить ее до гроба, любил, как никогда и никто ее не любил».

Светлана записала у себя в альбоме: «Он сделал со мною то,

что судьба сделала с Максом Пиколомини. Это чувство, такое прекрасное в моей душе. Он пробудил в ней глубокое чувство. Я ему простила, это не было мое лучшее чувство». (Особенно мучило Тургенева то, что любимой женщине он не только не дал счастья, но был и причиной ее бед.)

И вот нечто меж ними произошло. Она дала все-таки знак примирения и прощения. Было это и расставание, но в мире. Ту записку ее, как и миниатюрный портрет, он носил теперь на груди.

С Жуковским же не порвалось. В начале лета 25-го года, оставив службу, Тургенев надолго уехал за границу. Перед отъездом написал два письма Жуковскому. Всё в них любовь – и к нему и к Светлане. Всё – просьба о прощении и забвении. («Прости мне последние два года моей жизни…» «Скажи, чтобы она совсем простила и берегла себя для детей».) И все о ней, о ней забота, о ее материальном положении, о детях, даже о библиотеке ее.

Светланы никогда более он не увидел. Считал, что любить ее будет «до конца жизни», но, по-видимому, ошибся. Слишком бурно все пережил. Выкипело раньше, чем думал.

Благородную же заботу о ней и делах ее сохранил до конца. Но уже «с того берега».

* * *

В начале 1821 года Маша писала своей Дуне из Дерпта: «Прошлого году, в марте месяце, приносили студенты Мойеру виват, после которого поделались им бедным неприятности» (может быть, слишком шумели, переусердствовали в овации – подробностей нет). «Два из отличнейших, которые были вожди прочих, несправедливостью ректора попали в карцер. Они так обиделись этим, что выписались тотчас из студентов и один медицинер, по имени Зейдлиц, который был ассистентом Мойеровым в клинике, остался бы посреди улицы без копейки денег и не кончивши своего экзамена, если бы Мойер не взял бы его к себе в дом, где он и поселился в апреле прошлого года».

«Медицинер» этот был тот самый Зейдлиц, с которым познакомился Жуковский на фукс-коммерше уж довольно давно. До могилы предстоит ему сопровождать путь Маши и Светланы. Верный медицинер скажет в старости, что за всю жизнь выше и очаровательней этих сестер никого не знал. В книге о Жуковском прославит всех троих.

А сейчас он скромный жилец в доме Мойеровом, обожатель

Маши. Называет ее Mutter Marie[20], обо всем с ней советуется, делится планами, он музыкант. («Заиграл мой добрый Зейдлиц Thekla Geister Stimme»[21] – это было осенью 20-го года, во время беременности Маши: навевал на мать и младенца тишину, детскость души своей.) Надо думать, что просто глубокою и чистою любовью полюбил эту Mutter Marie, прелестнейшую из встреченных им женщин.

Мойеру не очень это нравилось. Но Зейдлиц не Тургенев, иное и соотношение его с Мойером.

Когда тому пришлось на некоторое время уехать в Муратово, то, чтобы его не расстраивать и вообще из осторожности, Екатерина Афанасьевна и Маша решили принять меры: Зейдлица отправили в Ревель, на родину. Он оттуда вернулся за несколько дней до приезда Мойера. Екатерина Афанасьевна впала опять в такое беспокойство, что заразила им Машу. Та изменила обращение с Зейдлицем. Его печаль даже испугала её. С мужем, однако, она обо всем переговорила, и медицинер ничем, в конце концов, не смутил их налаженной жизни.

Да и не ему смутить. Та, вторая, невидимая жизнь Маши настолько была самостоятельна и глубока, так связана с Жуковским, что для нее Зейдлиц был, конечно, только милый ребенок.

Но другое существо появилось рядом – родившаяся девочка. Мистически переживала ее Маша, нося во чреве, мистически и теперь относилась. «Поверишь ли, я не просила у Бога Катьке долгой жизни, да и вообще ничего не просила, ни счастья, ни здоровья, а только царства небесного».

Окружающие ждали непременно сына и уже окрестили его Андрюшей. «Все другие, кликав его девять месяцев Андрюшей, также не могут отвыкнуть. На молитве назвали ее Сашей, на крестинах Катей, а в моем сердце Дуняшей или Дашей. Когда очень люблю, то Дуняша, прочие же оба имени употребляются по будням и в праздники, ночью и днем, во сне и наяву».

«…Я еще ни разу об ней не молилась, мне страшно самой попросить что-нибудь у Отца для нее. Кажется, Ему еще должна быть милее, как же мне сметь вступаться в Его виды? Я так уверена, что Он бы услышал всякую молитву».

Марья Андреевна Мойер, бывшая Маша Протасова, теперь не такая, как была некогда дома, в Муратове: рисунок показывает несколько располневшую женщину (она вновь беременна), спокойно полулежащую в кресле. На лбу локон, огромный узел волос на затылке, легкие кружева окаймляют шею. На ней просторное платье. Во всей позе и выражении тонкого, но и простого профиля с мелкими чертами лица (тонко рукой сестры

вычерченного – Светлана отлично рисовала) – во всем спокойствие и задумчивость. «Да будет воля Твоя».

Эта Мария Андреевна читает с мужем Клопштока, беседует о нем, соглашается или не соглашается, в четыре руки играют они на рояле Бетховена – личного знакомца Мойера! Как и муж, Маша за инструментом в очках. Как и он, тиха и благообразна. Но вполне ли спокойно ее сердце?

Вот Жуковскому, 1 февраля 21-го года: «Ты у меня в сердце так, как должно, в будни и праздники; но прошедшее больше бунтовало, и Катька со своими голубыми глазами не всегда могла усмирить бурю».

Авдотье Елагиной, 1 февраля 22-го года: «Жуковский возвратился… здоров и старый. Душа, ты можешь вообразить, каково было увидеть его и подать ему Катьку! Ах, я люблю его без памяти и в минуту свидания чувствовала всю силу любви этой святой, которую ни за какие сокровища света отдать бы не могла».

А повседневность идет. Мойер ездит на лекции, лечит больных. Зейдлиц делает люльку для сына Светланы – ожидающегося. Маша отправляет ее в Петербург сестре. А летом побывала Маша в родных местах. Это путешествие в некотором отношении замечательно.

В Белев Маша попала на рассвете – тотчас бежит к прежнему их дому. И поражена разрушением. Домик Жуковского с видом на Оку – и того хуже. Весь двор зарос крапивою, у забора ивы шумят, их она сама посадила в 1806 году. Слезы, волнение… – бросается на траву, плачет. Отворилось окошко наверху, в комнатке Жуковского: выглянул мужик – теперь помещался тут земский суд.

Она ушла, направилась к Оке, за город, где гуляла некогда с Жуковским. Подошла к самой воде. Солнце всходило, стадо паслось вблизи, кулички низко летали над песчаным берегом. Вот она, вода, Ока, былое! Будущего нет. Да и жизни нет, она близится к концу. «Я молилась за Жуковского, за мою Китти! О, скоро конец моей жизни – но это чувство доставит мне счастие и там. Я окончила мои счеты с судьбой, ничего не ожидаю более для себя и совершенно счастлива…»

Ей двадцать девять лет, она говорит, что «стара» и близок ее конец. Откуда это? Почему еще перед рождением Кати писала она, что ей жить недолго?

Все на родине ее волновало. В церкви, где восьми лет впервые говела, она упала в обморок. В Муратове писала в комнате Жуковского, побывала в имении Плещеевых – поклонилась могиле «незабвенного друга Плещеевой», и, конечно,

опять размышления о смерти. Но потом все это ушло. Побыли сколько надо в Муратове, медленно, длинно в Дерпт возвращались, и возвратились, и жили там целую зиму.

# Горе

*Не томи ж по Креузе утраченной сердца.*

*Вергилий. Энеида*

Жуковский возвратился из Германии в феврале 1822 года. Светлана встретила его радостно, почти восторженно, как и он ее. Поселились все вместе, не в Аничковом дворце, а на Невском, напротив. Воейков получил через Жуковского выгодное место – издавал «Русский инвалид». Материально Светлана была устроена теперь хорошо. Душевно – сложно и нелегко. Но все трудности с мужем ее и Тургеневым вывозил на своих плечах Жуковский – «украшение мира» (слова Маши). Когда он со Светланою рядом, ее дело прочно – он давал ей и легкость, и свет, и прикрытие от Воейкова. При мечтательности родственной предавались они воспоминаниям. Прошлое, молодость, Муратове, Белев… – все оживало и оживляло.

Созвездие удивительное: от Жуковского слава, художнический авторитет, Светлана – очарование женственности, изящества и привета. Завели как бы салон. Гости и друзья первостатейные: Батюшков, Гнедич, Крылов, Карамзин, Вяземский. Пушкина не хватало. В альбомах Светланы все знаменитости с автографами и стихами, но без главной: Пушкин был холодноват к ней. (Стиль Светланы слишком для него заоблачен. Его занимали женщины попроще – вроде Керн.)

Бывали и Баратынский, и Козлов. Позже Языков. Разумеется, вечный Тургенев. Светлана всех оделяла магической своею сильфидностью, лаской и светом. Это особенно ощущал Козлов, давний Жуковского приятель, несчастный поэт, сначала лишившийся ног, а потом ослепший. В салон Светланы вкатывали его на низком кресле, он смиренно въезжал в блестяще-изысканный этот круг. Смиренно-восторженно принимал ласку Светланы. («День светлый, как душа Светланы» – строчка стихотворения его, Светлане и посвященного. Писание Козлова, возникшее из горя и шедшее на значительной духовной высоте, ею и поддерживалось, вдохновлялось. Он ее боготворил. Ангелом прошла она чрез его жизнь.)

Воейков, мрачный «карла», гнездился вблизи, полный острых, мучительных чувств, то язвящий, то раскаивающийся, ревнующий, унижающийся, а то близкий к шантажу. Тайная месть сладка для таких душ. Когда на Жуковского появилась наконец

злая эпиграмма, Воейков с восторгом прочел ее Жуковскому (другие считали – и это возможно – что сам он ее и написал: подпольем своим Жуковского ненавидел, конечно, как и Тургенева).

В этом 22-м году, если не считать трудностей и осложнений с Тургеневым, Жуковский жил мирно, скорей даже счастливо: так и сам полагал. Приехала из Дерпта Екатерина Афанасьевна. На лето все выехали в Царское Село, там Светлана родила сына (Андрея). Все с поверхности благополучно.

И в литературе удачно. Из Германии он привез «Орлеанскую деву», охотно ее читал, с успехом заслуженным. (Пятистопный ямб, впервые без рифмы, был новшеством. Батюшкову, правда, не совсем это нравилось – размер находил он «диким и вялым». Но все чувствовали, что и тон, и дух, и полнота написанного, и подходящесть сюжета – все это «чрезвычайно Жуковский».)

«Орлеанская дева» сразу стала в первом ряду писаний его.

Но она создавалась до 22-го года и за границей. В год же приезда своего в Петербурге, Царском Селе – с осенним наездом в Дерпт – пишет он нечто иное. Из «Энеиды» берет эпизод гибнущей Трои. Конь, хитрость греков, ночное пожарище и избиение, безнадежная борьба. Вот Эней видит, что нельзя более сопротивляться, на себе выносит престарелого отца, Анхиза. С ним жена Креуза, сын. В грохоте пожара пробираются они к выходу – там, невдалеке, на священном холме, собираются уцелевшие троянцы. Но вблизи ворот, в стычке с греками, Эней теряет Креузу – она гибнет. Он возвращается в город, ищет, томится… – лишь дух убитой смутно является ему среди ужаса происходящего – и напутствует нежно к уходу навсегда, с сыном и отцом, в дальний край:

О Эней, о сладостный друг…
……
……..
Долго изгнанником будешь браздить беспредельное море,
Там в Гесперии, где волны Лидийского Тибра по тучным
Людным равнинам обильно медлительным током лиются,
Светлое счастье, и царский венец, и невесту-царевну
Ты обретешь. Не томи ж по Креузе утраченной сердца.
……
……..
Быть при себе мне сулила великая матерь бессмертных;
Ты же прости; поминай о супруге любовию к сыну.

И таинственно влечется Эней далее, к приключениям, новой жизни, под знаком вечных святынь покинутой Трои. Креуза навек у него взята.

Так написал две тысячи лет назад Вергилий. А мечтательно-тихий Жуковский склонился почему-то, на границе 23-го года, вниманием и любовью к повести этой. Не разгром Трои и не убийства, пожары его занимали. Всего лучше звучит у него запредельный голос погибшей:

Не томи ж по Креузе утраченной сердца.

Наступил новый год. Рождение свое, 29 января, Жуковский праздновал весело, шумно, точно бы ничего и не было. Через месяц отправился в Дерпт (со Светланою, к родам Маши, но и увозя Светлану от Тургенева).

В Дерпте чувствовал себя покойно. Прежнее замирало, что-то он принял. Мойеры жили достойно, тихо. Нет волнений любви, труд, музыка, чтение вслух, ребенок. А вот-вот будет и новый. Воейковы поселились отдельно, Воейков держался довольно смирно.

Родной уют для Жуковского: все его любят, в Дерпте много знакомых – профессора и художники, музыканты, студенты. Предвечерними зорями, уже весенними, с шоколадным снегом на улице, протыкающимся под копытами лошадей, при веселых лужах и воробьях, тучкой взлетающих с дороги, прогуливался он по мирным улицам города. Мартовский романтический закат, тихие зори. Возвратясь, мог застать Машу и Мойера за роялем, при свечах разыгрывающими сочинения мойеровского знакомого: Ван Бетховена. Жуковский слушал и сам, а потом сам читал вслух.

Пригреваясь теплом милых сердцу, так вводивших в белевский мир и муратовский, мишенский, он засиделся, просрочил отпуск. Надо было уже уезжать – не хотелось. Наконец день настал, ничего не поделаешь.

Лошадей заказали давно, выезжать надо вечером, от Мойеров. Все собрались. Вещи уложены, Жуковский в дорожной шинели, теплой шапке. Сидят, ждут. Уезжающий и накормлен, и все русские предотъездные чаи отпиты, разговоры переговорены. А лошадей нет. Начинают уставать. Рано встают, рано привыкли ложиться. Мойер зевает. Светлана, худенькая и некрепкая, бледнеет. Маша неестественно полна, в капоте – тоже погружается в туман.

Жуковский предложил Воейковым идти домой и проводил их. Вернулся, настоял, чтобы Мойеры шли спать к себе наверх, а он

внизу подремлет. Когда подадут лошадей, зайдет проститься. Они взяли с него слово, что вот именно и зайдет.

Он уселся в шинели внизу и подремал – недолго, около получаса. Лошадей наконец подали. Поднялся, подошел к лестнице, скрипнул ступеньками ее и хотел было уж назад спуститься – жаль будить Машу. Но она не спала. Мойер похрапывал в своем колпаке, Маша не спала. Он вошел в комнату. Маша хотела встать, он не позволил. Подошел, поцеловал. Маша попросила, чтобы перекрестил.

Он и исполнил. А она откинулась, спрятала голову в подушку.

Вот и все. Так попрощались, так расстались. А потом темная ночь, кибитка, ухабы, запах влажного меха, в который кутался, может быть, и слеза украдкой – впереди дальний, скучный путь под вековечный русский колокольчик. Ямщики, станции, вспухающие речки, сырые сугробы – начинается распутица.

Был ли он покоен? Чувствовал ли что-нибудь?

Возвратился в Петербург 10 марта. А 19-го посторонний человек сообщил ему, что в Дерпте накануне от родов скончалась Мария Андреевна Мойер. Ребенок родился мертвым.

* * *

Маша Протасова, «маткина душка» его молодости, не была венчана ему церковью. Была будто бы для него «никем». Но в каком-то смысле соединена навечно. Когда Лаура умерла, Петрарка продолжал свое, только вместо «In vita di madonna Laura»[22], сонеты стали называться «In morte di madonna Laura»[23]. Жуковский просто замолчал. Зейдлиц считает, что с уходом Маши кончилась лирическая часть его писания.

Если это и сгущенно, все-таки почти верно. За год до ее кончины написал о Креузе. Как теперь «томил» по «утраченной» сердце, мы не знаем. Одиноких стонов его не слышно. То, что до нас дошло, уже настоящий «Жуковский», непоколебленный, все принимающий и всегда светлый. «Друг милый, примем вместе Машину смерть как уверение Божие, что жизнь святыня». «Мысль о ней, полная ободрения для будущего, полная благодарности за прошлое, словом – религия!»

Он, разумеется, снова в Дерпте, тотчас туда кинулся. Неясно, попал ли на похороны: скорее – нет.

«Первый весенний вечер нынешнего года, прекрасный, тихий, провел я на ее гробе. В поле играл рог. Была тишина удивительная. И вид этого гроба не возбуждал никаких мрачных

мыслей».

«В пятницу на Святой Неделе… были на ее могиле». Стояли на коленях – мать, муж и дети, и все плакали. Под чистым небом пение «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…». «Теперь знаю, что такое смерть, но бессмертие стало понятней. Жизнь – не для счастья: в этой мысли заключается великое утешение».

Три дня перед отъездом его провели на могиле – сажали деревья, цветы.

# Новые судьбы

«Милый друг, Саша жива и даже не больна… мы вместе – это не утешение, но облегчение. Насчет ее здоровья будь спокоен, слезы лучше всякого рецепта. Но последнее сокровище ее жизни пропало. Этому ничто не пособит. Мы ни о чем не говорим, ни о чем не думаем, мы вместе плачем, и все тут».

Так писал он Козлову вскоре после смерти Маши. Вскоре же написал стихотворение – как бы надгробный ей памятник:

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взор унылый
Был полон чувств.
Он мне напомнил
О милом прошлом;
Он был последний
На здешнем свете.
Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна.
Там все земные
Воспоминанья;
Там все святые
О небе мысли.
Звезды небес!
Тихая ночь!..

Стихи будто оборваны. Не о чем больше говорить. Сидеть со Светланою, плакать.

Он и затаился. Продолжал быть Жуковским: все делал, исполнял, как полагается, в обществе даже бывал оживлен и шутлив. Внутренно же менялся. Как бы отходил от себя, Жуковского-поэта. Не знал еще, что предстоит, но чувствовал, что нечто уже и ушло.

Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.

Вернется ли, и когда? Неизвестно. Но пока что – молчание,

тишина.

1823 год для него полусон и неяркость, как бы летейское бытие. Наезды в Дерпт, уроки русского языка в. кн. Елене Павловне. Это и некая промежуточность. Одно кончилось, другое не начиналось. Надо влачить дни, выжидая дальнейшего, в настоящем же продолжая обычное.

Чем он далее двигался в жизни, тем обычнее становилось для него за кого-нибудь хлопотать, кого-нибудь опекать: чуть не вторая профессия. Пушкин в 20-м году чрез него уже прошел (и не раз предстояло еще проходить). Теперь очередь за Батюшковым.

С Батюшковым он дружил давно. Еще в 1812 году, в мае, описывал ему в стихах собственную усадебку, цветы перед домом, пруд, «швабского гуся» и купальню. Изящный, тонкий поэт был Батюшков. И, как Жуковский, предтеча: от него тоже взял каплю меда Пушкин.

В молодые свои годы Батюшков считался певцом счастья, вина, языческого благодушия, а кончил…

В 1818 году при содействии Жуковского получил назначение в Неаполь, в русское посольство, – и уехал. В это время написал «Торквато Тассо», и уж мало радости звучало в пении его. (А истинный был певец, сдержанный, благородно-строгий.) Любил Италию, переводил Петрарку, и, казалось бы, в посольстве, с Неаполем, Везувием перед глазами, жить да благословлять Господа. Но его ел недуг – тяжелая душевная наследственность. Есть указания, что осложнилось это позже тем, что он узнал о заговоре декабристов. Муравьев, родственник его, будто бы и самого его завлекал в Союз. Батюшков не пошел, но нервно столь расстроился, что Жуковскому пришлось взяться за него всерьез.

В мае 1824 года он повез Батюшкова в Дерпт, к тамошним друзьям-врачам. Те посоветовали отправить его в Дрезден, в известную лечебницу Зонненштейна. Так и сделали. Все сделали наилучше, со вниманием и любовью, Батюшкова устроили, а судьба его оказалась – долгие годы неизлечимого безумия.

В Дерпте Жуковский жил могилою Маши (его «Алтарь»). Чугунный крест был им поставлен, с бронзовым по кресту барельефным Распятием. Что особенно Маша любила в Евангелии, то теперь осеняло ее – на плите вылито: «Да не смущается сердце ваше…» (Иоанн, 14,1) и «Приидите ко Мне вси труждающиеся…» (Матф., 11, 28).

Тихо, покойно. Цветы, скромная ограда, скамейка. Кругом деревца. Рядом проезжая дорога, а за нею поле, простенькое русское (как и «русским» кладбище называлось), с жаворонками в майском небе, со светом и благоуханием весны. Это идет

Жуковскому. Уезжая из Дерпта, когда экипаж проезжал мимо кладбища, он приказывал остановиться, выходил, кланялся могиле земно, ехал дальше.

На этот раз, отослав в Дрезден Батюшкова, так же поступил. В Петербург ехал навстречу новой своей судьбе.

* * *

Император Александр слабел. Странно и загадочно складывалась судьба этого человека. Победа над Наполеоном, безграничная мощь, слава, восторг России и Европы, небывалые лавры – и медленная, отравляющая горечь, разочарование во всем, мрак, отказ от сияющего прекраснодушия молодости. Слишком ли он много видел? Слишком ли познал изнанку человеческой души – собственной в том числе?

И всё в нем противоречие: религия, тоска по запредельному, путешествие на Валаам и сырая репка смиренного схимонаха Николая, а рядом в «жизни, как она есть» Аракчеев с военными поселениями, шпицрутены, Магницкие, Фотии, отставка Голицына…

Сама религия не утешала или утешала недостаточно. Дело шло к концу, он задыхался – не так легко быть одновременно и «обожаемым» и соучастником отцеубийства.

Осенью 1824 года он уехал на юг. 27 ноября в Петербург пришла весть о его кончине. Семья бурно переживала случившееся. Мария Федоровна лежала в обмороке, ученица Жуковского Александра Федоровна на коленях перед ней, в слезах («Maman, calmez-vous…»[24]), гигант-красавец, кому некогда представлял Уваров Жуковского у этой же императрицы, – дрожащими губами присягал на кресте и Евангелии, а скончавшийся император из своего Таганрога порождал таинственную легенду: вовсе он и не умер – старцем Федором Кузьмичом ушел в леса и скиты, разуверившись в земном.

Это земное перешло на могучие плечи Николая Павловича. Из всех трех братьев наименьше походил он на отца – ничто от искаженного лица Павла I ему не передано. Здоровье, сила, крепость, красота… Темперамент огромный, но и великая выдержка. Велика и сила глаз – прекрасных по рисунку, но иногда страшных. (Глаз этих все боялись впоследствии, от сановников до скромного Жуковского.)

Все сложилось как надо. Не наследник Константин оказался царем (ему-то в первую минуту и присягал в Дворцовой церкви

Николай), а именно Николай: Константин в отказе упорствовал.

Ни тот, ни другой к царствованию подготовлены не были. Но Николай подходил к духу времени и обстоятельствам тогдашним: мощной фигурой своей что-то выражал.

К скипетру относился мистически. Приятие царства считал крестом, великим, но и тягостным. Долго убеждал Константина, но когда выхода не оказалось, непоколебимо принял власть.

С первого же дня путь его оказался грозным. Много спокойнее и проще было бы командовать, с титулом великого князя, каким-нибудь гвардейским корпусом, чем 14 декабря отстаивать на Сенатской площади свой трон, жизнь и свою, да и семьи. Все-таки, раз уж взялся, выполнил изо всех сил.

Николая I любить трудно. Не весьма его любили и при жизни, и по смерти. Но и нелюбившие не могли отрицать, что 14 декабря показал он себя властелином. Личным мужеством и таинственным ореолом Власти действовал на толпу. Он – Власть. «Это – царь!» Вожди мятежников могли быть и образованней его, и многое было правильно в том, чего они требовали, но у них не было ни одного «рокового» человека, Вождя. А Николай Вождем оказался. И победил.

День 14 декабря нелегко ему дался. Еще менее легко ученице Жуковского, Александре Федоровне. До вечера не знала она, будет ли муж жив. Если же нет, то и собственная гибель и гибель детей были более чем возможны.

Муж на коне свое дело делал. Она во дворце молилась – и на всю жизнь остался у ней на лице, памятью этих часов, нервный тик.

Не меньше того, надо думать, переживал события и Жуковский, в двух планах сразу: в монархию верил священно, тут никаких колебаний быть не могло. Заговор для него безумие, а заговорщики «злодеи». (Драматическая черта: среди сообщников – Николай Тургенев, к счастию за границей находившийся, брат покойного друга Андрея и живого – Александра. Этого уж никак он не мог счесть «злодеем» – позже за него хлопотал.)

Другой план семейно-патриархальный. С 1817 года знает он Александру Федоровну, учит ее, с ней встречает в Москве рождение Александра, с ней позже едет в Берлин – Николай, Александра Федоровна для него уже часть жизни, не как Протасовы, разумеется, но зато в сияющем тумане царственности. Мальчику Александру написал он в Кремле приветствие, писал и Александру Первому, и на случаи жизни семьи царской. В царей врос, блеском, величием жизни их и ослеплялся и воодушевлялся. Он как бы член семьи. Будто и на скромном положении, но при

мягкости и очаровательности характера ему это, в общем, было нетрудно (тем более что ничего не добивался, ни под кого не подкапывался). Он с царями сроднился, их беда неминуемо обернулась бы и его бедою.

Николай победил, стал императором. Тик на лице Александры Федоровны остался, но она тоже стала императрицей, а ее сын наследником.

Все это тотчас же отозвалось на судьбе Жуковского – смерть Маши и уход императора Александра надолго определили бытие его. При Маше он был поэт, пел, любил. Хоть и говорил, что жизнь и «без счастия» прекрасна, но именно счастия и хотел. И поэзия, творчество являлись для него тоже счастием. Он был поэт и влюбленный. Поэзия стихийно из него излучалась, как и любовь.

Но «это» кончилось. Начиналось другое. Не для себя, а для России теперь. Мальчику, тогда в Кремле появившемуся, предстояло сделаться царем. Кто будет его к этому готовить? Задача немалая. И родители, и Жуковский ее сознавали. На Жуковском и остановились. Он колебался – смущала ответственность и недостаток подготовки. Вместо себя рекомендовал он графа Каподистрию. Но Каподистрию не захотел император. Решили по-прежнему: быть Жуковскому главным руководителем наследника.

Значит, не для себя и литературы и поэзии, а для России. Тогда не знал еще, что обучать предстоит будущего Освободителя – будущую и жертву.

Жуковский шел на это в настроении подобном тому, как Николай принимал трон. Размеры иные, а суть та же: обязанность. Отказываться нельзя.

* * *

Печали, волнения этого времени действовали: весной 26-го года Жуковский стал чувствовать себя плохо.

Он жил теперь в Зимнем дворце, но высоко – сто ступеней лестницы. Подымался с большим трудом, задыхаясь. Лицо его отекло, пожелтело; отекали и ноги. От геморроя, потери крови он ослабел. Неважно и с печенью – врачи предписали Эмс. В мае выехал он во второе свое западное странствие. Должен был укрепиться, принимаясь за новое.

В Эмсе поселился с ним верный Зейдлиц. Жуковский пил по четыре стакана воды в день, брал ванны, занимался этим шесть недель с большой для себя пользой. Удержаться от туризма было

трудно, и, окончив лечение, проехался он на лошадях вдоль Рейна, чтобы «любоваться утесами с козел» (все-таки довольно слаб и пешком ходить уставал).

А в России трагическая история с декабристами завершилась. Всю весну Николай сам вел следствие, потом был суд, их осудили. Летом пятерых повесили (царская семья тяжело это переживала), остальных сослали. Осенью Николай короновался. Александра Федоровна стала императрицей. Незадолго перед коронацией Жуковский был прямо назначен воспитателем наследника (мальчику исполнилось восемь лет).

Но жил Жуковский в это время в Дрездене, переписывался с государыней – она и описала ему торжества коронации. Она же разрешила провести зиму за границей для восстановления здоровья.

Отношения Жуковского с императрицей своеобразны: конечно, он от нее зависит. Он бездомный поэт, она сила неизмеримая. Но она его бывшая ученица, и он много старше ее. Тон его писем почтительный, все же местами почти наставнический. Опасается, например, что для наследника зрелище коронации, торжеств, поклонений окажется не совсем полезным. «Он мог бы легко усвоить себе незрелые понятия о величии». Ему надо внушать, что «величие, чтобы не быть призрачным, должно казаться ему не правом его, а долгом, священною религией…».

В одном из дальнейших писем есть слова, особенно горестно сейчас звучащие: «Для Вашего ребенка, для его будущей судьбы требуется религия сердца». Религия сердца! Вот о чем тогда говорили, думая о властителях. «Ему необходимо иметь высокое понятие о Промысле, чтобы оно могло руководить всею его жизнию».

Николай только что победил. В недалеком прошлом треволнения борьбы. Да, он царь, но ценою нелегкой. А Жуковский пишет в это время его жене: «Власть царей исходит от Бога» – да, разумея: «ответственность перед верховным судилищем». Но не «мне все позволено, потому что я зависим только от Бога» – Жуковский, конечно, и благоговел, и трепетал пред Николаем, но вот не может и себя переделать: что считает истинным, то и говорит. (Позже приходилось и еще трудней, когда просил и ходатайствовал за недругов государя.)

В одном письме к императрице он с большой простотою дает ей поручение, как равной или даже младшей. Ему отводили новую квартиру в Зимнем дворце. Раньше там жил Нарышкин. Так вот пусть бы императрица понаблюдала, чтобы Нарышкин уехал вовремя. А еще интересуют его собственные вещи: Воейкова

(Светлана), с которой он жил вместе, тоже переезжает, вещи останутся без призора, хорошо бы вверить их во дворце «надзору какого-нибудь честного истопника». В конце концов, это недалеко от того, что он мог написать в Долбино Авдотье Елагиной и Светлане в Петербург!

В путешествии нынешнем ему везло на художников. Еще в Эмсе встретился он с Рейтерном, близким знакомым по Дерпту. (Рейтерн этот был офицер. Под Лейпцигом ему оторвало ядром правую руку. Он стал рисовать левой, писал и красками, добился известных успехов, женился на немке, жил теперь за границей, преимущественно в Дюссельдорфе.) Работы его Жуковскому нравились. Сам Рейтерн тоже. Но конечно, и в голову ему не могло прийти, какую роль через много лет сыграет в его жизни дом этого «безрукого красавца».

В Дрездене посещал живописца Фридриха, знакомого еще с первого путешествия. С ним единило настроение. После смерти Маши мотивы мистически-меланхолические владели Жуковским. Это выразилось и в собственных его рисунках: могила Маши, над нею крест – не раз он изображал это. Фридриху такое было родственно, он сам писал в том же духе. В бытие Жуковского вносил ноту романтики горестно-трогательной, нечто созвучное. (Картина изображает, например, кладбище вечером. У могилы ребенка, среди шумящих сосен, фигуры отца и матери, и т. п.) Жуковскому это нравилось. Он оказался даже отчасти покровителем Фридриха и заказчиком. Заказал и купил у него «Смерть на гробе» и «Жизнь на гробе».

Все-таки главное его дело теперь, когда здоровье подправилось, была не эстетика, а подготовка к обучению наследника. Начинаются всякие планы, расписания, таблицы – Жуковский верен себе. Еще в юности это любил, теперь же обучать надо не Светлану и не Машу, а будущего самодержавца всероссийского. Вот пишет он Авдотье Елагиной из Дрездена в начале 27-го года: «Работы у меня много, на руках моих важное дело! Мне не только надобно учить, но и самому учиться, так что не имею средств и возможности употреблять ни минуты на что-нибудь другое. Если бы вы видели, чем я занят и как много объемлет круг моих занятий, и как он должен будет беспрестанно распространяться…» – вот она, аскеза новой жизни, новое «послушание». Не до стихов, не до искусства, когда надо выработать точный план, где все сходилось бы на его лекциях. Он центр, куда все остальное устремляется. Но на нем и сторона хозяйственная. Как всегда, в этом точен, благоразумен и внимателен. Для наследника надо закупать книги – составлять библиотеку. Нужны и учебные пособия, гравюры, карты, планы,

глобусы. Все это за границею дешевле, и вот он накупает в Лейпциге и Берлине немецких книг, а для французских и английских собирается в Париж.

Зиму же проводит в Дрездене. Тут Александр Тургенев с душевнобольным братом Сергеем, тут же Е.Г. Пушкина, наблюдающая за несчастным Батюшковым в Зонненштейне. То, что живет Жуковский среди бед людских, в них входит, сколько можно облегчает, – характерно для него. Дрезденская зима тиха. Малый круг друзей, знакомых, художники, работа, попечение о Сергее и Батюшкове – весной 27-го года выезжает он с обоими Тургеневыми, больным и здоровым, в Париж, накупив в Германии книг для наследника уже на 4000 талеров. Кроме того, составляет каталоги по истории, философии, литературе, педагогике, военному искусству, законодательству, правоведению… – вспоминаются времена Благородного пансиона с тридцатью шестью предметами обучения.

Все это будет приводиться еще в систему, разные концентрические круги поведут маленького Александра к средоточию истины.

А пока что в мае оказывается Жуковский в Париже.

К Франции и Парижу русские писатели всегда были неблагосклонны. Отзывы их часто высокомерны, говорят и о незнании дела (Гоголь, Толстой, Достоевский. Тургенев знал, но все-таки не любил).

Сказать, что благосклонен Жуковский, было бы слишком. Но к своему полуторамесячному пребыванию в Париже отнесся он очень внимательно и добросовестно. Многим интересовался, многое видел, встречался с людьми первосортными и оставил отзыв серьезный. Народ ему даже понравился – он его находил живым, впечатлительным, хотя более мелочным, чем русские. Побывал и в Палате депутатов. К удивлению, что-то здесь даже одобрил. После николаевского режима поражен был свободою, с которой говорили о власти, да и о самой свободе, – в сущности, здесь было то, за желание чего сидели декабристы в тюрьмах по Сибири. Был во французском суде, в театрах, об Опере же сказал, что после итальянцев пение французов «кажется криком». Побывал в разных благотворительных учреждениях, но странным образом Париж художников мало оставил в нем следа.

Встречался с Шатобрианом, Кювье, филантропом Дежерандо. И довольно близко сошелся с Гизо и супругой его, также графиней Разумовской.

Париж довольно неожиданно принял Жуковского – он нашел здесь некоторый отклик настроениям собственным: Гизо и Разумовская, Александр Тургенев – все это родственный ему

воздух, тот же мечтательный и возвышенный идеализм, религиозность не совсем близкая церкви, душевная установка на тишину и примирение, на приятие и оправдание жизни и смерти.

Смерть же ходила вокруг. На руках Александра Тургенева скончался Сергей, младший брат его, именно тою весной в Париже. Смерть подбиралась и к г-же Гизо, недалека была и от графини Разумовской, в те дни державшей еще салон на 27, rue du Bac[25], в местах, позже прославленных Шатобрианом и Рекамье.

След грусти оставил в Жуковском этот Париж. Ему было хорошо и легко, светло и с Гизо и с Тургеневым, Разумовской, но печать бренности, скорого навсегда расставания лежала на всем.

В июле он снова в Эмсе. Тут ждут грозные вести, всё в том же роде: тяжело заболела Светлана, доктор Арендт предписал ей тотчас выехать за границу. (Светлана давно была туберкулезная – теперь болезнь ее проявилась решительно.)

В Эмсе Жуковский проделал второй курс лечения. Тут же узнал из письма Разумовской, что в Париже на ее руках и руках мужа скончалась г-жа Гизо – смерть эта была высокохристианская, в духе и тоне самого Жуковского. («Ваш благородный гений нашел бы тут вдохновение, его достойное».)

А в сентябре свиделся он в Берлине, куда нарочно для того выехал, со Светланой, проезжавшей на юг Франции. Это свидание было недолгим. Ему путь на восток, к новому своему делу. Ей на запад. Между ними ложится вечность.

# Светлана

Было время, носилась в Муратове девочка Сашок, позже стройная девушка, облик легкости, света, милый домашний друг и летящий гений Жуковского – поклонница и усерднейшая переписчица стихов. В августе 1827 года из Петербурга тронулась за границу очаровательная молодая женщина, мать троих детей и незадачливая жена – Alexandrine Voyeikoff, «Светлана», – тяжело больная и несчастная.

Ехали в нескольких экипажах: сама Светлана с тремя детьми, гувернантка Miss Parish, слуги Лиза, Лизетта, Лукьян: целый маленький двор. Путешествие медленное, для больной утомительное. До Риги десять дней, а там Кёнигсберг и немецкие дороги, гладкие, обсаженные итальянскими тополями. Есть в этих странствиях и минуты поэзии: где-нибудь на мосту через Одер, уже ночью, при звездах, из воды слабо отблескивающих, – запах реки, теплый ветерок с полей сжатых, благоуханных. В темноте фонарики встречных, и опять сумрачная дорога, слава звезд сквозь узор листвы на тополях. Дети спят. Англичанка похрапывает. Впереди Берлин, дальше Страсбург, Лион и юг Франции: последняя ставка на жизнь.

Берлин пришел в половине сентября. В нем Жуковский! Этим всё сказано. Не ошиблась Светлана – в Жуковском никто не ошибался. Он равен себе, ласков, заботлив, показывает Берлин, возит в Потсдам и Шарлоттенбург. С ним отдых и свет. Вместо пяти дней проходит десять, но и они прошли. Путь же далек. Светлана должна уезжать.

Нельзя сказать, чтоб легко проходило странствие. В Страсбурге в самом начале октября заболел сын Андрюша. Скарлатина! Гостиница, неуютность, отовсюду дует, холод… – ясно видно, как полезно это для Светланы с кашлем ее и температурой, болями в боку. В том же роде продолжается и впредь, темный ноябрь Франции, горы в снегу, сумрак и холод, Лион (этот город Светлане почему-то понравился), – надо думать, само путешествие посократило ей дни.

Все же в начале декабря добрались до Иера, близ Тулона. Тут можно вздохнуть. По рекомендательному письму графа Строганова маркиза Борегар сдала Светлане два этажа «небольшого» своего дома (древняя римская башня) в оливковом саду, с дальним видом на горы и море, с апельсиновыми деревьями, беседкою в розах и «ясминах». Хозяева приветливые, все готовое, покой и благоденствие Прованса, тихо, тепло. Светлана выложила свои книги – Монтень, Байрон, Фенелон,

Гёте, Шиллер, Шекспир… – и русские журналы, альманахи. Появился и Зейдлиц, добрый дух местности: он заканчивал за границей учение медицинское, но не мог же оставить сестру Маши в болезни и на чужбине.

Из Иера Светлана много писала на родину, матери и Жуковскому, друзьям. Тонким пером зарисовывала в альбом виды Иера. И письма ее и рисунки сохранились. Они дают ощущение прозрачной, изящной и одинокой жизни, как бы в дали опаловой, с нотой грусти, иногда и надежды, иногда тоски и предчувствий. Прованс двадцатых годов, маркиза времен реставрации, маленький старичок – эмигрант революции, благоуханье апельсиновых рощ, доктор Аллегри, лечивший Светлану тем, что спальню ей набивал пахучими травами, давал пить ослиное молоко и заставлял иногда спать в коровьем стойле – это помогает от туберкулеза… Море говорило о широте, свете, счастии. И вначале Светлане действительно стало лучше.

Но весной ни ослицы, ни коровы не помогли. Она чувствовала себя плохо. Приближались жары, угрожающие для чахоточных. Пришлось трогаться дальше: предстояла Швейцария. Пришла и она. Тот же Зейдлиц привел весь караван в Женеву, устроил и водворил. Мелькнула опять надежда: горный ли воздух, прохлада, но снова Светлане стало легче. Ее женевская жизнь – проблеск. Изящество и спокойствие, книги, общение с выдающимися людьми – у нее бывали Сисмонди, старый Бонштеттен (влюбившийся в нее под конец). Вдали на горизонте Жуковский.

Но и Швейцария ненадолго. Осенью приходится отступать в Италию, опять экипажи, дети, слуги и гувернантка – под командою Зейдлица (видно, он и совсем забросил на это время учение свое).

Италия поначалу дала привет светло-очаровательный. «Дети ходили смотреть Борромейские острова, а как я еще не мастерица ходить, то я качалась в лодке, однако в Isola Madre[26] взошла до первых апельсиновых дерев. – Вообразите вечер, как на заказ, самый бесподобный, озеро гладко, как зеркало; я лежала в лодке, Зейдлиц играл на кларнете всю старинную, знакомую музыку! Солнце село и миллионы звезд загорелись, дети утихли и музыка тоже, и мы приехали в Арона в каком-то волшебном расположении».

Были хорошие минуты и в Милане, но и смертельная усталость. В октябре 28-го года она уже в Пизе.

Почему выбрала Светлана древний, гордый гибеллинский город, в сумрачном величии которого столько трагического? Но там жили знакомые. Хлюстина, граф Ксавье де Местр. Будто не

так одиноко. Да и рок сюда устремлял, без ее ведома. Дожди зимней Пизы, сырость, холод в огромных, изящных комнатах снятого дома… И наискосок Башня голода, где погибал в тюрьме дантовский Уголино.

Тут она угасала неудержимо. В Петербурге думал Жуковский, что она вот так, светло и незаметно, подготовившись к тому миру, перейдет в него. Но в действительности было страшнее. О, конечно, как христианская душа, много и долго жила Светлана с мыслию об ином мире – с юных лет тем же Жуковским наставленная. Все его примирение и приятие крепко сидело в ней. Но она была молодая женщина, любившая жизнь, и красоту, и любовь (счастье в которой так и не было ей дано). В тридцать три года медленно, непоправимо близиться к могиле – это ли не Крест! Она не роптала. Но страдать всякому позволено. «Все плачу и рыдаю, и силы пропали; особливо по ночам, ce n'est pas volontaire et cela dure des heures quelquefois»[27].

Рисунок пером, ее собственный, – комната в Пизе: огромная, светлая, с хрустального люстрой, старинная роспись стен – колонны, гирлянды, на этажерке вазы античные, статуэтки. На постели в чепце больная. За одним столом гувернантка и девочка побольше, за другим няня с маленькой. При этой-то люстре, в ночной пустыне и ждать часа последнего.

Накануне Нового года она устроила детям елку, радовалась их радостью из-за подарков, все напоминало собственное детство и Россию – это и была Россия в Пизе. Даже и гаданье новогоднее устроили. Но тогда гадание Светланы было только страшным сном, окончившимся блистательно. Тут жених не приехал, да и о каком женихе речь? Вылитое олово указало дальний путь. Светлана поняла и поникла.

Дело же шло все хуже. В феврале Жуковский получил весть от Зейдлица, что конец близок. Он отправил Светлане необыкновенное, но для такого человека, как он, неудивительное письмо. «…Нам должно лишиться тебя; я даже не знаю, кому я пишу, жива ли еще ты, прочтешь ли ты это письмо?.. Неужели так трудно стать ангелом, принять спокойствие иной жизни, покинуть страх жизни здешней? Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначению! Благословляю тебя!»

Благословляет на смерть. В лицо говорит о неизбежности ее. О детях пусть не заботится. И он, и Перовский, и Полина Толстая, и государыня их не забудут. Все в порядке. В конце – снова: «Благословляю тебя, покоряясь необходимости потерять тебя».

Другое письмо, через несколько дней: «Саша, мой ангел, может быть, ты уж стала ангелом во всех отношениях…» «Разве ты покидаешь меня? Нет, ты становишься для меня осязательным

звеном между здешним миром и тем».

Этих писем Светлана уже не прочла – до них не дожила. Зейдлицу он писал в то же время: «Последний год твоей жизни есть прекрасная святая эпоха: обещание, данное Маше, верно исполнено, у гроба сестры ее ты снова с нею встретился. Вы оба были подле нее представителями всего лучшего; она невидимо, с того света – на свидание, а ты при исходе из здешнего – на прощание».

Из своего Петербурга он воспринимал удаление Светланы музыкально-поэтически. «Какая-то чистая музыка слышится, когда переносишься воображением в эту минуту. Для меня теперь все прекрасное будет синонимом смерти».

Нечто и жуткое есть в последней фразе, но для повседневности и весь строй чувств Жуковского в этом случае жуток. Жуковский святым не был, но приближался к той грани, которая дает право прямо сказать о смерти и даже благословить на нее: для этого должно существовать незыблемое и глубокое чувство того мира, мира духа и света, исход в который из здешнего не только не горе, но радость. (Св. Серафим «наставил» умереть совершенно здоровую молодую девушку, ибо считал, что для ее судьбы это лучше, – она и умерла очень скоро.) Жуковский чувствовал, значит, достаточно, где настоящая родина Светланы.

Предсмертные радости ее были – письма из России, друзья здесь да портрет Жуковского, всегда рядом на столике стоявший.

Смерть входила с великой торжественностью в молчаливый дом Пизы. (Жуковский знал, кому писал.) 27 февраля утром Светлана почувствовала, что это последний ее день. В девять часов отрезала себе косу, завещая ее детям. В Ливорно послали за священником: хотела причаститься. За полчаса до его приезда велела поставить перед собой образ Божией Матери. Хлюстина читала псалмы. Дети и домочадцы стояли на коленях.

После причастия и соборования она прощалась и благословляла детей, благословила сына отсутствующего, всех родных и знакомых в России… – она просто ждала уже конца. Дети приникли к ней. Она была в полном сознании, только слабела. Слышала, как пробило два часа. В руке у нее зажженная свеча, губами приникла она к Образу Богоматери. В комнате сдержанные рыдания.

С этого времени стала слабеть. Дети от слез и усталости задремали. Слышала, как пять пробило. «Умру ли я через два часа?» Ошиблась всего на полчаса. В половине восьмого сказала, что ей холодно. «Укройте меня» – но от этого холода никто уж не мог ее укрыть. Через несколько минут она отошла.

Ее похоронили в Ливорно. Жуковский так написал о

Машиной и ее смерти: «Гробы их на их жизнь похожи: около одной скромная, глубокая тишина, ровное небо, дорога, вечернее солнце; около другой живое веселое небо Италии, благовонные цветы Италии».

# Наставник

С осени 27-го года, вернувшись из-за границы, Жуковский живет в Петербурге совсем один, в Зимнем дворце. Устроен отлично. Квартира изящна, светла, тепла. Есть в ней некоторая даже изысканность, В кабинете большой письменный стол – у него он писал стоя – на стене бюсты царской фамилии, в углах комнаты слепки античных голов. Много картин, портретов близких и дорогих людей. В других комнатах библиотека (книг много), гостиная с большими креслами, есть где принимать друзей, устраивать литературные собрания (позже Гоголь читал у него здесь на вечерах «Ревизора». Вывал и Пушкин, Вяземский – весь блеск литературы тогдашней).

Порядок в комнатах замечательный – это всегдашний Жуковский, с ранних лет.

Сам он теперь покоен, с наклонностью к тучности, с не весьма большими, но живыми глазами на лице желтоватого оттенка. Часами работает в этой просторной и приятной раме. Пишет, однако, не стихи. «Былых уж нет в душе видений» – сейчас важны не четырехстопные ямбы (в этом изощряется Пушкин), а совсем другое: планы, пособия, наблюдение за лекциями наследнику.

Послушание принято, надо его исполнить. Жуковский намерен обучать Александра по сложному плану из трех частей. Первая от 8-ми лет до 13-ти – «приготовление к путешествию» (все-таки поэт сочинял программу!) – краткие сведения о мире, человеке, понятия о религии, иностранные языки. Вторая часть от 13-ти до 18-ти лет – собственно науки, излагаемые более подробно, – само «путешествие», развивающее зерно первой части. Науки разделены по собственной воле Жуковского на «антропологические» (история, политическая география, политика и философия) и «онтологические», науки о вещи вне человека (математика, естественная история, физическая география, физика). Наконец, третья часть «окончание путешествия» – чтение «немногих истинно классических книг», с целию моральной – образование «совершенного человека».

Вся эта сложность и добросовестность, высокие замыслы и некоторая педантичность – опять-таки Жуковский. Нечто и от его собственной молодости, обучения в университетском пансионе с тридцатью шестью науками и заданием создавать «добродетельных» юношей.

Император и императрица план одобрили. Государь внес только свою черту: велел выбросить древние языки, терпеть их не

мог, в детстве сильно и бессмысленно был ими намучен.

Как некогда у самого Жуковского, день у наследника расписан по часам. Занятия, уроки, отдых, гимнастика, вечером «обозрение прошедшего дня и ведение журнала». По воскресеньям гости – сверстники из выбранных родителями. Игры, танцы, музыка (к ней наследник имел большое расположение).

Воспитанием заведует генерал Мердер, «воин» в духе императора Николая, им самим и назначенный (он должен приучать будущего императора к жизни суровой, чуть ли не походной – постель мальчика жестка, питание простое, игры чаще военные и т. п.).

За Мердером государь, за Жуковским виднеется императрица – от Жуковского должна идти линия развития души, облагороженная ее высшими мирами. (Иерархически при этом Мердер был подчинен Жуковскому.)

Разумеется, вывезена из-за границы целая библиотека, карты, планы, глобусы, пособия. Набран штат учителей из выдающихся педагогов и профессоров. Среди них и академики, как Коллинс (математик) и впоследствии очень известный П.А. Плетнев (грамматика и русская словесность). Закон Божий преподавал выдающийся ученостию священник, протоиерей Андреевского собора о. Герасим Павский, назначенный самим императором.

Всем этим распоряжается Жуковский, за все ответствен. Сидит на уроках сам, входит во все мелочи. Наблюдают и родители. Императрица присутствует на ежемесячных испытаниях. На полугодовых, более торжественных, появляется и государь. Разумеется, они отлично осведомлены о ходе обучения, воспитания сына.

Летом все в Царском Селе. Тут для детей привольнее, конечно, Александру, Константину и Марии отведен был на пруду остров. Они сами насадили там деревьев и цветов, выстроили кирпичный домик, сделали для него мебель. И уже позже, взрослым, Александр поставил туда бюст Жуковского – в воспоминание о счастливых днях детства.

Сколько можно судить, наследник был мальчик живой, резвый, способный, иногда слишком горячий. С самонадеятельностью его приходилось бороться.

Но уж если Жуковский вошел в семью, то в ней прочно и остается, покоряя спокойствием своим, светом и благодушием. Теперь он врастал и в младших. Судя по более поздней его переписке со всеми тремя детьми, строившими в Царском Селе домик, он являлся для них чем-то вроде дядюшки, не по крови, не совсем настоящим, но, может, и лучше настоящего. С одной

стороны – верноподданный («верный до гроба Жуковский», «целую Вашу милую руку» – наследнику, 1844 год), с другой – и наставник, непреложный авторитет. Того же наследника учит, что Гоголю надо дать не 2000 в виде подарка, а 4000 в виде займа самому Жуковскому. («Видно, вы не разобрали моего письма» – Жуковский с Гоголем сам устроится, а наследник своих денег не потеряет. Тон письма очень вежливый, но такой, что отказать бывший ученик не может. Об этом и мысли нельзя иметь.)

Как бы то ни было, даже пока они просто дети, заботы о них – главным образом об Александре – занимают его всего. Первые годы он ничего не может писать по своей части – тут не одна занятость, а и внутреннее изменение. Ни Маши, ни теперь и Светланы уже нет. Сам он тоже не прежний. Потяжелел, пополнел, в свободное время сидит на диване, как турецкий паша, в изящной и светлой своей квартире, курит подолгу трубку, быть может мечтает. Но поэтической остроты, напряженности, беспокойства, стремящегося вылиться в стихи, ритм и рифму, – нет. Некогда перевел он «Орлеанскую деву» белыми стихами, но тогда писал и острое с рифмой. Теперь это ушло. «Прощай навсегда, поэзия с рифмами! Поэзия другого рода со мною, мне одному знакомая, понятная для одного меня, но для света безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь». Если не вся, то, конечно, целая полоса жизни. В этой полосе не только не писал он, но убавил даже переписку с друзьями, просил у них дать «отпуск насчет письменного молчания».

И вот приближается 1831 год. Жуковский встретил его в одиночестве, перечитывая письма Маши. («Это писала Маша, встречая свой последний, 1823 год»). «Теперь пять часов, на улице все так тихо, вокруг меня все спит, мое сердце бьется, но спокойно и исполнено благодарности к Богу. Я вступаю в этот новый год с совсем особыми чувствами. Во мне столько бодрости, как будто я должен начать сам для себя новую жизнь».

Точно бы то, что в свое время и очаровывало, и томило, мучило, но и наполняло жизнь, питая творчество, – ныне отошло, как бы заключено в хрустальном саркофаге. А его путь жизненный да и творческий идет самозаконно, прежним не управляемый.

Новогодняя бодрость не оказалась бесплодной. 1831 год по внезапному подъему творчества можно сравнить только с долбинской осенью 1814 года. Но совсем все другое. Там острое, трогательное, музыкально-звенящее, в сложностях, блеске ритмов и рифм, здесь спокойствие. Зрелость художника уверенного, нет за сценой и кровоточащего сердца. Творчество просто как творчество: баллады, и куски эпоса, и знакомые имена «из

Шиллера», «из Геббеля», «из Уланда». Затем русские: сказки – вот это для него новость. («Царь Берендей», «Спящая царевна».) Много гекзаметра: прощание с молодостью и рифмой. Предвестие обширных писаний типа «Ундины», «Наля и Дамаянти», впоследствии «Одиссеи».

«Война мышей и лягушек» именно гекзаметр. Вдохновлено это немецкой переделкой древнегреческого животного эпоса. «Войну мышей и лягушек» – вернее, отрывок из нее – написал он с полнотою и благодушием, улыбкой и яркостью Жуковского, перевалившего за полдень. Очень хорошо и удачно, но без нее можно жить. Это не необходимо Жуковский. Как не необходимы для него русские сказки: мог писать, мог и не написать. Кажется, из всего, в 31-м году возникшего, шиллеровский «Кубок» наибольше прикреплен к его сердцу. Любви не удержишь. За кубком бросается он на гибель – звук сильный и полный, бесспорная удача. В общем же в писании его теперь показан человек большого дара, ясный и покойный, но как бы наставник юношества. Сегодня это «Суд Божий над епископом» (с детства знакомое «…Так был наказан епископ Гаттон»), там будет «Царь Берендей», «Сид», «Война мышей и лягушек» – точно бы и наследнику, когда подрастет, читать эти отлично написанные и с оттенком «для юношеской хрестоматии» произведения. Так и случилось впоследствии.

Школа – и не только наследника – во многом завладела этими его писаниями.

* * *

С давних довольно времен Пушкин явился на горизонте Жуковского и до конца не сходил с него. С ранних лет соотношение это: ученик и учитель. Пушкин младший, Жуковский старший – разница шестнадцать лет. Пушкин лицеист – расцвет славы Жуковского. Но довольно скоро учитель признает себя побежденным – великая скромность, ум, беспристрастие Жуковского. Однако и ученик побаивается «случайных» совпадений – в ритмах, оборотах (он очень был на Жуковском воспитан). До конца сохранит к нему высокое отношение, хоть временами могли и срываться слова дерзкие. Как бы то ни было, замечательный образец дружбы старшего с младшим. Полная иерархичность в искусстве и никакой зависти. Иногда недовольны друг другом, но всегда чувствуют, что недовольство второстепенно. Есть нечто важнейшее.

«Ты имеешь не дарование, а гений», – писано

двадцатипятилетнему «повесе». «Что за прелесть чертовская его небесная душа» – так повеса оценивает учителя.

К 1831 году в искусстве положение ясно: Пушкин зрелый великий художник, невероятный музыкант и волшебник слова, угнаться за ним нельзя – да и все растет он. Жуковский давно определился и входит в ровно-полуденную полосу пути. Теперь уже в искусстве нечему учить Пушкина. У него самого можно учиться, да главному не научишься. Но вот: как в юные годы приходилось обращаться к Жуковскому за заступничеством, так все и осталось. В жизни Жуковский не вышел из положения учителя, наставника до самого конца. «Талант ничто, главное: величие нравственное». Это он тоже давно Пушкину написал и на этом остался. Тут они несоизмеримы… «Предлагаю тебе первое место на русском Парнасе, если с высокостью гения соединишь и высокость цели». (Он долго боялся, что Пушкин разменяется, что человек в нем не на высоте поэта. Как бы поэта не испортил.)

Для Пушкина последняя ценность – искусство. Для Жуковского и над искусством нечто.

В 1831 году оба они жили в Царском, укрываясь от холеры, встречались дружески и беседовали, даже одновременно взялись за сказки и соперничали в них. Но в жизненном Пушкин остался для Жуковского вечным учеником, за которого вечно приходится трепетать, иногда сердиться на него, чуть ли не в угол ставить. Не в 31-м году, а позже – но это не меняет дела – напишет ему Жуковский: «…Ведь ты человек глупый, теперь я в этом уверен». «Я право не понимаю, что с тобой сделалось; ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение». (Дело касается бестактного, по мнению Жуковского, поведения Пушкина с государем – за что Жуковскому, как всегда, приходилось расплачиваться.)

Лето же 31-го года тем оказалось еще замечательно, что тут рядом с Пушкиным появляется при Жуковском новый «персонаж», довольно-таки замечательный: к нему тоже впоследствии прикрепилось имя «гений» и его памятник в Москве оказался недалеко от пушкинского.

Гоголь вынырнул для Жуковского из глуби своей Малороссии несколько раньше. «Едва вступивший в свет юноша, я пришел в первый раз к тебе уже совершившему полпути и на этом поприще». Произошло это, видимо, в 1830 году. «Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!» (Из позднего письма-воспоминания Гоголя.) Жуковский сразу почувствовал в нем необычное – уже в начале 31-го года Плетнев пишет Пушкину,

обращая его внимание на Гоголя: «Жуковский от него в восторге».

Гоголь тогда почти еще не печатался, но кое-что было уже написано. Читал он вслух замечательно, занимался этим охотно. В литературном кругу кое-кто его знал. Вероятно, он и Жуковскому читал ранние свои вещи (или давал рукописи – что менее вероятно).

Во всяком случае, с начала 31-го года он печатается, а к маю у него готовы уже некоторые повести будущих «Вечеров на хуторе…». В этом же мае был он представлен Пушкину на вечере у Плетнева.

За всеми жизненными делами Гоголя виден в это время Жуковский. Он направил его и к Плетневу, и через него получил Гоголь место учителя истории в Патриотическом институте («для благородных девиц»). Жуковский же рекомендовал его Логиновым как домашнего учителя – Жуковский создавал ему вообще хорошую прессу, поддерживал и помогал жизненно. (В литературе наставником его, на первых порах, оказался Пушкин.)

Летом 1831 года Гоголь жил в Павловске, в скромных условиях – домашним учителем и воспитателем у Васильчиковых. Был беден, неважно одет, иногда читал свои повести приживалкам. Но не одним приживалкам! Жуковский и Пушкин недалеко – тоже, конечно, слушали. «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я» – если и не каждый вечер – то все же собирались в это странное лето, когда холера косила, когда укрывались от нее три русских поэта в тишине Царского Села и Павловска, все много работали, все были разного общественного положения и возраста, все соединены одним – искусством. Тут неважен потертый костюм Гоголя и общество приживалок. Важно, что двоим обеспечены памятники, а про третьего сказано:

> Его стихов пленительная сладость
> Пройдет веков завистливую даль…

Для Жуковского оба были «молодыми писателями», один с гениальным даром, но без всякого духовного управления, другой просто талантливый малоросс (таким казался ему), который может до слез смешить, но все-таки он «Гоголёк», пока только всего. К обоим старшим «Гоголёк» этот почтителен. Пушкин с ним очень мил и внимателен (что не часто случалось у него с молодыми писателями), но всю сложность, и путаницу, и трагедию будущую этого длинноносого учителя в потертом костюмчике с ярким жилетом ни Жуковский, ни Пушкин не чувствовали. В сентябре вышли «Вечера на хуторе…». Пушкин

прочел, восхитился, но ничего, кроме «веселости», не заметил. «Чертовский» привкус Гоголя прошел совсем мимо. Жуковский пленялся, конечно, стороной поэтической повестей этих, Малороссией и напевом их, внутренние же надломы и расщепления, терзания трагические были ему вообще чужды, как и стихия греха, зла. Правда, в Гоголе звуки такие были тогда еще слабо слышны.

Пушкин во всем этом ближе стоял к язычеству. Светлый аполлонизм закрывал от него дьявола. Жуковский, как христианин, видел дальше Пушкина – для него назначение человека, делание его, совершенствование и посмертная судьба самое главное. Для Пушкина человек – поэзия. Для Жуковского – Бог и поэзия.

В Жуковском совсем не было мутной и жуткой стихии дьявольской, природа его была не такая, но всё отношение к жизни, искусству, религии было ближе – а впоследствии это еще усилилось – к неказистому «Гогольку», чем к блистательному Пушкину. В то лето перед Жуковским предстали, в недопроявленном еще виде, два главных пути литературы российской: пушкинский, гоголевский. Художнически он ни по тому, ни по другому не пошел. Но путь Гоголя для души его был ближе, и не случайно, что начавшиеся с «рекомендаций» и «Гоголька» отношения перешли в прочную и глубокую дружбу, в связь внутреннюю.

Пушкин рано погиб. Жуковский отцовски провожал его. Но не очень видишь прочное соотношение их, если бы Пушкин жил долго.

* * *

1832 год – некоторая заминка в жизни Жуковского. Переутомился ли он, засиделся ли в однообразных трудах, но здоровье его сдало. Появились непорядки в печени, отозвалось и на зрении: стал жаловаться на глаза. Как и шесть лет назад, пришлось ехать за границу лечиться.

Опять Германия, воды. Теперь он настолько слаб, что выехал не как обычно на Дерпт, а морем на Любек, оттуда в Эмс. Там лечился и поправлялся, и был так еще несилен, что для прогулок завел себе осла Blondchen[28]. А ему уж назначили новые воды, серные, – в скучном Вейльбахе, близ Франкфурта.

Туда приехал к нему из замка Виллингсгаузена русский живописец Рейтерн с семьею – тот самый однорукий полковник Рейтерн, с которым вместе жил он в Эмсе еще в 1826 году и

которому покровительствовал при дворе (заказы, вспомоществования). Этого Рейтерна Жуковский любил, а тот относился к нему восторженно. В Вейльбахе они поселились в одном «трактире», это скрашивало Жуковскому «грустное затворничество».

После Вейльбаха ему предписали Швейцарию – лечиться виноградом. Рейтерн отправил семью назад в Виллингсгаузен, а сам вместе с ним поселился в Берне, на Женевском озере, близ Вевэ. Предполагалось, что оттуда Жуковский уедет в Италию. Но когда время подошло, он раздумал.

Остаться же одному в Швейцарии тоже казалось жутким. И вот Рейтерн решил вызвать сюда всю семью, поселиться с ним вместе. Это Жуковского чрезвычайно устраивало. Г-жа Рейтерн приехала с тремя дочерьми (старшей тогда было тринадцать лет) и сыном. Поселились все вместе «в уединении» Берне.

Эта жизнь очень подходила Жуковскому. Друзья, благообразие и тишина Швейцарии, голубой Леман, горы, прогулки… Из воспитательного «послушания» Петербурга с заботами о преподавателях наследника, о книгах и программах он возвращался к истинному своему призванию: поэта.

Рейтерны его обожают. Милая девочка Лиза смотрит на него с благоговением. По-русски она не понимает, он для нее ein berühmte russische Dichter[29], но он-то сам уж теперь силен по-немецки – впрочем, о чем особенно говорить с ребенком – достаточно одного легкого и поэтического его присутствия.

Жуковский живет уединенно: за два месяца раз только был в обществе. Его общество постоянное Рейтерны, книги, горы да озеро. Ежедневно уходит он в одинокие прогулки. От Берна по шоссе к Кларану и в другую сторону к Шильону каждый из трех километров отмечен его именем – нацарапано на камне. Тут оживает в нем всегдашний Жуковский. И как в прежнем странствии живописал он словами Констанцское озеро, так теперь изображает Леман.

«День ясный и теплый; солнце светит с прекрасного голубого неба; перед глазами моими расстилается лазоревая равнина Женевского озера; нет ни одной волны… – озеро дышит. Сквозь голубой пар подымаются голубые горы с снежными, сияющими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут, как яркие искры».

Тишина. Иной раз звук колокола, но мягкий и гармоничный. Где-нибудь по дороге идет пешеход, горы безмолвствуют, воздух благословенный стекает к бредущему Жуковскому – пусть будет дальний лай собаки, одинокий человеческий голос в горах – все

равно, не нарушить им великой безглагольности Природы.

Она настраивает на раздумья. Жуковский всегда к размышлениям был склонен, с годами философ в нем растет – позже в направлении религиозно-мистическом, сейчас преобладает натурфилософия.

В уединении этом швейцарском он много читал, созерцал, думал. История народов и история земли… И там и тут двойственно. То мед? ленное и упорное, созидательное творчество, то буря и катастрофа Незаметно и непрестанно произрастает нечто, а потом взрыв, «революция» и гибель. Вот видит он развалины горы, – рухнув, она раздавила несколько деревень. Так случилось в плане космическом, и потом по развалинам опять порастет травка, жизнь снова начинается. Но в человеческом общежитии да не будет обвалов – пусть идет ровное, спокойное усовершенствование. «Работая беспрестанно, неутомимо, наряду со временем отделяя от живого то, что оно уже умертвило, питая то, в чем уже таится зародыш жизни, ты безопасно, без всякого гибельного потрясения произведешь или новое необходимое, или уничтожишь старое, уже бесплодное или вредное. Одним словом, живи и давай жить; а паче всего блюди Божию правду».

Эти свои настроения он назвал «горного философией» – и для внутреннего развития его, человека хоть и зрелого, но не окостеневшего, зима в Швейцарии с Рейтернами оказалась благоприятна. Он жил под благословением и в благодати. Писал же не только письма.

Занимал его Уланд, из которого он и раньше переводил. Но главное, взялся за «Ундину».

«Ундина» – повесть Ламотт Фуке, француза по происхождению, выросшего в Германии, третьестепенного романтика, писавшего фантастические романы. Одна только вещь резко у него выделилась: «Ундина». Жуковского давно привлекало произведение это. Еще в 1817 году подбирается он к нему, но тогда ничего не вышло. В 1821–1822 годах познакомился с автором ее, но «Ундина» не двинулась: сам он еще не был готов, предстояло писать другое, по-другому жилось и переживалось.

Никогда не знает поэт, когда, как произойдет встреча. Это дело таинственного подземного развития. Повод же подается извне.

Все так слагалось у Жуковского, что острота и пронзительность прежнего отошла, трепет, перебои, сложность ритмов, как и сложность жизни – все прошлое. В сущности, и сама жизнь – любовь к Маше и смерть ее – прошлое, осталось одно воспоминание. «В горных медлительных днях Швейцарии как все

прозрачно, покойно-грустно!» «Ундина», старинная сказка, опять подступает к сердцу, берет его. И бескрайний, ровно волнообразный гекзаметр несет, как во сне. А за «Ундиной» Маша – слабеющая о ней память.

В Швейцарии написалась лишь часть произведения, но, конечно, пред голубым озером, пред вершинами снеговыми, безмолвием и величием первозданности созрела в нем вся «Ундина» – со всей прозрачной ее синеватостью и печалью. (Оканчивал он ее позже, в России, в Элистфере, недалеко от Дерпта (35–36-е годы). Разгуливал в солнечные дни по зале, диктовал дочерям Светланы заключительные главы.)

Память о том, что любил, уйти не может, но вот и она меняется, меняется и окружающее:

> Как нам, читатель, сказать: к сожалению иль к счастью, что наше
> Горе земное не надолго? Здесь разумею я горе
> Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе…
> …Есть, правда, много избранных
> Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой,
> Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж
> Все не та под конец, какою была при начале,
> Полная, чистая: много, много иного, чужого
> Между утратою нашей и нами уже протеснилось,
> Вот наконец и всю изменяемость здешнего в самой
> Нашей печали мы видим…

Да, уже новому поколению будет он диктовать свои гекзаметры. Не напрасно явилась «Ундина» в Швейцарии и овладела надолго. Она никак не случайна – внутренно связана с замирающей памятью о Маше. Сознавал ли тогда, в Берне, Жуковский всю важность задуманного и начатого? Как бы то ни было, за три года, что внутренно жил с «Ундиной» этой, вложил в нее столько прелести и поэзии, нежности, трогательности, столько ввел раздумий, воспоминаний, сожалений, что от бедного Ламотт Фуке остались, собственно, название да сюжет.

А от Жуковского вся полнота и обаяние произведения.

* * *

В Италию с Рейтерном он все-таки попал, уже весной 33-го года, – это была первая его встреча с Италией. Пробыл два месяца

очень хорошо, возвратился в Швейцарию и тут еще два месяца в полном мире и благоденствии прожил в Берне со всей семьей Рейтернов, которые становились ему как бы своими. «Наконец, пришлось расставаться. Они улетели от меня, как светлые, райские тени».

Он обещал перед окончательным отъездом в Россию заехать к ним в Виллингсгаузен, где Рейтерн жил с семьей у тестя своего, Шверцеля.

И заехал, провел три дня в старинном замке – они прошли очаровательно. На прощание Лиза, к некоторому его удивлению, кинулась к нему на шею и «прильнула с необычайной нежностью». Ей было тринадцать лет, он расставался с Рейтернами будто и навсегда. Рейтерн «со своею кистью должен был оставаться на Рейне и был прикован к семье многочисленной; мне указан был двор, и вся моя жизнь была предана безусловно одному, главному; казалось, что между нами не могло быть ничего общего, так же как Рейну не можно было никогда слиться с Невой». «Казалось, всему конец». Внезапная нежность девочки его удивила, но в душе следа не оставила.

Всей судьбы своей он тогда еще не знал. В сентябре 33-го года он был уже в Петербурге, в удобной, спокойной дворцовой квартире. Опять литературе отставка. Достаточно хлопот и с наследником.

Приближалось совершеннолетие его, и характер занятий с ним менялся. С 34-го года к нему назначили «попечителем» князя Ливена, юридические лекции читал Сперанский, по иностранной политике барон Бруннов. Теперь уже взрослые – министры, генерал-адъютанты, представители науки и литературы составляли его общество – Жуковский на первом месте, конечно.

Заботы и занятия с наследником настолько для него возросли, что на великого князя Константина Николаевича уже не хватало. К нему пригласили А.Ф. Гримма. (Павского же от законоучительства отстранили, по настоянию митрополита Филарета.) Жуковский о. Герасима Павского очень ценил, как и сам император. Но с Филаретом бороться было трудно. Жуковскому пришлось уступить: Святитель обвинял Павского в «историзме» преподавания, в разных «уклончиках», неточных определениях и т. п.

В 1835 году все это вообще кончилось. Наследник уже взрослый, обычные полугодовые экзамены миновали. В присутствии всей императорской семьи, при профессорах, генералах, разных приглашенных придворных, высокий и красивый молодой человек с крупными чертами лица, горячий и увлекающийся, с оттенком романтизма и рыцарства, с бурным

темпераментом – благополучно сдал последнее, как бы выпускное испытание. Учить его больше нечему. Жуковский остался при нем, однако, еще не один год, как бы «надзирателем за душой» – воспитателем в высшем смысле.

# Прощание с Россией

В 1831 году Жуковский написал несколько русских сказок. Писал их и позже. Одно время Гоголь вообразил, что Жуковский становится поэтом народа русского, отходя от Запада. При всем, однако, белевском своем происхождении певцом России Жуковский не стал. Русский он, но не Аксаков.

И все-таки весь 1837 год прошел у него под знаком именно России – не в творчестве, а в жизни. В эти месяцы ему была показана Россия в разных видах, и обширно, и глубоко, и величественно. Жизнь же его резко перегибалась к Западу.

29 января 1837 года он был приглашен на обед к Виельгорским, праздновали день его рождения. Многих пригласили. Пушкин должен был возглавлять писателей. Но приехать не смог – в этот день как раз умер. Жуковский еще накануне поцеловал холодевшую его руку. Около трех часов, в день обеда, Пушкин скончался, и Жуковский долго сидел с ним мертвым, созерцая ставшее столь прекрасным его лицо.

Эта сцена прощания имеет, возможно, очень глубокий смысл. В тайне смерти в последний раз предстал Жуковскому облик России, гений ее, лучшее ее. Прощай! Смотри, учись и возвышайся. «Какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, удовлетворяющее знание». Прощай!

Невеселый вышел обед. Невеселое рождение Жуковского.

А потом все как надо: и панихиды, и отпевание, и странные похороны. Уходившей любви своей и уходившей России остался Жуковский верен: был посредником между семьею и государем, всячески защищал и поддерживал «пушкинское», разбирал и бумаги его. 3 февраля в полночь тронулись от подъезда сани в сопровождении Александра Тургенева, увозившие гроб Пушкина в Святые Горы. Светил месяц. Жуковский провожал их глазами до угла дома. За ним они скрылись. «И все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих».

Пушкина похоронили, а жизнь продолжалась. Ее веления беспрекословны. Жуковский при дворе, в распоряжении наследника, теперь назначен ехать с ним по России, «сопровождать» – путешествие огромное и по пространству, и по времени.

Император Николай в расцвете. Долго ему еще царствовать. Россия в силе необыкновенной. Все стоит прочно и на месте, декабристы в ссылке, границы необъятны, поля плодородны, леса непроходимы, крестьяне покорны. Эту-то громаду и показать

будущему царю – пусть ощутит и величие задачи и ответственности пред Богом (так всегда учил его Жуковский).

2 мая целый поезд двинулся из Петербурга – в свите наследника кроме Жуковского Кавелин, Арсеньев, Юрьевич, некоторые из сверстников и товарищей наследника (граф Виельгорский, например). Ехали в огромных дормезах, сколь возможно быстро. Россия разворачивала пред ними все разнообразия и сложности свои. Торжок, Тверь, Ярославль, всюду «восторги», иллюминации, беспрерывное «ура» – так намучившее под конец путников, что оно слышалось им как кошмарный звук даже тогда, когда и совсем тихо было. Сторона парадная – губернаторы, архиереи, предводители дворянства, обеды, приветствия, все это было невыносимо, конечно – Жуковский, по смиренному своему характеру, терпеливо «присутствовал». Те же торжественные пошлости говорились, что и теперь, при других политических устроениях. Но тогда было простодушнее и патриархальней. А иногда и трогательней. Нет сомнения: обаяние царя имело еще силу мистическую. В Костроме среди тысяч теснившихся на берегу Волги, чтобы видеть наследника, многие часами стояли по пояс в воде: так лучше разглядят его в лодке.

Ехали очень уж быстро. Картины, впечатления сменялись, утомление было огромное – у всех, но не у наследника. Он крепко держался. А Жуковский нередко дремал в коляске с полубольным Виельгорским. На кратких остановках едва успевал отписывать императрице все о ходе дела. Впрочем, ухитрялся делать и зарисовки.

А Россия много предлагала замечательного. В Угличе видели собор времен Михаила Федоровича, палату царевича Дмитрия, церковь, построенную на его крови. В Костроме осматривали Ипатьевский монастырь – колыбель дома Романовых. А там пошли леса, дебри, дичь Руси северо-восточной: путь к Уралу, Вятка, Ижевские, Боткинские заводы – везде осматривали производства. В Перми первые и «оборотные стороны»: не одни «ура», но вот ссыльные поляки подают прошения о возвращении на родину. Раскольники жалуются на преследования.

26 мая, недалеко от станции Решоты, в тридцати верстах от Екатеринбурга, достигли высшей точки Уральского хребта. Начало Азии, Сибирь! Ни один еще из царей русских не видал этих краев. Будущий Александр Второй увидел. Вот и Екатеринбург. Тут показывает Россия мощность недр своих – наследнику подносят изумруд небывалой величины, удивительные изделия из яшмы, малахита, мрамора. Но в мирных снах своих не видали путники того, что через восемьдесят лет произойдет здесь со внуком ученика Жуковского.

От Екатеринбурга до Тобольска, по Сибири все было – широта, мощь, изобилие. Ни в Костромской, ни в Ярославской губерниях не видал наследник такого склада жизни у крестьянства (да и у мещан, купечества): все несравненно полнее, привольнее, богаче. Правда, людей меньше, а пространств больше, и они щедрее, плодородней. Но не представлялось ли образованному юноше, объезжавшему свои владения, что вот этот край так обогнал Россию европейскую и потому, что крепостного права никогда здесь не было. Вольный труд вольного народа! Для будущего Освободителя впечатления поучительные. В биографию его они входят.

Он недаром провел годы с Жуковским. В век казарм и шпицрутенов взор его оказался устремлен далее, к свободе и милосердию. «Вышел сеятель сеять…» – посеянное Жуковским начинало всходить. В Сибири видели они много ссыльных, среди них и декабристов. Как всегда, здесь Жуковский был заступником и посредником в бесчисленных просьбах. Из Тобольска цесаревич обратился к отцу в Петербург с ходатайством о смягчении участи их.

Из Златоуста спустились в Оренбург – Россия явилась экзотической: киргизская орда. Скачка полунагих киргизят на лошадях, верблюдах. Заклинание змей. Хождение босыми ногами по саблям. Видели дикую пляску под музыку на дудках и гортанную.

В Казани заинтересовал университет. Но везде останавливались ненадолго. И вот катят уже в своих дормезах к Симбирску, на остановках подзакусывают и дальше. Спутники разделились на «чаистов» и «простоквашистов» – партии враждебные. Жуковский больше действовал по пирожкам, главное же, изнемогал от усталости.

Около Симбирска ждала радость. В нескольких верстах от города нагнал их фельдъегерь, бурей несшийся из Петербурга. Поезд остановился. Наследник распечатал письмо от отца – просьба о ссыльных была уважена. Он вызвал к себе Жуковского и Кавелина и тут же на дороге сообщил им новость. «Все трое обнялись – во имя царя, возвестившего им милость к несчастным». «Одна из счастливейших минут жизни», – говорит Жуковский.

В начале июля добрались уже до хлебного, просторного Воронежа. Там нашел наконец Жуковский подходящего себе сотоварища.

В самый день приезда наследника жандарм явился в семью Кольцовых: губернатор требует к себе поэта. Сначала все всполошились. Но вызов был мирный и Кольцовым даже

полезный: Алексея Васильевича приглашал к себе Жуковский. Два воронежских дня провел он с Кольцовым – Кольцов и Воронеж тоже были Россия, густой, крепкий ее настой. Пили чай в купеческом доме, вместе разгуливали по городу, с Острожной горы любовались широкими видами, лугами, лесами дальними – той огромностью и мощью русской, что так чувствуется в Воронеже и его крае. Старина, собор, св. Митрофаний Воронежский, св. Тихон Задонский… – а внизу под горой старые домики петровской слободы: иной мир, но История, Петр, судостроительство…

Всех удивлял и радостно здесь поражал Жуковский: придворный, близкий к государю, а разгуливает запросто с сыном мещанина по городу, пьет у него чай. (Самого Кольцова Жуковский совсем поразил и пленил: позже в письмах он так к нему обращался: «Ваше Превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт».)

А добрый вельможа тоже рад был встретить наконец не губернатора, а своего брата поэта, с которым можно поговорить о стихах, дать совет дружеский литературный, например собирать народные песни. (Многим тогда это казалось странным.)

За Воронежем стали приближаться к краям тульско-орловским, родине Жуковского. В Туле смотрели оружейный завод. Может быть, видели (но, конечно, не заметили) какого-нибудь лесковского Левшу, подковавшего стальную блоху. А потом повернули на Белев.

И ученик, и учитель имели к нему отношение. Для Жуковского – это детство и юность, Александр в глаза не видал Белева, но там скончалась императрица Елизавета Алексеевна, его тетка. По ней отслужили в Белеве панихиду, а места, где возрастал «любимый его наставник», Александр посетил в духе паломничества. Был в доме его белевском, где в 1806 году Маша Протасова посадила во дворе ивы, а в 22-м, на рассвете, плакала в одиночестве на траве дворика.

Здесь временно расстался Жуковский с наследником – взял краткий отпуск, чтобы повидать родных. И побывал в Мишенском. Волновался, может быть тоже и плакал, вспоминая ушедшее – лучшее свое время. Разрушений и перемен немало. Но осталось и старое, появилось и новое. Неподалеку, в Бунине, жила Екатерина Афанасьевна Протасова – из Дерпта вновь сюда перебралась. С ней три внучки, дочери Светланы, Маши, теперь в том же возрасте, как тогда матери их. Жуковский среди этой молодежи – как бы предвозвестие Лаврецкого, возвратившегося к пенатам.

Из Калуги наследник съездил в Авчурино, верстах в десяти по Оке вниз. Там имение Полторацких, на берегу Оки, славившееся

образцовым хозяйством, – Александру показали «молотьбу и веяние машинами», сам он «попробовал английский плуг». И, во всяком случае, должен порадоваться был и чудесной тишине местности над зеркальной дугой Оки, и огромному парку, и дому-замку. (Таким казался он, по крайней мере, мальчику, возраставшему в скромном имении наискосок через Оку и никак уж не думавшему, что более чем чрез полвека придется ему писать об этих местах в летописи жизни Жуковского.)

Были в странствии наследника и Малый Ярославец, Тарутино, Бородино – паломничества Отечественной войны. Все это была вновь Россия и вновь иная. А в конце июля Москва – самая долгая остановка пути и едва ли не самая трудная.

Москва была тогда царством знаменитого митрополита Филарета. По-видимому, все пребывание в ней наследника прошло под знаком церковности и связи с прошлым. Остановились в Кремле. Александр ночевал в той самой комнате Николаевского дворца, где родился. При нем неотступно находился Юрьевич, спал на том же диване, где некогда и кормилица. А Жуковский из того же окна, откуда девятнадцать лет назад поздравлял народ с рождением наследника, подымая бокал шампанского, теперь этим же народом любуется.

В самый день приезда торжественный выход в Успенский собор. У входа митрополит Филарет с духовенством в полном облачении встречает цесаревича. Можно себе представить, как гудел Кремль колоколами, сколько было блеска митр, риз, мундиров штатских и военных, сколькими хоругвями, какими многолетиями встречали ученика Жуковского! Сам учитель был очень взволнован. Улучив минуту, он так отписал императрице Александре: «А когда мы вошли в собор, где на моем веку совершилось уже три коронования, где был коронован Петр Великий, где в течение почти четырехсот лет все русские князья, цари и императоры принимали освящение своей власти и торжествовали все великие события народные, когда запели это многолетие, столько раз оглашавшее эти стены, когда его повели прикладываться к образам и мощам, когда опять сквозь густую толпу он пошел в соборы Благовещенский и Архангельский и, наконец, на Красное Крыльцо, на вершине которого остановился, чтобы поклониться московскому народу, которого гремящее «ура» слилось со звуками колоколов, то я, в сильном движении души… – пожалел, что ни Вы, ни государь не могли этим насладиться».

Плохо было, однако, то, что в Москве стояла невыносимая жара: в тени до 28 (Реомюра). А надо было непрерывно посещать святыни. Побывали в Чудовом, Донском, Симоновом и других

монастырях. Были в Звенигороде у св. Саввы. Съездили, разумеется, и в Троице-Сергиеву лавру. (Там Жуковский так увлёкся рисованием, приютившись под деревом, что пропустил даже появление наследника.)

«Нигде за все путешествие не уставали так, как в Москве».

Но это еще не конец. Из Москвы двинулись на юг – Одесса, Крым, земля Войска Донского, опять Москва, и только в начале декабря Царское Село.

Проехали 4500 верст, посетили тридцать губерний, получили в дороге 16 000 просьб (больше всего о деньгах – отсылалось губернаторам и каждому на раздачу по 8 тысяч).

Жуковский находил, что путешествие было слишком быстрым, наследник «успел прочесть только оглавление великой книги», но все-таки определил все это как «обручение его с Россией».

Разумеется, и его самого утомляла пестрота впечатлений, их отрывочность, казенный характер всего. Оценок личных в письмах мало. Но народ («простодушный и умный») понравился ему. Все-таки человек просвещенный и западник чувствуется здесь в Жуковском – невежество русских в искусстве огорчило его (с удовольствием вспоминает только о суздальском купце Киселеве, у которого оказалась большая библиотека и картинная галерея, да и то на киотах аляповатая позолота, по картинам бегали тараканы).

Как бы то ни было, ни раньше, ни позже не была показана ему такая панорама родины. Если для наследника обручение с Россией, то для него самого прощание с ней.

Возвращение вышло странным. Издали, еще от Тосно, в сумраке вечернем завиднелось зарево над Петербургом. Горел Зимний дворец. Там как раз жил сам Жуковский, возвращался теперь на пожарище. Разрушений было много, но его квартира уцелела. Он был смущен и в разговорах как бы извинялся, что не пострадал.

# Елизавета Рейтерн

…Отдых в Петербурге получился недолгий. Весной новое странствие, с тем же наследником, теперь по Европе Западной. И вот второй год он в движении – экипажи, гостиницы, дворцы, иностранцы, приемы, разговоры… Побывали в Берлине, жили в Свинемюнде у Балтийского моря, а потом в Швеции – скалы, озера, граниты, замок Грипсхольм со стариной и таинственностью, под стать Жуковскому времен молодости. После Швеции снова Германия, тут наследник заболевает. Ему назначено лечение в Эмсе. Они туда едут.

От Эмса недалеко Дюссельдорф, в Дюссельдорфе же старый приятель Жуковского Рейтерн, память о милой зиме 33-го года. Он к нему отправляется, застает в «кругу семьи». А семья оказалась немалая: к прежним детям прибавилось еще трое. Старшие дочери, Елизавета и Мия, «расцвели, как чистые розы». В Вевэ знал он Елизавету ребенком, теперь это восемнадцатилетняя светловолосая девушка «лорелейского» типа, мечтательная и нервная – поэзия, чистота, скромность…

Он провел у них несколько дней, а потом опять передвижения: все теперь связано со здоровьем великого князя. Едут в Италию, живут в Комо. А там Венеция. Жуковский чувствует себя не особенно важно. Годы, некоторая усталость – меланхолия владеет им. Он в Венеции и совсем загрустил.

Был начат уже тогда перевод «Наля и Дамаянти», но вряд ли ушел далеко. Поэма индийская мало ответствовала тогдашнему его настроению. «Камоэнс» Гальма пришелся как раз по душе. Им он и занялся, выражая свое в чужом, добавляя и убавляя по собственному сердцу.

Батюшкова вдохновлял в свое время Тассо. Жуковского теперь Камоэнс – великий в несчастии своем, непонятый, кончающий дни в каморке лиссабонского лазарета.

Торгаш Квеведо, бывший школьный товарищ его, разбогатевший и самодовольный, приводит к нему сына – тот начинающий поэт, бредит стихами, восторгается Камоэнсом. Квеведо хочет, чтобы пример нищего и одинокого поэта отвратил сына от поэзии: вот ведь куда она приводит!

Старый и молодой поэты вместе. Старый сперва остерегается молодого. Так ли предназначен он для этой доли? Путь тягостен, слава обманчива. Нужно ли брать крест? Но тот энтузиаст:

О Камоэнс! Поэзия небесной
Религии сестра земная: светлый

Маяк, самим Создателем зажженный…

И далее:

Прекрасней лавра, мученик, твой терн.

Тогда Камоэнс меняется: да, если пред ним истинный поэт, то пусть идет со своим словом в страшный мир, тогда все хорошо, даже страдание. Ибо:

Страданием душа поэта зреет,
Страдание – святая благодать.

Квеведо не достиг цели. Камоэнс не отговорил сына его, Васко. Напротив, благословил. В волнении, экстазе он не выдерживает – тело слишком уж истомлено. Предсмертное видение Камоэнса – сияющая дева, все лучшее на земле: Поэзия. Он умирает. Последние его слова:

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

Все это явилось теперь пред самим Жуковским, написалось во славу и Поэзии, и всего возвышеннейшего, что было в жизни и ушло. Но оно вечно и сопровождает. Поэзия, Религия – это слилось, и живое сердце видения не есть ли давняя, отошедшая любовь?

«Камоэнс» Жуковского мало прославлен. Его мало и знают. Но внутреннего Жуковского он хорошо выражает.

С этим «Камоэнсом», вероятно еще не конченным, попадает он в Рим. Весь январь 39-го года проводит в нем с Гоголем.

Гоголь теперь не тот «малоросс» 30-го года, Гоголёк, что читал приживалкам безвестные писания свои. За ним и «Миргород», и «Тарас Бульба», и «Ревизор». В Риме, на Strada Felice[30], пишет он «Мертвые души» и не знает своей судьбы, но величие ее чувствует, но грозное веянье славы и дорогая цена ее, как и Камоэнсу, – ему принадлежат.

А для Жуковского он свой, почти домашний, три года назад читавший на его субботах в Петербурге «Ревизора», Гоголь, которого год назад он вызволил из денежных затруднений, Гоголь – друг, такой же поэт, как и он сам. Гоголь считал Италию родиною своей (остальное только «приснилось»), Жуковский ее

обожал. («Я болен грустью по Италии».)

Их месяц январь 39-го года в Риме был месяцем восторга перед Римом. Для Рима Жуковский забросил даже наследника – гораздо, конечно, ему интереснее и плодоноснее бродить с Гоголем по святым и великим местам, чем быть в условной и докучливой атмосфере двора.

С Гоголем забирались они и в купол св. Петра, и бродили с коровами по Форуму, и выходили за Понте Мильвио созерцать безглагольную Кампанью. Оба при этом рисовали. (Жуковский вообще любил живопись. Считал ее «сестрой поэзии», а сам к этому времени вошел в зрелую, более покойную полосу рисования своего: после смерти Маши весьма склонялся к мистицизму и символизму в рисунке, теперь ближе подходил к жизни. Глаз всегда у него был острый, сейчас особенно привлекала прелесть видимости – пейзаж, бытовая сценка. Сколько же давал ему Рим в этом! Аббат, старуха с козой, вид с террасы виллы Волконской…) Гоголь сам рисовал недурно. В Жуковском удивляло его уменье, быстрота, с которой он действовал. «Он в одну минуту рисует их («лучшие виды Рима») по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо», – Гоголь всегда восторженно преувеличен, но тут в восторженность его веришь: Жуковский – Рим – есть чем зажечься. Вот слово Гоголя: «Рим, прекрасный Рим! Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и Боже! Сколько нового для меня… Это чтение теперь имеет двойное наслаждение оттого, что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь влюбился в него и который, увы, через два дня должен уже оставить его. Пусто мне сделается без него! Это был какой-то небесный посланник ко мне…»

Небесный посланник! Но впервые Жуковского так чувствуют, так понимают общение с ним. («Что за прелесть чертовская его небесная душа» – пушкинские слова. Оба они теперь Пушкина оплакивали.)

Но небесной душе недолго быть в Риме, бродить с Гоголем, рисовать, завтракать по тавернам, запивая жареного козленка и ризотто винцом Castelli romani. Неожиданно глас судьбы – Николая Павловича из Петербурга: наследнику не проводить зиму в Риме, Неаполе, как предполагалось, а ехать к северу. Немедленно.

Тут ничего уж не поделаешь – уехали. А Гоголь вновь осиротел, один остался на своей Strada Felice, где над раскладным столом с «Мертвыми душами» реяло уже бессмертие, и самый дом, в который въехал он из Парижа с двумястами франков, освящался им тоже к славе. (С 1902 года он и украшен памятною

доскою: «II grande scrittore russo Nicolo Gogol in questa casa, dove abito 1838–1842, penso e scrisse il suo capolavoro»[31], улица же называется теперь Via Sistina.)

А Жуковский уезжал навстречу еще новой своей судьбе. Но на земле Италии все вращалось среди поэтов. В чемодане его лежал Камоэнс, в Риме остался Гоголь. «Приехал сонный в Киавари, где увидел Паулуччи и Тютчева» – запись Жуковского: 4/16 февраля 1839-го. Значит, ехали через Сестри, Кави, дальше на Киавари, Нерви и Геную – путем, столь очаровательным (многим странникам русским так с юности близким).

В Генуе был с Федором Ивановичем Тютчевым, дипломатом, секретарем русского посольства в Турине.

Кто знал тогда Тютчева как поэта? Что было напечатано из писаний его? Несколько стихотворений в журнале Пушкина, да и то без настоящей подписи. Но у Жуковского глаз верный. Юного Пушкина назвал же он когда-то – и без оговорок – «гением». Тютчева знал еще юношей. В пушкинский «Современник» Гагарин, сослуживец Тютчева, устроил стихи его через Жуковского. Теперь в Киавари был перед ним тридцатишестилетний человек, недавно потерявший жену. «Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова», – говорит Жуковский. А о нем самом: «Необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу».

* * *

Все дальнейшее, с ним и наследником случившееся, относил Жуковский вполне к делу Промысла. Сам о своем будущем ничего не знает, как и наследник не подозревает ничего. Приказано возвращаться в Германию, они возвращаются. Едут из Рима не так, как теперь бы поехали, а кружным путем через Лигурию – вероятно, боялись Апеннин под Болоньей.

После Вены Мюнхен, Штутгарт, дальше Эмс, Дюссельдорф, а там Гаага, Англия, снова Германия, – вот в Дармштадте наследник знакомится с дочерью великого герцога, а Жуковский вновь попадает в тот замок Виллингсгаузен, где шесть лет назад провел три дня, показавшиеся ему «светлым сном», – на прощание тогда девочка Лиза бросилась ему на шею и поцеловала. Теперь эта Лиза взрослая. Она образованна и скромна, воспитана в семье строгой и религиозной: мать ее, урожденная Шверцель, принадлежит к католическим кругам. Отец благодаря Жуковскому стал живописцем при русском дворе – этим упрочил, конечно, жизненное свое положение. А сейчас они жили в

Виллингсгаузене у старого Шверцеля, деда Елизаветы.

Жуковскому и на этот раз недолго удалось пробыть в замке, два дня. Он находился в настроении грусти и некоторого умиления. Трогала нежность и чистота Елизаветы, что-то согревало в нем, может быть и туманно, как сквозь сон, напоминало юную Машу (хотя внешне похожи они не были). Грусть же и в том состояла, что смущал собственный возраст: пятьдесят шесть лет! Все прошло. Жизнь позади – в эти два дня опять играл Жуковский роль из будущих повестей Тургенева.

Вечерами сидели по-семейному, Елизавета с каким-нибудь рукоделием. Жуковский столько видал на своем веку и стран, и людей, столько знал в искусстве, в литературе, сам являя Олимп литературный, – рассказы его пленительны, да особенно еще когда озарены нежностью зрелого человека к юности.

Можно представить себе, как слушала его Елизавета. «И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала на руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастия, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды».

Расставался он с замком Веллингсгаузеном и семьей Рейтернов в грустной мечтательности. Елизавета казалась ему светлым и мимо пролетевшим ангелом – все это вообще сон: когда могут они вновь увидеться? Через несколько дней, в свите наследника, он садился на пароход в Штеттине – возвращение в Петербург. Был уверен, что в Германию и на Рейн никогда не вернется. Но в сердце увозил нечто. (В Петербург уезжал с ним по делам и Рейтерн: Жуковский называл его «мой Безрукий».)

Сам-то он говорит, что эта встреча с Елизаветою в Виллингсгаузене осталась только прекрасным воспоминанием вроде Италии, Рейна. Однако, по-видимому, преуменьшает. Что-то вошло в сердце, укрепилось в нем. Однажды в Петергофе «воспоминание» дало о себе знать. Он напомнил Безрукому о вечере в Виллингсгаузене.

– Там я видел то, что мне вполне было бы счастием, но увидел это уже поздно, мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться.

На это Рейтерн ответил, что хоть разница в возрасте велика, но все будет зависеть от Елизаветы.

– Ищи, – прибавил. – Если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен. Ни от меня, ни от матери она не услышит об этом ни слова.

На том и покончили. Жизненно это ничего не могло значить.

Жуковский находился в России и должен наблюдать за учением младших великих князей, кроме того, занят устройством своего «Мейерсгофского приюта» (имение, куда собирался переселиться). Где же тут «искать» любви рейнской Елизаветы?

Но все устраивалось непредвидимо. В рассказе об этом времени он упорно настаивает на провидении, глубоко верит в него и верой своей покоряет. Действительно, получается постановка таинственного режиссера, он же играет свою роль сомнамбулически – не знает сам, что играет.

Осенью, возвращаясь с годичного поминовения Бородина, где когда-то стоял в ополченском резерве, заехал он к своим. «Я увидел опять все родные места; и милые живые, и милые мертвые со мною все повидались разом» – будто между прежнею его жизнью и новой проводилась «живая грань».

Но вот самое удивительное – в Петербурге: весной его снова посылают в Германию, в Дармштадт с наследником, брак которого со случайно встреченною принцессой Марией уже решен. Жуковский должен обучать ее русскому языку.

Начинаются новые странствия. Его личной воли в собьгаиях мало. Неожиданности так подстраиваются, что всегда приводят ко встречам с Елизаветой: то это болезнь отца ее, то заболевает король прусский, и наследник уезжает к нему в Берлин, а ученица Жуковского в Мюнхен, и ему нечего в Дармштадте делать, он собирается, конечно, в Дюссельдорф к Рейтернам. Едет туда с тем, что это прощание: принцессе Марии теперь уже не до уроков, она занята любовью и предстоящим браком. Двор скоро уезжает.

А две недели у Рейтернов очаровательны. Очарователен и отъезд в одиннадцать вечера с пристани Дюссельдорфа.

Безрукий провожает Жуковского. Прибыли за полчаса до отхода. Луна, тишина, в глади рейнской ни струи. Вдвоем разгуливают они по палубе. Звезды над ними, звезды и в Рейне. Сонные огоньки Дюссельдорфа, старинная романтическая Германия – «Ася» Тургенева.

Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот он обращается к Рейтерну:

– Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастие жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остается, полюбовавшись им, как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его невозможно.

К удивлению его, Рейтерн ответил, что вовсе не так невозмолепо. И по собственным наблюдениям, и от жены он

знает, что Елизавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно.

– Этого мне достаточно, с этой минуты я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моей.

Тут же пожали они друг другу руки. Жуковский поставил только одно условие: ни отец, ни мать не должны говорить ей ни слова. Все надо предоставить провидению, на Елизавету никак не влиять. Если сердце ее скажет на свободе «да» – тогда и его судьба решится.

Зазвонил колокол, пароходу пора трогаться. Рейтерн с ним распрощался, и теперь одному ему под теми же звездами, пред медленно уходившими огоньками Дюссельдорфа приходилось мерить взад-вперед палубу пароходную. Заснуть трудно! Пароход не торопясь выгребает вверх по течению, проходить ему мимо Кельна старинного с собором о двух башнях, мимо Бонна к Кобленцу, краем замков, холмов, виноградных лоз в тихой июньской ночи. Какой перелом в судьбе! Еще там, в Дюссельдорфе, пока пароход не тронулся, был он одиноким путником, пассажиром парохода без определенной цели. «И вдруг в одно мгновение из чаши судьбы провидение вынуло мне жребий, с которым все, так давно желанное, разом далось мне».

Но волнения не было. Тишина, удивительная ясность, нечто похожее на выздоровление. «Половину этой ночи я не спал, а на другое утро проснулся, как новый человек», – уже в Кобленце.

Теперь оставалось только объясниться с Елизаветой.

Получив разрешение от государя остаться за границей еще на два месяца, он отправился в Дюссельдорф.

Подходил август. Жуковский жил в Дюссельдорфе и все не решался. Страшно было переступить черту. А вдруг чувство ее туманно, недостаточно ярко – более всего смущал собственный возраст: он почти втрое старше ее. И уж лучше тянуть, мечтать…

По утрам они обычно гуляли с Рейтерном, разговаривали все о том же. Жуковскому представлялось: может быть, написать ей? Нерешительность одолевала. Наконец 3 августа, на обычной прогулке, Рейтерн сказал ему, что медлить уж нечего: вчера после ужина Елизавета кинулась на шею матери и почти призналась в любви.

Когда вернулись домой, в прихожей Елизавета с матерью укладывали белье.

– Елизавета, дорогая, принесите мне в кабинет вашу чернильницу и перо.

Через несколько минут она вошла в комнату, робко поставила чернильницу, положила перо. И собиралась уже уходить. Жуковский стоял у стола. В руках у него были

небольшие часы. Голосом, слегка глухим от волнения, сказал:

– Подождите, Елизавета, подойдите… Позвольте подарить вам эти часы. Но часы обозначают время, а время есть жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Принимаете ли вы ее? Не отвечайте мне сейчас же, подумайте хорошенько, но ни с кем не советуйтесь. Отец ваш и мать знают все, но совета они не дадут.

Ответ был краткий, незамедлительный.

– Мне не о чем раздумывать.

И кинулась ему на шею. Оставалось только позвать родителей. Они тут же благословили их.

* * *

До свадьбы, однако, было еще далеко: надо съездить в Россию, устроить дела, лишь тогда окончательно засесть на Западе.

Так Жуковский и поступил. Осенью уехал в Петербург, в январе 41-го года в Москве повидался с родными.

Все теперь несколько менялось. Раньше он мечтал заканчивать дни в недавно купленном имении Мейерсгоф, недалеко от Дерпта, вблизи Мойеров и Екатерины Афанасьевны. Но Мойер вышел в отставку и поселился в Бунине, поместье детей своих, в давних краях Жуковского. Екатерина Афанасьевна там же, с ними. Значит, Мейерсгоф ни с какого конца неинтересен: и самому предстоит жить за границей, и прежние близкие и родные далеко.

Он продал его Зейдлицу. Зейдлиц есть Зейдлиц: дал цену выше того, что имение стоило. Но и Жуковский не изменился: всю вырученную сумму – 115 тысяч – оставил трем дочерям Светланы.

Весной в Петербурге присутствовал на свадьбе ученика своего и воспитанника, цесаревича Александра.

У обоих судьбы оказались сходны. В Дюссельдорфе, в Дармштадте преломились внезапно их жизни.

16 апреля 1841 года Александр был обвенчан с принцессой Марией, дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского. Все прошло пышно и блистательно, уводя навсегда Жуковского от двора и царей. Его очень хорошо обеспечили, за новую свою жизнь он мог быть в отношении средств покоен.

Неизвестно, был ли покоен внутренно. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с былым. Былому этому слишком он много отдал в свое

время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуотеческую к Светлане с довольно-таки случайною встречей с Елизаветой? Да и тогда была молодость, первая острота чувств, теперь вечно надо оглядываться, что-то объяснять, как бы оправдываться в возрасте своем и друзьям ближайшим, как Зейдлиц, доказывать, что никак прошлому своему он не изменяет и ни от чего не отрекается. Зейдлиц, как и Мойер (до конца дней оставшийся в «протасовской» линии), никак Жуковского не порицал. Но во всей манере Зейдлица говорить о браке Жуковского чувствуешь скрытую горечь. Лучше бы брака этого вовсе и не было.

А сейчас он устраивал все для новой жизни Жуковского. Мало того что купил Мейерсгоф (Элистфер), приобрел еще – очевидно, ценную по воспоминаниям – и всю обстановку. (Но библиотека и картины оставались на хранение в Мраморном дворце, до переезда в Германию.)

В последний день перед отъездом за границу Жуковский обедал у Зейдлица. Зейдлиц отлично его накормил – угостил, между прочим, любимою его «крутой» гречневой кашей. Но Жуковский невесел. Вокруг собственная его же мебель, висят три картины, которые он решил не давать в Мраморный дворец (не везти в Германию).

Одна – портрет Марии Андреевны Мойер, работы Зенфта в Дерпте, две другие – виды могил: дерптской ее же, ливорнской – Светланы.

Обед кончился, Жуковский задумчиво подошел к своему бывшему письменному столу. «Вот место, обожженное свечой, когда я писал пятую главу “Ундины”. Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры: “Терпи, терпи, хоть ноет грудь!” И в его глазах дрожала слеза. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: “Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель моего заявления, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Странно!”»

Пока Зейдлиц подписывал, он все смотрел, опершись на руку, на портрет Маши и виды могил. Вдруг заволновался.

– Нет, я с вами не расстанусь!

Встал, вынул их из рам и велел отнести вниз, в карету. А Зейдлицу подарил собственный портрет, написанный в Риме в 1833 году. Подпись под ним: «Для сердца прошедшее вечно».

Венчание происходило 21 мая 1841 года в посольской русской церкви Штутгарта. Повторено было затем и в лютеранской церкви.

# Семья, Гоголь, «Одиссея»

Сообща со старыми Рейтернами наняли дом на окраине Дюссельдорфа, поселились все вместе, просторно: двенадцать комнат. Обставлено изящно. Много книг, картины, скульптура. Светло, с верхнего балкона вид на Рейн. Сад и огород, рядом парк. Весной заливаются в нем соловьи.

По сохранившимся рисункам самого Жуковского – впечатление света и чистоты. Природа как бы входит в этот дом, он с нею связан. Есть даже открытый портик, где обедают в хорошую погоду. Есть беседка в саду, как бы продолжение дома, вся в цветах, там можно проводить целые часы.

Свет, легкость рейнских далей, так в тонких, едва накрапленных рисунках чувствующиеся, идут к закатным дням Жуковского. В больших, светлых комнатах дома дюссельдорфского, рядом с милой Елизаветой окончательно отделывается «Наль и Дамаянти» – прославление верной и преданной женской любви. Тут же, несколько позже, написано и посвящение его великой княжне Александре Николаевне.

В посвящении этом есть тишина вечера и как будто счастие мирной жизни семейной, но и меланхолический налет. Не отходят две любимые тени.

…и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, веруй в Бога, веруй
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать…

В заключительной полосе жизни нечто и завершилось у Жуковского. Раньше были мечтания и томления, разлуки, невозможности. Теперь во сне он видит домик и –

…на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла:
И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью… и я проснулся.

Та же ли это любовь, что к Маше? У романтиков повторение случалось, и они в такое верили, как Новалис: любимая умирает, появляется другая, но таинственным образом все та же, первая… Есть, может быть, некий соблазн изобразить брак Жуковского в духе Новалиса, но это только соблазн. Маша есть Маша и неповторима, никогда Елизаветой ей не быть, и болезненные ухищрения эти Жуковскому чужды (как и вообще христианину).

Первый год их супружества был самым счастливым. 4 ноября 1842 года Елизавета Алексеевна родила дочь Сашу. Тут-то и начались затруднения. По-видимому, появление ребенка надорвало силы и здоровье ее. Что произошло, в точности неизвестно, да и медицина тогдашняя была очень уж приблизительна. Несомненно все-таки, что надлом был. А с 1845 года, когда появился сын Павел, положение очень ухудшилось. Нервная болезнь возросла, терзала Елизавету Алексеевну, изводила и ее, и окружающих. Мучили несуществующие грехи, казалось, что темные силы одолевают, она впадала в отчаяние. Для Жуковского наступило новое, странное и жуткое время, на которое, вероятно, менее всего он рассчитывал, вступая в брак. Вот как он об этом говорит: «Семейная жизнь есть беспрестанное самоотвержение, и в этом самоотвержении заключается ее тайная прелесть, если только знает душа ему цену и имеет силу предаться ей». Далее, позже: «Последняя половина 1846 года была самая тяжелая не только из двух этих лет, но из всей жизни! Бедная жена худа, как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой противодействующей силы! Воля тут ничтожна, рассудок молчит».

Без конца лечение, врачи, переезды – то во Франкфурт-на-Майне, то на воды, на курорты, и все под знаком болезни, мрака. Вот в Швальбахе испугалась Елизавета Алексеевна подземных толчков (землетрясения) – опять все обострилось, и, вернувшись во Франкфурт, она заболевает «нервической горячкой», последствия же ее жестоки. «Расстройство нервическое, – пишет Жуковский, – это чудовище, которого нет ужаснее, впилось в мою жену всеми своими когтями и грызет ее тело и еще более душу; нравственная грусть вытесняет из ее головы все ее прежние мысли и из сердца все прежние чувства, так что она никакой нравственной подпоры найти не может ни в чем и чувствует себя всеми покинутой. Это так мучительно для меня, что иногда хотелось бы голову разбить о стену!»

Так говорит Жуковский. Жуковский, всю жизнь стремившийся к миру и гармонии, в себе носивший и тишину, и благозвучие, на старости лет как будто нашедший пристанище верное, – вот

именно уж как будто. Разбить голову о стену! Нет, не дано ему отдыха и в поздние годы. В юности все стремился к счастию сердца. Оно удалялось, неизменно воспитывало в покорности Промыслу, в жизни «без счастия». Теперь как бы достиг он чего-то, основал, укрепил дом, семью, а внутри дома этого и семьи новая беда – для него же новое упражнение в преодолении бедствий.

Еще до рождения сына, в менее тяжкую, но уже предгрозовую полосу, писал он императрице в Петербург: «Верить, верить, верить!» Будто подбадривал себя, ожидая худшего.

Теперь, когда трудности развернулись, пишет Екатерине Афанасьевне в Россию: «Я убежден, совершенно убежден, что главное сокровище души заключается в страдании» – в свое время Екатерина Афанасьевна дала ему возможность изучить страдание вполне. Сейчас она доживает дни в прежних родных местах. Он продолжает: «…Но это одно убеждение ума – не чувство сердца, не смирение, не молитва. А что без них все наши установления? Мы властны только не роптать, и от этой беды еще Бог меня избавил!» Хорошо, значит, то, что хоть смиренно переносит. А уж что переносит, это самоочевидно.

Тут-то в разгаре болезни, мучаясь и тоскуя, Елизавета Алексеевна вдруг решила перейти в католичество (она была лютеранка).

Несомненно, это намерение родилось из страданий. Казалось ей, что она погибает, вот, может, спасение придет от католицизма?

Можно себе представить, насколько Жуковскому тягостно было и это. Он проявил упорство, сопротивлялся. Рейтерн поддерживал его. Совокупные ль их усилия или самый ход желания ее (болезненно возгорелся, недолгим и оказалось) – но Елизавета Алексеевна в католичество не перешла.

* * *

Блаженный месяц Жуковского и Гоголя в Риме не повторился. Но жизни их и судьбы сближались. Гоголю предстояло еще счастье Рима, счастье великой работы в нем над «Мертвыми душами» – в творении этом таился, однако, уже яд, понемногу его отравлявший. И с некоего времени он Рим покинул, в растущей тревоге, болезненности и в пустыне внутренней начал свои скитания – неудержимые и неутолимые, как неутолимы были приступы его тоски.

Много европейских городов, курортов, вод видели это

болезненное существо, в котором все сильней укоренялось ощущение избранничества. Ему доверена истина, он должен поднять людей, научить, спасти… – при этом сам как раз начинал погибать. Странствуя, старался выбрать места, где есть кто-нибудь из подходящих русских. Жуковский был ему особенно дорог.

Жуковский переводил в это время «Одиссею». Писание не мучило его, наоборот, облегчало. Правда, писание это второй линии, не гоголевское. В переводе «Одиссеи» была явная осуществимость. Дело несравнимо более скромное, хотя относился к нему Жуковский с великой серьезностью, почти священнодейственно (и полагал, что «Одиссея» эта – главное, что от него останется). Гоголь с «Мертвыми душами» – особенно со второю частью – вполне священнодействовал, притом цель ставил неосуществимую. Заранее можно было сказать, что летит в пропасть.

Оба много в эти годы страдали, по-разному. Жуковский покорно нес крест семьи (и написал, среди прочего, как раз «Выбор креста»). Литература освежала его, укрепляла.

У Гоголя не было ни семьи, ни семейных тягостей. Литература была его жизнью, величием, мученичеством. Он такой же монах литературы, как Флобер, но и учитель жизни. Его окружал воздух трагедии.

Жуковскому трагедия не подходила.

Жуковского этого времени видишь пополневшим, с лицом, может быть, несколько одутловатым, но те же прекрасные, добрые и задумчивые глаза – они уже находились на границе болезни, начиналось недомогание. Он носил очки, сильно довольно горбился, но за своим бюро, в светлом кабинете, работал стоя по-прежнему, все так же предан труду и неутомим, как и у постели больной Елизаветы Алексеевны. «Одиссея» хотя и с перерывами, но неукоснительно подвигается – дело здоровое и верное.

Гоголь худ, остронос, ходит в пестрых жилетах, цвет лица у него землистый, кожа слегка блестит. Нечто как бы затхлое в нем. Он вечно спешит, все надо куда-то ехать, демон тревоги гонит его. Над ним великое дело, он чувствует необъятность задания, необъятность призвания своего и слабость сил. Он хилый. У него холодеют руки, вечная история с желудком (полагал, что пищеварительные органы его устроены по-особенному, не как у людей. Да и вообще считал себя особенным – в чем был и прав).

То живет в Бадене, то в Грефенберге, в Карлсбаде, то едет в Париж, то во Франкфурт, а то и вновь в Рим, но теперь прежнего светлого, творческого Рима нет уже для него.

Во Франкфурте поселяется у Жуковского. Жуковский достает

ему денег у наследника, Жуковский ухаживает, конечно, за ним – для него он по-прежнему «Гоголёк», но сомнения нет, что к тревогам и мучениям с женой прибавились теперь и сложности с Гоголем.

Гоголь нередко гостил у своих друзей и в России, и за границей. Везде он собою заполнял все. Он центр мира, к нему все должны стремиться, ему служить. Он давно назван гением – значит, все и дозволено. А теперь к этому присоединяется страсть учительства. Он в разгаре «Переписки с друзьями», в настроении этой поразительной книги, где детские страницы перемежаются с гениальными, где все «выпелось» из души, все значительно и необычайно, даже нелепое.

А Жуковский тут под боком. Пишет свою «Одиссею», читает песни ее вслух Гоголю, чрезвычайно его восхищает ею – тот пишет даже статью об «Одиссее» в «Переписке», ожидает от труда друга своего великих последствий. Но хочется и учить Жуковского. Завладев многим в повседневности дома, хорошо бы и самого хозяина подчинить. Способ теперь излюбленный – письма. Живет у него же, ему же и пишет. Вот в письме упрекает в том, что Жуковский, так богато награжденный Богом (талант, известность, семья в старости), все же «не может переносить и малейших противоположностей и лишений». Пусть он в минуту тревоги и тоски просто подойдет к столу, возьмет это письмо и обратится к Богу – с просьбой, со слезами… – «и – вы их победите». Достаточно обратиться к Богу с письмом Гоголя, и все будет отлично. (На языке церковном такое самообольщение называется «прелестью», явлением болезненным: это ненастоящее.)

Надо думать, что Жуковский терпеливо принимал все это. По крайней мере, отношения их не только не испортились, а, наоборот, укрепились. Обоим было трудно, в некотором смысле они друг друга поддерживали.

Жуковский в то время был очень одинок литературно. Возраст немалый, чужбина… «Одиссея» же и вообще на любителя. Публике она чужда. А ближайшая душа, Елизавета Алексеевна, ничего по-русски не понимала. Были слушатели, которые могли заслонить толпу: Хомяков, Тютчев, но они залетные, случайные. Гоголь же рядом, и не только по части «Одиссеи», но и вообще в главнейшем они близки.

Когда вышла в свет «Переписка с друзьями», одиночество Гоголя тоже возросло. Все бранили ее, даже духовные лица, только не Жуковский. Находили в ней позу, учительство, мракобесие и надменность. Жуковский ее принимал. Он не раз Гоголя поддерживал в течение его жизни материально. Теперь, в

горькую полосу поношений, заушений, одиноко и верно заступился за него. Лишний раз показал при этом, как правильно и дальновидно судил. Сам не модный тогда писатель, идя наперекор общему мнению (даже людей родственного духа), намного обогнал в суждении о «Переписке» век свой. Не все было ему открыто в Гоголе, но многое. Гораздо больше, чем другим.

* * *

Первое чтение «Одиссеи» связано с молодостью, июньскими днями русской деревни, запахом лип цветущих, покоса. Покачиваясь в гамаке, покачивался в музыкальных гекзаметрах. Поэзия светлая – древность смягчалась в ней веянием новым.

«Не совсем Гомер», – думалось, вспоминая недавнее еще, ученическое чтение отрывков его в подлиннике. Но очаровательно. И притом перевод точный. Много страшного и первобытного, но едва заметным движением слов, их музыкой, кой-где добавлением, кой-где облегчением дается иной оттенок и целому. Получается грустнее, чем у Гомера, трогательнее и «душевнее», ибо прошло сквозь христианское сердце.

Все это подтвердилось, когда через сорок лет эту же «Одиссею» пришлось перечитывать светлою осенью под Парижем, и тоже в деревне – тут уж сличались и некоторые стихи с дословным изображением подлинника.

Жуковский не знал греческого языка. Немецкий профессор слово в слово перевел ему «Одиссею» – собственно, даже не перевел, а над каждым словом гомеровым надписал соответственное немецкое.

Сквозь дикую пестроту эту Жуковский пытался «угадывать» Гомера. Точнее было б сказать: и угадывать, и самому что-то говорить. Гомером пользуясь – так он делал и раньше. Он и здесь остается Жуковским зрелости своей. Что могло так привлекать теперь его в «Одиссее»? Не язычество же ее и не «возлежание» Одиссея в странствиях то с одной нимфою, то с другой. Разумеется, близок «дух поэзии», то «чудесное» восприятие жизни, какое есть у Гомера, – одновременно нравилась и прочность уклада: это близко было в «Одиссее» и Гоголю. Все «правильно», основательно, патриархально. Нечто, от чего может мутить, им как раз и приходилось по сердцу. Склад общественный, непререкаемость власти и власть «избранных» – все хорошо. Гоголь недаром написал в «Переписке» об «Одиссее» – полагал, что для русского общества будет она откровением и поучением. Ему представлялось, что он сам ведет это общество

ввысь «Перепискою», Жуковский же «Одиссей». Ни то ни другое не вышло. Замечательны книги обе, влияние же их на современников было: для Жуковского нуль, для Гоголя минус. («Благодетельный» помещик Гоголя не так далек, в мечте его, от «домовитого» Одиссея, но ни тот ни другой к России не привились. Никого в России «Одиссея» не воспитала. «Переписка» же только разожгла злобные чувства. Ее оценка пришла позже.)

«Одиссея» писалась семь лет, с 42-го по 49-й. Последние двенадцать песен создались необычайно быстро, в несколько зимних месяцев.

«Одиссея» была для Жуковского формою жизни. В ней, ею он жил, даже во времена перерывов. Придавал ей большое значение, считал, что это главное, оставшееся от него (в чем все-таки прав не был, хотя в некотором смысле и является «Одиссея» его capolavoro[32]. Но если бы лишь она одна от него осталась, знали ли бы мы облик Жуковского, как теперь знаем по лирическим и интимным стихам?).

Встречена книга была равнодушно. Мало ее заметили. «Переписка» сердила, «Одиссеи» как будто и не было. Даже знакомые, даже друзья, кому он разослал экземпляры с надписями, не откликнулись. Просто молчание. «Почти ни один не сказал мне даже, что получил свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, что же просто читатели?»

Но под ним почва прочная. «Я и не для участия от кого бы то ни было (сколь оно ни приятно) работаю над «Одиссеей», я пожил со святою поэзией сердцем, мыслию и словом – этого весьма довольно».

«Для чего я работал? Уже конечно, не для славы. Нет, для прелости самого труда» (Зейдлицу, позже). «В 68 лет не до славы; но весело думать, что после меня останется на Руси твердый памятник, который между внуками сохранит обо мне доброе воспоминание».

* * *

Еще ранее, прежде чем кончил он «Одиссею», на родине завершалась часть судеб близких ему лиц. Дерпт для него теперь кончился вовсе. Даже Мойер вышел в отставку и жил в Бунине Орловской губернии, доставшемся ему через покойную жену Марью Андреевну. С ним и дочь Катя и теща Екатерина Афанасьевна. Дуня Киреевская, милый друг юности, теперь Елагина, давно уже немолодая дама, умница просвещенная – у ней салон в Москве, где бывает цвет литературы.

От первого брака дети Петр и Иван Киреевские, украшение культуры русской, национальной и духовной. От второго сын Василий – назван, разумеется, в честь другого Василия, «Юпитера моего сердца». И вот в 1845 году получил Василий Жуковский известие, что за Василия Елагина выходит замуж Катя Мойер – эти Вася и Катя тоже дальние родственники, тоже восходят к прадеду Бунину. Многое могло вспомниться Жуковскому при известии этом из его собственной юности.

«Благословляю ее образом Спасителя, который должен находиться между образами Екатерины Афанасьевны и которым благословил меня отец[33]». К самому браку отнесся он торжественно, в соответствии с общим своим духовным состоянием тогдашним. День венчания знал. В час, когда по его представлению должно было оно совершаться, стал с женой и детьми на молитву. Коленопреклоненно молились они о счастии новобрачных, «читали те места из Св. Писания, которые произносятся при совершении таинства, и после того несколько строк из немецкого молитвенника».

Молодые устраивают свою жизнь, старые удаляются. Умирает в Москве друг юных лет, прошедший и чрез взрослые, – тучный, живой, добрый, влюбчивый Александр Тургенев. В 1848 году уходит Екатерина Афанасьевна, и век самого Жуковского близится к исполнению.

48-й год для него нелегок. То, что утробно он ненавидел – революция, – прокатывается по всей Европе, с главной бурей, как всегда, в Париже. Все это его угнетает. Кроме того, и жене хуже, и у самого начинают болеть глаза, приходится диктовать. «Обстоятельства мои давно уже грустны: упорная болезнь жены, не опасная, но самая мучительная, потому что мучит вместе с телом и душу, давно портит мою жизнь и разрушает всякое семейное счастие».

Около Франкфурта беспокойно. Поехали в Ганау посоветоваться с врачом. В Ганау анархия. Елизавета Алексеевна так испугалась и разволновалась, что снова слегла. Все-таки он повез ее в Эмс.

Собирался в Россию. Предпринял даже некоторые шаги. Но выехать все-таки не решился, из-за холеры в России (конец июля). Просто отправился в Баден. Тут стало несколько лучше обоим: и Елизавета Алексеевна оправилась, и его глаза восстановились, с этого-то октября по апрель 1849 года и дописывает он «Одиссею».

В Петербург не попал, но в конце января в Петербурге этом Вяземский и (немногие) друзья праздновали 50-летний его литературный юбилей. Сделано это было интимно, в доме Вяземского, – для чествования открытого слишком Жуковский в

России был одинок. Хозяин прочел свое стихотворение, Жуковскому посвященное, другое его же, положенное на музыку, даже пели. Приехал наследник. Собрали подписи присутствовавших – приветствие переслали в Германию, с описанием праздника. Государь пожаловал юбиляру орден Белого Орла.

А самого Жуковского преследовали в Германии беспокойства. Весной, из-за политических треволнений и «мятежа», пришлось спешно перебираться в Страсбург, лето же провести в «тихом приюте Интерлакена, близ черной Снежной Девы», между Бриэнцским и Тунским озерами. По словам Зейдлица, климат повредил там обоим. Во всяком случае, осенью 49-го года Жуковский так пишет: «Моя заграничная жизнь совсем невеселая, невеселая уже и потому, что непроизвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная – она портит всю жизнь, отымает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки уничтожает в корне семейное счастие» (11 октября).

С окончанием «Одиссеи» испытал он обычное для художника двойственное чувство: вначале сознание завершенного дела. Радостный вздох, освобождение. Но потом беспокойство. Что будет дальше? Ибо так уж художник устроен, что ему вечно катить в гору тяжесть. Докатит до ровного места, некой площадки горы Чистилища, – радуется и отдыхает, груз сдан кому надо, – и вот скоро тоскует уж и по новой тяжести: путь его – путь труда и подъема; доколе жив человек и дух его, так вот и будет ждать нового приложения.

Он развлекался теперь обучением дочери (Александры). Изобрел собственный метод учительский, как всегда в пустяках воображал, что создал что-то важное. В делах детских, конечно, не преуспел, но в закатывающейся его жизни дана была ему и поважнее задача.

Замечательно, как с «лебединою песнью» Жуковского совпала болезнь глаз. (В сущности, оказалась не одна, а две лебединых песни, первая даже и называется «Царскосельский лебедь» – семьдесят шестистопных хореев с рифмой – воспоминание о настоящем лебеде Царского Села, дожившем от екатерининских времен до Александра I. Одиночество, отчужденность… – лебедь уединенно плавает среди молодежи, а потом вдруг, однажды помолодевший, объятый восторгом, взвивается к небу с песнью – и падает оттуда мертвый.)

Но главное, что занимало Жуковского после «Одиссеи», был замысел более обширный – поэма «Странствующий жид»

(«Агасфер»). Это дитя он растил долго и долго жил с ним – до последнего своего вздоха. «Агасфер» не окончен. Его писал уже ослепший поэт – частью диктуя, частью записывая с помощью машинки, им самим и изобретенною: запись крупными, как бы печатными буквами.

Основа – давняя легенда об Агасфере, оттолкнувшем некогда Христа в Иерусалиме, на пути голгофском, от своих дверей, когда измученный Спаситель хотел к ним прислониться.

Он поднял грустный взгляд на Агасфера
И тихо произнес: «Ты будешь жить,
Пока Я не приду». И удалился.

Начинаются скитания Агасфера – страшные, в злобе и ярости, в отчаянии. Но начинается и Жуковский. Нет безнадежности в страданиях Агасфера. Тот, кого он не пожалел, его жалеет – в бесконечных странствиях, тоске, терзаниях посылается ему встреча в Риме, на арене Колизея, с мучеником епископом Игнатием Антиохийским. В едином взоре мученика, как сквозь щелку, изливается ему капля благодати: он начинает понимать, каяться вместо того, чтобы проклинать, и в этом спасение его. Попадает далее на остров Патмос, к Иоанну Богослову, тот укрепляет, научает его. А там Иерусалим, весь уж сожженный, мертвый (лишь Голгофа в нежной зелени и цветах). Там, у порога собственного дома, бьется Вечный жид в рыданиях раскаяния, бежит на Голгофу, сохранившую еще углубления трех крестов, – там снова молит о прощении и теперь понимает, как само наказание привело его к спасению. Через душевную муку он как бы родился вновь.

Поэма обрывается на полустрочке. Помечено: апрель 1852-го – год и месяц смерти Жуковского.

Слепой Мильтон написал «Потерянный и возвращенный рай». Жуковский во тьме глаз своих замыслил нечто, может быть, и не по силам. Поступил отчасти, как и Гоголь (а ранее брался всегда за осуществимое). А все-таки как хорошо, что написал «Агасфера»!

«Странствующий жид» вызвал разное к себе отношение. Одни ставят его на высокое место, не только в поэзии Жуковского, но и вообще. Другие находят, что как литература это слабо.

Очарования непосредственного, прелести слова, образа, звука в «Агасфере» мало. Замысел же и дух возвышенны. Не столь надо смотреть на него как на искусство – скорее это форма бытия самого Жуковского. В торжественном тоне гимн, пение предсмертное и хвала Богу.

# «Его душа возвысилась до строю…»

Поэзия с рифмой давно покинула Жуковского. От литературы он не отошел («Наль и Дамаянти», «Рустем», «Одиссея», «Агасфер»), но художество его приняло формы иные. Трепета и остроты, музыкальной и душевной пронзительности нет больше в его писании. В плавных гекзаметрах легче, покойнее теперь ему повествовать. И главное: под всем этим сложилось, окрепло иное, искусству не противоречащее, но более важное и глубокое, на само-то искусство бросающее отсвет. «Наипаче ищите Царствия Божия» – давний великий зов, проносящийся над русскою литературой с Гоголя, в одном Жуковском нашедший завершение гармоническое. Искусство искусством, но есть нечто и высшее. Это высшее смолоду томило, иногда вызывало колебания и сомнения, но росло в нем с годами, как зерно горчичное. «И выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Странно было бы, если бы такая жизнь не приводила к Царствию Божию.

Свет всегда жил в Жуковском. Скромностью своей, смиренным приятием бытия, любовью к Богу и ближнему, всем отданием себя он растил этот свет. Жизнь во многом нелегкая, с основною сердечною неудачей, до старости одинокая, в старости столь трудно-неодинокая… – но благородная и безупречная. Если вспомнить, кого только не спасал он, не выкупал из неволи[34], кому не раздавал денег, за кого не кланялся пред сильными мира сего, за каких декабристов, не любя их, не хлопотал у самого Николая Павловича… Если вспомнить, что это был человек совершенной чистоты и душа вообще «небесная», то ведь скажешь: единственный кандидат в святые от литературы нашей.

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.

Тютчев, которого сам он всегда любил, пропел о кончине его высоко.

Гоголю было трудней. Жуковский же шел без помехи. Внутренняя его тема всегда была: слава Творцу, жизнь приемлю смиренно, всему покоряюсь, ибо везде Промысел. Горести, тягости – все ничего: «Терпением вашим спасайте души ваши». Так от «Теона и Эсхина» до последнего издыхания. Но в юности

смутно, в зрелости выношено, выстрадано.

Как и Гоголь, много он теперь отдает сил Священному Писанию, книгам о религии и сам пишет в таком духе – о внутренней христианской жизни, о грехе, Промысле. «Три письма к Гоголю» – о смерти, молитве, словах и делах поэта. Это писание как бы окончательно уясняет ему самому важнейшее.

Он прожил жизнь скорей около церкви, чем в церкви. У него не было тех корней, как у Хомякова, Киреевских, Аксаковых. Его религиозность в юности с романтическим оттенком, позже более прочная и покойная, но всегда очень личная. Как и в литературе, тяготение к Германии. «Религия души», «религия сердца…». Церкви он несколько опасался, как бы стеснялся, да, может быть, церковь тогдашняя и показана была ему не надлежаще.

Во всяком случае, он кончает жизнь как глубоко верующий, православный писатель. Чрез него приняла православие (позже) и Елизавета Алексеевна. В православии же воспитываются и дети.

Духовенство он знал мало. В тридцатых годах одно время был близок с о. Герасимом Павским – кажется, единственный видный духовный деятель на пути его. Да и то эта близость была условная.

А теперь, в начале пятидесятых, сближается за границей с протоиереем Иоанном Базаровым, настоятелем прихода в Штутгарте.

У Гоголя был о. Матвей, взаимоотношения их известны. У Жуковского все по-другому: нет ни напряжения, ни борьбы, ни драматизма. О. Иоанн просто помогает ему, ровно и спокойно движущемуся. Руководит самообразованием религиозным, достает книги, переписывается с ним. Начинает подготовлять к переходу в православие и Елизавету Алексеевну. Никакого надрыва и никакой бури. Жуковский созревал неторопливо, но и гармонически.

Гоголь умер в Москве, на Никитском бульваре, 21 февраля 1852 года. Жуковский узнал об этом из письма Плетнева. 5 марта, уже почти слепой, написал ему: «Какою вестью вы меня оглушили – и как она для меня была неожиданна!.. Я жалею о нем несказанно собственно для себя; я потерял в нем одного из самых симпатичных участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении».

Тютчева тоже он любил, но знал гораздо меньше. Теперь литературный мирок его, свои и близкие – это Вяземский, Плетнев, Авдотья Елагина и «соколыбельница» Аня Юшкова, ныне старушка Анна Петровна Зонтаг.

В этом же феврале пригласил он к себе в Баден о. Иоанна, хотел причаститься на шестой неделе поста вместе с детьми. Но

за некоторое время до назначенного известил, что откладывает до Фоминой недели.

О. Иоанн приехал 7 апреля. Жуковский был плох. Елизавета Алексеевна отозвала о. Иоанна и сообщила, что муж колеблется, хочет отложить до петровского поста.

Был уже вечер. О. Иоанн не стал тревожить больного, остался до другого дня. Утром, когда вошел, Жуковский опять стал просить отложить.

– Вы видите, в каком я положении… совсем разбитый… в голове не клеится ни одна мысль… как же таким явиться пред Ним?

О. Иоанн не согласился. Довод его был такой: не только он, Жуковский, идет ко Христу, но и Христос, во Святых Дарах, тоже к нему.

– Если бы сам Господь захотел прийти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома?

Жуковский заплакал. Уговорились, что на другой день он причастится вместе с детьми. И успокоился внутренне. Внешне же впал в оживление, много рассказывал о. Иоанну о том, как учит детей, вспоминал опять о своих исторических таблицах, велел принести их, показывал… но уже руки плохо повиновались.

9-го утром опять тоска: мучила мысль, что будет с семьей и детьми. О. Иоанн успокаивал: ни Господь, ни государь не допустят (опасения были вполне напрасны).

Он исповедался, причастился с детьми вместе и совсем успокоился – началось торжественное, во всем высшем духе жизни его умирание – переход – успение. Уходил в том же таинственном благообразии, как Светлана, как Маша – как и сам жил. Именно он отчаливал.

Перед рассветом 12-го скончался.

# Жизнь Тургенева

# Колыбель

Орловская губерния не весьма живописна: поля, ровные, то взбегающие изволоками, то пересеченные оврагами; лесочки, ленты берез по большакам, уходящие в опаловую даль, ведущие Бог весть куда. Нехитрые деревушки по косогорам, с прудками, сажалками, где в жару под ракитами укрывается заленившееся стадо – а вокруг вся трава вытоптана. Кое-где пятна густой зелени среди полей – помещичьи усадьбы. Все однообразно, неказисто. Поля к июлю залиты ржами поспевающими, по ржам ветер идет ровно, без конца без начала, и они кланяются, расступаются тоже без конца-начала. Васильки, жаворонки… благодать.

Это предчерноземье. Место встречи северно-средней Руси с южною. Москвы со степью. К западу заходя в Калужскую, к северу в Московскую, области Тулы и Орла являются как бы Тосканою русской. Богатство земли, тучность и многообразие самого языка давали людей искусства. Святые появлялись в лесах севера. Тургеневы, Толстые, Достоевские порождены этими щедрыми краями.

Село Спасское-Лутовиново находится в нескольких верстах от Мценска, уездного города Орловской губернии. Огромное барское поместье, в березовой роще, с усадьбой в виде подковы, с церковью насупротив, с домом в сорок комнат, бесконечными службами, оранжереями, винными подвалами, кладовыми, конюшнями, со знаменитым парком и фруктовым садом. В начале прошлого века это как бы столица маленького царства, с правительством, чиновниками, подданными. Даже колонии были: разные подчиненные имения и села, всякие Любовши, Тапки, Холодовы.

Спасское принадлежало Лутовиновым. Последнею из Лутовиновых владела им девица Варвара Петровна, унаследовавшая его от дяди Ивана Ивановича. Ей было уже под тридцать, когда в Спасское заехал молодой офицер Сергей Николаевич Тургенев – для закупки лошадей с ее завода, классический «ремонтер». Варвара Петровна сразу в него влюбилась: отличался он редкостной красотой. Она пригласила его бывать запросто без дела; и оставила у себя его портупею: чтобы крепче выходило. Сергей Николаевич стал появляться в Спасском. В 1816 году она вышла за него замуж. Через год у них родился сын Николай, а затем Иван.

Варвара Петровна не могла похвастаться предками: дед ее был скряга, отец скандалист и буян, обиравший, еще будучи молодым офицером, валдайских ямщиков. Дядя – сумрачный

скупец (любил только покупать жемчуг). Знаменитый сын Варвары Петровны не одну горькую страницу своих писаний посвятил Лутовиновым.

Молодость ее оказалась не из легких. Мать, рано овдовев, вышла замуж за некоего Сомова. Он мало отличался от Лутовиновых. Был пьяницей. Тянул ерофеича и сладкую мятную водку. Тиранил падчерицу – девочку некрасивую, но с душой пламенной, своеобразной. Мать тоже ее не любила. Одиночество, оскорбления, побои – вот детство Варвары Петровны. Чрез много лет, уже хозяйкою Спасского, побывала она со своей воспитанницей Житовой в имении, где прошла ее юность. Обошли комнаты дома и, выйдя из залы в коридор, наткнулись на заколоченную досками крест-накрест дверь. Житова подошла к двери, дотронулась до старинного медного замка, торчавшего из-под досок. Варвара Петровна схватила ее за руку: «Не трогай, нельзя! Это проклятые комнаты!» Что именно там происходило, она не рассказала. Но известно, что в этом доме, когда ей близилось шестнадцать, отчим покушался на ее юность. В одну страшную ночь измученная девушка, которой грозило «позорное наказание», бежала из дому – ей помогла няня. Полуодетая, пешком, прошла шестьдесят верст до Спасского. Там укрылась у дяди своего, Ивана Иваныча.

Здесь ждала тоже несладкая жизнь – у крутого и скупого старика. Будто бы он лишил ее наследства и от него она тоже бежала, он же умер внезапно, от удара, не успев написать завещание против нее. О смерти Ивана Иваныча известия смутны, и вторичное бегство Варвары Петровны не есть ли уже легенда? Так ли ей на роду написано всегда убегать?

Во всяком случае, лучшие ее годы полны глубокой горечи. Она прожила у дяди десять лет, ей шел двадцать седьмой, когда нежданно из Сандрильоны обратилась она во владелицу тысяч крепостных, тысяч десятин орловских и тульских благодатных земель.

Эти крепостные, эти земли определили и любовную ее жизнь – брак с Тургеневым.

Род Тургеневых иной, чем Лутовиновых. Очень древний, татарского корня, он более благообразен. С пятнадцатого века Тургеневы служили на военной и общественной службе. «Отличались честностью и неустрашимостью», – говорит предание. Были среди них мученики: Петр Тургенев не побоялся сказать Лжедимитрию: «Ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из монастыря, я тебя знаю», за что был пытан и казнен, как впоследствии погиб от удальцов Стеньки Разина воевода Тимофей Тургенев, не пожелавший сдать им Царицына.

(Заперся в башне с десятком стрельцов. Васька Ус на веревке тащил его к Волге, где и утопил.)

Тургеневы восемнадцатого века не столь воинственны и героичны. Они мирно служат в армии, выходят в средних чинах в отставку и более или менее лениво доживают дни в деревне. Только у одного из них необычная судьба – связанная с красотою его и любовными делами. Это Алексей Тургенев, в юности паж Анны Иоанновны. Бирон из ревности услал его на турецкую войну, где он и попал в плен. Оказавшись в гареме, подавал кофе султану и раскуривал ему трубку. Век бы Тургеневу ее раскуривать, если бы красотою его не была тронута султанша. Она дала ему кошелек с золотом и помогла бежать.

Сергей Николаевич Тургенев соединял в себе разные качества предков: был прям и мужествен, очень красив, очень женолюбив. «Великий ловец перед Господом», – говорил о нем сын. Сергей Николаевич совсем мало служил на военной службе: уже двадцати восьми лет вышел в отставку. Но до последнего вздоха был предан Эросу, и завоевания его оказались огромны. Он мог быть с женщинами мягок, нежен, тверд и настойчив, смотря по надобности. Тактика и стратегия любви были ему хорошо известны, некоторые его победы блестящи.

И вот этот молодой человек с тонким и нежным, как у девушки, лицом, с «лебединого» шеей, синими «русалочьими» глазами, неистощимым запасом любовной стремительности попался на пути Варвары Петровны.

У него – единственное имение в сто тридцать душ. У нее крепостных не менее пяти тысяч. Женился ли бы он, если б было обратно? Кавалерист с русалочьими глазами, быть может, и соблазнил бы несколько полоумную девушку, но жениться… – для этого необходимо Спасское. И как некогда турецкая султанша высвободила деда из гарема, так женитьба на Варваре Петровне укрепила внука в жизни.

Повенчавшись, Тургеневы жили то в Орле, то в Спасском. Счастливою с мужем Варвара Петровна не могла быть – любила его безгранично и безответно. Сергей же Николаевич под знаменитыми своими глазами был вежлив, холоден, вел многочисленные любовные интриги и ревность жены переносил сдержанно. В случаях бурных умел и грозить. Вообще над ним Варвара Петровна власти не имела: воля и сила равнодушия были на его стороне.

Как бы ни прожил Сергей Николаевич жизнь с некрасивою и старше его женою, несомненно, что он знал и Любовь истинную. Иногда ее профанировал. Но иногда отдавал ей всего себя и потому понимал страшную ее силу и силу женщины. «Бойся

женской любви, бойся этого счастья, этой отравы…» – говорил сыну. Сергей Николаевич обычно побеждал, все-таки роковой характер Эроса знал. И не было в нем колебаний, половинчатости. По пути своему, иногда жестокому, мало жалостливому, почти всегда грешному, шел Тургенев-отец не сворачивая. Его девиз: взять, взять всю жизнь, ни одного мгновения не упустить – а дальше бездна.

Он очень походил на Дон Жуана.

* * *

Город Орел столь же неказист и ненаряден, как и окружающая его страна. Ока здесь еще мала. Нет живописного нагорного берега, как в Калуге. Нет леса, церквей, дальних заречных видов. Разумеется, есть собор и городской сад. Вблизи Левашовой горы Волховская, прорезающая весь город, да Дворянская, где жила Лиза Калитина. Главное же, что отличает Орел, это летняя жара и пыль – облака белой известковой пыли над улицами.

«1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го числа ноября, Феодор Семенович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной Тепловой» – так записала в памятной книжке Варвара Петровна. Меньше всего думала, конечно, что родила будущую славу России.

Рождением своим Тургенев связан с Орлом-городом, но только рождением. Довольно скоро перебрались родители в Спасское, и Орел в жизни, как и писании Тургенева сыграл роль небольшую.

Истинной его «колыбелью» оказалось Спасское, со всем своим пышным и тяжеловесным, медленным, суровым и поэтическим складом. Дом – чуть не дворец. Дворня – лакеи, горничные, казачки на побегушках, повара, конюхи, садовники, швеи, приживалки – все это двигалось мерно и возглавлялось владыкою – Варварой Петровной. Сергей Николаевич на втором плане. Жили праздно и сытно, не без нарядности. Устраивали балы, маскарады. В одной галерее давались спектакли. Ставили пьесы и под открытым небом, в саду. Играл свой оркестр, своя крепостная труппа. Трепещущий батюшка служил по праздникам молебствия. Гувернеры и гувернантки учили детей.

Детство Тургенева могло стать золотым – но не стало. Слишком суровой оказалась мать, слишком отравила жестокостью нежные годы. Она очень любила сына – и очень его

мучила. В этом же самом роскошном доме чуть не каждый день секли будущего владельца Спасского, за всякую мелочь, за каждый пустяк. Достаточно полоумной приживалке шепнуть что-нибудь Варваре Петровне, и та собственноручно его наказывает. Он даже не понимает, за что его бьют. На его мольбы мать отвечает: «Сам знаешь, сам знаешь, за что я секу тебя».

На другой день он объявляет, что все-таки не понял, за что его секли, – его секут вторично и заявляют, что так и будут сечь ежедневно, пока не сознается в преступлении.

Кажется, Варвара Петровна могла бы вспомнить, как сама некогда бежала из ненавистного сомовского дома. Но вот не вспомнила. А сын чуть не убежал. «Я находился в таком страхе, в таком ужасе, что ночью решил бежать. Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробрался по коридору в сени…» Его поймал учитель, добросердечный немец (толстовский Карл Иваныч!), и рыдавший мальчик признался ему, что бежит потому, что не может долее сносить оскорблений и бессмысленных наказаний. Немец обнял его, обласкал и обещал заступиться. Заступился и на самом деле: его временно оставили в покое.

Вне же матери Спасское давало очень много. Тут узнал он природу русских простых людей, жизнь животных и птиц – не весь же день уроки с учителями и гувернантками. Выдавались счастливые минуты и даже часы, когда удирал он в Спасский знаменитый парк. Изящный и далекий, отец плел свои донжуанские кружева то с орловскими дамами, то с крепостными девицами. Мать правила царством: принимала поваров, бурмистров, наблюдала за работами, но и сама читала, сама кормила голубей в полдень, беседовала с приживалками, охала, жалела себя.

А у сына появились, конечно, свои приятели из дворовых. На прудах можно было чудесно пускать кораблики. Из молодых липовых веток вырезать свистульки. Бегать в догонялки. Ловить птиц. Это последнее занятие нравилось ему особенно. Водились у него всякие сетки, пленки, западни. С семилетнего возраста его тянуло именно к птицам. С этих пор он их и изучал так любовно, знал в подробностях жизнь, пение и когда какая утром начинает раньше щебетать. Мало ли всяких иволг, кукушек, горлинок, малиновок, дроздов, удодов, соловьев, коноплянок жило в спасском приволье? В дуплистых липах гнездились скворцы – на дорожках аллей, среди нежной гусиной травки валялись весною пестрые скорлупки их яичек. Вокруг дома – реющая сеть ласточек. В глухих местах парка сороки. Где-нибудь на дубу тяжкий ворон. Над прудом трясогузки – перелетывают или попрыгивают по тенистому бережку, качают длинными своими хвостиками. В

зной – тишина, белая зеркальность вод, цветенье лип, пчелы, смутный неумолчный гуд в парке полутемном.

Здесь узнал он и поэзию книжную – кроме природы. Любовь к ней пришла из чтения дворовым человеком в уединенном углу того же парка – Пуниным назвал в рассказе Тургенев первого своего учителя словесности, милого старика, который на глухой полянке за прудом мог и подзывать зябликов, и декламировать Хераскова. Дружба с Пуниным, конечно – полутайна, все это вдали от гувернанток, приживалок, наперекор всему. Но тем прелестней. И неважно, как в действительности звали его. Важно и хорошо, что поэзия предстала перед мальчиком Тургеневым в облике смиренного энтузиаста, в облике «низком» и одновременно возвышенном, полураба, полу-учителя. В парке, в зелени и среди света солнца ощутил он впервые «холод восторга».

Пунин, крепостной человек, самоучка и любитель словесности, читал особенным образом: сперва бормотал вполголоса, «начерно», а потом «пифически» гремел, «не то молитвенно, не то повелительно» – это священнодействие и побеждало. Так прочитали они не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира, но и Хераскова. В зеленой глубине спасского парка и была решена участь мальчика. Как ни презрительно относилась Варвара Петровна к писателям (по ее мнению, сочинять «канты» мог «либо пьяница горький, либо круглый дурак») – у ней самой под боком рос уже такой сочинитель. Безвестный, добродушный Пунин тронул в барчуке тайную струну: и уже пропал в нем помещик, начался поэт.

Вернее – в одном существе началась жизнь и другого. Мечтатель, опьяняющийся стихами, – вместе с тем и сын Варвары Петровны, барское отродье. Сам страдает от грубости, жестокости окружающего, но и тотчас подымает тон, как только ему кажется, что низшие недостаточно к нему почтительны. «Мне не понравилось, что он назвал меня барчуком. Что за фамильярность!» «Вы, должно быть, не знаете, произнес я уже не развязно, а надменно: “я здешней барыни внук”».

Варвара Петровна считала себя верующей, но к религии относилась странно. Православие для нее какая-то «мужицкая» вера, на нее, а уж особенно на ее служителей смотрела она свысока, вроде как на русскую литературу. Молитвы в Спасском произносились по-французски! Воспитанница читала ежедневно по главе «Imitation de Jesus Christ»[35]… Сергей же Николаевич вовсе был далек от всего этого. Жил сам по себе, одиноко и без Бога, но при всей смелости своей был, как нередко именно мужественные и неверующие люди, суеверен: боялся не Бога, не смерти и суда, а домовых. То, как отец ходил за священником,

освящавшим поздним вечером углы обширного дома, как колебалось пламя свечи и как жутко это было, маленький Тургенев запомнил. (Священник являлся тут для Сергея Николаевича чем-то вроде колдуна, заклинателя – одна таинственная сила противоставлялась другой). Но поэзия быта православного, существовавшая тогда в некоторых семьях, Тургенева, к сожалению, не коснулась. Доброты, светлого уюта в отчем доме он не встретил – как-то с первых шагов оказался одиноким.

Далекий холод и парадность Сергея Николаевича, причудливая карамазовщина Варвары Петровны (тяжкое детство, некрасота, властолюбие, раз навсегда обиженность) – из этой смеси родился букет Спасского. Некоторые черты его почти фантастичны. Другие мрачно жестоки.

Хотелось, чтобы все было грандиозно, чтобы походило на «двор». Слуги называются министрами. Дворецкий – министр двора, ему дали даже фамилию тогдашнего шефа жандармов – Бенкендорфа. Мальчишка лет четырнадцати, заведовавший почтой, назывался министром почт, компаньонки и женская прислуга – гофмейстерины, камер-фрейлины, и пр. Существовал известный церемониал обращения с барыней: не сразу министр двора мог начинать, например, с ней разговор. Она сама должна была дать знак разрешения.

За почтой посылали ежедневно верхового во Мценск. Но не сразу, не просто можно отдать эти письма. Варвара Петровна всегда отличалась нервностью (падение ножниц приводило ее в такое волнение, что приходилось подавать флакон со спиртом). Министр двора разбирал письма и смотрел, нет ли какого с траурной печатью. Смотря по содержанию почты, дворовый флейтист играл мелодию веселую или печальную, подготовляя барыню к готовящимся впечатлениям.

Постороннему, особенно неименитому лицу не так легко было и въехать в Спасское. Еще не знаешь, въехав, куда попадешь! Но «двор» знал. Прямо подъезжать к дому, с колокольчиками, мог исправник. А становые отвязывали их за версту, за полторы, чтобы не беспокоить барыню. Уездный лекарь мог подъезжать только ко флигелю.

Все это еще безобидно, хотя и болезненно. Бывало и много хуже. За не так поданную чашку, за нестертую пыль со столика горничных ссылали на скотный двор или в дальние деревни – на тяжелую работу. За сорванный кем-то тюльпан в цветнике секли подряд всех садовников. За недостаточно почтительный поклон барыне можно было угодить в солдаты (по тем временам равнялось каторге).

Тургенев-дитя, Тургенев времен Спасского знал уже многое о жизни. Кроме пения птиц в парке да волнующего звона стихов, слышал и вопли с конюшен, и по себе знал, что такое «наказание». Всякие деревенские друзья-сверстники подробно доносили, кому забрили лоб, кого ссылают, кого как драли. Не в оранжерее рос он. И нельзя сказать, чтобы образ правления Варвары Петровны приближал к ней ребенка, в котором жил уже бродильный грибок. Мать растила не только далекого себе сына, но и довольно устойчивого, неукоснительного врага того жизненного склада, которого страстной носительницей была сама.

# Отрок и юноша

В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, купив дом на Самотеке. Летом выезжали и в имение: связь с деревней не прерывалась.

В это время Сергей Николаевич заболел каменной болезнью, и для лечения ему и Варваре Петровне пришлось отправиться в Париж, быть в Эмсе и Франкфурте.

Иван остался в Москве, в пансионе Вейденгаммера (а старшего сына Николая отдали в артиллерийское училище в Петербурге). У Вейденгаммера провел Иван года полтора, потом на несколько месяцев попал в армянский пансион (впоследствии Лазаревский институт восточных языков) и, наконец, оказался еще в новом, у Краузе.

Его можно представить себе изящным и благовоспитанным мальчиком, хорошо учившимся, несколько чувствительным и не лишенным высокомерия. Неудивительно, если он тяготеет к аристократическим знакомствам в пансионе, к князьям и графам. Столь же неудивительно, что с глубоким вниманием слушает пересказ гувернером «Юрия Милославского», восхищается им, помнит наизусть и бросается даже бить товарища, помешавшего слушать. Также понятно, что Тургенев-пансионер, увидев после игры в лапту во дворе под кустом сирени скромного юношу с немецкой книгой, мог не без надменности спросить: «А вы читаете по-немецки?» И когда оказалось, что тот не только читает, но и гораздо лучше его самого, и любит поэзию – то с ним-то как раз барчук, дороживший светскими друзьями, и сошелся. Мало того, просто подпал под его влияние.

С пансиона идет начало тургеневских юношеских дружб, отмеченных восторженностью, не надолго удерживавшихся, но возникавших всегда на почве «высшего»: томлений по красоте, истине, питания загадок мира и т. п. Это было вообще время романтических привязанностей, раскрытия душ, откровенностей, заходивших иногда очень далеко. Можно и улыбнуться на такую «патетическую болтовню», кончавшуюся иногда тем, что прежние друзья становились смертельными врагами. Но не всегда так бывало. Случалось и надолго сохранить память о чудесном пламени молодости, да и само такое пламя разве уж не имеет никакой цены? Разве плохо – сладостно волноваться, когда «друг» читает вслух стихи? (Теперь уже Шиллера, не Хераскова.) Разве плохо – выйти потихоньку с ним ночью в пансионский сад, когда все уж заснули, сесть под тем же кустом сирени, где впервые они познакомились и который полюбили, ощущать дуновение ночного

ветерка, сквозь листву видеть милое московское небо в звездах (с Арктуром, зацепившимся за крест соседней церковки), шептаться, мечтать… А когда друг, взглянув на небо, «тихо» восклицает:

Над нами
Небо с вечными звездами
А над звездами их Творец… –

вновь испытать «благоговейный» трепет и «припасть» к плечу?

Однако отрок Тургенев приближался к возрасту, когда другое начинало волновать его. Романтические дружбы пришли и ушли с юностью. Любовь, поклонение женщине наполнили всю его жизнь, сопровождали до могилы.

В ранней молодости любовь предстала Тургеневу сразу в двух видах. Афродиту-Пандемос и Афродиту-Уранию он познал почти одновременно – явились они раздельно и так разделенными остались навсегда.

«Простонародная» Афродита связана с крепостным бытом и укладом. («Помещичье» вкушение от древа познания.) У Варвары Петровны служила горничная, «красивая, с глупым видом», и глупость эта придавала ей нечто «величавое». Разумеется, она была старше и опытнее его – ему исполнилось тогда пятнадцать лет. Он приехал в Спасское на каникулы.

Полный сил юноша бродил однажды в сыроватый весенний день в парке. Близились сумерки. Дрозды перепархивали в яблонях. Иволга заливалась. Березы спасской рощи были в зеленом, клейком пуху. Афродита предстала ему со своим «глупо-величавым» видом. Его раба, крепостная. Но и властительница. Она взяла его за волосы на затылке и сказала:

– Пойдем.

А вечером, в непроглядную темень, он крался к ней на свидание, в пустую, заброшенную хату. Перелезал через канавы, падал в крапиву, пробирался по меже с горькою серебряной полынью, под теплым, накрапывавшим дождичком, от которого так зеленеют всходы. Сова кричала в парке. Может быть, и Сергей Николаевич отдавался той же ночью зову любви.

В жизни Тургенева-сына этот опыт не оставил следа. Исчезла деревенская богиня! Даже имени ее не сохранилось.

Первая истинная его влюбленность прославлена им же самим. Испытав полуребенком чувства высокие и блаженно-мучительные, в зрелости создал он из них лучшее свое произведение. Толстой и Достоевский могут завидовать «Первой любви» – явлению Афродиты-Урании в жизни пятнадцатилетнего

юноши.

Повесть известна. С детских лет видишь и как бы насквозь знаешь парк с домом Зинаиды, соседки по даче с Тургеневыми в Нескучном (под Москвою). И ее самое знаешь, всегда в таинственной прелести, в печали и ослеплении любви, и мучительно-сладкую любовь мальчика – его мечтания, надежды, слезы, ревность, подозрения. В судьбе Тургснева-сына важно, что первая же его встреча с истинной любовью была встреча безответная. «Неразделенная любовь» – так началась жизнь изящнейшего, умнейшего, очень красивого человека и великого художника.

Ему предпочли другого. В загадочно-волнующем впечатлении, остающемся от этой истории, имеет большое значение, что «другой» оказался отцом.

Сергей Николаевич Тургенев появляется здесь портретно. Сын-писатель не возненавидел отца. Наоборот, был им побежден, изображает почти влюбленно. Такому сопернику не грех уступить. Это не есть победа ничтожества. Как легко ходит отец, как он изящно одевается, как он «изысканно-спокоен», холоден и нежен, как замечательно ездит верхом… И он умеет хотеть! Когда хочет, ни пред чем не останавливается. «Я таких любить не могу, – говорит Зинаида, – на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил». Мог ли сломить ее мечтательный мальчик, благоговевший пред отцом и боявшийся его? Он все мечтал, мечтал… а тот действовал.

Тургенев-отец вложил в этот роман всю силу натуры. Соседка не была для него лишь приключением. Он завоевал ее, взял, но и сам много поставил на карту. Оттенок трагедии сразу лег на их любовь. Пронзительна знаменитая сцена прогулки верхом у Крымского брода, когда Зинаида сошлась уже с отцом и живет в маленьком мещанском домике. (Сыну надоело стеречь лошадей, и он подсматривает Зинаиду и отца, который, стоя у окошка домика, где сидит Зинаида, разговаривает с нею, ссорится и ударяет хлыстом по обнаженной ее руке. Она целует этот рубец. Отец в ярости врывается в домик.)

Сын отбегает вновь к реке и лошадям… На отца «находили иногда порывы бешенства». Бил ли он Зинаиду, не желавшую уступить, или не бил – сыну казалось, что бил… и что же он сам делал? Сидел на берегу реки и плакал. Он обожал отца и безумно его боялся. Обожал Зинаиду, но не двинулся, чтобы помочь в беде – пусть даже и воображаемой.

Это уже вполне Тургенев. Не Сергей Николаевич со своими русалочьими глазами и непреодолимой силой мужчины, а

будущий знаменитый Иван Сергеевич.

Роман Сергея Николаевича с соседкою-княжной имел трагический оттенок – на своей страсти не смогли они основать жизни. Получилось в духе Тургенева-сына: он не любил семьи, не пожелал любимым своим героям полнеть в тепле и уюте. Он для них приберег смерть. Дон Жуана ранее она настигает; Зинаиду позже. Но любовь их уходит неувядшею.

* * *

Первый свой студенческий год Тургенев провел в Москве. Учился хорошо, но особого действия университет на него не произвел. Осенью 34-го года отец перевел его в Петербург. Там удобнее было жить с братом Николаем, поступившим в гвардейскую артиллерию. 30 октября Сергей Николаевич скончался – он давно страдал каменною болезнью. Умер довольно молодым, сорока одного года. Так что действительно не надолго пережил свой роман с Зинаидой, и правда жизнь его оказалась кратка и непокойна.

Теперь у Ивана Тургенева оставалась только мать, жившая далеко, пока что не стеснявшая его молодости в Петербурге.

Как принял он смерть отца? Некое благоговение ведь у него к отцу существовало, он как-то преклонялся перед ним. Но вряд ли очень страдал, потеряв его. В Тургеневе всегда была прохлада. Он жил собою. Не было глубоким чувство к отцу – хоть эстетически он и пленял его.

Тургенев вообще легко забывал. Впечатлительный, и впечатлительности быстрой, текучей, он легко поддавался текучести жизни, неудержимости ее потока. Такой он юношей, такой и в зрелости. Встречал нового человека, мог его обласкать, наговорить много доброго и приветливого, пообещать немало – и в данную минуту искренно, – а отойдя, так же искренно и позабыть о нем. Он романтически увлекался отцом. И тотчас же забыл его по смерти.

Жизнь же в Петербурге сложилась неплохо. Большой интерес к «наукам и искусствам» – и осведомленность в них. Тургенев-студент Петербургского университета не просто хорошо учится: он сугубо жаден до познаний. Все хочется узнать – и латинский язык, и классиков, и побывать на выставке брюлловской «Помпеи», и посмотреть Каратыгина, и попасть на первое представление «Ревизора», и поглядеть Пушкина.

Подходила пора и самому превратиться в «сочинителя кантов». И хотя он не «пьяница горький», не «круглый дурак», все

же занялся этим странным делом.

В Петербурге, в том же самом университете, нашел он сочувственную душу из старших. Петр Александрович Плетнев, профессор, тихий и спокойный старичок, читал русскую словесность. Это уже не Пунин со своим Херасковым. Плетнев талантами не выдавался. Но был другом Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя. Обладал хорошим вкусом. Находился в верной литературной линии – пушкинско-гоголевской. Значительность ее не все еще чувствовали – Тургеневу совсем недавно нравился Марлинский, да и Бенедиктов. Тут Плетнев в известной степени ему помог.

В начале 1837 года Тургенев представил ему первую свою поэму «Стено» – вещь полудетскую, подражательную, под «Манфреда». Со стороны артистической – ничто, но как свидетельство о молодом Тургеневе – важно. Разумеется, Байрон был модой. И Пушкин, и Лермонтов через него прошли. Все же душевной червоточине Тургенева, сказавшейся уж очень рано, байроновский звук подошел и получил у него свой оттенок. Он подражал – но не случайно выбрал предмет подражания.

Плетнев добросовестно подслеповатыми своими глазами прочел «Стено» и забраковал. На лекции, не называя Тургенева, разобрал поэму, осудил, но с благодушием. И, выходя из университета, подозвав к себе красивого и взволнованного третьекурсника с прекрасными серыми глазами, все же ободрил его. «Сочинитель кантов» настолько осмелел, что дал ему несколько стихотворений. Плетнев взял два из них для «Современника» и через год напечатал. Не знаю, что давал ему Тургенев. Но выбрал Плетнев спокойное и описательно-элегическое стихотворение «Маститый царь лесов» – как бы подсказывая путь ясный и трезвый. Кроме того – пригласил его к себе на литературный вечер.

Первый вечер начинающего, первая встреча с писателями! Можно себе представить, как трепетал Тургенев, направляясь по морозным улицам Петербурга к Плетневу, в скромную квартиру где-нибудь на Васильевском острове!

Первый, кого он встретил в передней, был Пушкин, ни более ни менее – живой облик того пути, который подсказывал ему Плетнев. Встреча эта оказалась мгновенной – как молния сверкнул ему Пушкин, – Плетнев не успел даже их познакомить. Человек в шляпе и шинели звучным голосом воскликнул: «Да, да! Хороши же наши министры, нечего сказать!» – и вышел. Остались в памяти живые глаза, столь быстрые! – да белые зубы.

В гостиной Тургенев робко жался среди литераторов – взрослых и настоящих. Тут находились Воейков, Гребенка, князь

Одоевский, и еще один смирный человек, в длинном двубортном сюртуке, с лицом русского мещанина, почтительно слушавший, но когда его попросили прочесть свои стихи – покрасневший и замахавший руками: «Что вы, после Александра-то Сергеевича!» Это был Кольцов. Воейков читал стихи Бенедиктова. Жена Плетнева, болезненная, тихая дама, заведовала своим нехитрым салоном, где о политике говорить побаивались, держались более верных берегов – литературы, и судить о ней могли просвещенно. Беседовали до полуночи. Барич Тургенев, уходя, подвез в санках покашливавшего воронежского прасола в длинном его сюртуке, шейном платочке бантиком, с голубой бисерной цепочкой часов и очень умными и очень грустными глазами. Кольцов простился с ним морозной ночью и ушел куда-то. Никогда больше они не встречались.

А Пушкина он увидал еще однажды – за несколько дней до дуэли, на утреннем концерте в зале Энгельгардта. Пушкин стоял у двери, скрестив руки, хмурый и мрачный. Тургенев кружил как влюбленный, рассматривал и так, и этак. На этот раз запомнил все: и темные раздраженные глаза, и высокий лоб, и едва заметные брови, и курчавые волосы, и бакенбарды, и африканские губы с крупными белыми зубами.

Ничего не было общего в темпераменте, складе души у изящного, слегка уже отравленного юноши с этим действительно страстным «африканцем», которому через несколько дней предстояло – корчась на снегу с простреленным животом – целиться в противника. (Представить только себе Тургенева на дуэли!) Но в слове, в духе искусства были они родственны – два русских аполлинических художника. В сердце Тургенева Пушкин остался навсегда. Он стал для него даже некоей пробой: если что-нибудь против Пушкина, наперекор ему – значит, плохо. Если за, то хорошо.

Тургенев кончил университет столь успешно, что ему предложили при нем остаться. Может быть, он и остался бы. Но, уехав на каникулы в Спасское, так увлекся охотой, что диссертации не написал.

# Чужие края

В мае 1838 года Варвара Петровна провожала сына Ивана из Петербурга за границу. В детстве она его собственноручно секла. Теперь рыдала, сидя в Казанском соборе на скамеечке во время напутственного молебна. (Но если бы можно было, то, отрыдав сколько полагается, при случае вновь бы его высекла.) Сын уезжал в Германию на пароходе, шедшем прямо в Любек. Оттуда сухим путем должен был добраться до Берлина, продолжать учение.

Прощались горячо – среди суматохи последних минут на пристани. Варвару Петровну под руки отвели к карете. Пароход удалялся, неловко лопоча колесами, дымя темным дымом. С Варварой Петровной сделался на обратном пути обморок, ей давали нюхать соли и натирали виски одеколоном. Сын ее стоял в это время у борта и глядел, как удаляются берега. Ему было двадцать лет, он был красив, богат, впереди, за хмурыми волнами новый мир, новые встречи, наука, быть может – любовь… Вряд ли он думал о матери. И мало огорчался, расставаясь с ней.

Пароход «Николай I» по тем временам мог считаться большим, теперешнему взору показался бы игрушкой. На нем ехало много русских. Отцы семейств, мамаши, нянюшки и дети, детские колясочки и настоящие экипажи для путешествия по чужим странам – все это сгрудилось тут. Молодой Тургенев, тщательно выбритый, в модной «листовской» прическе, с галстуком, завязанным в виде шарфа вокруг шеи, очень скоро почувствовал себя на свободе и эту свободу сколь мог использовал: пристрастился к карточной игре в общей каюте. Это было тем увлекательней, что мать взяла с него слово именно не притрагиваться к картам. Но соблазнил ехавший из Петербурга картежник. Как и полагается, новичку повезло, он выигрывал, сидел красный от волнения, перед ним лежали кучки золота. Хорошо, что Варвара Петровна не видала его за этим занятием! Туго бы ему пришлось.

Впрочем, и без вмешательства матери игра кончилась очень печально: недалеко уже от Любека, в самый разгар ее в каюту вбежала запыхавшаяся дама и с криком «пожар!» упала в обморок на диван. Все повскакали с мест, деньги, выигрыши, проигрыши – все позабылось. Бросились на палубу. Из-под нее, близ трубы, выбивалось пламя, валил темный дым. Суматоха поднялась невообразимая. Тургенев пал духом. Он бессмысленно сидел на наружной лестнице, брызги обдавали ему лицо. Сзади гудело и бушевало пламя, выгибаясь сводом. С ним рядом оказалась

богобоязненная старушка, кухарка одного из русских семейств. Она крестилась, шептала молитвы и удерживала юношу – он пытался (или делал вид, что пытается) броситься в воду. Тургенев и сам признавался, что отчасти он тут играл перед нею… как бы то ни было, минуты страшные. Обоих их извлек оттуда матрос. Прыгая по верхам экипажей, стоявших на палубе и уже загоравшихся снизу, они добрались до носа корабля. Там столпились пассажиры. Спускали шлюпку.

Тут-то Тургенев и предложил от имени матери матросу десять тысяч, если тот спасет его.

Матрос его не спасал. Крикнул юноша эти слова в тоске и отчаянии. Спасся сам, благодаря тому, что пожар начался недалеко от берега, капитан направил пароход к суше, и он успел сесть на мель вовремя – пассажиры попрыгали в шлюпки и в мелкую воду, промокли, иззябли, наволновались, но трагедии не произошло. На Тургенева же пала некая тень. Он вел себя не весьма мужественно. Ему страстно хотелось жить. Он впервые встретился со смертью. Принять, понять ее никогда и позже не мог. Она была для него врагом, ужасом, бессмыслицей. Он молод, здоров, талантлив, впереди жизнь, в которой он скажет свое слово, – это острое чувство бытия, верный спутник избранности и крикнуло его устами:

– Не хочу умирать! Спасите!

Крика о помощи ему не забыли во всю долгую, славную его жизнь. Корили в молодости, вспоминали и тогда, когда уж был он знаменитым стариком, перевирая, искажая – показали себя во всей человеческой прелести.

* * *

Берлин тридцатых годов был небольшой, довольно тихий и довольно скучный, весьма добродетельный город. Король смирно благоговел перед императором Николаем, немцы вставали в шесть утра, работали целый день, в десять все по домам, и одни «меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитались по пустым улицам, да какой-нибудь буйный и подгулявший немец брел из Тиргартена и у Бранденбургских ворот тщательно гасил свою сигарку, немея перед законом».

Но процветала наука. Берлинский университет был хорошо поставлен, привлекал юношей издалека, между прочим и русских. Существовали еще романтические отношения между учащими и учащимися, вроде наших «интеллигентских»: профессор считался учителем жизни, как бы ее духовным вождем. Возможны были

поклонение, восторг. Выражалось это, например, в обычае серенад. Студенты нанимали музыкантов, вечером собирались у дома любимого профессора и после увертюры пели песни в честь науки, университета и преподавателей. Профессор выходил – в горячей речи благодарил поклонников. Подымались крики, студенты бросались с рукопожатиями, слезами и т. п.

Молодой Тургенев, попав в Берлин, занялся наукой основательно, не хуже Петербурга. Слушал латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока, а на дому зубрил латинскую и греческую грамматику – подготовки Петербургского университета не хватало. Главное же – изучал Гегеля. Гегель-то и привлекал более всего в Берлин русских. В Тургеневе была складка усидчивости, он мог одолевать и латынь, и греческий. Берлинский университет дал ему знание древних языков – он всю жизнь свободно читал классиков. Но Гегель завладевал душою и сердцем русских в ином роде. В Берлине в эти годы находились Грановский, Бакунин, Станкевич, зачинатели нашей интеллигенции, патетики и энтузиасты не хуже, а яростнее немецких студентов. Гегелевская философия оглушала и пронзала их, подымала самые «основные» вопросы – академически относиться к ней они не могли. По русскому обыкновению, Гегеля обратили в идола. Поставили в капище, и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. «Абсолютная личность», «перехватывающий дух», «по себе бытие» – из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой. Книжонки и брошюрки о Гегеле зачитывались «до дыр, до пятен».

Тургенев погрузился во все это раздутое кипенье. «Кружки» и ночные споры на себе изведал. Знал, что такое собираться по вечерам в студенческой комнате, где подают чай (а к нему бутерброды с ломтиками холодной говядины), – и до утра кричать о Гегеле. Бывал и на серенадах, и сам в них принимал участие.

Особенно любили студенты Вердера, гегельянца, излагавшего учителя в возвышенном и патетическом духе, нередко применяя к жизни его учение. Вердер был молодой верующий человек, большой душевной чистоты и доброты, друг нашего Станкевича. Тургенев слушал лекции Вердера и очень его почитал, как и Станкевича. К «кружкам» же, спорам и восторженному общению молодежи относился сдержанно: любил и ценил некоторых участников, но лично, вне собраний. Был ли слишком вообще одиночка? Или слишком уже художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, изображал. От кружков же его

отталкивало доктринерство, дух учительства. Тургенев смолоду любил духовную свободу, ведущую, конечно, к одиночеству.

В Берлине он не только много учился, не только видел привлекательных и духовно высоких немецких людей, но встретился и с замечательными русскими, оказавшими на него влияние.

Со Станкевичем познакомился осенью 1838 года – благодаря Грановскому. Вначале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренно стеснялся. Но очарование этого болезненного (иногда, впрочем, и очень веселого) юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел и в воздух Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе – всегдашний полет, которые для Станкевича характерны. Да, Станкевич создал свой «кружок». К нему принадлежали Грановский, Неверов, Тургенев и другие. Но сам он как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни пред кем не блистал. Действовал тишиною и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах – Станкевич просто излучал нечто и этим воспитывал.

Среди тургеневских червоточин была одна, очень его мучившая, – он заметил ее за собою еще в детстве: неполная правдивость. Живое ли воображение, желание ли «блеснуть», «выказаться», текучесть ли и переменчивость самой натуры, но он иногда бывал лжив. Это отдаляло от него многих… Создавало впечатление позера и человека, на которого нельзя положиться (на него и действительно нельзя было положиться! Но он и действительно обладал даром прельщения).

Станкевич, как позднее Белинский, принял Тургенева, полюбил таким, каков он был, не белого, не черного, а пестрого, живого Тургенева. И тем, что принял, любовию своей, его перевоспитывал. При нем студент Тургенев не мог так распускаться. Правдивость, простота Станкевича и пафос его истинный – влияли.

Вместе со Станкевичем посещал он довольно замечательный дом, литературный салон Фроловых. Н.Г. Фролов, человек малозаметный, перевел «Космос» Гумбольдта и издавал «Магазин землеведения и путешествий». Жена его, немолодая, болезненная, очень тонкая и умная женщина, являлась центром дома. Вела разговор, вносила в него умственное изящество, высокую просвещенность. У нее встречались Александр Гумбольдт, Варнгаген Фон-Энзе, Беттина Арним. Вершины Германии видел двадцатилетний Тургенев в этом русском семействе. Гумбольдт был уже знаменитым ученым. Варнгаген писал по-немецки о Пушкине. С Беттиной входило в жизнь Тургенева веяние Гёте.

Одним словом, как это всегда случалось, – где бы он ни поселялся, всегда попадал в кристаллизацию умственных и духовных верхушек – а позже и вокруг себя кристаллизовал кого надо.

Но не только наукой, не только тяжеловесным и серьезным занимался он в Берлине. Любил бывать на гуляньях, маскарадах. Катался довольно много верхом – в Тиргартене. Охотничьей страсти здесь не предавался и не пил. Однако заходил в погребок, где некогда пьянствовал и разносил филистеров романтик Гофман. Много посещал театр: черта вполне тургеневская – и впредь так будет.

С ним жил дядька, Порфирий Тимофеевич Кудряшев, человек довольно милый и не без замечательности, домашний лекарь-самоучка Варвары Петровны, ее секретарь и министр. Но главная его особенность состояла в том, что он приходился сводным братом своему молодому барину, берлинскому гегельянцу. Знал ли Иван Тургенев, что отец его крепостного Порфирия все тот же Сергей Николаевич Тургенев? Наверно, нет, по крайней мере в те годы.

Порфирий состоял при нем как бы секретарем – писал иногда Варваре Петровне. Он был несколько старше своего барина-брата, но отношения у них сложились приятельские, и нередко они занимались вполне детскими делами: воспитывали случайно попавшую к ним собаку, притравливая ее к крысам. Играли в солдатики. А потом Тургенев-младший строчил старшему по-немецки любовные письма.

Сам же переписывался с матерью довольно неудачно. Как жаль, что не сохранились его письма! Но ее послания уцелели. Они прелестны. Вез них Варвара Петровна казалась бы просто самодуркой-крепостницею. А это далеко не так.

Когда умер Сергей Николаевич, вся ее любовь перешла на сына. («Иван мое солнце. Когда оно закатывается, я ничего больше не вижу, я не знаю, где нахожусь».) Роман с сыном оказался столь же мучительным, как и с отцом. Сын тоже не любил ее. Ему трудно с ней переписываться, он пишет мало, вяло. Просто ему неинтересно – самое ужасное для любви слово! Забывает отвечать (по лени), иногда вдруг обижается, молчит подолгу.

«…А! Так ты изволил гневаться на меня, и пропустил пять почт, не писав. Извольте слушать, первая почта пришла – я вздохнула, вторая – я задумалась очень, третья – меня стали уговаривать, что осень… реки… почта… оттепель. Поверила. Четвертая почта пришла – писем нет! Дядя, испуганный сам, старался меня успокоить. – Нет! Ваничка болен, говорила я. –

Нет! – он опять переломил руку… Словом, не было сил меня урезонить. Вот и пятая почта. Все перепугались… Думали, я с ума сошла. И текущую неделю я была как истукан: все ночи без сна, дни без пищи. Ночью не лежу, а сижу на постели и придумываю… Ваничка мой умер, его нет на свете… Похудела, пожелтела. А Ваничка изволил гневаться…»

Времена, когда Ваничку просто можно было высечь, прошли. Но, быть может, тогда она его меньше и любила. Он же, конечно, тогда особенно нуждался в ласке и любви, а сейчас уходил от нее, начинал широкую и славную свою, взрослую жизнь.

Сколько страсти, блеска, кипения в ее письмах! Какой темперамент! Гибкость, острота слов, чудесная их путаница, огонь, и как мало это похоже на всегда ровную и круглую прозу, прославившую сына. Ее писание – монолог, без всяких условностей, из недр, из «натуры».

«…Моя жизнь от тебя зависит. Как нитка в иголке; куда иголка, туда и нитка. Cher Jean![36] – Я иногда боюсь, чтобы тебя не слишком ожесточить своими упреками и наставленьями. – Но! – ты должен принять мое оправданье. Век мой имела я одних врагов, одних завистников».

Вот это «но!» с восклицательным знаком, – где, в чьей прозе виданы такие вещи – и как очаровательно выходит, нервно, властно, капризно.

Вовсе не дикая степная помещица писала из Спасского двуликому гегельянцу. Варвара Петровна и сама путешествовала, и была довольно просвещенной, и любила читать, читала много – преимущественно по-французски. Русской литературы почти не признавала. Вообще к литературе, как и к религии, ее отношение – сплошь противоречие. Писатель как будто и gratte-papier (писец), но вот сама она охотно читает, и образованна, и латинскую поговорку приводит сыну, и укоряет свекровь, что та умеет только в карты играть. И главное, она сама – почти писатель. Как описывает свой день! Как изображает пожар! Всюду в ней артистическая натура, талант. Вот слово горькое и радостное, неожиданное для такой Салтычихи[37], какою подавали нам ее.

«…Опять повторяю мой господский, деспотический приказ. – Ты можешь и не писать. – Ты можешь пропускать просто почты, – но! – ты должен сказать Порфирию – я нынешнюю почту не пишу к мамаше. – Тогда Порфирий берет бумагу и перо. – И пишет мне коротко и ясно – Иван Сергеевич-де здоров, – боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! Ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку; жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький

мальчик, и я им занимаюсь, он здоров и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик будет терпеть… Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости…»

Довели ли Тургенев с Порфирием ее до «такой несправедливости»?

Ясно лишь одно: всегдашняя прохлада Тургенева к матери. Внимания, дружественности к ней у него нет. Варвара Петровна, например, просит его присылать из Берлина цветочных семян (в конвертах писем) – она цветы всегда очень любила, да и эти семена казались ей связью с сыном. Он иногда посылал, иногда нет, смотря по настроению. Просто он не думал – ни о ней, ни о ее желаньях.

Любви нельзя заказать: явись! У Тургенева к матери этого чувства не возникло. Он имел большие основания ее не любить. И все же его равнодушие рядом с ее пламенем не выигрывает. Она нередко грубо упрекала его (в эгоизме, расточительности) – но в своей исступленной любви, в страданиях, бессонных ночах и «несправедливостях» возбуждает она сочувствие.

* * *

А он в это время жил. Писал стихи, но прятал их, не печатал. Главное – рос, вбирал, что можно, начиная с лекций Вердера и до катаний в Тиргартене с Бертой, до ухаживаний еще за некой девицей. Видеть, жить, обогащаться можно было еще столько, еще так он молод! А мать в какой-то Орловской губернии…

Старый дом Спасского сгорел майским вечером 1839 года, и мать картинно изобразила, как уехали гости, как она легла на патэ (диван), вокруг возились дети, она начала «с Лизетой о чем-то спор», и вдруг в окне пролетела искра, за ней горящий отломок, и сразу весь сад осветился заревом. Варвара Петровна убежала в церковь. Мычали коровы, вопили женщины, мужики довольно бестолково толкались с ведрами и баграми. Деревенский пожар – ужас и беспомощность… в багровой иллюминации с розовыми клубами дыма, где носились перепуганные голуби, к полуночи от старого гнезда ничего не осталось, кроме бокового крыла. Варвара Петровна перебралась временно во Мценск.

Может быть, гегельянец в Берлине и вздохнул, и задумался, но – все это дальняя Скифия, страна рабов, владык: мелькнуло и ушло. Гумбольдты же, Станкевичи, Вердеры – живое, окружающее.

В конце года Тургенев съездил, однако, в эту Скифию, побывал в Петербурге, а в начале 1840 года через Вену попал в

Италию. Рим сороковых годов! Трудно сейчас даже представить себе его. Карнавалы на Корсо, альбанки цветочницы на Испанской лестнице, бандитские шляпы, абруццские бархатные корсеты на женщинах, ослики, папская полиция, коровы на Форуме, полузасыпанном вековым прахом, – и тотчас за ним начинающаяся Кампанья, луга там, где сейчас Суд, рогатки по вечерам на улицах… и несмущаемое веянье поэзии, терпкий, живоносный воздух Рима.

В этот первый итальянский приезд ничего у Тургенева не было на душе, кроме молодости и порыва все взять, не упустить, узнать. И он зажил милой, светлой жизнью итальянского паломника. Ему нашелся превосходный сотоварищ, друг и вождь – тот же Станкевич. К Риму идет тонкий, изящный профиль Станкевича, с длинными, набок заложенными кудрями, с огромным поперечным галстуком, благообразным рединготом. Станкевич жил на Корсо. В маленькую его квартирку сходились Тургенев, Ховрины, Фролов. Недалеко гоголевская Strada Felice (ныне Via Sistina). Вероятно, часто заседали в кафе Греко, на Via Condotti, знаменитом еще со времен Гёте. Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях. Тургенев со Станкевичем много выходили, много высмотрели. «Царский сын, не знавший о своем происхождении» (так называл друга впоследствии Тургенев) доблестно водил его по Колизеям, Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи «Афинской школы» и «Парнаса» Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича – дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидал, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда на этом патриции.

Станкевич был болезнен – чахоточный. Может быть, это обостряло, утончало его. Придавало некую пронзительность. Тургенев вздыхал по старшей дочери Ховриных, Шушу, но довольно безболезненно. Поляк Брыкчинский, тоже туберкулезный, угощал их музыкой. Тургенев собирался брать уроки живописи, да так и не собрался. Впрочем, рисовал разные шутливые рисунки, вроде карикатур. Пожалуй, это первые черты позднейшего тургеневского сатиризма.

Рим склонен располагать к меланхолии, но прозрачной, творческой. В Риме человек чувствует и свою бренность, и свою вечность. Гёте, Гоголь многое в Риме создали. Тургенев учился. Станкевич заглядывал уже в бездну. Вот он подымается на четвертый этаж к Ховриным, читает стихи Пушкина и вдруг,

задохнувшись, останавливается, кашляет. На поднесенном ко рту платке кровь.

Или они с Тургеневым возвращаются в коляске из Альбано по Аппиевой дороге. Близки сумерки. Прозрачно в воздухе, справа немеют под небом Сабинские горы, вершины их тронуты розовым. Акведуки, стада, все замолкшее, закаменелое. Пастухи в кожаных штанах, и безбрежный купол св. Петра, и налево, к Остии, тихое полыханье заката, уходящего в море, прорезанного одинокой башней.

У высокой развалины, обросшей плющом – они идут по обеим сторонам дороги, – Тургенев остановил экипаж, высунулся, крикнул:

– Divus Caius Julius Caesar![38]

Эхо ответило каким-то стоном. Станкевич, дотоле веселый и разговорчивый, вдруг побледнел, поник острым подбородком в свой огромный галстук.

– Зачем вы это сделали? – спросил он, когда коляска тронулась. И до самого Порта Сан-Себастьяно был молчалив.

Наступал вечер. Древняя земля Кампаньи дышала прахом.

Его предчувствия сбылись. Расставшись позднею весной с Тургеневым, он больше с ним не встретился: скончался летом в Нови, на руках Дьяковой и Ефремова. Тургенев находился в это время в Неаполе. А возвращался в Берлин через Геную.

Смерть Станкевича очень его взволновала, но не могла остановить. Может быть, сквозь вуаль искренней слезы острей воспринимался самый мир. Пешком путешествовал он по Швейцарии, в костюме туриста, с палкою и ранцем за плечами. Проезжая через Франкфурт, влюбился во встреченную в кондитерской красавицу девушку (Джемма из «Вешних вод» – только была она еврейка, а не итальянка). Чуть во Франкфурте из-за нее не застрял – но не его судьба, конечно, прикрепиться к захолустной булочнице. Добравшись до Берлина, написал прекрасное письмо Грановскому о смерти Станкевича.

Станкевич был залетный гость, русский Новалис. Прилетел голубем, оставил во всех, знавших его, след чистый и нежный – и унесся. Для чего-то был нужен Тургеневу. Для чего-то оказался нужным и другой человек, уже не голубь и не залетный, с которым тоже свела его судьба. Он познакомился с Михаилом Бакуниным через месяц после смерти Станкевича. Даже поселились они вместе, быстро сблизились, целый год прожили душа в душу. Новый друг только то имел общее с прежним, что был гегельянцем. Здоровенный, красивый, шумный, речистый – сплошной натиск, командование. Что-то, однако, прельщало в нем Тургенева. Обратное Станкевичу – не широкая ли поза,

«вдохновенность», кудри, сила? Молодому Тургеневу и «такое» очень нравилось. Совсем недалеко время, когда он увлекался Марлинским и Бенедиктовым. Портрет (редчайший) начала сороковых годов дает Тургенева с довольно «роковым» поворотом головы, взором не без вызова, с романтическими кольцами кудрей – очень красивый и замечательный молодой человек, но уж конечно не без позы. Перед Станкевичем ему таким не пристало быть. Перед Бакуниным – как раз впору. Оба высокие, оба красивые, видные, Тургенев и Бакунин представляли отличную пару, выделявшуюся и на лекциях, и на разных собраниях. Анненкову бросились они в глаза в известном берлинском кафе Спарньяпани, где получалось много иностранных газет и журналов: разумеется, русские барчуки-гегельянцы украшали собой это учреждение.

При всем своем шуме и грохоте Бакунин в то время вовсе не «разрушал основ» – напротив, с русскою яростностью защищал и оправдывал все существующее как разумное, доводил Гегеля до последнего предела. Тургенев и тут держался тише – никогда к крайностям пристрастия не питал.

И быть может, кроме идейной близости просто удобно и приятно ему было жить с этим жизнерадостным барином, с какого-то конца «своим». От жизни их остались некоторые свежие следы. Могли бы они вспомнить хорошие минуты, «ночные бдения», как говорил Бакунин, в их комнате – Тургенев у любимой печки, Бакунин на диване. Вечера у сестры Вареньки, где слушали бетховенские симфонии, пили чай с копчеными языками, пели, смеялись, спорили… Или визиты к фрейлейн Зольмар (молоденькой актрисе) – Тургенев в зеленом бархатном жилете, Бакунин в лиловом. Да и то же кафе Спарньяпани…

Кажется, эта полоса Тургенева, берлинско-итальянская, – из лучших его полос.

# В России

Он вернулся на родину нарядным и блестящим юношей. Любил франтить – носил лорнет, щеголял разноцветными сюртуками и жилетами – панталоны тогда шили узкие, со штрипками, и очень нежных цветов. Любил поболтать, пустить пыль в глаза. Разумеется, прихвастнуть. Внешний его облик довольно долго еще не совпадает с тем, чем надлежало ему быть в действительности. Многих это обманывало. Уже позже, встречая на Невском высокого, красивого юношу, очень изысканно одетого, Панаев не думал, что это поэт, философ, – принимал за светского барчука. Не так ли франтил в свое время Петрарка в Авиньоне? Только моды были иные: итальянский поэт занимался правильностью кудрей, обрамлявших лоб.

Тургенев жил летом в Спасском, зимой в Москве с матерью на Остоженке, в доме Лошаковского, занимая комнаты в мезонине – теплые, уютные, с нерассказуемой прелестью старинных московских домов, запахом вековой мебели, легких курений, с лампадками в углу, засохшими вербами перед иконами. Он много выезжал. В московских салонах часто появлялся – там же, где блистал прежде Пушкин, Грибоедов, где можно было встретить Гоголя и Хомякова, Аксакова, Чаадаева. Думал сдать магистерский экзамен, получить кафедру философии. Ничего из этого не вышло. Так и остался Тургенев того времени маменькиным сынком, молодым человеком с поэтическими устремлениями.

С матерью уживался еще очень прилично. Она была счастлива, что сын вернулся. В Спасском закармливала его любимым крыжовенным вареньем. А он стрелял дупелей, рассказывал, валяясь на огромном диване-патэ, сказки маленькой Варе Житовой, воспитаннице, и иногда с ней же делал набеги на знаменитый бакалейный шкаф Спасского, находившийся у входа в каменную галерею, уцелевшую от пожара, – там помещалась библиотека. Этим шкафом заведовал камердинер покойного Сергея Николаевича – глуховатый и слегка полоумный старик Михаил Филиппович. Тургенев с Варей забирались туда – барин уже взрослый, запретить ему нельзя! – опустошали «добро» и сласти. Старик ужасался, страдал… но ничего не мог поделать. С грустью докладывал потом Варваре Петровне: «Опять все изволили покушать! Да ведь у них так-то и желудочки расстроятся!» Конечно, убивало и то, что вот истребляется это самое хозяйское «добро».

Но Варвара Петровна за это на сына не нападала.

– Ну, ничего, Филиппыч, придется отправить подводу в Орел или во Мценск.

Идиллия нарушалась, однако, темным бытом. Варвара Петровна умела портить жизнь. Дворецкого Полякова она очень ценила. Смиренную Агашу, его жену, просто любила… и когда у той появилось дитя, рассердилась. Во-первых, ребенок пищит. Второе – отвлекает мать от забот об особе Варвары Петровны (в священности своей она была глубоко убеждена).

– Если у тебя дети при тебе, ты не можешь служить мне как надо!

И распорядилась услать дитя в деревню Петровское, там воспитывать. Агафья много терпела, долго. Но тут не покорилась. Ребенка не услали, держали тайно в Спасском, устроив как бы заговор против барыни. Дворня держалась стойко. Агафью и Андрея уважали и не выдали. Но родители вечно дрожали. Однажды крик грудного младенца чуть его не выдал – отцу пришлось зажать ему ротик рукою. Все это тянулось долго. Закончилось в Москве, позже, когда Агафья осмелилась наконец сказать прямо в лицо госпоже, что детей (еще двое родились позже), она в Москву взяла – вопреки барской воле. Что за сцена произошла, нетрудно вообразить. Агафью разжаловали, наказали, но дети все-таки остались в доме: их вновь спрятали.

Тургенев был уже не мальчик. В Москве к нему приезжал Грановский, и они горячо рассуждали в верхних комнатах о крепостном праве, об освобождении крестьян. Он не мог терпеть таких историй, как с Агашей, – вмешивался, мучился, иногда успевал, иногда не удавалось: во всяком случае, под приличною внешностью – внутренно отношения с матерью портились.

Среди этой сытой, широкой барской жизни вновь появляются, как уже однажды раньше, дела любовные.

Афродита-Пандемос снова предстала в виде рабском, вновь на тучных нивах Спасского – скромная Афродита-швея, тихая блондинка. Он завоевал Авдотью Ермолаевну без усилий. Она робела пред ним и трепетала перед барыней. Вероятно, последнее и было самым сильным ее чувством. Ему же внушила известную нежность. Конечно, был он с нею так ласков, как никто в ее быту. Она покорно отдала ему и молодость свою, и девичество, как существу высшему. Связь оказалась простой, несколько грустной, человечной… и неинтересной.

Разумеется, Варвара Петровна узнала обо веем. Авдотью Ермолаевну из Спасского изгнали. Тургенев поселил ее в Москве, на Пречистенке – там сняла она квартирку из двух комнат в первом этаже небольшого дома и занялась рукоделием.

Что-то безответное, скромно-покорное остается от неяркого

образа Авдотьи Ермолаевны. Орловская Дунечка, не посмевшая не ответить на случайный пыл барина. Не эту ли Дунечку, смиренно-пришедшую, вспомнил он стихотворно в сорок третьем году?

Открытое окно, сад «огромный, и темный, и немой». Они сидят у этого окна, он гладит ее распущенные волосы, она «с улыбкой томной» смотрит в сад. И соловей спасский, все дыхание тех мест, и луна.

И ты сказала мне,
К таинственным звездам поднявши взор унылый:
«Не быть нам никогда с тобой, о друг мой милый,
Блаженными вполне!»
Я отвечать хотел, но, странно замирая,
Погасла речь моя… Томительно немая
Настала тишина…
В больших твоих глазах слеза затрепетала,
А голову твою печально лобызала
Холодная луна.

Была ли, не была в этой нехитрой молодой связи частица поэзии, во всяком случае орловская Дунечка не так уже бесследно ушла из жизни Тургенева: в мае 1842 г. родила она ему дочь. Ее назвали незаметным, мещанским именем Пелагея, а таинственная рука судьбы навсегда увела ее впоследствии из Орла и Мценска, русскую Полю пересадила в Париж, обратила в Полину и ввела в чуждую ей французскую семью иной, блистательной Полины – Виардо. Но пока молодой гегельянец ничего этого не подозревал. Дворовый Федор Лобанов выплачивал Авдотье Ермолаевне ежемесячную сумму. Тургенев же вел в это время другой роман, смутно-интеллектуальный, рудински-разговорный и обставленный всем изяществом утонченного дворянского быта.

* * *

Странная русская семья жила в имении Премухино Тверской губернии, на берегах прохладной речки Осуги. Бакунины – отец и мать, и целое племя детей, больше девиц, но среди них и тот самый Михаил Бакунин, Мишель, с которым молодой Тургенев прожил в Берлине целый год. Из-за Мишеля стала семья исторической, но она была, конечно, любопытна и сама по себе. Это как бы девическое царство – в нем: господствовал, однако, и

вел всех за собой Михаил. Сестры его, определившие «климат» Премухина, – Любовь, Варвара, Татьяна и Александра Александровны. Со старинных изображений глядят эти лица, не совсем правильные, иногда (как у Варвары) вовсе некрасивые, иногда типично русские (Татьяна), но все с отпечатком незаурядности и некоего беспокойства. Во всех них, как и в брате Михаиле, вечно кипело, сгорало что-то, вечные порывы и терзания, восторги, отчаяние. Варвара в ранней юности отличалась исступленной религиозностью, пережила мучительнейшие сомнения, доходя иногда почти до безумия. Пятнадцати лет, со стиснутыми зубами и обливаясь холодным потом, доводилось ей кататься по полу, заглушая страшный внутренний вопль. («Бога нет, Бога нет!») Старшая сестра Любовь была несколько тише, с огромным обаянием, но с такой же внутренней восторженностью, как и младшая, Татьяна. Все они с детства знали по нескольку языков, музыку, зачитывались немецкими романтиками – Новалисом, Жан Поль Рихтером. Проделали весь философский путь брата – то Фихте, то Гегель владели ими.

Барская жизнь того времени оставила нам хорошие архивы. Через сто лет многое можно прочесть из переписки энтузиасток с братом, между собою и с другими. Есть в этом особый «премухинский» стиль: все всегда свято, небесно, вечно, всегда сердце и ум направлены или на Бога, или на добро, любовь, человечество. Или собственная душа усовершенствуется, или даже надо спасать и «просветлять» человечество. Средних нот нет. Всегда «по звездам». Если любовь, то это парение, слияние двух душ в одну сияющую вечность, и т. п. Прекраснодушие – искреннее, иногда глубокое, иногда с несколько напыщенным оттенком. Влюбленности, слезы, много томлений и много страданий в этой семье – и замечательной, и очень несчастной. Особенные девушки привлекают и необычных друзей: «премухинским» захвачены люди как Станкевич, Белинский – у всех них сложные и запутанные сердечные дела с обитательницами Премухина. Сам Мишель тоже, разумеется, влюблен (в Наталию Беер), но и к собственной сестре Татьяне питает чувства довольно странные – ревность входила в них большой дозой. Он «духовно» и «патетически» был чуть ли не влюблен в нее. Ее переписка с ним местами похожа на роман.

В это Премухино и подал Тургенев в июне 1841 года, когда уехал от Мишеля из Берлина. Он уже встречался с Бакуниными (с Варварой, вышедшей замуж за Дьякова, – за границей. Не совсем ясно, где познакомился с Татьяной, видимо, в конце 1840 г.). Еще менее ясно, когда возникло между ними то, что продержало его

при ней почти до самой Виардо. Но трудно представить себе июньские дни 1841 года вне завязки романа. Слишком все подходяще.

В Премухине был дом с колоннами у балкона, увитыми хмелем. С боков кусты сирени, жасмина, почти заглядывавшие в окна. Перед балконом цветники. Конечно, парк. Замечательная церковь екатерининских времен, классического стиля. Извилистая Осуга, луга, поля и перелески. Вся прелесть русского июня предстала Тургеневу в это его посещение. Еще соловьи не отошли. Кукушки кукуют, ночи коротки, и звезд мало, это не звездный август. Зато чудесно благоухают луга, полные звоночников, медвяной «зари», всяких кашек, цикориев. Скоро покос. Нежны июньские вечера. Ливни сияют сквозь солнце и радугу. Молодые ржи наливаются – колос еще сизо-молочный, и как пахнут они после дождя!

Кто знает, о чем и как говорили Тургенев с Татьяной на балконе или в беседке, под дубами Премухина. Были сладкие и нежные минуты в обрамлении типического «тургеневского» романа. Именно так, как впоследствии будет в его повестях. Тургенев играл как бы собственную пьесу. На прогулках по рощам и в ночной тьме на балконе, после сыгранного в зале Бетховена, при бледных звездах говорилось, разумеется, немало романтических заоблачностей. «Святая дружба», вечная любовь, небеса души и многое в подобном роде, вздохи и загадочные взгляды, чувства и некая игра в них, поза, все перемешивалось и создало туманно-бродящий напиток, опьянявший – но в разной мере – обоих. Тургенева он целиком не захватил. Истинный его час еще не настал. Сердце оставалось прохладным, и он довольно точно изображал себя, когда позже писал Татьяне: «Я никогда ни одной женщины не любил больше вас – хотя не люблю и вас полной и прочной любовью». Там же называет он ее «сестрой» своей и «лучшей единственной подругой». Вот именно сестра и подруга… Но она не владела им. Не плен это, а тот поэтически-эротический трепет, в котором почти постоянно Тургенев жил. На этот раз предметом его стала Татьяна. Он не лгал, говоря, что «ни одной женщины не любил больше»: сравнивать еще не с кем. Юная влюбленность в Зинаиду, правда очень острая, – все же детская болезнь. Нехитрую связь с Дунечкой вряд ли можно вообще считать – это пока и весь любовный опыт Тургенева.

Татьяна же поддалась вполне. Когда-то писала она «Мишелю»: «Ты хорошо знаешь, что человек, которого я могла бы полюбить, который должен наполнить все мое сердце, все мое существо, существует лишь в моем воображении. Может быть, я встречу его лишь на небе». Она ошиблась. Встретила и на земле,

и хотя была, разумеется, величайшая фантазерка и всякие чувства наряжала в романтику, все же влюбилась по-настоящему.

Роман протекал и в Москве, и в Премухине, и в Шашкине, орловском имении Вееров, друзей Бакуниных. Яркую и страдательную роль играла в нем Татьяна. По духу своего премухинского дома, внесла в него всю силу, восторженность и беззаветность души. «Христос был моей первой любовью. Как часто, стоя на коленях у Его Креста, я плакала и молилась Ему. Вы, мой друг, вы будете моей последней, вечно искренней, вечно святой любовью». Татьяна не могла бы сказать, что любит Тургенева «неполно» или раздвоенно.

Любила всячески и уже тогда чувствовала в нем великого художника. А у него в мае 1842 г. пищала девочка от Авдотьи Ермолаевны. И «душевный» роман с Татьяной еще продолжался. Она все более убеждалась в неравенстве ролей и безнадежности своего положения. Сколько бессонных ночей, слез, мучений! Но уж так полагается в Премухине, да, впрочем, и во всякой большой любви.

«Вчера вечером мне было глубоко, бесконечно грустно – я много играла – и много и долго думала. – Молча стояли мы на крыльце с Alexandrine – вечер был так дивно хорош – после грозы звезды тихо загорались на небе, и мне казалось, они смотрят мне прямо в душу – и хотят, чтобы я надеялась и я как будто прощалась с землей и жизнью – и жаль мне было ее – жаль мне было вас всех – я хотела удержать вас в руках моих – мне грустно было оторваться от вас – ведь жизнь не повторяется и смерть отнимает не на один миг, а навсегда…»

Тургенев уходил от нее, чем далее, тем больше. Тому, кого любила она чуть ли не как Христа, чье предчувствовала огромное назначенье, судьбу блестящую, приходилось ей писать: «Я знаю, вы сами мне сказали, что я вам чужая, что я вам ничто».

Но любовь сдается не сразу. Не так легко сердцу признать свое поражение, смириться. Оно ищет утешиться. Иной раз мелькает для Татьяны это утешение в самоотречении и покорности воле Божией. «И если бы я могла окружить вас всем, что жизнь заключает в себе прекрасного, святого, великого, если бы я могла умолить Бога дать вам все радости, все счастье – мне кажется, я бы позабыла тогда требовать для себя самой». А рядом с этим великая горечь «непрошеной», «ненужной» любви, такое унижение любить без ответа… Иногда она «готова ненавидеть» его «за ту власть», которой сама же и покорилась.

Все это терзало и раздирало Татьяну не один месяц. В них проходит весь 42-й год. Жизнь Тургенева, видимо, принимает свое, с ней не связанное течение. Человеколюбия в любви не так-

то много. Тургенев вряд ли мучился ее страданьями.

Летом 43-го года наступил полный и окончательный разрыв. Внутренно он был готов давно, внешний повод – история с деньгами для Мишеля. Михаил Бакунин попал в затруднительное положение с деньгами в Берлине – задолжал издателю Руге 2800 талеров. Татьяна просила Тургенева заплатить за брата, обещая, что отдаст ему впоследствии семья. Тургенев просьбу ее исполнил, хотя и с опозданием. Но тут он нечто написал Татьяне, очень ее задевшее. Письмо это не сохранилось. В ответе на него Татьяны говорится о желании Тургенева оскорбить ее, о «сухом и презрительном» тоне письма, чего она никак не ожидала. Уцелело еще одно, прощальное письмо ее, помеченное августом 43-го года. На нем кончаются и переписка, и роман.

Что такое мог написать Тургенев? Ничего особенного. Особенное для нее была прохладность, равнодушие… Он уже не взволнован ею. Может быть, даже самая восторженность Татьяны стала ему надоедать. Этого – раз появилось – скрыть нельзя. Отсюда и тон sec, meprisable[39] она сама определила, приписав холоду презрительность.

Такова генеральная репетиция взрослого Тургенева в любви. Он победил там, где это не было для него важно. Победа не дала ему ни радости, ни счастья. Татьяне принесла страдания.

Роман отозвался в двух-трех его стихотворениях. Потом он помянул его – жестко и неудачно – в «Татьяне Борисовне и ее племяннике». Напрасно пылала Татьяна! Тургенев несмешно посмеялся над ее восторженностью, над всем «премухинским». Зачем это понадобилось ему? Понять не так легко.

* * *

За эти годы не одною, однако, любовью занимался он. В Берлине писал стихи (неуцелевшие), продолжал их писать и в России. Это уже не «Стено» – литература, настоящая поэзия. Позднейшее его писание заслонило ту полосу. Обычно знают лишь Тургенева-прозаика. Но уже пора правильно распределить планы, отдать должное его молодости. Стихи исходят, разумеется, из Пушкина. Музыкальны, однако у них есть и свой оттенок – некоей медлительности, волнообразной плавности. Будто хорошо плыть ему по спокойной, элегической реке. Тут, конечно, темперамент Тургенева. Это не удивляет. Не удивит и живопись в стихах – эти краски, как и манера, хорошо известны по его прозе. Мотив любви – тоже Тургенев. Но из-за музыки, живописи и пейзажа выступает, как некогда в «Стено», облик и

горький, уязвленный. Совсем нет в тургеневской лирике и юных поэмах прекраснодушия премухинских барышень! Многое он любит, но над многим посмеется, многое осудит. Смиренной восторженности в нем не надо искать. Он бывает холодноват, язвителен. У него срываются иногда тяжкие слова.

Вот говорит он о толпе. Кто из поэтов любил толпу! И Пушкин ее громил. Но не пушкинские строки заключают эту вещь:

И я тяну с усмешкой торопливой
Холодной злости, злости молчаливой,
Хоть горькое, но пьяное вино.

Жизнь, люди, мир… это еще должно быть оправдано. А то вот:

…Женился на соседке,
Надел халат
И уподобился наседке –
Развел цыплят.

Вердер Вердером, Станкевич Станкевичем, и премухинские излияния Татьяны – это один фасад, но есть и другой, горестно-иронический. Не зря мальчик, написавший «Стено», воскликнул:

Но я как неба жажду веры!

Она не пришла, как не пришла и полная, осуществленная любовь. Если бы была вера и такая любовь, как у Татьяны (или позже у его же собственной Лизы из «Дворянского гнезда»), не было бы холодной и презрительной тоски. Странно сказать, но молодой Тургенев хорошо чувствовал дьявола – вернее, мелкого беса, духа пошлости и середины. Бесплодность, испепеленность сердца оказались ему близки.

В 1843 году он написал поэму «Параша», первую вещь, обратившую на него внимание. В ней есть чудесная помещичья деревня, девушка, первый трепет любви – опять все «тургеневское». Есть и герой (сосед-помещик) – родственник Онегина, но с несколько иным оттенком. Нет, однако, ни Ленских, ни дуэлей… Все благополучно, и все страшно потому, что так благополучно. Поэту и хотелось бы, чтобы была трагедия. Пусть бы коснулась героини «спасительность страданья». Но вот

не касается. Что-то мелькнуло прекрасное и поэтическое в их первой прогулке – вечером, в помещичьем саду. Будто начало «большого». Но это только кажется. И уже над ними тень насмешки, предвестие будущего.

Что, если б бес печальный и могучий
Над садом тем, на лоне мрачной тучи
Пронесся – и над любящей четой
Поник бы вдруг угрюмой головой?

Бесу есть над чем пораздумать. Сосед женился на Параше. Отец «молодым поставил славный дом», племянник Онегина в нем поселился с милою Парашей… вероятно, стали они толстеть и разводить индюшек.

Поздравляю
Парашу и судьбе ее вручаю –
Подобной жизнью будет жить она,
А кажется, хохочет сатана.

С ранних лет невзлюбил Тургенев брак, семью, «основы». В горечи и пошлости жизни особенно ненавидел «мещанское счастье». Кто знает, если бы женился на Татьяне и развел бы по-бакунински семью, может быть, и сам бы стал иным. Но вот не женился, ни теперь, ни позже… Во всех противоречиях его облика есть одна горестно-мудрая, но последовательная черта: одиночество, «не-семейственность».

«Параша» появилась весною 1843 года, когда он попробовал уже (по настоянию матери) службу – служил у Даля, известного этнографа и знатока языка, в Министерстве внутренних дел. Служба его не заинтересовала. И ничего из нее не вышло, как и из профессуры. Славный его путь заключался уже в книжечке «Параши».

«Парашу» прочла Варвара Петровна и – к удивлению – одобрила. Это было первое писание сына, которое она как-то признала. «Без шуток – прекрасно. Не читала я критики, но! в “Отечественных Записках” разбор справедлив и многое прекрасно… Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все реальное любим. Итак, твоя “Параша”, твой рассказ, твоя поэма… пахнет земляникой».

Так писала она сыну в Петербург. Он только что познакомился там с Белинским – знакомство тоже роковое, прочно прицеплявшее его к литературе. Уезжая весной в деревню,

Тургенев занес Белинскому «Парашу», не застал хозяина и, оставив экземпляр, уехал. В Спасском получил тот номер «Отеч. записок», о котором говорит мать. Белинский поместил в нем подробный, очень сочувственный разбор «Параши».

Молодой автор в деревне, о нем появилась первая хвалебная статья… Как ясно можно представить себе Тургенева, разрезающего страницы Белинского! Волновался, то прятал, то клал книжку на видное место. Делал вид, что ему все равно, а в действительности трепетал. Приезжали соседи, смотрели, ахали… Мать что-нибудь острила, будто бы пренебрежительно – но на этот раз тоже с гордостью – «пахнет земляникой»!

Чудесное время. Май, Спасское, молодость. Только что отошла тяга. Быстро июнь пролетит. И к Петрову дню закатится Иван Сергеевич Тургенев, полный ощущения таланта своего, успеха своего, куда-нибудь за утками и дупелями, может быть вдаль, в Жиздринский уезд Калужской губернии, к разным Брыням, Сопелкам, на паре в бричке – там болота знаменитые: в его времена прямо кишели дичью.

# Виардо

Полина Виардо была дочерью знаменитого испанского тенора Мануэля Гарсиа. Мать ее, Джоваккина Сичес, тоже пела, как и старшая сестра Мария, по мужу Малибран – прославленная певица. Полину с детства учил властный и суровый отец. Первые уроки – на парусном судне, шедшем в Мексику, – с голоса, без рояля. Ноты писал сам отец. Она пела с ним по вечерам на мостике, «к большому удовольствию всего экипажа».

Эти удивительные уроки в океане, под открытым небом, связаны с артистическими странствиями отца: он пел и в Европе, и в Америке. В той же Мексике приходилось семье Гарсиа путешествовать на лошадях по диким лесным дорогам. Отец и брат скакали верхом рядом с экипажем женщин, по временам слезали, расчищали бурелом, нарывали цветов для дам – ехали дальше.

Полина с детства знала театр, слушала оперы, росла среди артистов. У нее оказался отличный голос. Судьба ее определилась.

Она рано начала выступать. Впервые в Брюсселе – в 1837 г., шестнадцати лет. Затем в Лондоне и Париже – камерного певицей. В Парижской Опере дебютировала в 1839 году, в «Отелло» Верди, успех имела огромный, и с этого времени начинается ее известность. Ее пригласили в итальянскую Оперу. В 1841 году она вышла замуж за директора этой Оперы – г. Луи Виардо, вряд ли по любви, скорее для жизненного укрепления. Виардо был на двадцать лет старше ее, по-видимому, человек смирный, просвещенный, малозаметный – муж знаменитости.

Начались ее странствия по столицам и полустолицам Европы: Лондон, Мадрид, Милан, Неаполь, Вена, Берлин – всюду она выступала, всюду покоряла. Обладала удивительным голосом, гибким, могучим, столь разнообразным, что она пела и высокие колоратуры, и партии драматического сопрано, и даже контральто (Фидес в «Пророке», «Орфей» Глюка). Сценическая ее выразительность была столь же высока, как и умение петь.

Красотою Виардо не славилась. Выступающие вперед губы, большой рот, но замечательные черные глаза – пламенные и выразительные. Волосы тоже как смоль – она зачесывала их гладко на пробор, с буклями над ушами, они очень блестели и лоснились. Любила носить шали. В разговоре жива, блестяща, смела. Характером обладала властным – в отца. Насквозь была проникнута искусством – искусство это опиралось, разумеется, на страстный женский темперамент.

На сцене она воспламенялась. И сквозь некрасоту лица излучала свое обаяние.

Древняя кровь, древние страсти таились в ней. Малибран считали более лирической певицею, Виардо трагической. Гейне ощущал в ней некую стихию, самое Природу: море, лес, пустыню. Может быть, и действительно сберегла она в себе первозданное. Может быть, странствия юности, океаны, леса Мексики, плоскогорья Испании навсегда оставили на ней отпечаток. Гейне, человек эротический, боялся ее улыбки, «жестокой и сладостной», и чувствовал в ней экзотику. Он находил, что когда она поет, то внезапно на сцене могут появиться тропические растения, лианы и пальмы, леопарды, жирафы «и даже целое стадо слонят».

Такова была молодая звезда, облетавшая Европу, всюду побеждавшая. Россия находилась далеко, но слава ее шла и на запад: император, двор, Петербург, фантастические снега, фантастические гонорары. Направляясь туда, вероятно, считала Виардо, что будет чуть ли не ездить на белых медведях и жить среди царей и рабов. В действительности – попала в пышный императорский Петербург 1843 года, со всей тяжеловесной и великолепною придворной жизнью, с русским барством и блестящими театрами. Ведь это – время высшей силы Николая I. Фридрих Вильгельм склоняется пред ним, вся Европа трепещет.

Виардо не ошиблась, конечно, в расчетах (она вообще отлично понимала жизнь): прием оказался редкостным. В Петербурге итальянскую Оперу только что возобновили после многолетнего перерыва. Певица открыла гастроли «Севильским цирюльником» (Розина) и успех имела потрясающий. По окончании первой же арии все в зале неистовствовало, кричало, стучало, хлопало – пронеслась буря вроде тропической, хоть и под северным небом. Одна экзотика встретилась с другой. После спектакля толпа ждала певицу у выхода. Растаскивали цветы из букетов, целовали руки, провожали карету до дома – все как полагается в «дикой» стране.

Среди энтузиастов оказался и один молодой человек, очень образованный и речистый, красивый, элегантно одевавшийся, будущий владелец пяти тысяч «рабов», а ныне, из-за ухудшившихся отношений с матерью, ведший жизнь весьма тесную, – Иван Тургенев. В литературе за ним числилось несколько стихотворений да «Параша». В жизни – два-три неопределенных романа и кое-какие случайные влюбленности.

28 октября, в день своего рождения, он охотился где-то под Петербургом – с гончими или облавой на волков (последнее вероятней). Некий майор Комаров, маленький и смешной человечек, познакомил его на охоте с г. Луи Виардо. Очевидно,

Тургенев произвел хорошее впечатление. 1 ноября, утром, тот же майор представил его уже самой певице, в квартире ее против Александринского театра. Тургеневу только что исполнилось двадцать пять лет, Полине шел двадцать третий. В то туманно-белое, мокрое петербургское утро с летящим снегом юная знаменитость ласково-равнодушно принимала у себя русского медведя. С ним только что познакомился муж. Его преподносили как «молодого помещика, хорошего стрелка, приятного собеседника и плохого стихотворца» – за восторгами таких медведей она сюда и приехала. Могла ли подумать тогда, что этот «молодой помещик и плохой стихотворец» станет русским классиком и в славе своей далеко превзойдет ее? Что на сорок лет будет он прикреплен к ней? Что ее собственная жизнь переплетется с его жизнью? Что г-ну Луи Виардо так до конца дней своих и охотиться с этим помещиком и мирно беседовать с ним о разных домашних делах?

Тогда, между двумя репетициями и каким-нибудь новым выступлением, среди ежедневных визитов таких же или гораздо более знатных поклонников, Полина Виардо-Гарсиа просто улыбнулась бы, если б какая-нибудь цыганка нагадала ей подобную судьбу. Может быть, улыбнулся бы и сам Тургенев.

Но вот именно его судьба, больше всего его собственная, свершилась в двадцать пятый год его рождения и в утро начала ноября.

Началось знакомство. Он стал посещать их. Началось время, для него и сладостное, и нелегкое. Сладость заключалась в том, что он полюбил. Что опьянение владело им – сдержаться он не мог. Не только он бывал у них, и, конечно, часто, но обратился и в завсегдатая Оперы, где она пела, хлопал, вызывал, неистовствовал. Повсюду ее превозносил. Говорил о ней много, жадно – злые языки утверждали, что слишком много. Быть может. Но что поделать, он ею заболел. Нравилось произносить самое имя ее. Незаметно для себя стремился навести разговор на нее – и наводил. Ядовитая дама Панаева высмеивала его за это… Ничего не осталось в истории от ее шипения, а о любви Тургенева пишут и будут писаться книги.

Трудность его положения заключалась в неравенстве сил. Он влюблен… – она «позволяет себя любить». Для нее он один из многих, ею восхищавшихся, многих, с кем она вела легкую словесную игру.

Выделяла ли она его? Вначале, по-видимому, средне. То, что впоследствии он изучил основательно: ревность – с этим встретился сразу же. За Виардо много ухаживали. Ее посещали и люди высокого общественного положения, и артисты, и

молодежь. Муж в счет не шел. Луи Виардо безмолвная фигура, «полезное домашнее животное». С ним будто бы иногда приходилось Тургеневу беседовать уединенно, в кабинете, об охоте и еще, пожалуй, о рыбной ловле, о земледелии и скотоводстве, пока Полина принимала у себя более видных гостей. Или же такая картина: огромная медвежья шкура в гостиной, распростертый русский зверь с позолоченными когтями лап. На каждой из них по поклоннику, а королева на диване – это ее маленький двор, ручные преданные звери. Виардо смолоду взяла венценосную позу – очевидно, имела на то данные, да и характер подходил: не из смиренных же она была!

Среди придворных, на соответственном, не очень важном месте, и Иван Тургенев. Являлся еще молодой человек, тоже, конечно, элегантный, – Гедеонов, сын директора Императорских театров и сам драматург (в духе Кукольника) – фигура для иностранки довольно видная. Виардо благоволила к нему. Тургенев много менее. Кроме того, что заседал на золоченых лапах и соперничал с Тургеневым, написал Гедеонов пьесу «Смерть Ляпунова». В 1846 году Тургенев длинно, основательно и по заслугам разгромил это ходульное создание в «Отечеств. записках».

Тяжело давалось ему, конечно, и безденежье. Мать очень его прижимала. Чтобы посещать Виардо, приходилось быть хорошо одетым. Иметь возможность подносить цветы. Больше и еще горше: чтобы в театре слушать ее, надо платить за место. Барский тон Тургенева известен – с отрочества еще сказался. Тут, перед любимой женщиной, конечно, хотелось предстать и понарядней, и блестящей. А у него в то время иной раз на еду не хватало. Питался он кое-как. И случалось пускаться на ухищрения. Недоброжелатели сохранили всякие рассказы о том, как он, сидя в райке и спускаясь в антрактах вниз, объяснял будто бы свою позицию тем, что нарочно сидит там с «клакерами». Или что устраивался не совсем лояльно в ложе знакомых. Два простых слова, однако, все оправдывают: любовь и бедность.

Так или иначе, он за эту зиму очень с Виардо сблизился. Она его выделила из «молодых людей». Когда весной уехала, он уже писал ей. Однако письмо – тотчас по ее отъезде – уцелело. Там есть указания на довольно большую близость. Не просто «знакомый» мог написать: «Я хотел заглянуть здесь в наши маленькие комнатки, но теперь там кто-то живет». По первому впечатлению это даже слишком. Ни о каких «наших» комнатах в прямом смысле не могло быть речи – дело касается все того же дома Демидова против Александринского театра, где они познакомились. Почему «маленькие»? Квартиру, наверно, она

снимала хорошую. Но мог быть маленький будуар, где она принимала его наедине, показывала какие-нибудь фотографии, говорила о своей жизни, детстве – где, может быть, впервые обменялись они нежными взорами и словами. Во всяком случае, такое письмо мало порадовало бы г-на Виардо. Опасался ли он, страдал ли от возникавшей близости между молоденькой женой и русским «помещиком»? Кто знает! Его роль предопределена. Муж знаменитости должен быть терпелив и покорен, подавать ей утром в постель кофе, собирать статьи, рецензии, давать советы об ангажементах. И ничему не препятствовать.

Зиму 44/45-го года Виардо вновь пела в Петербурге, вновь виделась и «дружила» с Тургеневым. Летом он ухитрился уехать за границу, разумеется, в Париж и, разумеется, из-за нее. Тем же летом гостил в Куртавенеле, парижской «Подмосковной» Виардо. Это и были первые шаги по пересадке нашего писателя на иноземную почву. И в истории его любви, и в истории писаний Куртавенель сыграл роль большую. Уже в письме 21 октября 1846 года (в Берлин из Петербурга) Тургенев вспоминает о Куртавенеле, говорит, что много думал о нем летом, спрашивает, достроена ли оранжерея. Начинаются те милые, столь для него впоследствии драгоценные подробности о «Подмосковной», которых в дальнейшем будет еще больше. Переписка не совсем налажена. Виардо пишет неаккуратно, он упрекает ее: «А знаете, что большой жестокостью с вашей стороны было не написать ни слова из Куртавенеля».

Возможно, Полина ленилась. Да и не так еще прочно вошел он в ее жизнь, но, может быть, и муж делал попытки (безнадежные) сопротивления. В более позднем письме Тургенев пишет (вновь в Берлин из Петербурга): «Адресую на ваше имя, так как не знаю, находится ли ваш супруг в Берлине» – как будто он должен писать на имя мужа, тот за всем этим следил. Впрочем, тут же сказано: «Обещайте написать мне на другой же день после первого немецкого представления… Я же, со своей стороны, теперь, когда плотина прорвана, намерен затопить вас письмами».

«Плотина прорвана», значит, она воздвигалась… со стороны ли г-на Виардо или самой Полины, не ясно. Видно лишь, что не все шло гладко. Но теперь, в ноябре, затруднения устранены. Открывается многолетний ряд тургеневских писем Полине Виардо, точные записи и мелочей жизни, и важного, и о куртавенельском кролике, и о Кальдероне – некий преданный дневник, направляемый к «прекрасной даме» – лирическими свирелями по ее адресу. Можно по-разному это оценивать. Может быть, письма любви и вообще не подлежат оглашению: их звук

хорош для двоих, чужому они кажутся преувеличенными, чрезмерно умиленными. Во всяком случае, в письмах Тургенева много золотых подробностей, сорвавшихся невзначай слов, милых, иногда чудесных блесток. И в приведенном письме сквозь тон преданности и полного подчинения видно, что писал начинавший созревать Тургенев, человек очень просвещенный, знающий и театр, и музыку, на искусство имеющий свой глаз. Она пела в Берлине «Норму». «Вы достигли, – он пишет на основании отзывов немецких газет, – теперь и того, что усвоили себе элемент трагический (единственный, которым не владели в совершенстве)». Советует внимательно перечесть «Ифигению» Гёте (в этой опере она должна была выступать в Берлине), вдуматься в нее как следует: «вам предстоит иметь дело с немцами, которые почти все знают “Ифигению” наизусть». (Да и сам он знал Гёте отлично – много лучше, чем она.) Предупреждает, что хотя она хорошо выговаривает по-немецки, но иногда преувеличивает ударения, чего надо избегать.

Так что, если все это пишет и верный, пристрастный, уже «свой» человек, все же нельзя обходить его мнения, не считаться с ним: из заседавших на золоченых медвежьих лапах в доме Демидова оказался он умственно и духовно наиболее ей по плечу. Любила ли она его? В изяществе, уме, красоте молодого Тургенева было много привлекательного. Конечно, ей это нравилось. Еще нравилась – его любовь к ней. Но она не болела им. Он не имел над ней власти. Она не мучилась по нем, не страдала, не пролила той крови сердца, которую требует любовь.

* * *

Кто был он сам к этому времени? «Параша» окончательно ввела его в литературу. Аплодируя Виардо в театре, рассказывая о ней и восторгаясь ею по знакомым, иногда рисуясь и «играя» (молодой Тургенев терпеть не мог быть «как все», что вело его иногда на невыгодные пути), жил он и подземного жизнью художника, далекою от фатовства и позы.

Издали, с расстояния чуть не столетия, облик Белинского не кажется уж столь заманчивым и привлекательным. Но в «становлении» Тургенева Белинский роль сыграл – и немалую.

В Тургеневе противоречий было достаточно. Одно из них: не будучи энтузиастом, часто энтузиазм высмеивавший (и вообще очень склонный к иронии), он питал слабость именно к энтузиастам. О Станкевиче и Бакунине упоминалось. Теперь Белинский занял место вдохновителя при Тургеневе.

Главное сближение с Белинским произошло после «Параши», летом 1844 года. Белинский жил в Лесном, под Петербургом, Тургенев в Парголове, неподалеку от Лесного. Каждое утро он приходил к Белинскому, уже больному, чахоточному, с лихорадочными глазами и холодными руками, подолгу и трудно кашлявшему, и они вели длиннейшие возбужденнейшие разговоры… о Боге, назначении человека, Гегеле, о справедливости в устройстве общества и т. п. Ходили вместе гулять. Среди сосенников и ельников тех мест, где много всякой ежевики и брусники, земляники, в пригретом, иногда душном, но всегда благоуханном и целительном северном лесу продолжали те же бесконечные разговоры. Очевидно, были они как-то нужны Тургеневу. Жена Белинского, дома, всячески уговаривала мужа помолчать, не кипятиться – конечно, это приносило ему вред. Но на то и звали Виссариона неистовым, что остановить его, распаленного, с прилипшей прядью волос, в поту, кашляющего, – не так-то легко. Острая душа билась в нем. Прославлены его слова оголодавшему Тургеневу:

– Мы еще не решили вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть?

Тургенев с одинаковой увлекательностью мог спорить о Гегеле, обсуждать бытие Божие, интересоваться и изящным обедом (не у Белинского, конечно), прихвастнуть и высказать какое-нибудь странное мнение. Денежно ему приходилось очень туго, но он не сдавался, вертелся как мог, занимал, где мог, под будущее наследство, вообще вел жизнь избалованного барчука в тесноте. Белинский его любил – всего, зная и силу его, и слабость. Иногда его бранил, осаживал. И все-таки любил, и вот являлся же к нему Тургенев за пять верст, по утрам! Но тот же самый Тургенев, который уже писал влюбленные письма Виардо, который витал с Белинским в разговорных заоблачностях, оказывался способен на такую, например, штуку: вдруг он стал говорить, что у него в Парголове превосходный повар, – и пригласил к себе обедать шестерых друзей, среди них Белинского и Панаевых. Те наняли коляску и к одиннадцати утра явились в Парголово. Душно, жарко, все устали и проголодались. Дача Тургенева совершенно безмолвна. Их удивило, что хозяин не вышел встречать. Но… никакого хозяина и вообще не оказалось! Белинский вскипел. У выскочившего из ворот мальчишки узнали, что барина дома нет, а повар сидит в соседнем трактире. Пришлось Панаевой купить у хозяйки дачи молока, яиц, хлеба и кое-как подкормить приглашенных. За поваром послали мальчишку. Повар явился.

– Заказывали тебе обед на сегодня? – спросили его.

– Никак нет!

До Тургенева все-таки добрались. Он сидел в гостях у священника (по словам Панаевой, «ухаживал за его дочкой»). Общество, позавтракав, отправилось к озеру. Туда явился наконец и бедный хозяин. На упреки Белинского отвечал, что обедать звал их на завтра. Никто этому не поверил, но тут же Тургенев так мило стал уговаривать их остаться, обещая все же накормить обедом, что они и правда остались. Повар бегал куда-то за курами, а хозяин развлекал гостей, устроил стрельбу в цель, так смешил и забавлял их, что в конце концов победил. Много смеялись, и он сам над собой смеялся, и рассказывал, как боялся идти к озеру от священника. Обед как-никак они съели – правда, в шесть вечера вместо полудня, и уж конечно, обед оказался самый обыкновенный – пострадали старые, тощие парголовские куры.

Но пока веселился Тургенев, быть может, и вправду ухаживал за поповной в промежутках словопрений с Белинским и вздохов по Виардо, успевал очень много и читать, и сам писал. «Андрей Колосов» лежал уже у него на столе, в рукописи, во время удивительного обеда. Пробовал он и сценические вещи («Безденежье»), написал очень серьезную статью о «Фаусте», опять стихи, и накоплялись рассказы: «Бретер», «Три портрета» (из семейной хроники, но уже с большим знанием жизни и горестных обликов ее). Быть может, задумывался и «Петушков».

Белинский дружественно следил за тургеневским писанием, но нельзя сказать, чтобы оказался очень внимательным. Было что-то покровительственное, несколько «свысока» в его отношении к Тургеневу. Тургенев беспредельно выше его, и образованнее, и талантливей – а занимает место вроде ученика. Позднее Белинский верно угадал в «Хоре и Калиныче» и во всем начале «Записок охотника» поворот к новому. Но весьма похоже, что нравилось ему тут больше народолюбчески-общественное, чем поэзия, чем собственно литература.

Разумеется, и крепостное право, и несвобода тогдашней жизни немало обсуждались в Лесном. Так что «борьба с крепостничеством» Тургенева и все «аннибаловы клятвы» весьма коренятся в Белинском. Крепостному праву подходил конец. Рушить его надлежало. И все-таки Тургеневу было чем заняться и помимо этой борьбы.

Белинский находил, что у Тургенева мало «творческого дара», сближал его с этнографом Далем. Тургенев интересовал его больше как союзник в некоем деле. Он рассчитывал на него как на помощника в осуществлении «честных» целей. Собственно же поэт, художник – это оказывалось для него второстепенным.

После «Параши» Белинский охладел к Тургеневу вплоть до «Хоря» – а между тем за это время написал Тургенев и «Андрея Колосова», и «Три портрета», и «Бретера», и «Жида», и «Петушкова» (1846–1847 гг.). Белинский одно время, как увидим, жил за границей вместе с Тургеневым. Нельзя утверждать, что он знал все эти произведения, находившиеся частью в рукописях. Но более чем вероятно, что с некоторыми в рукописях-то и ознакомился (Тургенев всегда любил читать друзьям до печатания). Во всяком случае, они не могли его особенно захватить: из них мало что выудишь для борьбы с николаевским режимом. И если к Пушкину Белинский в это время изменился, то куда уж Тургеневу…

А между тем эта холодность так на Тургенева действовала, что одно время он собирался даже отойти от литературы. Вот удружил бы нам Белинский!

Итак, Тургенев жил разными своими слоями: и франтил, носил лорнеты, козырял – и сочинял совсем нелегкомысленные вещи. Устраивал мальчишеские выходки и сердечно вздыхал по Виардо, писал ей об «Ифигении», Куртавенеле и прочих высоких предметах. Может быть, в «студенческих» прениях с Белинским оказывался моложе себя самого – того Тургенева, который наедине с собой задумывал произведения много постарше Белинского.

* * *

Хотя Варваре Петровне и очень нравилась «Параша», все-таки сыном она не могла быть довольна: из профессорства его ничего не вышло, из службы в министерстве тоже. В сущности, что же он делал? Сидел в Петербурге, водился с разными литераторами, писал стишки и рассказики, которыми почти ничего нельзя было заработать. Это ее раздражало. Не нравилось и увлечение Полиной. Прослушав однажды Виардо в концерте, она сказала известную фразу о хорошо поющей «проклятой цыганке» – в самом сочетании слов не выразила ли, бессознательно, тревогу перед судьбой?

Но недовольство свое тотчас же переводила на житейское: прижимала сына денежно. Не хочешь делом заниматься – ну и подголадывай. Разумеется, сын принимал это тягостно.

Еще давние детские воспоминания восстанавливали его против крепостничества. В молодых годах рядом стоял образ матери – очень живое воплощение строя. Появились и петербургские литераторы, тот же Белинский (позднее Панаев и

Некрасов), – другой мир, другой полюс жизни. Гегельянцу Тургеневу, поклоннику просвещенной и могущественной Виардо невместно радоваться рабовладению. Начинающему писателю не могла доставлять удовольствия цензура. Европой Тургенев оказался отравлен довольно уже давно, а своя страна, особенно на верхах, давала мало хорошего.

Уже немолодым, говоря о первом длительном своем уходе из России, Тургенев подчеркивал, что делал это из протеста, из невозможности принять тогдашнюю русскую жизнь и из желания бороться. Тут есть и правда, и преувеличение. Думал ли он уж так много, уезжая в январе 1847 года, о сражениях с «проклятым режимом»? Вернее – за парадной и словесной стороной была и другая. Ведь вот не в Париж, тогдашнее горнило всяческих «течений», направлялся он, а в Берлин. С Западом у него издавна связывались хорошие воспоминания. Всегда приятно было жить среди культурных, просвещенных людей. Языки он знал в совершенстве.

Главное же: в королевском Берлине пела в январе 1847 года Полина Гарсиа-Виардо.

# Франция

Новая фигура появляется в жизни Тургенева – Павел Васильевич Анненков, один из немногих его друзей «навсегда». В дальнейшем течении годов, странствий, в истории крупных писаний Тургенева всюду на горизонте, не выходя из орбиты, будет вращаться этот благосклонный человек, осторожно прогуливающийся вблизи русской литературы. Сам он не творец и понимает это. Но у него великая любовь к литературе. В ее пестовании его заслуга. В его любви причина того, что имя Анненкова прочно вошло в нашу словесность.

Анненков тоже был барин, помещик, умеренных взглядов, но просвещенных. Как и Тургенев, учился в Берлине – с Тургеневым там встречался. Как и Тургенев, любил путешествовать, жить культурно, посещать театры, музеи, галереи, лекции.

Ближе сошлись они в Петербурге. В 1847 году Анненков выехал в Германию. Туда же отправили лечиться Белинского.

Тургенев попал в Берлин в феврале, слушал Виардо и в конце апреля уехал за нею в Дрезден, где она выступала. В это время Белинский тоже оказался в Дрездене. Разумеется, Тургенев решил познакомить его о с Виардо. Эта встреча довольно комична. Выдающийся, самолюбивый, больной русский литератор и европейская дива… Тургенев условился встретиться с супругами Виардо в галерее. Он и привел туда Белинского, заранее раздражив его тем, что Виардо все знает и отлично покажет им лучшие картины. Белинского стесняла его неказистость, несветскость, скромность одежды. Главное же, он не владел французским языком. Для людей гордых и застенчивых такие положения трудны. Виардо знала, что у него чахотка. Она обратилась к нему и спросила, лучше ли он себя чувствует. Белинский ничего не понял. Виардо повторила, он окончательно смешался и опять не понял – теперь уже просто от смущения. Тогда она заговорила по-русски, очень смешно, и сама хохотала. Белинский не сумел обратить все это в шутку. Оправившись, ответил на «подлейшем французском языке», «каким не говорят и лошади», – и расстроился.

Виардо хохотала, объясняясь на невозможном русском. Мало веселился Белинский, ощущая свою «необразованность» рядом с блестящей испанкой. Вероятно, за все это пришлось бы расплачиваться впоследствии Тургеневу. Во время дрезденской встречи он находился в большой дружбе с Белинским. Нельзя сомневаться, что позже их пути разошлись бы. Если бы в 48-м году Белинский не умер, то в шестидесятых громил бы Тургенева.

И в разгром этот вошел бы, конечно, «подлейший» французский язык дрезденского знакомства.

Но в те времена «классовые противоречия» не обострялись еще между ними. Они мирно поселились на июнь втроем в Зальцбрунне – Тургенев, Белинский, Анненков, Белинский лечился. Тургенев ничего особенного не делал, кое-что писал из «Записок охотника». Анненков ухаживал за ними обоими, оберегал, слушал, записывал, запоминал. Вероятно, здесь определялось уже его положение при Тургеневе – ближайшего критика, опекуна, исполнителя поручений.

В этом же Зальцбрунне Белинский и Анненков на себе испытали характер Тургенева. Они жили совсем неплохо. Никаких следов ссор. Считались даже друзьями. Как будто могли рассчитывать на известное отношение к себе Тургенева.

И вот, получив некое письмо, он заявил, что должен ненадолго съездить в Берлин – попрощаться со знакомыми, уезжавшими в Англию. Часть вещей оставил на квартире, взял с собой лишь необходимое.

Они с тем и проводили его, что через несколько дней вновь увидятся.

Тургенев уезжал к Виардо. Вероятно, расставаясь с приятелями, и вправду думал, что скоро вернется. Но за Виардо он отправился в Лондон, из Лондона во Францию, а друзья сидели в Зальцбрунне и недоумевали, что с ним. Он просто сгинул. Не то что изменил свой план – забыл о них. Искренно любил Белинского – и так же искренно вычеркнул его из памяти. Анненкову были поручены вещи. Что с ними делать, куда девать? Неизвестно. Ни Анненкову, ни Белинскому не написал он ни строчки. Будто умер. Совершенно так же поступил Санин в «Вешних водах» и Литвинов в «Дыме». С глаз долой – из сердца вон.

Верный Анненков заявился осенью в Париж с чемоданами и бельем Тургенева, передал их наконец по назначению. Владелец оказался жив. Анненков спросил, в чем дело. Тургенев, как всегда в таких случаях, имел вид неуверенный, даже смущенный, и только плечами пожал: да и сам, мол, не знаю! Уж так вот и приключилось.

Впрочем, мог он в свое оправдание привести одно слово, краткое, но значительное: любовь. Он входил, видимо, в полосу наибольшей близости и наибольшей «удачи» у Виардо. Три зимы в Париже, три лета в Куртавенеле…

Куртавенель, куда он попал летом 47-го года – имение Виардо километрах в шестидесяти от Парижа, на восток, близ городка Розэ. Старинный замок времен Франциска I. Массивный,

с пепельно-серыми стенами, большими окнами, замшелой крышей, он окружен рвами и каналами с водой – по ним ездили даже на лодке. Перед главным фасадом чудесные цветники. Каштаны, тополя. С другой стороны парк и оранжерея. А вокруг мягкий, разнообразный пейзаж средней Франции, не поражающий, но уютный и благородный. Большая прелесть заключалась для Тургенева в Куртавенеле. Очень это ему подходило. Самый воздух Иль де Франса, голубая дымка полей – именно для него. И как хорошо, что жил он в комнате с зелеными обоями. Ветер нес ему запах сирени, лугов, полей. Шмель гудел где-нибудь в занавеске. На столе деревенские цветы. По обоям кружочками солнце сквозь каштаны, – может быть, не зря многоразумная Полина выбрала для него такую комнату – тут писал он голубоватые «Записки охотника». Прохладно, нежно здесь. Да и не только в доме. Изящество, любовь разлиты и по парку, и по цветникам, каналам: все это мир Полины и Тургенева. Что-то напоминающее «Месяц в деревне». Видятся медленные, несколько важные их прогулки, шляпы с лентами Виардо, букли над ушами, летние платья в талию с воланами, чинная и благоговейная галантность Тургенева. Где-то на горизонте и Луи Виардо – но только на горизонте. Может быть, он иногда уезжает в Париж или часами удит рыбу в канале. Не до него, не до него!

Явно, что и рояль звучал в замке, и немало Полина пела – навсегда запевала в свою власть северного медведя. Ее сердце приоткрывалось ему…

Он обожал Куртавенель. Говорил позже, что, когда к нему подъезжает, всегда чувствует острое замирание сердца – в нежности. Плохо ему тут не приходилось. Он называл Куртавенель «колыбелью своей славы», и это верно, конечно. (Самые русские «Записки охотника» принадлежат Франции!) О том, что это колыбель его любви, не упоминает – о ней он не высказывался, но это, конечно, так. Она сама сочится из строк позднейших писем – пронзил его Куртавенель и то, что там происходило. А происходило многое, важнейшее в любви. «Помните ли вы тот день, когда мы смотрели на небо, спокойное, сквозь золотистую листву осин?» Вспоминает о дороге, обсаженной тополями и ведущей вдоль парка в Жарриэль. «Я опять вижу золотистые листы на светло-голубом небе, красные ягоды шиповника в изгородях, стадо овец, пастуха с собаками и… еще много другого». Неизвестно ничего об этом «другом», что испытал он. Это его тайна, его счастье – счастьем ярким, удовлетворенным чувством, хоть и кратким, обвит Куртавенель. Здесь, по-видимому, сближение произошло полное.

В Париже жили в то время Анненков и Белинский (до конца

сентября). Тургенев изредка туда наезжал – это было целое предприятие, с ездою на лошадях, в дилижансе до ближайшей станции железной дороги.

Тут и случилось, что Тургенев забыл попрощаться с Белинским, уезжавшим в Россию (навсегда! там и умер). Про эту минуту он сказал впоследствии Огаревой:

– Стихии управляют мной. Когда Белинский, умирающий, возвращался в Россию… я не простился с ним.

– Знаю, Иван Сергеевич: вас отозвала Виардо.

Но Виардо нельзя упрекать: она сама уезжала в начале октября в турне по Германии. Без Тургенева в Куртавенеле скучно. Да и последние дни хочется провести вместе. А Белинский… этот чахоточный литератор, нервный, раздражительный, который двух слов не умеет связать по-французски?..

Белинский был отчасти «персонаж из Достоевского» (которого, конечно, никто тогда не знал). Но самый этот дух Виардо не любила.

По ее отъезде Тургенев перебрался в Париж.

* * *

Все складывалось особенным образом для него в эти годы. Они оказались расцветными, и события, внутренние и внешние, ткущие наши судьбы, слагались именно так, как нужно, чтобы выдвинуть, вознести. Не зря встретил он Виардо. Не зря уехал к ней за границу. Не зря попал там в нелегкое материальное положение. И не напрасно в Петербурге именно к 47-му году возник журнал «Современник» – его ведут Некрасов и Панаев, но в устройстве его самое близкое участие принял Тургенев. «Современник» издавался и ранее – принадлежал Плетневу. Но теперь новые люди приобрели его, и все пошло по-иному. Не только для художнической жизни самого Тургенева, но и вообще для русской литературы оказался нужен некий центр. Накопились силы – им надлежало выступить. Такие писатели, как Тургенев, Толстой, Островский, Некрасов, Гончаров, должны же появляться вместе – они и появлялись. У них и критик оказался собственный – Белинский, правда скоро умерший, однако он печатал много в «Современнике».

Для Тургенева этот журнал связан с блистательной страницей его художества – там стали появляться «Записки охотника». В первом же номере – «Хорь и Калиныч», доныне открывающий бесчисленные издания знаменитой книги. Рассказ вышел

скромно, в отделе «Смеси»! И подзаголовок («Из записок охотника») прибавил Панаев, редактор, «с целью расположить читателя к снисхождению». Успех «Хоря» оказался огромным. Приятели типа Белинского и Панаева прозрели, а Тургенев, ничего особенно не соображая, ничего сознательно не делая, на самом деле повернул на очень свежий путь, на путь нужный, важнейший: пора было дать просто, поэтично и любовно Россию. Россию барско-крестьянскую, орловскую, мценскую, с разными Бежиными лугами, певцами и Касьянами с Красивой Мечи. Изображалось тут и крепостное право. Но главное – любование нехитрыми (нередко обаятельными) народными русскими людьми, любование полями, лесами, зорями, лугами России. «Записки охотника» – поэзия, а не политика. Пусть из поэзии делаются жизненные выводы, поэзия остается сама по себе, над всем. От крепостного права следа не осталось. Художество маленьких тургеневских очерков не потускнело.

Вот уж подлинно – из отдаления лучше он ощутил родину и посозерцал ее. За три года в Париже и Куртавенеле, под крылом Виардо, написал Тургенев пятую часть вообще всего своего творенья – а работал сорок лет!

Итак, Виардо уехала в турне по Германии – пела в Дрездене, Гамбурге, Берлине. Тургенев поселился близ Пале-Рояля (позже жил на углу rue de la Paix и бульваров, снимал комнату. Смотря по денежным своим делам то в верхних этажах, то ниже).

Одиноко и наполненно жил. Вставал рано, занимался до двух. Нередко отправлял в «Современник» объемистые пакеты.

То это «Малиновая вода», то «Бурмистр», «Льгов».

Но не только он пишет. Так как Виардо родом испанка, то безответный Луи Виардо переводит Дон Кихота на французский, а молодой Иван Тургенев изучает испанский. Учителя его звали сеньор Кастеляр. С этим Кастеляром работал он усердно, не хуже, чем некогда в Петербурге и Берлине. Зимой читал уже в подлиннике Кальдерона, «Поклонение Кресту». Особенно восхищала его «Жизнь есть сон».

Католицизм вполне, конечно, ему чужд. Но цельность, мощь его у Кальдерона поражали. Он завидовал этой цельности. «Величайший драматург из католиков, – отозвался о Кальдероне, – как Шекспир самый человечный, самый антихристианский драматург». Шекспира он любил, по Кальдерону тосковал. И даже не уединенно тосковал, а как представитель эпохи. Время свое ощущал «критическим», а не «органическим» и все более «отвращался» от него, находил в нем «мало прелести». Это говорилось и думалось чуть не сто лет назад!

«В переживаемое нами переходное время все художественные и литературные произведения представляют собою самое большее отдельные мнения, индивидуальные чувства, неясные и противоречивые размышления…; жизнь раздробилась; теперь нет более общего великого движения, за исключением, может быть, промышленности».

Так писал он Полине, певшей в Гамбурге, в одно из морозных парижских утр – 25 декабря. (На Рождество! И во всем длинном, важном письме нет ни слова о Рождестве – след безрадостного детства.)

За приведенными идут милые в старомодности своей строки: «А потому самые великие поэты нашего времени это, на мой взгляд, американцы, которые собираются прорыть Панамский перешеек и обсуждают вопрос о проведении электрического телеграфа через океан. А раз социальная революция совершится – да здравствует новая литература!»

И старомодно и современно. Бутончики его времен распустились на наших глазах.

В два часа отправлялся к maman, г-же Гарсиа (матери Полины). Там встречался с веселым Ситчесом (братом maman) и его женою – с ними пришлось ему позже жить вместе в Куртавенеле. В эти дневные посещения испанцев вновь упражнялся в благородном lingua castellana[40]. Потом шел гулять. Любил Тюильрийский сад. Любил веселых, скакавших там детей, зарумяненных морозцем, важных нянек, краснеющее сквозь каштаны закатное солнце, гладь и спокойствие вод в бассейнах, серую громаду дворца. «Все это очень нравится мне, успокаивает, освежает после работы целого утра. Там я мечтаю…»

В юго-западном углу Тюильри, недалеко от оранжереи и площади Согласия, на террасе вдоль Сены стоит каменный лев – Бари. Он наступил на змею, жалящую его в лапу, исказился весь от боли, извивается, и не то он ее раздавит, не то сам погибнет, неизвестно. Тургенев очень любил этого льва. Каждый раз в саду заходил к нему. Ясно видишь его высокую фигуру с пялкой, вот прогуливается он в одиночестве по террасе – за рекой дымно розовеют облака, ползут по воде баржи. В вечереющем небе сквозь тонкие и голые ветви каштанов сухо, изящно вздымается купол со шпилем Инвалидов, темнеет благородный фасад Бурбонского дворца.

Он мог пройти вдоль Сены по террасе этой, до теперешнего avenue Paul Derouléde, и если бы это было на несколько лет позже, то на углу его увидел бы на постаментах двух небольших сфинксов. Туловища львиц, головы и груди женские. Хвосты свиты кольцами, загадочно могут они ими похлопывать, как

бичами. Быть может, приостановился бы Иван Сергеевич Тургенев, призадумался бы. «Петушков» лежал у него в столе. Собственный сфинкс распевал за границей.

Тургенев был человек легкой эротической впечатлительности. В отсутствие Виардо мог любезничать и с другими. Но главная дорога вела в Гамбург. Полиною был он одержим.

В синеющем вечернем Париже с первыми фонарями выходил из Тюильри аркадами на rue de Rivoli. Направлялся в свой Пале-Рояль. Там при газовом рожке читал что-нибудь сногсшибательное в газете – вроде того, что собираются соединить телеграфом Европу с Америкой…

У Вефура обедал. Сейчас Вефур тихий, устарелый ресторан[41] с венецианскими зеркалами – такой же немодный, как и весь Пале-Рояль, – меланхолически запущенные портики с магазинами орденских крестов, пустынность, дети, играющие среди небогатой зелени. При Тургеневе все это было оживленнее, но все же главная слава Пале-Рояля уже отошла. (Наши ветераны войн 1814–1815 гг., встречаясь с кем-нибудь вернувшемся из Парижа, неизменно спрашивали: «А как поживает батюшка Пале-Рояль?»)

Вечерами Тургенев дома не сидел. Ходил с Анненковым в театр, иногда вновь отправлялся к maman Гарсиа. Случалось, что с Манюэлем «придумывал всякие шалости», смехотворные выдумки. Не знаю только, весело ли веселился. В нем не было истинного юмора – смех его не всегда смешон. Он любил острить, рассказывать анекдоты, вообще забавлять. Быть может, в более молодые годы – в Берлине, юношеском Спасском, Лесном, веселье его было здоровее. Но уже в Париже он производил иногда странное впечатление.

Когда приехала (несколько позже, в 1848 году) из Рима семья Тучковых, Анненков тотчас явился к ним (и тотчас, как ему полагалось, стал помощником, гидом и т. п.). Он привел и Тургенева. Тот стал бывать. Тут же, вблизи, жили Герцены – обе семьи дружили. Тургенев попал в огаревско-герценовскую среду, но пристроился более около женщин. Заходил к Огаревым часто. Там встречался с несколькими дамами и барышнями, – больше сидел и разговаривал с Н.А. Тучковой, молоденькой девушкой, ничем особенно не отличавшейся. По-видимому, он ей нравился. До известной границы – так как и впоследствии она его не возненавидела. Наверно, ей казалось, что и он к ней тяготеет… именно казалось! Но, во всяком случае, Тургенев читал стихи, рассказывал о писаниях своих, приносил даже духи «Гардени» – его любимый запах. И удивительно бывал он переменчив! То

приходил очень веселый, то угрюмый, капризничал, иногда вдруг вовсе не желал разговаривать. И у Тучковой устраивал всякие «штуки»: просил позволения кричать петухом, влезал на подоконник и замечательно кукарекал. Наталия Герцен слегка сопротивлялась.

– Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете, – говорила она, – да, пожалуй, и напугаете меня.

А он просил ее бархатную мантилью, драпировался в нее «очень странно» и начинал представление – изображал сумасшедшего. Всклокачивал себе волосы, закрывал ими лоб и даже верхнюю часть лица. Огромные серые его глаза сверкали, он изображал «страшный гнев» – все это делалось для того, чтобы кого-то позабавить (да и себя развлечь?). «Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело».

Наталия Александровна просто даже недолюбливала Тургенева. Его неврастенические выходки, странности действовали на нее нехорошо. «Странный Тургенев!» – считала она. И находила в нем нечто холодное, нежилое. А при всем том: «Человек он хороший!»

О, Тургенев вовсе не так ясен и покоен, как привыкли о нем думать. И кто знает, что он чувствовал, возвращаясь домой один после театра с Анненковым! (Анненков-то, конечно, мирно надевал колпак и культурно спал, а Тургенев наедине со своими «Записками охотника», да испанскими учебниками, да неуверенными нежностями к Виардо – в одиноких стенах комнаты близ Пале-Рояля…)

И не одни «Записки охотника» писал он в это время. 47-м годом помечен и «Петушков». Напомню – только напомню – содержание этого мало прославленного рассказа.

Ленивый и вялый, благодушный офицер Петушков, холостяк, сходится с молодой булочницей Василисой в глухом городишке. Привязывается к полнотелой дуре и… погибает. Он очень просто и обыкновенно погибает, от любви. Только тут нет поэзий и романтизмов, а страшная сила женщины и невозможность освободиться. Сам Петушков по внешности из гоголевского репертуара. Он дышит еще воздухом «Ревизора» (в городке, наверно, живут Сквозники-Дмухановские и Земляники). Но сердцевина у него уже тургеневская. Это первый «тургеневский» человек, первый из слабых, погибающих от любви.

Василиса заводит себе друга. Петушкова выживают. Но он уже обречен. Без глупой Василисы жить не может и идет на все унижения. По незлобному сердцу Василиса даже сама плачет над ним – да что поделаешь. Из милости позволяет ему пристроиться на облучке своей жизни, сама выходит замуж еще за третьего.

Петушков покорно спивается в небольшом чуланчике, у ног Афродиты-Урании.

Это нисколько не похоже на блистательную певицу и классика русской литературы.

Но… если бы находился Тургенев в восторге, пламени крепкой, надежной любви, стал ли бы заниматься таким Петушковым?

Он сам рассказывал о горьких минутах своей парижской жизни. Например: сидит дома, и вдруг напала на него такая тоска, деваться некуда. Сторы в комнате раскрашены, разные фигуры изображены, узорные, очень пестрые. Он смотрит-смотрит, потом подымается, отрывает стору, делает из нее длинный колпак, аршина в полтора. Становится в нем носом в угол и стоит. «Тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой, наконец, мне стало весело».

Может быть, так же «весело» бывало и у Тучковых? И не в такую ли приятную минуту задуман «Петушков»?

Вот вам и голубоватые «Записки охотника»!

* * *

Десять лет назад были иные времена, он жил в Берлине и учился одному. Теперь в Париже, из-за Кальдеронов, из-за личной жизни, из-за «Касьянов» и «Радиловых» выдвинулся и общий, всеевропейский (если не всечеловеческий) план бытия. Через Париж в то время шел большак Истории. И разумеется, русские тотчас оказались у этого большака. С самых ранних шагов была призвана Россия – тогда еще крепостная! – принять участие в надвигавшейся драме. В 47–48-м году появились в Париже кроме Тургенева, Анненкова и Белинского Герцен и Бакунин. Судьбы этих людей различны, но все они находились в нужную минуту там, где надо. Белинский просто умер в разгар революции 48-го года. Герцен проделывал сложный и глубокий путь, изгнанником остался и изгнанником сошел в могилу. Анненков все добросовестно запомнил – записал. Бакунин был уже не тем, что в Берлине (т. е. темперамент тот же, но иное устремление), – он кинулся очертя голову на рожон. Тургенев – одиночка, странник, наблюдатель – все впитал, взял, что нужно. Этим как бы закруглил, сложил свой облик окончательно.

«Мир в муках рождения», – писал он в январе 48-го года по поводу речи Монталамбера против Конвента. «Париж в продолжение нескольких дней был возбужден».

В муках рождения! Рождалось современное общество, с

парламентами, пролетариатом, машинизмом. В бутоне, но уже можно было разглядеть все слагаемые «нашего» мира, со всей его пестротой – культурой и озверением, высотою и низостью, обольщениями и ядами.

В Париже революция, тоже «предварительная», тоже «удачная», произошла тоже в феврале. Дня и часа ее, разумеется, тоже никто не знал. Тургенев находился в Брюсселе. Настал день, когда вдруг не пришли газеты из Парижа. Все волновалось, на улицах, на площадях народ. 26 февраля! Тургенев в шесть утра лежал еще в постели, когда с шумом отворилась дверь номера и кто-то крикнул:

– Франция стала республикой!

Гарсон ветром несся по коридору, распахивал по очереди двери и сообщал новость.

Тургенев никогда воинственностью не отличался. Но тотчас бросился в Париж. Не закреплять, разумеется, завоевания революции, а смотреть. Это он всегда любил: знать, видеть…

Революция шла по всем правилам. На границе рельсы сняты, пришлось нанимать повозки, ехать в них до Дуэ. В Понтуаз прибыли к вечеру. Под Парижем путь тоже оказался разобран. Два облика революции увидел он в тот день: вот пронесся паровоз с вагоном первого класса – поезд «чрезвычайного комиссара» республики. С ним соответственные театру персонажи, махавшие трехцветными флагами. Сам комиссар, огромного роста, высунулся из окна и тоже приветствовал… мир? «Всех, всех, всех»?

Конечно, в вагоне Тургенева именно все и были воодушевлены (он сам тоже) – только седенький старичок, забившийся в угол с самого Дуэ, шептал про себя:

– Все пропало, все пропало!

В Париже сразу он попал в лихорадку. Вооруженные блузники разбирали камни баррикад. Всюду пестрели трехцветные кокарды. Очевидно, как и всегда в первые дни революции, заниматься будничным было нельзя. И вот начинаются весенние скитания Тургенева: то он в Пале-Рояле, за чашкою кофе прислушивается к разговорам политическим (Пале-Рояль оказался местом почти «на крови»: в февральскую революцию как раз между ним и Лувром впервые пролилась кровь). То идет с демонстрацией работников к временному правительству из-за выступления «медвежьих шапок» (раскассированных гренадеров), то попадает в толпу, шедшую мимо Мадлэн штурмовать Палату депутатов.

Герцен, Гервег, Бакунин жили в это время в Париже. С Бакуниным он встречался (после Берлина) еще в 47-м году.

Бакунин сильно забирал влево и за речь полякам был выслан, жил в Брюсселе. После февральских дней, разумеется, вернулся. Теперь от берлинского Бакунина осталось мало. Он поселился в казарме с рабочими, охраняя «революционного префекта полиции» Косидьера. Это уже настоящий большевик. Тут-то, по-видимому, и разошелся с ним Тургенев. В апреле 48-го г. Бакунин уехал в Германию, в начале мая устроил восстание дрезденских рабочих. Пруссаки взяли его в плен и чуть не расстреляли – он попал в тюрьму.

В Париже революция шла медленнее, но шире, показательней. Тургенев прожил нервную весну. Виардо по-прежнему распевала вдали. Треволнения политики, тоска, любовь… Чтобы освежиться, выезжал он иногда из Парижа. Вот, например, Ville d'Avray, 1 мая: «Я более четырех часов провел в лесах – печальный, растроганный, внимательный, поглощающий и поглощенный. Впечатление, которое природа производит на одинокого человека, очень своеобразно. В нем есть осадок горечи, свежей, как благоухание полей, немного ясной меланхолии, как и в пении птиц…»

Париж кипел и волновался. Тургенев одиноко бродил в лесах под Парижем… Кто из переживших грозные годы в деревне русской не помнит этого ощущения в вечереющих полях, при высоких, пурпурно-зыблющихся, затянувших небо мелко-волнистой скатертью облачках: безмерность, вечная тишина природы… а «там» – История, Война, Революция.

В этот майский день он не обошелся без слова «меланхолия» – о, сколь тургеневского слова! – и чем дальше, тем чаще оно у него встречается. Некий холодок шел уже на него из «пустой беспредельности» – он называл так небо. При подобном ощущении мира, конечно, ближе ему «влажная лапка утки» или «капли воды, падающие с морды неподвижной коровы», чем голубая безбрежность. Если Бога нет и небо пусто, то уж уютней с уткой и коровой.

Он писал, разумеется, и всякие нежности Виардо: в любовь светлее, легче уходишь, чем в коровью морду.

А «жизнь как она есть» – революция – двигалась. Ее смысл был такой, что республика не очень-то удовлетворила рабочих. Национальные мастерские провалились. Их закрыли. Безработицу не сумели одолеть. Это дало повод революции забирать все влево, влево. 15 мая чуть не была взята Палата депутатов. В июне настроение получилось такое, что все понимали: без крови не обойтись.

«Ça a commencé!»[42] – сказала Тургеневу прачка утром 23 июня, принеся белье. Она утверждала, что на бульварах

построили уже первую баррикаду. Если бы при барине был, как в берлинские времена, дядька-брат Порфирий Кудряшов или сама Варвара Петровна, разумеется, они его не выпустили бы на улицу. Но теперь он уже взрослый, любознательный человек и приятель известных эмигрантов. Усидеть дома не мог.

Он отлично описал пестроту, народность Итальянского бульвара, июньское солнечное утро, раскрытые окна, откуда выглядывали женщины в чепцах, белых и розовых лентах. Видишь движение омнибусов и карет, переливы шелковых дамских платьев, летний трепет листвы на тополях («деревья свободы», разумеется).

Около Порт С. Дени Тургенев наткнулся уже на баррикаду, по которой прогуливались блудники. Красное знамя ядовитым язычком загадочно на ней поколыхивалось. (Этому знамени предстояло проделать многолетний кровавый путь по Европе… и в России прославиться. Тогда вряд ли думал об этим Тургенев.)

Он стоял на тротуаре, под окнами Жувенской фабрики перчаток, когда подошла колонна войск. Инсургенты неожиданно дали залп сквозь жалюзи окон занятой ими фабрики. Тургенев и другие случайные фланеры поспешно «отступили» на rue de l'Echiquier – попросту спаслись бегством. Еще бы Тургеневу драться! Если б он и захотел, судьба бы не дала ему. Странник и зритель, призван был видеть, накоплять и самому слагаться, но не действовать.

Эти страшные июньские дни, когда резня шла на улицах Парижа, пришлось ему просидеть дома в адский жаре, в том нервном, мучительном состоянии, как в революциях полагается. По электрическому воздуху неслись грозные вести. В один из вечеров мягкосердый Тургенев впервые услыхал «веерообразные залпы»: это по мэриям расстреливали инсургентов.

Жара, кровь, пушечные выстрелы, убийства заложников, атаки, баррикады… – репетиция Коммуны разыгрывалась. От «бескровной» февральской Тургенев проделал с городом Парижем всю кривую революций. Он навсегда вынес глубокое к ним отвращение, что и характеру его отвечало. Труд, творчество, медленное созидание, так известное каждому художнику, каждому строителю, все это враждебно ядовитому язычку красного знамени, вьющемуся над баррикадой.

* * *

Жизненно Тургенева могла тревожить только мать да Россия. Терпению Варвары Петровны подходил конец. До революции она

держалась, но когда император Николай издал манифест 14 марта 48-го года, приглашавший «каждого верноподданного бороться с мятежом, возникшим во Франции», она стала настойчиво звать сына домой. Делала в Спасском даже некоторые приготовлении к его приезду, пыталась обласкать тех дворовых, к кому он благоволил, – но время еще не пришло, не хотелось сыну бросать Францию, Виардо, Куртавенель. Варвара Петровна перестала высылать ему деньги. Он остался на одном заработке в «Современнике» да на авансах у Краевского («Отечественные записки»). Лето 48-го года провел в Куртавенеле с Виардо – отдыхал после революции. Осенью ухитрился съездить на юг Франции, побывал в Тулоне, жил в Иере. Пейзажами тех милых мест, дождями сквозь тишину и радугу можно любоваться в его октябрьском письме к Виардо.

Зимой поселился в Париже на rue Tronchet, № 1 – дом этот и поныне имеет приятный старомодный вид, и когда проходишь мимо, радостно вспомнить, что вот за этими жалюзи восемьдесят лет назад сидел, писал, любил, тосковал наш Тургенев. Виардо тот сезон проводила тоже в столице, он постоянно посещал ее. Видался часто с Герценом, у Герцена же, весною 1849-го, заболел острым желудочным расстройством.

Произошло это так: в Париже открылась эпидемия холеры. У Тургенева в мае кончался срок квартиры, и он должен был уехать. В один из последних дней решили переночевать у Герцена – ночью у него сделались спазмы, тошнота, он разбудил Герцена, сказал:

– Я пропащий человек, у меня холера!

По всегдашней мнительности он, очевидно, преувеличил. Но действительно проболел десять дней. Герцену пришлось отправить семью в Ville d'Avray, и когда Тургенев оправился, то самому туда перебраться – в Париже стало очень плохо. Надвинулись июньские жары, город покрылся трупами. Любопытно, что эмигрант Герцен, «страшный» Герцен вспомнил в Париже 1849 года холеру в Москве 1831–1832 гг. с чувством уважения к России, к толковости ее правительства, деятельности, отзывчивости общества. В Париже не принимали никаких мер – не оказалось ни мест в больницах, ни перевозочных средств. Трупы лежали в домах непогребенными по два-три дня…

Что Герцен остался с больным Тургеневым, которого не так особенно и любил, – свидетельствует о его мужестве. Но где Виардо? Может быть, уже в Куртавенеле, может быть, и в Париже… при Тургеневе ее не видно. Возможно, она его навещала (только следа от этого не осталось!), но если и не навещала, не надо этому удивляться. Пожалуй, даже больше подходит, чтобы

не навещала. Она была женщина крепкая и расчетливая, очень разумная, ложных шагов не делала.

Оправившись, он уехал в Куртавенель – третье, последнее лето Куртавенеля. Виардо отправилась петь в Лондон. Он остался один, прожил до сентября.

Нет в этой куртавенельской его жизни событий, но она замечательна. Деревня, свобода, мечтательность, творчество… – удивительно все перемешано. Спит Тургенев до десяти часов, завтракает, играет с веселым Ситчесом на бильярде, потом у себя в кабинете в течение часа ищет сюжет, читает по-испански, пишет полстраницы… А там обед, прогулка одинокая, прогулка с Ситчесами, и уже опять устал: спит до девяти вечера… Но сколько успевает и сработать!

В промежутках: деревенские гости (всегдашние разговоры о сельском хозяйстве), ужение рыбы, катание в лодке по каналам. Сам очищает эти каналы от камышей, засоряющих их. Забавляется кроликами – на последний франк покупает их у крестьянина, кормит молоком, листьями латука. И все ходит, все смотрит, высматривает природу, хоть и галльскую, не орловскую, а и здесь он любит – и трепет листвы в тополях, и цвет отдельных листиков на розовом небе, и какую-то березу в Мезонфлёре, которую назвал Гретхен. И дуб – имя ему дал: Гомер.

Ситчесы уезжают, он остается совсем один во всем огромном доме. Его общество – садовник да старуха, готовящая ему, да разные кролики, собаки, козы, деревенская птица, рыбы, парк, каналы. Денег нет, он целиком на иждивении виардовской кухарки. Много (и прелестно) пишет самой барыне. Еще бы не любить, еще бы не мечтать в такой раме!

Ночью бывает одиноко, жутко в куртавенельском замке. Глубокую грусть, почти страх вызывают звезды – беспредельность миров («пустое небо» Ville d'Avray). Иногда странные испытывает чувства – возводящие к позднейшим таинственным его произведениям.

Он сидит один в гостиной – вероятно, читает или раскладывает пасьянс. Близка полночь. Лампа под зеленым абажуром. Пес Султан давно заснул. Вдруг слышит он два глубоких, совершенно ясных вздоха – как дуновение пронеслись они в двух шагах. Он подымается, идет с лампою в руках по коридору. Спина его холодеет – знакомое всякому ощущение ужаса мелкими мурашками проползает вдоль хребта. Что, если сзади кто-нибудь положит на его плечо руку?

И в таком настроении как раз хочется обойти весь дом, осветить бедной лампой все потаенные его углы, в чем-то убедиться, может быть, с этим маленьким светом попытаться

проникнуть во всю бездну окружающего. Иной мир, иные существа… «Могут ли слепые видеть привидения?» – спрашивает он себя. Мысль направляется все к одному.

Или в другой раз, выходит на двор, тоже вблизи полуночи, прислушивается и как чудесно «подслушивает» ночную жизнь!

Кровь шумит в ушах, и неумолкаем шорох-лепет листьев. Рыбы всплескивают на поверхности прудов – точно поцелуй. Серебристый звук падающей капли. Цикады. «Тончайшее сопрано комара». И конечно, над всем этим – звезды, нежная музыка миганий их…

Немало снов видел он в Куртавенеле и позже. (Виардо иногда в снах Тургенева играла роль грозную.) Вот сон о птицах: сам он кажется себе птицей. Берет себя за нос, чтобы высморкаться, – оказывается, это клюв. Начинается полет, безумный, фантастический, над морем. Видит каких-то невероятных, черных рыб, всплывающих со дна, их надо съесть. И таинственный ужас сковывает его. Чем это не полет с Эллис? Чем не воздух рассказа «Сон»?

* * *

Следующая зима оказалась последней для Тургенева во Франции. Провел он ее в Париже. А весной решил съездить в Россию.

Франция дала ему много. Он встречался с замечательными людьми – Жорж Занд, Мериме, Шопеном, Мюссе, Гуно. Жил в воздухе высокой культуры. Сам много работал – написал большинство рассказов из «Записок охотника», «Дневник лишнего человека», комедии, среди них «Месяц в деревне». Можно сказать, что «первый» Тургенев (до романов), с глубокою поэзией и неоспоримостью своих писаний, сложился при Виардо, в Париже и Куртавенеле. Когда в июне 1850 года он покидал (надолго!) Францию и женщину, которую любил, это был уже почти зрелый Тургенев, познавший искусство, познавший любовь; видевший вблизи движения и падения обществ, знавший уже не романтическую тоску юноши, а спокойную печаль взрослого.

Он оставляет свои сердечные дела в неясном, как бы неразрешенном состоянии. Было некое счастье в Куртавенеле, но не изменило круто ни его жизни, ни жизни Полины. Она продолжала оставаться женою Луи Виардо, и даже не видно драмы между ними. Ничего решительного с Тургеневым! Ça ne sert á rien[43] – и только. Так или иначе относилась она к нему, полулюбила или, отдаваясь, лишь «принимала» его любовь

(уступала временной женской слабости), – во всяком случае была права, не созидая на нем нового и «основного». Тут она вкусом женщины сильной, неколеблющейся ощущала, что при всей своей любви Тургенев не муж, не каменная стена, не опора. Он – неясно-поэтический туман, вздох, томление, петраркизм… но если бы она сама глубоко его полюбила, стала женой и родила ребенка, кто знает, как могло бы обернуться все…

Занимая некую царственную позицию, удерживая его при себе как вздыхателя и прославителя, поступила она очень мудро.

# Дела домашние

Нельзя сказать, чтобы жизнь Варвары Петровны слагалась удачно. Счастливой она не была – ни в детстве у пьяного Сомова, ни в замужестве с Сергеем Николаевичем, ни как мать. Сыновья доставляли ей огромное огорчение – и сама она все делала, чтобы их отдалить и против себя вооружить.

Сын Иван занимался недворянским делом, жил то в Берлине, то на три года заехал во Францию, завел там себе странную привязанность «ни то ни се» и, очевидно, набирался завиральных идей. Писал ей мало, неохотно, вообще, видимо, уходил. Сын Николай сошелся с некоей Анной Яковлевной Шварц – этот союз Варвара Петровна отрицала сколь могла: он был и внезаконен, да и Анна Яковлевна не принадлежала к «их кругу». Николай же Сергеевич проявил известное упорство. Он крепко, на всю жизнь полюбил эту Анну Яковлевну, поселился с нею в Петербурге, служил, давал уроки, кое-как перебивался – предпочел жить в бедности, но так, как хотел. Варвара Петровна раздражалась на него не меньше, чем на Ивана. В 1845 году она чуть не совершила из-за него преступление.

Вот как это произошло. Зная, что у сына в Петербурге некая сердечная история, она захотела все выяснить, проверить. Для этого послала в Петербург дворецкого Андрея Полякова, мужа Агашеньки. Поляков побывал у Николая Сергеевича, видел его трудную жизнь с Анной Яковлевной – пожалел молодого барина: в Спасском, вернувшись, доложил, что тот живет один, холостяком. Но нашлись в Петербурге «доброжелатели», которые сообщили все в точности, как оно и на самом деле было. Письмо пришло вскоре после приезда Полякова. Варвара Петровна до того взбеленилась, что, схватив тяжелый костыль покойного Ивана Лутовинова (которым он постукивал по мешкам с деньгами в кладовой), замахнулась им на Полякова – и могла бы на месте его уложить, если бы не схватил ее вовремя деверь, Николай Николаевич. В ярости, в изнеможении она упала на диван, а Николай Николаевич поскорей выпроводил помертвелого Полякова.

Бедный Поляков заплатил за свою мягкость ссылкою в дальнюю деревню – и дал проявиться еще новому узору души барыни.

Агашенька, беременная, в тоске и разлуке с мужем прозябала в Спасском, страдала и только молилась с великой кротостью (вообще эта женщина из народа, крепостная, раба – удивительный светоч и заступница за нас всех). Близилась Святая. В великий

четверг Варвара Петровна была в церкви. Вдруг, перед самым причастием, с той же внезапностью, как и заносила костыль над Поляковым, вышла, села в карету и поехала домой. Как была, в шубе, не раздеваясь, прошла к себе в уборную, где находилась Агашенька, – грохнулась ей в ноги:

– Прости меня. К празднику твой муж будет здесь.

Обнимались, плакали, а потом она поехала причащаться – и никто не мог бы сказать, что произойдет на Пасху следующего года, какой новый поворот она сделает.

Произошло следующее: в Светлое Воскресение 1846 года Варвара Петровна проснулась крайне раздраженная. В церкви звонили – она отлично знала, что на Пасху всегда бывает радостный звон. Но велела позвать «министра».

– Это что за звон?

– Праздник, сударыня, Святая неделя.

– Святая неделя! Праздник! Какой? У меня бы спросили, какая у меня на душе Святая неделя. Я больна, огорчена, эти колокола меня беспокоят. Сейчас велеть перестать.

И колокола умолкли – весь пасхальный парад в доме, праздничный стол, куличи, пасхи – все отменено, вместо праздника приказано быть будням, и сама Варвара Петровна три дня провела в комнате с закрытыми ставнями. Их открыли только в четверг. Пасхи в том году в Спасском просто не было. Зато еще в другой раз она отменила церковный устав об исповеди: приказала оробевшему священнику исповедовать себя публично, при народе.

Можно ли было такому характеру уживаться с сыновьями – людьми уже новой, европейской складки?

Варвара Петровна знала, что Николай едва изворачивается, что Иван живет в Париже и Куртавенеле без гроша, и очень хотела видеть обоих. Но Ивану вместо нужных ему шести тысяч на расплату с долгами и на возвращение выслала шестьсот рублей – он едва заткнул ими насущнейшие дыры. То же и с Николаем. А рядом с этим – сентиментальные мечтанья… Надеясь, что сыновья прилетят как-то сами, по воздуху, она велит заново отделывать флигель. В огромных зеленых кадках расставляют вокруг балкона померанцевые деревья из оранжереи. По другую сторону дома испанские вишни и сливы ренклод вынесены из грунтовых сараев и накрыты сеткою от воробьев.

– Ваничка очень любит фрукты. Он будет есть их с деревьев, а я из окошка полюбуюсь на него.

Ваничка в это время занимал в Куртавенеле по нескольку франков у Ситчесов – но она непременно должна любоваться, как он будет есть сливы (а в оранжереях готовили ему и персики). Или – Варвара Петровна катается в коляске. Проезжая мимо

оврага, заросшего травой и окаймленного тополями, вспоминает, что здесь некогда был пруд и сыновья катались по нем в особенном ботике. Велено немедля расчистить овраг (очевидно – и вновь его запрудить) и на стороне к большой дороге поставить столб. На нем крепостной живописец Николай Федосеев изобразил указательный перст, а с другой стороны вывел надпись: «Ils reviendront»[44].

Все это пропало даром. Лишь весною следующего, 1850 года Варвара Петровна, сама заболев серьезно, приняла меры не сентиментальные, а действительные: послала Ивану Сергеевичу в Париж достаточно денег, чтобы он мог тронуться.

Ехать Тургеневу не хотелось. Но раздражать мать он считал опасным. В мае прощался с Куртавенелем (Виардо пела в Германии), 17 июня в последний раз виделся с Полиной, а 24-го направился из Парижа в Петербург. Он называл тогда Россию «огромным и мрачным облаком, неподвижным и туманным, как Сфинкс». Полагал, что Сфинкс смотрит на него тяжелым взглядом и поглотит его.

* * *

В том сне, которым по Кальдерону (и Тургеневу) является жизнь, есть своя связность, но не так легко ее открыть. Все ясно в прошлом и неразличимо в будущем. Садясь в поезд, думал ли Тургенев, что покидает Запад, Париж, Виардо на целых шесть лет? Ему казалось, что вот устроит он свои дела, вернется, потом, быть может, будет вести жизнь кочевую (то тут, то там) и уж, во всяком случае, не так, как получилось.

Он возвратился из парижского «пленения» более милым и очаровательным, чем когда-либо. Его знали уже и ценили в России как писателя, автора «Записок охотника». Ему шел тридцать второй год. В темных, густых волосах, несколько вьющихся, появилась проседь. Прекрасные задумчивые глаза. Руки большие – холеные и красивые. Он имел успех, его приглашали, баловали.

Но в Москве, у матери, тотчас пришлось ему погрузиться в тяжелые дела, далекие от поэзии и любви.

Еще осенью прошлого года Варвара Петровна до известной степени примирилась с сыном Николаем. Она разрешила ему жениться на Анне Яковлевне, настояла, чтобы он бросил службу, переселился в Москву и занялся управлением имениями, обещала купить дом в Москве. Он вышел в отставку. Дом (на Пречистенке, недалеко от ее собственного на Остоженке) был присмотрен, но

по-человечески Варвара Петровна ничего не могла сделать. Она тянула, томила, купчую совершать не торопилась: даю, но жди и трепещи. Николай и потрепетал. Дом все же купили, он в него переехал, но жить было нечем. Варвара же Петровна как бы и виду не показывала. Анну Яковлевну не принимала, с Николаем Сергеевичем создала отношения загадочные – нельзя понять, друг она ему или тайный враг. Что-то и тянуло ее к нему, но и раздражало – вот он все-таки не так женился, как она хотела, недостаточно перед ней сгибается. Николай же Сергеевич, в душе хозяин, помещик, человек не такой блестящий, как брат (но тоже красивый), – был все-таки тоже Тургенев: сгибаться мог лишь до некоторого предела.

Иван Сергеевич встретился с матерью хорошо, но попал в нервный воздух. Он и Николай были уже вполне взрослые, наследники большого состояния – и в то же время полунищие. Николай распродавал последние свои вещи, вывезенные из Петербурга. Ивану приходилось занимать направо и налево. У дворовых – управляющего Леона Иванова, у сводного брата Порфирия добывал он по тридцати, пятидесяти копеек.

Братья решили действовать. Обратились к матери: в самой почтительной и мягкой форме просили определить им какой-нибудь, пусть и небольшой, доход, только бы иметь необходимое для жизни и не беспокоить ее по мелочам. Варвара Петровна не возражала. Как будто отнеслась даже сочувственно. Обещала исполнить просьбу – и, как всегда, не торопилась. «Томление» сыновей продолжалось. Наконец приказала Леону Иванову написать две дарственные – одно имение, Сычево, отдается Николаю, другое, Кадное, – Ивану. Но… дарственные эти она не оформила. Они не имели законной силы, и в любой момент могла она их отменить. Однажды утром позвала сыновей и прочла им черновик.

– Довольны ли вы теперь мною?

Иван Сергеевич ответил за себя и брата: да, довольны, если она придаст законную силу этим бумагам. Варвара Петровна надулась, но велела вечером вновь явиться, дарственные будут переписаны набело, в окончательном виде.

Братья ушли. И от того же Леона Иванова узнали, что старостам обоих «подаренных» имений послан уже приказ немедленно продать весь хлеб, в гумнах и на корню, по какой угодно цене, лишь бы скорее! Управляющий Спасского должен был наблюдать за этой продажей и деньги перевести в Москву, Варваре Петровне.

Значит, она просто их разоряла. Лишала даже зерна для посева на следующий год.

Вечером того же июльского дня в доме на Остоженке произошла тяжелая сцена. Варвара Петровна вновь позвала сыновей. Она сидела в гостиной, тасовала карты для пасьянса. В соседней зале за чайным столом – Варя Житова, воспитанница, и г-жа Шрейдер. Иван Сергеевич сел в гостиной по одну сторону матери, Николай по другую. Им подали из залы чаю. В огромном зеркале видела Варя изящные руки Варвары Петровны – она раскладывала теперь пасьянс. Сыновья помешивали в стаканах ложечками. Варвара Петровна заговорила о различных сортах чаю. Потом еще о разных пустяках. Наконец сказала слуге:

– Позвать Леона Иванова!

Когда тот явился, коротко приказала:

– Принеси!

Через несколько минут Леон Иванов подал на подносе два конверта. Она взглянула на них, один дала Ивану, другой Николаю.

В доме мертвенно тихо. Только шуршит бумага в руках у читающих.

– Ну, благодарите меня! – Она протянула им руки для поцелуя.

Николай Сергеевич наклонился, молча поцеловал протянутую руку матери. Иван встал, прошелся взад-вперед, сказал: «Bonne nuit, maman»[45] – и вышел, поднялся к себе в комнату. Варвара Петровна молчала, но руки ее вздрагивали – гнев пробивался в них. За Иваном поднялся Николай и тоже ушел наверх. Там они совещались. Так как дарственные в окончательном виде были те же, что и черновики, то решили их не принимать, ни в какие переговоры с матерью не вступать, в имения не ездить, а предъявить требование о наследстве отца.

Варвара Петровна отлично поняла, как они приняли ее «подарок». На другой день вызвала Ивана для объяснений. Тут он многое высказал ей – не только о себе, но и вообще о ее жизни и правлении. В конце разговора Варвара Петровна закричала:

– Нет у меня детей! Ступай вон!

Иван Сергеевич попытался увидать ее на следующий день. Когда Варя доложила: «Jean est venu»[46], она вместо ответа схватила юношеский его портрет, изо всех сил швырнула на пол. Стекло разбилось, портрет отлетел далеко. Горничная бросилась было поднимать, но Варвара Петровна запретила трогать – не только сейчас, но и вообще: портрет пролежал на полу до октября.

Иван и Николай Сергеевич уехали в отцовское Тургенево. Варвара Петровна в день разрыва лежала в нервном припадке. Но, отлежавшись, ничего в решении не изменила.

Лето она провела в Спасском. Сыновья жили неподалеку, в Тургеневе, но их будто и на свете не было. Она их отвергла вовсе. К себе не допускала, не отвечала на письма. Почувствовав себя однажды с утра плохо, быстро собралась и в одиночестве уехала в Москву. Через два дня, дождливым вечером, в большую балконную дверь постучали. Варя Житова и г-жа Шрейдер кончали ужин в спасской столовой. Блудный сын, Иван Тургенев стоял на балконе с ружьем, патронташем, сеткой для дичи, весь промокший: зашел справиться о матери, узнав, что ей плохо. Он поужинал с ними при единственной свече. Под шум осеннего дождя расспрашивал о последних днях.

Этот огромный, деревенский Тургенев, в высоких сапогах, охотничьей куртке, с обветренным лицом, усталый, мокрый после скитаний по тетеревам, так живо видится в сумрачной столовой – русский аполлинический Немврод с зыбким сердцем, «Записки охотника», только что бродившие с каким-нибудь Ермолаем или Касьяном.

Хотел он повидаться с матерью, да не вышло. Это было последнее ее путешествие. С Остоженки она попала лишь в могилу. Она хворала тяжело, мучительно. Лежала на постели красного дерева, велела приделать сбоку полочку во всю длину кровати. На полочке, как и раньше, валялись feuilles volantes[47], она коротала предсмертные часы, записывая разные свои мысли, делая заметки. Кротость, смирение не пришли к ней. Только 28 октября (день рождения Jean'a) дрогнуло ее сердце. Она велела поднять с пола его портрет. А в дневнике ее прочли: «Ma mere, mes enfants! Pardonnez-moi. Et vous, Seigneur, pardonnez-moi aussi – car L'orgeuil, ce péché mortel fut toujours mon péché»[48]. Этот péché mortel мешал ей примириться с сыновьями. Задыхаясь от водянки, она не сдавалась.

Все-таки в последние дни Николай Сергеевич проник к ней. Она его не оттолкнула. Исповедавшись и причастившись, потребовала сына Ивана. Но тот находился далеко. Его известили с опозданием. Так уж и суждено было закончиться его печальным отношениям с матерью: он приехал из Петербурга, когда Варвара Петровна лежала уже в земле Донского монастыря.

Глубокую грусть вызывает повествование о ее судьбе. Смолоду нечто искалечило ее. Натура страстная и даровитая, готовая самозабвенно отдаться любви, она не встретила ее на своем пути, озлобилась, отдалась роковым силам, шедшим от темных предков, создала кумир своеволия и самовластия и губила себя им. Будучи госпожой рабов, заставляла их трепетать, но и сама не радовалась. Любя собственных детей, ожесточала их. На что нужны были ей деньги за предательски проданные посевы

Сычева и Кадного? Денег у нее и без того было сколько угодно. Бес терзал ее сердце, воздвигая между нею и миром, между нею и собственными детьми непроходимую стену. Она умирала одна. Может быть, лишь смиренная Агашенька, столько от нее претерпевшая, пожалела ее и помолилась о ней искренно. Варвара же Петровна и в последние, грозные часы осталась Варварой Петровной: после исповеди и причастия, когда начиналась агония, велела в соседней зале оркестру играть веселенькие польки – чтобы легче было отходить.

* * *

Пока Тургенев жил во Франции, в Спасском подрастала его дочь. Когда он возвратился, ей минуло восемь. Ее держали в черном теле, среди дворни, на попечении какой-то прачки – Авдотью Ермолаевну Варвара Петровна к себе не пустила. Девочка росла Сандрильоной. Лицом очень походила на отца. Ее за это дразнили. Называли барышней и взваливали непосильную работу.

Осенью 1850 года Иван Сергеевич писал из деревни нежные и грустные письма Виардо. Среди меланхолических воспоминаний о том, как семь лет назад они познакомились, как он по ней скучает, как «часами целует ее ноги», есть упоминание и о «маленькой Полине». Он кратко, но искренно рассказал о приключении молодости (тут же, рядом со строками романтического благоговения к Виардо, есть и язвительные о Варе Житовой). Виардо предложила взять девочку и воспитывать наравне со своими детьми. Он горячо ее благодарил. В октябре Поля отправлена на «дальний Запад», чтобы стать француженкой и никогда более не увидать России.

Тургеневу же смерть матери приносит свободу, независимость, богатство. Он получает Спасское. Раздел с Николаем прошел легко. Иван Сергеевич ни на чем не настаивал, везде уступал – это всегдашняя его черта. Не изменил и вольнолюбию своему. Дворовых отпустил, крестьян (кто того хотел) перевел на оброк. По закону 1842 года мог бы их всех освободить от «крепости», но этого не сделал: пока не было общего освобождения, отпускаемые попадали в худшие условия, чем те, кто оставался при своем прежнем (и порядочном) помещике.

Так началась для Тургенева жизнь барина и известного писателя, та жизнь, которую легко могла ему доставить мать, – для этого не нужна была ее смерть. Но вот она поступила по-

другому…

Он жил теперь в Петербурге и Москве, широко принимал, давал обеды, вращался и в среднем кругу, и в высшем. Выступил как драматург на сцене. Шла его комедия «Холостяк», позже «Провинциалка» со Щепкиным. Успех был большой. «Меня вызывали так неистово, что я наконец совершенно растерялся, словно тысячи чертей гнались за мной».

Радостно было писать в Париж, Полине, о победе. Радостно было прибавить строки: «В момент поднятия занавеса я тихо произнес ваше имя: оно мне принесло счастье».

Щепкин, знаменитый актер, с которым Тургенев сблизился по театральным делам, повез его к Гоголю. Гоголь жил у гр. Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызина. Этот старинный барский дом покоем, с обширным двором и сейчас цел в Москве – сколько раз приходилось проходить мимо него, сидеть на скамеечке бульвара, вспоминать Гоголя, тяжелые последние дни его жизни!

Гоголь Тургенева знал. Считал первой величиной молодой словесности. Тургенев благоговел пред ним и описал в воспоминаниях. Вот стоит Гоголь с пером в руке у конторки, в пальто, зеленом жилете, коричневых панталонах. Острый профиль, длинный нос, губы слегка припухлые, неприятные зубы, маленький подбородок уходит в черный галстук – глаза небольшие и странные, как и весь он странный, болезненный и «умный». В этом изображении не хватает еще запаха. У Гоголя должен был быть особый запах – затхлый, сладковатый, быть может, с легким тлением. Свежего воздуха, красоты, чувства женственного – вот чего никогда не было у этого поразительного человека.

Тургенев приблизительно так его и принял. Гоголь чудесно говорил о призвании писателя, о самой работе, удивительно читал и изображал, но нелегкий дух владел им.

Знакомство было беглое. Да Гоголь находился уж и в тяжелом состоянии. Известно, как ужасны были его последние месяцы. Он умер в феврале 1852 года. Для Тургенева радости, огорчения литературы никогда из жизни не удалялись. Смерть Гоголя он принял остро, как впоследствии восхождение и победу Толстого. Он написал о Гоголе статью, пытался напечатать ее в «С.-Петербургских ведомостях», но цензура (та самая, которою так восторгался покойный) не позволила. Тургенев выказал упорство – отослал ее в Москву Боткину и Феоктистову. Те напечатали в «Московских ведомостях».

Непонятно, чем она огорчила власть. Восхвалялся Гоголь как писатель. И только. Никого Тургенев не задел – даже отдаленно.

Но вот показалось обидно. Как так, хвалит какого-то писателишку! «Лакейского» писателя, как выразился гр. Мусин-Пушкин. Да еще иметь дерзость напечатать в Москве, когда в Петербурге уже запретили!

Тургенева арестовали. Посадили, по распоряжению государя, на съезжую, т. е. при полицейской части: высидеть предстояло месяц. Сидение не оказалось ни страшным, ни даже неудобным. Ему отвели отдельную комнату, отлично кормили, к нему ездили друзья, он много, по обыкновению, читал, написал «Муму». Конечно, самый воздух участка ни для кого не сладок. Рядом с приличным тургеневским помещением наказывали провинившихся дворовых – их крики мучили его. Досаждала жара. Иногда он нервно шагал взад-вперед по камере, высчитывая, сколько сделал верст…

Восемнадцатого мая его выпустили, обязав уехать в Спасское, где и жить под надзором полиции. Но все это делалось не очень строго. Он побыл еще в Петербурге, его принимали, ухаживали за ним. Он читал «Муму» на вечере у А.М. Тургенева. Была весна, сирень цвела, черемуха. Вероятно, он чувствовал себя довольно празднично. В Спасское попал лишь в начале июня.

# Ссылка и воля

В большом доме Спасского, где некогда проходило его детство, жили теперь супруги Тютчевы – Николай Николаевич управлял имением. Тургенев поселился отдельно, во флигеле, состоявшем из нескольких комнат. Началась его идиллическая ссылка. Она состояла в том, что барин ездил на охоту, читал умные книжки, писал свои повести, раскладывал шахматные партии, слушал бетховенского «Кориолана» в исполнении Александры Петровны Тютчевой с сестрой – и по временам подвергался наездам станового. «Ссыльный» не принимал его. При Варваре Петровне такого станового, если он без достаточной почтительности въехал бы, с колокольчиками, прямо в усадьбу, пожалуй, и вытолкали бы. Иван Сергеевич высылал ему в прихожую десять рублей. Представитель могущественнейшей империи низко кланялся и отступал, пожелав барину «продолжения его благополучия и успехов во всех желаниях и начинаниях». Другой «наблюдатель» иногда следил за ним в разъездах, на охоте – тоже, очевидно, маленький и скромный: однажды он надоел преступнику и тот побил его хлыстом.

Первое лето и осень целиком ушли на охоту. Тургенев неутомим в своем занятии, в своей страсти – эта страсть прошла чрез всю его жизнь, охота связала его с Виардо, охота питала и литературу.

Вокруг Спасского, в Мценском уезде, особых охотничьих мест нет, это полистый край, не найдешь ни вырубок по большим лесам (для тетеревов), ни хороших болот. Перепела в овсах, коростели в сырых низинах, кое-где по лугам дупеля, бекасы, утки в озерцах да несколько тощих тетеревиных выводков по опушкам каких-нибудь «Егорьевских кустов» – это не могло насытить Тургенева. Осенью попадались пролетные вальдшнепы, он подымал их, возможно, у себя же в парке из-под опавшей благоуханной листвы в прозрачный сентябрьский день. Весной стаивал на небогатой тяге, вслушиваясь в удивительное хорканье, но самое раздолье, самая охотницкая благодать – засесть в тележку или в тарантас со своим кучером, со своим охотником (каким-нибудь Ермолаем-Афанасием) – закатиться в западные уезды Орловской или близлежащие Калужской губернии – Жиздринский, Козельский. Ездил и в Брянский, Трубчевский. Сколько давали такие поездки! Не одной только дичи: пейзажей, мест, нравов, встреч с разными мельничихами, запахов полей, лесов, овсов. Ночлегов на сеновалах, привалов в лесу, когда после долгой ходьбы по тетеревам так блаженно-вкусной кажется

простая краюха ржаного хлеба. Сколько всякой снеди таскали за ним в погребцах верные слуги! Тут он плавал в простом русском народе, всех видел и знал, вслушивался в оттенок речи калужского и орловского мужика, наслушивался бесконечных рассказов где-нибудь в лесной сторожке, когда вдруг зарядит дождь, и не только что по выводку, а и носу не высунешь.

Из таких блужданий рождались «Поездка в Полесье», «Постоялый двор», «Затишье» – да вообще сквозь все тургеневское западничество его любовь к русской земле, к тетеревиной травке, красными хохолками цветущей в июле, к кустам, обрызганным росистыми каплями, откуда с треском, грохотом может подняться черныш – чудесный, краснобровый! – вся эта любовь стихийная питалась, взращивалась охотничьими скитаниями. Тургенев был западником, смолоду несколько отошел от России и в спорах со славянофилами часто Россию ругал – умом, «либеральной» своей головой, а темными недрами, откуда исходит художество, – весь в России, и без того славой нашей не стал бы. Он мог бранить сколько угодно отсталость и некультурность жизни – и писать в то же время чудесных Касьянов и очаровательных «рабынь».

Осенью сообщил Аксакову (с которым гораздо ближе был по делу охоты и рыбной ловли, чем в рассуждениях о России) о плодах своей войны: всего 304 штуки – 69 вальдшнепов, 66 бекасов, 39 дупелей, 33 тетерева, 31 куропатка, 16 зайцев и т. д., вплоть до бедного куличка, и того записал. (Но это уж болезнь – безумие охотника, только охотнику понятное.) Аксаков ответил, что это, конечно, недурно… сам же он взял 1200 штук.

Из всех этих поездок возвращался он в не совсем пустой и одинокий флигель Спасского. Там с весны жила последняя в его жизни Афродита-Пандемос, некая девушка Феоктиста, горничная его двоюродной сестры Елизаветы Алексеевны Тургеневой.

Эту Феоктисту, или Фетистку, как ее звали, впервые он увидел у кузины в Москве еще в 51-м году. Фетистка была черненькая, тонкая, довольно миловидная девушка, изящно сложенная, с небольшими руками и ногами. Она сразу ему понравилась. Слабое его сердце поплыло. Виардо далеко, в неопределенных западных туманах, трудная, сложная. Маленькая Фетистка тут рядом, и никаких сложностей нет. Впрочем, они возникли с кузиной. Елизавета Алексеевна, девица бойкая и жизненная, сообразила, что Ивану очень понравилась ее горничная, и, когда он захотел выкупить ее, заломила соответственную цену. Это не остановило Тургенева. Варвары Петровны в живых не было, власти над собой он не чувствовал, деньгами обладал немалыми. И выкупил Фетистку. Надарил ей всякого добра, платьев, шалей и т. п., – и привез в Спасское. От

барыни Фетистка перешла к барину, стала его любовницей, нарядней одевалась и сытнее ела, жизнь вела бесцветную. Скучала и даже раздражалась при его попытках сколько-нибудь ее просветить – научить чтению, дать какое-нибудь образование.

Наполнить человеческим своим существом флигель Спасского Фетистка не могла. Женская ее природа была нужна Тургеневу, но, как некогда и с Авдотьей Ермолаевной, связь с нею прошла для него вполне по поверхности.

Его «внутренность» поглотилась литературой. И сама зима оказалась полезной. Она наступила на редкость рано, в первых числах октября, занесла, запушила все Спасское, завывала метелями, наносила сугробы, каких Тургенев давно не видывал. Он обычно жил в деревне летом и осенью – а зимой в столицах. Но теперь ссылка прикрепила его к Спасскому. Дала чудесную нашу зиму ощутить и пережить. Поднесла в виде особенно ярком, сказочном. Зима в деревне для писателя всегда полезна. Она сгущает его, уединяет, очищает. Именно так и жил Тургенев. Во флигеле он писал, читал, занимался шахматами, в большом доме слушал музыку Тютчевых и вел разговоры, для Фетистки недоступные. Шахматы, музыка, зимнее уединение – что может быть лучше для поэта? Размышляя над шедеврами Морфи, Андерсена, занялся он в рождественские метели писанием романа.

В ссылке Тургенев написал несколько общеизвестных вещей – «Постоялый двор», «Два приятеля» и кое-что из мелочей. Это не так много прибавило к его созданию. С внешней стороны ничего не прибавил и роман – он не попал даже в печать, – но это крупное, важное упражнение перед «Рудиным» (без него и «Рудин» не написался бы), а кроме того, и автобиография.

Работал он над романом так горячо, как только может трудиться полный сил человек в дивных условиях зимы, барства, одиночества и обеспеченности. Форма ему еще не далась. Друзья, которым он к весне разослал копии рукописи, забраковали ее. Роман оказался наполненным биографиями, описаниями, рассказами, но все это не приведено в движение. Изображалась властная и тяжелая, с самодурскими чертами барыня, в дом которой попадает маленькая лектриса. С нею-то и возникает сердечная история у сына помещицы, Дмитрия Петровича, – человека двойственного, слабого и капризного, обладающего нравственным чувством и от него отступающего, как будто и озлобленного тяжелым детством и самого себя не весьма уважающего. По природе застенчив он, а бывает почти грубым. Капризно влюбляется, вызывает чувство ответное, но все это непрочно, ничего основательного в любви не создается по вечной

зыбкости натуры. И как капризно влюбился, так же капризно впоследствии и ненавидит.

Все это очень знакомо и очень ясно. Тургенев мог называть своего героя каким угодно именем – получился портрет некоего лица в некую полосу его жизни.

Из романа остался отрывок «Собственная господская контора». Все остальное дошло из вторых рук. Но руки Анненковых, Боткиных, Аксаковых – надежные.

* * *

Первое время разлуки с Виардо он писал ей много. Нежная меланхолия – вот тон его писем, преданность, любовь, тонкая чувственность. Theuerste, liebste, beste Freundin[49] – он любил эти немецкие интимные вставочки. Осенью 1850 года вспоминает семилетие их первой встречи. В Петербурге идет «взглянуть на дом, где семь лет назад имел счастие говорить» с нею. Тою же осенью приписка, в другом письме: «Und Ihnen kiiss ich die Fusse stundenlang»[50]. 5 (17) декабря, в полугодовой день разлуки: «Сегодня шесть месяцев, как я видел вас в последний раз. Полгода! Это было – помните ли вы? – 17-го июня…» В том же письме: «Если бы я мог видеть вас во сне! Это случилось со мной четыре или пять дней назад. Мне казалось, будто я возвращаюсь в Куртавенель во время наводнения. Во дворе, поверх травы, залитой водою, плавали огромные рыбы. Вхожу в переднюю, вижу вас, протягиваю вам руку; вы начинаете смеяться. От этого смеха мне стало больно…»

И вот идет время. 51-й, 52-й годы. Письма становятся реже. И тон меняется. Они очень дружественны, тоже нежны, почтительны и нередко меланхоличны. Но некая вуаль на них. Нет немецких приписок, нет stundenlang и beste, liebste… Довольно много о своей жизни, занятиях, книгах, но прохладнее, спокойнее. Какая бы ни была Фетистка, сколько бы поверхностно ни задевала, все-таки она тут, рядом, и писать о ней он не мог. Неизвестны ни письма Виардо, ни она сама за эти годы – ее жизнь… Чем она тоже жила, при ее страстности и темпераменте? Стариком мужем?

Весной 1853 года Виардо приезжала в Россию петь. Тургенев достал паспорт на имя какого-то мещанина и ухитрился съездить в Москву. По-видимому, они виделись – но тайно, скрытно: грозила все же полицейская опасность.

Неизвестно, как они встретились. Вернувшись в Спасское из Москвы, он опять куда-то уезжал, не вдаль, и, возвратившись,

получая дальнейшие письма, отвечает 17 апреля: «Оба ваши письма чрезвычайно лаконичны, в особенности второе, которое точно стремительный поток; в нем каждое слово рвется быть последним. Надеюсь, что когда вы освободитесь от закружившего вас вихря, то расскажете мне более подробно о том, чем вы заняты. О, милые письма, которые я застал здесь после своего возвращения, были совсем иные. Да что уж!» Вот строки – обломок скрытых от нас чувств. Какие-то не столь «лаконичные» вещи написала ему Виардо, быть может, с дыханием нежности – тотчас после встречи, вдогонку, когда он уехал из Москвы в Спасское. Оживилось ли на минуту былое, куртавенельское? А затем – суета, пение, успехи вновь отодвигают его от нее – как время, отдаление и новая связь затуманивали и ее образ для него. «Тургенев – однолюб» – и верно, и неверно. Виардо прошла через всю его жизнь, но сама жизнь прямой линией не была. В мае он пишет ей: «Сад мой сейчас великолепен; зелень ослепительно ярка – такая молодость, такая свежесть, мощь, что трудно себе представить. Перед моими окнами аллея больших берез… В саду множество соловьев, иволг, кукушек и дроздов – прямо благодать! О, если бы я мог думать, что вы здесь когда-нибудь будете гулять!»

Полине Виардо, разумеется, было бы приятно гулять в таком саду и слушать соловьев. Но этих же соловьев слушала бы из раскрытого окна Фетистка, и она тоже любовалась бы зеленью и весной. Было ли бы это приятно Тургеневу и блистательной Полине?

* * *

Осенью 1853 года с него сняли опалу. Он мог теперь жить где угодно и что угодно делать. Вознаграждая себя за деревенское сидение, покатил в Москву и Петербург. Началась жизнь рассеянная, среди друзей как Анненков, Боткин, полудрузей – Некрасов, Панаев, Григорович, обеды, салоны, светское общество. Тургенев начинал уже «блистать». Голова его стала почти седая – ранняя седина, тридцатипятилетняя, но глаза живые, фигура могучая, одевался он отлично и, раскинувшись в креслах где-нибудь у графини Салиас, рассказывая своим тонким, высоким голосом – занятно и увлекательно, – разумеется, «украшал» гостиную: и зрительно, и духовно.

Жизнь же шла бестолково. Денег довольно много, щедрости тоже: никто никогда не укорял его в скупости. Давал он направо-налево, без разбору. Как настоящий русский писатель был кругом

в авансах и Некрасову, денежки любившему, доставлял в «Современнике» немало огорчений. Но ничего не поделаешь. Тургенев считался первым писателем, приходилось терпеть.

Он любил устраивать обеды и устраивал их неплохо. Крепостной Степан, красивый и здоровенный малый, настолько влюбленный в своего барина, что, когда тот предложил ему вольную, он отказался, – этот Степан проявил чудесный поварской талант и украшал своим художеством стол Тургенева. Сам барин на обедах бывал мил и весел, и только когда Анненков с Гончаровым приближались к муравленному горшку со свежей икрой от Елисеева, он не без ужаса кричал:

– Господа, не забывайте, что вы здесь не одни.

Боткин же, на радостях от удачного соуса, требовал, чтобы хозяин позвал Степана:

– Буду от благодарности плакать ему в жилет.

Все это приятно и весело, но одновременно Тургенев язвительно и подсмеивался над многими, сочинял эпиграммы не без злости. В позднейшей ненависти к нему Достоевского отозвалась, конечно, давняя насмешка Тургенева. Вряд ли обрадовали и Кетчера такие стихи:

Кетчер, друг шипучих вин,
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

За это время совсем прекратилась его переписка с Виардо (по крайней мере, для нас: писем не существует). Куртавенель временно затонул. Фетистка, правда, тоже сошла, но появилось другое тяготение – к молоденькой девушке, дальней его родственнице, Ольге Александровне Тургеневой. На этот раз место действия – окрестности Петербурга, Ораниенбаум, где она жила летом 1854 года (а Тургенев в соседнем Петергофе). Знакомство их шло еще со времен до высылки. У ее отца, А.М. Тургенева, изящного и просвещенного человека, и читал Иван Сергеевич написанную под арестом «Муму».

Ольга Александровна была крестницей Жуковского, девушка тихая, кроткая, хорошая музыкантша, плоть от плоти чинной и благообразной старой Руси, нечто от Лизы Калитиной, Тани из «Дыма». Роман оказался, так сказать, «свирельный». Тургенев разыгрывал ласковые мелодии, что-то в нем трепетало. Девическую душу он, конечно, взволновал и разбудоражил, но пред решительным шагом остановился. Было настолько недалеко от брака, что он говорил об этом со стариком Аксаковым, когда весною был у него под Москвой в Абрамцеве. Тот гадал ему даже

на картах… Но Тургенев остался Тургеневым. Брак – не для него. Томления, мечтания, нежные разговоры в отсутствие куртавенельского сфинкса – это одно, перелом жизни – другое.

Он одержал над Ольгой Александровной, как некогда над Таней Бакуниной, ненужную победу. В обоих случаях главенствовал, и это его расхолаживало. Ни та, ни другая не имели над ним власти и большой роли сыграть не могли. Но Ольга Александровна оставила более мягкое и светлое воспоминание. В «Дыме» (Таня) он помянул ее добром. И вероятно, был перед ней вообще как следует виноват: Ольга Александровна так тяжело переносила неудачу, что заболела, долго не могла оправиться.

А Тургенев… по-видимому, он так же внезапно уехал от нее, как в свое время из Зальцбрунна от Белинского и Анненкова. Нельзя даже сказать, сам он уехал или некий легкий ветер унес его. Хорошо или плохо он сделал, но это по-тургеневски. Ответ за характер придется еще держать, но позже. А пока что была еще Россия, надвигавшаяся Крымская война, литература, творчество.

Война никак не отразилась на Тургеневе. Молодой Толстой хоть побывал в Севастополе, повоевал. Тургенев нисколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне очень мало.

Зато настало ему время пожать плоды упражнений в ссылке. Тогда написать романа не удалось. Летом 55-го года, в том же Спасском, засев, он в семь недель закончил «Рудина», вещь в некоем смысле дебютную и блестящую. «Рудиным» открывается полоса тургеневского романа и тургеневской наиболее широкой (но не всегда глубокой) славы. Может быть, «Рудин» как роман и не весьма ярок, не вполне удачно построен, все же сам Рудин до того русская роковая фигура, что без нее Россия не Россия (как и Тургенев не Тургенев). Все «лишние люди», все русские Гамлеты и незадачливые чеховские врачи пошли от Рудина, и так как Тургенев очень много своего вложил в эту фигуру (хотя и предполагал написать Бакунина), то получилось очень хорошо. Смесь донкихотства со слабостью, фразой, неудачничеством – единственна. Способность зажечь сердце девичье – и не удовлетворить его – как все это знакомо! Хорошо оказалось для литературы, что автор незадолго сам пережил роман – пустоцветный и, может быть, полный для него укоризны, но позволивший многое написать в любовной стороне «Рудина» по свежим следам.

Есть в этом произведении еще черта трогающая: отзвуки тургеневской молодости, Станкевича, энтузиазма, студенческих «ночных бдений» над неразрешимыми вопросами. Чуть не через

двадцать лет отозвался в его писании Берлин и многое, что складывало самый облик Тургенева.

«Рудина» он привез из Спасского в Петербург. Тут, как полагается, без конца его читали приятели, советовали, хвалили, «указывали на недостатки», и, как всегда, Тургенев почему-то слушался их, волновался и покорно «исправлял».

Среди этих занятий приобрел он одно замечательное знакомство: в ноябре приехал из Севастополя в Петербург молодой артиллерийский офицер, граф Лев Толстой. Этого Толстого Тургенев уже несколько знал по литературе. «Кстати, не правда ли, какая отличная вещь “Севастополь” Толстого?» – писал летом Дружинину. Теперь «Севастополь» явился в Петербург лично. Привез с войны всю свою угловатость, темперамент, страстность и чудный дар. От него пахло пороховым дымом, ложементами, солдатскими словечками – как ранее полон был он Кавказа и поразительных его дикарей. Что читать мог он там? Каким нежностям и томлениям предаваться? Это был застенчивый, гордый, безмерно самомнительный и гениальный артиллерийский офицер с некрасивым и грубоватым лицом, небольшими, глубоко сидевшими серыми глазами величайшей остроты и силы. Великорусский тяжелый нос, способность вспыхивать и безумно раздражаться, желание всегда быть особенным, ни на кого не похожим, всегда противоречить – особенно известным и видным, – все оценить по-новому, исходя не из знаний, а из силы натуры. Таким можно себе представить Толстого – уже замеченного «талантливого» писателя, но еще экзаменующегося, аттестата зрелости не получившего.

Что может быть противоположнее Тургеневу? Представишь ли себе Тургенева на Кавказе или на Малаховом кургане? Без каких-нибудь дам или барышень, пред которыми он блистает и не может, даже не должен не блистать: он не был бы тогда Тургеневым. Или Тургенев без книг, театра, среды литераторов? Без многолетней и глубокой, тонкой просвещенности?

Он сразу понял в Толстом писателя – да еще какого! Для него этого достаточно, чтобы за приезжего ухватиться: Тургенев очень и жизнью интересовался, а уж литературой – исключительно. Получилось даже так, что Толстой поселился у него на квартире.

Первое время все шло отлично. Всякому старшему писателю приятно опекать младшего. (Тургенев был на десять лет старше Толстого.) Но – при условии послушания и почтительности. Толстой очень ценил некоторые черты Тургенева – ум, доброту. Многое высоко ставил и в «Записках охотника». В общем же… его невзлюбил. И уж никак не мог держаться скромным учеником. Да и Тургенева, чем дальше, тем больше Толстой коробил. Даже

жизненные привычки были у них разные. Тургенев изящно одевался, любил порядок и опрятность, от него пахло духами, он носил тонкое белье. Выезжая в общество, надевал отличный фрак. Обедать любил вовремя и был гастрономом. Понимал в вине, но никогда не напивался. Сидел в салонах и беседовал с дамами, но не катал по кабакам, не любил троек, цыган, кутежей.

В комнате Толстого пахло табаком, все было разбросано, сапоги могли стоять на туалетном столике, брюки валяться на рукописях или рукописи на брюках, нередко возвращался он на рассвете, вставал Бог знает когда, полдня ходил по квартире немытый, угрызался за «недолжную» жизнь и тотчас начинал громить первого встречного, ел Бог знает что, на ходу, решая вопрос о правде в человеческих отношениях и чаще всего находя, что все неправда и хорошо бы вообще весь мир переделать сверху донизу.

Разумеется, хозяин и гость не могли двух слов сказать, не заспорив. Тургенев жизнь окружающую признавал, считая, что ее надо улучшать. В Толстом сидело и тогда зерно всеобщего разрушения и постройки всего заново. Тургенев любил культуру, искусство, всякие утонченности и «хитрости». Толстой все это отвергал. Тургенев никогда не проповедовал и не особенно моралью интересовался. Толстой все это бурно переживал. И так как был малообразован, но безмерно самолюбив и силен, то ему доставляло наибольшее удовольствие оспаривать неоспоримое.

Литературный круг Тургенева в то время составляли Некрасов, Панаев, Дружинин, Григорович, Боткин, Анненков, Писемский, Гончаров. Толстой бывал также на этих собраниях. Он играл на них роль enfant terrible[51]. Ему казалось, что Тургенев слишком красноречив и «фразист», сам он перегибал в другую сторону, но желанная, столь великая простота, естественность, не так-то легко давалась: тут приходилось бы уж подыматься к Пушкину – толстовское же стремление к угловатости, «корявости», конечно, простотою не было. Разве простота вся та известная сцена, когда Толстой, возражая волнующемуся Тургеневу, заявил:

– Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

Ни с каким кинжалом нигде Толстой не стоял, собственную жизнь прожил в огромных противоречиях с этими самыми «убеждениями» и в некотором смысле показал себя вовсе не сильным человеком – так что выпады вроде приведенных меньше

всего правдивы и просты. В них есть театр, подмостки (чего не лишен был и Тургенев, но в другом роде. Тургеневский театр условен в «изяществе», толстовский в «простоватости»).

Но Тургенев всегда знал, что он не пророк, не реформатор. Поэтому в некотором смысле держался проще Толстого. Ему слишком близок был дух свободы и незамутненного художества.

Из личного знакомства этих замечательных людей не вышло ничего. Но странные, болезненные и тяжелые отношения тянулись всю жизнь, то обостряясь, надолго вовсе прерываясь, то возобновляясь.

# Сумрак

И вот прошло шесть лет, как покинул Тургенев Францию. Шесть очень важных лет. Из бедствующего литератора в неладах с матерью он обратился в первого писателя страны, признанного всеми, имеющего связи и в свете, и в среднем кругу, человека с хорошими средствами и вполне независимого. Слава шла к нему по заслугам. «Бежин луг», «Певцы», «Касьян с Красивой Мечи» углубляли «Записки охотника». «Фауст» вводил в таинственного Тургенева. «Рудин» показал в нем романиста. Блестящий, удачливый, красивый Тургенев… Как будто все, что нужно.

Уже с 53-го года прекратилась его переписка с Виардо (или почти прекратилась) – вслед за весенней встречей в Москве. Вряд ли встретились они плохо. Скорее наоборот. Но что-то начало удалять их друг от друга. (Не освобождая вполне.) Сказал ли он ей о себе? Дошли ли до нее вести об Ольге Александровне? Почувствовал ли он в ее жизни нечто иное? Во всяком случае, к концу этого шестилетия некое беспокойство стало точить Тургенева. Не так проста была его история с Виардо. Приходилось все досказать, дожить, доиспытать. Его вновь потянуло на Запад. Осуществить это стало легче – Крымская война кончилась.

Как раз в то время Тургенев познакомился с графиней Елизаветой Георгиевной Ламберт – женщиной тонкой и умной, мистического склада, глубоко верующей. Часто навещал он ее в Петербурге на Фурштадтской, сиживал наедине в уютной комнате с иконами, книгами, вел те беседы, на которые был великий мастер: что-то изливал, о чем-то вздыхал, в чем-то искал (и находил) сочувствие. Графине открыл он свои сердечные дела. Началась между ними и переписка.

Связи в свете у Елизаветы Георгиевны были большие. Он перед ней за многих хлопотал, и ему самому, видимо, помогла она в 1856 году с выездом за границу (не так охотно все-таки давали разрешение). В майском письме 1856 г. из Спасского он благодарит ее «за участие», которое она оказала ему в Петербурге. Приоткрывает это письмо и кое-что в нем. «С тех пор, как я здесь, мною овладела внутренняя тревога… Знаю я это чувство! Ах, графиня, какая глупая вещь потребность счастья, когда уже веры в счастье нет!»

В июне поездка совсем налаживается.

«Позволение ехать за границу меня радует… И в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу значит: определить себя

окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни». (Т. е. быть при Виардо, не свивая «гнезда».)

А вот следующее письмо, тоже июньское: «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами… Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею».

Слова странные, но знаменательные. Надежды на счастье нет, а гнаться за ним все же хочется. Ехать за границу опасно, а все-таки едет. Дульцинея не такая уж и красавица…

Ясно, к кому это относится. Слово соскочило тяжелое, грубое. Какой-то надлом уже был. Что-то задело. И в то же время – свободы, равнодушия нет. Будто и переписка заглохла, и другие уклоны являлись, и годы подходят (к сорока он считал себя уже «стариком»), а все-таки… грустно сидеть в великолепном Спасском, где легко завести десять Фетисток, но где нет единственной, некрасивой Полины Виардо.

И он тронулся – 21 июля 1856 г. на пароходе в Штеттин, как некогда, в молодости, выезжал в дальние края учиться. Тогда боялся матери, тайком играл на пароходе и чуть не погиб в пожаре. Теперь мать давно в могиле. Пожара не случилось, в штосс он играть мог бы, да не хотелось – зато поездка вся была азартной игрой. Он ставил крупно, на Виардо и на все будущее свое…

Из Штеттина во Францию, снова осень в Куртавенеле. Снова Виардо, замок времен Франциска, парк, милые пруды, каналы, тополя, дубы и вязы, леса, поля, где стреляли они с Луи Виардо куропаток. Будто бы все прежнее, но все и другое. Дорого пришлось платить этою осенью за дни былых куртавенельских радостей!

Шесть лет разлуки оказались не пустяк. Фетистка, Ольга Александровна – с его стороны. Была ли у женщины в расцвете сил, с натурой и темпераментом Виардо-Гарсиа вся душа прикована к старому, бесцветному мужу, охотнику за жаворонками и куропатками? Могла ли она так уж отдаться загадочному русскому другу, шесть лет безвыездно прожившему в Скифии, не столь много ей и писавшему, имевшему связь, чуть не женившемуся? Надо быть справедливым: Виардо не бралась за роль Пенелопы. Но вот теперь, после шести лет отсутствия, этот

туманный, мечтательный друг появляется… Началось что-то новое.

Нет сомнения, что, вернувшись, он увидал такое, о чем издали, может быть, и догадывался, но не знал **точно**. А теперь вложил персты. Молва называла его соперником известного художника Ари Шеффера, близкого человека к Полине – он писал и ее портрет.

Тут и оказалось, что, пока жил Тургенев в Спасском, блистал в Петербурге, Полина представлялась ему петраркической мечтой, смутно вздыхательной, к которой жизненно не так уж он и стремился. Теперь, увидев, что его дело проиграно, испытал все, что полагается. В страстности, умении страдать, ненавидеть, оскорблять или впадать в болезненный восторг проявил даже неожиданную силу.

Как раз тою же осенью Фет находился во Франции. Смесь замечательного поэта с грубоватым помещиком, поклонника Шопенгауэра с провинциальным офицером, Фет явился в Куртавенель на зов Тургенева, но не особенно удачно. Тургенев что-то перепутал. В расстройстве чувств забыл – и вышло так, что в день приезда Фета он надолго отправился с Луи Виардо стрелять куропаток. Лошадей в Розье не выслали, Фета подвез случайный фермер. В замке удовольствие приема выпало самой Полине. Она повела гостя на прогулку. Охотников встретили только под вечер, выйдя в поле, – и как раз в Куртавенеле в эти дни были гости, так что и поместить приезжего оказалось нелегко. Все-таки он провел здесь несколько дней.

Некоею своей аляповатостью, видом армейского офицера endimanché[52], несмешными анекдотами на плохом французском языке, кольцами на руках, произвел он впечатление неприятное. С Тургеневым иногда запирался и спорил. Кричали так, что Виардо казалось – не убьют ли друг друга эти два скифа, шумевших на своем загадочном наречии. Но быть может, Фет – в другом смысле – попал и вовремя. Все-таки это свой человек, приятель, сосед по имению и художеству.

Тургенев многое ему рассказал – горькие и тяжелые вещи о себе и Полине. Сам он себя ненавидел: тогда лишь блаженствовал, когда женщина каблуком наступит ему на шею и вдавит лицо в грязь. А в одну горькую и больную минуту выкрикнул («заламывая руки над головою и шагая по комнате»):

– Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной!

Фет возвратился в Париж, но все запомнил. Перебрался осенью и Тургенев – на rue de Rivoli (а с января нанял квартиру 11, rue de l’Arcade). Много стонов мог бы записать Фет за эту зиму, едва ли не труднейшую для Тургенева. Точно бы все тут

соединилось против него, начиная с климата: холода разразились беспощадные.

Случалось в рабочих кварталах, что ночью дети замерзали в колыбелях. Отопление и в порядочных квартирах было ужасное. Тургенев жестоко мерз. Приходилось сидеть за письменным столом в нескольких шинелях. Из-за холодов обострились его недомогания – открылись тяжелые боли в нижней части живота. Не мог не вспомниться отец, Сергей Николаевич, рано погибший от каменной болезни. Известна мнительность Тургенева. В болезнях все казалось ему всегда наихудшим. Толстой, находившийся тогда тоже в Париже, писал о нем Боткину: «Страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением».

Тургенева лечили, прижигали, мучили… Ему предстояла еще, несмотря на мрачные мысли, долгая жизнь. Но, вспоминая о его мученическом конце, более понимаешь и подозрительность: будто острее других чувствовал он в себе страшного врага.

С Виардо ничего не налаживалось. С дочерью тоже нелегко. Поля давно превратилась во французскую Полину, так забыла все русское, даже язык, что не могла ответить отцу, как по-русски «вода», «хлеб», – зато отлично декламировала Мольера. Ей шел пятнадцатый год. С Полиною Виардо она не ужилась, да, может быть, теперь и самому Тургеневу не очень-то хотелось, чтобы она у ней оставалась. Он взял дочери гувернантку, английскую даму Иннис, и втроем поселились они на rue de l’Arcade.

Больной, раздираемый любовными страданиями отец, подросток-дочь, выросшая в чужой стране, в чужой семье полусироткой, полу из милости, характером не из удобных, отца совершенно не знавшая и близости к нему не чувствовавшая, да английская гувернантка – невеселое сообщество.

На душе у Тургенева мрачно. Все не нравится, все не по нем. Не нравится он сам себе, не нравится писание. В настроении, не столь от гоголевского далеком, уничтожает он свои рукописи. «Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет…» – значит, и пусть все насмарку. «Были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали – повторяться не хочется – в отставку!»

Зима 56/57 г., редкая у Тургенева, ничего литературе не дала. Не жизнь была, а прозябание. И то, что не писал, что пал духом и потерял (временно) веру в свое дарование, еще больше угнетало.

И Париж, и парижская жизнь, и литература – все не по нем, все не так. «Я замечаю одно обстоятельство: я ни одного француза не полюбил в течение этой зимы, ни с одним симпатически не

сблизился». «Французская фраза мне так же противна, как и вам – и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским». «Милый Яков Петрович, вы пеняете на меня за то, что я не пишу, а я именно потому не пишу ни к вам, ни к друзьям вообще, что ничего веселого сказать не могу, а жаловаться и вздыхать не стоит. Мне всячески скверно, и физически, и нравственно; но в сторону это! Надеюсь, что мне лучше будет через месяц, т. е. когда я выеду из Парижа. Солон он мне пришелся, Бог с ним!» «Причина этого настроения вам известна: я об ней распространяться не стану. Она существует в полной силе – но так как я через три недели с небольшим покидаю Париж, то это придает мне несколько бодрости».

Тургенев поступил разумно – из Парижа весной уехал. Побывал в Лондоне, а летом попал в немецкий городок Зинциг, близ Рейна, недалеко от Бонна. В Зинциге пил воды, провел месяц. Хотя зимой казалось ему, что он больше ничего не напишет, но как раз тут, в Германии, и родилась «Ася». Старый немецкий городок, липы, виноградные усики, луна, петух на готической колокольне, белокурые девушки, гуляющие по вечерам, одиночество, Рейн – все это очень тургеневское, и, вероятно, очень его окрыляло. «Ася» вполне удалась. Повесть прославлена – действительно, налита поэзией. Может быть, несколько слишком «поэтична» (руины, закаты, луна, виноградники и т. п.). Но в ней есть и черта очень странная. Во всю прозрачность, остроту «поэтических» чувств введен резкий «мотивчик»: рассказчик приехал в старый городок потому, что искал уединения: «я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой». Эта вдова «сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту». Вдова упорно проходит через всю «Асю», служит центром раздражения и насмешки, претерпевает явную авторскую нелюбовь («не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове», «в течение вечера ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице» и т. д.). Повесть построена так, что чувство к вдове вытесняется – ощущением поэзии места, тихой простой жизни, образом самой Аси. Как будто надо отделаться от тяжелого и дурного – это и достигается в мирной, старомодной стране. Будто и горькая радость есть в том, чтобы вдову опошлить, принизить («краснощекий лейтенант…»).

Не так просто дается смирение. Не одна поэзия старой Германии в Тургенева вливалась. Острые, неизжитые страсти рождали карикатуру. (На подлинник умышленно не походившую. Но тем язвительнее укол.)

Он провел в Зинциге весь июль. Графине Ламберт так писал:

«Я дурно себя чувствую и должен отсюда ехать, куда – не знаю сам». Вскоре попал в Булонь, и продолжает то же письмо: «Да, графиня, я решил воротиться, и воротиться надолго. Довольно я скитался и вел цыганскую жизнь».

Виардо же тем временем родила сына Поля. Тургенев по этому случаю написал ей письмо неестественно восторженное. «Hurrah! Ура! Lebehoch! Vivat! Ewiva! Zito!»… и даже восклицание по-старокельнски, по-арабски. Все оно вообще болезненно, в настоящей радости так не пишут. Боль, которую хочется заглушить театральным восторгом, в нем не скрыта.

Г-жа Виардо родила сына 20 июня 1857 г. Фет посетил Тургенева, только что приехавшего, в сентябре 1856-го – ровно девять месяцев тому назад… Дальше все тайна. Поль мог быть сыном Тургенева, пока тот не узнал о Шеффере. Мог быть и не его сыном. Во всяком случае, тут для Тургенева была драма.

* * *

В августе он попал в Булонь, на морские купанья. Затем – Париж. Далее все тот же ветер занес его на горестное пепелище – в Куртавенель. Отсюда пишет он Некрасову: «Ты видишь, что я здесь, т. е. что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня». Некрасов был практический и крепкий человек – знал, как в таких случаях надо действовать. Знал бы и покойный Сергей Николаевич Тургенев. Иван же Сергеевич, приехав туда, куда не надо, мог только вздыхать: «Так жить нельзя. Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет, ну и не надо никакого».

Тем не менее после тоски Куртавенеля и ему удалось сделать правильный шаг: вновь двинулся он в путешествие, выбрал Италию, Рим. Лаврецкий, в сходном положении, поступил так же. («…Он поехал не в Россию, а в Италию». «Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женой».)

Тургенев в Италии уже бывал – давно, семнадцать лет назад, студентом. Тогда жилось легко, светло. Все – впереди. Теперь он – человек с рано поседевшими кудрями, нездоровый, упорно думающий о смерти, одинокий, с разгромленным сердцем. Но Италия осталась прежней и не обманула.

Боткин, с которым он отправился, не мог заменить Станкевича. Но оказался хорошим товарищем. Они вместе подъезжали к Риму на лошадях, в дилижансе, и первый вид на него открылся с Monte Mario, а вступили через Porta del Popolo.

Тургенев остановился в Hotel de l'Angleterre, на via Bossa di Leone – там они и обедали с Боткиным.

Началась жизнь, какую не мог не вести Тургенев, как бы себя ни чувствовал: музеи, галереи, катакомбы, знакомство с художниками, Александр Иванов, заканчивавший свою знаменитую картину, поездки в Альбано, дикое Rocca di Papa, Фраскати, где вечерняя заря заливала их «нестерпимо пышным заревом, пылающим потоком кровавого золота». Вилла д'Эсте, книги, классики…

Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала – не отвечала на письма. Но он переписывался с друзьями – Анненковым, графиней Ламберт. «Природа здешняя очаровательно величава – и нежна, и женственна в то же время. Я влюблен в вечнозеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы. Увы! я могу только сочувствовать красоте жизни – жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой». Как так стряхнуть, если, сидя на Пинчио, увидав проезжающую в коляске даму, – вдруг бросает он собеседника и как сумасшедший кидается догонять экипаж: показалось, что это Полина.

Но он сам понимает, что нечто надо закончить. «В человеческой жизни, – пишет графине Ламберт, – есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать – и либо придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело».

Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения. Осень была чудесна. Все синеющие небеса, вся роскошь Испанской лестницы с красноватыми башнями Trinita del Monti, величие Ватикана, задумчивость базилик, тишина Кампаньи, фонтаны, Сивиллы, таинственная прахообразность земли – все говорило об одном, в одном растворяло сердце. У Тургенева были глаза, чтобы видеть. Были уши, чтобы слышать. «Рим удивительный город: до некоторой степени он может все заменить: общество, счастье, даже любовь». Вечность входила в него, меняла, лечила. Делалось это медленно. Он и сам не все видел. Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли – о судьбе, смерти, бренности именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал.

Это видно в самом его творчестве. Очень важно и очень хорошо, что он в Риме задумал (и частию написал) «Дворянское

гнездо». В этих страданиях создал тишайший и христианнейший образ Лизы. Той зимой ему приоткрылся просвет, могший дать утешение: путь религии. Для себя он, к несчастию, его не принял. Но с любимою героинею по нем шел, значит, как-то, в чужой жизни, художнически, но изжил. Изживал в «Дворянском гнезде» и другое. Вся история Лаврецкого и жены, изменившей ему с белокурым смазливым мальчиком лет двадцати трех, – еще не остывшее личное. По напряжению, резкости эти страницы «Асе» не уступают. «Изменница» и соперник тоже унижены (там «краснощекий баварский лейтенант», здесь ничтожный Эрнест). Лаврецкий, узнав об измене Варвары Павловны (дело происходит в Париже), взял карету и велел везти себя за город. И вот ночь, которую проводил он в окрестностях, останавливаясь и всплескивая руками, то безумствуя, то странно смеясь, и этот «дрянной загородный трактир», куда в отчаянии зашел, взял там комнату, сел у окна и, судорожно зевая, восстановляя воображением весь свой позор, просидел до утра… это еще все не смирение. Но эпизод потонул – в другом. Общий тон – Лиза, тишина, благообразная няня, милая тетушка Марфа Тимофеевна, зеленое безмолвие деревенской России, последняя заря дворянского быта и (за сценой) медленный монастырский перезвон.

«Дворянское гнездо» чудесно проникнуто старой Россией. Приближались шестидесятые годы. Пора было прощаться с ней – Тургенев распрощался щедро, всеми средствами таланта зрелого, в самом цветении (хотя прошлой зимой в Париже ему и казалось, что все кончено). Для себя лично он прощался в романе с «тревожной» полосой жизни, когда есть надежды. Он отходил от них, пытался отходить от «счастия» и как бы обрекал себя на бесприютную художническую жизнь. Рим и Италия помогали ему в этом.

Но не один Рим и не одна Италия. «Дворянское гнездо» слагалось небыстро. В Италии родилось основное зерно его. Здесь больше думал Тургенев о нем, чем писал. Писание шло иначе.

Весной 1858 г. он тронулся из Рима. Остановился во Флоренции, где успевал подолгу спорить с Аполлоном Григорьевым, остановился в Вене: там лечил его профессор Зигмунд, прописавший воды. В Дрездене встретился с Анненковым, в Лейпциге слушал Виардо и писал в Париж дочери, что из-за этого задерживается. Побывал затем и в Париже, в Лондоне. Летом же оказался у себя в Спасском.

На этот раз довольно близко подошел к нему Фет, у них получился союз поэтическо-охотницкий. Фет читал свои стихи, переводы. Тургенев следил по подлиннику, критиковал, одобрял,

смотря по качеству работы. Затем закатывались они на охоту, как истинные баре и художники. Вперед отправлялась тройка с охотником Афанасием, поваренком и всяческой снедью. На другой день выезжал тарантас, тоже тройкой, – Тургенев с Фетом. Ехали вдаль. Например, днем из Спасского, вечером в городишке Волхове ночлег, на таком постоялом дворе с иконами в горнице, что хозяйка не позволяет тургеневской Бубульке и в комнату войти. Приходится долго доказывать, убеждать, что это особенная собака, деликатная, не «пес», никакой нечистоты от нее быть не может. Следующий день опять все едут, ночуют у знакомых помещиков – уже в другой губернии, и на третий день забираются в глушь Полесья, где тетерева гуляют по вырубкам как куры в курятнике, – там начинают поэты свои гомерические охоты. Наперебой палят из шомпольных ружей, у Тургенева заряды приготовлены заранее (!), и это огорчает Фета, которому больше приходится возиться с насыпанием в ствол пороха, дроби. Настрелянных тетеревов на привале потрошат верные слуги, обжаривают, набивают можжевельником – лишь в таком виде можно довезти их домой.

Печет солнце, льют дожди, охотники укрываются под березами, но все же мокнут, потом сохнут, вновь стреляют, соперничают в ловкости стрельбы, усталые заваливаются спать на сеновалах, утром умываются ледяною водой, днем лакомятся дичиной, удивительной земляникой в молоке, которой Фет пожирает целые миски, раскрывая рот «галчатообразно»… Россия дышит на них дыханием лесов, полей, всей страшной силой необъятности своей.

В жизни этой, между охотами и чтением стихов, среди полей Новоселок или в парке Спасского, то в чувствах горестных, то в относительном успокоении дозревает «Дворянское Гнездо».

Едет Тургенев с Фетом, например, в дальнее имение Тапки. Старый слуга, стерегущий запертый дом, отворяет его. Они ночуют среди безмолвия, глубокой тишины, зелени и меланхолии запущенного места: Лаврецкий приехал к себе в Лаврики в таком же настроении «отказа» и смирения. (Именно тут он и будет потом удить рыбу с Лизой.)

В июле Тургенев уже работает над романом, рождающимся под двойным благословением – Италии и деревенской России, рождаемым под крестом горя, одиночества, неудачной любви. Дорого обошлась поэту слава романа…

Но если бы в то время посмотреть на Тургенева со стороны, не всякий раз и угадал бы, что с ним: он бывал временами и очень весел, по-детски шумлив. Например, занимаются они с Фетом тем, что наперегонки ходят вокруг клумбы – Тургенев

горд, что идет быстрей «несчастного толстяка с кавалерийскою походкой», – и на десятом кругу обгоняет Фета на полклумбы. Или: Фет читает ему свой перевод из Шекспира. Тургенев следит по подлиннику. В одном месте Фет переводит (говоря о сердце): «О, разорвись!» Тургеневу не нравится. Фет пускает вариант: «О, лопни!» Тургеневу опять не нравится. «Тогда, – говорит Фет, – как заяц, с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: “Я лопну!”»

Тургенев прямо с дивана, разразившись хохотом, бросается на пол, кричит и ползает как ребенок от восторга.

Дело происходит у Фета в имении – на крик вбегают дамы, не менее, вероятно, изумленные, чем некогда в Париже Наталия Герцен и Тучкова при театральных упражнениях Тургенева. А рядом с этим и под всем этим Лаврецкий в последний раз приезжает в дом Лизы Калитиной, где быстро отцвел его роман. Сидя на скамейке, под старыми липами, смотрит на беготню, шум, радость молодежи – Лаврецкий, вкусивший уже (ему сорок лет!) смирения зрелости, сознания, что жизни со счастием для него быть не может.

В это время с особенной остротой переживал, пережевывал Тургенев дела своего сердца: как боли физические, то обострялась, то ослабевала тоска. «Дворянское гнездо» – первое временное ее преодоление. (Как раз летом 1858 г. скончался Ари Шеффер, друг Полины. Тургенев нашел в себе силы тепло и задумчиво написать ей о его смерти.)

Осенью он повез роман в столицу. Успех на этот раз оказался решающим. Толстой еще не написал «Войны и мира». Достоевский находился в ссылке.

Соперников Тургеневу в литературе не было.

# Шестидесятые годы

…Тургенева всегда раздражала неустроенность и «отсталость» России – деспотическое правительство, крепостное право. С ранних лет стал он западником. Преклонился перед более культурным государственным устройством, перед большей свободой общества. Настолько преклонился, что иной раз недалеко оказывался от заурядного либерала. Величайшей глубины России – ее религий – почти не чувствовал. Вернее, разумом не признавал: некий «Вестник Европы» заслонял ему ее (а сердце по временам давало удивительные образы святой Руси). Он Гоголя мало знал лично. Литературно ценил его высоко, но при близком знакомстве, конечно, разошелся бы. Славянофилов всегда не любил… Но с Аксаковым-патриархом находился в добрых отношениях – правда, больше из-за охоты. Собирался сблизиться с Константином Аксаковым в пятидесятых годах, да не вышло. Вера Сергеевна Аксакова записала о Тургеневе, навещавшем их в Абрамцеве, тяжелые вещи: он казался ей недуховным, лишь слегка склонным к «душевности». Человеком ощущений, утопающим в гастрономии. По ее взгляду, он и художество чувствовал физически – вроде вкусного блюда. Духовное же шло мимо.

В семье Аксаковых была теплота, свет, связанные с их глубокохристианским складом. Тургенев несколько иной – прохладней, это верно. Сойтись они не могли. Но Вера Сергеевна не права, отрицая в нем запредельный порыв. Только мистика его не православна. Магическое, таинственно-колдовское наиболее его влекло.

Из-за «разумного» своего западничества разошелся Тургенев со многими писателями, крупнейшими: Толстым, Достоевским, Тютчевым, Фетом, даже с Герценом (не считая славянофилов). Тут оказался упорен, последователен: как западная Виардо прошла через всю его сердечную жизнь, так тепловатый либерализм не оставил его ума. Он признавал очень правильные и разумные вещи: гуманность, просвещение, свободу, «дельных» и «честных» людей, «надо работать», все потугинские благонамеренные рассуждения, вплоть до пользы железных дорог и необходимости реформ. Но не этим истинно себя украсил.

Время шло. Выигрывала ставка Тургенева: наступили шестидесятые годы, сменялось царствование императора Николая более мягким – Александра II. Готовилось освобождение крестьян, судебные реформы. Стали появляться и имели успех люди, возросшие на французской революции и европейском

позитивизме. «Дворянское гнездо» уходило. Нельзя было его задерживать. Жизнь надвигалась, двуликая и трагическая. Одной рукой руша рабство, давая справедливый суд, отменяя шпицрутены, другой – внося яд мелких идеек, создавая ничтожества, улицу, шумно лезшую в литературу. Шестидесятые годы! Молодость наших отцов, «время великих реформ» – и оплевывания Пушкина, непонимания Толстого, Фета, Достоевского, время торжествующего нигилизма, Базаровых, «Бесов», Нечаева.

Странно отозвались шестидесятые годы на судьбе Тургенева. Ему хотелось отвечать времени. Толстой и Достоевский шли наперекор и – одолели. Тургенев более поддавался, да как раз этих времен и ждал, правда в более мягком облике (как мы революцию). Дождался его же и задушивших. Частью и талант свой направил на трудные, художнически невыгодные пути. Получил здесь шумную славу и великие поношения.

Первый его «общественный» роман – «Накануне», вещь с большими поэтическими достоинствами и некоей зажигательностью. «Тургеневская» девушка выходит наконец из «гнезда», бросает дом, родителей и, увлеченная борцом за освобождение родины, отдается подвигу.

Тургенев попал здесь в точку: не одна провинциальная девица, сходясь с каким-нибудь нигилистом, воображала себя Еленой. Роман вызвал одобрение одной части публики (молодежь, интеллигенция), недовольство другой. Из светских друзей Тургенева графиня Ламберт так порицала произведение, что автор собирался рвать рукопись.

Главные огорчения ждали его, однако, не справа – от графинь, а слева – от критики. Тургенев «природно» не нравился новой породе в литературе – маленьким, бесталанным Белинским. Удивительное дело: они появились в том самом «Современнике», который Тургенев и создавал. За двенадцать лет «Современник» занял в литературе место крупное. Его редактором был Некрасов – замечательный, высокоталантливый плебей из дворян, Некрасов острый и умный, оборотистый и темный, пронзительный и двусмысленный, почти гениальный в народной сути своей, порочный, но и рыдательный, проживших! нечистую жизнь, глубоко страдавший, ловивший момент и невыигравший, поэт, журналист, делец, человек, которого первые люди времени называли «мерзавцем», – и автор «Власа», «Рыцаря на час»… Нет в русской литературе фигуры, более дающий облик славы и падения, возношения и презренья.

Тургенев долго был с ним приятелем, на «ты», писал ему вещи интимные. Шестидесятые годы развели их. Развело

«Накануне» – будто бы внешне, но истинная причина глубже. Некрасов вполне объединился с «семинарами», Тургенев навсегда остался художником-барином. Тургенев любил Фета, выдвигал Тютчева – тончайшие блюда поэзии. От некрасовских стихов отзывало для него тиной, «как от леща или карпа». В зрелом развитии эти два человека не могли быть вместе.

И не зря пришло «внешнее» (то, что «Накануне» со всею своею зажигательностью оказалось не в «Современнике», где писали Чернышевский и Добролюбов, а в «Русском вестнике» у Каткова). Новых людей, «разночинцев», весьма лево устремленных, не мог не раздражать Тургенев своею барственностью, громадной просвещенностью, избалованностью, красноречием, французским языком салонов XVIII века, изяществом одежды, гастрономией, легким пришепетыванием – может быть, небрежной снисходительностью иногда, тоном «сверху вниз». А его задевало плебейство их, невоспитанность, грязные ногти, самоуверенность, иногда прямо наглость. (Добролюбов – один из наиболее порядочных среди них – мог позволить себе фразу: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить», встал и перешел на другую сторону комнаты.)

«Накануне» появилось в январской книжке «Русского вестника» 1860 г. – и тотчас начался обстрел в «Современнике». В мартовском номере статья Добролюбова, где утверждалось, что Тургеневу не хватает таланта для такой темы и вообще нет «ясного понимания вещей». В апрельской – насмешки над только что появившеюся «Первою любовью». (Чернышевский же упрекал Тургенева в том, что в угоду богатым и влиятельным друзьям он окарикатурил Бакунина в «Рудине».)

Нравы юмористики того времени невысоки. В «Искре» Курочкин писал: «Людская пошлость заявляет, что в следующем году она будет угощать почтеннейшую публику – Фетом, балетом, паштетом и вновь – Бертами, Минами, Фринами». «Свисток» (юмористический отдел «Современника») глумился над жизнью Тургенева. Первый русский писатель переживал самые черные времена сердца, а некрасовские «писатели» смеялись над тем, что он «следует в хвосте странствующей певицы» и «устраивает ей овации на подмостках провинциальных театров за границей». К концу года они так осмелели, что в объявлении о подписке на «Современник» 1861 г. заявили, что отказываются от сотрудничества автора «Записок охотника», ибо «расходятся с ним в убеждениях» (Некрасов только что заманивал его к себе, предлагал большие деньги за роман и т. п.!). И это лишь начало. Тургеневу предстояло пройти сквозь строй: в 61-м году он окончил «Отцов и детей». На следующий год роман появился в

том же «Русском вестнике».

В тургеневской литературной жизни ничего не было равного «Отцам и детям» по шуму. «Тихий» Тургенев оказался вполне на базаре. Причины тому ясны. В романе клубилась, кипела современность. Отойдя от недр своих, питавших в нем поэта, Тургенев попробовал изобразить «героя нашего времени» внешне. Лермонтов не то чтобы **писал** Печорина, Печорин сам всплывал из него. Тургенев дал Базарова «со стороны», точный, верный и умный портрет. Но сердце его не могло быть с первым в нашей литературе большевиком. Не было и великого гнева Достоевского. Тургеневу просто хотелось быть справедливым и наблюдательным. Он отнесся к Базарову как ученый – глубины Тургенева этот Базаров, нигилист и отрицатель, никак не задевал.

Роман получился замечательный, но без обаяния. В нем новый человек показан ярко (хотя и смягченно)… и ни тепло от него, ни холодно. Вернее – прохладно, хотя Базаров умирает и очень трогательно, самая смерть его волновала автора.

Поднялись вопли. Молодежь обиделась. Разные гейдельбергские студенты собирали собрания, автора судили, выносили резолюции, писали ругательные письма. «Современник» был в восторге, что можно лишний раз лягнуть. Некий Антонович «тиснул» статью «Асмодей нашего времени» – с бранью на Тургенева.

Автор страдал, пытался что-то объяснить, но ничего, конечно, изменить не мог: не подходил он к людям, наполнявшим своим шумом, нигилизмами, «эмансипациями» преддверие освобождения крестьян. В некотором роде он их и взращивал. Теперь грызли его они же. Они же и отвлекали от влажного, женственного в литературе – истинно-тургеневской стихии.

* * *

Елизавета Георгиевна Ламберт (дочь графа Канкрина, в замужестве за блестящим адъютантом молодого наследника – гр. Иосифом Ламберт) появилась в жизни Тургенева к концу пятидесятых годов, в самое трудное для него время.

Известно о ней мало. Виардо много знаменитее ее, да и то виардовских писем не сохранилось. Елизавету Георгиевну можно почувствовать лишь сквозь письма Тургенева (к ней). Это дает ее облику черту летейской тени. Ее не видно и не слышно. Она за сценой. Говорит всегда Тургенев. То, что говорит и как говорит, – косвенно, нежно и туманно изображает ее самое.

Была ли она красива? Сомневаюсь. Была ли счастливой,

довольной? Бесспорно нет. Натура благородная и строгая, чистая и незадачливая, явилась она для Тургенева «утешительницей», изящным другом. Ей да верному своему Анненкову писал он самые задушевные о себе вещи еще из Италии, в 57–58-м гг. В Петербурге (тогда же и в шестидесятых годах) часто бывал у нее на Фурштадтской – целыми вечерами сидел в будуаре, и беседовали они, – об этих свиданиях не раз вспоминает он почти с нежностью. Нечто от бледного, дорогого дагерротипа есть в ощущении от графини Ламберт – всегда с присутствием грусти. Женщина с какими-то своими сердечными ранами. Когда болели раны Тургенева, он в ней находил сотоварища. Одинаково томившиеся, они хорошо понимали друг друга. Решали вопрос о жизни «без счастия» – вечный и безнадежный вопрос! – но Тургеневу приходилось еще труднее: у графини, по крайней мере, была вера (не единственный ли вблизи него верующий человек, со сложною внутренней жизнью?). Но и ее положение не совсем легко. Ее дружественность к нему готова была, временами, прорваться и в большее: но не встречала ответа.

Близость душевная была довольно большой. «Помните, как вы плакали однажды? Я напоминаю это вовсе не для того, чтобы подтрунить над вами, что ли, нет, сохрани Бог. Не слезы ваши меня трогали, а то, что вы могли и не стыдились плакать» – светская женщина, очень чинная, при нем, однако, плакала. Это писано в 1859 году, когда сам он, отмучившись первыми, горькими страданиями из-за Виардо, все-таки никак смеяться не мог.

Он живет то в Спасском, то во Франции, пишет из Куртавенеля, из «грязного городишки Виши», из Москвы, из самого Петербурга. Душевно как-то «мотается», пристанища у него нет, тонкие руки графини Ламберт для него некоторое успокоение (Тургенев любил красивые женские руки). Облегчало и то, что он видел участие к себе прекрасной, изящной женщины (но не той, которая нужна!).

«С радостью думаю о вечерах, которые буду проводить нынешнею зимою в вашей милой комнате. Посмотрите, как мы будем хорошо вести себя, тихо, спокойно – как дети на Страстной неделе. За себя я отвечаю».

Значит, не всегда было «тихо и спокойно»? Он как будто сам чувствует смелость фразы и добавляет: «Я хотел только сказать, что вы моложе меня».

Это письмо как раз из Куртавенеля. Там он созерцал гроб своего прошлого. «Не чувство во мне умерло, нет, но возможность его осуществления. Я гляжу на **свое** счастье, как я гляжу на свою молодость, на молодость и счастье другого; я здесь, а все это там;

и между этим здесь и этим там – бездна, которую не наполнит ничто и никогда в целую вечность. Остается держаться пока на волнах жизни и думать о пристани, да отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища по чувствам, по мыслям и, главное, – по положению (мы оба с вами уже немного ждем для себя), крепко держать его руку и плыть вместе, пока…»

Вот что в нем было, когда задумывалось «Накануне», когда близились шестидесятые годы, освобождение крестьян, осуществление его же собственных надежд и когда начинался весь шум его романов с «общественным» содержанием.

В октябре того же 59-го г. получил он в Спасском от графини письмо более нежное, чем обычно. («Какое странное, милое, горячее и печальное письмо – точно те короткие, нешумные летние грозы, после которых все в природе еще более томится и млеет».) Здесь же – первый упрек (вернее – мягкое указание), что он начинает с нею скучать. Тургенев это отвергает. Нет, не скучает нисколько. И не может так быть, ибо есть на свете только два существа, которые он любит больше, чем ее: «одно потому, что она моя дочь, другое потому… Вы знаете, почему».

Переписка оживляется, разрастается. Вот остановился Тургенев в Москве, у приятеля своего Маслова, в Удельной Конторе на Пречистенском бульваре (чудесный особняк!). Морозы, ухабы, милый московский иней на деревьях, розовое солнце… Он захворал, у него горло простужено. Маслов почтительно за ним ухаживает. Конечно, Тургенев мнителен и избалован – так ясно чувствуешь все эти пледы, в которые он кутается, туфли, микстуры, все его страхи, томные жалобы, возню с докторами. Видны и завсегдатаи: Фет, Борисов, Николай Толстой. В промежутках успевает он познакомиться с двумя-тремя дамами («два, три интересных женских существа»). Держит корректуру «Накануне» – это январь 1860 года. «Я вас не забывал все время – и все-таки не писал вам. Примиряйте, как умеете, это противоречие». В сущности, графиня не могла жаловаться. Он и с Виардо иногда так поступал: помнил, но не писал… Правда, за это и поплатился.

Из Москвы вернулся он в Петербург и все кашляет, все хандрит, возится с докторами, не может приехать к Ламберт – не выпускают на улицу; переписывается с ней записочками – не без элегии и кокетливости. Она рассказывает ему о своих снах, называет балованным ребенком… а он успел уже познакомиться «с одной молодой милой женщиной восемнадцати лет, русской, рожденной в Италии, которая плохо знает по-русски» – и сейчас же предложил ей читать вместе Пушкина. (Очень вообще любил читать вслух дамам.)

Но в Петербурге долго не засиживается – опять Запад – Париж, Соден, Висбаден. Виардо все время в тени, за сценой, все время больное место. Тургенев совсем не на якоре, его покачивает на зыби, – один ветер тянет туда, другой сюда, ветры несильные и никак его не задевающие. Но главное направление (лишь дружеское) все же на графиню Ламберт. (От скуки, однако, болтает часами в Содене с соседкой. Провожая «одну даму» в Швальбах, заехал в Висбаден. Дама эта – писательница Марко Вовчок. С нею он тоже, конечно, немало разговаривал и читал.)

Так и следишь, живешь двумя ушедшими жизнями. Одна в другой отражается. Вот опять зима, начинается Париж, всегда для Тургенева тяжелый, незадачливый. Растравляется сердце, вновь близок источник страданий, вновь горечь, глубокая грусть и серьезность. «Да, сверх того, на днях мое сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но, расставшись с ним, я увидал, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так жить еще можно. Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания» (декабрь 1860-го).

Приближалось освобождение крестьян (манифест 19 февраля 1861 г.) – то, из-за чего давал Тургенев некогда аннибалову клятву. Под звук колоколов, возвещавших освобождение, писал он: «Несомненно и ясно на земле только несчастье». К этому надо прибавить, что только что выпустил «Первую любовь» – уж действительно «для себя», не для публики: вовремя вспомнил историю юношеской своей, высокой и неразделенной любви.

Графиня Ламберт собралась в Тихвинский монастырь под Калугою. Жила там некоторое время, занесенная снегом, в тишине служб, размеренною, чистой монастырской жизнью. Эту жизнь Тургенев не совсем понимал. Она казалась ему «холодной, печальной», хотя и находил он ее «приятной». Как человек глубоко светский, представлял себе монашество могилой (не знал, что в духовной жизни есть именно радость). Но успокоение, так самому ему нужное, все-таки чувствовал.

«Я уверен, что самый стук башмаков монахини, когда она идет по каменному полу коридора в церковь молиться, ей говорит что-то… И это что-то, если не убивает, не душит человеческое, нетерпеливое сердце, должно дать ему невыразимое спокойствие и даже живучесть».

Он был гораздо более одинок, чем графиня. Она, как и те скромные тихвинские монахини, знала, что кроме несомненности несчастия есть несомненность Истины.

* * *

Жизнь дочери Тургенева слагалась неестественно. Рожденная от «рабыни», девочка сразу оказалась не к месту. Рано оторвали ее от матери, родины. Дом Виардо не дал ласки. Отца она мало знала. Он ничего для нее не жалел, учил, воспитывал, нанимал гувернанток – все это считал «долгом»; так же, через несколько лет, выдал замуж. В сущности же она ему ни к чему. Все его заботы о ней внешни, ничем не согреты. А потому бесполезны.

Подросши, Полина маленькая стала ревновать отца к Полине взрослой. Его это раздражало. Он писал ей ласковые письма, в которых не так много ласки, и нередко – упрек. Графине же Ламберт признался, что между ним и дочерью («хотя она и прекрасная девушка») мало общего. Она не любит ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак, и он относится к ней, как к Инсарову: «я ее уважаю, а этого мало».

Дочь была в некотором смысле грехом Тургенева – в этом грехе он держался безупречно… но сердца своего не дал. Оттенок кары лег на их отношения.

В мае 1861 г. гостил у Тургенева в Спасском Толстой. (Друг друга они не любили, но и влекло их друг к другу.) Собрались в гости к Фету, незадолго пред тем купившему именьице Степановку – там выстроил он новый дом и обзаводился хозяйством. Приехали в добром настроении. Отправились с хозяином в рощицу, лежали на опушке, много оживленно разговаривали. Затем пили чай, ужинали – все как полагается. Остались ночевать. Фету с женой пришлось даже потесниться: дом был невелик.

Утром вышли Тургенев с Толстым к чаю, в столовую… быть может, встав с левой ноги (оба и вообще-то капризные). Уселись – Тургенев справа от хозяйки, Толстой слева. Бородатый, загорелый Фет с узкими глазками, полный посевов, забот о вывозе навоза, о каких-нибудь жеребятах, – на противоположной стороне стола. Жена Фета спросила Тургенева о его дочери. Он стал расхваливать ее гувернантку, г-жу Иннис, которая просила его установить точную сумму, какую дочь может расходовать на благотворительность. Кроме того, она заставляет ее брать на дом белье бедняков, чинить и возвращать выштопанным.

Толстой сразу рассердился.

– И вы считаете это хорошим?

– Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой.

В Толстом именно в эту минуту в свежесрубленной, пахшей сосною столовой Фета проснулось тяжелое упрямство, связанное

с неуважением к собеседнику.

– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

Тон его был невыносим. Любил Тургенев или не любил свою дочь – это его дело. Толстой же посмеялся над бедной Полиной, да и над отцом. Этого Тургенев не мог вынести.

Дальше все поразительно – для Тургенева, мягкого, светски воспитанного, почти непонятно. Будто в одно из редких мгновений прорвалась в нем материнская кровь (тяжелый костыль, которым чуть не убила Варвара Петровна дворецкого).

После возгласа:

– Я прошу вас об этом не говорить!

И ответа Толстого:

– Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден! – Тургенев в полном бешенстве крикнул – не дворецкому, а будущему «великому писателю земли русской»:

– Так я вас заставлю молчать оскорблением!

Ноздри его раздувались, он схватил голову руками и «взволнованно зашагал в другую комнату». Через секунду вернулся и извинился пред хозяйкой за «безобразный поступок», прибавив, что глубоко в нем раскаивается.

Бедный Фет попал в переделку. Оба знаменитых гостя считались его друзьями. За минуту все было мирно, весело, майский ветерок похлопывал парусиной на террасе, яровые лоснились за окном, грач ухабами летел против ветра… Вышли бы на воздух, посмотрели бы коров, телят. А теперь… слава Богу, что не зашло еще дальше!

Тургенев уехал тотчас. Толстого пришлось отправлять отдельно. Лошадей не было, экипажа тоже. Но это, конечно, мелочи. Их нетрудно преодолеть. Хуже получилось по существу. Два лучших русских писателя рассорились на семнадцать лет, обменялись оскорбительными письмами, дело чуть не дошло до дуэли… из-за чего? Бедная Поля встала между ними, разделила так: Тургенев по внешности оказался не прав, но внутренно его позиция гораздо лучше – он вскипел, сказал ненужное и извинился. Сам страдал из-за своей резкости. В положение праведника, не вызывающего сочувствия, попал Толстой, требовавший дуэли после извинения, вообще «удовлетворения» своим интересам, – слава Богу, он его не получил.

Из Богуслава, где остановился на ночлег, выехав от Фета, посылал Толстой домой за ружейными пулями. Предлагал Тургеневу дуэль «на ружьях», чтобы она кончилась непременно как следует. Тургенев принял дуэль только на европейских

условиях, т. е. на пистолетах. Тогда Толстой написал ему грубое письмо. В дневнике же записал о Тургеневе… «Он подлец совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его».

В то самое время, когда Тургенев грыз себя за несдержанность, а Толстой восхищался своей добротой, некрасивая Поля Тургенева разрисовывала во Франции какие-нибудь благонамеренные кипсэки, помогала бедным, училась петь, подчинялась добродетельной г-же Иннис, ненавидела Виардо. Никак не могла она думать, что из-за нее в той России, которую она совсем забыла, отец так взволновался. Толстого она вовсе не знала. Ее гораздо более занимало то, пустят ли ее потанцевать на бал или нет.

* * *

Тургенев отписал о ссоре графине Ламберт. Он признавал свою вину. Дело же в целом объяснял давней нелюбовью, отталкиванием от Толстого. Неизвестно, что отвечала графиня. Но их отношения вообще несколько менялись. Она сама переживала тяжелые потрясенья: смерть единственного сына, смерть брата, собственные болезни. Раньше она являлась «утешительницей». Теперь ее самое надо было утешать и поддерживать – что Тургенев с дружеской добротой и делал. Но ей все казалось, что мало. Что он начинает с нею скучать, что ее печаль «стеной стала» между ними. Сама она замыкалась, уходила в религию. Он казался ей «преисполненным земной жизнью и преданным ей». Тургенев отвечал, что если не успел приникнуть к неземному, то земное все давно ушло от него. (По крайней мере, так ему казалось.) «Я нахожусь в какой-то пустыне, туманной и тяжелой».

К неземному приникнуть, как графиня, он и вообще не мог. Не был верующим и скорбел об этом, именно теперь, видя, с каким достоинством переносит свои беды графиня (в человеческом, однако, утешении тоже нуждавшаяся). К христианскому ее смирению относился почти благоговейно. Но себя христианином не считал. Или, вернее, не называл. Христианскими же качествами души и высокими тяготениями обладал. «Имеющий веру имеет все, и ничего потерять не может; а кто ее не имеет, тот ничего не имеет» – это слова Тургенева. «Ничего не хотеть и не ждать для себя и глубоко сочувствовать другому – это и есть настоящая святость». Не видя последнего в себе, он чрезвычайно ценил его в графине. Это и ставило его в

положение скромности.

Ему самому смирение было необходимо. Трудности шли отовсюду. Нападки за «Отцов и детей» превзошли все возможное. На Тургенева действовали они болезненно. Свою правоту он знал. Характером же достаточным не обладал, как-то подавался, падал духом. Будучи избалованным, слишком любил любовь и поклоненье. Пробовал возражать. Кажется, не всегда был достаточно тверд с молодежью. В общем же ему казалось, что он устарел, что новое поколение не признает его и ненавидит. В награду за труды, седины, годы – получал поношенья. Ему хотелось тишины, мира, света – и не хотелось России. В эти годы он сильно отходил от Родины.

А с другой стороны: прежнее, куртавенельское с Виардо ушло навсегда. Надо было свыкаться с иным. Здесь он, по-видимому, успел больше, чем в литературе. Та струйка смирения, что впервые открылась в год «Дворянского гнезда» через Лизу, ширилась – может быть, и не без влияния графини Ламберт. Разумеется, до того настроения, в котором писала она ему из Тихвинского монастыря, он не доходил. Но одно то, что мог написать: «Глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо, я так же мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною, как будто бы я был современником Сезостриса» – уже говорит нечто. Многое в нем менялось. Что-то он мог принять, что-то простить… Сердце растоплялось. Но Виардо еще вдали. Писем от нее нет. Ее самое он видит, но как-то урывками.

А в России шел праздник. Священники читали с амвонов: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ» – слова освободительного манифеста. Многие, среди них сам Тургенев, могли с радостным волнением повторять «Ныне отпущаеши» – сбывалось то, из-за чего давались аннибаловы клятвы. И хоть сбывалось неуклюже, тягостно, шершаво, иногда с насилием, неодобрением и даже противлением, все же шла новая Россия. Александр II знал и ценил Тургенева, зачитывался «Записками охотника». Доля Тургенева в освобождении рабов бесспорна. Освобождавшуюся Россию приветствовал он всем сердцем. Россия ответила ему свистом.

# Баден

К концу пятидесятых годов у Полины Виардо стал пропадать голос. В глюковском «Орфее», которого она некогда создавала, теперь ей больше приходилось играть, чем петь. Это кажется странным. Виардо не исполнилось еще сорока. При силе ее натуры, при всем правильном, спокойном складе бытия она довольно рано выбывает из строя. Как женщина долго еще хранит обаяние. Как мать – щедра, плодовита: к этому времени у нее четверо детей – Луиза, Клавдия (Диди, любимица Тургенева, но вряд ли его дочь), Марианна и сын Поль, родившийся летом 57-го года. Может быть, у ней появилась седина. Но женщина, о которой в шестьдесят лет говорили, что в нее можно еще влюбиться, в глубокой старости не потерявшая бодрости, живого блеска выпуклых, черных, редкой красоты глаз, раньше всего сдала именно в искусстве. Она чуть не на тридцать лет пережила Тургенева и мужа… и так рано отцвела в пении.

Она встретила судьбу мужественно, играть в прятки не стала. В унизительное положение себя не ставила и свистков не дожидалась. Пока могла – гремела славою. Когда инструмент ослабел, отступила. Что при этом переживала – понятно. Но вряд ли ныла, плакалась. Действия Полины Виардо были всегда разумны, ясны и решительны.

Оставаться в Париже, видевшем ее триумфы, не хотелось. Если меняется жизнь, пусть изменится место, люди, даже язык.

Она выбрала Баден. Был и хороший предлог бросить Францию: она не любила Наполеона, отрицала его режим (как и муж, как Тургенев), могла объяснять переезд преимуществами Германии. В небольшом, изящном городе-курорте можно жить тихо, но среди светского общества. Зелень, музыка, чудесные окрестности – для людей, перешагнувших некий возраст, очень подходяще. Полина верно рассчитала: светские и просто зажиточные девицы, съезжавшиеся со всей Европы, будут дорого платить за уроки.

Все же сначала предприняли как бы разведку: в 1862 году семья Виардо жила в Бадене еще в наемном помещении. Через два года Полина прощалась с Парижем, пела в Théâtre lyrique знаменитого «Орфея». Одновременно купили в Бадене виллу и переехали окончательно – устроились широко и удобно.

Вилла стояла на прекрасном месте, Thiergartenthal, у подошвы лесистой горы Зауерберг. Просторно, зелено, благородный и мягкий пейзаж с невысокими холмами, луга…

Теперь Тургеневу приходилось выбирать: жить ли по-

прежнему в Париже с дочерью, возвращаться ли в Россию, переселяться ли в Баден. Россия казалась враждебной. В Париже пусто. Оставался Баден. Тургенев тоже сделал разведку: осенью 62-го года в Бадене у Виардо погостил. Жил там хорошо. Встречался со старинными приятелями, охотился, серьезного ничего не делал. Местность очень ему понравилась. Радовался он солнцу, чудесным осенним дням – и, очевидно, у Виардо вновь пришелся ко двору. Что-то вновь между ними произошло – сблизило. Годы, его великий ум, великая любовь превозмогли многое. Как будто бы увенчивалось его терпение.

Весною 1863 г. Тургенев снял квартиру на Schillerstrasse в Бадене и покинул Париж. Этот шаг его оказался очень удачным. Как в свое время Куртавенель, Баден тоже ему подходил: благородством своим, зеленовато-золотистым покоем, природой мирной и мягкой, голубыми горами на горизонте. И Тургенев подходил к Бадену. Его здесь полюбили. Ему удобно и покойно было тут работать. Своей седою, барскою фигурой украшал он скамейки близ Конверсационсгауза, под столетними деревьями, одно из которых называлось «русским». Живописно слушал музыку, живописно прогуливался по Лихтенталевской аллее, раскланиваясь с принцессами и герцогинями. И даже те самые русские студенты (из близкого Гейдельберга), которых издали считал он врагами, нередко почтительно окружали его на гулянье.

Той же весною заканчивал он «Призраки» – вещь, ничего общего не имевшую с общественными его романами. Он задумал ее давно, еще в 57-м году. Но вплотную принялся только после «Отцов и детей». Современность, новые люди, общественность, шум – от всего этого захотелось уйти. Вновь, как в «Фаусте», тронуть таинственное. (Эта линия, «Фаустом» намеченная, «Призраками» укреплялась. В дальнейшем ей предстояло расти.) Загадочная Эллис летала с ним по миру, показала (всю печаль, всю бренность)… сама кровью его напиталась. Муза? Так некоторые думали. Вряд ли тут было что-то определенное. Но вряд ли не испытывал он живости, остроты, изображая, как кровь его уходит, выпитая женщиной.

«Призраки» поместил Тургенев в журнале Достоевского. Их не поняла публика, как и позднейшее «Довольно», где он как бы вообще прощался с литературою. Шедеврами эти произведения не были. Но для истории души Тургенева значение их огромно.

* * *

В первый же год баденской жизни с ним случилась неприятность, довольно неожиданная. Еще в Париже, перед отъездом в Баден, получил он через посольство предписание явиться в Петербург: его обвиняли в сношениях с эмигрантами – врагами правительства: Герценом, Бакуниным и Огаревым. Он должен был дать объяснения. В противном случае грозили конфискацией имущества.

Тургенев отправился к послу, лично ему знакомому. Удивил его решительным заявлением: в Петербург он не поедет.

– Очень вероятно, что все это кончится вздором. Но я старик, больной: пока я оправдаюсь, меня там затаскают.

«Старику» было сорок пять лет. У него, правда, начиналась подагра, все же он много разъезжал, любил общество, музыку, охоту – стрелял фазанов и куропаток. Отговорка, разумеется, неосновательная. Но это говорил Тургенев, прославленный писатель и такой же барин, как сам посол. Посол посоветовал ему написать личное письмо государю.

– Государь вас любит как писателя. Напишите прямо к нему совершенно откровенно.

Он так и сделал. Все это его тревожило, при живом воображении казалось очень мрачным. Но государь действительно отнесся мягко: Тургеневу предложили ответить на опросные пункты.

В ответе частию воскрешается молодость его, дружба с Бакуниным в 40-м году в Берлине, их философские беседы и увлечения, знакомство с Герценом и Огаревым в Москве 42-го года – времен романа с Бакуниной и премухинских заоблачностей. Тургенев взял тон спокойный и достойный. Выходило так: да, с этими людьми он не только знаком, но с Бакуниным даже и дружил – когда тот еще не отдавался революции. Далее они расходятся. (Что впоследствии он высылал деньги жене Бакунина для возвращения из Иркутска, Тургенев не отрицал.) Герцена тоже знал близко. В 48-м году Герцен еще не был решительным революционером, и даже в 56-м, когда Тургенев вновь появился в Париже, а Герцен издавал «Колокол», критика его была умеренной. Дальнейшему его пути Тургенев не сочувствовал. «Герцен перестал отрицать и начал проповедовать преувеличенно, шумно, как обыкновенно проповедуют скептики, решившие сделаться фанатиками». В последние годы он все меньше и меньше с Герценом виделся. А после «Отцов и детей» отношения прекратились и вовсе: Герцен счел Тургенева «охладевшим эпикурейцем, человеком отсталым и отжившим» (как раз то же говорили тогда более левые о самом Герцене).

Герцена Тургенев действительно знал близко и в 48-м г.

постоянно посещал его. Но «приятельства» особенного между ними не вышло – тут Тургенев несколько сгустил даже, из добросовестности. Не мог он и вдаваться в подробности; в то, как медленно, но основательно они расходились. Герцен относился почти мистически к народу русскому и общине, Тургенев все это отрицал. Для Герцена Запад болен, Россия может показать невиданную самобытность. Тургенев считал, что Россия должна проделать путь Запада или погибнуть в варварстве – спор давний, до наших дней дошедший.

В конце концов свое положение Тургенев обозначил так: с революционерами в молодости дружил, в среднем возрасте водил знакомство, иногда по-человечески оказывал услуги, помощь, но в «заговорах» участия не принимал, за последние годы идейно спорил и разошелся… Хотите, судите меня, хотите – нет.

Сенат этим не удовлетворился. Предстояло ехать в Петербург. Тургеневу не хотелось. Сколько мог, он оттягивал, ссылаясь на болезнь. Наконец, в январе 1864 года пришлось выехать.

Поездка эта, вполне бессмысленная для русского государства, окаааяась первостатейной в другом роде: ею открылся новый ряд писем к Виардо, свидетельство о новой, удивительной полосе его любви.

Двадцать один год! Влюбленность, горячая близость, разлука надолго, связь во время этой разлуки, увлечение, чуть не женитьба. Встреча, страдания ревности и расхождения, годы мучительного томления, сложный и горестный путь примирения; годы «утешительных» встреч и переписки с другою изящной душой; и вот, на сорок шестом году жизни, этот «старик», которому трудно доехать в первом классе от Бадена до Петербурга и остановиться в хорошем отеле у Полицейского моста, – он-то и пронизан (вновь!) чистейшим, возвышеннейшим Эросом. С Полиною будто бы все выяснено, все досказано. Еще три года назад казалось, что прошедшее «отделилось окончательно», что сердце умерло и он живет в окаменении – и даже если бы возродилась надежда возврата, она «потрясла бы окончательно».

Но вот возврат произошел! Неизвестны его подробности – тайна, незачем и касаться ее. Новая ли это связь или новая форма влюбленной дружбы? Одно ясно: есть пафос, расцвет, восторг… «Баденский» период любви – «по-своему» или по-настоящему – но счастливой!

Тургенев выехал в Петербург. Всего только еще Берлин. Но как бы и не уезжал. «Все время я точно во сне; не могу

привыкнуть к мысли, что я уже так далеко от Бадена, и все, люди и предметы, проходят предо мною как будто не касаясь меня». Он сидит один в гостинице, ждет вечернего поезда в Кенигсберг, но ни Кенигсберг, ни Петербург, где его будут судить, нисколько не интересны. Интересно, пленительно только то, что происходит в Бадене. Как Полина сидит в гостиной, играет на рояле и поет романсы – собственного ли сочинения (она занялась этим в Бадене) или, может быть, Шуберта, например, тот, редко исполняемый, который он так любил: «Wenn meine Grillen schwirren»[53]. Виардо-муж «дремлет у камелька». Дети рисуют, особенно Клавдия отличается, «Диди», его любимица.

Наконец Петербург, «Hotel de France» – красная бархатная мебель, почтительные лакеи, старые друзья Анненков и Боткин, близкий суд. Но через два часа по приезде, снова вечером, он уже пишет в Баден: «Не хочу лечь, не начав этого письма, которое кончу и отправлю завтра».

На другой день дел много. Во-первых, заезжает к «преступнику» председатель той самой сенатской комиссии, которая будет его судить. Затем толчется вообще всякий народ. Но самое главное – и об этом подробно отпишет он Полине в тот же день – видел он Антона Рубинштейна. Не только видел, но Рубинштейн успел (не для Виардо же, в самом деле) сыграть все пятнадцать романсов Полины на слова русских поэтов, успел одобрить их, и многие его «поразили» (слава этих романсов так и погребена в письмах Тургенева). На следующий день обещана встреча с издателем, «и тут уж мы насядем на него вдвоем» – издателю явно не отвертеться. А за всем тем… «как только я остаюсь один, на меня нападает страшная тоска. Я так хорошо приспособился к тихой, очаровательной жизни, которую вел в Бадене… Все время думаю о ней, не в состоянии не думать, и то впечатление – будто я во сне – …не покидает меня.

Чувствую, что буду счастлив и доволен, только когда вернусь в благодатный край, где я оставил лучшую часть самого себя. С завтрашнего дня начинаю ждать писем от вас. О, как я буду радоваться им!».

И вот начинается петербургская жизнь: обеды с Анненковым и Боткиным, театры, посещения графини Ламберт, Филармоническое общество, где Рубинштейн дирижирует, заседания Комитета помощи литераторам, званый вечер у итальянского посла. Князь Долгорукий беседует с ним, князь Суворов «в высшей степени любезен», один из будущих судей его, «толстый Веневитинов, которого вы знаете, объявил мне, что дело мое пустяшное». И вообще все это пустяки, шумный и пестрый сон, а важно то, что «я почувствую себя счастливым, только когда

вернусь в мою милую маленькую долину». Важно то, чтобы не запоздало и не пропало письмо от Полины. А Петербург, мягкая сыроватая зима, бал в Дворянском собрании, где присутствует государь и у всех дам волосы напудрены или просто распущены по плечам и связаны только широкой лентой, сборище, где больше красивых туалетов, чем лиц, нарядный Петербург, задающий тон модам, – тоже случайное, тоже сон.

В конце января решалось его дело. О нем он ни слова не писал Полине. Но вот что интересно: Виардо выступает в Карлсруэ («Орфей» для провинции), так пусть она не забудет сообщить о дне спектакля. Не хотелось бы возвращаться в Баден, когда ее там нет. «Надо, чтобы мне дано было счастье видеть вас на вокзале – ведь вы, надеюсь, встретите меня! Das Herz mir im Leibe hupfen…[54] Не хочу об этом много думать; это такое огромное счастье, что я наверно буду мучиться предчувствиями и страхами, что оно не сбудется… Но нет! Бог добрый, и Ему приятно будет посмотреть на человека, обезумевшего от радости…»

Наконец «суд» состоялся. Тургенев приехал (вероятно, в карете) в Сенат. Чинные служители, пристава, письмоводители. Молчаливая зала – светлая и парадная. За зерцалом важные старики в мундирах, генералы, сенаторы – все знакомые. Перед подсудимым извинились, что не могут его посадить, – и боялись его больше, чем он их. Задали несколько мелких вопросов. Потом провели в отдельную комнату, посадили, дали толстую переплетенную тетрадь.

– Видите, где заложено бумажками, дело вас касается. Просим письменно ответить.

Он ответил и с таким же парадом уехал, в великолепной шубе, с палкой, кутая зябнувшие ноги в теплом меховом одеяле. Вечером ужинал, опять с кем-нибудь из судей. А Полине писал так: «Не умею сказать вам, до какой степени я постоянно думаю о вас. Сердце мое положительно тает от умиления, как только ваш милый образ – не скажу: является мне мысленно, так как он не покидает меня – но как будто приближается».

Далее не выдерживает, переходит на немецкий язык: всегда у него признак глубокого волнения. «Все время чувствую на своей голове дорогую тяжесть вашей руки и так счастлив сознанием, что принадлежу вам, что хотел бы изойти любовью, непрерывным обожанием».

Суд вынес решение 28 января. Тургеневу разрешили выехать за границу – обязали только немедленно явиться в случае вызова. (Окончательно оправдан он был позже, 1 июня.)

В марте возвратился Тургенев в свой Баден.

* * *

Ясно, он пускал тут корни. Хотелось осесть как в Спасском. Хозяева дома, где он жил, любили его, но считали неосновательным, kindisch: у немолодого, знаменитого писателя на дверях пришпилена, например, записочка: «г. Тургенева нет дома» – тщетная защита от посетителей. Herr Turgeneff постоянно ходит к Виардо, а если у ней малейшее нездоровье или Диди лишний раз чихнула, то тревожится безмерно, навещает по нескольку раз в день, посылает записки. Все это «несолидно».

Тургенев и сам чувствовал, что пора устроиться удобнее (и еще ближе к Виардо). Он решил строить дом.

Место выбрал рядом с виллой Виардо – десятины полторы земли с фруктовым садом и старыми, вековыми деревьями. Очень нравились они ему мощью своею, зеленью. Даже кора деревьев была покрыта изумрудным мхом. Особенно же восхищал родник в саду – чудесная ключевая вода, крепость, прозрачность, холод…

Дом строил архитектор-француз, в стиле Людовика XIII, с башенками, аспидной крышей, просторными светлыми комнатами, огромной театральной залой, стеклянными дверями на полукруглую террасу. Нужны были деньги – и немало. Спасским управлял в это время дядя Тургенева, Николай Николаевич, бывший блестящий офицер, ныне опустившийся неряшливый старик, склонный к плотоугодию и хозяйство ведший неважно: Иван Сергеевич и половины не получал того, что следовало бы.

Дядя вечно кряхтел, жаловался на огромадные траты и вместе с Фетом осуждал расточительность Тургенева (а Тургеневу не нравилась дядина бестолковость, что и привело к тягостному разрыву).

Постройка шла медленно, более трех лет. Пока же тургеневско-виардовская жизнь сосредоточивалась в доме Полины.

Романсы ее в Петербурге напечатали, и, вероятно, кем-то они пелись. Но сама она не только сочиняла их: в Бадене создала изящный музыкальный центр. В саду у ней был павильон с роялем, висели картины, собранные мужем. По воскресеньям здесь устраивались музыкальные утра. Пела хозяйка, пели ее ученицы, выступали известные музыканты. Все это – очень модно, блестяще, с избранной публикой.

Позже, когда заканчивался дом Тургенева (1867–1868 гг.), собрания перенесли в его театральную залу: там все получилось еще наряднее. Мудрая Полина придумала удачную вещь: чтобы давать возможность ученицам исполнять легкие партии, ставила

небольшие оперетки. Тургенев тут оказался кстати – некий русский Бембо при дворе герцогини урбинской: сочинял текст. Поэт, слава которого продвигалась уже в Европу, писал для спектаклей Виардо фантастические безделушки: «Le dernier des sorciers», «L'ogre», «Trop de femmes»[55], музыку к ним сочиняла Полина. Пьески содержали много женских ролей. Сама Виардо пела какого-нибудь принца, ученицы – гаремных жен, и т. п. Людоеда, колдуна, пашу изображал Тургенев. Выходило тонко и художественно. Король Вильгельм, королева Августа, великий герцог баденский, принцы, принцессы, дамы общества, знатные иностранцы, артисты, русские князья, развлекавшиеся в Конверсационсгаузе и гулявшие по Лихтенталевской аллее, – все это заседало в зрительной зале. Утра проходили успешно (одно представление перенесли даже в Веймар, в настоящий театр – как бы восстанавливая времена Гёте. Музыку Полины обрабатывал Лист). Попасть на эти собрания – честь. Послушать Виардо, светских девиц – приятно. Поглядеть известного русского писателя, некоего белого медведя в роли колдуна, – забавно.

Награда Полины кроме рукоплесканий и рекламы школы – королевские подарки. Она получила, например, браслет. Луи Виардо прекрасную вазу. Тургенев наград не получает. Иногда ему весело, смешно. Всегда радостно содействовать успеху Полины. Но случается, что и тоскливо. «Должен сознаться, что во мне что-то дрогнуло, когда я в роли паши лежал на полу и заметил легкую усмешку презрения на неподвижных губах вашей надменной кронпринцессы». Но тут же прибавляет: «При всем том, наши спектакли были очень милы и приятны».

* * *

В первом же письме Тургенева графине Ламберт из Бадена есть опасения, что их переписка и дружественные отношения могут прерваться. Он оказался прав. Различия во многом между ними ширились. Писание в духе «Отцов и детей» мало графине нравилось, хотя по-другому, чем молодежи. Ей хотелось, чтобы он дал «простую и нравственную повесть для народа». (Тургенев блестяще защищал свою художническую вольность: пишу о чем хочу – куда клонится сердце – это сущность искусства.) Казалось ей, что он отходит от родины. При ее мистическом настроении – что он слишком далек от веры, главное, удаляет от нее дочь. Насчет родины Тургенев признался ей сам: «Россия мне стала чужда, и я не знаю, что сказать о ней». Против упреков насчет дочери возражает – и не без горячности: «Я не только не отнял

Бога у нее, но и сам хожу с ней в церковь… И если я не христианин, то это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье».

Но главное, конечно, в том, что изменилось у него с Виардо. Что нашел он некий способ нежного «вблизи-бытия» и вновь загорелся. Правда, говорит он об этом скромно: «Оттого ли, что мои требования стали меньше, оттого ли, что там (в Бадене) мое настоящее гнездо, только я замечаю, что с некоторого времени счастье дается мне гораздо легче». Но ведь не мог он описывать графине слишком ярко, как он любит Виардо.

Во всяком случае, утешительница теперь не нужна. Никогда графиня Ламберт не могла соперничать с Виардо – даже в самые трудные времена. Теперь победа великой, двадцатилетней любви над чувствами смутно-тонкими – окончательна. Письма становятся реже. Попадаются фразы: «из некоторых ваших выражений я должен заключить, что вы сами почли за лучшее умолкнуть». И далее, уже в 64-м году: «Я вам очень благодарен за ваше письмо, хотя вы и браните меня, и прощаетесь со мной».

Грустно следить за умиранием долгих, чистых и прекрасных отношений. Переписка увядает – ничто не восстановит уже ее. Утешительница необходима, когда Тургенев одинок. Но с приближением Виардо не нужна. В одном из «предсмертных» писем предлагает он графине сделать так: если она после глубоких потрясений, ее постигших, хочет совсем покончить с прошлым, где одна горечь, – пусть ему не ответит – он поймет. Он хотел бы весьма скромного: не поднимая ничего «со дна», установить простой обмен дружеских писем, освещающих жизненные события.

На этом удержаться было нельзя. Графиня умолкает. Быть может, в своей печальной и холодноватой чистоте она и недовольна несколько Тургеневым. Переделать его, обратить – не удалось. Она навсегда сошла с его пути. Нигде далее нет о ней ни слова. Но ее облик навсегда с ним связан, сквозит в каждом письме его к ней.

Мы знаем о ней лишь еще то, что Тургенева она не пережила: скончалась в 1883 году.

* * *

Итак, Виардо рядом – Виардо в хорошей полосе, как-то «отвечающая», как-то «позволяющая» себя любить. Природа, леса, зелень. Довольство, охота. Медленно возводящийся, но наконец готовый собственный дом. В нем бывает прусский король. Есть и

верные друзья – Полонский, Фет. Есть и немецкие: Людвиг Пич, литератор, критик, восторженный обожатель Тургенева. Он нередко гостит в Бадене – дружит с Виардо. В новом доме всегда ждет его комната: «La chambre de Pietch vous attend»[56]. В саду, у любимого ручейка, небольшой павильон. Там утром можно пить чай с тем же Пичем, любоваться видом гор, заросших лесом, зелеными лугами Тиргартенталя. Где-нибудь вдалеке руины древних замков – Иффецгейма, еще иных. Тургенев много и добродушно рассказывает – он в домашнем костюме, несмотря на западничество свое – иногда в русской косоворотке, сверх нее сюртук. Пич слушает с благоговением. Для честного, немудрящего немца каждое слово Тургенева – золото. Говорят об искусстве, России, литературе. Перед завтраком обсуждают трудные места переводов – «Дыма» ли, других ли произведений. Завтрак в столовой, отделанной деревом, – окна глядят на простор, зелень. Кабинет с картинами старых голландцев. Библиотека – не такая, как в Спасском, но все же библиотека. За садом и за забором дорогие соседи. Туда во второй половине дня направляется Тургенев, иногда в той же косоворотке, запросто, как домой. Опирается слегка на палку, поправляет седые кудри, на ногах его мягкая обувь: начинается подагра, иногда мучит его. За ним лохматый Пегас. Старик Виардо что-нибудь работает – знаменитый друг обрусил весь дом: Полина сочиняет романсы на слова русских поэтов, Луи переводит на французский русских авторов и самого Тургенева. Девочки уже большие. Поют, рисуют. Диди может прекрасно изобразить ко дню рождения Тургенева Св. Семейство. В доме постоянно и «чужие» девицы: их обучает Полина пению. Есть иностранки, есть русские. Из Карлсруэ приезжает с мамашей молоденькая русская графиня, одна из богатейших невест Европы, – за большие деньги берет уроки (певицы из нее не вышло, но Виардо в ней след оставила). Полина седовата, но жива, бодра, черные ее глаза сияют. Если графиня не разучила каких-нибудь упражнений, она недовольна, глаза неласковы.

– Я не могла, мадам Виардо… мне не удается… это трудно.

Девушка робеет и стесняется.

– Еще раз. Проделаете еще раз.

– Это, кажется, мне не по голосу.

– Нет, это вам по голосу.

Полина Виардо знает, что говорит. И опять начинаются упражнения.

Иногда осторожно отворяется дверь, на пороге огромный Тургенев. Он придерживает своего Пегаса. Виардо смотрит на него тоже не без строгости. На лице его слегка виноватое

выражение. Она продолжает свой урок.

– Только чтобы ваш Пегас не завыл. Уж пожалуйста.

Тургенев садится покорно, скромно. Грозит Пегасу. Тот усаживается у его ног, высовывает длинный розовый язык. Дышит часто, оттягивая назад брыли, умными глазами глядит на графиню, иногда слегка повизгивает. Хозяин испуганно зажимает ему рот, отрываясь от палки, на которую опирается.

– Ну вот, вы видите, теперь у вас понемногу налаживается. Не думайте, что искусство простая вещь. Везде нужна воля, надо преодолеть себя. Тогда и выйдет. То, что я говорю вам, вы должны исполнять. И все будет хорошо.

Если месяц этот август или сентябрь, то Тургенев с Луи Виардо могут и закатиться на охоту. В Бадене не то что в Спасском: Афанасия и Полесья нет, но есть отличные фазаны, куропатки. Охотники наезжают нарядные, титулованные, с титулованными собаками. Но тургеневский Пегас тоже на высоте. Например, под Оффенбургом, выходит линия охотников из леса на опушку. Впереди поле. Пегас прямо тянет на купу земляных груш. Соседние собаки ничего не чуют, а он ведет – как бы не осрамиться – вдруг окажется жалкий зайчишка. Но Пегас ведет уверенно. Стойка. Два чудесных фазана вырываются из-под нее. Тургенев дуплетом кладет обоих – и счастлив. Зато какой ужас, когда смажет! Немолодой, громадный человек бросается на землю, кричит:

– Нет, после этого жить нельзя!

По вечерам ходят они с Пичем к Виардо. Там серьезная музыка: Бетховен, Шуберт, пение хозяйки, долгие разговоры. Раньше часа, а то и двух не расходятся. Бывает, что, вернувшись, Пич беседует с Тургеневым еще в саду – в лесу аукает сова, ручей тургеневский журчит. Грушевые, ореховые деревья чуть шелестят. Пегас прислушивается. Что-то чует, ворчит, фыркает. Над дальними лугами бледно-романтический туман, звезды на небе, безответная луна, восторженный Пич.

Мир и идиллия. Казалось бы, вот жизнь полная, мудрая, среди поэзии, любви, искусства, книг – далекая от шума и базара.

Но у ней есть и другая сторона. Не один блеск звезд и мелодии Шуберта доходят в Бадене до Тургенева. Есть и действительность. Есть накопляющийся горький о ней опыт. В том же сердце живут яды, его отравляющие.

После «Отцов и детей» нет покоя душе Тургенева. С Виардо так или иначе налажено, с Россией, литературой разлажено. Трудно забыть оскорбления – и они всё растут. Число недругов не убывает. Не только Некрасов и «Современник», но и Катков со своим «Русским вестником» оказываются врагами. Само то, что в

России делается, и радует, и раздражает.

Нелепое чванство молодежи, разгул «левизны», нигилизма, готовящаяся нечаевщина… А на другом конце – «свет», чиновничество, мракобесие: тоже не лучше.

Из сложных и горьких чувств возник «Дым» – главнейшая вещь баденской полосы. В нем давняя черта, еще молодого Тургенева – холодная насмешка и пренебреженье, яд, хуже того: брезгливое презренье к обществу и людям. Всем досталось, генералам и политикам, Губаревым и молодежи, болтунам и лжепророкам. Одно вознесено: любовь. Она одна священна, написана полным тоном. И это любовь-страсть, разрушение, любовь-беда, болезнь. Ирина и Литвинов – лишь вокруг них кипит пламя – остальным нет пощады. «Добрый» Тургенев, умевший и обласкать, и помочь, очаровать, – тут жесток. В «Дыме» мало человеколюбия. Надо прибавить: именно это язвительное не-человеколюбивое и не удалось ему. Гоголь стоял на великом сарказме, трагическом. Насмешка Тургенева вышла некрупной – не идет в сравнение с любованием лучших его вещей.

И все же «Дым» замечательный роман, двусторонний, двухстворчатый, неудачно-удачный, окрыляюще-пригнетающий. Отразил он создателя своего, двуликого Януса. В воздухе «Дыма», в душевном настроении: «все дым», все белые клочья, летящие из трубы паровоза, безвестно развеивающиеся, – жил одной стороной своей баденский Тургенев. Как связать это с высочайшими, нежнейшими чувствами к Виардо?

В 67-м и 68-м гг. он вновь ездил в Россию – по делам Спасского (денежным). Был опять и в Берлине, и в Петербурге, видел немецких художников, петербургских Анненковых, мценских Борисовых и орловских купцов, купивших у него рощу (из этой рощи и начал он «откладывать на приданое Диди»). Прошло двадцать пять лет, как он познакомился с Виардо, и вот что он ей пишет из всей пестрой сутолки путешествия: «Пожалейте вашего бедного друга – в особенности за то, что он расстался с вами. Никогда еще разлука не была так тяжела: я ночью плакал горькими слезами». «Ах, мое чувство к вам слишком велико, могуче. Я больше не могу, не в состоянии больше жить вдали от вас…» «День, когда мне не светили ваши глаза, для меня потерянный день».

Опять то же, что было и в 64-м году: жизненные дела, счеты с дядей, школа, устроенная на его средства в Спасском, мужики, «запах дегтя от смазных сапогов двух попов из Спасского, которые пришли навестить меня» – все это пустяки, скучно, ненужно. А вот в Петербурге: «Я с нежностью прохожу мимо дома, где вы останавливались, когда были в Питере. Сколько воспоминаний!

Так давно это было – четверть века, а я так живо все помню… Это потому, что эти воспоминания связаны с другими, которые продолжаются и поныне почти без перерыва…» Горькие годы забыты? Забыты страдания Куртавенеля, стенания в письмах к графине Ламберт? А осталось такое: «Незачем и говорить вам, как много я думал и думаю о Бадене. Буду счастлив, только когда вернусь туда».

Точно бы две половины, два мира. В одном Некрасовы и Губаревы, Катковы, Суханчиковы и Бамбаевы. Газеты, денежные дела, семейные, ссоры, политика, может быть даже «прогресс», может быть, родина. Здесь всегда можно ждать оскорблений, непонимания. Вечно надо что-то устраивать: добиваться от дяди побольше доходов, выдавать замуж дочь, выслушивать истерические нападки Достоевского (посетившего его в Бадене, безумно раздражившегося барственностью Тургенева и тем, что был должен ему, и западничеством «Дыма», и каретой Тургенева). Этот мир точит, мельчит, разжигает тщеславие.

В другом мире – «только у ваших ног могу я дышать» – Полина Виардо, Ирина, безмерность любви, горы, зелень, родник, птицы, звезды над Баденом. Любовь и природа – это действительно его животворило.

Одной ногой здесь, а другой там, пред зрелищем последней тайны: Смерти, все упорнее заглядывавшей в глаза, и жил Тургенев в Бадене. Быть может, он не прочь был и закончить дни свои на берегах Ооса, в германской светло-зеленой стране, наподобие Гёте, Петрарки в Воклюзе, Бембо близ Падуи.

Но все вышло иначе. И мирное житие кончилось, и любовь еще раз обманула.

# Катастрофа

«В человеческой жизни Бог волен, – и если бы я внезапно окочурился, – то ты должен знать, что оставленные у тебя на сохранение акции мною куплены для моей милой Клавдии Виардо – и потому должны быть – в случае какой-нибудь катастрофы – доставлены г-же Полине Виардо, в город Баден-Баден». Так писал Тургенев приятелю своему Маслову, верному исполнителю поручений, в июне 1870 г.

Письмо это помечено Спасским. Тургенев часто ездил летом в Россию – всегда теперь за одним: продавать какую-нибудь рощицу, «землицу» и т. п. Для широкой жизни в Бадене деньги необходимы. Невредны они и для семьи Виардо – девушки подрастали, приходилось думать и о приданом. Вот деревенская жизнь Тургенева: «Я здесь работаю двояко: по части литературы – переправляю и перепахиваю мою повесть… – и по части финансов – продаю клочки земель и вообще стараюсь извлечь как можно больше «пенензы».

В Спасском в это время хорошо. Солнечные пятна в парке, благоухание покоса, пчелы, земляника. Горлинки курлыкают, шмели гудят. «А кругом двести десятин волнующейся ржи! Приходишь в какое-то неподвижное состояние, торжественное, бесконечное и тупое, в котором соединяется и жизнь, и животность, и Бог».

Повесть, которую он «перепахивал», была «Степной король Лир» – вновь родная земля, воспоминания юности, поля, чернозем, тень Варвары Петровны – на сей раз не грозная. Баден далеко. Виардо тоже. Нельзя сказать, чтобы все было мирно с Полиной – некие тучи появились… И писем из Спасского в Баден за этот приезд не видно. Все-таки и особого мрака в Тургеневе не заметно. Он мирно трудился и «торговал», может быть стрелял первых уток по болотцам и, вероятно, не весьма следил за газетами. А между тем на любимом его Западе нарастали события. Пока в Спасском шумели ржи, в Париже, Эмсе, Берлине совершались между Наполеоном ЦТ, герцогом де Граммоном, Бисмарком и тем самым королем Вильгельмом, который слушал на вилле Тургенева оперетки, – дела тайные, первейшей важности. Об этих делах «мы» узнаем, лишь когда раздадутся выстрелы.

Окончив деревенские свои занятия, Тургенев, как обычно, выехал в Петербург. И пока обедал у Анненкова в Лесном, дружественно беседовал с многословным Полонским, французский министр иностранных дел нажимал на Пруссию с

ультиматумами. Нельзя было пустить немудрящего немецкого принца на испанский престол (предлагавшийся ему как удобное «место» с хорошим окладом). Тургенев читал друзьям в Петербурге повесть, а самоуверенные французы упорствовали, Вильгельм не очень то желал войны. Бисмарк же и Мольтке именно ее желали (и не зря) – хитрили, вызывали. И вызвали.

Революцию Тургенев некогда, в Париже, пережил. Для заполнения опыта настигала его теперь война.

Он попал в Берлин из Петербурга чуть ли не в мобилизацию, во всяком случае, в предвоенную суматоху, и, вероятно, не без труда добрался до Бадена – сделал это все-таки вовремя, ибо скоро поезда вовсе прекратились (для частных лиц). Все заняла война.

Иначе и быть не могло. Немцы вели большую игру. Выступить против Франции – это не то что воевать с австрийцами или датчанами. Франция считалась первой военной державой. Но немцы верили в свою молодость, силу, дисциплину и на том отыгрывались. Их мобилизация шла безупречно. Дороги работали как на маневрах. Армии сосредоточивались и развертывались быстрее, точнее французских – наступательный порыв тоже на их стороне: война начиналась удачно, В Бадене Тургенев застал положение сложное. Луи, Полина Виардо – французы, «враги». Правда, они Наполеону не сочувствуют, в некотором смысле «пораженцы» – все же представители враждебного народа. Рядом с этим в последнее время стал завсегдатаем дома новый приятель Полины, баденекий доктор, немец. Он очень близко вошел в ее жизнь, так близко, что надо было быть стариком Виардо, чтобы терпеть это, – да Тургеневым, тоже ко многому уже приученным. (Его сопротивление могло быть лишь пассивным – вот и не писал он писем из Спасского.) Так что теперь оказались одновременно в Бадене Франция, Россия, Германия. Все были в волнении. Запутанность семейная, разноплеменность, натянутость между мужчинами, война – все тревожило. Оседлость перестали ощущать. Баден недалеко от границы. Как война сложится, толком не знали. Но слава Франции была велика, и нашествия опасались. Очевидно, жили «на сундуках». «Мы на все готовы, – писал Тургенев Милютиной 20 июля 1870 г., – и в случае нужды уедем в Вильдбад – в каретах, так как все сообщения по железным дорогам прерваны. Я говорю: “мы”, т. е. семейство Виардо и я; я с ними не расстанусь».

«На первых порах в успехах французского оружия сомневаться невозможно. Лишь бы пожар не охватил всю Европу!» Так что Тургенев и Виардо предполагали бежать из Бадена «в каретах» от французов, от «тюркосов», которые якобы перейдут

Рейн.

Но война развилась явно не так, как думали мирные артисты. Немцы сразу захватили инициативу и повели наступательную кампанию. А французы оказались столь же неподготовленными, как мы в Крымскую войну. Войсками командовали неспособные генералы. Армия была плохо снабжена, плохо вооружена, плохо маневрировала. События пошли очень быстро. Неправильно сосредоточенная французская армия натыкалась отдельными корпусами на превосходные силы немцев и терпела поражения. (Мак-Магон под Фрейшвиллером, Фрос-сар под Форбахом.) Главнокомандующий Базэн стал отступать в районе Меца, на Верден. 18 августа разыгралось – неизвестно даже, хотел этого или не хотел загадочный Базэн, – большое сражение при Гравелотте под Мецом. Французы были попросту разбиты (обходным движением саксонцев). Теперь нечего было беспокоиться за Баден Тургеневу и Виардо. Французы отступали, в Бадене радостно звонили колокола, возвещая победу. Базэна заперли (с целой армией) в Меце, началась осада Страсбурга. А 2 сентября произошел величайший скандал войны – сдача под Седаном, где французы попали прямо в ловушку. В плену оказался сам Наполеон.

Тургенев и оба Виардо вначале были вполне на стороне немцев – по нелюбви к французскому режиму. Седан встретили одобрительно. Однако у Тургенева в самом этом одобрении была уже тревога. («Я не скрываю от самого себя, что не все впереди розового цвета – и завоевательная алчность, овладевшая всей Германией, не представляет особенно утешительного зрелища».) Бомбардировка Страсбурга совсем его не радовала. В сентябрьском письме Пичу говорится ясно: «Падение империи было большим удовлетворением для бедного Виардо. Конечно, теперь сердце его обливается кровью, но он сознает вполне, что все это – заслуженная Францией кара. Что касается меня, то я, как вам хорошо известно, настроен совершенно как немец. Уже потому, что победа Франции была бы гибелью свободы. Вот только не следовало жечь Страсбурга».

Подходило время и тургеневскому сердцу обливаться кровью: разоряли Францию, родину Полины. Громили тот самый Куртавенель, где столько было пережито. Если плох Наполеон, то противен и Бисмарк со всей прусской военщиной, тупой и грубой. Тургенев любил Германию. Но Германию «Аси» и Гейдельберга, Бадена, гётевского Веймара. Эта Германия в победоносной войне кончилась. Машина, дух которой впервые почувствовал он некогда в Париже, читая в Пале-Рояле об успехах Америки, теперь выступила и в Европе. Машина разгромляла старую, пусть и

порочную, но артистическую Францию.

Завещая Маслову акции для Диди, Тургенев думал о собственной смерти – эту катастрофу имел в виду. Жизнь преподнесла ему другую.

В доме Виардо работали для немецких раненых, театр войны удалялся, кареты в Вильдбад были не нужны. Но все же Луи и Полина Виардо – французы. В известный (и быстро наступивший) момент им пришлось Баден покинуть. Мирно-идиллическая жизнь кончилась. И не только покинуть, но и потерять достояние. Виардо собрались и уехали – так спешили и так, очевидно, были подавлены, что многого недоглядели: например, того, что таинственный доктор в суматохе похитил у Полины все письма Тургенева, с 1844 по 1870 год.

Сам Тургенев несколько запоздал – из-за болезни (в эти годы подагра уже мучила его). Но одному в Бадене не усидеть. В конце октября он укладывается, а в ноябре уже в Лондоне. Там и семья Виардо.

Мрак, туман Лондона, холодная квартира, болезни, полуэмигрантская жизнь… Полина дает уроки, выступает кое-где публично. Держится бодро, мужественно. Всё на ее плечах. Имя и жизненность выручают: уроки по-прежнему ценятся высоко – 100 франков час, семья не опускается.

А во Франции продолжается война, формируются армии в провинции, Париж осажден, взят, торжество немцев полное.

Зимние месяцы Тургенев провел в Лондоне. На февраль – март выехал в Петербург – снова за деньгами. Теперь трудно приходится не только Виардо, но и собственной его дочери (вышедшей в середине шестидесятых годов замуж за французского коммерсанта Брюэра). Вероятно, в связи с войной Брюэры на краю гибели. Вновь появляется приятель Маслов. «Любезный Иван Ильич! Анненков прислал мне письмо моей дочери, которое состоит из одного вопля; если она в скорости не будет иметь 40 000 франков, то она с мужем погибла» – и далее ясно, что, продавая имение Кадное, можно «уступить две-три тысячи рублей» – лишь бы продать.

Это посещение Петербурга тем лишь отличается от прежних, что все – и дружеские, и светские встречи, и обеды, и выступления – идет на фоне войны. (Русское общество за Францию. Жалеют взятый Париж, ужасаются условиям мира, контрибуции и т. п.) Обо всем этом пишет Тургенев Полине в Лондон. Пишет спокойно, сдержанно, совсем не в тоне писем в Баден отсюда же в шестидесятых годах. Нет прежнего раскрытия сердца, восторга… Не зря таинственный доктор сидел ежедневно перед войной у Полины. Пусть сейчас его нет в Лондоне – все же

он был, довольно долго, упорно – увез всю прежнюю переписку Тургенева: в сущности, похитил целую жизнь!

Эти петербургские письма (февраль – март 1871 г.) – последние к Виардо. Из них можно узнать многое о настроениях столицы, о концертах, Рубинштейне, композиторе Серове, Антокольском, об успехе «Степного короля Лира», о великой княгине Елене и т. п. – только не о сердце Тургенева: оно как бы завешено легкой, но горестно-непроницаемой вуалью.

Он вернулся в Лондон весной. Франция была в отчаянии. Недостаточно свергнуть Наполеона. Тяжкие чувства поражения искали еще выходов, более кровавых. Коммуна в Париже продолжила тот же 48-й год, который пришлось ему некогда видеть вблизи. Париж бунтовал, бушевал. Немцы злорадно взирали на братоубийственную брань – теперь Тьеру и версальцам приходилось усмирять, с высот С. Клу, обезумевший город. До Тургенева, в Лондон, как и до Флобера, в Руан, доносились лишь стоны этой новой войны. Впечатление от нее, даже издали, было ужасное (так же чувствовал и Флобер). Тургеневу просто казалось, что от Франции остается «мокрое пятно».

Но ни Франция, ни Париж не пропали. Тьер пролил много крови, чуть не все рабочее население города погибло (одолела Франция крестьянская и мелкособственническая), но Париж уцелел, хоть и пострадал в бомбардировках и боях. Кровь быстро замывается. Погибших забывают, дома застраиваются, мостовые чинят… жизнь идет. Мир заключен. Начинают – без особых затруднений – платить контрибуцию. Скоро страна, против всяких ожиданий, зацветет вновь. Виардо временно возвращается в Баден. Там распродают что можно. Продал заодно и Тургенев свой дом, над которым столько трудился, где, может быть, собирался кончать дни. И великий Париж, оживающий, вновь всасывает эту странную русско-французскую семью. В декабре все уже на рю Дуэ.

Чужие беды мало задели Тургенева. На «события» французские он никак не откликнулся. Внутренняя жизнь шла своими, особенными путями. На новом месте, после мытарств, изгнанничества, потрясений, написал он (быстро и оживленно) последнюю свою повесть о любви здешней – «Вешние воды», столь же не имевшую связи с войной, как «Первая любовь» с освобождением крестьян. Вспомнился давний Франкфурт, кондитерская, прекрасная еврейка (обратившаяся в итальянку Джемму), и еще раз явилась «роковая женщина». Еще раз показана «страшная» сила любви, владычество женское, слабость, позор мужчины. Некогда Петушков погиб у булочницы. Потом

«Алексей Петрович» поддался ничтожной танцовщице, Литвинов бросил невесту для Ирины – а теперь в «любовь-болезнь» попал Санин. Основная черта все еще не изжита…

«Вешние воды» вещь глубоко тургеневская, фатальная, очень значительная. Она рождена важными душевными событиями. Недаром писал он из Петербурга Падине о только что привезенном в Эрмитаж сфинксе: «Я бы очень хотел, чтобы Виардо посмотрел этого сфинкса».

Сам он насмотрелся на него в жизни достаточно.

# Париж

Может быть, легче перенес Тургенев немецкого доктора, чем в свое время Ари Шеффера (и первый уход Полины). Все-таки военный разгром баденской жизни совпал с внутренним. Поздно, безнадежно было перестраиваться, еще раз приближаться к Полине: ему шел пятьдесят четвертый, ей исполнилось пятьдесят, но чувствовал он себя много старше. И когда в Лондоне заболел, а Виардо уехали всей семьей, по делам, оставив его одного, вряд ли представлялся себе молодым и любимым. «Несомненно на земле только несчастье», – писал некогда графине Ламберт. Несмотря ни на какую зелень и свет Бадена, не приходилось от слов этих отказываться. Но удаляться от Виардо внешне тоже было поздно.

И в Париже ожидала его некая торжественная усыпальница. Он поселился вновь с Полиною, на rue de Douai, в верхнем этаже особняка, стоявшего entre la cour et le jardin[57]. Низ принадлежал Виардо. Большой салон, гостиная, картинная галерея – устроено все было удобно и даже с роскошью. Здесь Полина давала уроки, устраивала музыкальные вечера, принимала. Наверх вела лестница темного дерева – в четырех комнатах жил Тургенев – более скромно, но все же с удобствами. (Он любил аккуратность: тщательно убранный стол, порядок в предметах – ненавидел бумажки, зря валявшиеся, и т. п.) Стоял у него небольшой рояль, много книг, портреты любимых людей, картины.

А сам он теперь – исторический монумент (со всею своей славой), un ami catalogué[58], но в отставке, седовласый, покорный, раз навсегда сдавшийся. К нему подымались наверх русские друзья и просто знакомые, иногда и вовсе незнакомые. Прийти можно было и утром, и днем, пройдя внизу через контроль – не очень легкий – г-жи Виардо. Бывали писатели и художники, бородатые эмигранты вроде Лаврова и просто неведомые личности. Одни разговаривали часами. Другие приносили рукописи. Третьи просили рекомендательных писем. Четвертые денег на революционный журнал. Ami catalogue, первый писатель России, был как бы российским послом в Париже. С его неаккуратными и часто неопрятными гостями приходилось г-же Виардо мириться, хотя радости в этом не было. И насколько никто не боялся самого посла, настолько осталась в памяти у русских седая дама в наколке, с черными, живыми и огромными глазами, суховато распоряжавшаяся внизу.

Российский посол проявлял много терпения и грустной доброты. Никому он ни в чем не отказывал. Давал письма,

покорно выслушивал разные нравоучения, покорно деньги выкладывал. Вряд ли особенно занимали его эти люди. Вернее – и утомляли, иногда раздражали. Сердца своего он им не отдавал. Но не отталкивал – силою прямого отпора не обладал, прохладность же его, шедшая с давних лет, как и меланхолия, были все те же. Впрочем, кое-что и наблюдал он в пришельцах – наблюдательность никогда его не оставляла, но это верхний слой Тургенева (касалось внешнего). Жил же он собой, а не людьми – своими чувствами, воображением, размышлениями, «горестными заметами» души. Люди вокруг – обстановка. (Искренние его друзья – Полонский, Анненков, хорошо понимали свою роль.) Кроме стареющей Виардо, ему по-настоящему никто и не был нужен. (Но Виардо и ее семья стали уже частью его самого. Все же превратности любви – восторги, унижения – все это прошлое.) А вот, например, Герцена знал он с молодости очень близко. Правда, к концу жизни стали они дальше. Все-таки незадолго до смерти Герцена Тургенев у него обедал, был шутлив, мил, весел… А когда тот умер, как-то вышло, что Тургенев и на похороны не попал (хотя и мог приехать. Как не попал некогда и на похороны собственной матери). Если бы Герцен к нему явился и просил о чем-нибудь, он, не задумавшись, все сделал бы. Занят же Герценом не был никогда.

Во всяком случае, в полубольном, старом и горестном Тургеневе достойна всяческого уважения черта сочувственности к людским бедам, не отталкивания. Уже одно терпение, с каким он слушал! То, что находил время поехать, попросить и поклониться. Что читал бесчисленные безнадежные рукописи, писал мягкие письма, искал работу, устраивал больных в лечебницы, давал деньги на школы, возился с литературно-музыкальными утрами в пользу нуждающихся, учредил первую в Париже русскую библиотеку[59] – не так уж это мало, и не так похоже на писателя «европейского».

А вместе с тем именно европейским писателем он и был – теперь чуть ли не французским. Правда, сердился, когда спрашивали: верно ли, что по-французски и рассказы свои пишет? Тут Спасское, Мценск, Орел пробуждались в нем. «Нет, нет, всегда по-русски!» (Он французский язык не очень-то и любил, хотя знал превосходно. Был к нему не совсем справедлив.)

В парижскую же литературную жизнь вошел сильно и след оставил.

С Жорж Занд (которую очень ценил) и с Мериме знакомство его давнишнее, счастливых времен Куртавенеля. А в начале шестидесятых годов познакомился с Флобером – и сдружился. Настолько он к Флоберу привязался, что считал – только и было у

него два друга настоящих: Флобер да Белинский (в юности).

Кроме Флобера «широко» встретился с французскими писателями тоже в шестидесятых годах, на обедах в ресторане Маньи, куда ввел его Шарль Эдмонд. Там бывали: Сэнт Бев, Теофиль Готье, Флобер, Гонкуры, Тэн, Ренан, Поль де Сен Виктор и др. Тогда Тургенева знали во Франции только как автора «Записок охотника», но писатели встретили как «своего», равного по чину – почтительным приветствием на первом же обеде.

Ближе и прочнее сошелся, однако, с более молодыми (Золя, Доде, Мопассаном) – в семидесятых годах, когда основался в Париже совсем.

Добрым духом и «гением местности» тут являлся Флобер. И нельзя, говоря о парижских годах Тургенева, не помянуть этого рыцаря французской литературы.

Когда вспоминаешь Флобера, он представляется в неких латах, – не подымая забрала, проходит сквозь жизнь, в одиночестве, честном труде, отбиваясь от пошлости, разя глупость, широко дыша ветрами морей, пустынь и звезд, тая сердце мужественное, глубоко раненное, навсегда. Флобер-пустынник, в глухом своем Круассэ рыкающий металлической прозой, ритм которой похож на громыхание кареты по мостовой, Флобер, не ждущий кресла в Академии, ни пред кем не склоняющийся, суровый и добрый, вслух читающий собственные черновики, громовым голосом, слышным с улицы, Флобер, всегда заслоняемый от толпы, сумрачный, грозный, подвижнически преданный своему искусству, – образ «монаха от литературы». Он так же болезнен и меланхоличен, как Тургенев, – впрочем, рано и, кажется, навсегда вырвал из души любовь к женщине: заменил подвигом искусства. И как женствен, двойствен, переменчиво-капризен, ласково-прохладен рядом с ним Тургенев! Он не защищен. Ни лат, ни власяницы. Ни в жизни, ни в литературе нет у него закала. В юности он немало страдал от женской своей колеблемости, легкомысленной лживости. К старости многое в себе преодолел. В семидесятых годах не могло с ним случаться того, что бывало в сороковых. Но мужественной прямоты Флобера, его крепости, смелости появиться не могло. Флобер никого не боялся: ни холеры, ни смерти (хотя не был верующим), ни публики, ни критики. Его жизнь цельна и стройна – хотя недооценка и торжество пошлости мучили его немало, и, как всякий, нуждался он в утешении (тот же Тургенев и утешал его). Флобер больше Тургенева создавал свою жизнь. Никакие ветры никуда не могли занести его. От любви в молодости тоже много претерпел, но история Виардо – Тургенева для него невозможна. Правда, и натура его менее богата эротическим, чем у Тургенева.

Более властен он и в искусстве. Его проза прокованней, мужественней, совершенней. Перевод Тургеневым «Юлиана Милостивого» (при огромных достоинствах богатства языка) не вполне дает флоберовский звук.

Но следует восстановить равновесие: и Флобер не мог состязаться с Тургеневым в вольной простоте речи, ее круглости, естественности, как раз не законности – дающей более места дыханию жизни.

Флобер и Тургенев действительно дружили. Тургенев ездил к нему в Круассэ, встречался в Париже на обедах, посещал и на улице Мурильо, близ парка Монсо.

Квартира Флобера, небольшая, но изящно обставленная – в алжирском вкусе, выходила окнами в зеленый парк. Восточное оружие, диваны, книги… Тургенев любил глубоко засаживаться в мягкую мебель, иногда позволял себе даже лежать – таким запомнился в день первой встречи Альфонсу Доде: при появлении в дверях черного, лохматого провансальца с софы поднялась, не без медлительности, «огромная фигура с белоснежной головой».

Собрания у Флобера по воскресеньям, днем, бывали интимны. Доде, Золя, Гонкуры, Мопассан, Тургенев. Их сближала литература. Она общий интерес, общее ремесло. В Тургеневе был им любопытен еще и новый мир, экзотика. Тургенев много рассказывал о России. От него узнали они о Пушкине, о Толстом, еще об очень многом. Роли российского посла не оставлял он и в их кружке. Можно сказать при этом так: Тургенев среди них гораздо более европеец, чем они сами. Кроме французского он знал немецкий, итальянский, английский, испанский языки. У того же Флобера, в залитой светом комнате с разными копьями и тюрбанами, пред зелеными купами парка, где бегали детишки и сидели няньки, переводил он á livre ouvert[60] приятелям и Гёте, и Свинберна, – несмотря на старость, на подагру, на скоплявшуюся горечь, воодушевлялся сам – и увлекал. Всегда животворила его литература. Нравилось быть со своими, среди мастеров цеха. Литература вообще самый непорочный, самый возвышенный и безупречный угол Тургенева. Как у Флобера, преданность ей безгранична. Знаний больше. Тургенев мог чему-то научить Флобера: но не наоборот. Об остальных и говорить нечего. Горячий, природно талантливый, но недалекий Доде. Весьма элементарный (с большим, но нерадующим дарованием) Золя. Холодные эстеты и снобы Гонкуры… все это не так блестяще. Но все они погружены в писание: это Тургенева прельщало. Он горячо слушал самого Флобера, когда тот читал свои произведения. Ухо Тургенева улавливало слабый образ, повторение слова на большом расстоянии. Флобере восхищала

его критика. Но он и сам ценил Флоберов вкус, гордился похвалами его, очень сердился, однако, что тот плохо понимал Пушкина.

Кроме собраний у Флобера учредили они известные «обеды пятерых», или «освистанных авторов» (у каждого был в прошлом театральный неуспех – впрочем, насчет Тургенева это сомнительно: он принял титул больше из вежливости).

Обеды устраивались в ресторанах – то у «Адольфа и Пеллэ» за Оперой, то у Комической Оперы, то у Вуазена. Все пятеро старались быть гастрономами – несколько щеголяли этим. А в сущности, провансалец Доде не шел далее своего буйабэса, Флобер – руанской утки. Гонкур находил, что «шикарно» требовать имбирного варенья. Тургенев в еде действительно понимал. Недаром работали крепостные повара у русских бар, знатоков объедального дела. Недаром был он и родом из страны, чьи осетрина, стерлядь и икра прославлены. Он любил суп с потрохами, жареных цыплят, икру. Вина пил мало.

Если бы Вера Сергеевна Аксакова, со своею возвышенностью и духовностью, побывала на одном таком обеде, она бы совсем невзлюбила «освистанных», как и раньше недолюбливала Тургенева.

Собирались к семи. Платили за обед франков по сорока (по тому времени очень дорого), засиживались в отдельном кабинете до двух. Золя снимал пиджак, Тургенев кисло бранил его, что он не носит подтяжек, и горячо спорил с Флобером о том, можно ли есть жареного цыпленка с горчицею или нет, – до того горячо, что держали пари на дюжину шампанского и обращались к суду экспертов-знатоков (давших ответ неопределенный: не знаю, кто кому ставил вино). Это все мало походит на «ночные бдения» молодого Тургенева с Бакуниным или на «утра» в Лесном с Белинским. Но надо быть справедливым: не об одних цыплятах говорилось. Разбирали и собственные произведения. Приносили новые свои книги. Флобер – «Искушение св. Антония», «Три повести»; Гонкур – «Элизу»; Золя – «Аббата Мурэ»; Доде – «Джека», «Набоба»; Тургенев – «Живые мощи», «Новь». «Мы толковали друг с другом по душе, открыто, без лести, без взаимных восхищений» (Доде).

Это подымало обеды, облагораживало. Облагораживали ли разговоры о любви? Их тоже бывало много. Но тут Тургенев оставался в одиночестве и как физически, так и духовно целой серебряною головой своей перерастал собеседников. Ибо для «натуралистов» любовь была или актом природы (как у зверей), или гастрономией. По общему мраку мировоззрения своего, признававшего лишь слепую Природу (создавшую бессмыслицу и

хаос жизни), Тургенев к ним приближался. Но Любовь являлась ему мистическим просветом. Он знал о божественном ее происхождении, не любил унижения любви. Гастроном в кухне, не терпел гастрономии в любви, и за это недалекими своими сотрапезниками почитался «отсталым». Ему как ребенку объясняли особенности любовной техники – люди, вероятно, кроме этой техники, ничего в любви и не смыслившие. Замечателен его спор с Золя. Тот утверждал, что любовь к женщине ничем не отличается в существе своем от дружбы или любви к родине – лишь обострена жаждой обладания. Тургенев возражал: любовь – чувство совсем особое, ни на что не похожее и загадочного характера. Вспомнив юность свою, Нескучное и княжну-соседку, твердо стоял на том, что «в глазах любимой женщины есть нечто сверхчувственное». На этом коньке был непобедим. Одолеть его нельзя было потому, что таков его опыт: он знал это не из книг, а из жизни. Отказаться от предельного взгляда на любовь значило бы для него отказаться от себя и своего писания. Он не только считал, что видит Божество в глазах любимой, но полагал, что любовь вообще расплавляет человека, как бы изливает его из обычных форм, заставляет забывать о себе – «выводит» из личности (соединяя с бесконечным). Не все могут любить. Есть лишенные этого дара. (Он не любил толстовского Левина – считал очень холодным, не умеющим любить, всегда лишь **собою** занятым.)

Любви же сам настолько был «подвержен», что считал – и писать то способен, лишь когда влюблен. Может быть, преувеличивал. Но без любви жить все-таки не мог, как и без творчества. Это сливалось у него в одно.

* * *

Еще очень давно, молодым и счастливым, испытал Тургенев в Куртавенеле мистические, жуткие ощущения – будто сквозь обычный мир давал о себе знать и другой, таинственный и недобрый. Он чуялся ему и в звездном небе, и в ночных шорохах, и в снах – сны всегда много значили в его жизни. К ним не так просто он относился. Замечательно, что светлое визионерство дантовской, например, молодости ему чуждо. «Любимая» не являлась обликом Беатриче, хотя в сверхчувственном понимании любви и был он с Данте родствен. Зависело ли это от того, что у Тургенева не было чувства всемогущего **светлого** Бога? Высшая сила для него слепа и безжалостна. Человек ничтожен. Прорывающееся **оттуда** нерадостно. В полном противоречии с

этим был **восторг** любви – хорошо ему известный. Данте верил, что Беатриче из благодатного источника. Тургенев ощущал прелесть своей Беатриче скорее как магическую. Это одна из болезненных его неясностей, очень тяжелых.

Его странности в доме Герцена, одинокая тоска на rue de la Paix, сумрачное (но глубоко поэтическое) колдовство «Фауста» (рассказа), ужас «Призраков», грозные сны – все это одного корня. Правда, он написал Лизу в «Дворянском гнезде». Что-то иное брезжило и ему. Но помолиться с Лизой в церкви он не мог.

С годами чувство присутствия иного мира в нем росло. Но не давало радости. О «призраках» он не только писал: он их и видел. Спускаясь по лестнице обедать, видит старика Виардо в охотничьей куртке, умывающегося у себя в уборной. Делает несколько шагов до столовой – там преспокойно сидит тот же Виардо, нисколько не умывавшийся. В Лондоне люди раздваиваются: он говорит за столом с пастором и кроме пастора видит его скелет, пустые впадины глаз и т. д. Или приходит к нему, солнечным утром, женщина в капоте – говорит несколько слов по-французски – не один раз приходит. Будто уже знакомая. «Странно, что по-французски. У меня никогда не было близкой женщины-иностранки, из умерших то есть… Я несколько раз видел привидения в своей жизни».

Просто ли это галлюцинации или не просто, другой вопрос. Но они были. И раздвояли самого Тургенева как в жизни, так и в писании.

Уже говорилось, как вслед за «Отцами и детьми» написал он «Призраки», несколько позже «Собаку». Семидесятые годы открываются как бы двойным созвучием: «Степной король Лир» – деревенский и полно-живописный Тургенев мценских полей, Орла, Спасского – и «Стук… стук… стук!» («Я как раз начисто переписал эту певучую, небесноголубую вещицу – и, к величайшему моему удивлению, заметил, что она похожа на ядовитый гриб»). Что в ней небесно-голубого нашел он, не знаю. В этой «студии» соблазненная офицером девушка, покончив с собой, из «того» мира зовет к себе соблазнителя – в таинственной туманной ночи, слабым стоном – похожим на то, что слышали еще мальчики «Бежина луга». Сомнений нет: «тот» мир все ближе подступает. Теперь лучшие свои вещи пишет он по «зову». «Живые мощи» набросаны гораздо раньше. Но пока был он моложе и больше погружен в «лапку утки» и «морду коровы, с которой падают блестящие капли», – Лукерья, сны ее, видения меньше его занимали. Рукопись лежала в столе, не доведенная до состояния художества. Зря, случайно? В благотворительные сборники и раньше зазывали его. Но вот лишь теперь (в 74-м г.) появилась эта

драгоценность литературы нашей. Лукерья такая же заступница за Россию и всех нас, как смиренная Агашенька, раба и мученица Варвары Петровны, как Лиза. Вместе с Лизой она свидетельствует и о каких-то возможностях Тургенева, не до конца раскрывшихся. О неполной власти магического.

1875-й год отмечен рассказом «Часы». Автор сам находил его «странным» – во всей несколько запутанной истории простые будто бы часы играют роль недобрую и знаменательную. Еще мрачнее следующая вещь «Сон», кошмар сплошной, написанный с той убедительностью, какую мог дать лишь человек, сам с призраками знавшийся. Затем «Рассказ о. Алексея» – тут просто уж изображается, как дьявол овладел душою человека. Удивительный по тону, полный кротости, он страшен безответностью, почти опасен (ощущением всемогущества, неотвратимости зла). Но что легкое, светлое мог дать художник, отмечавший в своем дневнике (1877): «Полночь. Сижу опять за своим столом. А на душе у меня темнее темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель. – Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».

Дух мрака, горестного уныния знаком всякому – до святых, впадавших иногда в тоску. Но они одолевали ее слиянием (в молитве, устремлении духовном и любовном) – с Верховным благом. Тургеневу же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не от кого ждать помощи.

В те самые семидесятые годы, когда вкусно обедал он с французскими литераторами, покупал картины в Hotel Drouot, водил знакомство с Лавровым и давал деньги на революционный журнал, когда восторгался цюрихскими народницами-студентками, самоотверженно набиравшими свое издание, – тут-то и мог по-настоящему писать лишь «подпольное». Тургенев дневной, общественный, «отражавший современность», не удавался уже вовсе.

«Новь» – плод сложных, долгих размышлений, наблюдений. Роман, написанный, может быть, самою зрелою техникой Тургенева, с наибольшим движением и прочностью композиции (слабые стороны его раннего писания), – совершенно погиб. Вот вещь не благословенная, незадачливая в корне, ничем не овлажненная, не оплодотворенная – самое страшное для художника зрелого: будто все и на месте, и все ни к чему. Все подсушено, без живых соков (хотя имеет вид жизненности). Горькая «Новь» с изображением хождений в народ молодых, иногда трогательных интеллигентов, несчастных и

гамлетизирующих, никакой истинной новью не благоухающих. Зря пропали деньги Тургенева на лавровский журнал. Ничего не дал ему и сам этот отшельник латинского квартала со своими цюрихскими студентками.

Нет, не то мог делать теперь старый, больной, томимый чувством близкого конца Тургенев.

* * *

В «Сне» некий офицер «с черными, злыми глазами», отчаявшись в любви к нему матери лица, ведущего рассказ, прибегает к насилию. В отсутствие мужа проникает в ее спальню, набрасывает на голову ей подушку и т. д. Рожденный при такой обстановке сын видит впоследствии упорный сон об отце – и однажды наконец его встречает (в приморском городе, где живет одиноко с матерью). Отец действительности вполне походит на отца сна (при нем некий таинственный «арап»). Снова пытается отец проникнуть к матери, на этот раз неудачно. Уезжает в Америку и гибнет в буре. Его тело прибило к берегу, и, гуляя по взморью, юноша вновь видит, но уже мертвого, отца – с тем обручальным кольцом на пальце, которое он сорвал с жертвы в первое свое посещение. Юноша бежит домой, приводит мать к этим песчаным дюнам, но утопленника уже нет… так же загадочно он и сгинул.

Написан «отец» смутно, в облаке таинственности. Будто он приходил к матери **тогда** естественно (указана даже потайная дверь в стене). Но остается впечатление магнетизирующей силы, колдовства, таившегося в черноглазом человеке с арапом, – содействия сил темных.

Овладеть в отвергнутой любви силою… да еще весьма двусмысленной… В этом «Сне» есть отчаяние страсти. И – беззащитность от вторжения ее (мать не может сопротивляться вихрю, чужой страстной воле).

Воля в любви. Порабощение одного другим, предельно ли грубое или более сложное, но не менее жуткое насылание «болезни любви», как наслала ее Мария Николаевна на Санина в «Вешних водах», – это Тургенева давно занимало. Любил он любовь и боялся ее. В «Сне» редкий у Тургенева случай, когда мужчина действует. (Обычно «берет» женщина – мужчину слабого, неволевого.)

Не знаю, как Виардо отнеслась ко «Сну». При своем трезвом и «благоразумном» настроении вряд ли одобрила. И она, и ее муж бывали строги к Тургеневу. Во всяком случае, под их кровом, в

третьем этаже дома на rue de Douai, в небольших комнатах, где висел портрет Виардо, стоял ее бюст, откуда слышны были колоратуры учениц, распевавших внизу с седою, но блестяще-черноглазою прельстительницей, сочинял Тургенев такие странные, никому не близкие и не имевшие успеха вещи…

Сам он старел, Эрос же в нем не гас. Вряд ли он был теперь в Полину влюблен. Романом с ней никак не отзывает жизнь в доме entre la cour et le jardin. Но ее власть над ним огромна. Он как бы в тихом, заколдованном оцепенении. Его сердце может даже открываться другим. Но над всем бодрствуют черные, пожалуй, и действительно магнетические глаза Полины. Достаточно ей сказать «так» – и будет так. Уехав в Россию, по первому зову прилетит он в Париж, как бы в туманном лунатизме.

Баронесса Юлия Петровна Вревская – блестящая красавица, чудесный, страстный человек. Они встретились в конце 73-го года. Она очень ему понравилась. Уже весною 74-го пишет он ей из Парижа о своем чувстве к ней, «несколько странном, но искреннем и хорошем». Летом он побывал в России. Вревская приезжала к нему в Спасское, провела там пять дней в июле – робостью она не отличалась, но авантюристкой не была никак. Тургенев, разумеется, ей тоже нравился. В собственной жизни она неустроена и тоже томится. Ей хочется жить, но не так печально-созерцательно, как графиня Ламберт, не так семейственно, как Ольга Александровна. Она более женщина нового времени. Не Елена ли «Накануне», попавшая в семидесятые годы? Многое уже видела. Многое испытала. Знает разочарования, но и силы свои. Не одна семья и не одна любовь ее влекут. Жить – значит действовать. Рядом с любимым человеком, но на равной ноге.

На роль Инсарова никак Тургенев не годился. По обыкновению, расставлял свои серебристые тенета, слегка опутывал и завлекал, но что мог предложить решительного? В Спасском читал ей вслух стихи, мастерски рассказывал (кто же из женщин скучал с Тургеневым?), загадочно целовал ручку, вздыхал – был мил и очарователен, – вечно ходил вокруг да около. «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными, а главное, свободными людьми… докончите фразу сами».

Кого можно зажечь «условными предложениями»? (Если бы да если бы…) Но ведь это пишет Тургенев, и тайком от Виардо. Полина отлично могла себе позволить баденского доктора и с Тургеневым на этот счет не советовалась. Если бы, однако, узнала о его «отклонениях», вряд ли бы ему поздоровилось.

Тургенев виделся со Вревской вне Парижа: в 75-м г. в Карлсбаде, где вместе они пили воды. В 76-м – в России. А еще

через год он так осмелел, что написал ей: «С тех пор, как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно, чтобы попросить Вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade». Вревская раньше писала ему, что не питает «никаких задних мыслей». Он тут же прибавляет: «Я, к сожалению, слишком был в том уверен» (обычное его положение: не возбуждать страсти в женщине). Вревскую все-таки его письмо смутило. Она ответила – и в письме была загадочная фраза, над которой он «поломал голову». Но дело опять кончилось придаточным предложением из числа условных. 8 февраля он пишет: «Нет сомнения, что несколько времени тому назад, если бы Вы захотели…»

То есть «если бы» она его взяла. Этого, разумеется, не случилось. Вревская никак не собиралась «женить» на себе Тургенева. Никаких «карьер» или «тихих пристаней» она не желала. Наоборот, неизжитые силы влекли ее вперед. Хотелось действия, притом доброго действия. Вревская поступила решительно, прямо. Шла русско-турецкая война. Вскоре после последней встречи с Тургеневым (в конце мая, в Павловске на даче Полонского) уехала она сестрой милосердия на войну – в ту же Болгарию, куда некогда устремлялась Елена. Там героически ухаживала за больными, ранеными. Там сложила голову «за други своя». С «золотой волюшкой» не рассталась, жизнь же отдала.

Тургенев как раз в это время начал еще новый род писаний своих, лирико-философических, назвал их «Стихотворения в прозе». О смерти ее он написал знаменитое «стихотворение» – последняя весть о Вревской, последнее ее прославление.

«…На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве – ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, – поочередно подымались со своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка».

Так проиграла (а вернее, выиграла!) свою жизнь Вревская. Подходящая для нее судьба: скорый, трагический и героический конец. Расчеты Тургенева с жизнью шли медленнее. Ничего не было в них героического.

## Буживаль

«Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу – в трех четвертях часа езды от Парижа, – я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20-го августа – но где я немедленно поселюсь… – Я езжу в Париж три раза в неделю».

Это писано летом 1875 года. «Здесь» – Буживаль, недалеко от С.-Жермен, на берегу Сены.

Видимо, купили они сообща. Вилла называлась Les Frenes («Ясени»). С набережной ворота вели в парк. (Они и ныне существуют. На них доска с обозначением, что тут жил «знаменитый русский романист Иван Сергеевич Тургенев».) Две дороги, усыпанные песком, подымались вверх к дому. Вокруг кусты, зелень, чудесные ясени, плакучие ивы. Как и в Бадене, много воды. Она скоплялась в бассейнах, бежала ручейками среди бегоний, фуксий по лужайкам, мшистых огромных деревьев. Главный дом, где жили Виардо, наверху. У Тургенева небольшое chalet[61] в швейцарском духе, недалеко от дома – все в цветах, зелени. В rez-de-chaussé[62] столовая и гостиная. Выше большой кабинет, много книг, картин, мебель обита темно-красным сафьяном. Из углового окна вид на Сену – на ней те же баржи, что и теперь, лодки, кабачки под ивами и тополями. Зеленые луга, коровы. Голубизна далей – тогда все было просторней, более деревенское. Еще этажом выше – спальня и комната для гостей.

Сюда выезжали каждую весну из Парижа, с rue de Douai, в каретах, медленно и основательно кативших по шоссе, с сундуками, баулами, картонками – на все лето. (Как бы парижское Нескучное или Царицыно.) Лишь ноябрьские туманы загоняли в город.

Собиралась вся семья: семидесятипятилетний Луи Виардо, Полина, дочери – Клавдия Шамеро и Марианна Дювернуа, сын Поль. Приезжал – возвращаясь из Карлсбада с леченья или из России (там бывал чуть не каждый год) – Тургенев. Случалось, что и ученицы Виардо жили тут в пансионе по соседству. Жизнь шла тихая, старчески-закатная. Тургенев, как всегда, работал. К Буживалю имеют отношение «Сон», «Рассказ о. Алексея» и позднейшие «Клара Милич», «Стихотворения в прозе», предсмертные наброски. Осенью 76-го года здесь переписывалась «Новь» – и очень многие письма помечены Буживалем (Тургенев всегда тщательно означал даты и место – любил, чтобы и ему указывали их).

Видишь его здесь полубольным и грустным, с подагрою, нередко в пледе, медленно прогуливающимся по парку (в лучшие,

относительно, годы, до последней болезни). Очень это не похоже на его молодость в Куртавенеле, но ни от чувств Куртавенеля, ни от самого поместья ничего более не осталось.

К молодости, красоте тяготение неизбывно. Вот Диди расставляет у него в кабинете, рядом с окном на Сену, кисти, краски на мольберте, тут для нее поставленном. Это видная молодая женщина с черными блестящими волосами, острыми чертами лица, глубокими синими глазами. Обликом напоминает мать. Она тоже умеет петь – Полина обучала ее. Но ее занимают больше кисти, краски. Диди с детства рисует. В годы Бадена дарила Тургеневу ко дню рождения «Св. Семейство» – здесь пишет пейзажи, натюрморты.

Тургеневу нравится, что она близ него. Может быть, он дает ей советы, критикует, хвалит. Снизу, с крокетной площадки, тоже молодые голоса, щелкают шары, смех: ученицы забавляются не столь веселой игрой. Накидывая на плечи пестрый плед – летом нередко холодно, – спускается он вниз и под ясенями садится на скамейку, смотрит, как играют. Ученицы разноплеменные: южная красавица Гаргани – венгерка; мечтательная Фермерн, чудесное контральто, немка. Ромм русская. Все, как на подбор, высокие, стройные. В Париже, увидав их раз в салоне Виардо, Тургенев окрестил всю тройку «анабаптистами» из «Пророка», так и осталось за ними название. Опять похоже на Лаврецкого и молодежь, только не в Орле на Дворянской, а на латинской земле, и Лаврецкому шестьдесят лет. Анабаптисты относятся к нему с благоговением – это великий писатель, такой приветливый и грустный человек, даже такой красивый, несмотря на возраст. Возможно, и он тряхнет стариной, сыграет партию, да вряд ли барышни решатся обыграть его. Хотя боязни к нему нет. Кому он страшен? Кого обижал из малых сих? (Не то что Виардо: от нее, случалось, плакали статные ученицы – потом мирились, целовались – до ближайшей ссоры.)

Долго ему под ясенями, однако, не усидеть. Из дому бежит прислуга.

– Г. Тургенева спрашивают…

Или:

– Приезжая дама очень хочет видеть по делу г. Тургенева.

Это соотечественники, Виардо не особенно их ласково встречает, все-таки они просачиваются. Может быть, молодой, рыжеватый, с бородкой клочьями и в косоворотке народник, будущий Златовратский, приехал «ознакомиться со взглядом нашего знаменитого писателя на революционное движение», выяснить окончательно, «как он относится к прогрессу?» – и заодно пожурить за «постепеновщину», за то, что в «Нови»

«недостаточно выведено положительных типов», и т. д.

– В России назревают события, – осведомляет юнец. – В Петербурге сейчас два правительства: одно в Зимнем дворце, другое в конспиративной квартире исполнительного комитета…

Все это Тургенев знает, но ничего не поделаешь, надо слушать. Он полулежит – громадный, с серебряной головой, кутает ноги пледом.

– Вы уж меня извините, – говорит высоким, пришепетывающим тенором, – за такую позу. Больной старик… Да, да, я преклоняюсь пред самоотвержением русской молодежи. Я вам очень благодарен за ценные указания. Разумеется, я сделал в «Нови» промах…

Посетитель оглядывается по сторонам. Видимо, обстановка его смущает, и собственная косоворотка, и бородка козлиная.

– Вы здесь вдали от гущи жизни. Для уловления нарождающихся типов необходимо быть, так сказать, внутри, а не вовне…

Это больное место Тургенева. За «гущу», за якобы «измену» родине («променял на Францию») кто только не корил его? (А когда умер Флобер и попробовал Тургенев собирать на памятник ему в России, эта милая Россия в ярости на него набросилась!)

Может случиться, что народник вытащит-таки из-под полы, пыжась и краснея, трубочку рукописи, где «выведены» в поучение Тургеневу и «положительные» типы, будет рассказано, как честная учительница с не менее честным учителем ушли в народ и что из этого получилось.

Терпелив Тургенев. Прочтет, одобрит, перешлет Стасюлевичу – нельзя ли «тиснуть» в «Вестнике Европы»? Из своих средств даст аванс… (Одна из причин нелюбви Полины к землякам.)

Или же не народник, а щебечущая дама дожидается. Под вуалькой, в джерси, с турнюром и юбкой в воланах.

– Иван Сергеевич, я такая ваша поклонница… позвольте представиться… обожаю ваш талант, мне бы хотелось автограф.

Это – в лучшем случае. А то – похлопотать за сына. Его надо поместить в гимназию на казенный счет, так вот не может ли он дать письмо… При его имени… с его известностью.

– А сколько лет вашему сыну?

Тургенев берется за перо.

– Пятый пошел.

– Ну, в таком случае не возьмут.

– Ах, знаете, я на всякий случай вперед. Нахожусь проездом в Париже, думаю: надо навестить Ивана Сергеевича, он такой добрый, а Олег подрастет, ему пригодится рекомендательное

письмо. Да заодно и подпись знаменитого писателя.

Вероятно, не так уж благословлял в сердце своем «Иван Сергеевич» разных мамаш и Олегов, но письма писал, пока в дверь не стучала твердая рука Виардо: конец аудиенции – «г. Тургенева ожидают к завтраку» (или к обеду, или еще что).

Вечером вист – одно из приятных для него развлечений. А 18 июля в доме праздник: день рождения Полины. (В Баден он всегда приезжал к этому времени из России. В Буживале не совсем так.)

Разумеется, делает Тургенев подарок: за несколько дней катит в карете в Париж, в Salle Drouot. Там он завсегдатай.

Его кличка Grand Gogo russe[63]. Это значит, что нетрудно его облапошить – и действительно, нет ничего легче. Он разыщет какую-нибудь камею, шаль, миниатюру. Переплатит, робко свезет домой. Подарок будет принят с царственным благоволением, как самоочевидный шаг. Черные глаза лишний раз блеснут. Лишний раз поцелует он красивую некогда руку.

И анабаптисты не отстанут. К торжественному дню заказывают они в Париже огромнейший букет красных роз, букет-монстр, чтобы умилостивить госпожу. К ним присоединяются еще две ученицы – подношение от пятерых.

Полина все-таки дает утром урок. Стучат. Въезжает целый куст роз. Она сразу понимает, в чем дело, но слегка играет: хмурится, делает недоуменное лицо… За дверьми шепчутся остальные четыре девицы.

– Что такое? Откуда это?

В букете пять визитных карточек.

Она медленно вынимает их, по одной, медленно, как бы плохо разбирая, читает.

– Ну какие глупые, что это за пустяки!

Но анабаптисты уже ворвались, виснут на ней, целуют.

Разумеется, парадный обед, с шампанским, индейками, мороженым. Вечером гости. Ученицы будут петь. Может быть, и Полина вспомнит былое, остатками знаменитого голоса споет «О, только тот, кто знал свиданья жажду…» – сверкнет непогасшими глазами, вновь одно сердце взволнует.

А потом кончится этот день. Один останется Тургенев у себя в chalet – как и всегда. В угловом окне, над Парижем, бледное зарево. Летние звезды в небе. Лампа под зеленым абажуром на столе. Как некогда в Куртавенеле – шум крови в ушах, шорох – неумолкаемый лепет деревьев, капля падает с легким серебристым звуком. Тончайшее сопрано комара. И – ощущение ушедшей жизни.

В полночь было страшновато в уединенном Куртавенеле,

могло пригрезиться что-нибудь, почуяться. Но тогда – молодость. Хоть не надолго – да увенчанная любовь. И тот, неведомый мир, чуть приоткрывавшийся, был далеко: едва давал о себе знать. Теперь он рядом. Совсем приблизился, как кошмар «Сна». Тайные силы, грозные и недобрые, может быть, и могли заколдовать и покорить ему ту, около которой (в неравной борьбе) прошла жизнь. Но вот не заколдовали. Не обратно ли? Не им ли овладели – приковали к «краюшку чужого гнезда»?

Возможно, встанет monsieur Tourgueneff, в тишине ночи обойдет сад и, вернувшись, запишет у себя в дневнике: «Самое интересное в жизни – смерть».

# Слава

С начала шестидесятых годов стало Тургеневу казаться, что он устарел, что его разлюбили и у него «все в прошлом». Отчасти это было верно.

Старая Россия, патриархальная и крепостническая, кончалась. Все благоухания полей, «Затишья», смиренность русской девушки, смиренность крепостного человека – необъятная тишина России – уходили. Тургенев много показал влаги, поэзии, красоты в этом. Но сама эпоха удалялась. «Дворянское гнездо» – последний бесспорный и глубокий его литературный успех – конец пятидесятых годов.

Водители шестидесятых сразу сказали: «Тургенев не созвучен времени» – он и действительно не очень был созвучен. Диссонансы, резкая сухость – не его область. Уже говорилось, как тяжко переносил он нападки на «Отцов и детей». Мелкие вещи проходили незаметно. «Дым», – полууспех, тоже отравленный. О «Нови» никто (почти) не сказал доброго слова. К тому же: Тургенев живет на Западе, в Россию только наезжает. Шаблон готов. Старый, немодный писатель, оторвавшийся и от эпохи, и от родины. Что может дать он?

За эти годы Тургенев и писал меньше: возраст поздний, да и настроение сгущается. Темперамент толстовский или ибсеновский только разжигался бы. Тургенева надо было любить, баловать, без этого ему трудно работать. И он все прочнее приходит к мысли, что дело кончено. «Довольно» – Достоевский злобно посмеялся над ним («Merci!»), но и вообще «люди шестидесятых годов» все возможное сделали, чтобы отравить старость Тургенева.

Правда, в Европе его переводили, о нем писали. В Париже была у него известность личная (и то больше как собеседника) среди писателей, музыкантов при Виардо, художников, да в некоторых салонах. Книги по-французски шли плохо. Сам он считал, что его влияние и положение во Франции малое. В Германии были верные литературные друзья (критики) – Юлиан Шмидт, Пич. Немцы писали о нем, пожалуй, больше и почтительнее всего. Некоторые удачи случились в семидесятых годах в Америке. Зато в Эдинбурге (где читает он «о никому не интересном предмете: русской литературе») – самое имя его бессмысленно искажают. И во всем там ощущает он свою ненужность.

Подошел 78-й год. Тургеневу исполнилось шестьдесят. Ничего не написал он к юбилею! Если пятнадцать лет назад

сказал «Довольно» – что же теперь? Он полагал, что умрет в 1881 г. (перестановка цифр года рождения – 1818). Так что о славе и поздновато думать. Но она не спрашивала его мнения, пришла сама, когда нашла нужным (смерть тоже не посчиталась ни с какими цифрами).

Первый сигнал славы европейской был несилен, но хорош. На международном литературном конгрессе 78-го г. в Париже Тургенева выбрали вице-президентом, он сидел рядом с Гюго, и председательствовали они по очереди, оба говорили на открытии. Гюго гремел, Тургенев скромно прочел речь о русской литературе – имел очень большой успех. Серебряная голова, фрак, белый галстук, пенсне, негромкий и высокий голос, отсутствие рисовки, общее ощущение, что это крупный писатель, – все до слушателей «дошло». Русская литература никогда еще не занимала такого места – ее вознес Тургенев. Морально испытание прошло отлично. Техником же вице-председатель оказался плохим (давал слово не в очередь, иногда вставал, будто бы собираясь что-то сказать, и не говорил, слабо управлял звонком, а затем и вовсе его выронил). Но это не важно. Гюго делал нелепости и почище (голосовал, например, за постановление, прямо противоположное собственной речи). Важно, что Тургенева наравне с Гюго возвели в сан патриарха – пред лицом Европы.

России еще не было. Все еще казалась она «сфинксом». Но как раз в этом неблагожелательном году и Россия дала весть неожиданную, радостную. В речи на съезде коснулся он русской литературы скромно, но твердо («Сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете как своих товарищей»). А за два месяца до этого получил из России письмо, сильно его взволновавшее: писал из Ясной Поляны Лев Толстой, тот самый, что семнадцать лет тому назад собирался застрелить его из двустволки. Тургенев никаких шагов к сближению не делал: он только прославлял врага на Западе как первого художника России. В душе же самого Толстого что-то сдвинулось. Вспомнил он теперь о Тургеневе не как о «подлеце».

«В последнее время… я к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай Бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, в чем я был виноват перед вами». Дальше вспоминает, скольким в литературной известности своей обязан Тургеневу, все доброе, что тот для него делал, и предлагает, если Тургенев

может простить, – возобновить дружбу. «В наши годы есть одно только благо – любовные отношения с людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся».

Тургенев заплакал, получив это письмо. Ответил так:

«…С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам; если они и были, то давным-давно исчезли…

…Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю вам всего хорошего – и еще раз дружески жму вам руку».

В Спасское Тургенев этим летом попал и в начале августа собрался к Толстому в Ясную Поляну. Толстой выехал встретить его в Тулу – видимо, хотел обставить примирение совсем торжественно. Из Тулы вместе они приехали, очень ласково друг к другу настроенные. Тургенев гостил несколько дней, всех у Толстого очаровал смиренностью, простотой, живописностию рассказов. Видимо, был в ударе – мягкой и растроганной душевной полосе. «И вы, и я, – писал потом Толстому, – мы оба стали лучше, чем шестнадцать лет назад». Очевидно, от «прежнего» Тургенева, с некоей позой и фразой, следа не осталось. Толстой этого не вынес бы. А теперь он с ним почтителен, почти нежен. Расстояние, разумеется, сохранялось. Оба держались именно так, чтобы острых углов не задевать. Тургеневу, впрочем, было и вообще не до острых углов. Другое тяготело над ним. В столовой сели за стол – тринадцать человек. Стали шутить насчет того, кому первому выпадет жребий смерти. Тургенев тоже смеялся. А потом поднял руку и сказал:

– Qui craint la mort, léve la main![64]

Никто не поднял, кроме Льва Толстого.

– Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir[65].

Два первых русских писателя – только они – сказали, что боятся смерти. (Софья Андреевна считает, что Лев Николаевич поднял руку «из вежливости» – хороша вежливость у автора «Смерти Ивана Ильича»!) И оба выразились по-французски.

Потом, конечно, как всегда, в деревне, гуляли, любовались Козловой Засекой, милыми полями, перелесками родины. Тургеневу было не до споров, не до ссор. Последние трепетания любви да слава оставались ему. Спешить некуда. Не о чем и волноваться. И правда, далеки нервность, бурная раздражительность времен Фетовой Степановки.

Вечером играли в шахматы. Шахматных партий из вежливости не проигрывают. Тургенев играл лучше, и, наверно,

приходилось Толстому упражнять свое смирение, проигрывая ему.

Тургенев пробыл у Толстых три дня. И гость, и хозяева остались друг другом довольны, а на зрителя двух славных жизней хорошо действует, что достойно заканчивались долгие их, сложные и драматические отношения. Тургеневу, невдалеке от кончины, следовало примириться с Толстым. Не могла одна подлинная Россия (европейская) враждовать вечно с другой подлинной (азиатскою).

Примирение с Толстым хорошо отозвалось и на Фете. Бородатый Фет, некогда приятель Тургенева по стихам и охотам, с 74-го года стал почти недругом.

Разводило их неодинаковое отношение к России и политике. Тургеневское вольномыслие, холодность к правительству, знакомство с эмигрантами и некоторое сочувствие революционерам раздражали Фета. Тургенева же раздражал непроходимый фетовский чернозем, возводивший чуть не к крепостному праву. Меньше он стал ценить и его стихи. Недовольство долго тлело, но прорвалось сразу. До Тургенева дошли вести, что Фет распространяет о нем нелепый рассказ: будто Тургенев старался в разговоре с двумя юношами «заразить их жаждою идти в Сибирь». Некое слово Тургенева явно было перетолковано, искажено и раздуто – привело к разрыву. Но Фет продолжал быть и соседом, и приятелем Толстого. Августовская встреча, впечатление, произведенное у Толстых Тургеневым, все это повлияло. Вернувшись в Спасское, 25 августа 78-го г. Тургенев пишет Толстому: «Фет-Шеншин написал мне очень милое, хоть и не совсем ясное письмо, с цитатами из Канта; я немедленно отвечал ему. Вот, стало быть, и недаром приезжал в Россию».

Но главные, триумфальные встречи его с родиной были еще впереди.

* * *

В начале 79-го года умер в России старший брат Тургенева Николай, тот, с кем вместе воевали они некогда против матери, который по смерти ее стал владельцем огромного состояния и так всю жизнь и прожил с Анной Яковлевной (скончалась она раньше него). В свое время немало претерпел за нее от матери. Но навсегда остался под властию этой женщины. Анна Яковлевна управляла мужем безраздельно, а он, по словам Ивана Сергеевича (не любившего невестку), «целовал ей ноги» – некоторым образом повторяя судьбу Ивана. Нельзя равнять Анну Яковлевну с Виардо,

но она тоже была некрасива, тяжелого характера и бурного темперамента.

В жизни Тургенева-младшего старший почти не имел значения, если не считать приезда его в Баден в шестидесятых годах, когда Иван Сергеевич сообщил ему важные семейные тайны (о себе и Виардо), нам неизвестные. До духовного уровня младшего брата никогда Николай не подымался. Их отдаленность не удивляет. Николай был помещик, хозяин, скуповатый делец. Все это чуждо Ивану Сергеевичу.

С похоронами близких Тургеневу всегда не везло (так уж, видно, назначено было: держаться в сторонке) – не видал он в гробу ни матери, ни брата, ни Белинского, ни Герцена. В феврале же 79-го года приехал в Москву по делу о наследстве. Николай Сергеевич и в смерти остался верен памяти жены: подавляющую часть имущества оставил ее родственникам. Иван Сергеевич получил совсем мало.

Как бы то ни было, приезжал Тургенев в Россию за деньгами. Но о наследстве, неприятностях с каким-то Маляревским слышим мы лишь вскользь. О встрече писателя с Россией очень много.

Началось как будто с пустяка. Максим Ковалевский, известный ученый, барин, гастроном, человек «западнического склада», жизнь проживший широко и вольно – тогда редактор «Критического обозрения», – пригласил Тургенева к себе на завтрак. (Тургенев остановился все на том же чудесном Пречистенском бульваре, у того же Приятеля своего Маслова, в Удельной Конторе.) У Ковалевского собралось человек двадцать сотрудников. Завтрак был обильный, парадный. Первый тост грузный хозяин провозгласил за гостя, «как за любящего и снисходительного наставника молодежи». Все это просто и естественно: Тургенев только что приехал – старый, знаменитый писатель. Более удивительно, что столько раз уже в жизни завтракавший, столько тостов произнесший и выслушавший, на этот раз Тургенев «не дослушал приветствия и разрыдался». Это вышло совсем не по-западному – ни у Ваузена, ни у «Адольфа и Пеллэ» этого не полагалось. Что-то сразило Тургенева, раскрыло «славянскую» его натуру. Позже он называл «небывалым» тот день. В действительности, ничего небывалого, разве одно: случилось это в Москве, где мальчиком он учился в пансионе, юношей ездил в университет, был влюблен в Зинаиду. Одно важно, что это Родина, что не только его не забыли, а считают наставником и любят. Что пред надвигающейся смертью может он собрать и плоды жизни.

Эти плоды посыпались со всех сторон. Приезд его обратился в триумф – хотя умысла никакого не было. Все выходило само

собой.

Читает, например, старый, тучный Алексей Феофилактович Писемский главу из романа в Обществе любителей российской словесности. Чтение – в физической аудитории университета. По давней дружественности приглашает Тургенева. Тот не сразу и соглашается (неважно себя чувствует). Но в конце концов едет. Входит чрез главную дверь, прямо против которой, совсем близко, стоял легкий белый экран для волшебного фонаря. Задевает его (по неуклюжести своей и огромному росту) – перед полным публики амфитеатром неожиданно является седая голова… Начинаются овации. Некая «светлая личность», студент Викторов, из-за Тургенева попавший в историю литературы, с хор произносит речь. О Писемском забыли.

– Вас приветствовал недавно кружок профессоров, позвольте приветствовать вас нам – нам, учащейся русской молодежи, – приветствовать вас, автора «Записок охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения…

Одним словом, все как полагается. В дальнейшем было и некоторое «поучение», но утонуло в восторге молодежи. Тургенев скромно поблагодарил. И быть может, скромностью еще более тронул эту нервную и горячую, иногда вызывающую улыбку, но восторженную молодую Россию. Восторг летит за ним. Студенты мчатся по коридорам, толпятся у выхода, чуть не качают его (как некогда в Петербурге Полину Виардо)… «И высыпали бы на улицу, если бы полиция не поспешила закрыть дверь, когда Тургенев вышел на подъезд».

В сущности, то же продолжается и дома, на Пречистенском бульваре. С утра поклонники: студенты, актеры, члены английского клуба, ученицы консерватории, художники, желающие писать портрет. Десятками надо подписывать автографы – за ними по большей части приходят девушки. (Эти «тургеневские девушки» так однажды насели на него, что пришлось целый день выводить свою фамилию. К вечеру он совсем замучился.)

В начале марта Тургенев переехал в Петербург. Тотчас петербургская литература устроила в его честь обед. Литературный фонд – вечер. Должен был он читать и в пользу какой-то гимназии – педагогички чуть не вынесли его на руках. Вновь, как в Москве, толпа по утрам в номере. Приносят его сочинения (опять автографы), адреса, приветствия. У Тургенева было несколько своих книг. Девицы растащили их мгновенно – спорили, кому какой том взять, рвали друг у друга книги, «кричали, как галчата перед вечером». Одна захлебывалась от

радости, что получила «Новь», – Тургенев посмеивался: может быть, та же поклонница полгода назад эту Новь» проклинала. (Но в общем у него осталось впечатление, что женщины семидесятых годов мягче и душевнее «шестидесятниц»: пожалуй, это и не только беглое наблюдение. Романтизм народничества – иное дело, чем естествознание и лягушки Базарова.)

В том же мартовском Петербурге 79-го года среди сутолоки и шума славы завязал Тургенев еще одно замечательное знакомство.

В январе молоденькая актриса Савина поставила в свой бенефис на александринской сцене «Месяц в деревне». Пьесу посократили (она от этого выиграла). Савина оказалась прекрасной Верочкой – спектакль шел с огромным успехом. Она обменялась с Тургеневым приветственными телеграммами. Заочное знакомство создалось. Теперь встретились и лично: Топоров, приятель Тургенева, свел их в «Европейской» гостинице (где Тургенев остановился). Савина туда приехала. Седая картина и остролицая, большеглазая, тонко-холодноватая, но и пламенная насмешница. Как ни была она бойка, все же тургеневская слава волновала, подавляла ее. Ее успехи больше еще по Пензам, Минскам, он – всероссийская знаменитость. Она робела, хоть была не из робких. В последнюю минуту, от волнения, чуть было не отменила встречу.

Тургенев принял ее мило, просто, как «дедушка», как некий сказочный Knechtruprecht[66]. Думал, что она играет Наталию Петровну, и удивился, что Верочку.

Она пригласила его на ближайший спектакль. И, лишь выйдя, сообразила, что ведь билеты все проданы. Пришлось спешно просить у директора место в его ложе. Директор дал свою ложу, что Тургеневу и подобало. Начало спектакля он сидел в глубине, в тени, его не замечали. В антракте стали вызывать «автора!». Тогда инкогнито уж невозможно было соблюсти. Савина прилетела в ложу, вытащила его на сцену – театр гремел, и так продолжалось целый вечер. Тургенев раскланивался и из ложи – теперь в покое его не оставляли.

Савина торжествовала. Пьесу открыла она. Тургенева в публику она выводила: отблеск его славы падал и на нее. На другой день опять вместе с ним выступала на вечере Литературного фонда. Теперь оба должны были читать из «Провинциалки», графа Любина и Дарью Степановну Ступендьеву.

«Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич, наконец все затихло, и мы начали:

– Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?

Не успела я произнести, как аплодисменты грянули вновь. Иван Сергеевич улыбнулся. Овации оказались нескончаемыми…»

Так, под приветствия въезжал, под приветствия и уезжал на этот раз Тургенев из России. Видевшие его весною в Париже говорили, что он помолодел, ободрился, как бы расцвел. Являлась даже мысль переселиться вновь в Россию (вряд ли, впрочем, было это серьезно).

Шум Москвы и Петербурга достиг Запада. Оксфордский университет поднес Тургеневу диплом доктора гражданского права. «Ох, как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!» – писал он Маслову, будто бы удивляясь, что ему эту шапку дали. В гражданском праве ничего не смыслил, не умел заключить простейшей сделки, а попал в доктора… (Англичане считали – за «Записки охотника», за освобождение крестьян.) «Оказывается, что я всего второй русский, заслуживший подобную честь».

Тургенев «удивлялся», что его выбрали, но был очень доволен.

Честь любил, к славе был слаб.

* * *

1880 год был довольно важным для русского просвещения: в Москве открывали памятник Пушкину. Подводился итог восторгам, охлаждениям, вновь вознесениям дела и памяти поэта. Пред памятником споры умолкают. Художник как бы причисляется к лику святых, и творения его переходят в школу, а имя «в века».

Тургенев более чем кто-либо должен был принять участие в празднествах. И не удивляет, что весной 80-го года двинулся он в Россию с тем расчетом, чтобы к июню попасть в Москву.

Побывал в Петербурге, у себя в Спасском, заехал опять в деревню к Толстому. Толстой находился в разгаре внутренней перестройки. «О Льве Толстом и Катков подтверждал, что слышно, он совсем помешался», – писал из Лоскутной пред самыми Пушкинскими днями Достоевский жене. И вот, несмотря на то что «помешался», – опять встретился с Тургеневым ласково. Писал «Краткое изложение Евангелия» и ходил с гостем на тягу – стреляли вальдшнепов на весенней заре, при ранней Венере, набухающих почках берез, распустившихся подснежниках, при той невыразимой нежности вечернего неба, заката, запахе прели в лесу и свежести… чего нет нигде, кроме российской тяги. Почему

занимались стрельбой мирных, любовью влекомых птиц непротивленец Толстой и отдавший любви жизнь Тургенев – этого понять нельзя. Написавший Касьяна с Красивой Мечи, знавший наизусть пение всех дроздов и малиновок, трубу бекаса, воркование горлинки, мягко и грустно любивший тварь земную – находил же Тургенев удовольствие, на пороге собственной смерти, убивать изящнейших птиц (в незабываемой красе вечера).

Толстой поставил гостя на лучшее место, на опушке большой поляны, а сам ушел дальше. Но вальдшнепы тянут все на хозяина, он там палит, а Тургенев с маленьким Львом Толстым-сыном только слушают. Наконец хорканье, над макушками «тянет». Тургенев целится. Выстрел. Вальдшнеп падает в густой осинник. А уже стемнело. Сколько ни ищут Тургенев с Левушкой и толстовской собакой, не могут найти. А старый Лев все палит. И потом подходит с двумя убитыми птицами в ягдташе.

– Этот человек в рубашке родился, – с завистью говорит Тургенев. – Счастье во всем и всегда. (Сказано это о том, чья семейная жизнь напоминала malebolgie Данте, кто счел всю прежнюю свою литературу заблуждением и временами был близок к самоубийству.)

Вальдшнепы, встречая смерть от руки Толстого, летели на призыв той самой любви, от которой и сейчас трепетало тургеневское сердце – в последний уже раз. И хотя графине Софье Андреевне и сказал он, что не пишет потому, что не влюблен, это было неверно. Прошлогоднее знакомство с Савиною даром не прошло. Как раз в это время обменивался он с нею письмами ласково-нежными.

Главная же цель его приезда была не тяга, а желание вывезти Толстого в Москву на пушкинские торжества. Толстой, несмотря на всяческую любезность, дружественность к гостю, тут уперся по-толстовски. «Это все одна комедия», – может быть, прямо он так Тургеневу и не сказал, но фраза гуляла среди литераторов. Тургенев уехал ни с чем, сперва в Спасское, потом в Москву, на празднества.

Москва готовилась к ним усердно – Москва хлебосольная, интеллигентско-купецкая, западническая и славянофильская, с интригами, треволнениями и сплетнями, но сходившаяся на Эрмитажах, Тестовых, балыках, расстегаях, цыплятах. Тут разницы между Катковым и Ковалевским не было. Съезжались депутации, писатели со всей России. (Из Петербурга дали им даже специальный поезд.) Надо их получше разместить, накормить, напоить еще до открытия. Первоклассным знаменитостям дать обеды – для людей, как Вукол Лавров, сын мукомола, а ныне издатель «Русской мысли», гастроном и

«широкая натура», дела оказалось достаточно. «Не по-петербургски устраивают! – писал Достоевский жене из “Лоскутной” гостиницы. – Балыки осетровые в полтора аршина, полтораршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой». (На своем гениально-разночинском языке добавляет он: «Утонченность обеда до того дошла, что после обеда, за кофеем и ликером явились две сотни великолепных и дорогих сигар».) Для Достоевского стерляди были внове, Тургенев знал все это наизусть. Достоевский высчитывал, хватит ли денег (празднества несколько оттянулись из-за смерти императрицы), размышлял, как бы получше взять аванс под «Карамазовых», волновался и трепетал, принять ли оплату Думой трехрублевого номера гостиницы (а вдруг подумают, что обрадовался, «выскочил» и т. п.?). Тургенев спокойно поселился у своего Маслова. Денег у него было достаточно. Его тоже, конечно, закармливали, но принимал он это без восторга.

Съезд был большой. Кроме Льва Толстого, вся литература: Тургенев, Достоевский, Гончаров, Писемский, Фет, Аксаков, Майков, Григорович, Полонский, Островский, Катков, Юрьев, Ковалевский, море профессоров, представителей ученых, литературных, благотворительных обществ. Конечно, разделение. Западники – славянофилы. Первых возглавлял Тургенев, вторых – Достоевский. Приглашать ли Каткова и «Московские ведомости»? Кому, что и где читать? Такими треволнениями все было полно. Мучительному Достоевскому, сидевшему в своей «Лоскутной», все казалось, что его обойдут, «унизят», что Тургенев со штабом западников на Пречистенском бульваре распорядится им для умаления славянофильства и для возвышения себя. Вообще, при могучей и болезненной его фантазии многое такое ему казалось, чего в действительности вовсе не было.

После всяческих проволочек памятник открыли, на Тверском бульваре, 6 июня. Монумент сделал Опекушин – не Бог весть что – все же задумчивый Пушкин со шляпой, в сюртуке, слегка наклонив голову с курчавыми волосами, хорошо входит в пейзаж Москвы. Представляешь себе июньское утро, благовест Страстного монастыря, толпу, трибуны, переполненные публикой, группу важных стариков во фраках у подножия памятника, пеструю тень летних облаков по ним, великолепного полицмейстера, городовых, таращащих глаза, оркестр, играющий гимн. Гусарский офицер Александр Пушкин стоял тут же, будущий почетный опекун московских институток. Тогда был он не стар. Говорят, очень напоминал отца – этому охотно веришь: даже в старике Александре Александровиче Пушкине оставалось

некое веянье отца. И когда завеса упала, отец этот стал частию Москвы, гением местности, как бы покровителем бульвара, восходящего к нему, и одновременно ликом России.

Тургенев тоже находился тут, очень взволнованный. Знал он Пушкина живого, видел его и в гробу. С юности поклонялся ему, носил на себе его локон. По словам очевидицы, «стоял около памятника весь просветленный». Венок возложил в глубоком волнении.

Чисто «пушкинское» переживал Тургенев сильно. Но Тургенев Тверского бульвара – не тот, что чрез несколько часов, на обеде, дважды отказался чокнуться с Катковым, предлагавшим примирение. (Перед этим Катков очень дурно задел его в печати.) И еще третий Тургенев вечером вышел, седой, огромный, на эстраду Дворянского собрания и высоким своим голосом, слегка пришепетывая, стал читать «Последняя туча рассеянной бури…» – на третьем стихе запнулся, забыл. Из публики стали подсказывать. Он улыбнулся, улыбкой милою, конец стихотворения прочел вместе с публикой, как поют символ веры в церкви.

Выбрав стихи эти, подчеркивал свое с Россией примирение.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Да, разумеется, вся эта «буря» прошла, слава и примирение бесспорны… но и жизнь прошла. Пушкинский праздник – речи, обеды, чтения – для Тургенева был и высшим увенчанием, и прощанием с Россией. Он хорошо это понимал. (Оттого так и волновался.) Волновалась и публика, может быть, тоже смутно чувствовала. Когда на другом вечере произнес он первые слова «Опять на родине» («Вновь я посетил»…), слушатели вскочили, началась овация, ему не давали говорить. Все тем же высоким, тонким голосом, нараспев дочитывал он:

…А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.

Это довольно точно сказано. Он был один, по-прежнему и как всегда. Достоевский подробно отписывал о торжествах, о своей

жизни в «Лоскутной», о себе самом Анне Григорьевне. Правда, делал приписки, что мучается, не изменила ли она ему? Но мало ли что можно выдумать: на то он Достоевский. И Анна Григорьевна ему не менее, конечно, часто писала. Он горячился, беспокоился о деньгах, о доме, оправдывался, что задерживается. Но было куда спешить и к кому спешить. Жизнь Анны Григорьевны тоже была в **нем**. Тургенев мог написать Савиной, любившей другого. В Париже ждал его обычный саркофаг – где место было (слава Богу) лишь для одного. И тургеневских писем о Пушкинских днях, по-видимому, нет вовсе.

7 июня в утреннем заседании Общества любителей российской словесности он произнес речь о Пушкине. Она была заранее написана. Странным образом в ней он несколько сжался. В пику ли славянофилам, но был сдержан. Пушкина, конечно, восхвалял. «Национально-всемирным» же поэтом, типа Гёте и Шекспира, назвать не решился. Что и вызвало глубокое раздражение Достоевского. На следующее утро, 8-го, Достоевский в том же Обществе ответил знаменитою речью о Пушкине, произведшей действие необычайное: все остальное она затмила.

«Аполлон» и «Дионис» встретились. Аполлон получил последнее, окончательное благословение России, непререкаемое место на Олимпе. На том же вечере, где читал «Тучу», он в конце, во главе участников, возложил на бюст Пушкина лавровый венок – Писемский же поднял венок и подержал над головою самого Тургенева, вызвав бесконечную овацию; лавровый венок литературы для него бесспорен.

Замкнутый и сумрачный, восторженный, кипуче-взрывчатый Дионис, ненавистник Аполлона, величайший честолюбец и подпольный страдалец Изготовил в «Лоскутной» бомбу. Он хорошо начинил ее. Утром 8 июня в начале речи она глухо шипела, готовилась разорваться. Но к концу бахнула. Хотя говорил он о Пушкине, о литературе – и даже сочувственно помянул Лизу, врага своего, – все же взорвал и потряс стены любителей не литературой. Пушкина вознес в Россию, Россию в мир, Россию как мессию представил, заклокотал, взлетел – в конце речи были в публике истерики. Пафос и исступление религии внес в свою речь этот изумительный человек, способный одновременно чувствовать Зосиму и Свидригайлова, Алешу и Смердякова, говорить о всеотзывности Пушкина и считать, сколько раз вызывали Тургенева, чьи поклонники горячее: его или тургеневские?

Торжества Пушкина имели всероссийский характер. Пушкин показал России Россию. Тургенев с Достоевским добрались до московских людей. Энтузиазм был огромный. После речи

Достоевского давние враги мирились. Давались обеты «быть лучше» и т. п. Старая, милая Москва! Она расколыхалась, разбурлилась. Все эти длинные сюртуки, бороды, турнюры, джерси…

Много позже рассказывала мне пожилая дама, чистой и нежно-сентиментальной души, с эмалевой голубизны глазами, как выходил Тургенев, как у него перехватывало голос, как они плакали, – как неистовствовал Достоевский, – и у самой появлялись слезы (при воспоминании о днях высоких и почти блаженных). Да, праздник так уж праздник.

– Мы и по вечерам не могли успокоиться. Ходили все на Тверской бульвар, садились у памятника и поздно, за полночь, читали стихи. Всегда кто-нибудь там был… студенты, барышни.

## Савина

Приезд Тургенева в Россию «для Пушкина» оказался и приездом «для Савиной». В феврале – марте 1880 г. он встречался с нею в Петербурге довольно часто. То она к нему приезжает, то он просит билет на «Дикарку»: видимо, Савина начинает его занимать.

Разница лет между ними огромная: ей двадцать пять, ему шестьдесят два. Но это и придает некую пронзительность его к ней отношению. Если в Париже Виардо, если там будет он тих, послушен и привычен, ami catalogue[67], которого можно послать в аптеку или за драпировками, то здесь другое: молодость. Полине, в некотором смысле, принадлежит он совсем. Но обольщения юности она дать не может.

Сначала как бы затевает он с Савиной тонкую и нежную игру, на которую такой мастер. Как во всякой игре, тут есть свои наступления и отступления, маневры и контрманевры. Вдруг набежит прохлада – он отметит это в письме. («Стало быть, ждать мне вас завтра – в субботу – у себя в половине третьего? – Я буду дома. – Авось величественность несколько смягчится».) То прилив большей нежности. Ко дню ее рождения (30 марта) обращается он к ней в «превосходной» степени: «Милейшая Мария Гавриловна…» – и посылает юбилейный подарок – маленький золотой браслет с выгравированной надписью: «М.Г. Савиной от И.С. Тургенева». А затем опять какие-то, как выражается он, «дипломатические тонкости и экивоки», – но вот 17 апреля отъезд в Москву, и на другой же день по приезде пишет он ей, все из той же Конторы Уделов, что она (Савина) для него самое дорогое и хорошее петербургское воспоминание. А еще через неделю – «вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь».

Так что подготовка к Пушкинскому празднику, Лев Толстой, тяга, разговоры с Софьей Андреевной в Ясной Поляне – это одно, а под всем этим совсем другое.

В мае Савина собиралась на юг, играть в Одессе. Тургенев жил в Спасском и писал речь о Пушкине. Но помимо празднеств, речей, литературы мечтал, как бы Савину повидать (или даже к себе залучить) – на проезде ее через Мценск и Орел.

Заехать в Спасское на этот раз она не смогла. Но они списались и 16 мая условились встретиться.

Часов около десяти вечера на небольшом мценском вокзале, где можно съесть горячий пирожок, где барышни разгуливали по перрону, ждал в мягкой мгле мая, с цветами в руках московского

поезда Иван Сергеевич Тургенев. В купе первого класса летела навстречу ему молодая звезда – предстояло ей покорять одесситов, но вот по дороге можно покорить и Тургенева. Синий вагон, солидный обер-кондуктор, красный бархатный диван с несессером, книжкою брошенной, запахом духов… Худенькая Савина, огромный Тургенев целует ей ручку, подносит цветы. Поезд скорый – недолго стоит. Тургенев остается в вагоне. Полтора часа провели они в поезде, проносившемся по полям черноземным, при раскрытом окне, откуда тянуло по временам сыростью с болот и туманных речек, запахом колосящейся ржи. Может быть, мальчишки стерегли где-нибудь у костра спутанных лошадей, близ насыпи. Да и сам «Бежин луг» не так далек. Деревушки уже темны. Только искры летят. Да звезды мигают.

В Орле надо было прощаться. В последнюю минуту на платформе у окна вагона, откуда Савина на него глядела, испытал Тургенев сильное, едва удержимое и нежданно-молодое чувство: что, если обнять ее, в последнюю минуту, когда пробил третий звонок, выхватить из купе, увезти в Спасское…

Вышло, разумеется, по-тургеневски: «могло бы быть, да не случилось». Звонок пробил, поезд тронулся, а он все стоял, махал ей вслед платком.

Переночевав в Орле, уехал в Спасское. Неизвестно, о чем говорили они в вагоне, – но глубокий след остался у него от этого путешествия. Вот он опять один в огромном Спасском. Сад цветет, май открывается полною своей душой. Тепло, благодать. Вечером соловьи. Странные, бурно-бесплодные чувства потрясают его. Он пишет ей вдогонку: «Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство вы мне внушили. Влюблен ли я в вас – не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к полному отданию самого себя, где даже все земное пропадает, вздор говорю, но я был бы несказанно счастлив, если бы… если бы… А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что этот прелестный миг потерян навсегда…

Я надеюсь, что мы будем давать весть друг другу, но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно-чудесное, захлопнулась навсегда.

…Такого письма вы уже больше не получите».

В то время, как он писал это, Савина. подъезжала к Одессе. Может быть, забавлялась она, играла с ним в те полтора часа между Мценском и Орлом, но ее собственная душа полна была другим: неким Никитою Всеволожским, будущим ее мужем. Так что весь трепет Тургенева совершенно бесплоден, мог встретить лишь так называемую, так неутоляющую «дружбу». Всеволожский

был молодой гусарский офицер редкостной красоты, владелец огромного имения Сива Пермской губернии (куда она к нему ездила). Тургеневу Савина писала одни письма, Всеволожскому другие. И уже наученный долгою жизнью (даже, возможно, и не зная тогда о Всеволожском), понимал отлично Тургенев безнадежность своего положения. Другого такого письма, как тогда из Спасского, он ей действительно больше не написал. Но отношения не прервались, тянулись до самой его смерти.

Во время пушкинских торжеств Савина за сценой, но уже в августе в Париже они встречаются. Эта встреча на мценскую не похожа: хотя бы тем, что таинственный Всеволожский наконец появляется. И все имеет суховатый, почти «деловой» характер…

«Милая Марья Гавриловна, я недоволен нашим свиданием. – Мы и сошлись, и разошлись как вежливые незнакомцы. Я буду в четверг в Париже и зайду утром около 12 часов к вам». (Тургенев находился в Буживале.) Видимо, и прощание было прохладным. «По тому, как вы пожали мне руку на прощание в последнее наше свидание в Париже, я очень хорошо понял, что это – если не размолвка, то разлука…» И разлука началась, но размолвки и правда, должно быть, не было. Просто шли жизни – одна старческая, в Париже и Буживале, другая полная молодости, силы, зреющего и сгорающего таланта – в Петербурге. Тургенев понимал свое положение. Жизнь подсказала ему способ действий единственно возможный, единственно и достойный: длительную дружественно-мечтательную переписку «без надежд и выводов». В этом был он силен всегда. За зиму 80/81 г. у него наладилась такая переписка с Савиной. Интересоваться ее успехами на сцене, ее здоровьем, нервами, получать письма, где иногда вставляет она ласковые выражения, – вот его скромное питание. Мысленно расцеловать «умные руки» или «облобызать все пальчики вашей правой руки» – небогато, все же несколько украшает скудное бытие. Глубоких, важных о себе высказываний, как некогда графине Ламберт, здесь нет. Скорее похоже на письма к Виардо периода отдаленности, но в ослабленном виде.

К весне придумывает он очень разумную вещь: зовет ее летом навестить его в Спасском, куда, как обычно, собирается.

* * *

Савина у него на этот раз побывала, провела в Спасском несколько славных июльских дней. У Тургенева гостил Полонский с женой – старые, верные друзья типа Анненкова, Маслова и Топорова. Присутствие Полонских облегчало

положение Савиной, приезжавшей как бы в целую семью.

Гостье отвел комнату недалеко от тургеневского кабинета – из него отворялась маленькая дверь в коридорчик, ведший туда. Окна выходили на север. Рядом «казино». Савина отдыхала, провела четыре очень приятных дня. На пруду для нее устроили нечто вроде купальни, каждое утро плавала она в спасских водах – была отличным пловцом и (не по-деревенски) купалась в костюме. Обедали на террасе. 16 июля вдруг налетела такая гроза с градом, что во время обеда посыпались стекла. Пришлось наспех все перетаскивать в столовую, самим спасаться. Но потом опять солнце засияло – стояла благодать, жара. Дневные часы проводил Тургенев у себя в кабинете, а к вечеру, когда становилось прохладней, выходил на балкон и звал Савину:

– Ну, пожалуйте исповедоваться!

«Исповеди» в том состояли, что Савина рассказывала о своей жизни, об актерских делах, наверно и о сердечных. Это Тургеневу нравилось: очевидно, изображала она хорошо. Настолько нравилось, что однажды он даже ей подарил особую книжку, синюю с золотообрезанными страницами: велел туда записывать, чтобы не пропадало. А самые «исповеди» так иногда затягивались, что уж тоненький месяц появлялся над лохматой крышей сенного сарая, сыростью с пруда тянуло, стреноженные лошади пофыркивали вблизи, на лужайке. А в столовой шипит самовар. (Июльский вечер в России, светлый, благоуханный!)

И однажды хозяин разволновался, встал, повел в сумерках молодую свою гостью в кабинет и прочел маленькое стихотворение в прозе. Оно не было напечатано и не могло быть: по крайней своей интимности, по слишком явному стону. В нем рассказывалась «долгая любовь, непонятая любовь в течение всей жизни». Было там и о том, что когда «он» умрет, «она» не придет на его могилу (что и сбылось вполне).

В прошлом году прощался Тургенев с Россией общественной, литературной. Теперь со Спасским, Орлом, Мценском. Было время, когда мальчиком он ловил птиц в этом парке, слушал торжественную мелопею милого Пунина. Ночью прокрадывался на свидание. Теперь последние вдыхал благоухания.

Другой день и вечер савинского пребывания тоже замечательны.

17 июля Полонские справляли годовщину свадьбы. Тургенев развеселился, устроил парадный обед с шампанским, сказал в честь их спич. На этом обеде (или, может быть, на другом в том же роде) Савина разошлась, расшалилась и, вскочивши, бросилась к нему, обняла, так нежно поцеловала, что поцелуя этого он не позабыл уже никогда.

Вечером созвали баб и девок, угощали их, те пели, плясали, водили хоровод. Полонский играл на рояле. Савина ходуном ходила, даже сам Тургенев приплясывал.

Будем считать, что в тот же именно день, поздно вечером, прочел он гостям «Песнь торжествующей любви». Он написал ее в деревне, за месяц до приезда Савиной.

Пять лет тому назад был написан «Сон». Там есть загадочный черноглазый человек с арапом – смесью силы и колдовства взял он не любившую его женщину. Теперь двое друзей любят некую Валерию. Фабий на ней женится. Муций, музыкант, уезжает на Восток – возвращается через четыре года с немым малайцем, изучив тайны магии и чародейства. И вот колдовством (теперь одним лишь колдовством) овладевает он не любящею его Валерией. В первую ночь является ей во сне – во сне она и отдается ему. Во вторую тайными своими силами уводит ее из спальни мужа в павильон парка. Оба раза, отпуская ее, играет на скрипке Песнь торжествующей любви.

Повесть замечательна ощущением тягостного восточного колдовства. Нечто завораживающее есть в ней, гипнотическое. Но – торжествующей ли любви песнь? Слушая ее в тот вечер Спасского, понимала ли Савина, понимал ли Полонский и Жозефина Антоновна, что это скорее песнь неразделенной любви? Незачем прибегать ни к насилию, ни к чарам, когда тебя любят. Но если за долгую жизнь скопляется в глуби чувство томления – не оно ли толкает фантазию?

Вряд ли Савина, с ее умом, лишь недавно прослушавшая и то стихотворение в прозе, не понимала, в чем дело. Разумеется, промолчала об этом – как и Полонские не могли же говорить. Говорили о другом: о поэзии, красоте произведения – о чем авторам можно говорить. «Песнь торжествующей любви», правда, всем им понравилась очень. (Удивительнее то, что она и вообще «дошла» до публики: имела огромный успех.)

И еще позже, почти на рассвете, водил гостью Тургенев в парк слушать «голоса». Может быть, это было как бы продолжением чтения. Во всяком же случае, в ночном парке Тургенев как дома. Слушали они таинственные звуки – было жутко, но и хорошо. Он называл ей всех птиц, просыпавшихся перед рассветом. Их-то песни знал наизусть.

На другой день Савина уехала. Вскоре сообщила из имения Сивы Пермской губернии о своей помолвке с Никитою Всеволожским.

# Судьба

Еще летом, в Спасском, произошли с Тургеневым некие неприятные маленькие события. Например, расстроило его известие о холере в Брянске. (Холера – его бич с давних лет.) Как всегда, стало казаться, что у него самого что-то начинается. Он мрачнел, заводил разговоры о смерти. Даже анекдоты его переходили больше на холеру.

Невесело принял и птичку, вечером с упорством бившуюся в оконное стекло его комнаты. Пошел, в фуфайке, на половину Полонских. Яков Петрович собирался ложиться, Жозефина Антоновна писала письмо. Тургенев так разволновался, что пришлось Жозефине Антоновне идти с ним. Назад она вернулась, неся птичку, черноглазую, меньше воробья. Тургенев пытался обратить все это в пустяки (сказал: «Так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному») – но все же птичка прилетала слишком уж «по-тургеневски». (Вот и к Владимиру Соловьеву перед смертью прилетала!)

Не особенно тоже хорошо, что Полину укусила в лицо ядовитая муха, да такая, что и нос распух, и сама она чуть не слегла. Из Спасского в Буживаль (и обратно) полетели телеграммы. Тургенев едва не уехал. И обернись это более серьезно, улетел бы, несмотря ни на какую Савину. Но все оказалось не так страшно, и он остался. Полонский уехал раньше, Жозефина Антоновна пробыла несколько дольше, и к концу августа тронулся сам Тургенев. Не знаю, как уезжал из Спасского. Что думал, что чувствовал, когда коляска везла его среди полей с крестцами овса на вокзал во Мценск: видел он эти крестцы в последний раз.

В октябре, как вычислял по цифрам года рождения, не умер. Чувствовал себя неплохо – и опять несколько по-другому, еще из Спасского писал Савиной в Сиву: «чувствую уже французскую шкурку, нарастающую под отстающей русской». При Виардо он несколько перестраивался, и душевно и даже внешне. Любил, например, нюхать табак, но «его дамы» не позволяли делать этого. Так что нюхал только в Спасском – в Буживале заменял табак какой-то солью.

Но и западная, французская шкурка была ему уже привычна. «Друг», «дедушка», некая тень семьи, некая и подавленность, робость. В Буживале – спокойная осень, довольно одинокая. (Виардо раньше перебрались в Париж.) Позже, на rue de Douai, обычные рулады учениц снизу, обычные собрания со

знаменитыми иностранцами (но без русских), все те же petits jeux[68]. (Поразительно, как люди вроде Тургенева, Ренана, Луи Виардо могли разыгрывать «загадки»: ox-y-géne – каждый в слова свои должен был вставлять слог, а слушатели пусть разгадывают.) В промежутках кто-нибудь сыграет на рояле. Остатками голоса Полина пропоет «О, только тот, кто знал свиданья жажду…» А потом опять: то надо выбрать драпировки, то улаживать дела пришедшей дамы с мужем, то другой даме помогать в борьбе с должником, то доктора приглашать к Диди. Или – претерпевать за забытые на извозчике ноты.

За всем этим, подспудно, не очень-то на глазах Полины, переписка с Савиной – мечтания, фантазии (утешения слабого). Савина в Петербурге, играет в Александринском театре. Молодость, успех, поклонники (как сорок лет назад, у Полины). Но переписывается с ней не «помещик, пишущий плохие стихи», а Иван Сергеевич Тургенев – всякому понятно, что это значит: «Милая Мария Гавриловна, как мне приятно получать от вас письма! Один вид вашего почерка меня радует… Очень мне жаль, что я вас не вижу – да и не увижу скоро – не раньше марта. Вот вы мечтаете, как бы хорошо было убежать потихоньку за границу; а я с своей стороны мечтаю – как было бы хорошо – проездить с вами вдвоем хотя с месяц, – да так, чтобы никто не знал, кто мы и где мы…

И ваша мечта – и моя так и останутся мечтами – без сомненья…»

Для этих мечтаний он выбирает место классическое: Италию, ни более ни менее. И из Италии Венецию или Рим. Пусть представит себе она такую картину: «ходят по улицам или катаются в гондоле – два чужестранца в дорожных платьях – один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий – но очень довольный, другая стройненькая барыня с удивительными (черными) глазами и такими же волосами… положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам и т. д., обедают вместе – вечером вдвоем в театре – а там… Там мое воображение почтительно останавливается… Оттого ли, что это надо таить… или оттого, что таить нечего?»

Таить-то, вероятно, было что. Но удивительно другое. Савина была невеста Всеволожского. Тургенев знал об этом. И все-таки воображение не останавливалось…

Тургеневские мечты не сбылись – настолько странны они, что и читать о них почти тягостно. Савина же за границу попала. Еще в ноябре 81-го г. она почувствовала переутомление. Театр надрывал ее – слишком много приходилось выступать. И ей удалось вырваться, сначала в Киев, там несколько отдохнуть. Но

этого оказалось мало. И в марте 82-го года она уезжает за границу – в Меран, затем в Верону. Ее сердечные дела довольно путаны. Она невеста Всеволожского, но нравится ей и Скобелев (известный генерал), продолжает она нежную игру с Тургеневым. Не особенное удовольствие доставляли ему эти Всеволожский и Скобелев, но к таким положениям он приучен. Все же временами пускает «шпильки».

«Ваше описание Мерана очень подробно и мило… но я не мог не улыбнуться – правда, про себя… Распространяясь насчет красот Мерана, вы нашли возможным даже словечком не упомянуть о том изумительном воине, который такое сильное произвел на вас впечатление – и ничего также не сказали о ваших матримониальных планах».

Дальше опять тон меняется. «Намерение ваше ехать в Италию – особенно во Флоренцию – одобряю вполне. – Я прожил во Флоренции много, много лет тому назад (в 1858 г.) десять прелестнейших дней; – она оставила во мне самое поэтическое, самое пленительное воспоминание… а между тем, я был там один… Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая (это уж непременно)…» «Если вы попадете во Флоренцию, – поклонитесь ей от меня. – Я проносил мимо ее чудес влюбленное… но беспредметно влюбленное сердце».

В конце марта Савина приехала в Париж. Тургенев встретил ее с парадною нежностью – принес чудесные букеты азалий.

– Цветите, – сказал, – как они.

Савина собиралась лечиться. У него в это время тоже были волнения и беспокойства: заканчивалась печальная, неудачная семейная жизнь дочери, Полины Брюэр. Муж разорил ее, стал пьянствовать, носился за ней с револьвером. Ей пришлось бежать, а отцу – прятать ее. Затем тяжко заболел Виардо («мой старый приятель Виардо чуть не умер две недели тому назад – да и теперь не встает с постели»). Но все это ничего. Найдется время и для Савиной, и для забот о ней, ее лечении. Устраивает он ее у знаменитого Шарко, хлопочет, чтобы устранить врача, не нравящегося ей. Словом, Тургенев на высоте. А Савина, острым своим, умным и уже ревнивым взором окинула и Виардо, и особняк на rue de Douai, и верхние комнаты Тургенева – осталась недовольна. Ревность ее не от влюбленности, а от поклонения «звезде», «картине»: так же как у других русских, видевших его в последние годы при Виардо. Что-то в нем вызывало, разумеется, глубокое сочувствие и эту ревность: вероятно, некий тон с ним Полины. Но это и преувеличивали. Все-таки у Полины он жил барином. Занимал в верхнем этаже четыре комнаты, обедал

внизу, для приемов совместных великолепный салон. В Буживале целый дом. Внешней оброшенности тоже не было. Что знаменитая пуговица оборвалась, когда к нему зашел Кони, – не за всякую пуговицу ответственна и Виардо, надо быть справедливым. У Тургенева была прислуга, он не стеснен в средствах – за что угодно, только не за материальную, житейскую скудость можно пожалеть старческие годы Тургенева. (С другой стороны: нелепы воспоминания дочери Полины, Луизы Эритт. Там получается, что Тургенева денежно поддерживали Виардо. Это, конечно, вздор. Было обратное – Тургенев дал приданое Диди, когда та выходила замуж.)

Савина пожила в Париже сколько надо, полечилась и уехала в Петербург, увозя дружественную нежность к Тургеневу и неприязнь к Виардо. А Тургенев вступил в последний, самый страшный и мученический год своей жизни.

Мог он, юношей, погибнуть в пожаре на море – и не погиб. Всегда боялся холеры и от одного воображения захварывал. Боялся октября 81-го года – и напрасно. А когда в апреле 82-го появились у него «невралгические» боли, не обратил на них внимания. Боли и боли. Неприятно, но пустяк. Шарко определил angine de poitrine «и не велел выходить из комнаты дней десять». И ни Тургенев, ни Шарко не подозревали всего ужаса положения. Ни невралгия, ни грудная жаба.

Начинался рак спинного мозга.

* * *

«Опасности болезнь не представляет, но заставляет лежать или сидеть смирно; так как не только при восхождении на лестницу, но даже при простом хождении или даже стоянии на ногах – делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди – а там является и затруднительность дыхания» – так писал он Жозефине Антоновне и в том же письме звал ее с мужем в Спасское: пусть собираются, не дожидаясь его, он подъедет, как только сможет. Полонских, однако, взволновала его болезнь. Да и сам он, чем дальше шло время, серьезней о ней задумывался. Как больной «просвещенный», хотел знать все в точности, и Шарко пичкал его жалкими знаниями медицины тогдашней (не умевшей определять рака позвоночника).

Якову Петровичу, в конце апреля, он мог уже подробно расписать, какие бывают anginae pectoralis: essentialis – от той умирают, а вот у него другая – cardialgia nervalis – от этой не умирают. Но она затяжная, хроническая. Неизвестно, когда

выздоровеешь. И от этой nervalis ему жгли плечо, как будто дело было в бедной коже тургеневской, а не в тайном страдании позвонка. Ходить он совсем не может. А когда прибавляется еще «междуреберная невралгия с правой стороны», то и лежать нельзя: ночью надо сидеть.

В таком виде – недвижного в карете – перевезли его в Буживаль. Думали: весна, природа, воздух оживят. Но в майском Буживале, при всех бабочках, цветах, при всем дыхании голубизны и света, лишь острее он почувствовал, что дело плохо. Боли росли, становились невыносимыми. «Человек я похеренный, – пишет он Жозефине Антоновне, – хотя проскрипеть могу еще долго». Надежд на Спасское и встречу с ними мало. Тургенев рад, что Полонские согласились ехать в Спасское и без него (после долгих уговоров; Жозефина Антоновна собиралась даже в Париж, ухаживать за ним).

А о себе вот что: «Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу – родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Полонские прислали ему в письме цветы и листья Спасского сада. (Он просил «сиреневый цветок».) А в Буживале врачи приделали ему к плечу машинку, надавливавшую на ключицу – с ней как будто легче: мог сделать несколько шагов. Но как! «Всякая черепаха меня обгонит». Еще одно нововведение: по совету другого знаменитого врача, Жакку, стали его лечить молоком! За все хватается измученный человек: молоко так молоко. По двенадцати стаканов выпивал он в день бессмысленного пойла. А в промежутках впрыскивали морфий, обкладывали горячими салфетками.

И все-таки Тургенев живет – даже достойно живет. Надежд нет, но нет и озлобления (при этом человек он неверующий). Скорее смирение. Муки и безнадежность смиряли. Он даже кое-что пишет. (Из «Стихотворений в прозе», начатых довольно давно, еще в 78-м году.) Охотно переписывается – тон писем ровный, тихий, может быть, становится и несколько «надземней» (хотя сообщает он о мелочах бытия, о болезни и т. п.). Савина обвенчалась наконец со своим Всеволожским. За ласковые письма Тургеневу в беде зачтется ей немало грехов. Она давала ему улыбку, да и нежность. (Думаю, писала правду.) Вот например: «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже, что́ я тогда перечувствовала!» (Может быть, и плакал Тургенев, читая это…) Случалось и так: мелькнет «добрая» фраза, и сама она позабудет о ней. Он, за тысячи верст, напомнит. («Не считая меня, обожающей без границ чудного Ивана Сергеевича…» Он, в ответ: «Вы понимаете, что за такие слова надо по меньшей мере стать на колени. Одна беда: коли вы забыли эту фразу, стало

быть, писали ее не совсем серьезно».) Вот это действительно беда. Но не впервые так случается с Тургеневым. Бывало, он и Полине говорил, еще в Париже, до болезни: «А помните, мы гостили тогда у Жорж Занд, еще Шопен играл, такая же туча стояла над садом, и дождь только что отшумел…» – «Где? У Жорж Занд? Ну, как это давно было. Не помню». Помнил-то всегда он. А женщины, кого любил, – те забывали.

Чем объяснить, что молоко все-таки помогло ему? Июль, август шли легче. Даже надежды появились. Мог он немного вставать, ходить. Врачи упорно твердили, что опасности нет, а надо терпеть: болезнь нервная, ей подвержены на склоне лет многие артисты, писатели, художники. Тянуться она может долго. Надо пить молоко да ждать. Он ждал с терпением. И написал в этот промежуток последнюю свою истинно замечательную вещь «Клару Милич».

В ней всегдашне тургеневское – неразделенная любовь и потрясающее чувство загробного. Не райского, а грозного. Клара опять не Беатриче. Она магическая женщина, но сама не насытившаяся любовью. Находит ее в Аратове – ему единственно и может ответить, но как раз он и глух. Не почувствовал, не полюбил ее при жизни Аратов! Он еще так молод, сам не знает любви. Оба они девственники. Она отравляется. И из-за гроба «берет» его – дух ее, являясь по ночам, мучит Аратова и дает не испытанное ранее блаженство. Сводит с ума и из жизни уводит.

Клара изображена сумрачной, черноволосою «цыганкой». Брови у ней почти срослись на переносице. Над губой черные усики. Голос – контральто. Она неласкова, горда, властна (может быть, и у Полины над губой был пушок). Магнетический ее взор чувствует Аратов еще на музыкальном утре, где впервые ее видит. Она не очень нравится ему – именно тем, что и трагическое есть в ней, и от «леди Макбет». (Она поет, между прочим, «О, только тот, кто знал свиданья жажду…».) Но вот именно ее и сразил скромный Аратов – и сам погиб.

Повесть окончил Тургенев в сентябре. Назвал «повестушкой», будто бы «кропал» ее (обычная его манера говорить о своих писаниях) – но понимал, что дело тут серьезное. Удивительно, как сильно он боролся! Литературу никак не хотелось отдавать. Для жизни, женщины, для любви он уже «устрица, приросшая к скале». Но не для литературы. Кончив «Клару», отбирает Стасюлевичу для «Вестника Европы» те «Стихотворения», где меньше личного. Переписывается с Топоровым насчет собрания сочинений – Глазунов издает их. Из России высылает ему Топоров том за томом корректуры. И, несмотря на боль в лопатке, перечитывает, правит, чистит свои строки (свою жизнь). «Записки

охотника», «Рудин», «Отцы и дети», повести, пьесы, рассказы – сорок лет бытия, лучшее, что было в нем. Отказаться от этого нельзя и на смертном ложе.

Осенью жил он в Буживале один. (Виардо рано переехали в Париж… погода была скверная.) Кажется, впрочем, не так огорчался одиночеством. Работал, писал довольно много писем. Утешал Полонских, очень о нем в Петербурге скорбевших. Подробно излагал Бертенсону (врачу, русскому) свое положение – где боли, куда перемещаются, как желудок и пр. Радовался, что по ночам спит. И с легкой горестной усмешкой отказался от нового лечения, ему предложенного: прикладывать к больным местам сырую глину. (В молоко все-таки верил, продолжал поглощать его неимоверно – по 10–12 стаканов в день.) И окончательно смирился: т. е. уверился в безнадежности.

Программой maximum стало: не очень страдать. А там – устрица так устрица.

Но и этого не было дано. В ноябре переехал он в Париж. К январю боли усилились – без морфия не мог спать. В январе (83-го г.) ему сделали операцию – вырезали «из брюха»… «прескверную сливу» – врачи называли ее «иевром». Почтительно повторяет он непонятное слово, думая, что наконец операция и поможет. Он ошибся. Надо или не надо было его резать – дело врачей. Операция прошла успешно. Рана скоро зажила и осложнений не вызвала. Но с того января, с этой операции «старая» его болезнь стала расти с силою угрожающей. Передышка окончилась. Вновь началось наступление, с силами утроенными. Теперь не только плечо и лопатка – вся спина, грудь болели, все вообще болело, двигаться совершенно нельзя. И ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Действовал один морфий. Шарко и тут придумал утешение: воспаление нервных оболочек, потому так и больно.

Последние тома проходят через его руки – VI, IX… Еще в феврале, в письме Григоровичу, он умно, тонко разбирает «Гуттаперчевого мальчика». Такие-то вот фразы надо вовсе выкинуть, следовало бы изменить тяжелые обороты, много в рассказе излишней обстоятельности и т. п.

Но уже это последние письма, писанные собственной рукой. Позже он диктовал.

* * *

Весна, Буживаль. Каштаны распускаются; дрозды скачут в саду. Умирает старик Виардо. Тургенева в кресле выкатывают из

chalet – в весеннем солнце издали может он поклониться праху странного своего «друга», при котором прожил сорок лет, с кем мирно беседовал, охотился, от кого выслушивал иногда бессмысленные замечания насчет писаний своих. Полина хоронила мужа без сентиментальностей. На следующий день давала уже урок. Что думал Тургенев, глядя на его гроб, удалявшийся вниз, по спуску к воротам на набережную?

В мае он смог еще написать Полонским: «Давно я не писал вам, любезные друзья мои, – да и о чем было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается – страдания постоянные, невыносимые – несмотря на великолепнейшую погоду – надежды никакой – жажда смерти все растет – и мне остается просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга».

Так умирал Тургенев. Всю жизнь стремился он к счастию, ловил любовь и не догнал. Счастия не нашел, смерть встречал в муках: точно бы подтверждался страшный взгляд его на жизнь. Но в действительности никак не подтверждался, ибо последней его судьбы, последней глубины бытия его мы не знаем. Мы только знаем, что это буживальское лето было ужасно и для Тургенева, и для Виардо, ухаживавшей за ним. Боли доводили его до криков, до мольбы прикончить. Так продолжалось до августа. Морфий действовал на его мозг – то казалось ему, что его отравили, то в Полине мерещилась «леди Макбет».

А в смертный час, когда никого уж почти не узнавал, той же Полине сказал («которая пододвинулась к нему ближе, он встрепенулся»):

– Вот царица из цариц!

Умер он 22 августа. Отошедши, весь преобразился. И не только не осталось на лице следов страданий, но кроме красоты, по-новому в нем выступившей, удивляло выражение того, чего при жизни не хватало: воли, силы – мягкой, даже ласковой, но силы.

Сохранилась фотография с него в гробу: действительно, прекрасен. Может быть, и никогда красив так не был.

*1929–1931*

# Чехов

# Даль времен

Какая-то Ольховатка, воронежская глушь в Острогожском уезде, места дикие и бескрайние. Лишь с XVII века начинают они заселяться. И вот к XVIII возникает имя, первое в народной тьме: Евстратий Чехов, поселенец-землепашец в этой Ольховатке, пришедший с севера. Все тут легендарно, начиная с имени Евстратий. И патриархально, полно сил, просто мощи природной. Евстратий и основал династию Чеховых, крестьян, связанных с землею и народом неразрывно, – в пяти поколениях свыше полутораста Чеховых. В Ольховатке стало тесно, но вокруг простор, Чеховы распространяются все дальше, и все те же особенные имена у них: Емельян, Евфросиния, но есть и проще, Михаил, Егор. Занимаются они земледелием и становятся крепостными. Род, во всяком случае, своеобразный, с уклоном иногда и необычным: внук Евстратия Петр бросил все и пошел странствовать, собирая на построение храма – храм и построил в Киеве. А племянник его Василий стал иконописцем: сельское хозяйство не занимало его.

Все это многосемейно, долговечно, с прочным, суровым укладом, от нежности и чувствительности далеко. Глава семьи в ней владыка. «Михаил Емельянович ходил всегда с большим посохом, медленной степенной походкой. Дожил он до глубокой старости» – так говорит семейный архив. Власть его над домашними была безгранична.

Легендарный туман редеет с Егора Михайлыча, его сына. Это уже дед Антона Павловича. Он крепостной, принадлежит помещику графу Черткову, чей отпрыск позже встретился с другим графом, Толстым, и сыграл в жизни его такую роль.

Егор Михайлович земледельцем не сделался, а поступил на сахарный завод Черткова, там и отбывал «триденщину». Потом стал приказчиком, позже завел даже свои торговые дела. Всем трем сыновьям, из которых Павел и был отцом «нашего» Чехова, дал он образование и выкупил всю семью из крепости. На дочь не хватило средств. Чертков отпустил ее в придачу: Егор Михайлыч был настолько прочный, уважаемый и честный человек, что естественно получил это увенчание.

Сам же, на старости лет, обратился в управляющего имением наследницы атамана Платова, героя Отечественной войны. Имение это находилось в шестидесяти верстах от Таганрога. В Таганроге купил он небольшой дом и записался в мещане города Ростова, но ни в Ростове, ни в Таганроге не жил. Там поселился его сын Павел. В Таганроге же этом, в лето от Рождества Христова

1860-е, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорыча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и некрасивый город Таганрог, а в летописях европейской литературы – великую свою Родину.

* * *

Наверно, в юности Павел Егорыч был красив. Даже на поздних фотографиях у него открытое, прямодушное и правильное, «чистое» лицо, в большой бороде изящная проседь. Облик скорее привлекательный, но не без строгости и упорства. Просматривая книгу бытия его, узнаешь, что таков приблизительно он и был.

Не легок и не очень прост. Вот устраивает его Егор Михайлович счетоводом к таганрогскому купцу Кобылину. Павлу всего девятнадцать лет, он, разумеется, очень добросовестный счетовод – недобросовестным и нельзя было быть в семье Чеховых, но под обыденщиной этой живет в нем и другое, от обыденности далекое. Позже откроет он в Таганроге лавочку, будет торговать там сельдями и керосином, сахаром и деревянным маслом, но его тянет и совсем к другому. Он очень религиозен, любит церковное пение, сам поет и умеет управлять хором. Играет на скрипке, отлично рисует, пишет иконы.

Спустя много лет скажет его знаменитый сын: «чужая душа потемки». Глядя на бодрое, почти веселое – даже на старческом портрете – лицо Павла Егорыча, не подумаешь, что счетовод таганрогский, служащий купца Кобылина, мог заказать себе печатку, где было выгравировано: «Одинокому везде пустыня».

Когда отец увидел ее у него, он сказал:

– Павла надо женить.

И женили. Был ли это брак по любви, или «тятенька приказали», только в 1854 году Павел Егорыч, все еще служа у Кобылина, женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, дочери моршанского купца Морозова (в Таганрог Евгения Яковлевна с матерью и сестрой попала случайно, из-за несчастий в семье).

Излечила ли Павла Егорыча молодая жена от одиночества, неизвестно. Брак же оказался основательным, по тем временам считался, вероятно, счастливым. Но, конечно, легким не был – из-за характера мужской половины: резкого, властного, горячего. Да и весь склад семейной жизни был тогда таков, особенно в купеческо-мещанской среде, – муж владыка неограниченный, «Домострой» в полной силе.

Евгения Яковлевна была и тише, мягче и сердечнее мужа. Образования не ахти какого, высокорелигиозная и безответная, много читавшая и всегда добивавшаяся, чтобы детей учить хорошо. Муж любил ее, но терпеть ей от него приходилось немало. Ее образ кроткою тенью прошел чрез всю жизнь Антона Павловича. Вспоминая худенькую, приветливую старушку в Мелихове во времена моей юности, думаю, что Евгения Яковлевна и была обликом истинной матери. Такой и должна быть мать. Она научает невидимо, просто собою, излучением света, кротости и добра. «Талант в нашей семье от отца, – говорил Антон Павлович, – а сердце от матери».

Семья их была большая. На семейной группе видно целое подрастающее племя молодых Чеховых – Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и девочка Маша, та Мария Павловна Чехова, которая всю дальнейшую жизнь посвятила брату, пережила всех и в 1953 году, 90 лет от роду, присутствовала на открытии в Ялте памятника Чехову.

Ее милое лицо с карими умными глазами помню и в Мелихове и в Московском литературном кружке полвека назад.

Наконец, появляется сам юный гимназист в однобортном мундирчике со светлыми пуговицами, пышущий здоровьем и жизнью, – Антон Чехов.

Именно жизни, стихии он много наследовал от предков, да и упорства. Сил было достаточно, но и преодолевать приходилось немало, с раннего детства, довольно сурового.

В гимназию города Таганрога – скучное двухэтажное здание со скучными учителями, попадает он рано, учится хорошо, и это тем более удивительно, что дома все, в сущности, ему мешает, поддержки никакой.

У отца бакалейная лавка, торговля идет с утра до позднего вечера. Торгует отец сам, торгуют наемные мальчишки, но и сами мальчики Чеховы. Когда отцу надо уходить вечером по делу или в церковь ко всенощной, за кассу сажают Антона или Александра. Антону надо учить латинские предлоги, а он в холоду сидит в лавке, получает деньги, дает сдачу за фунт селедок или четверку табаку, мерзнет, иной раз чуть не плачет от тоски и страха за невыученный урок, но сидит и считает. Да надо еще следить за Андрюшкой и Гаврилкой, чтобы не очень воровали и не обвешивали. А они всё-таки обвешивают. Объяснение же такое: «иначе и Павлу Егорычу пользы не будет». Тащили по мелочам и себе – мыло, помаду, конфетки. Когда Павел Егорыч замечал, драл их за это без стеснения. Антону воровать не приходилось. Но за какие-то провинности сек отец и его, и это осталось на всю жизнь: горестная черта детства, сближающая его и с Тургеневым,

только там занималась этим мать, а тут мать не обижала, но и заступиться не умела. Да и как заступиться? Павел Егорыч сам был воспитан сурово, считал, что так и нужно, считал, что труд, порядок, подчинение необходимы, и действовал прямолинейно, убежденно. Сила его была именно в убежденности. Как твердо верил он в Бога, так же твердо и в то, что с детьми нельзя быть мягким. Не рассчитал только одного, что времена меняются. Все Евстратии, Емельяны, Егоры, их склад и образ воспитания отходят. И когда самоуправствовал в таганрогском домике и в своей лавке, вряд ли думал, что на склоне лет в Мелихове у сына придется с горечью вспоминать о прошлом.

Чехов Антон с ранних лет видел жизнь такой, как она есть: оранжереи не было. Видел пеструю смесь ничтожного и смешного, насильнического и серьезного. Целый ряд фигур, лиц, разговоров проходил пред ним. Покупали в лавке и чиновники, и служащие, бабы и монахи, греки таганрогские и заезжие чумаки, и крестьяне. Мальчик же от природы был очень наблюдателен, склонен к насмешке, изображению в лицах, с дарованием и театральным. Многое впитал в себя со стороны комической. Но и драматической: с ранних лет зрелище неправды, грубости и насилия ранило – так прошло и чрез всю жизнь. Чрез все писание Чехова прошел некий стон подавленных, слабых, попираемых сильными – к концу его жизни это и возросло. Горькое детство дало ноты печали и трогательности в изображении детей: не из таганрогской ли лавки родом и тот – позже прославленный – Ванька, изнывающий у сапожника подмастерьем, который скорбь десятилетней души изливает в письме: «дедушке на деревню» (это адрес. По раздирательности мало чем уступает Достоевскому).

Великая горестность заключалась и в том, что сам Павел Егорыч не только не был дурным, но был даже достойным человеком, прямым и честным, с возвышенными чертами, очень поднимавшими его над окружающим. Пусть религиозность его была уставщическая, больше форма, чем действительный христианский дух, все же нравственная основа в нем крепка, он выше окружающего: верит страстно, всегда увлекается; в нем был и фанатик. Церкви до конца предан, церковное пение любил чрезвычайно. Это не давало никаких прибылей. Вероятно, даже обратно. Жизнь, однако, для души с художнической жилкой состоит не из одних круп, керосина и сахара.

В Таганроге был и Собор, и другие храмы с певчими и хорами. Но Павел Егорыч решил завести собственный хор, петь более истово, придавая службе монастырский характер.

Во многом он этого и достиг, проявив упорство огромное. Не он один, впрочем, в этом захолустном Таганроге, оказался

энтузиастом. Хор свой составил из местных кузнецов, простых, неграмотных тружеников, весь день проводивших на работе, а по вечерам собиравшихся к нему на спевки. Нот они не знали. Он наигрывал им на скрипке, они пели по слуху, слова заучивали со слов же. Но голоса у них были грубоватые; женских не хватало. Павел Егорыч решил привлечь собственных детей: Александр и другой брат – дисканты, Антон альт.

По словам Александра, у Антона почти не было голоса, но это, кажется, сильно преувеличено. Во взрослом виде, много позже в Мелихове, Антон Павлович даже любил петь (в хоре, конечно), у него был басок, и вместе с Потапенко, Ликой Мизиновой, отцом и другими, на смущение российских интеллигентов девяностых годов, они исполняли разные церковные песнопения.

Брат Александр очень мрачно изображает их певчество в детстве. Конечно, много было тяжелого – принудительность, утомление, суровый характер отца. Дети не были энтузиастами, как кузнецы. Детям хотелось игр, резвости, свободы. А приходилось кроме ученья и работы в лавке еще упражняться в пении, петь в церквах – хор Чехова приобрел известность, и его охотно приглашали и в Собор, и в греческий монастырь (тем более, что и кузнецы, и лавочник с детьми пели бесплатно).

Что Павел Егорыч давал детям религиозное воспитание более чем неудачно, это бесспорно, и в этом некая драма. Сам он непоколебимо верил, что жизнь в Церкви и религии спасает, что детей именно так и надо вести. Глубоко бы огорчился, если бы понял, что в его воспитании было нечто как раз отдаляющее от Церкви, создающее будущих маловеров. Он переусердствовал. Плод получился не тот, как бы хотел он.

И все-таки, все-таки… – если в веселом, остроумном, умевшем передразнить гимназисте сидел где-то в глубине и поэт (а откуда он взялся бы ни с того ни с сего позже?) – неужели поэт этот так уж всегда равнодушно слушал и исполнял «Иже херувимы» или «Чертог Твой вижду»? Не могло ли быть ведь и так, что наружный, гимназист Антоша Чехов рассматривал во время литургии с хоров сверху, как кобчики кормят детенышей в решетке окна, и думал – поскорей бы отпеть, удрать к морю ловить бычков с рыбаками или гонять голубей, но так ли уж бесследно проходило для души общение с великим и святым? Этого мы не знаем. А что в Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее не похожее, это увидим еще, всматриваясь в его жизнь и писание, сличая внешнее, отвечавшее серой эпохе, с тем внутренним, чего, может быть, сознательный Чехов, врач, наблюдатель, пытавшийся наукою заменить религию,

и сам не очень-то понимал.

* * *

Зимой холод, метели, страшные азиатские ветры, летом пыль и такая жара, что спать по ночам в комнатах невозможно (юные Чеховы устраивали себе в саду балаган и там проводили ночь – Антон спал даже под кущей дикого винограда и называл себя «Иов под смоковницей») – таков Таганрог с запахом моря, рыбы, греков, с прослойкой армян, может быть, и казаков. Захолустный и скучный южнорусский город.

Несмотря на все строгости отца, летом подрастающее племя Чеховых все-таки жило вольней, слоняясь по прибрежью с рыбаками, иногда отправляясь к дедушке Егору Михайлычу за шестьдесят верст в имение Платова. Ездили не по-барски, а на подводе, часть пути шли пешком, дурачились, забавлялись – в этих поездках открывалась, однако, для Чехова, за шуточками и остротами, степь, окружение родного Таганрога. Он о ней скажет позже по-настоящему. Она и выпустит его в большую литературу.

А в ней самой кроме красоты природы приоткроется для него красота нежной женственности. На армянском постоялом дворе, где-то под Ростовом-на-Дону, Нахичеванью, появилась она в облике юной армяночки – появилась, вызвала в гимназисте таинственную грусть и исчезла. Было это только как молния, однако запечатлелось.

Повседневность же шла по-прежнему. Готовила молодым Чеховым тяжелое лето.

В Таганрог провели железную дорогу. На окраине города появился вокзал. Дела лавки Чехова пошли хуже – возчиков и чумаков стало теперь меньше. Со свойственной ему фантастичностью Павел Егорыч решил, что у вокзала, где уже появились кабаки, надо открыть вторую лавку. Приедет человек, выйдет из вокзала, зайдет в кабак, а тут рядом и лавка – глядишь, что-нибудь купит.

Все так и сделал. И посадил торговать Александра и Антона – благо лето, в гимназии они не заняты.

Получилось совсем скверно. И для юношей, у которых пропал летний отдых, и для Павла Егорыча: лавка не пошла вовсе, выручки никакой, к осени оказался чистый убыток. Прежняя лавка хирела тоже, Павел Егорыч запутался и с другими делами.

В 1875 году Александр и Николай уехали в Москву учиться – в университет и Училище живописи (Николай тяготел к художеству). Через год Павлу Егорычу пришлось все бросить и

бежать в Москву. Угрожало разорение и чуть ли не долговая тюрьма.

Антон один остался в Таганроге кончать гимназию. Начались первые его самостоятельные годы.

* * *

Они не были легки. Во многом даже прямо трудны, но явилось и новое, возбуждавшее и освежавшее: свобода. «Одинокому везде пустыня» – отцовский девиз будет сопровождать Чехова-сына всю жизнь, но сейчас, в ранней юности, одиночество это – освобождение. Оставалось начальство лишь гимназическое, условное и профессиональное, в часы занятий. Нет самого главного: ежедневного домашнего гнета. Это и облегчало. Чувство же семьи не ушло. И никогда у него не уйдет. Во всей жизни Чехова удивительна прочность этого чувства, внедренность долга пред «папашей», «мамашей», сестрой, братьями.

Может шестнадцатилетний круглолицый, приятного и здорового вида юноша любить больше мамашу, чем папашу, все равно и за тысячу верст одинаково обеспокоен их неустроенной, тяжелой жизнью в Москве, как и трудностями Александра и Николая. Надо помогать. Рассуждать нечего, нравится или не нравится: родители, братья, сестра Маша должна учиться, – значит, надо работать и вывозить. Но делать это может он теперь самостоятельно. «Поддерживать буду, но так, как мне самому хочется» – в этом роде мог говорить в сердце своем гимназист Антон Чехов, отлично учившийся и дававший еще уроки: они его и кормили, от них он и посылал кое-что в Москву.

Пришлось, однако, увидать и много горестного – в другом роде, тоже нелегкого.

У Чеховых был в Таганроге свой небольшой дом, там Антон Павлович и родился. Одну из комнат Евгения Яковлевна сдавала жильцу, некоему Селиванову, служившему в коммерческом суде. Жилец этот считался другом семьи. Когда у Павла Егорыча начались денежные затруднения, Селиванов выкупил его вексель в 500 руб., под обеспечение домом. Денег Чехов вернуть не мог. Тогда, без всяких торгов, по связям своим в суде, Селиванов получил дом в собственность за 500 рублей, а Павел Егорыч ни копейки. Почему не настаивал, не протестовал – времена все-таки были уже не гоголевские, – неизвестно. Предпочел уехать в Москву и бедствовать там, сын же Антон оказался в чужом доме, у человека, считавшегося приятелем, и вот каким приятелем

оказавшегося.

Какую-то каморку Селиванов ему все-таки дал. За стол и квартиру гимназист Антон Чехов должен был обучать Петю Кравцова, хозяйского племянника. Появились у него и еще уроки.

Он жил, разумеется, более чем скромно. Свободой пользовался, но все время должен был отстаивать и достоинство свое, и независимость. Держался ровно, вежливо, но упорно и сумел основательностью своею и просто излучением порядочности, разумности и некоего обаяния поставить себя прочно, внушить уважение. Над бегством и бедствием Павла Егорыча в городе подсмеивались, на репетитора в плохой обуви, неважных штанах тоже глядели пофыркивая, особенно в богатых домах. Но Антон Чехов рано проявил выдержку и самообладание. Спокоен, ровен, учтив, но наступать на ногу ему нельзя. В конце концов он завоевал даже своего хозяина – тот стал относиться к нему почтительно, шестиклассника называл Антоном Павловичем.

Мало известно об этих его годах. Братья были далеко, воспоминаний нет, писем сохранилось немного. Но одно, младшему брату Михаилу, многого стоит. «Зачем ты величаешь свою особу “незаметным братишкой”? Ничтожество свое сознаешь?» «Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед Богом; пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми[69]. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну, и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай «смиряться» и «сознавать свое ничтожество».

Ничтожество свое сознавать пред Богом, а достоинство перед людьми – от этого и взрослый Чехов не отказался бы.

Приведенный отрывок – редкий случай, когда он говорит в письме об общем и высоком. А тут есть это и в дальнейшем: «Мадам Бичер-Стоу выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью (прелестно это “с научной целью”. – *Б.З.*) и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки».

Когда сам был второклассником, то однажды разревелся в театре на «Без вины виноватых». Но теперь уж готовится будущий Чехов, сдержанный, полный самообладания: сентиментальностью его не возьмешь.

«Прочти ты… “Дон Кихот” (полный, 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром».

Очень мило одобрил, но без восторга («хорошая вещь»). И о

братце тоже хорошего мнения, если думает, что «полный» Дон Кихот не покажется ему скучным. Да и предполагает, что «Шекспир» что-то говорит.

Во всяком случае, письмо это есть юный Чехов со стороны важной и серьезной. Было в нем и другое – для полноты его внутренней, как художника и человека, нужно было и другое.

С тем Петей Кравцовым, которого репетировал, он даже подружился. Тот пригласил его к себе на хутор, в гости. Летом он и отправился, пробыл там некоторое время.

Степь, дикие сторожевые собаки, простор, первобытность. Петя научил его стрелять из ружья, ездить верхом, скакать на отчаянных степных жеребцах. Надолго казацкий и охотницкий стиль не мог в нем, конечно, удержаться, но эта любовь к земной стихии, жизни в разных ее преломлениях в Чехове была вообще – ему всегда нравилось странствовать, видеть новое, новое переживать. А это были те годы, когда о будущей его болезни невозможно было и думать. Все юные изображения Чехова говорят о здоровье, физической привлекательности, даже и силе.

Для слабой же половины человечества было в нем особое обаяние.

Вот стоит он в глухой степи, где-то в имении, у колодца и смотрит в воду на свое отражение – может быть, у того же Пети Кравцова. (Но сам Петя вряд ли мечтательно разглядывал бы себя в таком зеркале. Это занятие больше идет юноше Чехову – с одной стороны и веселому, живому, насмешливому, а внутри у него нечто и вовсе другое.)

Стоит и задумался. Подходит пятнадцатилетняя девочка, пришла за водой. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал». Увидав свою Рахиль, пусть и минутную, тоже у колодца, юноша в южнорусской степи не заплакал, а обнял ее и поцеловал. И она, оставивши водонос, также стала его целовать, – взрослый Чехов, рассказывая об этом случае молодости своей, говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно.

* * *

Из Москвы вести шли плохие. Родители и братья бедствовали. Доканчивая учение свое, будучи уже автором пьесы «Безотцовщина», издавая журнальчик «Заика», гимназист Антон Чехов собирал грошики, распродавая остатки отцовских вещей, прикладывал свои собственные трудовые и посылал в Москву. Писал и братьям, и родителям. Последним как-то довольно

странно: Евгения Яковлевна даже обижалась на его шуточки.

«Мы от тебя получили 2 письма, наполнены шутками, а у нас это время только было 4 коп. и на хлеб и на светло[70] ждали от тебя не пришлешь ли денег, очень горько… у Маши шубы нет у меня теплых башмаков, сидим дома».

«Антошины» письма не сохранились. Нельзя представить себе, чтобы он не верил (как думала Евгения Яковлевна), что они в нужде. Вернее всего, балагурством только прикрывался: никогда не любил высказывать чувства прямо. Предпочитал закрываться. На этот раз – остротами.

А Евгения Яковлевна на своем первозданном языке писала ему:

«Скорей кончай в Таганроге ученье да приезжай пожалуйста скорей терпенья недостает ждать и непременно по медецынскому факультету, сашино занятие ненравится нам, присылай наши иконы понемногу еще скажу антоша если ты трудолюбив то всегда в Москве дело найдешь и заработаешь деньги.

Мне так и кажетца что ты как приедешь то мне лучше будет».

Она с детства его отметила и угадала правильно. Одного он, однако, не мог сделать: кончить гимназию раньше, чем его выпустят и дадут аттестат. В остальном «кажетца» Евгении Яковлевны оказались действительностью.

Весной 1879 г. он кончил «учение», получил даже стипендию города Таганрога, сразу за четыре месяца, сто рублей – сумма по-тогдашнему немалая, и уехал в Москву.

# Труба

На кольце внутренних бульваров, недалеко от Кузнецкого моста, есть в Москве площадь, по названию Трубная, или просто Труба. Место странное, а по-своему и живописное. Во времена Чехова, да и позже, Труба славилась своим птичьим рынком. Торговали тут и другим, но в том же роде. Можно было купить зайца, болонку, ежа. В весенние дни площадь пестрела клетками с разными канарейками, щеглами, чижами. Продавцы зазывали, по рядам прохаживались покупатели, иногда чудаки-любители. Гомон, грязь, щебетание птиц, детские воздушные шары разных цветов. Противоположности и нелепости Москвы – все жило рядом. Огромный и великолепный «Эрмитаж» на углу Страстного бульвара и убогие пивные через улицу, дальше разные первобытные Самотеки и Грачевки. Люди мира Островского, допотопные конки и наглые лихачи у «Эрмитажа».

На взгорье, близ Сретенки и Маросейки, Рождественский монастырь. Туда шла от Трубы по бульварам конка. Чтобы легче втаскивать ее на изволок, припрягали вперед пару лошадей с мальчишкой-форейтором, он погонял, сидя верхом, кони скакали, конка с разбегу взлетала на подъем, а назад Сенька или Ванька на отпряженных выносных шагом спускались к Трубе, ожидая следующего вагона.

А за Трубой, в сторону внешних бульваров и Сухаревки, начинались темные места Москвы – кабаки, притоны.

Вероятно, из-за дешевизны Павел Егорыч, бежав из Таганрога, снял квартирку именно здесь, как бы в трущобах Достоевского, только не петербургских, а московских. Семья Мармеладова вполне могла поселиться тут, но Павел Егорыч на Мармеладова меньше всего был похож. Если иной раз у Евгении Яковлевны оставалось четыре копейки и она горестно сообщала об этом «Антоше», то Павел Егорыч, первое время нигде не находивший работы, при всей нищете своей оставался в семье таким же величественным и важным. Так же любил церковь, пение, архиереев, так же оставался владыкой дома.

Старшие сыновья, студент Александр и художник Николай, жили отдельно. Иван, Михаил, Маша с родителями в полуподвальном этаже, убого. Спали вповалку на полу, подкладывая кое-какое тряпье (тетушка Федосья Яковлевна, о которой скажет потом Антон Павлович: «святая женщина», из опасения пожара и что не успеет выскочить, спала «in omnia sua», т. е. не раздеваясь, «и даже в калошах»).

Бедствовали, ссорились, упрекали друг друга, упрекали

Александра, что мало помогает… – Александр же, долговязый, с нескладным лицом юноша, сообщал в Таганрог Антону, каковы доходы его: «за 3 листа начертательной геометрии 6 р., 2 листа дифференциалов – 4, переписка 3-х л. химии 3 руб. = 13 руб. Из них родителям 5, сестре башмаки 2,50. Стол стоит 7 руб., квартира 6 р., освещение и белье 2 р. Чтобы уничтожить этот минус, спущены плед и часы» (заложены).

А Павел Егорыч продолжает свое. Хора, правда, теперь нет, и вообще в Москве он ничто, но у себя дома все по-прежнему. На стене вдруг появляется бумажка:

«Расписание делов и домашних обязанностей для выполнения по хозяйству семьи Павла Чехова, живущего в Москве» (будто из раннего юмористического рассказа Антона Чехова). Но это не юмористика. Сыну Ивану – ему 17 лет – вставать тогда-то, делать то-то.

«Чехов Михаил 11-ти лет, Чехова Мария 14-ти лет. – Хождение неотлагательное ко всенощной в 7 ч. в. К ранней обедне в 6½ и поздней в 9½ ч. по праздникам.

*Примечание.* Утвердил отец семейства для исполнения по расписанию.

*Отец семейства Павел Чехов.*

Неисполняющие по сему расписанию подвергаются сперва строгому выговору, а затем наказанию, причем кричать воспрещается».

Но вот последнего не так легко достигнуть. Происходит, например, ранним утром ссора «отца семейства» с «членом семейства» Иваном Чеховым из-за каких-то штанов. Штаны висели в сарае, надо было идти за ними… – одним словом, на дворе дома на Грачевке Павел Егорыч ударил сына, а тот примечания не послушался и завопил. Вышло вроде скандала. «Сбежались и другие члены семьи, и хозяева дома пристыдили отца. За сим последовало со стороны хозяев объяснение и внушение с указанием на ворота».

Обо всех этих горестных пустяках отписывал Александр Антону, но для самого Александра это были далеко не пустяки: они очень задевали его жизнь. Родители косо смотрели на то, что он поселился отдельно. Считали это ненужной роскошью. Выходили тяжелые объяснения, с упреками, увещаниями. Александр силен характером не был – уступил и переселился к ним, вместе с собакой своею Корбо. Хорошего получилось, конечно, мало. «Как мне живется, не спрашивай. Комнаты отдельной у меня нет. В той комнате, в которой я предполагал

жить, обитает «жилец».

Но прошло время, и некоторые корни он пустил.

Уже в феврале 1879 года пишет Антону: «Я… обзавелся птицами певчими всех сортов и видов. Штук до 40; летают на свободе по всем комнатам. Радуют меня и всех».

Одного Корбо, пса, оказалось мало. Близость Трубы и птичьего рынка дала себя знать – Александр впал в птичничество. Но можно представить себе, как пачкали эти жильцы и так неблестящее жилье Чеховых. Только что щебет утешал.

* * *

В письмах Александр обращался к брату так: «Толстобрюхий отче Антоние» или: «Глубокочтимый и достопоклоняемый братец Антон Павлович!» Но рядом: «Regis coelesti oluchus»[71] – остроумие, забавлявшее в 80-х годах наших отцов. Но за шутками этими очень серьезное отношение к «достопоклоняемому братцу», собственно, даже любовь к нему и забота. Какие-то гроши собираются, чтобы он приехал на праздники, хлопоты о том, как его устроить. В них же и отголоски первых литературных шагов самого Антона Павловича. И тоже большое внимание.

Брат Александр, сам склонный к иронии и насмешке, сам и к литературе тяготел, кое-что уже печатал в мелких журнальчиках, убогих и наивных, как убога была вся газетно-журнальная среда Москвы того времени. Кое-что этим подрабатывал. В сравнении с гимназистом Антоном был уже литератором. Антон стал присылать ему кое-какие мелочи. Иногда их печатали. «Анекдоты твои пойдут. Сегодня я отправил в “Будильник” по почте две твоих “остроты”. Остальные слабы. Присылай побольше коротеньких и острых. Длинные бесцветны».

Они вовсе не сохранились. Вряд ли Чехов жалел об этом. Но вот написал он в своем Таганроге, в бывшем собственном доме, а теперь в комнатушке Селиванова, вещь более (для него) серьезную: драму «Безотцовщина». Драму эту послал в Москву Александру и сохранил первую рецензию на первое свое произведение, – должно быть, оно что-то для него значило.

Александр отнесся к делу серьезно. Несмотря на разные Regis coelesti oluchus, прочитал пьесу основательно, со всею внимательностью старшего. Отзыв получился и суровый и любопытный. «В «Безотцовщине» две сцены обработаны гениально, если хочешь… (Чехов зрелый улыбнулся бы на это «гениально». – *Б.З.*) Но в общем она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной

глубины внутреннего миросозерцания. Что твоя драма ложь – ты сам это чувствовал, хотя и слабо и безотчетно, а между прочим, ты затратил на нее столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь».

Неизвестно, как принял Антон эту критику, но, конечно, долговязый, незадачливый Александр, пока еще опекающий Антона, почувствовал в нем особенное. Сам он уже печатается, а тот получает еще пятерки в гимназии и пишет «ложь», но какую-то такую, что мимо нее не пройти и даже вот две сцены «обработаны гениально».

Так же, как на семейной группе круглолицый, с приятным здоровым лицом мальчик-гимназист резко выделяется из других и рядом с ним Александр, Николай явно напрашиваются в неудачники, так и в полудетской «Безотцовщине» чувствовал, разумеется, Александр некое «неспроста». Так же всегда чувствовала, материнским сердцем, Евгения Яковлевна, что весь ключ жизни семьи в «Антоше».

«Мне кажетца что ты как приедешь то мне лучше будет».

* * *

Она не ошиблась. Лучше стало не ей одной, а всей семье Чеховых.

Павел Егорыч отодвинулся. «Расписание делов и домашних обязанностей» не висело уже на стене. Сам он получил наконец место – очень скромное, все-таки место: конторщика у купца Гаврилова, в Замоскворечье. Там и жил, с приказчиками. Получал тридцать рублей в месяц. Домой приходил только в праздничные дни – мог любоваться по воскресеньям щеглами, чижами, зайцами Трубного рынка. Но дома не мешал.

Антон же Павлович водворился уже студентом Московского университета. Факультет выбрал самый трудный, медицинский. По чеховским тогдашним понятиям, привез с собой целый капитал – сто рублей. Мало того, привез двух жильцов-нахлебников для усиления оборота. Прежняя квартирка оказалась тесной, сняли другую, так же на Грачевке, в пять комнат. Теперь спали уже не вповалку и не на полу. Дух порядка, труда и некоторого благообразия сразу появился – он всюду Антону Чехову сопутствовал. Не зря Селиванов называл шестиклассника таганрогского по имени-отчеству: Антон Павлович.

Этот Антон Павлович представлял из себя тогда, в первые годы Москвы, крупного юношу, несколько еще нескладного и как бы мешковатого, но на вид здорового и краснощекого, с

обильными, зачесанными назад волосами, в длинной визитке странного на теперешний взгляд покроя. Вот он стоит, опершись спиной о бюро, скрестив за спиной руки, и спокойно смотрит, как брат Николай, сидя у столика рядом, что-то рисует на огромном листе ватманской бумаги. Восьмидесятые годы в тяжелых занавесях на окне, в бронзовом четырехсвечнике на этажерке, в восточном ковре на полу.

Но этот, будто с ленцой, неуклюжий молодой человек совсем не ленив – напротив, трудится очень много и не зря. Брат Николай со своим художеством вполне богема, нервная и мятущаяся, разжигаемая алкоголем, как и старший брат Александр. Но Антон – удивительное равновесие. Человек его возраста, его жизнелюбия, полный сил, не может, конечно, жить аскетом или заоблачным философом. Жизнь есть жизнь. Брат Антон, студент первого, а потом и всех следующих курсов, очень даже не прочь выпить и похохотать, ухаживать за барышнями, острить, целую ночь просидеть за стуколкой – смешной провинциальной игрой того времени, но, как позже и в искусстве его, чувство меры ему прирожденно.

Он стоит на ногах очень прочно, сдвинуть его нельзя. Никакие запои и пьяные фантасмагории, посещавшие старших братьев, ему несвойственны. Он живет в эти свои молодые годы, будто бы так располагавшие к долголетию и спокойно-ровной жизни, очень напряженно и труднически, но толково. Есть определенная цель: выбиться самому, вытащить и семью, всё наладить, поставить благообразно.

Университет и наука давали ему, после Таганрога, конечно, много нового. Некоторую религию науки, так стеснявшую потом его философствование, он начал усваивать на этом медицинском факультете. Только что вышли «Братья Карамазовы». Юный, но уже блистательный Вл. Соловьев восходил над горизонтом, Чехов же питался лекциями Склифосовского и других Со всей страстностью провинциала, которому Москва восьмидесятых годов с конками, Трубой, «студенчеством», распевавшим по ресторанам на Татьянин день Gaudeamus igitur, – всё это казалось верхом культуры, чуть ли не центром мира.

Он усердно учился, посещал разные практические занятия, благоговел пред самоуверенными, с самодурством, Захарьиными, но была в нем сторона и другая. Для чего-то писалась в Таганроге «Безотцовщина», устраивался журнальчик «Заика», подбирались разные смешные мелочи и проливались слезы над «Вез вины виноватыми». Правда, слезы эти были еще детские, теперь он уже студент и в театре не заплачет. Зато и театр в Москве настоящий – Малый театр блистал тогда, был у театра этого и

первейший драматург – Александр Николаевич Островский.

(Можно думать, что единственно, что могла дать юному Чехову Москва, был именно театр.)

Но надо было и зарабатывать. Тут проявилось трудничество его замечательное. Как успевал он и учиться в университете, и много писать, об этом знают одни молодые его силы, не надорванные ли, впрочем, таким напряжением?

Из Таганрога он присылал Александру «остроты». Теперь стал писать маленькие юмористические рассказы – печатать их начал уже без Александра: редакторы сразу заметили, что студент этот не совсем обычный. Он подписывал творения свои «Антоша Чехонте». (Есть известие, что прозвище такое дал ему еще в Таганроге, в гимназии, смешливый законоучитель – явление довольно странное и редкое для тех времен: не без труда представляешь себе смешливого батюшку с журналом ученических отметок, а ведь все-таки такой нашелся и оставил даже след в биографии Чехова.)

Крестник же литературный этого благодушного иерея начинал свое писание так скромно, так ужасно скромно и непритязательно, как ни один из наших писателей.

И в какой среде приходилось начинать! «Будильники», «Стрекозы», разные другие ничтожества. Среди них «Осколки» Лейкина считались уже «чем-то», как и сам Лейкин.

На фотографии изображен средних лет, плотный, в бороде здорового и «русского» вида мужчина, скорее даже приятный, вроде племянника Островского. Николай Александрович Лейкин и происходил из купеческого петербургского рода, в молодости был приказчиком, но с ранних лет занялся литературой. В шестидесятых годах сотрудничал в «Современнике», «Искре», знавал Некрасова, Глеба Успенского. Был человек живой и остроумный, очень хозяйственный. Писал разные мелочи юмористические, а одна его книжка даже отчасти осталась в малой литературе: «Наши заграницей». Журнальчик же, им устроенный, «Осколки», хорошо расходился и был несколько выше других. В эти «Осколки» Чехов попал очень рано, ранние письма его Лейкину помечены 83-м годом, еще с Трубы. Не так давно «старшим» был для него брат Александр, теперь это петербургский редактор-издатель Лейкин, считающий, что его «Осколки» ведут какую-то свою линию в литературе. Журнальчик был юмористический, и уже одно то, что там печатался Чехонте, подымало его над другими. Лейкин считал себя чуть ли не наставником Чехова, сумел внушить ему, что существует какой-то «осколочный» жанр – Чехов считался с этим, посылая рассказы. «Я могу написать про Думу, мостовые, про трактир Егорова… Да что

тут осколочного и интересного?» – так писал он Лейкину в 85-м году, почти уже на закате своей юмористики. Что же сказать, когда был просто молоденьким студентом, стипендиатом города Таганрога и только-только начинал?

Все же Лейкин оказался на первых порах не вреден, скорей даже полезен. Для того скромного с виду ремесла, каким Чехов занимался, «Осколки» действительно больше подходили. У Лейкина была толковость, здравый смысл, сметка. Журнальчик читали. И платил он лучше других (но тоже мало). Для Чехова же в это время заработок особенно был нужен. Он и подрабатывал. Несмотря ни на какие студенческие вечеринки, Татьянины дни, gaudeamus, на стуколку и барышень, не забывал вовремя отправлять хозяину мелкие, иногда просто блестящие штучки.

Братья Александр и Николай были натуры артистические и богемные. Уж одно пьянство путало им все расчеты, вносило сумбур и горе. Брат Антон жил очень сдержанно, внешне веселый и, как всегда, остроумный, внутренне, как всегда, одинокий, весьма закаленный. Распущенности в нем не видно. Надо написать Лейкину рассказик к понедельнику – просидит ночь, а напишет. И свезет на Николаевский вокзал, прямо к поезду. Если выйдет затруднение с писанием, то приложит все усилия, чтобы не опоздать (с дачи под Воскресенском пришлось раз в те наивные времена отправлять рассказ в Петербург «с богомолкой»).

* * *

Писал он тогда много, даже слишком много. В зрелости сам удивился, будто смутился: чуть не до тысячи номеров. В книги попало меньше, он выбрасывал, не жалея. Все же с 1880-го по 1888 год в пяти книгах оказалось 173 рассказа. Томы все одинаковые, число же рассказов по годам падает – как температура у больного: 52, потом 43, 38, 30, в последнем томе 10. Рассказы стали больше, серьезнее и печальней – юморист, как и полагается, оборачивался меланхоликом.

Но во время Трубы это были еще мелочи – некоторые исключительны по блеску. Рассказиком «В бане» обычно открываются собрания его сочинений. (Мог ли тогда думать Лейкин, что сотрудник его, отправлявший свои творения с богомолкой, станет писателем мировым? Впрочем, как ни даровит и своеобразен был этот сотрудник, все же угадать в нем будущего Чехова было почти невозможно.)

Географически и в бытовом отношении Труба отозвалась в

двух его рассказах. Один так и называется: «В Москве на Трубной площади» – зарисовка Трубного рынка, очень живая и милая. Охотником Чехов не был, но природу знал и любил. Любил птиц, собак, цветы. Ясно, что по Трубе не раз бродил – это совсем близко от Грачевки, – все видел и заметил. Что-то весеннее есть в этом очерке. Есть в нем и улыбка.

«Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых. Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь.

– Положительности нет в этой птице, – говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. – Он теперь поет, это верно, но что же из этого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, если можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит. Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…»

Университет, наука, медицина – само по себе, но вот простая жизнь, птицы, зверюшки, продавцы, чудаки-любители, солнце Москвы над Трубой – это другое и это собственно жизнь, ему она и ближе и нужней. Юным, острым взором впитывает он все. Нравится и продавец, считающий, что «заяц, ежели его бить, спички может зажигать», и чудак-любитель в меховом картузе, ко всему приценяющийся, все критикующий и ничего по бедности не покупающий. И даже строгий учитель гимназии, тоже маниак, которого называют здесь «Ваше местоимение» (начало дальнейших чеховских словечек). Насмешки, горечи в этих страницах нет. Но кроме жизнечувствия – такой дар показать, рассказать, что бедному Александру не до поучений. Это не «Безотцовщина». Тут учить нечему.

Другой рассказ, связанный с теми же местами Москвы, в ином роде. Называется он «Припадок». Написан гораздо позже, в 1888 году, когда Чехов жил уже не здесь. Помещен в сборнике памяти Гаршина, незадолго перед тем погибшего. Тут никакой улыбки нет, как не было ее и у самого Гаршина.

Ноябрьский вечер, только что выпал снег. Юный художник и студент-медик уговорили студента-юриста, застенчивого и болезненного, посмотреть веселые дома. Так что это история одного путешествия. Кончается оно нервным припадком студента. А видел он самое обыкновенное, будничное мира сего.

Все происходит в известном тогда Соболевой переулке, сплошь состоявшем из притонов, – в двух шагах и была та Грачевка, на которой ухитрился Павел Егорыч найти первое свое пристанище в Москве.

Рассказ мрачен и тяжек. Несколько a these, и это выпирает – против проституции. Сам Чехов находил, что он «отдает сыростью водосточных труб». «Но совесть моя по крайней мере покойна: …

воздал покойнику Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки».

Суворина он упрекнул, что в «Новом времени» ничего не пишут о проституции. «Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок».

И все же художник в нем неизбывен. Тому же Суворину пишет он позже: «Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой «Припадок» вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович».

Описание, правда, отличное. Художнически это лучшие строки в рассказе. А в общем, от этого «Припадка» ведет уже дорожка к «Сахалину» и дальше, дальше: ко всему тому в его писании, где о человеческом устройстве жизни говорит он горькие слова. Мрак, тягость и несправедливость, угнетение одних другими узнал он очень хорошо. И не молчал об этом.

* * *

В 1884 году Чехов окончил Московский университет, вышел врачом. Кончилась и Трубная полоса его жизни. В конце этого года у цветущего и крепкого, казалось, молодого человека, случилось первое кровохарканье. Нельзя сказать, чтобы он отнесся к этому внимательно («не чахоточное»). Все-таки… «нездоровье немножко напугало меня», с другой же стороны «доставило… немало хороших, почти счастливых минут. Я получил столько сочувствий искренних, дружеских. До болезни я не знал, что у меня столько друзей».

# «Доктор Чехов»

Еще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городке Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него «Расписание делов и домашних обязанностей», ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов: Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторную, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могли приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль – и по медицинской части, и по литературной.

Это прелестные места. Мягкий и светлый подмосковный пейзаж, в нем заштатный городок с широкими улицами, церквами, в полутора версте монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба («особенность Нового Иерусалима», отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение).

Недалеко и Звенигород, на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса; средь темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь – св. Саввы Звенигородского. Собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя и над лугами, над лесами. Его белый, древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден, похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей остается ощущение простора, света, благообразия.

С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском, у врача Архангельского. Это разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам; видимо, много и молодежи.

Все они, на собраниях у Архангельского, за самоваром, вели «либеральные разговоры». «Салтыков-Щедрин не сходил с уст – им положительно бредили».

Занимался всем этим, конечно, и Чехов, может быть и подтрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал, больше наблюдал и наматывал себе на ус.

Позже, в 1884 году, уже врачом, трудился в самом Звенигороде – заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания (на которое он смотрел тогда еще

очень скромно). Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами «Хирургия» родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связаны «Сирена», «Мертвое тело» – приходилось ездить со следователем и на вскрытия.

Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в пяти верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомилась с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша, – и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева.

Знакомство оказалось для всех Чеховых очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным.

Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен П.Д. Киселева, как бы провозвестника освобождения крестьян. Человек культурный и просвещенный, либеральный барин восьмидесятых годов, довольно легкомысленный и привлекательный. Всегда в долгах: Бабкино закладывалось и перезакладывалось. Надо было доставать деньги, платить проценты. (Корни «Вишневого сада» именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда. Но «место в банке» Гаева – нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев.) Мария Владимировна, жена его, по культуре – его уровня, но серьезнее и основательней. Занималась отчасти и литературой, писала для детей.

В этом Бабкине Чеховы дачниками провели три лета: 85, 86 и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами. Вблизи река. Отдельный флигель – собственно, целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не «Осколки». Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он, как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче, – это одно, а Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжавшими сюда, музыкантшами – как г-жа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков, – это другое. Где-то на горизонте Чайковский, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых. И наконец Левитан, вначале живший в трех верстах в деревне Максимовке «на этюдах», снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился «в маленьком флигельке» (были в Бабкине флигеля и большие и малые).

Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы: брат Николай учился с ним вместе в Училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная окаймляющая бородка, поэтически разметанные на голове волосы – подчеркнутый художник, ему бы ходить в бархатных куртках, с бантом-галстухом романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец-богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова – сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж.

Молодой Чехов гораздо сильнее и крепче, замкнутей, мог казаться и холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастенику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основание будущей своей славы – век его, как и Чехова, оказался кратким.

С Чеховым все три бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. «Портрет Чехова работы Левитана» показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий «сумеречный» Чехов – скорее народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко.

В повседневности же может придумать такую, например, вещь: после дня, когда писал какого-нибудь «Налима» или «Дочь Альбиона», лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен в наступающей ночи, под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку – будить и пугать Левитана. Надевают высокие сапоги, хлюпают по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана (он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер). Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты.

Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, «доктор Чехов» прибил над дверью вывеску:

*Ссудная касса купца Левитана*

И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. (Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уж в могиле.)

Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве и лечить направо и налево, но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска, он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. «Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел вешаться». Чехов его «прогуливает».

«Словно бы легче стало» – жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшей особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже – «Над вечным покоем» помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле.

* * *

Кроме Левитана и старших Киселевых были у Чехова в Бабкине и еще приятели: Киселевы-дети, Саша (девочка) и Сережа.

В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям! Ему всего двадцать шесть – двадцать семь лет. Он еще сам кипит жизнью, это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет. И они любят его.

Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорей шуточки, придумыванье игр, вообще то, что интересно детям.

След внимания и любви, дошедший до нас, – произведение «Сапоги всмятку», милая чепуха, но довольно обширная, написанная именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь; вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей-детей. Мало того что написал – там рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой.

Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие.

Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному, у него много прозвищ: Грипп, Коклюш, Коклен Младший, Финик, Котафей Котафеич. Но всегда с сочувствием. «Прекрасной Василисе и любезнейшему Котафею Котафеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита» (1889). «И желаю обитателям милого, незабвенного Бабкина… всего хорошего (1894). Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина…» (1895).

В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской-Садовой, а Сережа поступил в 1-й класс гимназии

и поселился у Чеховых нахлебником, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившейся (не заболел ли? как себя ведет?), – вот как изображает жизнь Финика: «Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса: это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видел и тени такого, что могло бы заставить меня призадуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого». В конце письма – «поклон Василисе» (Саша жила еще в Бабкине).

Первая его встреча и дружба с детьми – это именно с киселевскими.

* * *

Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу! Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино к Киселевым, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры: весной уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднения находят новую. В 1885 году живут на Сретенке, в 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888-м адрес опять новый: Кудринская-Садовая, дом Корнеева.

На эти дачные переезды сейчас улыбаешься, но и в нашей юности все это было: два-три навьюченных «добром» воза с кухаркой наверху на переднем – она держит обожаемого кота, или ей для удобства поставлен диван, она восседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз.

Господа едут не на этих возах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например, путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино, всего несколько десятков верст: на станции наняли лошадей, дорога ужасная, плелись шагом. «В Еремееве кормили. От Еремеева ехали до города часа 4 – до того мерзка была дорога». Переправлялись через реку, сам Антон Павлович, поехавший вперед (дело было уже ночью), чуть не утонул и выкупался. Мать и Марью пришлось переправлять на лодке». «В киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж… Ожидание». В Бабкино приехали в час ночи.

Зато само Бабкино очень вознаградило их тогда и, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда.

Жизнь же семьи в Москве всё больше и больше окрашивалась Антоном Павловичем. Явно становился он главой семьи, даже с ранних студенческих лет, не говоря уже о времени, когда обратился в «Доктора А.П. Чехова». Стиль Павла Егорыча окончательно выветрился, заменился духом Антона Павловича. Брат Михаил прямо об этом говорит: «Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда». «Нужно быть справедливым». «Не надо лгать».

В этой же линии нужно поставить и одно письмо Антона Павловича брату, редкостное в его переписке по серьезности тона и некоей назидательности – чуть ли не проповедь. В то же время и прямое высказывание о себе.

Дело идет как будто о защите воспитанности и нападении на невоспитанность, но обзор получается шире. В восьми пунктах перечисляется, каковы люди воспитанные. Они уважают человеческую личность, снисходительны, мягки, уступчивы. Сострадательны «не к одним только нищим и кошкам». Платят долги. Боятся лжи и громких фраз. Если талантливы, то с талантом своим обращаются бережно, «уважают его». Для него «жертвуют женщинами, вином, сценой». Понимают, что талант обязывает – «они призваны воспитывающе влиять». Соблюдают благоообразие быта: не спят в одежде, враги клопов, не ходят по «оплеванному полу» (уровень окружения Чехова).

Дальше оказывается, что «воспитанные» люди и в любви особенны: «От женщины им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью». (Это писал молодой человек двадцати пяти лет, почти всю дальнейшую свою жизнь проживший холостяком, – детей он любил, но своих не было, а женился в конце дней на актрисе, а не матери и тосковал, что нет ребенка.)

Есть еще добавление: «Они не трескают водку».

Вообще же всё в этом письме «очень Чехов». Собственно, изображение того, чего он хочет и чего не хочет от человека. «Воспитанность», «воспитание» тут понимаются очень широко, много шире обычного. Точнее бы сказать: борьба с собой, выработка некоего образа, усилие воли. Воля, то, чего часто нет у чеховских людей, у него самого как раз была, и над собой он много работал – об этом позже скажет жене, – своею жизнью подтвердил заключительные строки письма: «Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды… нужны беспрерывный, дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час».

Сдержанный, замкнутый, доброжелательный, изящный

человек без лжи, фраз, ходуль… – этого он и желает. Это есть сам Антон Павлович Чехов, который упорно себя возделывал и добился многого, но которому были уделены и дары, не только литературные, не от него зависевшие. Понимал ли он это или все приписывал себе? Может быть, Бог больше любил его, чем он Бога.

Так ли, иначе, письмо имеет отношение к братьям Александру и преимущественно Николаю, художнику (ему и адресовано).

Оба они, Николай в особенности, оказались в некоем роде крестом Антона Павловича. Он обоих любил, но черты грубоватости, неряшества, неумение владеть собой раздражали.

Оба были алкоголики. Про Александра Антон Павлович прямо говорит: пока трезв – тих, добр, скромен. Выпьет две рюмки, начинает врать Бог знает что, становится заносчив, резок, может оскорбить… Николай в письме занимает главное место – все эти «уходы» из семьи («с вами жить нельзя»), возвращения, пышные фразы, бестолковщина, столкновения с отцом, художническая распущенность…

Александр в конце концов женился, получил место в таможне, но потом бросил службу и тягостно бился около литературы в суворинском «Новом времени». Знаменитый брат вполне заслонил его.

На фотографии этот человек в очках, с окладистой, но подстриженной бородой, бездарным бобриком на голове, в крахмальной рубашке того времени являет облик захудалого чиновника 80-х годов: жена, много детей, беспросветная жизнь… – а в действительности он был очень образован, выше своей среды и с «запросами», но недаровитый – семейная одаренность Чеховых блеснула (позже) в его сыне Михаиле, замечательном актере.

Николай теснее связан с семьей, с ним и приходилось больше возиться, укрощать, сдерживать, заглаживать недоразумения.

Семейных забот оказалось у Чехова в эти переходные годы немало.

* * *

«Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля».

Это пишет молодой врач, адрес его такой: Сретенка, Головин пер. Д-ру А.П. Чехову.

«Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух

прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют».

Большая разница с полуподвальным этажом квартирки на Грачевке, где спали на полу вповалку. У Евгении Яковлевны, случалось, весь капитал четыре копейки, за учение Маши платят чужие. (И когда в первый раз заплатил Антон Павлович, это была большая победа.)

Теперь явился даже достаток. На извозчика тратит больше рубля в день! Улыбаться тут не приходится. В те времена за гривенник, пятиалтынный можно было в Москве далеко уехать – от кольца Садовых в центр бесспорно, так что горделивое «больше рубля» понятно: значит, практика уже немалая.

Медицина прошла через всю жизнь Чехова, и до конца сохранил он к ней уважение. Считал даже, что и как писатель многим ей обязан – тут очень преувеличивал. Трезвость ума, да и здравый смысл были у него природные, от воронежских прадедов. А вот вера в науку, вера довольно наивная, как тогда полагалось, подменявшая наукой религию, к сложению его облика отношение имела. Да и окрашивала самый характер его образованности.

Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт. Кого-кого врач не увидит, сколько узнает человеческих обликов, положений жизненных, бед, страданий, горя. Так что для «писателя Чехова» большой простор.

Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия. Странным образом многие эти земские «материалисты», зачитывавшиеся Дарвиным (сам Чехов зачитывался: «…читаю Дарвина. Какая роскошь! Я его ужасно люблю»), – они-то нередко оказывались ближе к доброму Самарянину, чем иные православные.

Этот завет русского врачевания – нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда: он подходил к его характеру и облику. За всеми шуточками и остротами чеховской молодости лежало понимание горя и сострадание. Голова могла быть полна Дарвином, из сердца никогда не уходил дух Евгении Яковлевны.

Как ни полезна была для него медицина, все же надолго в ней удержаться он не мог. Практикой занимался недолго.

Внешних поводов для этого оказалось как будто два: раз вышло так, что больному он прописал лекарство, потом занимался и другим делом, время шло, но вот к вечеру стало томить беспокойство: что-то – то, да не то. В рецепте были граммы, а где поставлена запятая? Напрягая память, вспомнил, проверил в справочнике: да, ошибся. Надо не там поставить запятую, прописано бессмысленно. Если аптекарь сообразит,

будет конфуз врачу. Если же не сообразит и приготовит, то совсем плохо.

Около полуночи, вместе с тем братом Михаилом, который об этом и рассказывает, взяли они лихача, помчались на другой конец Москвы разыскивать пациента. Вероятно, очень его удивили поздним налетом. Рецепт не был еще отослан в аптеку, и все прошло гладко, но не такой был человек Чехов, чтобы успокоиться: добросовестность и добропорядочность слишком прочно сидели в нем. Неприятный след остался.

Другой случай говорит о том, что, быть может, и вправду, под внешне здоровым и крепким обликом было в Чехове нечто настолько нервное, остро переживающее, что для врача не годится: это слишком.

Он лечил целую семью. Четверо болели тифом. Умерла мать и взрослая дочь. Отходя, дочь эта взяла руку Антона Павловича, так и скончалась, не выпуская ее. «На писателя это произвело такое сильное впечатление, что вывеска (“Доктор А.П. Чехов”) была снята с двери и больше уже не появлялась никогда».

Вряд ли, однако, оставил он медицину (как профессию) из-за таких вещей. Вернее – из-за того, что сидевшее в нем писательство было сильнее. Талант не дает покоя и не может его дать. Талант есть некое беспокойство. Или это не талант, а любительские способности, т. е. не роковое, а случайное, или же, если правда талант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половинки. Все или ничего. Чтобы что-нибудь из литературы вышло, надо отдать ей жизнь.

Дар Чехова был так жив, бесспорен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А «где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены». Сказки эти шли еще под именем Антоши Чехонте. Но времена Лейкина и «Осколков» кончились, о «Сказках Мельпомены» Чехов не любил вспоминать. И уже из-под них вырастали «Пестрые рассказы», первый облик настоящего Чехова. Книжечка эта, в коричневом дешевеньком переплете, впервые показала многим (среди них и одному гимназисту в глуши России, с тех пор навсегда покоренному), нового прекрасного писателя: Антона Чехова.

А тот, кто написал ее, не мог уже сойти со своего пути. Доктор Чехов кончался.

# Рост, первая слава

«Вы удлинили конец “Розового чулка”. Я не прочь получить лишних 8 коп. за лишнюю строчку, но, по моему мнению, “мужчина” в конце не идет. Речь идет только о женщинах. Впрочем, все равно».

Так писал Чехов Лейкину из Бабкина в 86-м году. Лейкин, из каких-то своих «осколочных» соображений, прибавил ему строчку от себя!

С ранних лет Чехов привык сдерживаться, да и первые литературные шаги приучили его к подчинению – так поступил он и теперь: это издатель, выпускает «Пестрые рассказы»… – а редакторскую руку выносить не впервые. Значит, надо с философическим спокойствием ответить: «все равно».

Возможно, Чехов и сам чувствовал, что из-за «Розового чулка» историю подымать не стоит – месяца за два, за три перед тем получил он письмо не от Лейкина, а от Григоровича, великолепного барина с бакенбардами, сподвижника Тургенева, человека из большой литературы, – послание это вызвало иной ответ:

«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас».

Настоящий, очень известный писатель благословил его на путь трудный и высокий. Как это было нужно! и как своевременно это пришло – впрочем, в жизни отмеченной всегда в некую минуту и приходит то, что нужно.

Подземно Чехов ощущал уже, конечно, что растет в нем нечто большее, чем Лейкин с «Розовым чулком». Но еще сохранялась инерция, смелости не хватало. Григоровичу, писателю невеликому, но в литературе понимавшему, великая хвала за то, что он Чехова рано отметил и письмом своим воодушевил. «Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой Вашего сердца, я до сих пор не уважал его». «За 5 лет моего шатания по газетам я скоро привык снисходительно смотреть на свои работы – и пошла писать! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы».

Высокая температура, восторженный тон письма поражают. Чехову это мало свойственно – но он был еще очень молод, и дело касалось самого для него важного: литературы. Есть взгляд, что он не был человеком больших чувств. Что касается дружбы,

любви, это, в общем, верно. Но не литературы. В нее он входил медленно, с колебаниями, с неуверенной скромностью, в известную же минуту, назначенную каждому настоящему писателю, она ослепила его и заняла всю душу: конечно, семья – «папаша», «мамаша», братцы, сестра оставались, оставалась какая-то, нам неизвестная, мужская жизнь, но все это на третьем месте. Чехов никак не похож на Флобера, кроме единственной черты: если бы ему предстоял выбор между любимой женщиной и литературой, он и не оглянулся бы. У Флобера в молодые годы была Луиза Колэ, которая мешала его литературе, – он и разошелся с ней, но все же не так просто. В молодых годах Чехова никакой Колэ вообще не видно. Видно одно: писание. Все к этому сводится, остальное придаток. В «Скучной истории» профессор говорит, что судьбы костного мозга интересуют его больше, чем цель мироздания. Чехова по-настоящему занимало лишь то, как построить рассказ, как получше написать фразу. (В то глухое время чуть ли не один он и мог говорить, заботиться о музыкальной стороне прозы. Флобера он узнал позже, будто бы ценил. Вряд ли, однако, читал по-французски – русские же переводы Флобера в XIX веке были ужасны, о звуке флоберовской фразы ничего не говорили. Чехов и тут, как во всем, шел одиноко.)

С осени 1886 года поселился он в двухэтажном особнячке на Кудринской-Садовой, недалеко от Кудринской площади. По снимку без труда узнаешь этот дом доморощенной архитектуры с шестиугольными как бы башнями – выступами фасада в палисадник. Кажется, были там прослойки красного кирпича, во всяком случае, что-то цветистое, с зеленой крышей, для пестрой Москвы подходящее. Садовая была тогда действительно в садах, т. е. перед домами тянулись сплошные палисадники, кое-где в них кусты, деревца, цветы. Так вокруг всей Москвы (Садовая кольцеобразна, как бы внешние бульвары Парижа).

Дом принадлежал доктору Корнееву, знакомому Чехова. Кабинет в первом этаже, во втором другие комнаты, гостиная, в ней пианино. Там же собиралась молодежь, бывало весело и шумно. Места достаточно, вся семья устроена прилично.

В этом доме на Кудрине началась большая литература Чехова. Тут он прожил несколько лет, рос художнически, тут же все сильней под здоровой наружностью, среди шуточек и острот накоплялось другое, о чем он не говорил, но оно все настойчивее само заговаривало в писании его. «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто?» – это говорит старик-пастух в степи – разговор идет о кладе. Есть какой-то клад, зарыт здесь, а где – неизвестно («Счастье»). Найти бы его, да вот не выходит.

В очаровательной «Свирели» тоже пастух, но пейзаж иной. Осень, накрапывает дождик. И тоже объездчик, отличное у него имя: Мелитон. Разговор меланхолический.

«– Лет сорок я примечаю из года в год Божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится.

– К чему?

– К худу, паря. Надо думать, к гибели. Пришла пора Божьему миру погибать».

Пастух этот, Лука Бедный, жалеет мир.

«– Земля, лес, небо… тварь всякая – все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадет все ни за грош. А пуще всего людей жалко».

Собственно, из-за чего миру погибать? Но вот Лука находит, что все идет хуже и хуже. Реки мелеют, леса гибнут, дичи меньше, даже «господа» как-то выдыхаются.

Почему молодого писателя, привлекательного и остроумного, с растущим успехом, вовсе не неврастеника, все сильней тянет к грусти? Конечно, это не он говорит, а Лука, как и в «Скучной истории» не он, а профессор, как в «Иванове» стреляется не он, а Иванов, – Чехов всегда скрыт за своими подчиненными, но скрыться окончательно не может.

Каждая душа задумана по-своему, особенно создана. «Одинокому везде пустыня» прозвучало еще у Павла Егорыча. Антона Павловича благословил ангел поэзии, дал каплю отравы, без которой редко живет художество. Это – печаль. Мир и жизнь и прекрасны, и скорбны. Если прекрасны, то одно уж то, что быстролетны, не ранить не может. И затем, что к чему, каков смысл, цель, как понять назначение человека?

Лейкин мог всю жизнь острить, хохотать, зарабатывать деньги и восхищаться самим собой.

(«Все время, стерва, хвастал и приставал с вопросами: “Вы знаете, моя “Христова невеста” переведена на итальянский язык?”») Чехов этим не занимался. Самолюбив был весьма, об успехах своих близким иногда проговаривался, с посторонними же помалкивал.

А где смысл, где истинная правда, в точности не знал. «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто?» Всё это весьма невесело.

* * *

Теперь печатается он уже не у Лейкина. В феврале 1886 года появился в «Новом времени» его рассказ «Панихида». С него

начинается близость с большой газетой и самим Сувориным – человеком даровитейшим и своеобразным, – близость для Чехова очень полезная и внутренне (письма к Суворину – самое интересное в его переписке) и внешне: выдвигала его литературно. Это уже не «Осколки».

В том же году, но позже вышли «Пестрые рассказы» – первая книга, с которой «Чехов» и начинается.

Книга имела успех. «Я уже понемножку начинаю пожинать лавры: на меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами».

Точно бы и подсмеивается, все же приятно. «Корш поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет. Портной Белоусов купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность». Вздыхают и знакомые доктора: медицина им надоела, а вот литература – другое дело.

Поздней осенью он попал в Петербург и там еще сильней ощутил известность. «Целые дни рыскал по городу, делая визиты и выслушивая комплименты». «В Петербурге я становлюсь модным». «Серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер. Даже сенатор Голубев читает».

Все это естественно. Чехов природно трезв, с большим самообладанием. Но трудно молодому писателю сохранить равновесие. Ему всегда кажется, при первых успехах, что он ось мира. Даже Чехов был опьянен.

Все через это прошли, Чехов еще меньше других, все-таки в чеховских письмах того времени есть самоуверенность, как бывал и приподнятый тон в личных отношениях.

Год следующий, 87-й, только усилил напряжение успеха. Суворин взял у него книжку рассказов. Книжка эта («В сумерках») посвящена Григоровичу, первому «благовестителю», и тоже была принята отлично. Да и как не произвести впечатления – все в ней и ново, и жизненно, и грустно, человечно, трогательно («На пути», «Святою ночью»).

Тою же осенью, в фойе театра Корша, он встретил самого хозяина, Федора Адамовича. Помня Корша, представляешь себе встречу эту довольно ясно.

Похлопывание по плечу – «голуба моя», «мама», тон развязной дружественности – хотя Чехова он мало знал, слышал только, что талантливый молодой писатель, может быть, читал что-нибудь в «Осколках». Вряд ли удосужился прочесть «Пестрые рассказы» или «В сумерках». Но театру нужна пьеса, о молодом авторе говорят, значит, не надо упускать случая.

– Дуся, ну что вам рассказики все писать, вы бы нам пьесу…

И возможно, уводит его, обнимая, как всегда делал, к себе в

кабинет, тут же при театре, где письменный стол и софа, на которой в свободную минуту любил Корш примащиваться. Здесь разговор более серьезный: нужна пьеса к такому-то сроку, условия такие-то. Условия оказались хорошие (хотя был торг, окончательно сговорились позже: Чехов уже начинал знать себе цену). Но Коршу хотелось заполучить его, а Чехову деньги были нужны. Соблазнял и сам театр – всегда великий соблазнитель писателя, Чехов же и раньше к нему тяготел (кроме детской «Безотцовщины» были у него и другие опыты в этом роде, до сцены не дошедшие. Да и вообще театр его привлекал). Так ли, иначе, предложение он принял.

«Пьесу я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал».

Сказано просто, но правдиво и жизненно. Человек возбужден разговором, успехом (к нему обращается сам директор), возможностями. Ложится в постель, может быть, и ни о чем не думает особенно. Но темнота всегда развязывает воображение. Некий душевный капитал был или некий склад горючих веществ – поднесли спичку, начался пожар. Вероятно, в ту ночь поздно заснул Чехов. Но пьеса в нем зачалась.

Насколько известно, он долго обдумывал обычно. Писал же быстро. В этом случае и вынашивал недолго, и написал «Иванова» в две недели, вернее, в «десять дней». Акт за актом передавались Коршу для цензуры и репетиций. Это немножко не так, как было позже с «Чайкою», «Вишневым садом». Флобер пришел бы в ужас. Вряд ли одобрил бы и Григорович: Чехов не совсем сдержал обещание, данное благовестителю в письме, – да еще для писания в труднейшей форме, драматической.

Как бы то ни было, явился на свет Божий «Иванов», вовсе не комедия коршевского репертуара, а весьма мрачная пьеса, в тусклых, темных тонах, просто даже безнадежная, выдававшая скрытый и горестный мир автора. Главное лицо – сам Иванов, из лишних людей, российских Гамлетов провинции. Родоначальник его Тургенев, но у Чехова вышло еще острее и горше. Довольно странно: автора, явно идущего в гору, молодого, с большим обаянием, остроумного, баловня дам, влечет к такому Иванову, неврастенику-неудачнику, губящему жизнь жены, чуть было не погубившему восторженную девушку, – под занавес он стреляется.

Сумрачный туман всё время стоит в пьесе, дышать в ней трудно, и вся она идет под знаком неблагословенности. Сам Иванов написан убедительно, есть отличные второстепенные фигуры (Шабельский), остра Сарра, есть проблеск в Саше (тоже наследие «тургеневской» девушки) – в общем же пьесу не

полюбишь. Много верного, сильного, мало чеховского обаяния.

19 ноября 1887 года вся семья Чеховых была в театре, в ложе бенуара. Автор за сценой «в маленькой ложе, похожей на арестантскую камеру». «Сверх ожидания я хладнокровен и волнения не чувствую» – это показание подсудимого, и оно хорошо только для не испытавших театрального авторства. Поверить ему нельзя – веришь только в большое самообладание Чехова.

Волноваться было из-за чего. Пьеса шла и с большим успехом, и с сопротивлением. Аплодировали, а иногда шикали. Сестра Мария Павловна чуть не упала в обморок, у приятеля их, Дюковского, началось сердцебиение – вообще в ложе Чеховых «переживали».

Все-таки обошлось благополучно, даже больше. Автора вызывали, на следующих представлениях играли лучше, «Иванов» утвердился в репертуаре.

Сам Чехов находил, что пьеса написана для театра «правильно», по существу же к ней охладел – впрочем, по письмам нельзя судить окончательно: шутливое всегда у него слито с серьезным и нет уверенности, что он вот так свое внутреннее и выложит. В одном, однако, не ошибешься: «Иванов», теперь кажущийся по формам как раз устарелым, тогда резко выделялся. Может быть, и сам облик Иванова что-то в той полосе России значил.

В декабре Чехов приехал в Петербург. Известность его продолжала расти. Росло и опьянение ею.

«Я чувствую себя на седьмом небе». «Каждый день знакомлюсь. Вчера, напр., с 101/2 ч. утра до трех я сидел у Михайловского… в компании Глеба Успенского и Короленко: ели, пили и дружески болтали. Ежедневно видаюсь с Суворинym, Бурениным и пр. Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам. От пьесы моей все положительно в восторге».

«Знакомлюсь с дамами. Получил от некоторых приглашение. Пойду, хотя в каждой фразе их хвалебных речей слышится “психопатия” (о коей писал Буренин)».

В этот же приезд завел он знакомство с одним из сверстников своих, писателем Щегловым-Леонтьевым. Это не Олимп Михайловского, Короленко и Суворина, а свой брат, милый человек Щеглов, с которым долгие годы был он потом в добрых отношениях. Самая встреча их – какая Россия того времени, и как похоже на литературную молодость людей даже нашего поколения!

Чехов остановился в гостинице «Москва». Щеглов зашел к нему, не застал, оставил записку и спустился вниз в ресторан.

Там и дождался его. (Чехова Щеглов никогда раньше не видел.) Вот его описание тогдашнего Чехова:

«Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку».

Через четверть часа они уже дружески беседовали, точно десять лет были знакомы. Разумеется, вкушали, выпивали, хохотали. Из «Москвы» перебрались к «Палкину», там дело пошло еще лучше. В третьем часу ночи, расставаясь у подъезда, называли уж друг друга «Жан», «Антуан».

Сам Щеглов, автор комедии «В горах Кавказа», шедшей с большим успехом, не меньше нового своего приятеля – был русская провинция 80-х годов. «Жан», «Антуан»…

* * *

Вернувшись в Москву, Чехов засел в своем Кудрине, в кабинете с окном в палисадник, занесенный снегом, и стал писать – теперь прямо противоположное «Иванову». Не знаю, как подступила к нему эта тема, но оказалась редкостной. Выплыла она из глубины душевной, память давних лет, детских. Все – художнически преображенное. Прямой автобиографии нет, но все свое.

«Степь» – это русский юг, мальчика Егорушку везут учиться в большой город. Едут втроем, в бричке: дядя мальчика Кузьмичев, священник о. Христофор и сам Егорушка. Никаких неврастеников, “чеховских героев”. Просто описание поездки, Егорушка, о. Христофор, дядя Кузьмичев и сама степь. Жара, пейзаж, купанье, ночь, еврейская корчма, гроза, обоз возчиков, которому временно передают Егорушку, – и это дает повод написать разных Пантелеев, Дымовых, Кирюх и других подобных им русских народных людей. Егорушка доезжает куда надо, его сдают нахлебником – тем дело и кончается.

Чехову просто захотелось написать нечто из дальнего, виденного и любимого, чем когда-то он жил. Ни умысла, ни “идеи”, никакого типа или обобщения. Он будто стеснялся, подзаголовок сделал “История одной поездки”. Что это, рассказ, повесть? Трудно определить. Довольно велика, чуть ли не самая большая его вещь, а никакого сюжета, развития, действия.

Он несколько удивлялся сам. Как эта “Степь” на него свалилась? Но завладела не меньше “Иванова”, а больше – и

насколько плодоноснее! Он писал ее в упоении, целый месяц, весь январь, кончил 3 февраля 1888 года. То кажется она ему “повестушкой”, которая его “не удовлетворяет”, то считает ее своим “шедевром”. То в ней “не пахнет сеном”, то “местами пахнет”, а в общем нечто странное, не в меру оригинальное».

Последнее вполне верно. И лучше бы еще сказать: своеобразное. Очень просто, удивительно своеобразно. Из всего тогдашнего в литературе эта «Степь» выделялась необычайно. Так тогда не писали. Но и теперь так хорошо почти не пишут. Прошло шестьдесят пять лет, а ее перечитываешь, точно она вчера родилась. Есть мелкие словесные слабости, есть (чуть-чуть) память о степи Гоголя, есть склонность к олицетворению – вообще-то это «ранняя манера мастера». Но на то он и Чехов, чтобы всю краткую свою художническую жизнь идти в гору. «Степь» же все равно великая удача.

Он не обманулся: это один из шедевров его, и нелепо сказать о ней «повестушка».

«Степь» – одно из самых непосредственных его писаний, именно таких, где сам он мало понимает, что пишет (особенно как доктор Чехов, почитатель Дарвина), и не надо ему понимать. «Степь» просто поэзия, понимать нечего, надо любоваться. Любование такое возвышает, очищает. Влияние «Степи» на человека благотворно, это благословенная вещь. Оттого, когда ее перечитываешь, остается радость и свет, хотя грусть есть и в ней, есть и одиночество, и смерть, и тайна жизни.

Впервые написал тут Чехов русского священника во весь рост. О. Христофор Сирийский легким, веселым духом проходит через повествование, это именно благосклонный дух – «маленький, длинноволосый старичок, в сером парусинковом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе». От него пахнет кипарисом и васильками[72]. Его ничем нельзя ни смутить, ни удивить, он всегда добр и ясен, то, что он говорит, всегда умно и верно, хотя и простодушно. О. Христофор образованный человек, должен был в молодости пойти по ученой части, попасть в академию, но нельзя было бросить стариков родителей, и он остался приходским священником. Егорушку он теперь поддерживает и укрепляет. «Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу». Когда Егорушка заболевает, промокнув в грозу, он его тотчас вылечивает (натирает, с молитвою, на ночь уксусом и маслом) – правду сказать, похоже на исцеление.

А утром возвращается от обедни «улыбаясь и сияя». (Чехов замечает: «Старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние», – вероятно, видел он это в детстве и на

собственных родителях.)

И вот, расставаясь с Егорушкой совсем, о. Христофор опять наставляет его: «Ты только учись да благодати набирайся, а уже Бог укажет, кем тебе быть».

Художник Чехов написал о. Христофора первостатейно. Доктор Чехов в письме называет его: «глупенький о. Христофор». Вот это именно и значит не понимать, что сам написал. О. Христофор не только не «глупенький», а умней многих, считающих себя умными: он мудрый. Мудрость его состоит в том, что он целен и светел, верит и любит не рассуждая, но науку уважает, вводя лишь ее под освящение Благодати. Вот он прощается с Егорушкой.

О. Христофор вздохнул и, не спеша, благословил Егорушку.

«– “Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа”. Учись, – сказал он. – Трудись, брат. Ежели помру, поминай. Вот, прими и от меня гривенничек.

Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком».

В то время как Чехов писал свою «Степь», некий юный философ и мистик русский, Владимир Соловьев, говорил о религии, вере, науке, искусстве, сливая все это в сияющем Всеединстве. В ином вооружении говорил, собственно, то же, что и «глупенький» о. Христофор. Но Чехов читал тогда Дарвина, а не Соловьева. Пожалуй, и не знал о нем ничего.

Конечно, о. Христофор не заслоняет собою другого в произведении – самой степи, пейзажа, Егорушки, возчиков, замечательно написанных евреев Моисея Моисеича и Соломона в корчме, – да и вообще по всему повествованию разлита радость изображения Божьего мира – загадочного и страшного, как гроза, но и прекрасного. И одиночество, одиночество! Его нет у о. Христофора (он всегда с Богом, у него нет отъединения), но автор за сценой томится («то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной»).

«Счастливей меня во всем городе человека нет», – отвечает о. Христофор. А собственно, почему? Он небогат, незнатен. Но у него удивительный – и в глубине его лежащий – угол зрения. Он все видит и чувствует легко, потому и сам счастлив и вокруг распространяет «легкое дыхание».

«Грехов только много, да ведь один Бог без греха. Ежели б, скажем, царь спросил: “Что тебе надобно? Чего хочешь?” Да ничего мне не надобно! Все у меня есть, и все слава Богу».

Но не все, как о. Христофор. Есть в повести и недовольные

(несчастные).

Еврейская корчма взята из молодости Чехова. Некогда, возвращаясь в Таганрог, совсем юным, он заболел и лежал в этой самой корчме. Еврей-хозяин с женой заботливо за ним ухаживали. Он в «Степи» изобразил их трогательно, местами уморительно. Но вот брат хозяина, Соломон… – обойденность, отрицание, озлобленность. И бескорыстие притом. И почти отчаяние.

Молодой возчик Дымов скорей из горьковского хозяйства, босяцкого – русская разлюли-малина. И дико хохочет, и фыркает, купаясь, и ни с того ни с сего убивает безвредного ужа, и тоже всё ни к чему, тоже несчастен, заброшен и неудачник, разрушитель и саморазрушитель.

В одном письме того времени Чехов говорит: «В России революции никогда не будет». Слова случайные, да Чехова никто и не возводил в пророки. И не возводит. Революция пришла, не спрашиваясь у него, но эти две фигуры, Соломон и Дымов, – если бы до нее дожили, наверно, послужили бы ей, особенно на первых порах. Потом оба в ней и погибли бы, конечно: оба слишком самоуправны.

* * *

«Степь» имела большой успех. Плещеев, благоволивший к Чехову старый поэт и бывший петрашевец, сподвижник Достоевского по эшафоту, редактор «Северного вестника», где «Степь» печаталась, был в «безумном восторге». («Я давно ничего не читал с таким наслаждением».) Двоюродному своему брату Чехов писал: «Повесть еще не напечатана, но уже наделала немало шуму. Разговоров в столицах будет немало». Позже: «Моя повесть… имеет успех. Получаю захлебывающиеся письма».

Критика тоже приветствовала. Нельзя было прицепить «Степь» к какому-нибудь «направлению», «идеям», все-таки прелесть ее все чувствовали.

Начало славы Антона Чехова не так-то хорошо отзывалось на брате его Александре. К этому времени Александр прочно связан уже с Сувориным, пишет, печатается, и фамилия его тоже Чехов. Положение брата знаменитости и вообще-то нелегко, здесь особенно плохо – Александр Чехов тоже пишет рассказы и там же печатает их, где и брат. Один подписывается: Ан. Чехов, другой Ал. Чехов.

Из-за какого-то рассказа Александра Чехова Суворин вдруг впал в раздражение и написал автору грубое письмо на тему:

«писать и печатать плохие рассказы можно, но узурпировать чужое имя нельзя».

Положение Александра, неталантливого, выпивавшего, с семьей на руках, зависевшего от Суворина, вполне можно понять. В некотором смысле и брату Антону было нерадостно. Известность, слава – все это хорошо, но за что же ущемлять Александра? Ущемление слабых сильными Чехову всегда было противно. Тут поступил он вполне в своем духе. В длинном, спокойном и благожелательном письме он утешает Александра: Суворин написал грубость под минутой, сам раскаивается и извинится. Подписываться своей фамилией Александр вполне может; рассказ его «очень неплохой», и вообще нет мерки, кто лучше пишет, кто хуже, «взгляды и вкусы различны». Через несколько лет все может и измениться, что же, и ему тогда просить разрешения у брата «расписываться Антоном, а не Антипом Чеховым?».

А конец письма говорит о том, что довольно прочно поселилось в бывшем «юмористе» Чехове. «Смертного часа нам не миновать, жить еще придется недолго», так что пустяки всё это, мелочи литературные.

Осенью того же года ему выпал новый успех: он получил Пушкинскую премию академии (в половинном размере – 500 руб.). Под углом истории событие невеликое: что такое академия и ее премии, да еще половинные, рядом с обликом Чехова, его местом в литературе? Но сам Чехов воспринимал иначе. «Премия для меня, конечно, счастье, если бы я сказал, что она не волнует меня, то солгал бы». Правда, он пишет это тому Григоровичу, который «горой стоял за него в Академии» – письмо благодарственное. Все-таки и по другим письмам видно, что принял он успех остро, но не захлебываясь. Старался даже себя преуменьшить, подчеркивал, что и другие могли бы получить: Короленко, например, если бы послал книгу. А в письме к Лазареву-Грузинскому есть даже фраза: «Все, мною написанное, забудется через 5–10 лет» – слова не совсем случайные. Чехов и позже говорил в том же роде («меня будут читать 7 лет») и оказался таким же плохим пророком, как и насчет революции.

Зато дома, в семье, ликование было открытое. «Сестра… честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит». Про «мамашу», «папашу» и говорить нечего. «Мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады».

Павел Егорыч, вероятно, надеялся, что сына Антона станут теперь называть «Ваше Превосходительство» и дадут орден.

Ордена не дали, судьба же дала грозный свой знак почти в те же дни. «Я в плохом настроении: у меня кровохарканье. Вероятно,

пустяки, но все-таки неприятно». Следующая строка: «Сегодня на Кузнецком, в присутствии сестры, обвалилась высокая кирпичная стена, упала через улицу и подавила много людей».

В самом Чехове тоже что-то обвалилось. Кровохарканья бывали у него и раньше, в 84-м, 86-м годах. Но тут – через несколько дней – впервые пишет он Суворину подробно (видимо, не «пустяки»). Старается убедить его, что это не чахоточное. Убеждает не так уже убедительно. И в письме фраза, меткостью своей все убивающая: «В крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве».

Зарево было показано ему как раз в минуты опьянения успехом.

# В пути

«Ах, будь у меня лишних 200–300 рублей! Я бы весь мир изъездил!»

Он с ранних лет любил странствия, новые места, встречи. В детские годы знал Таганрог и окрестности его, студентом и молодым врачом Москву, Воскресенск, Звенигород. Весной 87-го года, со 150-ю рублями в кармане, тронулся вдаль: хоть и не весь мир изъездить, но проехаться по всей России, к себе на юг в Таганрог, где жил дядя его Митрофан Егорыч.

Вот он в Орле, на вокзале: «4 часа 50 мин. утра. Пью кофе, вкусом похожий на копченого сига». Но настроение отличное, и вокруг все то, что ему и нужно, новые люди, соседи по вагону, разговоры, другой мир, другие края.

Пересадки, ожидания, скорость тридцать верст в час, на больших станциях важные швейцары с колокольчиками в руках («Второй звонок на Курск!»), вагонные дружбы, бутерброды, пирожки, рюмка водки в вокзальном буфете. А потом юг, степи. «Вижу старых приятелей-коршунов, летающих над степью».

Таганрог показался ему довольно убогим, жизнь уж очень мещанская, но вот можно съездить к приятелю гимназических лет Кравцову, на казацкий хутор в Донецкой Швейцарии (Донецкий кряж), пожить в красивой, гористой местности полудикою жизнью: охотники, злые собаки, стрельба. После Москвы показалось что-то вроде Бразилии или Сингапура. Очень понравилось. «Впечатлений тьма». А это самое важное. Жил он здесь, как и в отроческие годы, рядом со степью, природой, звездами, вечностью. У Кравцова на хуторе видел «очень красивую» грозу – в январе следующего года с блестящей яркостью опишет южную грозу в «Степи». Да и очаровательный рассказик «Счастье» вывезен, конечно, из апрельского путешествия на юг.

От Кравцова съездил в Славянск, оттуда в монастырь Святые Горы. На что доктору Чехову монастыри? Там ведь население вроде «глупенького» о. Христофора. Но вот Чехову-художнику оказались зачем-то нужны. В Славянске нанимает он коляску, едет в Святые Горы. Конечно, все по дороге и в монастыре заметит, и улыбка не оставляет его интеллигентского лица с бородкой. «Встречные хохлы, принимая меня, вероятно, за Тургенева, снимают шапки».

Монастырь Святые Горы, видимо редкостной красоты, стоял на берегу Донца, над ним белая известковая скала, наверху садики, дубы, вековые сосны, некоторые просто висят в воздухе,

держатся только корнями. Кукуют там кукушки, заливаются соловьи.

Ему очень понравились и монахи. Был Николин день, богомольцев собралось много – опять чеховская улыбка: «До сих пор я не знал, что на свете так много старух, иначе я давно бы уже застрелился». А дальше в другом роде: «Еда монастырская, даровая для всех 15-ти тысяч: щи с сушеными пескарями и кулеш. То и другое, равно как и ржаной хлеб, вкусно».

«Звон замечательный». Не одобрил он только певчих. А в пении с детских лет весьма понимал и на него всюду – позже и за границей – обращал внимание.

Литературе Святые Горы дали «Перекати-поле», впечатления поездки, встреча с юным евреем, только что перешедшим в православие, бездомным Дон Кихотом, скитающимся по России. Написано все это живо, наблюдательно и тонко.

И вот Антон Павлович Чехов, писатель еще молодой и по облику на Тургенева непохожий, уезжает в коляске из Святых Гор, оставив свои «полуштиблеты» новообращенному искателю истины, у которого оторвалась подошва. Монахи, монастырь, Донец, меловая гора, поросшая дубами, соснами, все позади, как и сам скиталец Александр Иваныч. Все это ушло, а писание осталось. Получился скромный «субботник» в газете, заплатили за него сто рублей. Но идет время, а монахи, крестный ход в лодках, блеск Соборного креста, смиренный странник иудейского происхождения – все это остается. Все живет и трогает.

«В «Новом времени» я описал Святые Горы. Один молодой человек, архиерейский племянник, рассказывал, что он видел, как три архиерея читали это описание: один читал, а двое слушали. Понравилось».

* * *

Воскресенск под Москвою, Звенигород, милое Бабкино – все это он достаточно знал теперь. Хотелось еще иного.

В мае 1888 года он снял флигель в имении Линтваревых, в Харьковской губ., на берегу Пела. Опять интересно: и не Подмосковье, и не края Таганрога. Ему очень пришлось по душе.

На фотографии видишь, что старый, несколько неуклюжий дом Линтваревых не так наряден, как бабкинский, но прочен и доброкачествен. Жизнь самих Линтваревых проще, с меньшим художественно-артистическим оттенком, чем у Киселевых, но люди они достойные, некий высокий образчик интеллигенции нашей, попранной и уничтоженной, но в культуре российской

оставившей незабываемый след. Да она выражала и часть народной души.

Чеховы поселились во флигеле. Как и в Бабкине, это целый отдельный дом. Антон Павлович тем летом будто ничего и не писал, все-таки «Именины», особенно в первоначальном своем виде, с этим имением связаны. Но главнейше занимался он здесь рыбной ловлей, дни, а иногда ночи проводил на Пеле с рыболовами «маниаками». (Сам был тоже отчасти маниак.) Ловил рыбу да писал письма – отсюда есть интереснейшие к Суворину.

С Сувориным он познакомился еще в 85-м году, но сейчас время расцвета их близости, почти дружбы.

Суворин был человек любопытный, одаренный, из русских самородков и самоучек, с блестящей, но отчасти искаженной судьбой. Именно эти успехи, «Новое время», политика, правительственный Петербург, деньги в конце концов отравили его. Глядя на это умное русско-народное лицо с широкими скулами, глазами не без лукавства, на бороду с проседью, длинный сюртук, сразу скажешь – особенный человек.

А кто любит Чехова, для того в Суворине есть и еще достоинство: Чехова он рано оценил и полюбил. Влияние на него оказывал, в этой полосе, хорошее. Был и культурен, и разносторонен, и даровит, и с запросами высшими – он Чехова возбуждал в духовной области и в искусстве. Да и лучше понимал вольность и широту тогдашнего чеховского писания, чем люди типа Михайловского, не говоря уже о Скабичевских.

О Линтваревых сохранилось замечательное письмо Чехова к Суворину, очень обширное. Тон серьезный, спокойный, много изобразительности, кое-где усмешка, но всего в меру. Есть и некое исповедание художническое. Трудно не привести довольно больших выдержек.

«Мать-старуха, очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина; читает Шопенгауэра и ездит в церковь на акафист; добросовестно штудирует каждый № “Вестника Европы” и знает таких беллетристов, какие мне и во сне не снились».

«Ее старшая дочь, женщина-врач – гордость семьи и, как величают ее мужики, святая, – изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу; от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка».

«…Когда я вижу на террасе слепую, которая смеется, шутит или слушает, как ей читают мои “Сумерки”, мне уже начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем “Сумерки”, точно

никогда не умрем».

«Вторая дочь – тоже женщина-врач, старая дева, тихое, застенчивое, бесконечно доброе, любящее всех и некрасивое создание. Больные для нее сущая пытка».

Был случай: на фельдшерский пункт, где принимали Линтварева и Чехов, пришла баба с раковою опухолью на шее. Сделать ничего было нельзя. «Докторша глядела на нее так глубоко-виновато, как будто извинялась за свое здоровье и совестилась, что медицина беспомощна». «Я думаю, что она никому не сделала зла, и сдается мне, что она никогда не была и не будет счастлива, ни одной минуты».

В эту усадьбу Линтваревых Чехов пригласил к себе другого своего приятеля из старших – А.Н. Плещеева, редактора «Северного вестника».

Плещеев так же, как Суворин, весьма Чеховым восхищавшийся, был очень благодушный «идейный» барин, в литературе очень понимавший, сам же поэт весьма посредственный и «честный», типа «вперед на бой, в борьбу со тьмой». В молодости был петрашевцем. Вместе с Достоевским стоял на эшафоте и навсегда приобрел нимб.

Он гостил у Чехова и Линтваревых три недели, был очень мил, за ним ухаживали дамы, как за престарелой знаменитостью.

«На него глядят все как на полубога, считают за счастье, если он удостоит вниманием чью-нибудь простоквашу, подносят ему букеты, приглашают всюду, и т. п.». «Здесь он изображает то же, что и в Петербурге, т. е. икону, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными иконами». Сам же Чехов считает его просто хорошим, теплым и искренним человеком, без чудотворности, а кроме того, он «сосуд, полный традиций, интересных воспоминаний и хороших общих мест».

В том же письме есть и некая самозащита по линии художества. Не только «идейные» критики упрекали его тогда за «безыдейность», но и неидейные друзья: Суворин, Щеглов («Жан»), Обороняется он так: не дело художника решать. Его дело изображать. И такие вопросы, как Бог, пессимизм, только ставятся. Пусть решает читающий. Щеглову не нравилось, что один рассказ Чехова кончался фразой: «Ничего не разберешь на этом свете».

«По его (Щеглова) мнению, художник-психолог должен разобрать». Тут Чехов с ним не согласен, как и с Сувориным. Навязывания он не любит.

К защите вольного художества всякий, конечно, присоединится, но есть здесь и подводный камень.

Если художник по-своему видит и понимает мир, в том, что

он напишет, понимание его свободно и выступит без указующего перста. Это – свобода положительная. Но может быть ведь и так, что свобода над пустотой. Искусство всегда прельщает, но всегда ли дает питание, прежде всего: самому художнику?

Время было такое, что с «како веруеши» приставали упорно, и по большей части касалось это политики, «либерализма», «консерватизма» – скучнейших для поэта дел. Чехов защищал право на вольность: как мне нравится, так и пишу. Могу писать только о том, что меня возбуждает и увлекает, и буду об этом писать. Тут он вполне прав.

Но не начинало ли его самого беспокоить, что ведь он не только писатель, но и человек, и во что, собственно, верит, чего хочет?

Беспокойство это еще подспудно, еще очень много в авторе сил стихийных, непосредственного жизнелюбия – мир так широк, так хочется все увидеть, в себя вобрать, преклониться перед красотой Божьего творенья… – но только что написал он сам: «… начинает казаться странным не то, что докторша умрет, а то, что мы не чувствуем своей собственной смерти и пишем “Сумерки”, точно никогда не умрем».

В сущности, смерть никогда не сходила с горизонта Чехова (мало-мальски зрелого). «Зарево» не со вчерашнего дня появлялось и в его собственной жизни.

Но велика была еще сила молодости и непосредственности, просто говоря – жажда жизни и зрелищ ее. Не вечно же ловить пескарей во Пле: на свете есть и Кавказ, Крым, Азия.

В июле 1888 года он уехал к Суворину в Феодосию. Жарился там на солнце, купался в море «нежной синевы»… – и целыми днями философствовал с Сувориным. Это Россия того времени. Русский писатель конца века мог с утра разглагольствовать о Боге, мире, человеке, добре, зле… – и до позднего вечера. На роскошной даче Суворина шла праздная жизнь. Много ели, пили, ездили в гости, принимали. Чехов в это время сам увлекался Сувориным («Это большой человек»). Нравилась ему и его жена Анна Ивановна, женщина, видимо, своеобразная. То болтала вздор, то вдруг начинала говорить умно и самостоятельно. «По вечерам сидит на песке и плачет, по утрам хохочет и поет цыганские романсы». Среди разных людей, кого пришлось ему там видеть, отметил он Айвазовского («смесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем»).

Но долго в Феодосии не усидел, поехал дальше, в Сухум, Батум. Был на Новом Афоне. Черноморское побережье, мир полутропический раскрылся перед ним. Сколько невиданного, роскошного в природе, сколько встреч, впечатлений! На Афоне

познакомился с архиереем Геннадием, епископом сухумским. Этот не заевшийся: верхом на лошади скромно объезжает епархию. Через несколько лет в «Дуэли» мелькнет его привлекательный облик.

Вместе с Сувориным-сыном добрался он до Тифлиса, побывал в Баку. Собирались они еще дальше, в Среднюю Азию, но у Суворина тяжко заболел брат, Суворины-старшие были в отчаянии, телеграммы летели ежедневно. Наконец, брат скончался. Пришлось возвращаться.

Чехов вернулся на Псел к Линтваревым. Странствия показались ему удивительными. Он решил следующим летом съездить в Турцию, Грецию, в Константинополь и на Старый Афон. Русскому интеллигенту того времени, поклоннику Дарвина, мало подходящ вековой Афон. Но вот была же в Чехове какая-то подземная струйка…

* * *

В Петербурге шумно аплодировали «Иванову», книги продавались хорошо, поклонников и поклонниц становилось все больше. Но в самом Чехове росла некая неуверенность, колебания и неясность: для чего, к чему? Какова цель? «Политического, религиозного и философского миросозерцания у меня еще нет», – писал он осенью 1888 года Григоровичу. Были устремления, и довольно яркие, ренессансного характера – как, ни странно это слово рядом с Чеховым. «Мое святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода…» От «миросозерцания» довольно еще далеко, он и сам понимал, и основного еще не решает. От него все чаще требовали теперь ответа, указания, решения. Сам Плещеев, мягкий и любовно относившийся к нему, все-таки находил – с оттенком ласкового укора, – что в писаниях его нет «протестующего» элемента. На это Чехов отвечал: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником – и только». Ярлыки ему не нужны. Но какая-то внутренняя опора, устойчивость – это нужно, и этого нет. Надо сказать прямо – у него не было веры (т. е. основного чувства, идущего из недр: все правильно, с нами Бог), а без нее зарево становится совсем грозным.

Нарядностью бытия он весьма еще увлекался, но бездну чувствовал. Ее никаким «свободным художеством» преодолеть нельзя.

Следующим летом (1889 года), там же у Линтваревых, бездна

эта была показана ему воочию.

Брат Николай, художник, непутевый человек с нелегким характером, алкоголик, как и Александр, как и Александр, неудачник, приехал весной в чеховский флигель – в деревню, на отдых, уже тяжко больной туберкулезом. Лечили тогда только питанием да воздухом. Наверно, Евгения Яковлевна закармливала его. Конечно, воздух на реке После отличный, все-таки ничего не выходило. Болезнь свое делала. Вначале он нервничал, сердился, раздражался. Потом ослабел, притих. «Стал кроток, ласков, необыкновенно степенен».

Последние недели были особенно тяжелы. Спать он мог только сидя, непрерывно кашлял. «Если в прошлом были какие вины, то все они сторицей искуплены этими страданиями».

Письмо Антона Павловича Дюковскому о смерти брата очень сдержанно. Все слова ясны, просты. Печаль не в словах, а за словами.

«В гробу он лежал с прекраснейшим выражением лица».

«Похороны были великолепные. По южному обычаю, несли его в церковь и из церкви на кладбище на руках, без факельщиков и без мрачной колесницы, с хоругвями, в открытом гробе. Крышку несли девушки, а гроб мы. В церкви, пока несли, звонили. Погребли на деревенском кладбище, очень уютном и тихом, где постоянно поют птицы и пахнет медовой травой. Тотчас же после похорон поставили крест, который виден далеко с поля».

После похорон недолго усидел он в деревне. «Я поглупел и потускнел. Скука адская, поэзии в жизни ни на грош…»

Он уехал, как и прошлым летом, но путешествовал довольно бестолково и нельзя сказать, чтобы удачно. Надо бы «в Тироль и Константинополь», а он в Одессу. «Живу машинально, не рассуждая». Именно «не рассуждая» жил в Одессе, околачиваясь около Малого театра, выехавшего туда на гастроли. Из Одессы уехал в Ялту. Во всем тоне писания его об этом путешествии совсем другое, чем было в прошлом году. Ничего плодоносного не вынес он теперь, а тоска томила, и была какая-то растерянность. И равнодушие. Скорей даже нелюбовь к жизни, совсем еще недавно казавшейся прекрасной.

В таком виде вернулся он в Луку к Линтваревым и своим, сел писать «повестушку».

В письмах его часто встречаешь как бы пренебрежение к себе. Можно подумать: не повести пишет писатель, а так, балуется.

Это неверно, конечно. Свое настоящее он очень прятал: думаю, отчасти закрывался тоном «повестушки», отчасти хотел писать еще лучше и выше того, что получалось. Но цену себе знал. О «Скучной истории», которой теперь занимался, в одном

месте проговорился: «Ничего подобного я отродясь не писал, мотивы для меня совершенно новые…» «Сюжет рассказа новый…»

Эта «Скучная история» – вещь замечательная, для него в некоем роде роковая: как бы верстовой столб в пути.

Изображен конец жизни старого профессора. Был он и талантлив, и знаменит, у него любящая жена, дочь – и всё ни к чему. Смерть близится, а ничего за душой. Пустота, уныние, мрак.

С давних лет опекает он сироту Катю, дочь умершего товарища. С детства она его обожает, считает лучшим из людей. Жизнь ее не удается. Она мечется, хочет стать актрисой, но нет таланта. Полюбила – тоже разочарование. И тоже пустота. И они оба, старый и малый, по-разному, но стонут и томятся в тоске. Эта тоска, как бы предсмертная, удивительно изображена в «воробьиной ночи» на даче, когда дочь Лиза рыдает наверху в истерике, на минуту бросается на шею поднявшемуся к ней отцу, как прежде делала, ребенком, – и отец ничем не может ни утешить, ни помочь ей. В той же тоске, как бы почувствованной на расстоянии, внезапно появляется внизу и Катя (недалеко жившая тоже на даче). Но что может дать им, молодым и не знающим, что делать и куда идти, этот Николай Степаныч, профессор медицины, грудь которого так увешана орденами, что студенты называют его иконостасом, – когда он и сам ничего не знает. У него есть только наивная вера в науку («…она всегда была и будет высшим проявлением любви»), и «судьбы костного мозга интересуют» его «больше, чем конечная цель мироздания». Но вот и оказывается, что в некоем отношении все это ничего не дает. Нет «общей идеи», говорит он. Общей идеи! Не лучше ли сказать – веры. Основной интуиции: есть Бог, и мир создан не зря, все имеет цель и значение, и каждая жизнь, в достоинстве и благообразии, угодна Богу. Разгадать тайн мира мы не можем, но достойно служить обязаны. Только для этого надо и над наукой, и над искусством, над философией чувствовать нечто высшее. А одного костного мозга мало. Хорошо изучать его. Но нехорошо обожествлять. Встречать с ним смерть слишком трудно.

Превосходен конец повести: профессор едет в Харьков, разузнать о женихе дочери. Катя за ним, как бы догоняет его в гостинице, и опять тот же вопрос той же Кати, не знающей, куда себя девать:

«– Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?»

Но у него именно нет «истинного Бога», и сказать ему нечего. Лишь теперь замечает он, что она всю жизнь жила без «общей

идеи», а он, по его мнению, только «на закате дней» заметил в себе это.

И в бессилии ничего не отвечает. Она уходит. «Прощай, мое сокровище!» – собственно, лишь ее он сейчас любит. Но и ее нет.

Не случайно написано все это в лето смерти брата Николая, после бессмысленных метаний не то за границу, не то в Одессу, Ялту. Писатель совсем, собственно, молодой (хотя очень рано развившийся), взял уходящего профессора, переоделся частью в него, написал пронзительную вещь и, не сознавая того, похоронил материализм, о котором всегда отзывался с великим уважением. Художник и человек Чехов убил доктора Чехова.

В деле художника «повестушка» заняла крупное место. В истории его души тоже: предел безутешности. «Скучная история» в своем роде «Палата № 6».

Как и всегда делал, старался отклонить от себя ответственность. Говорил, что просто изображает старого профессора и сам тут ни при чем, – точно так же держался и позже, с «Черным монахом».

Но как бы ни укрывался, яд излит из его сердца. Оттого и заражает.

# Сахалин

В апреле 1890 года Чехов написал Лаврову, издателю «Русской мысли»: «Обвинение Ваше – клевета». «Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собой понятно».

Причина была та, что в мартовском номере «Русской мысли» Чехова и Ясинского назвали «жрецами беспринципного писания».

Слово «беспринципный» Чехов принял остро. «Беспринципным писателем, или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был». Не знаю, кто написал статью, но, конечно, «прохвостом» он Чехова не считал, – вероятно, указывал на отсутствие «идей» (мог бы, впрочем, не ставить Чехова рядом с Ясинским).

И вот этою «беспринципностью» ударил по больному месту: Чехова и другие, даже друзья, упрекали – правда, с иным оттенком – почти в том же: он никуда не «зовет», не «ведет». Если сказать вместо «беспринципный» – «безыдейный», то это будет отвечать чуть ли не общему тогдашнему о нем мнению.

Оно было неправильно, но не было «клеветой». Чехов от писателей типа «вперед на бой, в борьбу со тьмой» очень, конечно, отличался. Проповедничества в нем не было. Но не было и цельного мировоззрения, философского или религиозного. Он сам признавал это и, верно, этим томился. В такой внутренней полосе и написана «Скучная история».

Однако же в глубине его жило нечто и совсем не безыдейное, и не равнодушное. Напротив, очень положительное, человечное и правдивое. Христианский мир отца и матери (в особенности) скрытно в нем произрастал, мало, однако, показываясь на глаза.

Самому ему казалось временами, что писание его что-то «не то». Хотелось и сделать для жизни больше того, что он, как чистый художник, сделать мог. Даже в приведенном письме, единственном по резкости у Чехова, это чувствуется. «Если Вы… разумеете то печальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, напр., для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы, то…» (дальше оказывается, что и «Русская мысль» мало сделала. Но это уже полемика).

Все-таки то, что он сам «мало сделал» для жизни, вообще мало что знает о высшем и мало к нему приближает читающего, это ему было тягостно. Может быть, тут «Скучная история»

и оказалась судом над собою. Но это касается только его самого. Если же другой вмешивается и обвиняет, он никак не приемлет.

Письмо Лаврову написано почти накануне отъезда его на Сахалин.

Поездка задумана раньше, и совпадение тут случайное, но очень в духе всего положения. Чехов стал собираться раньше, чем «Русская мысль» оскорбила его, но само предприятие явилось отталкиванием от «Скучной истории»: профессор ничего не нашел, в безнадежности и унынии кончает дни, а вот Чехов, наперекор толкам о его безыдейности и равнодушии, едет за тридевять земель к отверженным.

В первые месяцы 1890 года он усиленно к путешествию готовился: неделями жил в Петербурге, читал с утра до вечера о Сахалине, каторге, тюрьмах, заводил знакомства, запасался письмами. Суворин, наверно ему помогавший связями своими, был удивлен, даже и недоволен, что его любимый Чехов собрался Бог знает куда, на край света, к убийцам и конокрадам. Но Чехов очень упорен. Мысль ехать засела в нем крепко, именно потому, что была не просто мысль, а желание и устремление.

Тут отговоры не помогают.

Конечно, будут в путешествии и трудности, лишения, огромная потеря времени – он все же едет. «Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25–30 дней, не больше…» Остальное на пароходе. «Неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом и горечью?»

Другое дело – нужен ли и интересен ли сам Сахалин? «Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов». Очевидно, он многое уже вычитал и узнал, прежде чем тронуться. «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек…»

Приговор его суров заранее: людей зря, «без рассуждения», гноили в тюрьмах, «гоняли по холоду и в кандалах десятки тысяч верст», развращали, губили. «Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации». «Виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно».

Подтрунивал раньше он сам над аптечками и библиотечками, бла-ародными студентами, честными курсистками, а теперь вдруг заявил, как подобало русскому писателю XIX века, – и с какой прямотою, горячностью: искусство искусством, но есть и грех, и

вина пред народом, пред всеми страждущими и обездоленными. Грех надо искупить.

Просто взять да поехать на край света, в ледяную страну, к погибающим и погибшим – рассказать о них.

Разумеется, и дух путешествий подталкивал. Новый мир, новые люди… Чехов это всегда любил. Но для туризма мог бы выбрать места и приятнее. А он недолго раздумывал. Никакого пьедестала, знамен, «огоньков». Сел и уехал на Сахалин.

* * *

«Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска; виден голый, угрюмый берег Иртыша!»

Это только еще начало. Правда, проехал он по Сибирскому тракту на вольных уже 715 верст. Но что такое в Сибири семьсот верст? Смотришь на карту, на самой правой, восточной части этой Азии, отделенная узким проливом, лежит между Охотским морем и Японским узенькая рыбка, неприятно-колючая – остров Сахалин. Чтобы до него добраться, надо пересечь всю Азию на лошадях, по Байкалу на пароходе, вниз по Амуру тоже на пароходе. Семьсот верст тонут не в семи ли тысячах?

А между тем: «Вот я сижу ночью в избе, стоящей на озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? Зачем я здесь?»

Конечно, это не увеселительная поездка. Мало увеселяет и ночное столкновение с почтовыми обратными тройками – ямщики спали, тарантасы налетели друг на друга, Чехова выбросило, на него повалились чемоданы, узлы. И чуть было не задавила вторая тройка, катившая за первой. «Ах, как ругаются ямщики! Ночью, в этой ругающейся, буйной орде я чувствовал такое круглое одиночество, какого никогда раньше не знал». Оглобли сломаны, багаж разбит, ему кажется, что вот он брошен в некий чуждый мир – сейчас затопчут и его.

К удивлению читающего, оказывается, что не только мерз он в пути, промачивал ноги (сапоги оказались узки, по лужам приходилось шлепать в валенках), но и Бог знает как питался. И это называется обильнейшая Сибирь! «Всю дорогу я голодал как собака». Кроме хлеба, все остальное не годилось никуда. В Тюмени купил на дорогу колбасы. «Когда ее начинаешь жевать, то такое чувство, будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный дегтем».

Тюмень – Томск – Красноярск на Енисее – это все еще ранняя весна, холод, грязь, разливы рек, невозможная дорога, толчки, ухабы, полубессонные ночи – да еще и кровохарканье. Мрак и одиночество. Собственно, только в Иркутске, проехав три с половиною тысячи верст в тарантасе (видимо, довольно убогом), смог он немножко вздохнуть, прилично поесть, пожить в номере гостиницы, сходить в баню.

От Иркутска все шло легче. Чрез Байкал на пароходе даже очень интересно (из прежнего пути понравилась ему только тайга за Красноярском и Енисей). Понравилась голубизна байкальских вод, прозрачность их. «Я видел такие глубины со скалами и горами, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. Прогулка по Байкалу вышла чудная, вовек не забуду».

В Забайкалье опять на лошадях до Сретенска. Гнали изо всех сил, чтобы не опоздать к пароходу по Амуру. «Конно-лошадиное странствие» кончилось – продолжалось оно два месяца.

Проехали четыре тысячи верст.

С парохода «Ермак» письмо к матери помечено 20 июня 1890 года. По Амуру, в дикой, живописной стране путешествие уже отдых. В бинокль видны утки, гуси, гагары, цапли, на китайском берегу китайцы, напоминавшие ему «добрых ручных животных», а после 2½ месячного путешествия открылась наконец и самая цель странствия – остров Сахалин.

Тут наступает молчание. Писем с Сахалина почти нет, позже кое-где поминается он, в великом мраке. Зато получилась книга «Сахалин», во всем писании Чехова стоящая особо. Это и не совсем Чехов, какого мы знаем. Художник сознательно запрятан, говорит путешественник, исследователь, тюрьмовед, врач, статистик. Он объективен и спокоен, сдержан. Все зашнуровано, ничего лишнего. Книгу трудно читать. Но она и написана не для легкого чтения. Писалась, может быть, как некое послушание, и с расчетом: облегчить и помочь, ничем не выдавая себя. Статистик ходит по поселенцам Сахалина, делает им перепись, собирает сведения, как живут они, что делают. Посещает тюрьмы, рудники, прииски. Все, все хочет видеть – и видит.

Ничего приятного не было в диких дорогах Сибири, холоде, грязи, разливах, в жаре и лесных пожарах близ Красноярска. Но это природное и задевало тело. Как жил телом Чехов на Сахалине, я не знаю, но что для души его явилось испытание, это ясно. Состояло оно в том, что он провел три месяца с отверженными и их стражами.

У него есть рассказ «В ссылке» – явный отголосок поездки. Дело происходит не на Сахалине. Видимо, на Иртыше. Перевозчики – ссыльнопоселенцы, мерзнут у костра на берегу

реки. Молодой татарин тоскует по Симбирской губернии, где у него осталась красивая ясена. Семен Толковый, старый и прожженный, уже ни о чем не тоскует. Что такое жена? Отец? Мать? Ничего нет. Пусть татарина зря сослали на поселение – убил богатый дядя и откупился, общество указало на этого – все безразлично. Ничего нет. Есть только привычка.

«– Привыкнешь! – сказал Толковый и засмеялся. – Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай Бог всякому такой жизни».

Они очень разные. Толковый находит, что, кто хочет счастья, тот «первее всего» пусть ничего не желает. Для татарина лучше один день счастья, чем ничего. Каждый остается при своем, в глухой ночи появляется барин, которого они перевозят, тоже ссыльнопоселенец, – он не мог переносить разлуки, выписал к себе жену, она приехала и сбежала потом, оставив дочь-девочку. Та больна, и вот «барин» носится теперь, разыскивая доктора. Этот не подчинился привычке, он из партии татарина. Дело кончается тем, что барин в тарантасе своем улетает, Толковый укладывается спать в избушке, а «со двора послышались звуки, похожие на собачий вой». Это татарин плакал.

«– Привы-ыкнет! – сказал Семен и тотчас же заснул».

Сколько было таких татар, русских, кавказцев, евреев, невесть еще кого на Сахалине, и сколько рассказов, быть может слез и рыданий, выслушал там, что видел Чехов, этого мы не знаем. Знаем, что, составляя перепись, заполнил 10 000 карточек, и одна такая, как образец, приложена к его письмам, но в сухой казенности ее ничего не угадаешь. Видишь на другой фотографии, как у избы кузнец заковывает кандалы на ссыльном, а за ним стоят «в затылок» такие же изможденные люди, ждут очереди. У избы во фронт вытянулся фельдфебель, бородатый, с кажущейся теперь смешной шашкой на перевязи. Вот каторжники везут бревна, вот пост Александровск с деревянными тротуарами, низенькими домами, пестрой будкой с пестрыми столбами фонарей и в глубине церковкой, а над ней пологие, голые, нерусские холмы – сопки, что ли? – это и есть Сахалин. Это и есть три месяца Чехова.

Позже, в письме к Кони, он сказал так: «Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки 12-и лет…» «Видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями – всё такие болезни, которые свидетельствуют о забросе».

Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок. И символический смысл – образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает.

Хоронят жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы четыре каторжника, черкес – жилец покойной, Чехов, казначей и баба каторжная. «Эта была тут из жалости: привела двух детей покойницы – одного грудного и другого Алешку, мальчика лет четырех в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю:

– Алешка, где мать?

Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит:

– Закопали!

Каторжные смеются; черкес обращается к нам и спрашивает, «куда ему девать детей, он не обязан их кормить».

Но предстояли ему на Сахалине зрелища и другие.

Достоевский стоял сам на эшафоте, испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже, там же; и написал «Казнь Тропмана». Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик – Чехов, замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а, как называли в старину, «торговой», в сущности при мучительстве: наказании плетьми (каторжника, провинившегося уже на Сахалине).

Все он видит, наблюдает… Как художник и врач не упустит и черточки. Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж был выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого (жуткая зарисовка). Вернулся к концу этих сорока плетей, опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары, мерещился «палач и отвратительная кобыла».

Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину перед поездкой: два-три дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и пред смертью.

Радуешься за Чехова, когда покидает он наконец этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе «Петербург» мимо Японии, Китая, через разные Гонконги, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже

жизнь, что-то естественное и человеческое, хоть и проникнутое иногда глубокой горечью. «Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал».

А сколько и необычайного! Цейлон – место, где был Рай. Красное море хотя и унылое, но ведет к Синаю. («Я умилялся на Синай».) – «Хорош Божий свет. Одно только нехорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения».

Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного «Убийства», рассказы «В ссылке» и «Гусев».

Простое сердце – солдат Гусев, смиренный русский человек – и вечный обличитель неправды Павел Иваныч, оба в последней полосе чахотки, плывут на родину, на том же, надо думать, пароходе Добровольного Флота «Петербург», что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный, ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры, Гусев и Павел Иваныч, и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого жаления, без капли сентиментальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии, до конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иваныч до конца возмущается несправедливостями жизни – оба один за другим умирают, обоих зашивают в парусину к спускают в море. «По пути в Сингапур бросили в море двух покойников» (Суворину). Это, конечно, Павел Иваныч и Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура («чуть не плакал»). «Становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море».

«Гусев» был напечатан в том же, 1890 году. «Убийство» помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления, всего вероятнее, вывезена с Сахалина. Последние же страницы – Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче (убившем, однако, брата и попавшем на Сахалин). Странным образом тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Иваныча и у Раскольникова подготовка неодинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге, Яков же Иваныч окончательно все решил, каторга все ему открыла. «С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов… и с тех пор, как прислушался к их разговорам,

нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно Ему служить, но было непонятно только одно, почему жребий людей так различен, почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталась ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий… у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги».

«Простой веры» не было у самого Чехова, и по ней он (бессознательно) тосковал. Но «как должно служить Ему» – это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х годах, в Чехове не было равнодушия и безыдейности. Его действенный и живой Бог, живая идея было человеколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в нем не для него. Природно в Чехове, совсем «Чехов» – это соединение Второй Заповеди с добрым Самарянином. «Возлюби ближнего твоего» и действенно ему отдайся – вполне Чехов этой полосы. Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в последних его произведениях.

«Сахалин» он писал в 91-м году (и позже), книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал, но это сторона внешняя – хоть и необходимая. Как внешни и тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы, с Кони вместе, через Нарышкину, добраться до государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца.

Внутренне же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он прямо распространяется (раскрывать себя не любил). Все же в письмах кое-что есть.

«Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин!» (Суворину). «…Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки “Крейцерова соната” была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума, черт меня знает».

С ума он не сходил и всего менее был к этому подходящ, но «возмужал» – хорошо сказано, думаю, очень верно. Можно бы добавить: и вырос, утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски на «добрую землю». То, что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло. Обыденность же стала казаться еще обыденней. «…После

сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне теперь до такой степени мещанской и скучной, что я готов кусаться».

* * *

Поездка подпортила здоровье Чехову, но для самой каторги оказалась полезной. Сахалин продолжал, конечно, быть Сахалином, преступления в России совершались по-прежнему, суды судили, население острова пополнялось. Но книга «Сахалин» впечатление произвела. Может быть, ее ровный, бесстрастный тон оказался для целей жизненных даже полезен. Может быть, было полезно, что Чехов не принадлежал тогда к «левой интеллигенции». Как бы то ни было, «Сахалин» вызвал сенаторскую ревизию каторги.

Несчастных книга не могла сделать счастливыми. Но в их горький быт улучшения внесла.

На теперешнюю русскую каторгу, если бы дожил до наших дней, Чехов не мог бы попасть. Никто бы его в концентрационные лагеря не пустил. А если бы, чудом, попал и сказал правду, то, как доктор «Палаты № 6», очутился бы сам там же.

# «Отдых»

Россия восьмидесятых, начала девяностых годов – это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одинокий Толстой не в счет, в общем же время Надсона, Апухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до тульского мужичка – всё вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да, видно, не так легко по-настоящему его прорубить.

Чехов сам в Таганроге взрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и «Будильникам» отдавал юные писательские годы. Но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог.

Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных, все само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные.

Суворин с сыном собирались в марте 91-го года за границу. Чехов был в Петербурге, Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию.

Вероятно, из всех троих самым образованным и (относительно) европейцем был самоучка Суворин-старший. Чехов о Западе, об Италии и Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля, в сущности, стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал все в путешествии – возможно, и противоположность с Сибирью и Сахалином тоже роль сыграла.

Письма его из Вены, особенно же из Венеции, восторженны. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему не свойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже не без наивности, так отзывается.

Вот, например, о Вене: «Церкви громадные, но они не давят своей громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев». «Все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство». Но возбужденность у него такая, что остановиться он уже не может. И женщины красивы, и лошади превосходны, и кучера фиакров франты, и «одних галстухов в окнах миллиарды», и вежливость, предупредительность… «Да вообще все чертовски изящно» – еще шаг, и начнется Гоголь.

Венеция окончательно его восхитила. Остановились они с

Сувориным, видимо, у Даниэли или Бауэра – «в лучшем отеле, как дожи», – что обошлось Чехову недешево, но отставать от Суворина было нельзя.

В Венеции же оказались в это время Мережковские, Дмитрий Сергеич и Зинаида Николаевна. «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга». Но сам Чехов от него не отставал. «Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел». «Здесь собор Св. Марка – нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь».

Дальше идет фраза, которую уж вполне мог бы написать Гоголь: «А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть». «Здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество».

На почве восторга Чехов в одном письме даже занесся, но не по своей вине. Сбила его Зинаида Николаевна Мережковская. Видимо, в юности она так же все путала, как и в старости, в Париже.

Ясно видишь, как она, ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочными глазами, покуривая папироску, вяло тянет:

– Да, здесь все дешево… Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим… Дмитрий, сколько мы платим?

– Зи-и-на, восемнадцать франков!

– Слышите, Чехов… Ну, вот вам. Восемнадцать франков. Разве это дорого?

Возможно, Мережковский разговаривает в это время с Суворины и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом:

– Восемнадцать франков в неделю – совсем недорого.

Чехов поверил и, хотя сам платил вовсе не дешево, отписал в таком духе сестре в Москву. Но на другой день пришлось поправлять. «Вчера, описывая дешевизну венецианской жизни, я немножко хватил через край. Виновата в этом г-жа Мережковская… Вместо неделю, читай в день».

В Венеции повезло им и насчет погоды – солнечно, чудесно. Дальше пошло хуже, во Флоренции дождь, в Риме тоже неважно и впечатление бледнее.

Флоренция все же, несмотря на дождь, тоже понравилась. («Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции…» – из позднего письма, уже в России, Суворину.)

Чтобы войти в Рим и его почувствовать, надо там жить дольше. Три-четыре дня мало, а после блеска Венеции может даже разочаровать. До Чехова Рим мало дошел, слишком утомил хождением с утра до вечера («…горят подошвы»). О Риме-то он и обронил фразу, которая может дать неверное представление о том, как он оценивал Италию. («Рим похож в общем на Харьков».) Видимо, и Григорович распространял о нем неправильные сведения в подобном роде – Чехову было это неприятно, в письме к Суворину он почти сердится. На самом деле Италия произвела на него впечатление огромное – русскую традицию, идущую со времен Гоголя и Жуковского, через Тургенева до Мережковского и модернистов, – эту традицию Чехов, лишенный всякой традиции, все-таки поддержал. «Очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство есть в самом деле царь всего, а такое убеждение дает бодрость».

* * *

Франция отозвалась в нем бледнее – это законно для въезжающего в нее из Италии. Но и тут впечатлений много, отдых продолжается.

Странным образом, во Франции Чехов довольно часто упоминает о России, о том русском, что там видел. В Ниццу попал на шестой неделе Великого поста, в Вербное воскресенье отправился в русскую церковь. Вместо верб видел пальмовые ветви, удивился, что в хоре вместо мальчиков поют дамы, но нашел, что поют хорошо (в этом деле понимал, еще со времен Таганрога и отцовского хора с кузнецами). «Великолепно пели «Херувимскую» № 7 Бортнянского и простое «Отче наш».

В Монте-Карло играл в рулетку, о ней пишет в тоне «дедушке на деревню».

В Париж попал всего на несколько дней и, конечно, узнать его хотя бы приблизительно не мог. Но вот, однако же, пошел опять в русскую церковь – это и был тот самый храм на rue Daru, где отпевали Тургенева, позже встречали императора Николая II, еще позже собирались и сейчас собираются бездомные люди эмиграции. Во времена Чехова эмигрантов в Париже было мало, и на Светлую Заутреню в церковь они не ходили. Да тогда и сама церковь называлась «посольской», другой стиль, народу на службах немного, у дам свои стулья, дамы больше посольские, язык больше французский. Чехова удивило здесь, что пели

французы. «Церковь в Париже велика, размерами напоминает Митрофановскую, но было тесно и душно. Греки слушают вместе с русскими, да и французов понабилось много».

Не знаю, был ли он в Лувре. Видел Эйфелеву башню, посетил выставку, побывал и в Салоне. Но нашел, что Левитан выше французских пейзажистов.

В общем же от Парижа и Монте-Карло остался у него какой-то мутный осадок.

Но все это быстротечно, из Парижа уехали прямо домой – Чехов заранее поручил брату Михаилу, недавно получившему место в Алексине, найти дачу на лето – во что бы то ни стало.

Алексин небольшой городок Тульской губернии, на Оке, в сторону Калуги, в чудесной пересеченной местности – жило там тогда семьсот душ, но души эти любовались со своего взгорья и Окой, и большаком с березами за ней, полями и лесочками, всей свежестью и миловидностью среднерусского пейзажа. Эти места любили тогдашние художники – Поленов писал Оку, Левитан гостил здесь у Чехова.

Михаил Павлович усердно искал брату пристанище на лето, но хорошего найти не мог. Пришлось снять небольшой домик у станции и моста.

Туда и переехали Чеховы, всей семьей, старые и молодые, как всегда жили вместе. Было тесновато, и казалось временами, что уж очень одиноко. Лес, соловьи, недалеко Ока. «Тихо и покойно, а во время дурной погоды здесь скучно и грустно». Продолжалось это, однако же, недолго: к Марье Павловне направлялась из Москвы подруга, Лика Мизинова, с Левитаном. На пароходе из Серпухова познакомилась она с молодым человеком в поддевке и высоких сапогах – помещиком Былим-Колосовским. Рассказала ему, что едут на дачу к Чеховым, а дачу эту у железнодорожного моста он знал и правильно оценил положение: теснота будет страшная.

Дальше все произошло в духе того времени: на второй же день к даче подкатили две тройки, Былим-Колосовский приглашал к себе совсем незнакомых ему людей. (Чехова как писателя, возможно, и знал. А вернее, делал вид, что знает. Но само звание «писатель» тогда в России ценилось.)

Чехов поехал и, конечно, не один, а со всей более молодой частью населения. Оказалось, что в часе езды у Колосовского великолепное имение Богимово, со старинным барским домом, где останавливалась некогда Екатерина проездом в Крым. Всё в огромных размерах: комнаты так велики, что эхо повторяет сказанное в них, гостиная с колоннами, зал с хорами, дивные липовые аллеи, речка, мельница, пруд.

Антон Павлович тотчас снял верхний этаж этого дома и 17 мая уже из Богимова писал Лике, уехавшей в Москву, восторженное письмо.

Восторгаться, видимо, было чем. Сам Чехов поселился в бывшей гостиной с колоннами и таким огромным диваном, на котором помещалось чуть не десять человек. Окна до полу. Когда ночью гремела гроза, то вся комната вспыхивала в ее свете.

Окружение старины, барства, природы, поэзии – что же лучше для отдыха. Но отдых был здесь более внутренний, чем внешний. Можно думать, что в рамке чудесного дома, парка, прудов, в воздухе благожелания и дружественности чувствовал себя Антон Павлович хорошо. Но сейчас же засел за работу. «В лености житие мое иждих», – говорил о себе – и как несправедливо говорил! Сколько сделал за недолгую свою жизнь и с каким упорством, вполне чеховским, родовым, трудился всегда, несмотря на неважное здоровье.

В этом Богимове вставал около пяти утра, брат Михаил варил ему кофе в особенном кофейнике, он его пил и засаживался писать – не на столе, а как-то ухитрялся на подоконнике. Окно выходило в парк. Дрозды перепархивали, тянуло влагой и благоуханием: где-то скосили лужайку, где-то липы цветут. В цветнике разные левкои, маргаритки, львиные пасти.

До одиннадцати он пишет, по временам заглядывая в парк. Потом обед, краткий сон и опять труд до вечера.

Настроение было хорошее, он написал за богимовское лето очень много.

Это, во-первых, «Бабы». О них отозвался: «Летний, т. е. жиденький» рассказ – ничего «жиденького» в нем нет, это всегдашняя пренебрежительная его манера. Напротив, сгусток горечи, мрака, деревенской беспросветности. Есть отзвук Сахалина в самой драме семейной, кончающейся мышьяком и каторгой для Машеньки, есть глубоко запрятанный стон о детях (Кузька, сын каторжанки), есть всегдашний священный гнев на фарисеев, есть боль о женской доле, а в развитии художества самого Чехова «Бабы» как бы бутон будущих «Мужиков», «В овраге» – вершин писания его. Сказать про этот рассказ, что он «жиденький», можно только на смех.

Душевно это пока не отдых, всё еще продолжение сахалинской преисподней, от которой даже светлое прикосновение Италии не вполне исцелило. А за спиной недописанный «Сахалин», им тоже приходится заниматься.

Настоящий отдых есть «Дуэль» – июль – август. Что писалась эта «Дуэль» в богимовском доме с эхом в комнатах и колоннами в гостиной, с парком в вековых липах, куда заглядывал он

постоянно, разложив листки рукописи на подоконнике, чуть не целый день выводя на бумаге мелкий узор слов, – это естественно, так и должно быть. В нижнем этаже, под ним, жил зоолог Вагнер, тоже с семьей. С этим Вагнером шли у него долгие споры – о вырождении, о праве сильного, о подборе – всё это перебралось в «Дуэль», как и сам Вагнер обратился в фон-Корена.

Но самое главное: начал и написал он теперь светлую и милостивую повесть, добрую и трогательную, способную действительно целить раны, врачевать и подымать душу. Сахалин тут оказался в жизненной судьбе его, да и художнической, очень важным: после зрелищ бедствий человеческих особенно открылось сердце, да и захотелось мира – моря, солнца, умиления, Кавказа, захолустной и нешумной жизни, где есть, как и везде, люди слабые и порочные, быть может, на границе гибели моральной, но есть и доброта, улыбка. Гибель померещилась только, не пришла. А пришло спасение.

Путешествие его вдоль Черноморского побережья (1888) не прошло даром. Весь воздух повести, пейзаж, быт, люди – все с той поездкой связано, кроме только фон-Корена.

Отправляя «Баб» Суворину, он приписал: «Скучно писать из мужицкой жизни. Надо будет за генералов приняться».

Настоящих генералов нет в «Дуэли». Есть военный врач Самойленко, собственно полковник, но ему нравилось, чтоб его называли генералом. Дело, однако, в том, что этот Самойленко, в своей простоте, горячности и доброте до такой степени «заступник» прежней России, что какие бы то ни были ее грехи, и слабости, и неустройства, один такой кипяток заслоняет собой тьму пороков. Он очарователен и когда шумно приготовляет салат для своих столовников, фон-Корена и молодого дьякона, и когда бессмысленно кричит, и когда без разбору дает взаймы деньги, и когда заступается за слабых, и когда на минуту обижается на Лаевского, и когда – не читав ни страницы Толстого – смущенно говорит о нем, что это великий писатель, потому что «все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры».

Есть и другое лицо в «Дуэли» – не знаю, откуда взял его Чехов, – будто и второстепенное, мало причастное к действию, но в решительную минуту как раз весь ход действия поворачивающее, – молодой смешливый дьякон. Тут Чехов будто совсем забыл, как сам увлекался Дарвиным, как спорил с Суворинym, защищая материализм. Дьякон, «простое сердце» произведения, временно присланный в приморский городок, только и ждущий случая услышать что-нибудь забавное и покатиться со смеху, он-то и оказывается высшим победителем

повести – и своими детскими (по чистоте и простодушию) словами и делами сражает умного, но самоуверенного фон-Корена.

Чехов быстро, помногу писал «Дуэль». Воздух ее освежал, даже укреплял его, но к концу он устал, ему стало казаться и длинно, и утомительно, и «напутал». Многое он переделывал, всю вещь переписал, как всегда, в письмах отзывался о ней пренебрежительно, оказалось же, что повесть эта, кроме внутренней значительности, выделяется и постройкою своею: очень хорошо развивается, вся движется – несмотря на философию зоолога, – драматизм нарастает и разрешается, как громом гроза, дуэлью. «Дуэль» построена не как хроника, а скорее как пьеса, не пьеса «настроения», а с завязкой, подъемом и очистительною развязкой.

На глазах читающего слабый Лаевский и подруга его Надежда Федоровна, каждый по-своему, катятся вниз и вот-вот погибнут, а ведь, в сущности, их спасает смешливый дьякон. Когда фон-Корен стал холодно целиться в Лаевского, он не засмеялся, а заорал из-под куста (был очень любопытен, хотелось посмотреть дуэль, хотя это и не очень подходящее «для духовного лица»).

Дьякон и раньше, в разговорах с фон-Кореном, поддевал его очень простыми словами. А теперь уже не слова, а дела: дьякон просто движением сердца спасает и Лаевского, и самого фон-Корена: один остается жив, а другой, промахнувшись, не становится убийцей. Здесь у дьякона именно слово стало делом: он ведь крикнул «слова» – только слова эти имели силу доброй молнии, т. е. дела.

Чехову, кажется, нелегко дался конец повести – в конце этом есть художническая опасность (начинают «новую жизнь» – можно сделать неубедительно). Но он кончил отлично.

Как ни трудно для человека, хорошо знавшего жизнь, искренно поверить в возможность резкой душевной перестройки и убедить в этом читающего, он именно это и сделал. Ничто не режет глаза в заключительной сцене, через три месяца после дуэли, когда фон-Корен направляется к пристани, откуда должен уезжать, и заходит по дороге к бывшему врагу проститься. Находит там других Лаевского и Надежду Федоровну, чем те, что знал раньше, и признает свою ошибку во всей истории с дуэлью. Дьякон и Самойленко его сопровождают, и опять дьякон оказывается победителем. Уже не хохоча, а восторженно говорит он фон-Корену: «Николай Васильевич, знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих – гордость!»

Вся внутренняя направленность «Дуэли»

глубокохристианская. Радостно удивляет тут в Чехове оптимизм, совершенно евангельский: «во едином часе» может человеческая душа спастись, повернуть на сто восемьдесят градусов. Радует и то, как убедительно он решил труднейшую артистическую задачу – без малейшей натяжки и неестественности.

* * *

«После Илии повеяло холодом. Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями» – это написано Суворину 29 июля, а 18 августа сообщает он, что «Дуэль» кончена. Кончалось и богимовское лето близ Алексина, в воздухе недалекой Оки, лесов и перелесков, полей тульско-калужских. Все это Чехову очень идет, он всему здесь созвучен. Удачное, полное чувствуешь в его пребывании в Богимове – помещик Былим-Колосовский в своей поддевке и высоких сапогах, с залихватскими тройками и широким размахом оказал литературе услугу несомненную.

Правда, «Сахалин» еще не кончен, но внутренно Чехов уже выходит из него, остается, собственно, только «послушание» – необходимость довести до конца взятую тяготу. Он ее продолжает и вывозит неконченную рукопись в Москву.

А в Москве осенью, с сентября, начинается у него, как всегда, пестрая, шумная жизнь. Нет того богатства впечатлений, как в Италии и Франции, нет и собранности, внутренней полноты деревенской жизни, так питавшей его. Конечно, работает, пишет и тут, но это не «Дуэль». «Дуэль» печатается уже в «Новом времени», и на «Малую Дмитровку, д. Фирганг» идут отклики с разных концов России. «Пишут какие-то незнакомцы. Письма в высшей степени задушевные и доброжелательные».

Эти письма – раннее явление той глубокой и прочной «народной любви», которая будет сопровождать его до могилы.

# Первый год Мелихова

Еще когда жил дачником у Линтваревых, собирался Чехов купить имение. Чрез приятеля своего Смагина пробовал даже – тогда ему хотелось на Украине. Но не удалось. Все-таки мысль и желание сидели прочно, и под всеми его душевными колебаниями, поисками пути и сомнениями это оставалось неизменным. Вероятно, с годами даже росло. Хотелось оседлости, устойчивости, чтобы вокруг было «свое». Может быть, говорил тут и голос крестьянских предков: в Чехове сидел хозяин и устроитель. Доселе проявляться этому было негде.

Весной 1892 года он купил наконец у художника Сорохтина небольшое имение Мелихово, в нескольких верстах от станции Лопасня Московско-Курской жел. дороги – сама же Лопасня в семидесяти верстах от Москвы. Так что все это подмосковный мир, и само Мелихово можно бы назвать, по-старинному, подмосковной Чехова. Но подмосковные барских времен совсем иные. Ни дворцов с двусветными залами, ни оранжерей, ни парков в Мелихове не было. Тут скорей воскресил Чехов пионерство предков своих из Воронежской губернии, осевших на первобытной земле.

В Мелихове жили и до Чехова. Был там дом, что-то вроде парка (очень «вроде»). Собственно, пришлось все переделывать заново. Думаю, Чехову это как раз и нравилось.

Переехали всей семьей: Павел Егорыч, Евгения Яковлевна, сестра Маша и сам Антон Павлович (братья Александр, Иван и Михаил жили уже самостоятельно). По чеховской хозяйственности все занялись кто чем мог. Дом начали перестраивать, чистить, оклеивать заново, кухню поставили отдельно, сад привели в порядок – все было заброшено. Теперь попало в домовитые руки.

Работали все: Мария Павловна, двадцативосьмилетняя девушка, занимавшаяся живописью и зимой преподававшая в гимназии Ржевской, теперь с утра надевала сапоги, целый день пропадала то в поле, то на гумне, то на огороде – чтобы не слишком утомлялся брат. Она его обожала. Некогда он на своих плечах выносил ее обучение, теперь она отдавала ему свои силы и жизнь (да так и отдала: замуж не вышла, чтобы за ним ходить. Считала, что навсегда останется он холостым). Павел Егорыч трудился в саду, Антон Павлович там же, Евгения Яковлевна по кухонной части и на огороде. Были, конечно, и кухарка, и два работника.

Дом одноэтажный, но поместительный. Впечатление у гостей,

довольно скоро появившихся тут, получалось такое, будто Чеховы спокон века и жили здесь: настолько быстро освоили дом, внесли свое.

Лучшая комната, большая, с венецианскими окнами, камином и большим турецким диваном, – кабинет Антона Павловича. У Марии Павловны девическая белая. Цветы, узенькая безупречная кровать, на стене большой портрет брата. У Евгении Яковлевны огромный шкаф и сундук со всяким добром, швейная машина. А у Павла Егорыча скорее келья или моленная. Образа, божественные книги, лампадки. Днем работал он в саду, вечером вычитывал вечерни, всенощную, напевал псалмы.

В усадьбе Мелихова ничего ни замечательного, ни просто располагающего не было. В той местности, и в недалеком Каширском уезде (уже Тульской губернии), мог Антон Павлович найти гораздо более привлекательное, особенно по Оке. Но он купил сразу, вовсе и не выбирая. Однако ему в деревне понравилось, с той весны 92-го года, когда он туда переехал. Изменилось даже душевное настроение. Он лучше себя здесь чувствовал. Да и сама русская весна… «В природе происходит нечто изумительное, трогательное». «Настроение покойное, созерцательное». «Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя» – такие строки очень редки в письмах Чехова, а вот весна в неказистом Мелихове отозвалась в нем так. Это правильно. Он свою родину и природу ее верно чувствовал.

Но представить себе его бездеятельным, просто вздыхающим в весенней благодати барином нельзя никак. Весна весной, хозяйство хозяйством, все-таки он прежде всего писатель. Среди всех этих скворцов, и весенних зорь, и первых подснежников, и зеленей, и ощущений рая он написал один из самых страшных своих рассказов «Палата № 6» – вот это уж противоположность богимовской «Дуэли»! Но Чехов вообще разнообразен и сложен. Почему в тишине мелиховской весны потянуло его написать повесть о сумасшедших, засасывающих в свой мир здорового, их же лечившего доктора – неведомо. Что-то пронзало его. Неизжитый след «Скучной истории». Здоровье, больные – все призрак, все иллюзия. Цена как будто бы одна.

Если б спросить его самого, он ответил бы, вероятно: «Написал и написал. Деньги были нужны». Он терпеть не мог поэтических поз, «служения музам», «святому искусству» и тут даже перебарщивал. Прочесть его письма, можно подумать, что говорится о газетном сотруднике средней руки Краснухине, который «насобачился». Но Чехов во всем особенный человек и на

других писателей не весьма похож. (Кто, кроме него, например, мог написать строгое письмо редактору журнала за то, что тот в извещении об участии Чехова объявил его «высокоталантливым», а название рассказа напечатал «буквами вывесочного размера» – это произвело на автора «самое неприятное впечатление». Он не против рекламы, но считает, что «для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую верную рекламу».)

Пасху встречали уже у себя, в устроенном доме. В селе Мелихове, совсем рядом с усадьбой, церковь была, но без причта. Для пасхальной заутрени сложились – вся деревня, Чеховы тоже, конечно. Пригласили из соседней Давыдовой пустыни служить иеромонаха. Пела вся семья Чеховых, Антон Павлович тоже. Детское свое певчество как раз вспоминал он в Мелихове, и не по-хорошему, но от красоты и поэзии самого богослужения все-таки не мог отказаться. «Пасхальную утреню пели мы, т. е. моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно».

В том же письме пишет он о скворцах. Их там много. «А скворец может с полным правом сказать про себя: пою Богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая».

* * *

У человека моего поколения – если детство его проходило в деревне – остались в памяти разговоры взрослых о голоде (начало 90-х гг.). Знакомые барышни, студенты собирались куда-то «на голод». Доктора рассуждали с родителями о каких-то «земствах», имя Толстого произносилось с великим почтением, он тоже куда-то призывал, к кому-то взывал. Голод, голод! Это казалось жутким.

Чехов, после спокойного лета в Богимове, осенью 1891 года в дела голода вошел основательно.

Вместе с давним своим приятелем Егоровым – тот служил теперь земским начальником в Нижегородской губернии – придумал он особую форму помощи. Мысль такая: осенью крестьяне из-за нужды и неурожая продают лошадей за бесценок. Настанет весна, пахать под яровое будет не на чем, значит, и не посеют. Если же осенью заняться покупкой лошадей, то весной можно будет раздавать их безлошадным.

Кроме литературы (он написал тогда «Попрыгунью», рассказ,

доставивший ему большие неприятности) осень 1891 года идет у Чехова под знаком сбора средств на этих лошадей.

Вместе с Сувориным и «Русскими ведомостями» он устроил сборник в пользу голодающих, собирал деньги и сам, писал о голоде. Все им лично собранное посылалось Егорову. Тот и покупал лошадей, а Чехов так всем этим увлекся, что в январе 92-го года съездил даже к нему в Нижегородскую губернию – в лютые морозы, едва не погиб вечером в метели. Конечно, опять подпортил здоровье, как и на Сахалине, но, видимо, удержать его и теперь было нельзя, как и тогда. Сахалин сидел в нем и подгонял. Это была его судьба.

В декабрьских и январских письмах просто, скромно говорится: «посылаю Вам 116 руб.» или «17 руб.», а потом досылает еще какие-то рубли. Будто и немного, но со всем этим надо возиться, обо всем заботиться. Какие-то там нижегородские безлошадные! Ужасно интересно по морозу ехать Бог знает куда, проверять на месте, как идут дела с лошадьми, везти Егорову еще несколько сот рублей, собранных по грошам. Потом махнуть в Воронеж. Там тоже знакомые и тоже закупка лошадей, но по-другому устроено – занимается этим губернатор Куровский («интеллигентный и искренний человек», «работает много»).

Кажется, в Нижегородской губернии дело с лошадьми не весьма преуспело, цены на них сразу поднялись из-за усиленных закупок. Но не это важно. Много ли или немного сделали Чехов с Егоровым, во всяком случае, для пути Чехова голод 91–92-го годов оказался важен, усилил в нем линию Сахалина. Тревога вечных вопросов – зачем я живу? Для чего пишу? Каков взгляд мой на мир? Это осталось, и двойственность прежняя. Но тут-то вот, рядом, есть несомненное – как говорит западное христианство: «Dieu dans ses pauvres»[73]. «Les pauv-res» вокруг, от них не уйдешь, они прочно пристроились.

И когда Чехов отдает себя и силы свои Богу «в Его бедных», как на Сахалине отдавал Ему же «в Его погибших», это удается ему. Это выходит хорошо.

Вот он теперь, весной 62-го года, купил Мелихово и поселился там. Это оказалось не случайно. Чудесная весна, чувствует он себя наконец оседло, сам себе хозяин, будто даже помещик, но именно тут он и водружен, со всею своей «фамилией», в самую глубину народа. В трехстах шагах от мелиховского балкона начиналась уже деревня.

Чехов будто бы возвращался к предкам, ко всем этим Евстратиям, и Михаилам, и Егорам… Ждал он в Мелихове жизни старосветских помещиков? Желаний, не перелетающих за частокол? Благодушия, рыжиков, пирогов, уток, гусей? На него не

похоже. Да и времена не те.

Тишины, спокойствия ему, конечно, хотелось, и в своем гнезде оказаться тоже хотелось. Ни о каких «служениях народу», ни о чем торжественном он не помышлял, перебираясь сюда. Но… «зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

Получилось не совсем так, как предполагал он, но в своем роде замечательно.

Отдыхать, наслаждаясь весной, спокойствием, оседлостью и простором, пришлось недолго. Летом 92-го года вместе с голодом явилась холера – бок о бок они и шли, как полагается в дьявольских выступлениях.

На этот раз дело для Чехова касалось не лошадей. «По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в санитарные врачи от земства, дан мне участок и я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и подумать некогда» (13 июля). Дальше все в том же роде. Ему дали для надзора 23 деревни, а позже, по-видимому, 25. Нет у него ни одной койки, ни одного фельдшера. Это волнует и раздражает, но и страшно возбуждает. Все лето и осень огромная работа, непрерывные разъезды. Холеры в участке еще нет, но она надвигается отовсюду, идет и с севера, и с Оки, и вот она уже в Москве.

Он живет как бы в осажденной крепости, укрепляет ее не покладая рук. «У меня на 25 деревень одна кружка, ни одного термометра и только полфунта карболовой кислоты».

Опять, если его послушать, неизвестно, зачем он все это делает. «Скучно». «Думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушны… к сей болезни и к тем людям, которым служишь…»

Но зачем же тогда служить? От вознаграждения он отказался, между тем сам в долгах по имению, и из гонораров ему вычитывают в погашение долга, а вот не может успокоиться, благодушествовать в удобном доме, все куда-то едет, учит мужиков гигиене, объезжает помещиков и фабрикантов, собирая на борьбу с холерой. «Оказался я превосходным нищим» – набирал очень удачно, и теперь у него «два превосходных барака со всей обстановкой и бараков пять не превосходных, а прескверных». И тут же рядом: «пребываю без гроша».

Превосходному нищему приходилось иногда и туго. Кого-кого не перевидал он за эти свои странствия! Был, например, у

соседки графини Орловой-Давыдовой, хотел устроить барак для ее рабочих. Она «держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься». Или архимандрит, отказавшийся дать помещение для будущих больных. Этот дал повод Чехову прибавить в конце письма, после барынь в бриллиантах и благолепно-равнодушного архимандрита, две строчки:

«У меня часто бывает и подолгу сидит поп, прекрасный парень, вдовец, имеющий незаконных детей».

В такие и подобные им странствия уходят корни рассказа «Жена», где как раз в лихорадку борьбы с голодом вовлекают холодного, богатого инженера, пишущего у себя в имении ученое сочинение о железных дорогах. Все эти врачи, дамы, действующие там, это тоже окружение Антона Павловича Чехова. «Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь…»

Может быть, из-за принятых мер холера до его участка и не дошла. Была в тридцати верстах, но встретиться с ней не довелось. С эпидемиями же тифа, дифтерита, скарлатины приходилось много бороться. С августа по 15 октября он записал 500 больных, а в действительности принял не меньше тысячи. В октябре Серпуховское земство постановило благодарить его: чеховский участок оказался особенно удачным и почти ничего не стоил земству. Чехов обирал соседей фабрикантов, «которые и отдувались за земство».

В начале октября холера уже удалялась, но он не мог еще бросить своего участка, на день-два съездить в Москву. И только со второй половины месяца жизнь его налаживается. Иной оттенок появляется и в письмах – больше направлено на себя и на семью. Сестра Мария Павловна отказала жениху. «Ничего не понимаю». Со слов близких к семье Чеховых известно теперь, что она именно из-за брата и не хотела выходить замуж.

А о себе, все тому же Суворину, Антон Павлович пишет: «Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви».

После летнего подъема как будто вообще усталость. Но появляются литературные интересы – прелестно отвечает он брату на сообщение о Дании: «Весьма утешительно, что меня перевели на датский язык. Теперь я спокоен за Данию».

А за себя, как писателя, не так уж спокоен. В невеселой русской осени, в деревне, много размышляет о писании своем, вновь все-таки возвращается к настроениям «Скучной истории». Нет «общих идей». Писатели вечные или просто хорошие всегда «куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а

всем своим существом, что у них есть какая-то цель…». «У одних… цели ближайшие – крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные – Бог, загробная жизнь, счастье человечества». «Вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет. А вот “у нас”, современных писателей, ничего этого нет». «Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».

Давняя тоска Чехова по Божеству. О. Христофор знал нечто всем существом, чего не хватало Чехову. Оттого и был всегда ясен, светел. Богу «в Его отверженных» Чехов служил усердно, не хуже о. Христофора, а, может быть, лучше. Но внутренней цельности в нем не было. Не цельность, а именно раздвоение, отсюда непрочность и тоска. Продолжается это до конца дней, какими бы мечтаниями о том, что будет «через двести, триста лет», ни опьяняли себя герои более поздней полосы его писания.

* * *

Год в Мелихове кончался. Для деревенской жизни в Чехове было нечто подходящее. Нельзя сказать, чтобы на новом месте он скучал, даже когда медицинская страда отошла. «Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень» – все это очень занимает. Но другой, всегдашний, меланхолический Чехов тут же рядом. «Жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто бы надоело». (Ему тридцать два года!)

Очень видишь Чехова, вот он сидит за воротами на лавочке и глядит в бурое поле, раздумывает «о том о сем» – таким помнится он позже в Ялте, тоже на скамеечке и тоже в одиночестве, только не перед бурым полем, а перед ночным морем.

Зима довольно рано началась в 1892 году – во второй половине октября. «Сегодня я гулял в поле по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне». И хотя сажал вишни и яблони, и чувствовал себя собственником и с корнями, а все же – и как подходит это для русского человека в деревне! – захотелось ему и вдаль. «Будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж». В бурых полях или полях снежных, где чувствуешь себя, как на луне, многие мечтали об Италии.

# Лика, «Чайка»

Лидия Стахиевна Мизинова, подруга Марии Павловны, появляется в доме Чеховых в начале девяностых годов. Очень красивая, полная девушка с пепельными, вьющимися волосами, прекрасными серыми глазами. Видимо, живого и веселого нрава, но с перебоями, с большой нервностью, большим требованием к жизни.

В дружеском кругу ее звали Ликой. Она служила в Москве в городской думе, училась драматическому искусству, одно время была младшей преподавательницей в гимназии Ржевской – оттуда и знакомство ее с Марией Павловной. Пела, вообще обладала артистической жилкой. В Москве у нее было много знакомых в кругу литературно-художническом, среди них Чехов и Левитан. Обоим им она нравилась, да и у других имела успех.

Нет сомнения: в ней было много привлекательного. И в красоте ее, и в своеобразии, порывистости, даровитости. В семье Чеховых ее любили. Можно думать, что положение ее было вроде родственного. Перемены в жизни семьи отражались и на ней. Снимали дачу в Богимове, она туда приезжает. Явилось Мелихово, она и с ним оказалась связана довольно прочно.

Дружески-сочувственные ее отношения с Чеховым начались еще с Богимова. Он, конечно, ее отметил. Но письма его к ней 91-го года незначительны, полны острот, поддразниваний, нельзя сказать, чтобы всегда удачных. В Мелихове впервые она появилась весной 92-го года, а затем в июне. Началось более серьезное с Чеховым, хотя тоже среди балагурства.

Сохранилась фотография: Лика и Чехов на скамейке не то в парке, не то в запущенном саду с высокой травой и цветами, огромными деревьями в глубине. Холера еще далеко, Чехов свободен, очевидно, много они были вместе. («Помните, как мы рано утром гуляли по полю?») Бродили по скромным окрестностям Мелихова, конечно, Чехов острил, дразнил ее, все-таки взаимное тяготение росло, это бесспорно. Что именно и как – неведомо, но вот они собрались даже ехать вместе на Кавказ: шаг довольно смелый, Лике было всего двадцать два года. Уезжая в Москву, она должна была там заказать билеты для обоих.

Как именно они прощались, неизвестно. Вскоре по ее отъезде Чехов получил от нее письмо – несколько строк его говорят о давних, таких человеческих чувствах тех, кого уже нет, как нет в живых никого из бывших тогда в Мелихове, да и самого Мелихова нет.

Вот что писала Лика: «Отбрасывая всякое ложное самолюбие в сторону, скажу, что мне очень грустно и очень хочется видеть Вас. Грустно мне еще потому, Антон Павлович, что Вас, должно быть, удивило и не понравилось мое поведение вечером накануне моего отъезда. Сознаюсь, что вела себя чересчур уж девчонкой. В самом деле смешно – забыться настолько, что не понять шутки и принять ее всерьез. Ну, да вы, верно, не будете очень обвинять меня в этом, потому что верю, давно были уверены, что все так и есть».

Похоже на то, что, расставаясь, она сгоряча слишком много сказала о себе, своем чувстве, под впечатлением его слов, в которых не сразу уловила шутливость. Но Чехов всегда почти говорил так: вот и теперь установить в его письмах долю правды и маски не весьма легко. Видимо, вернувшись домой, Лика впала в некоторое уныние.

Чехов начал свое ответное письмо так: «Милая канталупочка, напишите, чтобы впредь до прекращения холеры на Кавказе не хлопотали насчет билетов. Не хочется сидеть в карантинах». Предлог, вероятно, выдуманный: о карантинах и о холере он знал, разумеется, когда собирался с ней ехать. Наверно, просто раздумал («здравый смысл» – нельзя заходить слишком далеко). «Ликуся, вместо того, чтобы ныть и тоном гувернантки отчитывать меня и себя за дурное (?) поведение, Вы бы лучше написали мне, как Вы живете, что делаете, и вообще как Ваши дела. Ухаживают ли за Вами ржевские драгуны? Я разрешаю Вам эти ухаживания, но с условием, что Вы, дуся, приедете не позже конца июля. Слышите ли? Не позже конца июля, иначе будете биты палкой».

Следующее его письмо помечено концом июня и несколько иного тона, говорит и о его неустойчивом равновесии: «…и в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею». «Не забывайте побежденного Вами Царя Мидийского».

У Лики оказалось гораздо больше проницательности и знания жизни, чем можно было бы ожидать от девушки ее возраста. Она правильно оценила положение и не поддалась двум-трем ласковым фразам. Вот ее ответ: «А как бы я хотела (если б могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!»

Лика хорошо Чехова поняла. Она ему очень нравилась, но не достаточно для решительного шага. Да и не был еще он готов,

чтобы отдаваться целиком во власть женщины. Слишком был художник, живший писанием своим, слишком дорожил свободой и слишком был подвержен рассеянному эросу, легко, но неглубоко отзываясь на женственное.

И вышло так, как надо было в судьбах их: все это не вело к перелому, но для него стало прологом, еще отдаленным по времени, к дальнейшему, к важнейшему его писанию. А для нее прологом к настоящему действию.

Проходит лето, занятое для Чехова холерой. Они обмениваются по временам письмами. Нельзя сказать, чтобы оба были довольны. Как будто осталась и у него и у ней некоторая заноза. Она его слегка язвит, он отстреливается, опять шуточки, опять тон, который мог ее и раздражать, хотя чувствовалась за ним и некая его уязвленность: в конце концов, у него тоже ведь ничего не вышло. Вот он пишет ей из Петербурга в декабре 92-го года: «Ликуся, если Вы в самом деле приедете в Петербург, то непременно дайте мне знать. Дела службы, которые Вы ехидно подчеркиваете, не помешают мне провести с Вами несколько мгновений, если Вы, конечно, подарите мне их. Я уж не смею рассчитывать на час, на два, на целый вечер. У Вас завелась новая компания, новые симпатии, и если Вы уделите старому, надоевшему вздыхателю два-три мгновения, то и за то спасибо». Но в конце письма опять задирает – вырезка из газеты о желании вступить в брак, о блондинке живой, веселой и т. п. «Вы вполне подходите под условия».

В том же духе продолжается и в 93-м году – они встречаются в Москве, когда он там бывает, приезжает и Лика в Мелихово, вновь письма, и нередко она корит его, с прямотою и смелостью, не совсем обычными для молодой девушки по отношению к известному писателю (его именем назван даже пароход на Волге: «Антон Чехов»). Да он и много старше ее. Но ее это не останавливает. «Милая Лика, Вы выудили из словаря иностранных слов слово эгоизм и угощаете меня им в каждом письме. Назовите этим словом Вашу собачку». Задевает она даже его писание («писанье в свое удовольствие» – почти дерзко).

Но вот в одном месте он проговаривается. Что-то весьма «чеховское», чем наделяет он обитателей своих книг, вдруг применено к нему самому; и так мало похоже это на Чехова времен Бабкина, даже Линтваревых. От прежнего жизнелюбия мало что и осталось, действительно «Сахалин» – некий порог. «Я тоже старик». «Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик». И дальше: «Лика, если Вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то по крайней мере не смейтесь

надо мной».

* * *

Игнатий Николаевич Потапенко, беллетрист малороссийского происхождения, живой и расторопный, даровитый, весьма удачливый, хорошо зарабатывал, много писал. Одно время имя его, совсем незаконно, ставилось рядом с Чеховым. Люди моего поколения помнят, сквозь туман юности, повесть его «Шестеро» – из жизни сельского духовенства (Потапенко был сын священника). «На действительной службе», «идейная» вещь принесла ему почти славу.

Он довольно приятно пел, был общителен, обладал привлекательностью. Мог писать в день по печатному листу «без помарки», чем вызывал удивление Чехова (Чехов зрелой полосы писал трудно и тщательно, иногда сжимал полстраницы в одну фразу.)

К Чехову Потапенко хорошо относился. Написал о нем воспоминания очень сочувственные и правдивые. Судьбы же писаний их вмазались совсем различны – иначе и не могло быть. Слишком разные данные и слишком разное отношение к своему дару.

Познакомился Потапенко с Чеховым в Одессе, в конце 80-х годов. Встреча была беглая. Чехову он показался очень скучным – неизвестно почему. Этим и объясняется, что в письме к Лике (июль 93-го г.) Чехов говорит: «Ко мне приедет Потапенко. Сама скука».

Он и приехал. И оказалось, что вовсе не скучен, совсем нет. «Потапенко произвел хорошее впечатление. Очень мило поет».

В декабре того же года он снова в Мелихове. «Сейчас приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет».

На этот раз он оказался даже весьма весел и певуч. Лика аккомпанировала, а он под аккомпанемент этот запевал девичье сердце. Заговаривал, конечно, и «жалкими словами», действовала и горячая кровь южная, темперамент, прямолинейность. Те святки в Мелихове оказались для Лики роковыми. Потапенко ясно знал, чего хотел. Не дразнил, не острил и на месте не топтался. Да весьма возможно, что и сам влюбился: он был влюбчив, а Лика привлекательна.

В начале 94-го года он уехал в Париж. Лика и подруга ее Варя Эберле тою же весной тоже решили ехать в Париж «учиться пению».

Чехов в январе чувствовал себя в Мелихове неважно: кашель

его усилился. Вероятно, из-за нездоровья и чтобы перебить настроение, уехал он в начале марта в Ялту.

Там поселился в гостинице «Россия», вел жизнь тихую и довольно скучную, хотя ялтинский март оказался совсем теплым, светлым, всё в зелени. Белые коридоры «России», мягкие красные ковры, по которым бесшумно проходят – то официант, несущий на серебряном подносе кофе Антону Чехову, то дама с собачкой, то болезненного вида господин, приехавший лечиться. Из окна, в сиреневом тумане, видна гора, к ней подъем в беленьких дачках и домиках.

В этой тишине, в номере гостиницы «Россия» с бархатной зеленой мебелью, написал он прелестный рассказик «Студент» (в пятницу на Страстной студент Духовной академии рассказывает бабам, у костра, что происходило две тысячи лет тому назад в этот вечер в Иерусалиме, во дворе Первосвященника – отречение Петра, петух, «трищи» возглашающий, слезы Апостола…).

Позже сам говорил, что это любимая его вещь – в ней сказано и нечто самое его затаенное, драгоценное, чего не найдешь в письмах (в них иной раз противоположное, но это на словах, «для разума»). Когда простые бабы, слушая рассказ о Спасителе и Апостоле Петре, заплакали, то с ними плакало и сердце самого Чехова – этой весной 1894 года ему открылось (явно), что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле». Христова правда составляла главное! – это мало подходило к духу времени. «Студент» был напечатан 16 апреля 1894 г. в «Русских ведомостях», либеральной газете нашего детства – по ней мы учились читать. Вероятно, с недоумением читали этот рассказ интеллигенты с бородками клинушком, честные курсистки и благородные статистики в земствах матушки России.

А сам автор не совсем покойно себя чувствовал. Отъезд Лики вряд ли ему нравился. Может быть, еще меньше нравилось, что совпадал он с отъездом Потапенки. Правда, Потапенко уехал будто бы «в Италию», но Чехов знал его уже достаточно – с этой именно стороны.

В конце марта, на Страстной, пишет он из Ялты Суворину: «Будь у меня тысяча или полторы, я бы в Париж поехал, и это было бы хорошо по многим причинам».

Суворин не знал, по каким именно. Мы знаем несколько больше и можем догадываться.

Лика была в это время еще в Берлине, остановилась там по дороге в Париж. 15 марта помечено ее письмо Чехову в Ялту. Оно

отражает нервность ее и жажду жизни. «Хочется поскорей добраться до места и хочется также и Берлин посмотреть, ведь я скоро умру и ничего не увижу».

Он так ответил: «Милая Лика, спасибо Вам за письмо. Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной, но все-таки спасибо. Я отлично знаю, что Вы не умрете и что никто Вас не отвергал». Дальше идут, разумеется, шуточки («Мой идеал: быть праздным и любить полную девушку»). Но общий тон ласковый (хотя и сдержанно), может быть и с оттенком грусти. Как и веселиться при этом, когда мучают перебои сердца и надо писать, писать… Он устал. «Милая Лика, когда из Вас выйдет большая певица… – начало фразы будто Треплев обращается к «Чайке», а дальше во всегдашнем роде, – …и Вам дадут хорошее жалованье, то подайте мне милостыню: жените меня на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать».

В апреле он возвратился в Мелихово и просидел там лето. Только в августе отправился в путешествие по Волге, вместе с Потапенко, возвратившимся из Парижа. Путешествие вышло странное: до Царицына, как думали, не доехали. В Нижнем на Чехова напала тоска. Было жарко, сухой ветер, ярмарка гремела, появился Сергеенко («друг Толстого»), нагонявший на Чехова всегда уныние – «…я взял свой чемодан и позорно бежал… на вокзал. За мной Потапенко». Решили отправиться к Линтваревым, на Псел, в Луку. Там гостили некоторое время.

Вообще же Чехов всю эту осень как-то метался. О Лике не знал ничего. А по-видимому, Потапенко, разъезжавший теперь с ним, именно перед отъездом из Парижа Лику и бросил, после краткой с ней связи. Этого Чехову, конечно, не рассказал.

От Линтваревых Чехов вернулся опять в Мелихово, но ненадолго. В Таганроге тяжко болел дядя его, тот, заросший бородой, простодушный Митрофан Егорыч, который на семейной группе изображен во всем своем таганрогском великолепии, с торжественной манишкой, выпирающей на груди колесом, во всем благодушии старой России. Антон Павлович с ранних лет любил его, письма к нему полны почтительности, в них есть трогательный оттенок – тут он даже шутить не позволяет себе. Любил и сына его, своего двоюродного брата Георгия (странным образом письма к Георгию даже ласковей и, во всяком случае, интересней писем к сестре Марии Павловне, поражающих сухостью).

Когда Митрофан Егорыч в Таганроге заболел, Антон Павлович не мог уж усидеть дома, отправился лечить его: вернее, проститься с тем, кто в его детстве, рядом с суровостью Павла

Егорыча, являл облик доброты и утешения. В живых его застал (но ненадолго).

Из Таганрога поехал в Феодосию к всегдашнему своему Суворину. Там выяснилось, что денежные его дела гораздо лучше, чем он думал: книги продавались хорошо. Это давало большую свободу. Он съездил на Новый Афон, потом морем отправился в Ялту. В это время скончался Митрофан Егорыч. С парохода пишет Антон Павлович Георгию: «Милый Жорж… не стану утешать тебя, потому что мне самому тяжело. Я любил покойного дядю всей душой и уважал его».

Сам он находится в некотором смятении и не знает, что с собой делать. Плывет в Ялту, а может быть, окажется за границей. Так и вышло, а пока что попал в Одессу. Но за границу, вероятно, влекло и нечто другое.

Здоровье его неважно. Однако, если лечиться и укрепляться, надо подолгу жить в одном месте, на спокойном курорте. А у него здесь сплошное бродяжничество. 18 сентября он уже в Вене, собирается в Аббацию. «Вы упорно не отвечаете мне на письма, милая Лика, но я все-таки надоедаю Вам и навязываюсь со своими письмами». «Потапенко говорил мне как-то, что Вы и Варя Эберле будете в Швейцарии». Если это верно, то пусть напишет, он повидался бы с ней «разумеется с восторгом». «Умоляю Вас, не пишите никому в Россию, что я за границей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии».

Очень странное письмо, в нем есть нечто нервно-горестное. Его последние строки: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я и здоровье прозевал так же, как Вас».

В Аббации он пробыл недолго, попал вновь в Италию, побывал в Венеции, Милане и проехал на французскую Ривьеру, в Ниццу.

Недоразумение с письмами Лики разрешилось в Ницце: она письма писала, но они путешествовали за ним следом и нагнали только здесь. Тон их печальный и подавленный – она одинока и ей тяжко. Сообщает швейцарский свой адрес. Если бы он приехал, была бы счастлива, «но предупреждаю, ничему не удивляться». Была ли уже заметна ее беременность или она говорила «вообще»?

«Ваша карточка из Таганрога повеяла на меня холодом». (Чехов мог иногда писать очень сухо именно тем, кого любил.) «Видно, уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то все-таки мне хочется сегодня поговорить с Вами. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа и, как я думаю,

все-таки не могу не сказать, что виной всему Вы».

В переводе на русский язык выходит: если бы вы были решительней, если б уехали мы тогда вместе на Кавказ и соединили наши жизни, то не было бы этого случайного Потапенки, короткой, тяжкой истории наполовину назло вам… и т. д.

В письме от 3 октября повторяет: пусть ничему не удивляется. «Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте. От нее не осталось и помину. Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь. Впрочем, я не думаю, чтобы Вы бросили в меня камень. Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям».

Это задело Чехова. («О моем равнодушии к людям Вы могли бы не писать».) Очень молодая и уже много пережившая Лика в чем-то, однако, была права, только не так выразилась. Вернее бы сказать о снисходительности. Чехов никак не становился в позу праведника. Фарисейское ему глубоко чуждо. Сам он был человек грешный, как и все, и сознавал это, и это давало тон его отношению к другим. У него (в письмах) есть замечательная строчка о страдании от греха – ее мог написать только тот, кто на себе испытал, что такое грех (и как слаб пред ним человек). Но никогда грешника он не карал: это Лика тоже чувствовала.

«Равнодушие» к людям… странно говорить так о человеке, ездившем на Сахалин, губившем там здоровье, губившем его и в борьбе с голодом, холерой у себя же в Мелихове. Но в следующем письме Лика возвращается к этому в несколько ином повороте. «Я хочу видеть только Вас – потому что Вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие».

Они все-таки не встретились. Он мог бы из Австрии проехать в Ниццу через Швейцарию, но теперь его связывал Суворин, «тащить» его в Швейцарию было неудобно.

Родным он в конце концов сознался, что находится за границей. Пишет Маше из Ниццы, 2 октября: «Рассчитывал повидаться в Париже с Ликой, но оказывается, что она в Швейцарии, туда же мне не рука. Да и надоело уже ездить».

Если бы Лика видела эту строчку, опять сказала бы о равнодушии. Конечно, кому очень хочется видеть, тот поедет. Но возможно, что ему даже тяжело было теперь встретить ее. Он уже все знал. Все было и кончено.

* * *

В декабре 1894 года Лика была уже в Париже, снова. Чехов –

в своем Мелихове.

Писателем он никогда не переставал быть, это всегда на первом месте. Несмотря на все бродяжничества этой осени, на некоторую и смятенность, он успел написать «Три года», большую повесть. В ее ровном, спокойном течении как бы отражена некая «река времен» – люди, их чувства, судьбы сплетаются и проходят по неведомым, но печальным законам. Вот любил Лаптев, сын богатого московского купца, барышню Юлию Сергеевну, добивался ее, женился наконец. Она к нему равнодушна. Его мучит, что, быть может, она вышла за него из-за денег. Но идет время, и как облака принимают то те, то другие формы, переходят одни в другие, расплываются, новые возникают неизвестно зачем, так в жизненном движении неплохих и неярких людей все понемногу меняется. Проходит три года. Лаптев остывает к Юлии, она привязывается к нему – просто она теперь его любит. А ему казалось, что он «женат на ней уже лет десять».

«– Поживем – увидим».

Был ли в повести этой, написанной в форме хроники, внешне недраматичной, отголосок тогдашних его чувств? Если да, то весьма отдаленный. Всё же возможно, что переливы чувств и его, и Лики, перемена всего положения, как в калейдоскопе игра фантастически-разноцветных кусочков, отразились в «Трех годах», произведении будто и невыигрышном, но написанном с той простотой, уверенностью зрелого художника, что и ставит эту вещь в первый ряд чеховских писаний.

В декабре 1894 года, как раз когда читал в Мелихове корректуру этой повести, получил от Лики из Парижа очень грустное письмо. Маше в Москву он сообщает о нем холодновато. («Пишет, что учится петь, учится массажу и английскому языку. Пишет, что ей хотелось бы посидеть на моем диване хоть несколько минут».)

Все это у Лики сказано иначе: «Вот уже скоро два месяца, как я в Париже, а от Вас ни слуху. Неужели и Вы тоже отвернулись от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж еще больше располагает ко всему этому! Сыро, холодно, чуждо! Без Вас я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой! Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на Вашем диване, поговорить с Вами десять минут, поужинать…»

Хочется, чтобы и года этого не было, чтобы «все осталось по-старому». Перемены, конечно, огромные. «Свинья» Потапенко бросил ее в ожидании младенца. Где и когда появился младенец? Нет известий. Во всяком случае, скоро умер. В Россию Лика вернулась одна.

Собственно, здесь и кончается все. Знакомство с Чеховым и

его семьей не прервалось, шутливые записочки сохранились, но это лишь внешность. И если бы не литература, то в жизни Чехова место Лики оказалось бы скромным. Однако вся эта история в душе и художестве Чехова как бы продолжалась – родила «Чайку» и весь чеховский театр: событие и для самого Чехова и для российской литературы немалое.

«Чайка» есть миф, корни которого в Лике, Чехове, Мелихове. Все не то, и все выросло отсюда, кровно связано.

* * *

95-й год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелихове, много писал, летом пришлось, однако, странно съездить в имение Турчаниновой, где-то в районе Бологого (Рыбинско-Бологовская ж. д.). Причина – Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но все-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции Тройца: Левитан, еще в Бабкине тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчаниновой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, «равнодушный», по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении, на берегу озера, прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как и в юности своей выхаживая Левитана. Левитан оправился. Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо – не очень-то он хотел распространяться о деле, слишком для Левитана интимном.

В общем же 95-й год оказался для Чехова годом литературы, и плодородным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезонином» – отзвук давней его собственной истории («У меня когда-то была невеста… Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу»), «Дом с мезонином» трогателен, поэтичен, но, конечно, все писание Чехова в этом году заслонено «Чайкой».

«Убийство» вполне совершенная вещь. И не о любви. Три остальных движутся любовью.

«Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия и судьба.

Он писал ее осенью в Мелихове. «Пишу… не без удовольствия»: надо считать, зная Чехова, что просто с увлечением (но прямо этого никогда он не скажет). «Мало действия и пять пудов любви».

L’amor che muove l’sol e l’altre stelle[74] – это в мировом,

космическом плане. Но вот и микрокосм, скромное творение Антона Чехова, явившееся осенью 1895 года, – оно тоже все движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях главное – любовь. Даже и место действия: у «колдовского» озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. (Летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек.)

Любовь и в этом просторном доме Сорина (а в письме из имения Турчаниновой: «…располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера»): дела, слова, восторги и тоска любви.

Чтобы так напитать все эросом, надо сильно быть им уязвленным. Как всегда, мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова – так он все прятал, но благодаря «Чайке» можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать «Чайку» роковой. Это не просто пьеса для театра и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной.

«Чайку» перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Все вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной.

Как переживала пьесу сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть все, хоть и в измененном виде. Но высокий тон изображения она должна была чувствовать.

Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она все-таки Ликой. Эту Лику, «думского писца» в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригориным, потеряв ребенка, странствующей актрисой является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу (обращено к Треплеву): «Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лика должна была гордиться этими словами.

Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» с сочувствием – это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина, превосходны писатели (кажется, единственный случай в литературе нашей): и утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, удящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по-новому и своеобразно, что просто удивительно.

Есть и еще особенность «Чайки» – связано это с эпохой.

Девяностые годы в России не то что восьмидесятые. Не такая

уже провинция. Занавес, отделявший от Европы, кое-где прорван, в самой же Европе как раз появилось в литературе течение более духовного свойства. Ибсен, Метерлинк, французские символисты. Просочилось это и к нам. Не как простое заимствование, а как некая новая полоса культуры. Ничего зря не делается. Должны были появиться и появились и у нас писатели особого склада: Мережковский и Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, «заря русского символизма».

Чехову Ибсен, наверное, не был близок. Одну из лучших пьес его, «Маленького Эйольфа», он называл «Иоиль младший». Читал ли даже как следует Ибсена? Сомневаюсь (на сцене в театре Суворина мог видеть). Но Метерлинк чем-то ему понравился. Суворину он даже советовал ставить его произведения.

В «Чайке» в первом же действии, перед озером, при луне, Нина так начинает пьесу Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки…» (все вымерло, одна луна печально светит, Мировая душа декламирует, и Дьявол должен явиться).

Сразу чувствуешь некий особенный оттенок. В прежних писаниях Чехова его не было. И Треплев новый человек в литературе. Реализм, бытописание ему неинтересны. Не туда клонится его душа. Это Тригорин записывает каждую удачную фразу, образ. Треплеву ближе Ибсен, Метерлинк, чем Тригорин со своей записной книжкой («плыло облако, похожее на рояль»), Чехов же между ними посредник.

Но самое сердце пьесы, чайка, убитая от нечего делать досужим охотником, это уже не Треплев, а Чехов. И не Чехов «Иванова». Пусть будет «Иоиль младший», все-таки «Дикую утку» написал Ибсен. На Чехова повеяло Скандинавией, что-то он взял оттуда. Можно считать, что именно эта подстреленная символически чайка наиболее уязвима сейчас в пьесе (наиболее устарела, как и сам символизм), все же в ней есть и прелесть, на всю «комедию» бросает она особый, незабываемый отсвет, как и удавшийся неудачник Треплев. С «Иванова» ничего не начинается. С «Чайки» начинается театр Чехова. Его можно любить или не любить, но он просто в литературе русской есть.

Все складывалось, конечно, по-особенному вокруг этой пьесы. Не напрасно была история с Ликой, не напрасно все три действующие лица что-то пережили. Из этого родилась «Чайка», открывшая в России эпоху, и сама она, пьеса, как живое существо, тоже должна была перенести драму, прежде чем воскреснуть.

Весь почти 96-й год шли с ней предварительные маневры. Ее «переписывали на ремингтоне» (по тем временам целое предприятие), посылалась она на суд Суворину, был момент,

когда Чехов заколебался. «Пьеса моя провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя».

Но это только минутное. Пьеса пошла по мытарствам. Первое – драматическая цензура. Цензору Кондратьеву не понравилось, «что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом». И Чехов выбросил фразу: «открыто живет с этим беллетристом», а на 5-й странице: «может любить только молодых».

В конце концов цензор не противоборствовал. Пьесу взяли в Александринский театр в Петербурге. Сохранилась повестка для актеров на генеральную репетицию – 16 октября 1896 г. Премьера 17-го.

Репетиции шли плохо. Чехов не советовал Марии Павловне приезжать на спектакль, но она не вытерпела и приехала, вместе с Ликой. Вместе с ней и остановилась в гостинице «Англетер». С Ликой вместе отправилась и в театр.

Надо же было придумать – ставить «Чайку» в бенефис комической старухи Левкеевой (с гостинодворскою публикой), режиссер Евтихий Карпов, Треплева играет гладкий и вылощенный Аполлонский!

Ничего и не вышло, да и не могло выйти. С самого же начала, с пьесы Треплева перед озером, несмотря на Комиссаржевскую (Нина), начался разгром. Страшная вещь, когда в серьезных местах публика начинает смеяться. Тут она сразу рассердилась. После первого акта свист, шум, жиденькие аплодисменты. Далее шло не лучше. Мария Павловна все же досидела до конца и уехала к себе с Ликой в «Англетер». Было условлено, что Антон Павлович приедет к ним туда, но он не приехал. В два часа ночи Мария Павловна бросилась к Суворинym, где он остановился. Оказалось, он долго бродил по Петербургу, потом вернулся, лег и никого не пожелал видеть, даже сестру. На другой день уехал с товаро-пассажирским поездом в Мелихово. Суворину написал записку: «Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении». Марии Павловне так: «Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня».

Этому верить, конечно, нельзя. Театральные поражения вообще слишком горьки. Здесь толпа была слишком груба, Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Мария Павловна, так брата знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий. Отозвался и на здоровье. Через три месяца у него открылось легочное кровотечение.

«Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и был впервые поставлен диагноз, изменивший всю нашу жизнь».

* * *

Лика довольно долго еще стремилась к сцене. В конце 90-х годов вновь была за границей – частная опера Мамонтова направила ее туда вновь учиться, готовиться к сцене. Из этого ничего не вышло. Не удалась и драма – Лика одно время входила в труппу Художественного театра. В 1902 году театр она бросила, вышла замуж за Санина, тогда режиссера Художественного театра. Но и он разошелся с театром. Санины уехали за границу.

Теперь жизнь Лики не имела уже к Чехову никакого отношения. Прошла главным образом за границей.

В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стекленная. Там лежала на постели какая-то женщина.

– Знаете, кто это? – спросила моя знакомая.

– Нет.

– Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.

В том же 1937 году Лидия Стахиевна и скончалась.

# Вновь Мелихово

Ни одного романа Чехову не пришлось написать, хотя, может быть, и хотелось. Где грань между повестью и романом? Кажется, не установлена. Решается более на глаз, по глубине дыхания или длине волны. Ни дыхания, ни волны романиста у Чехова не было – и не надо ему этого. Его прекрасный дар выражался в ином. Чеховские шедевры так сжаты, кратки и густы, что о романе не может быть речи.

«Моя жизнь» довольно длинная повесть (были у него, однако, и длиннее: «Дуэль», «Степь»). Но те он писал в большем подъеме, «Степь» в особенности. Потому, можно думать, что они непосредственней – «Степь» даже ближе ему кровно. «Моя жизнь» очень замечательна, но с меньшим обаянием, чем те. Она суше, в ней меньше внутренней влаги. Может быть, имеет значение, что в ней много обличительного. Это некий голос о неправдах жизни, даже проповедь (отчасти в духе Толстого). Много верного, но как и у самого Толстого поздней полосы указующий перст мало дает радости.

Да, жизнь груба и жестока, богатые себялюбивы, отец-архитектор фарисей, инженер хамоват и ловкач, во всем городе нет ни одного честного человека, «лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой», и у них были высокие стремления, но и девушки, выйдя замуж, опускались. В общем же «трудиться надо, скорбеть надо, болезновать надо», гремит худой, с высохшими губами Редька, странный подрядчик малярных работ, чистейший человек, праведник, вероятно, сектант (и без влаги, и без греха). «Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам!» Все правильно, и чем-то этот Редька трогателен, но в нем нет того света, как в о. Христофоре из «Степи».

Сам рассказчик – сын архитектора, бросающий немилый дом, уходящий к малярам, обращающийся в рабочего, тоже во всем прав и тоже во всем суховат. И достоин, и праведно протестует, а чего-то в нем нет. Смирения, любви? Он тоже сектант, как и Редька. Сектанты же часто чрезмерно горды (праведностью своей).

Над «Чайкой» прошло легкое веяние символизма. Над «Моей жизнью» веяние Толстого поздней поры. Приблизительно в это время (несколько ранее) Чехов с Толстым и познакомился. Он произвел на него большое впечатление. Но их отношения сложны. Толстой Чехова восхищал, но иногда раздражал.

Толстовское опрощение, «в народ», в «Моей жизни» бесспорно. Есть в ней, однако, и глубокая чеховская серьезность,

есть внутренняя значительность, новизна положений, своеобразие всего и какая-то строгость. Аскетическая строгость – редкий для Чехова случай.

Написал он ее довольно быстро, к сроку. Возможно, этим и объясняется, что в ней немало мелких словесных промахов. Кончил в начале августа, доделывал в корректуре, а уже ранней осенью стали ее печатать в «Ниве». В критике «Моя жизнь» прошла незамеченной – хороша была критика! – для самого же Чехова, для пути его имела большое значение. «Чайка» начала новый театр, «Моя жизнь» определила новую внутреннюю струю писания его: общественную.

* * *

«Вчера пьяный мужик-старик, раздевшись, купался в пруду, дряхлая мать била его палкой, а все прочие стояли вокруг и хохотали. Выкупавшись, мужик пошел босиком по снегу домой, мать за ним. Как-то эта старуха приходила ко мне лечиться от синяков – сын побил».

……

«Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь».

Первый отрывок – из мелиховского письма. Второй из повести «Мужики», написанный тоже в Мелихове, весной 97-го года.

Не из одного мрака состояла жизнь тогдашней деревни. Но его было достаточно. Тьмы, грубости было достаточно. С ранних лет видел Чехов много тяжелого. Все это было на юге России, в Таганроге. Теперь он жил под Москвой, рядом с согражданами-крестьянами.

«Мужиков» писал медленно. Это одно из очень пронзительных его произведений. И очень важное. Важность его он и сам понимал. Позже, покидая навсегда Мелихово, говорил, что после «Мужиков» Мелихово для него исчерпано.

Пронзительность повести состоит в соединении грубости, ужаса даже, с чувствами светлыми и высокими. Чувства эти соединены с религией. Вернее даже, ею и рождены. Мужики бедны, грязны, напиваются и безобразничают, но они никак не звери. Конечно, бывший лакей в «Славянском базаре» Николай Чикильдеев, родом из этого же села Жукова, по болезни возвращающийся в деревню, жена его Ольга и дочь Саша

несколько выше жуковцев. Жили в Москве, кое-что видели, даже по Москве тоскуют в убожестве мужицкой жизни. (Ольга – первый вариант Варвары из более позднего шедевра «В овраге» – то же смирение и благообразие русской простой женщины: это знал он по своей матери, да и по тетке Федосье Яковлевне.)

Но вот и сами «мужики». У Чехова сказано:

«Мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное Писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей “вы”».

Ведь и те бабы, которым в Страстную Пятницу студент Духовной академии читал у костра Евангелие, тоже никогда раньше ничего не слышали.

В деревню принесли Живоносную икону. «Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили.

Громадная толпа и своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка… И старик, и бабка, и Кирьяк – все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

– Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки».

Плачет и протягивает руки к Живоносной тот самый Кирьяк, который бил безответную жену, и в пьяном виде снова будет ее бить, а самого его высекут в волостном правлении, и он в трезвом виде будет мучиться.

«Мужики» – ряд сцен, нанизанных на жизнь семьи Николая Чикильдеева в родной деревне, до его смерти. По устремлению общественному связь с «Моей жизнью» есть, но «Мужики» плодоноснее, ярче и непосредственней. В последних страницах кое-что вяло (рассуждения о мужиках), но самый конец все возносит. Пережив тяжелую, полуголодную зиму, после смерти Николая, Ольга с Сашей уходят из деревни Жуково, просто пешком, без копейки денег пробираются в Москву. Весна, солнце, в полях жаворонки. «В полдень Ольга и Саша пришли в большое село». Там Ольга выбирает избу, которая показалась ей получше, и останавливается перед открытыми окнами. «Поклонилась и сказала громко, тонким, певучим голосом:

– Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой».

Тот же вековечный нищенский припев тянет за ней Саша. И выходит как-то так, что смиренные голоса этих женщин говорят больше чем за себя самих: за всю нищую деревню и Россию.

* * *

Повесть выдержала сразу несколько изданий, вызвала мнения различные, произвела шум своеобразием своим, не подходившим под народническую выкройку. Но подумать только: вещь, полная сочувствия народу, даже с затаенными слезами (где-то далеко запрятанными), вещь, которая местами берет как раз смело-высокие ноты, на границе риска – вдруг приводит к тому, что какие-то «писатели», при баллотировке автора ее в Союз писателей, выступают против избрания.

Короленко, предлагая Чехову вступить в Союз, говорил, что это пустая формальность.

Но вот Короленко, сам народник, человек разумный и благожелательный, очень ценивший Чехова, тут просчитался.

Чехов все-таки был избран – только бы не хватало, чтобы его забаллотировали!

В судьбе же его жизненной «Мужики» тоже оказались знаменательны.

Кончив повесть, он поехал в Москву, как обычно. Там находился в это время Суворин, там жили Лавров и Гольцев, значит, «Большой Московский», «Эрмитажи», «Славянские базары»…

Должна была приехать и Лидия Алексеевна Авилова, молодая писательница из Петербурга, с которой были у него в это время какие-то нежно-запутанные сердечные дела.

Условились, что она зайдет к нему в «Большой Московский» вечером 23 марта. Она и зашла. К великому своему огорчению, дома его не застала. Показалось даже обидно: сам назначил и его нет.

Но Чехов виноват не был. В этот день, в 6 ч. вечера, он отправился с Сувориным в «Эрмитаж» обедать. Только что сели за стол, у него хлынула из горла кровь.

Обед расстроился, как и свидание с Авиловой. Суворин увез его с собой в «Славянский базар», там Чехов и провел ночь, очевидно неважную. Потом перебрался в «Большой Московский», но ненадолго: врачи велели переехать в клинику. Так что в конце марта он лежал уже на Девичьем поле в клинике Остроумова. В белой, чистой палате можно ясно представить себе похудевшего, тихого Чехова, спокойного и невеселого, конечно, но никак не

ноющего; может быть, только с большею, чем обычно, грустью. На столике у кровати письма, цветы, в комнате приношения. Сколько в Москве всякой снеди, сластей, пирожных, конфет от Флея и Абрикосова! А ему нужно питаться. И женские сочувственные сердца не иссякают.

Авилова явилась в первый же день, несмотря на запрещение, – от нее роскошные цветы. Разумеется, прилетела Мария Павловна.

А 28 марта произошло в клинике Остроумова даже некоторое событие: навестил Чехова Лев Толстой. Посещение, может быть, и поднявшее дух Чехова, но медицински неудачное. Толстой ни с чем не остался. Ему интересно было говорить о бессмертии души, он и говорил с тяжелобольным, сколько ему нравилось. Полагал, что бессмертие существует в высшем разуме и добре, где сливаются души после смерти. Чехова такое бессмертие не удовлетворяло, он говорил что-то свое, но главное – устал и разволновался. Толстой ушел, а у него в 4 ч. утра началось сильное горловое кровотечение.

Весна была ранняя. Перепадали небольшие дожди, близилась Пасха. В Москве звонили великопостным звоном. Авиловой самый воздух на улицах казался «упоительным», от дождя будто камни мостовой даже стали душистей. Может быть, оттого все казалось ей замечательным, что она любила Чехова, он теперь был в беде, женскому сердцу ее еще ближе, все вообще обостренней. В редакции «Русской мысли» она услышала, что ему очень плохо. За него просто даже боялись. И вот, прежде чем зайти опять в клинику, она стоит на Замоскворецком мосту, смотрит, как бежит внизу река со льдинками, и все у ней вертится в голове, как ему плохо. Вспоминает, что и письма свои, последнее время, он запечатывал печатью с надписью: «Одинокому везде пустыня».

Но ему не было еще назначено уходить. Московские светила так определили: верхушечный процесс в легких. Дело серьезное, но жить можно, надо питаться, не уставать, на зиму перебираться в теплые края.

Он пролежал в Москве всю первую треть апреля. Понемногу оправлялся. Но работать было запрещено, и «через Машу» он объявил в Мелихове, что медицинскую практику прекращает. «Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть».

При всем невеселом настроении не пошутить не может. Кроме легких, все остальное у него в порядке. «До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было невредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел

право пить. Какая жалость!»

Последние дни в клинике он уже выходил по утрам, направлялся в Новодевичий монастырь, на могилу Плещеева. (Вообще любил бродить по кладбищам – черта, никак не идущая к медицине его.)

«А другой раз загляну в церковь, прислонюсь к стенке и слушаю, как поют монашенки. И на душе бывает так странно и тихо!»

11 апреля, на Страстной, был он уже в Мелихове. Как раз в этом месяце вышла книжка «Русской мысли» с «Мужиками». Повесть для Мелихова оказалась прощальной, а для жизни Чехова – внешней и внутренней – поворотной. С этого времени и болезнь его углубляется, и утончается писание.

Приятель молодости Чехова «Жан» Щеглов, посетивший «Антуана» в Мелихове в конце апреля, – ужаснулся, как изменился он.

Этот Щеглов, писатель небольшой, но натура хорошая, Чехова очень любил и понимал правильно. По его мнению, «Антуан» стал меняться со смерти брата Николая с 89-го года, затем поездка на Сахалин в 90-м году и вот теперь эта болезнь – все усиливало «меланхолически-религиозную» ноту в нем, обостряло лучшие его черты и возвышало писание. Вспоминает Щеглов и мнение Гоголя о значении болезней – замечательно, что Чехов, не считая себя религиозным, крест болезни нес безропотно, покорно, мужественно: это облагораживало, одухотворяло. Щеглов верно заметил, что он лучше стал и писать.

В Мелихове это лето прожил покойно. Уже в конце мая считал, что оправился – «знакомые при встрече не всматриваются в лицо и бабы не причитывают, когда я хожу по деревне. Кашля почти нет…» В июле: «Я отъелся и уже поправился так, что считаюсь совершенно здоровым, и уже не пользуюсь удобствами больного человека, т. е. я уже не имею права уходить от гостей, когда хочу, и мне уже не запрещено много разговаривать».

Вопрос гостей так и будет преследовать его до могилы. Еще в клинике был у него проект: жениться. Именно для этого. «Быть может, злая жена сократит число моих гостей хотя наполовину». Но ничего не вышло. Не осуществилось и наступление на дам, мучивших своими пьесами («зазвать всех баб в магазин Мюра и Мерилиза и магазин сжечь»).

Подходит осень, из Мелихова надо уезжать, на этот раз за границу.

Осенью 97-го года для Чехова – это сперва Биарриц, потом Ницца и Ницца – 9, rue Gounod, Pension russe. Здесь он долго живет, всю зиму 97/98 года. Из подходящих ему людей – встречи

с Максимом Ковалевским, обеды у него в Болье на вилле. Наездом Немирович-Данченко (Владимир), Южин. В писании затишье, лишь кое-какие мелочи (но их он тоже старается отделывать: требует от «Русских ведомостей» корректуру рассказа «В родном углу»: «…исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны» – ритм фразы всегда у него своеобразен, это важная часть его художества. Он и Авилову упрекает за небрежность письма: «Вы не работаете над фразой; ее надо делать – в этом искусство»).

В общем же за границей ему невесело. Да и как весело может быть человеку, у которого, несмотря на весь южный климат, питание, тихую жизнь, по три недели бывает кровохарканье?

Русские в пансионе не очень нравятся. И вот пишет он письма, читает газеты. Дело Дрейфуса волнует и занимает его.

К Европе отношение очень «молодое», чтобы не сказать наивное. («От всякой собаки пахнет цивилизацией».) Дает он сестре Маше в письмах уроки французского языка. («Meme» значит «даже»; «de meme» – «также». «Поздоровавшись, ты говоришь: «Je suis charme de vous voir bien portant» – «Я рад видеть вас в добром здоровье».)

И этот же человек с чертами «молодости» сам пишет, ей же, несколько позже, что, хотя ему 38 лет, а такое чувство, будто прожил 89.

Восемьдесят девять, но вот ему интересно купить себе цилиндр, хочется и подарками угодить в Мелихове – он из-за границы всегда привозил своим разные вещи, с большим вниманием и любовью к этому относился. («Папаше соломенную шляпу купил, но без ленты». Марии Павловне платки.)

В общем, эта зима за границей мало дала ему для здоровья. Хуже оно не стало, но и не улучшилось. «В весе не прибавился ни капли и, по-видимому, уже никогда не прибавлюсь».

Весной вернулся, лето проводил в Мелихове. Спокойная, налаженная жизнь продолжалась. Мария Павловна хозяйничала, управляла имением. Евгения Яковлевна закармливала гостей, обольщала их лаской. Павел Егорыч вел дневник. «Рябая корова отелилась». «Сегодня обедали, все было вкусно. Разговоров было много. Росбив понравился Антоше». «Антоша приехал из Франции. Привез подарков много».

И, наверно, казалось, что всегда так и будет.

Осенью «Антоша» уехал в Ялту, зиму опять должен был проводить на юге. И поселился, и проводил. И никто из них, вероятно, не думал, что летняя запись Павла Егорыча: «Я уезжаю в Москву через Ярославль…» – будет последней.

Но так именно и вышло. 14 октября 1898 года помечена

телеграмма Антона Павловича из Ялты в Мелихово:

«Отцу царство небесное вечный покой грустно глубоко жаль пишите подробности здоров совершенно не беспокойтесь берегите мать – Антон».

В книге же бытия самого Павла Егорыча под 12 октября записано рукой Марии Павловны: «Сего месяца Павел Георгиевич Чехов скончался в Москве в 1 ч. пополуночи».

В свое время он обижался на «Антошу» за советы меньше есть. Может быть, особенно вкусную кулебяку спекла ему Евгения Яковлевна, или гусь был уж очень хорош, или еще что, только внезапно случилось у него «ущемление кишки». «Антоши» под рукой не было. Хватились поздно, везли со станции по рытвинам, в российской осени, по слякоти. В Москве сделали операцию, но было поздно. Павел Егорыч очень мучился. Конечно, был бы в Мелихове Антон Павлович, он бы не допустил до омертвения кишки. Но его именно не было, и у себя в Ялте он тяжело переживал эту смерть.

Кончилась долгая, тоже тяжелая его история с отцом. Многое тут приходилось преодолевать. И хотя держался он с ним всегда почтительно, но любви не было. Даже и простить не все мог. Теперь подошла смерть. «Чужая душа потемки» – слова самого Чехова. Простил или не простил? Ничего он не говорит об этом. Но по совокупности думается, что смерть сразу все унесла: давнее, горькое, просто унесла в потрясении.

«…Грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас. Что мать?»

«Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни» – это не напишет человек, у которого за пазухой камень. А «течение жизни» кончалось. Чрез несколько дней уже пишет он Суворину, что, вероятно, продадут Мелихово.

Здравый смысл был за это. Раз Антону Павловичу нельзя жить на севере, тогда проще всего устроиться с матерью в Крыму.

* * *

29 июня 1899 года, в 2 ч. дня Чехов написал Марии Павловне: «Был сейчас молодой Зайцев (…). Мелихово очень ему понравилось. Очевидно, Мелихово очень хорошее имение и жаль, что мы не запросили за него 40 тысяч или даже 50».

Да, это я ездил в Мелихово по поручению отца, по газетному объявлению (выбрал именно Чехова потому, что любил уже его и хотел посмотреть), – отец тогда покупал имение под Москвой. Это

я Чехова в Мелихове не застал, к самому Мелихову, как имению, остался довольно равнодушен, но все, что в нем было чеховского, начиная с Марии Павловны, через Евгению Яковлевну и приятельницу их Хотяинцеву, веселую художницу с узлом волос на голове, – все такое понравилось очень. Пусть там же почувствовал я, что вряд ли мы купим это серенькое именьице на ровном месте, без всякой привлекательности. Все-таки после веселого завтрака на террасе с хлопающей от ветра парусиной я ходил (из вежливости, от смущения?) с каким-то старостой осматривать владение. Видел флигелек Чехова, кажется, там было что-то вроде вышки, откуда он любил рассматривать звезды. Да еще уголок с темной аллеей в саду – тоже хорошо. Напомнило декорацию первого действия «Чайки».

Рядом село Мелихово. Мы были и там. Школу в селе этом выстроил Чехов. Церковь он украшал. Крестьян он лечил. Проводник мой не так был многоречив, все же рассказывал, и в самом тоне того, что говорил, было столько почтения к Чехову… Да, теперь еще больше хотелось его увидеть. Вернувшись, я спросил у Марии Павловны адрес его в Москве. Если в ней была капля наблюдательности, она, конечно, заметила, что это поклонник, а не покупатель.

И поклонник действительно позвонил у двери квартиры на Малой Дмитровке, в жаркий солнечный Петров день, и ему отворил худощавый человек в пенсне, с легкими спутанными волосами на голове, с умными и приятными глазами. Одет он был в коричневый костюм, воротничок пиджака поднят, будто ему холодно и он кутается, а была попросту жара. Негромко, баском сказал:

– Пожалуйте, пожалуйте…

И верно, что сразу же он очень понравился. Чем именно? Разве это можно объяснить? Выражением глаз, формой лица, улыбкой, вообще всем. Не помню, что я говорил ему о Мелихове. Но смущенную мою восторженность он понял так, что Мелихово такое особенное, за него надо просить не 15–20 тысяч, как делала Мария Павловна, а 40–50.

Нет, это была любовь не к Мелихову, а к нему самому. Мой грех состоял в том, что я напрасно отнимал у него время. Но меня вела любовь – быть может, в ней некоторое оправдание. Любовь привела меня к нему в тот день Апостолов Петра и Павла, когда, по его же желанию, Мария Павловна и «мамаша» служили панихиду по скончавшемуся рабу Божию Павлу (день его именин), уводившему теперь их всех из Мелихова.

Любовь Марии Павловны собрала все его письма, даже нежные. Но для кого неважные, а для кого и важные. В том же

письме от 29 июня есть такая фраза:

«Был я сегодня в Новодевичьем. Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась».

Значит, в то самое утро, когда я к нему явился, он только что вернулся из Новодевичьего.

Ему и раньше там нравилось, теперь связывала и могила отца. Думал ли он, что и ему самому скоро придется здесь лечь? Этого я не знаю. Как не знал тогда и того, что в летописи литературы нашей сохранится – для меня лишь важный – день первой моей встречи с Чеховым.

Мария Павловна продала Мелихово тем же летом. Но не нам.

# Художественный театр

Началось все это с малого, а получилось большое. Кучка любителей ставила своими силами спектакли в том Охотничьем клубе на Воздвиженке, что знаком каждому московскому человеку моего возраста, – просторный особняк рыже-коричневого цвета в глубине обширного двора с решеткою на улицу. Это барский дом, принадлежавший Шереметьевым. В девяностых годах сдавался он под балы, спектакли, маскарады.

Константин Сергеич Алексеев, актер-любитель, энтузиаст с Хивы за Москва-рекой, и Владимир Иванович Немирович-Данченко, драматург и режиссер, – это и были отцы Художественного театра. Его история есть образ всех дел, движимых увлечением, преданностью и талантом. Сперва всё робко, чуть не на волоске, а потом крепнет, подбираются участники, растет вера в успех. И рождается задуманное. Так вышло и тут. В какую-то минуту в клубе оказалось тесно, надо открыть свой театр.

С весны 97-го года начался набор пайщиков для поддержки его. Шел он довольно медленно, все же летом 98-го года репетировали уже к зимнему сезону.

Чехов знал и Алексеева-Станиславского, и Немировича. Очевидно, в их театр поверил, сразу дал свой пай. Но этого еще мало. Новому театру, выступавшему с новыми приемами в простоте, жизненности постановок и исполнения, нужен был новый, современный автор.

Немирович знал «Чайку» и раньше, очень ценил и хотел ее для театра. Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомысленным, свежим и смелым.

«Чайку» не он один оценил, несмотря на ее неуспех в Петербурге. Но нужна была его воля, упорство и сила, чтобы пьесу достать и поставить.

Препятствий оказалось два: нежелание Чехова и непонимание Станиславского.

При Чехове трудно было и заикнуться о «Чайке» – слишком у него наболело. Но Немирович весной 98-го года не только заикнулся, а в упор попросил «Чайку» для первого же сезона (открывали «Царем Федором Иоанновичем»). Чехов отказал: не желает больше театральных волнений. Немирович написал ему вторично, 12 мая: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, т. к. “Чайка” единственная современная пьеса, захватывающая меня, как режиссера, а ты единственный современный писатель,

который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».

На этот раз Чехов ответил по-другому, будто и полушуткой, приглашением приехать к нему в Мелихово, за что он готов отдать «все свои пьесы». «Чайка» прямо не упоминается, но Немирович понял, что ставить ее можно.

Значит, оставался Станиславский. И получилось замечательно. Станиславский сам говорит: «к стыду своему, я не понимал пьесы». Это еще не так удивительно, в литературе он вообще мало понимал, особенно в высших ее областях. Но все-таки занялся мизансценами непонятой (и, значит, нелюбимой) пьесы. Уехал летом в Харьковскую губернию и оттуда присылал эти мизансцены в Москву, где начали уже репетировать. В августе «Чайка» вошла в репертуар, а труд Станиславского – через силу и наугад – оказался первостатейным.

Так начинала «Чайка» свою вторую жизнь, воскресала из поношения, и опять ее судьба соединялась с судьбой и жизнью самого Чехова. 9 сентября он приехал из Мелихова в Москву. Извозчик подвез его к подъезду Охотничьего клуба в ту же самую минуту, что и Лужского – Сорина в «Чайке». Они не были еще знакомы. Лужский узнал его по портретам. Чехов вообще ни с кем в труппе не был знаком, кроме Станиславского. В этот-то вечер Немирович представил ему Роксанову, Книппер, Лилину, Лужского, Тихомирова и других (Артем позже вошел в состав).

Из всех них запомнил он сразу, и теперь уже навсегда, Ольгу Леонардовну Книппер, молодую артистку, едва начинавшую, весьма даровитую и с большим женским обаянием. Она играла не Чайку (Нину), а Аркадину, играла отлично, но не в том было дело.

В Москве Чехов пробыл до 14-го. Вечером с курьерским поездом, который идет мимо Андрониева монастыря и завода Гужона на юг, в Крым, проносясь мимо Царицына с екатерининским дворцом, мимо березовых рощ Бутова и чеховской же Лопасни, он уехал в Ялту, не зная еще, что отца уже больше никогда не увидит, что Ялта станет всегдашним его пристанищем, а молоденькая актриса Книппер последним прибежищем.

За эти несколько дней он в Москве видел и репетиции «Царя Федора». Работа над этой пьесой зашла далеко, много дальше, чем в «Чайке». Чехову очень понравилось. «Перед отъездом я был на репетиции “Фед. Иоанн.”; со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым;

Годунов и Шуйский хороши. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы “эту Ирину”».

Царя Федора играл Москвин. Сказать про лучшего актера Художественного театра «плоховато» можно, только будучи ослепленным Ириной. Так оно и случилось.

Премьера «Царя Федора» почти совпала с кончиной в Мелихове Павла Егорыча. Немирович с артистами послал Чехову соболезнование. В ответном письме Чехов благодарит и пишет об их первом успехе: «Я очень, очень рад, так рад, что ты и представить себе не можешь». Он читал уже у себя в Ялте отзывы газет. Не совсем доволен только одним: «Отчего не пишут об Ирине-Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной; теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине».

«Царь Федор» шел хорошо и делал сборы. Но только он. Другие пьесы не удерживались в репертуаре. А «Ганнеле» не пропустила духовная цензура. Дела театра оказались очень зыбки. В запасе одна «Чайка», на нее все надежды. Если она провалится, то чуть ли не конец театру.

Разумеется, все очень нервничали в день первого представления. Мария Павловна помнила вечер в Александринке и билет свой передала брату Ивану. Но все-таки не утерпела и во время первого действия пробралась к брату в ложу.

Станиславский так волновался, что когда, сидя на сцене спиной к залу, слушал монолог Нины, должен был рукой поддерживать ногу, чтобы не очень дрожала. От всех артистов пахло валерианкой.

Публики было мало. Но слушали первый акт внимательно, Мария Павловна в ложе чувствовала, что здесь что-то другое, не так, как в Петербурге. И ей самой очень нравилось.

Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная, – еще шаг, и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось: зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в исступление.

Критик Эфрос вскочил на стул, «кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму».

В самой «Чайке» есть слова Дорна: «Как все нервны! Как все нервны!» – они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и «переживали»: весь просвещенный, средний (интеллигентский) слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминание, но тогда было именно

так. «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы, и друг друга они поняли. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебывали на этой «Чайке» в первый же сезон, и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр: потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, «переживать».

Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами – страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса пускались в дикий пляс, опять-таки Станиславский бесновался первый.

«Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней, с ветрами, с бурным морем, Ялте. Ему отправили телеграмму от зрителей. И потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верная Мария Павловна, сам Немирович, Вишневский – бывший товарищ по гимназии в Таганроге, – кума Щепкина-Куперник, все радостно приветствовали. «Ах, если б Вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на “Чайке” и видеть всех вас! Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи» (Вишневскому). «И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о “Чайке”, были Вы, милая, незабвенная кума» (Щепкиной-Куперник).

Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями: Книппер заболела и некем было заменить ее, но потом все наладилось и успех оказался огромным.

Театр с нескладным названием «Художественно-Общедоступный» помещался в Каретном ряду, в доме Мошнина.

Перед зданием театра («Эрмитаж») была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Все это происходило именно в России.

* * *

Довольно давно, осенью 89-го года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего «благовестителя» Григоровича – тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только

еще начинался. Владели им и навыки прошлого.

Плод получился поучительный. «Иванов» написан годом раньше, тоже очень скоропалительно, но в сравнении с «Лешим» это совершенство. Прошел год, и за этот год Чехов как драматург не только не пошел вперед, а отступил назад. «Леший» есть некий хаос, смесь невысокой драмы с повестью и водевилем. Читая его, вспоминаешь местами Чехонте, хотя Чехов написал уже «Степь», «Скучную историю». Собственно «Чехова» в этом «Лешем» едва узнаёшь.

Автор получил тысячу рублей гонорара, пьесу поставили в Москве у Абрамовой и Соловцова. Она не провалилась, как позже в Петербурге «Чайка», однако этим дело и ограничилось. Ленскому он написал, что «Леший» идет 31 октября в Александринском театре. Но проявил тут неидущую к нему самонадеянность: пьесу просто не приняли. Председателем Литературно-театрального комитета был тот самый Григорович, который приветствовал его приход в литературу. Он же и забраковал теперь «Лешего». Чехов очень обиделся, назвал его «двоедушным», и отношения их испортились. Но Григорович был прав. Чехов сам скоро понял, что пьеса слаба. Печатать ее раздумал. А позже был просто в ужасе от нее.

Все-таки что-то в этом произведении задевало его. Оставалось какое-то зерно, ему надлежало прорасти.

Произошла странная, если не сказать удивительная, вещь: из «Лешего» развился «Дядя Ваня». Но за эти годы – с 89-го по 96-й – из одного Чехова вырастал другой, заслоняя прежнего. Умер брат, побывал Чехов на Сахалине, остался след Лики, провалилась «Чайка», углублялась болезнь.

Он вернулся к «Лешему». Но вернулся тайком. Нигде в письмах не поминает он «Дядю Ваню», а обычно отписывал даже о мелких вещицах. Тут как бы прячется. Почему? Непонятно. Много позже, когда «Дядя Ваня» уже прогремел, сообщил Дягилеву даже неверную дату: будто написал пьесу в 90-м году.

Может быть, в 90-м и пробовал что-то, но сделал по-настоящему к концу 96-го. (Письмо Суворину от 2 дек. 1896 года: «…неизвестный никому в мире «Дядя Ваня». Примечание редактора: «Чехов тогда только что закончил переделку своей старой пьесы “Леший”, дав ей название “Дядя Ваня”». Откуда известно это редактору, я не знаю. Но считаю, что он прав. Чехов и Горькому, как Дягилеву, писал, что «Дядя Ваня» написан «давно». Может быть, разумел тут странного предка «Дяди Вани» – «Лешего»?)

Про «Дядю Ваню» неправильно сказать, что это только «переделка». Чехов сам не любил, чтобы «Дядю Ваню» называли

переделкой, и был прав: явилось на свет Божий нечто новое, хотя 2–3 сцены и близки к «Лешему». В общем же все овеяно другим духом, написано возросшим человеком.

Две линии идут в «Дяде Ване», они связывают пьесу с прошлым Чехова и с будущим его. Доктор Астров жалеет леса и истребление их так же, как в давней «Свирели» скорбел пастух Лука Бедный. И, насаждая свои питомники, Астров, в преддверии «Трех сестер» и «Вишневого сада», мечтает о будущем, «через сто, двести лет», и даже его занимает, будет ли счастлив человек «через тысячу лет».

Есть и мотив бездельно-томящихся, неплохих, слабых людей (Елена Андреевна) – первый звук будущего «в Москву, в Москву!».

По-настоящему же украшают жизнь некрасивые и смиренные. (В эту сторону Чехов пойдет с годами дальше и дальше.) Их в пьесе трое. Как бы целая партия: Соня, Телегин (Вафля) и нянька. Телегин, у которого лицо в оспинках и от кого давно сбежала жена, жалуется няньке, что его назвали приживалом. «И так мне горько стало». Нянька ему говорит: «А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживалы».

Астров думает о тех, кто будет жить после «нас», и вот те, «для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!»

Нянька отвечает ему:

«Люди не помянут, зато Бог помянет».

Нянька эта замечательна. В ней есть простота и свет, как в о. Христофоре. Она всех утешает, всех согревает, так же естественно, как делали это и Евгения Яковлевна Чехова, и сестра ее Федосья Яковлевна, которую считал Антон Павлович святою.

Некрасивая девушка Соня, влюбленная без надежды в Астрова, в тяжкую минуту прижимается к этой же няньке Марине («Нянечка! Нянечка!» – «Ничего, деточка». «Дрожишь, словно в мороз!.. Ну, ну, сиротка, Бог милостив»).

И при той же няньке Соня заключает пьесу прославленными словами, которые из уст Лилиной слушал театр в глубочайшей тиши, в сдержанных слезах и волнении:

«Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую (…) Мы отдохнем».

Занавес медленно задергивался, сходился с двух сторон к середине, обнаруживая на своем сукне чайку, символ театра. А в зрительном зале мелькали у женских глаз белые платочки. Кой-где плакали и откровенно.

Вот что вышло из «Лешего», где дело кончалось двумя водевильными свадьбами.

«Дядя Ваня» писался укрыто, нежданно явился в 97 году в сборнике чеховских пьес (у Суворина), сразу пошел в провинцию. Как там играли его, не знаю. Но он имел успех, сильно шел. Чехов удивился этому.

Лишь в 89-м году монументально-величественный Южин, поклонник «Эрнани», пожелал его для Малого театра. Одновременно пожелал и Немирович для Художественного. Чехов был смущен, не знал, как поступить. Помогла бестактность дирекции Малого театра (желали переделок для третьего акта). Пьеса досталась Немировичу. 26 октября 1899 года явилась она на сцене Художественного театра. Станиславский играл Астрова, Книппер Елену Андреевну, Лилина Соню, Войницкого Вишневский, Вафлю Артем, няньку Самарина – разошлось превосходно. Может быть, лучше всех была Лилина, Мария Петровна Алексеева-Станиславская, жена Константина Сергеича. Простая, очаровательная, так была верна, трогательна во всех своих словах, действиях. С Артемом Чехов не был еще знаком, когда писал пьесу, а написал, будто сшил для него по мерке. Смиренные заслонили собою всех, но вся пьеса вообще есть прославление смиренных.

Хорошо разыгрался и самый «оркестр» Художественного театра – исполнялось как музыкальное произведение, как музыкальное и доходило в зрительный зал. Теперь уже, видимо, не было таких треволнений, как с «Чайкой». Театр мужал, креп, уже прочно сложились друзья в публике, даже энтузиасты. Успех был большой, и опять Чехов сидел в одиночестве в своей Ялте – слава лишь доносилась.

В «Дяде Ване» есть черты, волнующие всякое незастывшее сердце. Может быть, особенно пронзала пьеса эта многих из провинции (приезжали в Москву – сейчас же шли в Художественный театр), задымившихся, как будущие сестры, в медвежьих углах, так нуждавшихся в утешении, любви. В «Дяде Ване» есть именно утешение и любовь. Сколько Сонь из глуши, попадая в Москву на Святки, плакало в этом Художественном театре над этой Соней из «Дяди Вани».

* * *

Все развивалось правильно. В литературе явился Чехов, в театре – Художественный театр, именно к тому времени, когда Чехов стал зрелым художником.

Силен ли он как драматург? Это другой вопрос, мнения могут расходиться, во многом зависит это от того, чего хотят от драматурга. Толстой очень любил Чехова, но находил, что для театра он пишет «хуже даже Шекспира». Несмотря на Толстого, театр принял Чехова. Пьесы его прошли по всей России, а теперь со славою идут по всему миру.

Встреча же Чехова с Художественным театром произошла неспроста: это уже судьба. Нужно было им встретиться – встретились. И определили собою эпоху. Если бы Чехова всегда ставил Евтихий Карпов в Александринке, Россия не услыхала бы голоса Сони. Это сделал Художественный театр. Если бы не было Чехова, сам Художественный театр не стал бы национально-русским, внедренным в русскую душу и литературу. Можно отлично играть Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, но это не значит быть национальным театром.

«Дядя Ваня» прошел все же не с таким триумфом, как «Чайка». В критике, в общем благоприятной, были оговорки. Книппер нервничала, ей казалось, что она взяла не совсем верный тон – писала об этом Чехову. Чехов успокаивал и ее, и других, отвечал спокойно (и грустно). Но понимал, что это все, весь спектакль есть именно успех, прочный и уже долговечный. «Чайка» поразила неожиданностью. Теперь театр утвердился, у него есть лицо, есть правдивость чувствования, скромная простота и жизненность в исполнении. И есть музыкальная стихия. Этот театр – оркестр, чеховские поэмы-пьесы как раз для него и созданы, хотя создавались, когда его еще не было.

Поэтому неудивительно, что именно «Чайка» и «Дядя Ваня» легли в основы его. Не зря на занавесе театра, на серо-коричневых сукнах, бесшумно раздвигавшихся, открывая сцену, летела белая чайка.

# Ялта

«Я зимую в Ялте. Здоровье мое сносно, но в Москву меня не пускают, и вероятно, все будущие зимы, если буду жив, придется проводить здесь».

Это написано из Ялты 2 января 1899 года.

А через три дня: «Я купил себе участок в Верхней Аутке по пути в Исар и Учансу».

Пока же что живет в самом городе. А на участке, несколько выше, как бы в предместье Ялты, начинается постройка дачи – теперь уж для окончательного устройства здесь. Мелихово еще не продано, появляются разные проекты, например, купить для Марии Павловны дом в Москве, но сам он чувствует, что он-то прикован уже к Ялте. Так оно и оказалось. Дóма в Москве не купили, Мелихово осенью продали, Антон же Павлович прочно засел в Ялте.

Только что блестяще прошла «Чайка» и блестяще продолжала идти, делая сборы.

«Гул славы» в Ялту доносился. Чехов к нему не был равнодушен, этого не скрывал. Восторженная статья кн. Урусова в «Курьере», адрес, письма из Москвы, очевидно разговоры и шум в самой Ялте, все возбуждало. «Я словно изнемог», довольно знаменательно для Чехова (не очень-то распространявшегося о чувствах). «Если бы я не жил в Ялте, то зима была бы для меня счастливейшей в жизни».

Если бы не жил в Ялте… а между тем не только жил, но и пускал корни.

«Мне скучно». «Скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю». Но таков уж для него ход истории: болезнь свое дело делает и другого выхода, как зимой жить на юге, для него нет. Слава растет, растут средства, а жизнь убывает.

Действительно ли из-за совета Толстого или потому, что Чехов явно шел в гору, но Маркс, издатель «Нивы», предложил ему 75 тысяч рублей за полное собрание сочинений. Договор подписали, часть денег он получил тотчас, остальные в недальние сроки. Все это, конечно, отлично. И все-таки, все-таки… – Чехов сам был врач, в Ялте сколько угодно было чахоточных, их присылали сюда с севера. Иногда приезжали они на последние гроши, иногда в безнадежном уже состоянии. Всё это товарищи по несчастью, и сколь многих направляли именно к нему с письмами московские врачи. Не таков он был, чтобы отказывать, некоторых навещал лично, старался устроить, но, в общем, для человека

полубольного, иногда сумрачного и слабого, всегда почти утомленного бремя получалось нелегкое. Да и ему самому говорило все о том же, о том же.

Дом строился быстро и благополучно. Место приятное, над Ялтой, у самой Аутской дороги, с далекими видами. И предгорья, и горы, и полоса моря. Чехов считал, что дача его «в 2½ этажа» – белое строение южно-дачной архитектуры, довольно приятного вида, с небольшими комнатами, но и балконами, в общем удобно. С террасы отличный вид. Разумеется, сад.

Антон Павлович, как и в Мелихове, понасадил туда всякого добра, только здесь уже южного. Часто пишет он Марии Павловне о постройке. «Делать ли у тебя в башне паркетный пол?» «Аутская дача будет и красива, и удобна. Тебе и мамаше очень понравится. К твоему приезду, т. е. к июню, будет уже все готово». А потом оказывается: «Подрядчик говорит, что дом будет готов гораздо раньше августа».

Нельзя сказать, чтобы гораздо, но в конце июля: «Ялтинский дом очень хорош. Виды со всех сторон замечательные, а из твоей комнаты такие виды, что остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше. Флигель готов совершенно». (Из чего следует, что дом еще не совершенно.) «Все деревья, которые я посадил, принялись. Конопля, рицинусы и подсолнухи тянутся до неба».

Но вот и конец августа, а дом не готов. В комнате «Маши» настилают паркет. Хотели начать оклеивать обоями, но он остановил: пусть сама выберет обои. Обещано, что у нее и «мамаши» все будет кончено к 1 сентября. А пока живет он во флигеле. Нанял турка Мустафу, вроде дворника. Но с едой не вполне налажено. В город спускаться далековато, так что по-настоящему обедает он не каждый день. Все-таки и постройка, и возня в саду развлекают.

Собственными руками посадил он сто роз, лучших сортов. Пятьдесят пирамидальных акаций, много разных камелий, лилий, тубероз – цветы Чехов всегда любил, еще в Мелихове занимался этим.

Наконец, в первых числах сентября (99-го года) Мария Павловна привезла ему «мамашу». «Помаленьку размещаемся в большом доме. Становится сносно».

Полвека назад мне пришлось побывать в этом доме. Я видел только кабинет Антона Павловича – и самого хозяина.

Как тогда полагалось, в кабинете этом турецкий диван, много фотографий на стенах. Темные обои, на столике разные мелочи, безделушки. Большой камин, над ним Левитан написал пейзаж – русский вечер, стога на лугу, подымающаяся луна. Письменный стол с чернильницей, свечами в подсвечниках, на столе моя

рукопись, на нее капнуло стеарином со свечи, – и сам все тот же Антон Павлович Чехов в пенсне, на диване, молчаливый и прохладный, но в конце концов ободряющий: вечный образ старшего писателя, к которому притекает новичок – на этот раз уже не лжепокупатель.

Сколь могу судить, дом спокойный, без роскоши и размаху, но удобный, изящный и, как Чеховым полагается, скромно-благообразный. Для Евгении Яковлевны весь этот Крым, горы, татары казались, конечно, экзотикой, не близкой и не православной. Да и Павла Егорыча не было. Не было, в сущности, всей ее полувековой жизни с ним. От Павла Егорыча здесь остался один (главный) след: икона Иоанна Богослова, которую написал он еще в Мелихове. Антон Павлович сам приказал почему-то привезти ее сюда.

В октябре возил он мать и сестру смотреть Кучукой – дачку с клочком земли, которую прикупил так, между прочим, из-за красоты местности. Но дорога туда шла по такой круче, что Евгения Яковлевна была просто в ужасе и все время молилась. Кучукой и ей и Марии Павловне очень понравился. Все-таки Антон Павлович с ним промахнулся: для спокойных, великорусско-мелиховских душ это слишком пряно. Никогда они там и не жили.

Мария Павловна в октябре уехала в Москву. Чехов остался с матерью. Он очень любил ее, как сын был внимателен и почтителен, из путешествий всегда привозил подарки, поздравлял в письмах с именинами, здесь устроил ее отлично и для нее вывез из Московии Марьюшку, какую-то Доримедонтовну, облики прежней жизни в Мелихове. Но ее мир и его – слишком разные. Вряд ли мог даже он с ней о чем-нибудь разговаривать, кроме хозяйства и повседневности. Повседневности очень уж много и в его отношениях с сестрой, даже не слишком ли. Что же сказать про Евгению Яковлевну, кроме только того, что все же лучшими подспудными своими чертами он обязан именно ей.

Во всяком случае, он чувствовал себя в этой новой жизни одиноко. Несмотря на удобный дом, близость матери, на успехи, было у него чувство изгнания и тюрьмы. Где-то на горизонте Москва, Художественный театр, «Дядя Ваня», Книппер («если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину») – с ней переписка становится более постоянной. Там жизнь, театральные успехи и треволнения. Здесь он морит мух у матери персидским порошком, смотрит, как татары «усердно работают», выбирают какой-то щебень. У забора дорожка обложена камнем – события все замечательные.

Сестре он почти всегда писал, еще в мелиховские времена,

или о керосине, или об изразцах; купи фунт свечей, коробку сардинок, заплати какому-нибудь Роману полтора рубля. Появляющейся Книппер не совсем так. «Ночью был пожар, я вставал, смотрел с террасы на огонь и чувствовал себя страшно одиноким».

Но вот в ноябрьском письме сестре есть кое-что и по существу. «Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь; точно не знаешь, какая скука, какой гнет ложиться в 9 ч. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы».

«Пианино и я – это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть».

Но тут он ошибался. Пианино безмолвствовало, а «предмет» как раз здесь и замыслил и написал повесть «В овраге» – украшение нашей литературы.

* * *

Суворин был самый даровитый из всего окружения Чехова (кроме Левитана). «Большой человек», – говорил о нем Чехов. Письма к Суворину самые интересные из всей чеховской переписки. О том, что Суворин значил для литературной молодости Чехова, уже говорилось.

Но жизнь есть жизнь – вечное перемещение. Друзья приходят, и друзья уходят.

Да и вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил. В жизни его на место одиноких «друзей» без особых драм появляются другие, если не друзья, то заместители.

Беда Суворина была «Новое время», газета пренеприятная. Чехов сам много в ней печатался, но многое и тогда его раздражало, начиная с Буренина. Тон цинический, издевательский никак не мог ему нравиться. И чем дальше, тем больше. «Новое время» – выразитель правительственного и чиновного Петербурга – все менее ему подходило.

Чехов политикой не занимался, но симпатии свободолюбивые у него были. На Сахалине и на Дальнем Востоке он многое увидал такое, что «Новому времени» тоже не подходило. «Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам» – нововременцы были именно сытые и прихлебатели, как-то они неприятно лоснились.

В девяностых годах медленно, но неуклонно отходил Чехов в другую среду – «Русская мысль». «Русские ведомости» –

либеральная интеллигенция того времени. Подошло дело Дрейфуса, подошли студенческие беспорядки. «Новое время» заняло крайнюю позицию. Чехов оказался на одной стороне. Суворин на другой.

В России же вообще «начиналось» нечто. Отживал один век, начинался другой. Страшные потрясения близились.

«Гордо реет буревестник, черной молнии подобный» – трудно представить себе что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой «Буревестник» (стихотворение в прозе, с убогим ритмом), но это было роковое произведеньице, как роковым оказался и сам Алексей Максимыч Пешков (Горький) – воплощение дешевого романтизма революции. Почва же для революции была. Само «Новое время» готовило ее. А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам. (Что говорить о малых сих: Горьким увлекались Станиславский, Ермолова.)

Чехову он, конечно, не нравился, не мог нравиться. Но вот все-таки Горький с ним познакомился, стал кадить ему, держался как преданный, верный ученик. Все это действует, конечно. Да Горький был и очень даровит. Из середины выделялся. Много видел, много пережил, не лишен был черт душевности, даже сентиментальности. В некоем смысле Чехову было с ним интересно.

Горький оказался связью Чехова с миром, ему вовсе не подходящим, куда он, собственно, и не вошел, но соприкоснулся: с марксистами. Считал, что они «рыжие» – главный их признак. Бегло упоминает еще о «марксистах с надутыми физиономиями». Но появляются первые марксистские журналы «Начало», «Жизнь» – и в этой «Жизни» повесть Чехова «В овраге». О ней Горький написал восторженную статью.

От Чехова ничего не убавилось, что он напечатал в «Жизни» свою повесть. В некоем роде далее прибавилось. Лишний раз показал он себя как человека: в объявлении журнал выдвинул имя Чехова крупным шрифтом. Как и раньше, в случае сходном, Чехов написал и этому редактору (Поссе): не надо выделять, пусть будет он как все, как сотоварищи.

Для марксизма могло быть в повести интересно только внешнее: что Цыбукин «кулак», что в его лавке продавали иногда тухлое, что рабочие жили плохо, а фабриканты Хрымины хорошо.

На самом деле все сложнее. Конечно, Уклеево, село стоявшее в овраге, тем лишь и было известно, что там на поминках дьячок съел всю икру, – это село Яма. Но и над Ямой бывают звезды, бывают и такие закаты, которые никак не похожи ни на лавку, ни на фабрику. Золото их, неземная прозрачность, невероятная нежность облачков, блеск креста в солнечных лучах говорят о

лучшем мире. Говорят о нем (собою, своим обликом) некоторые и люди – не одни Аксиньи там живут, не одни фабриканты и лавочники.

Предтеча повести этой, конечно, «Мужики». Но тут взято еще острей, ближе и написано еще совершенней. Нет крестного хода с Живоносною, но показаны те, в ком живет Живоносная. Есть облик Матери-Девы (хотя Липа замужняя и у ней ребенок), есть и вечная трагедия Матери. Что тут делать марксизму?

Зло, и грубость, и жадность, жестокость внешне победительны. Но, как и в «Дяде Ване», внутренне побеждают смиренные и святые. Партия Аксиньи, Цыбукина, Хрыминых – это одно, а Варвара, Костыль и особенно Липа – другое. Во внешнем всегда правят и будут править одни, во внутреннем всегда побеждать другие. В жизни оврага они гонимы, нищи и незаметны. Они заметны и сиятельны только в золотом закате над оврагом. Аксинья может отлично обварить из злобы младенца Липы, и в овражной жизни это ей проходит безнаказанно, даже она и преуспевает потом в союзе с Хрымиными. Но вверху побеждает Липа.

Когда безвинно погиб от людской злобы младенец Никифор и Липа несет тельце его из больницы домой в Уклеево, ей встречаются ночью у костра мужики, старик и парень. «Кому повем печаль мою?» В раннем рассказе старик-извозчик поведал своей лошади. Здесь молодая женщина случайным людям. Да, она рассказывает.

«Старик поднял уголек, раздул – осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

– Ты мать, – сказал он. – Всякой матери свое дитя жалко.

Потом опять стало темно, длинный Вавила возился около телег.

– Вы святые? – спросила Липа у старика.

– Нет, мы из Фирсанова».

Старик не пророк и не святой. Он «из Фирсанова» – в этом весь Чехов. Но самый тон разговора таков, будто дело происходит не близ Фирсанова (чтобы не сказать Мелихова), а в Самарии или Галилее.

Старик взял Липу с собой в телегу, подвез. И тут, под русским небом, в тишине звезд наших происходит разговор, возводящий к Священному Писанию (хотя о Писании этом не сказано ни слова).

Липа рассказывает, как весь день мучился ее ребенок. «Господи батюшка, Царица Небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой

человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

– А кто ж его знает! – ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

– Всего знать нельзя, зачем да как, – сказал старик. – Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух летать способна; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает».

Больше он ничего не говорит, но подразумевается: знать нам не дано, а принимать надо. Собственно, начинается уже книга Иова.

Никогда старик из Фирсанова не читал Иова, вряд ли читал его и Чехов, но смысл все тот же, Бог тот же, лишь Новозаветный, та же и тайна судеб наших (за что? почему?). Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода.

Иногда ведет этот вопль к возмущению, бунту: не приемлю судьбу, восстаю, возвращаю билет. Не так с этой Липой. Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет – вот мир и свет, через само страдание, к ней сходят. В доме Цыбукина, в зловонной Яме, только лишь Варвара в келейном своем углу нерушимо противостоит злу. Все остальное разваливается. Муж Липы Анисим в тюрьме – фальшивомонетчик. Старика Цыбукина, ослабевшего с годами, выгоняет та же Аксинья, и он все теряет – но конечная судьба этой Аксиньи тоже пока неизвестна.

Липа не живет больше в доме Цыбукиных, она так же бедна, как и ее мать, но Царство Божие именно в них, как и в подрядчике Костыле: мир души, свет и благоволение.

Вот как кончается повесть: вечер, очень светлый и ясный. Бабы и девки возвращаются домой со станции, где нагружали вагоны кирпичом. «Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился и можно отдохнуть».

Спускаясь в Уклеево, в этом златистом осеннем вечере, встретили они старика Цыбукина. «Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поровнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

– Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился, и ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с

кашей и подала ему. Он взял и стал есть. (…) Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».

Это и есть конец той удивительной повести, которая начинается дьячком, съевшим всю икру, а кончается словом: «крестились».

Чехов милует в этом своем писании и фальшивомонетчика Анисима (из тюрьмы приславшего лишь строчку: «Я все болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа» – строчка как бы зачеркивает сразу его грехи), и старика Цыбукина, тоже много грешившего, а на старости лет принимающего подаяние нищей снохи.

На всей повести лежит некий волшебный оттенок. Над уклеевской Ямой странным образом летит – именно летит, а не проходит, почти невесомый облик Липы, то в звездной ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с торжествующей песнью и смиренной любовью. Так она в сердце и остается. Можно сказать: Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского оттенка.

* * *

«Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет» – это написано в январе 1900 года. В том же январе избрали его почетным академиком по разряду изящной словесности, вместе с Толстым. Толстого нельзя было удивить никакой академией – он даже не поблагодарил за избрание. Чехову, в скучной ялтинской жизни, это могло служить развлечением. Но вряд ли больше. Двенадцать лет назад Пушкинская премия взбудоражила всю его семью. Теперь обошлось тихо.

Антон Павлович кратко поблагодарил, в письмах же отзвуков мало. Вот первый: «Я, начиная с 17 января (день именин и возведения в бессмертный чин) был болен и даже подумывал, как бы не обмануть тех, кто выбрал меня в “бессмертные”, но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей».

Потом отдышался и в феврале пишет В.Н. Ладыженскому уже веселее. Тот поздравил его с избранием. Чехов ответил очаровательным письмом – он Ладыженского, поэта и пензенского земца, видимо, любил (да не любить Владимира Николаевича было и трудно разумному человеку). Чехов всегда его дружески дразнил, считал, что он порет мужиков, и т. п. Письмо так и начинается: «Vive Penza! Vive monsieur le membre de L’hotel de Zemstvo! Vive la punition corporelle pour les moujiks!»[75]

Ладыженский был добрейший русский либерал прошлого века, в хорошем смысле барин. Чехов писал ему, например, так: «Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки». «Прощай, как человек, но наказывай, как дворянин».

Дальше в ответном письме так сказано: «Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академики и позволяю себе выразить тебе сердечное соболезнование по поводу того, что ты не был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит санкт-петербургский. «Пензенских, – говорил он, – нам не надо».

Самому Чехову по-настоящему «надо» было тоже не пензенских. Самое интересное для него теперь – Художественный театр, в нем одна актриса, Ольга Леонардовна Книппер.

После «Дяди Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было, в письмах он отговаривался (по словам Станиславского) тем, что не знает, в сущности, их театра – действительно, видел только раз «Чайку» в мае 99-го года, для него ставили, без публики. Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так все и вышло.

На Страстной двинулись из Москвы табором: жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице Киста, наводнили собой, разумеется, все – и у Киста, да и для города это было событием. Билеты шли нарасхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны.

Привезли с собой «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Гедду Габлер» Ибсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский простодушно (чтобы не сказать больше) сообщает, что разговелись очень весело, потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения «пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря». Не хватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал, после Пасхальной заутрени, «Буревестника».

За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Все-таки он на второй день Пасхи приехал. Они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании, удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел, воротник пальто поднят, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал, как всегда:

– Я совсем здоров.

И, вероятно, посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Делали

они это по непониманию, к нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе Художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да и не одни актеры, публика тоже.

Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все это трудности мелкие. Главное, был успех, успех большой.

Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, все это было большим развлечением, особенно после скуки Ялты. Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром, на солнышке – грелся. Острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов «был в отчаянии», но все-таки выходил.

Насчет отчаяния, думаю, преувеличено.

Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но все-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, к толпе делали для него стеснительным самое появление перед публикой – это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге освистали «Чайку». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского.

Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными.

Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое: восторги, поклонение, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью собой восхищавшимся, был Вишневский, – все это в свободные часы толклось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чаи – непрерывно. В Ялту съехались и писатели: Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель «Журнала для всех» Миролюбов, Немирович, Мамин-Сибиряк – как бы литературный штаб Чехова. И тоже держались при нем.

Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Мария Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуш и иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем, видевшим ту эпоху, известно отлично. Где порядок или система у русского писателя начала века или где западная замкнутость? Об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры, пить и есть можно тоже сколько угодно – приготовят всё руки

малых сил.

Ольге Леонардовне Книппер Чехов писал еще раньше (со слов Немировича), что, когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей труппы, «прочие же будут отдыхать, где им угодно. Надеюсь, что Вы ценная, а для автора – бесценная». Вот под этим углом и воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Недуг подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает, разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил, и Бог с ней, с санаторией.

Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким, Горький рассказывал им замысел своего «На дне», а Книппер помогала уже Марии Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марии Павловне, другой вопрос.

Про то лето, по отъезде труппы, можно сказать так: достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля (лучшая роль в ней для Книппер). Бесспорно также, что этим летом сама Книппер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9 августа помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!» – первое письмо к ней на «ты». Оно все и выдает. Вот в Севастополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. «Мне все кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь». «Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая».

# О любви – Книппер

Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщине прочно он не принадлежал. «Успех, кажется, имел большой. Думаю, что он умел быть пленительным» – это говорит Немирович и добавляет, что «болтать» на эту тему Чехов не любил: вполне в характере его. Что было, то и было. Меньше всего мог бы он разглагольствовать. А что пленительным был (а не только «умел быть»), это бесспорно.

Во всяком случае, знал и женский мир, и все связанное с ним превосходно, и не из книг, разумеется. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо, не было.

И в Москве 80-х гг., и в Мелихове жил он одиночкой. По временам возникали слухи, что женится, но оказывалось неверно. Время, однако, шло. Была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость.

Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту. Это как раз время Лики, первого оставшегося сердечного следа. Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца, только он тут недопроявил себя, все переместилось в «Чайку».

О «романе» с Авиловой судить трудно потому, что знаем мы о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, «задет», «влюблен», как угодно, смотря по темпераменту.

Писательница Авилова оставила воспоминания о Чехове, вернее, о своем романе с ним – иногда живые и трогательные, иногда наивные.

Говорит всегда одна сторона. В письмах Чехова к ней ничего не найдешь об этом. Он пишет в том же тоне, как и другим писательницам, – дает советы (по части ремесла), иногда очень смелые, упрекает за небрежность фразы и т. п. Все это, разумеется, ни к чему. Лидия Алексеевна, может быть, во времена Чехова была очень милой дамой, но писала она серо, дарования у ней маловато, и никакими советами тут не поможешь. («Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте», – ведь это одно оскорбление».)

Что она полюбила его – бесспорно. По ее изображению, получается, что и он полюбил, но она была замужем, у нее дети, и жениться на ней он не мог.

Началось это очень давно, с 89-го года, когда они в первый раз встретились в Петербурге и у нее в душе, когда они взглянули друг другу в глаза, «взорвалась» и «с восторгом взвилась ракета».

«Я ничуть не сомневаюсь, что с А.П. случилось то же…» – именно это и не доказано. Происходило это за веселым ужином. Таких ужинов и таких ракет в жизни Чехова было гораздо больше, чем у Авиловой. Она все понимала слишком дословно.

Они виделись очень редко. Все шло под знаком неудач, и, вероятно, она и дальше приписывала ему много из своих собственных чувств. Описано все это искренно, в общем даже располагает к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как Лика, укоряет его главнейше в том, что он прежде всего писатель. В жизни ищет «сюжетов». («И чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ».)

То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в «Чайке» и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина Нине (страница 121, строки 11 и 12) – все это очень любопытно, более же существенное начинается позже, в 98-м году, после его болезни и московских клиник, куда носила она ему цветы.

С 1898 года появляется в писании Чехова линия тоски по любви. Тут что-то, по-видимому, совпадает с Авиловой.

Возможно, что и сама болезнь 97-го года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет.

В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 год появился рассказ его «О любви». Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой (в этой полосе). Самой же ей рассказ просто пронзил сердце, – когда читала его впервые, то «тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение». Многое оказалось слишком близким, начиная с самого главного: молодую замужнюю женщину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович любит некий Алехин – долго и довольно бестолково. Бывает в доме ее постоянно, вздыхает, ни на что решиться не может. И она его любит. И ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию, она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал. И только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет.

Авилова нашла в рассказе свои фразы. («Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: поздравляю вас». Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну.)

Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове: «Я

помню, как я «поздравила» его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь».

Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову (но в соседнем купе не сидел и не плакал, плачущим я его вообще не вижу). Но действительно, больше она его не увидела.

Может быть, и была права, полагая, что «писатель как пчела, берет мед откуда придется», – в Чехове писатель, разумеется, был все. (Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время нечто схожее в письме Лики.)

Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется, нельзя.

Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так.

Нельзя назвать рассказ «О любви» изобразительным и ярким, но конец пронзает особою, чеховской нотой.

Помню его в Ялте, на скамеечке пред ночным морем (случайно увидел раз на набережной, он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море). Наверное, понимал. Но говорить об этом не любил.

Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой» (99-й г.), прелестном ялтинском порождении, вполне именно ялтинском.

Выход дала жизнь.

* * *

Ольгу Леонардовну Книппер хорошо помню и по театру, и по Московскому литературному кружку, после смерти Чехова. Близко ее не знал, но был знаком, и впечатление от нее осталось яркое. Очень острая, с большим обаянием женщина. Может быть, остроту эту давала и примесь нерусской крови (венгерско-немецкой?), во всяком случае, оттенок экзотики. Как женщина склада художнического, была она подвержена нервным колебаниям, тоске и повышенной возбудимости. Интеллигентна, для актрисы довольно культурна, театру отдалась с юных лет – кончила Филармоническое училище по классу Немировича и сразу попала в Художественный театр. В театре срослась с пьесами Чехова. Правда, первый успех ее был царица Ирина, но выдвинулась она по-настоящему в ролях чеховских, во всех четырех его пьесах. В последних двух Чехов прямо ее и видел, едва ли не для нее и писал. В «Чайке» есть зерно личного, и Лика преображенно присутствует в ней. «Три сестры» начаты тем летом

1900 года, когда сближение с Книппер и произошло. Ничего биографического в пьесе нет, но для Книппер есть роль, лучшая из всех, и, конечно, он в ней видел именно Книппер. Она художнически его возбуждала. Вся пьеса озарена этой Машей. «Три сестры» в некоем смысле написаны в честь Ольги Леонардовны Книппер, хотя там есть и тоска по лучшей жизни, и «в Москву, в Москву» самого Чехова (лирический стон, над которым напрасно потом подсмеивались), и горестные укоры интеллигенции, и наивные мечты о том, что будет «через двести, триста лет».

Осенью 1900 года, после крымского лета, решившего судьбу обоих, Книппер уехала в Москву, Чехов остался с Евгенией Яковлевной, прислугами, журавлем, собакой, с болезнью своей, недоконченной пьесой. Болезнь разрасталась и донимала. Кашель, температура, иногда кровохарканье. «Пьеса, давно уже начатая, лежит на столе и тщетно ждет, когда я опять сяду за стол и стану продолжать». «…6-й или 7-й день сижу дома безвыходно, ибо все хвораю. Жар, кашель, насморк». «От нечего делать ловлю мышей и пускаю их в пустопорожнее место Мандражи».

Он на десять лет старше «ее», знаменит, но болен, живет в этой Ялте как в тюрьме. Море бушует, по ночам непроглядный мрак, ветер потрясает дачу, а «она» в шумной художнической жизни Москвы, актеры, ужины, концерты. Ему кажется, что она мало пишет… «Уже отвыкать стала от меня. Ведь правда? Ты холодна адски, как, впрочем, и подобает быть актрисе». «Целую тебя крепко, до обморока».

Но и она не всегда довольна. Вот из ее письма, из Москвы в Ялту: «ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?» В одном письме Лики было нечто в таком же роде. За «холод» и она его упрекала. Авилова тоже. Как и тогда упрек в письме Книппер задевает его. «А когда я делал его черствым? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе…» – но все же в разное время разные женщины упрекают в одном и том же. Им виднее. «Чужая душа потемки» – было в Чехове, наверно, всякое: и нежность скрытая, но и холодноватость. Да и вообще он двойствен. Все в нем нелегко, вернее – трудно. Развитие и зрелость возрастают по двум линиям. И доктор он, и поэт, противоречия не смягчаются. Растет глубина касания самого важного, и упорствует, даже тоже растет наивная вера в науку, разум, труд, прямолинейный прогресс. Надо только работать, все и устроится.

В октябре Чехов окончил пьесу, повез ее в Москву. Там сразу попал в шум и суету театра. «Здесь Горький. Я и он почти каждый день бываем в Художественном театре, бываем, можно сказать, со

скандалами, так как публика устраивает нам овации, точно сербским добровольцам!»

На добровольцев они похожи не были, но в фойе их действительно приветствовали, даже восторженно, и они вели себя по-разному: Чехов молчаливо и сдержанно, как и полагалось ему, Горький несдержанно и вызывающе (поклонников просто ругал), но тогда буревестнический тон был в моде, и такое сходило. Даже имело успех. (В 1902 году подголосок Горького Скиталец в Дворянском собрании перед сотнями слушателей предлагал пройтись по головам их кистенем. Вызвал овацию.)

В декабре Чехов уехал из Москвы в Ниццу. Там тепло, солнечно. Остановился, как и прежде, в Pension russe, 9, rue Gounod. Ницца ему всегда нравилась, также и теперь. Но и в Москве оставил он нечто. «Милая моя Оля, не ленись, ангел мой, пиши твоему старику почаще. Здесь в Ницце великолепно, погода изумительная».

На письма Чехова к Книппер нередко нападают. Если взять их только как литературу, упреки небезосновательны.

Местами есть в письмах этих чрезмерность, особенно в обращениях. Есть и обилие мелочей. Но ведь это разговор двоих, между собой, очень близких людей, для которых важен всякий пустяк. И с другой стороны, слова любящего, сраженного и болезнью, и слабостью, и одиночеством человека. Любви, сердца, нежности, беспокойства здесь очень много. Нельзя осуждать писавшего за разные «актрисочка моя чудесная», «актрисуля», «собака»… – это писалось не для книги.

«Умница ты моя, нам бы с тобой хоть пять годочков пожить…» – это литература? Просто счастья хочется. Ведь ему было всего сорок лет! И «пяти годочков» не вышло.

В Ницце с ним были и «Три сестры». Он там кое-что переделывал, все больше связанное с нею. «Тебе, особенно в IV акте, много прибавлено. Видишь, я для тебя ничего не жалею, старайся только».

А в Москве в это время пьесу репетировали уже, видимо, торопились ставить.

Вторым января 1901 года помечено особенное письмо Чехова к Книппер из Ниццы: «Ты хандришь теперь, дуся моя, или весела? Не хандри, милюся, живи, работай, почаще пиши твоему старцу Антонию. Я не имею от тебя писем уже давно, если не считать письма от 12 декабря, полученного сегодня, в котором ты описываешь, как плакала, когда я уехал. Какое это, кстати сказать, чудесное письмо! Это не ты писала, а должно быть кто-нибудь другой по твоей просьбе».

Дальше о репетиции. «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой,

смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене, во время разговоров».

А в конце желает ей счастья, покоя «и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет».

Время быстро шло, и 31 января «Три сестры» вышли в публику.

Станиславский считает, что Чехов нервничал и даже ко дню представления из Ниццы уехал, нарочно не оставив адреса.

Так это или не так, но действительно, 27 января оказался он в Италии, в Пизе. Потом во Флоренции. («Однако, скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил».) Это была четвертая, и последняя его встреча с Италией, но краткая. В Риме в начале февраля стало холодно. И все-таки: «Какая чудесная страна эта Италия! Удивительная страна!»

О пьесе, шедшей в Москве, он еще ничего не знает. Решил даже, она провалилась. Но это было неверно. Вскоре он узнал все более точно.

Пьеса не провалилась, но на первом представлении успех был неясный, понравился первый акт, остальные прошли холодновато. Пришлось даже делать натяжку в телеграмме Чехову. До весны 1901 года «Три сестры» прошли всего несколько раз, потом их увезли в Петербург. Только через три года по-настоящему дошли они до публики, которая «стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом».

«Три сестры» должны были победить большую русскую публику. Общий дух, призыв к лучшей, светлой жизни, «в Москву, в Москву», это, конечно, доходило – продолжение стона в «Дяде Ване», но еще подчеркнутей. Такое и вообще ранит человеческое сердце. В России же, с огромным сумраком ее глухих, непроходимых мест, да и накануне сдвига, отзвук получался особенный. Чего стоили одни учительницы, попадавшие на Рождество или на Пасху в Москву из Угличей, Зарайсков, Епифаней! А земские статистики? Врачи? Где найти более благодарных зрителей? Немало слез и волнений дал Чехов и Художественный театр малым сим, чистым и живым душам.

В пьесе все же есть двойственность. Не так она цельна, непосредственна, как «Чайка». Чехов лучше теперь знал театр, считался с его эффектами, до последней минуты менял, добавлял, урезывал и хорошо знал, кто кого будет играть. Про Книппер и говорить нечего. Кулыгин весь скроен по Вишневскому. Чебутыкин раз навсегда Артем. Все это сделано

превосходно, и они трое, да еще, пожалуй, и Соленый, являются украшением, победой пьесы. И все-таки над «Тремя сестрами» чуть-чуть веет сделанностью. Холодка больше всего у Ирины, Вершинина и Тузенбаха. Все эти «будем работать», начнем новую жизнь, «через двести – триста лет» живут отдельно. Чехов через подчиненных своих высказывает пожелания, мысли, наблюдения… иногда они вызывают сейчас горестную усмешку. («Теперь нет пыток, нет казней, нашествий…» – в те времена, правда, и не было.) Пророком Чехов не оказался, да и вообще Тузенбаху поверить нельзя. Ни одно слово его не принадлежит ему, как и в восторг Ирины, собирающейся ехать «работать» на кирпичный завод с нелюбимым человеком, никак не поверишь.

Чехов советовал Книппер на сцене посвистывать, а не ныть. Наставление замечательное. Она и посвистывала, не звала никого на кирпичный завод, она из партии проигравших жизнь, надежд у нее нет, и никаких «лозунгов» она не произносит, но является просто сильнейшим местом пьесы. Ее перекличка с Вершининым в третьем акте («Тра-та-та!» «Трам-там-там») выходила отлично, это жизнь, это рвущаяся к счастью сила, и безнадежность, и неудача. Вообще вся неотразимая меланхолия Чехова, его подспудное и внеразумное разлито в пьесе ненамеренно – и оно-то ее возносит. Трудно опьянению этому не покориться. Как нравилось ему все, связанное с расставанием! Уход, разлуку он очень чувствовал – от этого до конца дней не отделается («Вишневый сад»), несмотря на все благоразумные советы, которые тоже до конца будет давать своим персонажам, и на самые светлые надежды на двести лет, от которых ему самому не становилось светлее. Ему, может быть, становилось светлее на душе при виде простоты, кротости, человечности и любви – это в нем и самом было. Этому как раз, просто собою, вернее, лучшему в своем облике он нас и учит, незаметно и тоже подземно, а вовсе не призывами к труду и «новой жизни».

Как бы то ни было, «Три сестры» благополучно отчалили. Это была пьеса оркестровая, как всегда у зрелого Чехова, но все же оправдала рождение свое в месяцы разгара его любви: Книппер и любовь на первом в ней месте.

* * *

«Тебя никто не любит так, как я» – это он написал ей из Рима в начале февраля, перед отъездом в Россию. Вряд ли бросил монетку в фонтан Треви – во всяком случае, Рима более не увидел. Через несколько дней был уже в Ялте, началась прежняя

жизнь: Книппер в Москве, он один, скучает, любит, шутит, и сквозь шутку грусть. Просит ее приехать. «Я привез тебе из заграницы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, жить без тебя мне уже трудно».

Так оно все и шло. Оба они свободны, это не роман с Авиловой и не «Дама с собачкой». Закрепить все – естественно. В апреле появляется разговор о браке. В мае Чехов приехал в Москву, видимо, не один брак занимал его. Беспокоило и здоровье, туберкулез. Доктор Шуровский «нашел притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой, и велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию».

Укреплялась любовь, болезнь тоже укреплялась. В конце мая написал он матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс».

Чуть ли не в первый раз и называет он ее не «мамаша», а проще, но и задушевнее, по-детски, вековым «мама», хоть считал себя уже старым.

Повенчались в Москве, почти тайно. Шума, поздравлений не было, он этого не любил. И действительно, уехали тотчас же на кумыс, в какое-то Аксеново, за Волгой, за Самарой.

Прожили там месяц, в скуке, жарком степном захолустье. Антон Павлович пил кумыс, помногу. Пока жил там, прибавил несколько фунтов и чувствовал себя довольно хорошо. Была мысль выписать туда и Марию Павловну, но не вышло – надо думать, она выиграла, не поехав в эту дыру. Антон Павлович и Ольга Леонардовна сами едва там высидели, вероятно, считали дни и часы, когда возвращаться.

Нельзя сказать, чтобы и возвращение вышло веселое. В Ялте здоровье Антона Павловича сразу ухудшилось. («Я на кумысе жил хорошо, даже прибавился в весе, а здесь в Ялте опять захирел, стал кашлять и сегодня даже немножко поплевал кровью».)

3 августа 1901 года он написал Марии Павловне письмо-завещание. Отправлено оно не было, сохранилось у Ольги Леонардовны, которая и передала его Марии Павловне после смерти Чехова.

Завещание довольно подробное, со всей чеховской хозяйственностью, основательностью. Все главное – дачу в Ялте, деньги и доход с театра – Марии Павловне. Жене дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей (сравнительно пустяки). Вообще чеховская

семейственность во всем: перечисляет, сколько кому из братьев, сколько племяннице («если она выйдет замуж»), городу Таганрогу на народное образование (по смерти братьев). Платить в гимназию за какую-то девочку Харченко, столько-то крестьянам села Мелихова «на уплату за шоссе». Конец тоже очень чеховский, но в другом роде.

«Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно».

# «Архиерей»

*Прекрасное свободно;*
*Оно медлительно и тайно*
*зреет.*

*Жуковский. Шиллер*

«Милый Виктор Сергеевич, рассказ я пришлю Вам непременно, только не торопите меня». Так написал Чехов в декабре 1899 г. Миролюбову; бывшему певцу, а тогда издателю «Журнала для всех» и богоискателю. «Я пришлю Вам рассказ “Архиерей”».

Прошло больше года. В марте 1901 года Книппер получила от него письмо из Ялты. «Пишу теперь рассказ под названием “Архиерей”, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать».

В августе того же года Книппер уехала в Москву в театр. 31-го Чехов отправил ей ласковое письмо с прослойкой грусти – ему так скучно в одиночестве, точно его «заточили в монастырь», и опять фраза об «Архиерее»: «…вынул из чемодана» – взялся писать. Пятнадцать лет назад задумал, почти два года назад обещал Миролюбову, а пока что вынимает только из чемодана. Но и писать нелегко: гости приходят с утра («монастырь»). Рассказ можно писать только в промежутке между дамой-поклонницей, врачом из Москвы и туберкулезным, ищущим в Ялте пристанища.

Осень печальная. Ловит мышей, выпускает их на пустырь, хворает. В декабре, через два года после того, как обещал, пишет Миролюбову: «с «Архиереем» не надую Вас, пришлю рано или поздно».

Прислал в конце февраля 1902 года.

Извинялся – кончил давно, а переписывать оказалось нелегко, «все нездоровится». В апреле 1902 года «Архиерей» появился наконец в 4-м № «Журнала для всех».

Рассказ этот невелик, занял несколько страниц. Миролюбову, вероятно, казалось странным, почему же переписка из-за него шла два года? О пятнадцати годах он не знал.

Может быть, это и действительно странно. Но вот вышло так, а почему именно, мы не знаем. Во всяком случае, замысел долго лежал подземно. Не начиналась та таинственная жизнь, что рождает живое детище. Началась она тогда, когда пришел ее час, когда возрос достаточно сам Чехов. Так что хорошо, что не

написал «Архиерея» в 80-х годах: тогда не был еще готов.

Развитие художника есть закаленность вкуса, твердая рука, отметание ненужного, забвение юношеского писания – тот рост, который шел в Чехове непрерывно рядом с ростом человека. Как и «В овраге», «Архиерей» написан с тем совершенством простоты, которое дается трудом целой жизни. Но он не сделан, а сотворен, т. е. в нем нет выделки, а все живое. Все непосредственно, и все пережито, хотя вот задумано Бог знает когда, могло утомить, сделать более вялым. Но не сделало.

Работать над ним вплотную он начал осенью 1901 года, после кумыса, на который надеялся, после того, как кумыс не помог и он стал слабеть и хиреть в Ялте, написал завещание. Книппер давно играла уже в Москве, когда он кончал «Архиерея».

Всю жизнь внутреннее его развитие шло по двум линиям – в разные стороны. Так было и теперь. Материализм доктора Чехова получил поддержку в среде, куда литературно он переместился (левая интеллигенция). Горького понимал и видел он, конечно, насквозь, но водил с ним приятельство, вместе пожинали они славу в фойе Художественного театра. Надо верить в прогресс, через двести – триста лет все будет замечательно, у Толстого слишком умные глаза, чтобы быть верующим (Горький), церковь и религию давно надо побоку и т. д. Это путь общего потока. Он дает известность, славу.

Горький весь был в этом. С Чеховым сложнее, потому что он сложнее сам. Славу он любил, но держался на расстоянии и собой владел замечательно. А главное – в нем было нечто подземное совсем в другом роде. С годами, в страданиях болезни, в одиноких ялтинских созерцаниях, в ощущении близкого конца («пять годочков»), оно росло, просветлялось, искало выхода, и нечто открывалось ему, о чем разумными словами он сказать не умел. Это был несознанный свет высшего мира, Царства Божия, которое «внутрь вас есть». Молодому, здоровому, краснощекому Чехову времен студенчества мало оно открывалось, Чехову зрелому было наконец приоткрыто. Оттого в молодости он не мог написать «Архиерея» (даже «Студент» написан не в молодости). «Архиерей» же есть свидетельство зрелости и предсмертной несознанной просветленности.

Весь «Архиерей» полон этого света. В «Мужиках» он уже горбился, в повести «В овраге» дал замечательные страницы ночной встречи Липы с мужиками. В «Архиерее» ровное, неземное озарение разлито с первых же страниц повествования, со всенощной в Вербную субботу до конца. Длинную всенощную служит преосвященный Петр, уже больной. И все волшебно в церкви. Море людей, у всех блестят глаза, сквозь туман архиерею

кажется, что к нему, за вербой, подошла мать, простая женщина, вдова дьячка, которой он не видел девять лет, «и все время смотрела на него с радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу».

«Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем».

Откуда это? Почему плачут все? Бывает так? Но вот Чехов берет сразу такой тон, что покоряет и убеждает: да, высший мир присутствовал тогда, на Вербной всенощной Панкратьевского монастыря, он так до конца и будет присутствовать в чудесном произведении этом: и в лунном свете апрельской ночи, и в воспоминаниях о детстве и любви к нему матери, и в смиренном о. Симеоне, который не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается Иегудиилова ослица, и в воспоминаниях архиерея о своей юношеской «наивной вере», когда носили по деревням икону крестным ходом, и в той последней предсмертной всенощной Великого Четверга, Двенадцати Евангелий, которую служил через несколько дней преосвященный Петр и сам наизусть читал первое, самое длинное Евангелие. «Ныне прославился Сын Человеческий…» и «чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым», как всегда, когда служил в Церкви. Высший мир и в любви к нему матери, робкой и боящейся его, как архиерея.

Ничего не значит, что вокруг жизнь убога и темна, что все пред архиереем трепещут и это его огорчает, и ему не с кем слова сказать. Даже родная мать, даже девочка Катя, племянница, которая все роняет и у которой волосы над гребенкой на голове стоят как сияние, – всё за некой чертой. Но над всем ровный свет, озаряющий всех.

В дольнем, бедном, грешном мире нашем преосвященному Петру тесно. Он и в болезни вспоминает все о детстве и о жизни за границей, куда был послан в южный чудный город, где жил уединенно и изящно, писал ученое сочинение. Все это – отзвуки высшего. И вот смерть приходит наконец; на той же Страстной приближается он к ней – недаром ему нездоровилось еще в Вербной всенощной (брюшной тиф). Мать явилась к нему в архиерейские покои, он так хочет обласкать, помочь ей, племяннице Кате, но уже поздно. Он сразу осунулся, ослабел, перестал чувствовать себя архиереем, грозным начальством, напротив, последним, самым незначительным из всех.

«Как хорошо, – думал он. – Как хорошо».

Мать сразу поняла, что это конец.

«Она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как

ребенка, очень близкого, родного.

– Павлуша, голубчик… родной мой! Сыночек мой! Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне».

«А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно».

Шел он, конечно, просто к Богу.

* * *

Повествования свои о духовенстве Чехов начинал о. Христофором Сирийским в «Степи», продолжал дьяконом в «Дуэли», кончил обликом преосвященного Петра – сам, вероятно, не сознавая, что дает удивительную защиту и даже превознесение того самого духовенства, которому готовили уже буревестники мученический венец. Чехов превосходно знал жизнь и не склонен был к односторонности, приглаживанию. И вот оказывается, если взять его изображения духовного сословия, почти вовсе нет обликов отрицательных.

Не знаю, понимал ли Миролюбов, какой дар прислал ему Чехов, могу только сказать, что тогда он замечен и оценен не был. Горький, Андреев шумели больше. Но «Архиерей» не для шума и написан.

Рассказ этот, истинный шедевр, доходил медленно и все же как неторопливо создавался, так не спеша и завладевал, чем дальше, тем глубже. Как сказано о зерне горчичном: «… хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».

# Последнее путешествие

Возраст будто и невелик, а жизнь прошла. Она слишком быстро шла, событий в ней мало, но Чехов был человек раннего развития и усиленного сгорания. Он старше своих лет – так продолжалось и до самого конца. В вопросах вечных: Бог, смерть, судьба, загробное – зрелость не принесла ни ясности, ни решения. Как был он двойственен, так остался до конца. «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью». Он и искал – вряд ли нашел. В годы Ялты на вопрос, верит ли в бессмертие души, отвечал, что не верит, а через несколько дней с таким же упорством говорил: «Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это». Ни того, ни другого доказать, конечно, не мог, но не в этом дело. Просто же верить считал «неинтеллигентным». Интеллигентный верующий вызывал в нем недоумение – такое было время.

После «Архиерея» ему оставалось написать только «Вишневый сад». Из событий более мелких отмечает летописец такие: 1) Отказ от звания почетного академика из-за неутверждения Горького. Короленко и дух времени увлекли вовсе не простодушного Чехова на некую демонстрацию. Вместе с Короленко «заступился» он за Горького, «обиженного» тем, что его не утвердило правительство, против которого он вел подпольную и беспощадную войну. А быть почетным академиком даже у врагов все же приятно. («Ты полагала, что Горький откажется от почетного академика? Откуда ты это взяла? Напротив, по-видимому, он был рад».) 2) Посещения Чеховым Толстого, жившего тогда в Крыму, в Гаспре, и тяжело заболевшего. В это время Чехов вполне уже его почитал, хотя свободу высказываний сохранял – конец «Воскресения» не нравился ему, он об этом прямо и пишет. В общем же Толстой для него теперь Синай. Он даже волнуется, собираясь в Гаспру, тщательней одевается.

Но, конечно, все это второстепенно. Первостепенна сама жизнь, которой остается так уж мало. В жизни этой любовь и литература.

Любовь странно для него теперь сложилась. В сущности, он почти разлучен с любимой. В Ялте подолгу живет один, тоскует, болеет, молчит. По-детски подчинен Ольге Леонардовне в мелком обиходе жизни, все устраивает по ее распоряжениям из Москвы. Но самое для него важное – когда можно к ней, в эту Москву. «Три сестры» уже написаны и давно идут, но «в Москву, в Москву»

так и остается, не для сестер, а для него самого.

Ольга Леонардовна это чувствует, иногда тоже угрызается. «Ты, родная, пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести…» (а что его жизнь теперь испорчена, это ничего. Но вообще в этом весь Чехов: отодвинуться в сторонку, подняв воротничок пальто; он как-нибудь примостится в жизни, было бы ей хорошо).

Письмо все трогательно по нежности. «В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего» (как будто дух матери, преломленный в богатой и сложной натуре, подсказывает ему простые, верные слова любви). Хочется ему и в Италию. «Нам с тобой осталось немного пожить, молодость пройдет через 2–3 года (если только ее можно еще назвать молодостью)» – это написано в январе 1903 года: не только «молодости», а самой жизни оставалось полтора года.

Может быть, потому, что любил ее и был с ней так ласков, Ольга Леонардовна считала, что характер у него отличный. Он с этим несогласен. «Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив, и пр., пр., но я привык себя сдерживать» – вот признание интересное, для мало знающих Чехова и неожиданное, для того, кто внимательно всматривается в жизнь его, – не удивляющее. Как-никак, был он сыном Павла Егорыча, и у него дед «ярый крепостник». Это с одной стороны. С другой: за недолгую жизнь он немало над собою потрудился, как трудился и над писанием своим (почему и шел в гору), как трудился в Мелихове над садом, как трудился и боролся с невежеством, болезнями, эпидемиями. Теперь это все отошло. Впрочем, кое-что и осталось: даже в Ялте, больной, утомляясь, иногда раздражаясь, все же хлопочет он и о чахоточных, о санатории в Ялте, о библиотеке в Таганроге. Сколько писем написано туда какому-то Иорданову, сколько послано книг, сколько с этим хлопот!

Жизнь сердца именно теперь, на закате, может быть, и особенно обострена. Как бы ни старалась, как бы временами ни угрызалась Ольга Леонардовна, все-таки не могла изменить соотношения: она молодая, здоровая, обаятельная – Антон Павлович, при всей своей славе, – полуинвалид. «Ты калека», – сказал ему от великого ума Остроумов, осмотрев и выслушав, – и посоветовал жить зимой под Москвой, а не в Ялте.

Он в Москву иногда вырывался, именно зимой. Приводило это к тому, что приходилось безвыходно сидеть дома или

выезжать чуть ли не в карете. Тут опять разница с женой огромная.

Вот сидит он у себя в московской квартире, вечер. У него Щепкина-Куперник, кума, веселая, живая, такая, как бывала в Мелихове. Ольга Леонардовна собирается в концерт, там читает. За ней заезжает Немирович, во фраке, белом галстуке, со своей полукруглой бородой. Выходит и она в бальном платье, возбужденная и духовитая, – Антон Павлович покашливает, временами плюет в резиновую сумочку. Ольга Леонардовна крестит его, целует в лоб. Немирович ее увозит. Щепкина продолжает разговор. Чехов отвечает, будто присутствует, а потом вдруг «без всякой связи с предыдущим:

– Пора, видно, кума, помирать».

* * *

«Архиерей» не был последним произведением Чехова. Он написал еще бледную «Невесту» – для того же Миролюбова и «Журнала для всех», и, наконец, «Вишневый сад»: это ж urbi et orbi[76], сперва для России, а потом чуть ли не для всего света.

Пьесу эту писал трудно, почти мучительно, осенью 1903 года. Она росла неторопливо (зачалась много раньше – цветущие вишневые ветки ломились в отворенное окно, так мерещилось ему). Потом стало прирастать и другое, выросло воистину прощальное произведение. Все оно, разумеется, не надумано, а органично, из недр, так само и вышло. Кончалась жизнь Антона Павловича, кончалась огромная полоса России, все было на пороге нового. Какое будет это новое, никто тогда не предвидел, но что прежнее – барски-интеллигентское, бестолковое, беззаботное и создавшее все же русский XIX век – подходило к концу, это многие чувствовали. Чехов тоже. И свой конец чувствовал.

Сам он к вишневым садам не принадлежал, но воздухом их надышался еще во времена Бабкина и Киселевых. Три лета, живя там дачником, слышал разговоры о заложенном имении, о процентах, угрозах продажи за долг, о том, как достать денег. Место в банке для Гаева в конце «Вишневого сада» находилось в Калуге, туда он и уехал из Бабкина.

Чехов назвал свою пьесу комедией («местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича»). Вообще его мнения о «Вишневом саде» удивительны: «Последний акт будет веселый, да и вся пьеса веселая, легкомысленная». Конечно, он не любил торжественных поз, но здесь в противлении

им дошел до предела.

Странно блуждал и в распределении ролей. Лопахина предлагал Станиславскому, Гаева – Вишневскому. Москвин, превосходно сыгравший Епиходова, по мнению Чехова, должен был играть Яшу (молодого лакея – совсем неподходящее). Ольге Леонардовне он писал: «Твоя роль – дура набитая. Хочешь играть дуру? Добрую дуру» (Варя вовсе не дура).

В конце концов Книппер сыграла Раневскую, а не Варю. Для Вари была под рукой чудесная Лилина. И Гаев, слава Богу, вопреки Чехову, попал не к Вишневскому, а к Станиславскому. Лопахина играл новый у них актер Леонидов, чем Чехов не весьма был доволен.

Странно относился он и к самим ролям. Считал, например, что все держится на Лопахине. Требовал, чтобы у него непременно был белый жилет и желтые башмаки, полагал, что если Лопахин не удастся, то провалится вся пьеса.

Думаю, дело тут в некоей двойственности, проявившейся в самой пьесе. В ней есть и высокое художество, и умысел, местами выпирающий и охлаждающий.

Умысел состоял в том, чтобы осудить распущенное и ленивое барство – задача основательная, но осуществить ее при помощи Лопахина и скучного смешного студента оказалось трудно. Те, кого следовало осуждать, вышли гораздо и ярче, и живей осудителей, написались легко, убедительно. Тайное сочувствие самого автора выручает их, хотя головой, рассуждением он стоит на своем, все том же: надо работать, начинать новую жизнь и пр.

Лопахин никак не удался, а пьеса не провалилась. Какой бы актер ни играл его и какую бы жилетку ни надел, трудно воплотить полухама, полу-«чеховского» человека, собирающегося строить новую жизнь и по-чеховски не умеющего даже объясниться с Варей. Вишневые сады вырубались не такими Лопахиными. И «веселым» последний акт не вышел. Зато Раневская, Гаев, Епиходов, Симеонов-Пищик, Фирс и особенно гувернантка Шарлотта замечательны: их писал он, как Бог на душу положит.

В общем, получилась пьеса расставания. Как и в «Трех сестрах», меланхолия ее неизбывна. Это все поняли – понимал, конечно, и Чехов. Но делал вид, что написал нечто «легкомысленное».

Театр торопил его. Хотели скорей ставить. Он медлил. Сильно мешала болезнь. «Пьесу я почти кончил, но дней 8–10 назад я заболел, стал кашлять, ослабел, одним словом, началась прошлогодняя история. Теперь, т. е. сегодня, стало тепло и здоровье как будто стало лучше, но все же писать не могу, так как

болит голова» (Лилиной). Ольга Леонардовна писала ему из Москвы меланхолически («меня ужасает одиночество и никому ненужное существование мое»). Несмотря на головную боль, он ее подбодряет. «Надо держаться крепко». Но все-таки, все-таки… какой климат для окончания пьесы! «Дуся, как мне трудно было писать пьесу! Скажи Вишневскому, чтобы он нашел мне место акцизного».

В половине октября он отправил пьесу в Москву. В декабре приехал и сам (1903).

Была настоящая московская зима со снегом и морозом, ваньками, ухабами на улицах. Раздеваясь в передней квартиры Телешова, на Чистых прудах, писатели стряхивали с барашковых или бобровых воротников звезды-снежинки. Николай Дмитриевич дружественно приветствовал: «Здорово, Леонид!», «Ну как, Сергеич?». По московскому обычаю почти все целовались. На этот раз собралось на «Среду» больше обычного: ждали Чехова.

Не помню, что в этот вечер читали. Не помню, кто именно был из писателей – думаю, Леонид Андреев, Бунин и Вересаев, Тимковский и Белоусов, еще другие. Чехов приехал к ужину, а не к чтению, довольно поздно. Мы толпились, собирались уже рассаживаться за длиннейшим столом с водками, винами, разными грибками, икрой, балыками, колбасами, когда в дверях показалась Ольга Леонардовна. Под руку вела она Антона Павловича. Как он изменился за три года! В Ялте тоже не был силен, все же спускался в городской сад, пил за столиком красное вино, гулял у моря.

Слабо поздоровавшись, серо-зеленоватый, со впалой грудью, был он посажен в центре этого стола, на котором все не для него. Он почти и не ел, почти не говорил. Некогда, в 88-м году, писал про Плещеева, гостившего у Линтваревых, что он как бы икона, которой молятся за то, что она стара и висела когда-то рядом с чудотворными.

Сейчас ему было сорок четыре – по-теперешнему чуть ли не молодость, по-тогдашнему полная зрелость. Но болезнь придавала ему оттенок ветхости. Не то чтобы старость, но некое отдаление от жизни. И то, как вводила его Ольга Леонардовна, как почтительно перед ним расступались, как сажали на почетное место – все это была именно литературная икона, привезенная в дом Телешова. Только не надо было ей стоять рядом с чудотворной, в этом и разница с Плещеевым. Она сама за себя отвечает.

Так посетил нас на «Среде» Чехов, молчаливый и полуживой, головой выше всех, сам как-то странно отсутствующий, уже чем-то коснувшийся иного. А вокруг водочка и грибки, осетринки и

майонезы, веселое московское балагурство.

Может быть, он и сказал с кем-нибудь несколько слов. Для меня же остался безмолвником, приехавшим, посидевшим и скоро так же бесшумно уехавшим, как и явился.

17 января, в день его именин, шел впервые «Вишневый сад» в Художественном театре. Приноровили – кажется, не совсем правильно – и к его литературному 25-летию, устроили в театре чествование. Все прошло пышно и торжественно, как похороны. Усталый Чехов едва держался, но выслушивал. Думаю, все это выходило довольно раздирательно. Слишком было похоже, что Москва с ним прощается.

* * *

Он относился к смерти своей стоически, как и к болезни. Худел, слабел, росла одышка. Еще раз съездил в Ялту, пробыл там до мая. В конце мая Телешов видел его в Москве, перед самым отъездом в Германию, и ужаснулся: Антон Павлович стал совсем маленький, бескровный, бессильный. Про себя прямо сказал: «Еду помирать». И передал поклон московским писателям, тем, кого встречал на «Средах».

– Больше уж никого не увижу.

Телешов не был ему близким человеком. Потому, вероятно, он ему и сказал прямо. Действительно близким – Марии Павловне, матери, этого не говорил. И писал им всегда, даже из-за границы, почти накануне кончины, бодро. («Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами» – это выражение ему понравилось, в письмах из Баденвейлера не раз встречается, и не только к родным.)

Баденвейлер – курорт в Шварцвальде, недалеко от Швейцарии. Там, в тишине, зелени, проводил Чехов последний июнь своей жизни. Было страшно жаркое лето. Он от жары задыхался. Мучила эмфизема легких, одышка. Сердце слабело. Тяжело ему приходилось. И все хотелось уехать. «Меня неистово тянет в Италию» – жить оставалось две недели, а вот так пишет он сестре Маше. Тянуло же русского писателя, такого уже архирусского, умирать на земле Италии! Были у него и другие планы, довольно-таки фантастические (при его силах): плыть из Триеста мимо Греции и Афона (на Афон давно ему хотелось) к себе домой в Ялту. Но везде жара, это его останавливало. А смерть поступала, как ей нравилось: пришла июльской ночью, близ рассвета, в виде сердечного припадка. Он понял, что пришла. Выпил бокал шампанского, как велел доктор, отвернулся

к стене, сказал доктору тихо:

– Ich sterbe[77].

И умер.

* * *

Ранним июльским утром, в золоте и голубизне света над Москвой, извозчик вез нас с Арбата на Николаевский вокзал. Шагом он подымался к Троицким воротам Кремля, через Кутафью башню. Трусцой катил мимо Ивана Великого и Чудова монастыря к выезду в Никольские ворота. Железные шины пролетки погромыхивали, я и жена сидели тихо, с красными глазами. Ехали мы на Николаевский вокзал встречать гроб Чехова.

Как все это было и скромно, ненарядно! Самый ванька, философически подстегивавший лошадь, Никольская, потом Мясницкая с пестрою церковью, невысокими домами, булыжные мостовые, встречные ломовики, сам Николаевский вокзал, соединявший нас с блистательным Санкт-Петербургом.

Но, наверно, Чехову так и полагалось. Он возвращался в родной город, столь же непарадный, простой, естественный и замечательный, как был он сам.

Встретить его на вокзал собрались средние русские люди, студенты и барышни, молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицеймейстеров, без промышленников и банкиров. Были интеллигенты и старшие, но только те, кто просто, сердцем любили его.

Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал гроб, когда выносили мы его с Николаевского вокзала на площадь. Некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой Домниковской улице, из подвального этажа высунулся в окошко на уровне тротуара портной с испитым и замученным лицом, спросил: «Генерала хоронят?» – «Нет, писателя». – «Пи-са-те-ля!»

Путь был далекий, через всю Москву в Новодевичий монастырь, к Павлу Егоровичу.

Этот день так и остался некиим странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим – само горе просветляло.

У Художественного театра служили литию. Были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественно. Солнце сияло, набежали потом тучки, брызнул дождь, несильный, скоро прошел. В Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола.

Уходящая туча, капли с деревьев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа – это и был уход от нас Чехова, упокоение его в том Новодевичьем, куда он ходил из клиник, выздоравливая, стоял скромно у стенки в храме, слушая службу и пение новодевичьих монашенок.

*Январь, 1954*

# Добавления и заметки

# К главе «Даль времен»

Отца Евгении Яковлевны звали Яков Герасимович (Морозов). Как и отец его Герасим Никитич, он торговал мануфактурой в гор. Моршанске Тамбовской губ. Дела у него шли плохо, он разорился и «по рекомендации некоего барона Фитингофа поступил комиссионером по суконной части к ген. Папкову, имевшему близ Таганрога суконную фабрику». Жену свою Александру Ивановну и дочерей – девочек Федосью и Евгению, будущую мать А.П. Чехова, оставил в Шуе Владимирской губ. у свояченицы. В 1847 г. Яков Герасимович внезапно скончался от холеры, в Новочеркасске. А в Шуе в огромном пожаре погиб дом свояченицы. Александра Ивановна с детьми осталась почти что на улице. Решила отправиться на юг, чтобы разыскать могилу мужа и собрать остатки имущества. Пришлось ехать на лошадях через половину России. Она доехала. Ни могилы, ни имущества не нашла, поселилась в Таганроге в доме ген. Папкова, вероятно «из милости». Так что Евгении Яковлевне с детских лет приходилось видеть много нерадостного. Может быть, облегчал ей жизнь природно-кроткий характер – смирение, по-видимому, было врожденной ее чертой.

Сестра ее Федосья Яковлевна в этом походила на нее – «святая» по отзыву Антона Павловича. Вышла замуж за торговца «красным товаром» Долженко, там же в Таганроге.

# К главе «Доктор Чехов»

С Левитаном близость у Чехова установилась с юных лет – Левитан был товарищем Николая Павловича Чехова по Училищу живописи и ваяния.

В Бабкине, когда Левитан неврастенически тосковал, Чехов «прогуливал» его, развлекал, отводил от мрачных настроений. Позже, в июле 1895 года, в имении Турчаниновой, близ Рыбинско-Бологовской ж. д., лечил после покушения на самоубийство (приезжал для этого на неделю из Мелихова). Еще позже, весной 1897 года, выслушивал его сердце. «Дело плохо, сердце у него не стучит, а дует». Нашел «шум с первым временем» – термин, вызывающий у нынешних врачей улыбку. Левитан очень дружески, почти с нежностью относился к нему. (В письмах «милый, дорогой…», предлагает услуги, в трудную для Чехова минуту достает для него деньги у Морозова.) Довольно горестно врезается в их дружбу случай с «Попрыгуньей», рассказом Чехова, где слишком близко взяты отношения Левитана с некоей Кувшинниковой (женой врача, художницей-любительницей). Чехов сделал тут ошибку и, кажется, сам не понял, что ошибся. («Одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей “Попрыгуньи”, и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником».)

Сергей Глаголь, известный художественный критик начала века, хорошо знавший всех троих, рассказывал мне, что Чехову после «Попрыгуньи» был даже закрыт дом Кувшинниковых. Но с Левитаном отношения восстановились. Оба друг к другу уж очень подходили. Роднила, конечно, и врожденная меланхоличность, простота, правдолюбие в искусстве. В Левитане было нечто чеховское, и Чехову Левитан чем-то отвечал. То, что с юношеских наших лет мы соединяли Чехова с Левитаном – естественно. Как естественно было видеть в ялтинском кабинете Чехова над камином пейзаж Левитана – вечерний лужок, стога, выползает луна, все в мягких, туманных тонах.

Весной 1891 года Чехов писал Марии Павловне из Парижа, побывав в Салоне: «В сравнении с здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король». Но вот Европа как раз Левитана и не приняла. Чехова прославила, Левитан здесь почти неизвестен, хотя был настоящий импрессионист и как бы родной брат Чехова. Но «душевность» его пейзажа не подошла Западу. Далек ли Левитан от западных художников по приемам, фактуре?

Более ли формальное искусство живопись, чем литература? Или имеет значение главенство в мировой живописи Парижа, уж никак к эмоциональному не склонного? (Чехову главную славу создали все же не французы.) Во всяком случае, на Западе Левитана не ценят.

Беспокойство о здоровье Левитана все время чувствуешь в письмах Чехова конца 90-х гг. Беспокоиться было о чем: в августе 1900 года Левитан скончался.

# К главе «Вновь Мелихово»

Отзывы Чехова о Толстом, его писании и личности, самостоятельны и прямы, не всегда одинаковы, всегда интересны.

А.Н. Плещееву не понравилась «Крейцерова соната». Чехов-писатель защищает Толстого: «Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная – тут я не судья, но, по моему мнению, в массе того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения». Но Чехов-врач тут Толстым недоволен. «Его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и пр. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами». После Сахалина он совсем охладел к «Крейцеровой сонате». Отзыв о «послесловии» резок до крайности.

Иное, конечно, о «Войне и мире», но тоже нет слепого поклонения. «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир», читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо». Не нравятся только места, где появляется Наполеон («натяжка», «фокусы»). «Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, – все это хорошо, умно, естественно и трогательно».

«Я читаю Тургенева. Прелесть, но куда жиже Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он все будет молод» (1893).

Из письма к Суворину в 1894 г. видно, что одно время Чехов был подвержен философии Толстого, и как раз в довольно молодых годах. А теперь будто от нее открещивается. «Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были известны мне и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь во мне что-то протестует». «Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се, оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя».

Насчет будущего Чехов ошибся. Через год, в августе 1896 г., он провел полтора суток у Толстого в Ясной Поляне. Постой начался опять, и теперь уже надолго. «Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Львом Николаевичем были легки.

Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведешь».

Начинается личное знакомство с Толстым. Тот «гипнотизм», который раньше шел из книг, излучается теперь самим Толстым.

«В своей жизни я ни одного человека не уважал так глубоко, можно даже сказать беззаветно, как Льва Николаевича». А Толстому чрезвычайно понравился Чехов. Кое-что в отношениях его к Чехову даже не совсем привычно. Ласковость не толстовская черта, но с Чеховым он бывал почти нежен. Вообще Чехов его как-то по-хорошему возбуждал: рассказ «Душечка» он четыре вечера читал вслух гостям, не мог начитаться. Пошел в Охотничий клуб на чеховский спектакль – ставили «Медведя», «Свадьбу», – хохотал как дитя.

«Толстого я люблю очень» (1899). «Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей…» «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором, даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех» (1900). («Ничего не сделал» автор «В овраге», «Архиерея» – урок скромности всем нам, пишущим.)

О писаниях же Толстого отзывается с прежней самостоятельностью: «Толстой пишет книжку об искусстве». «Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до nec plus ultra, что искусство измельчало, износилось…» (1897). «Все это старо».

О «Воскресении» он написал: «Это замечательное художественное произведение». Но конец осудил – «конца у повести нет». Он читал «Воскресение» с выпущенными цензурой местами. Как отнесся бы к издевательству Толстого над литургией? Взглянул ли бы на это глазами Горького или преосв. Петра из «Архиерея»?

В начале 1902 г. Толстой заболел в Крыму. «Толстой очень плох, у него была грудная жаба, потом плеврит и воспаление легкого. Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо. Грустно, на душе пасмурно».

Чехов ошибся. Толстой выжил и пережил самого Чехова. Но к болезни Толстого он откосился действительно как к болезни близкого. «Мучительное, выжидательное настроение» продолжалось два дня, затем известие по телефону: процесс в легких не идет дальше, появилась надежда. Распространяться Чехов не любил, но когда Толстой стал выздоравливать, в скупых заметках о нем чувствуешь радость. «Дед поправляется, уже сидит, весел».

И все-таки – предисловие Толстого к роману Поленца показалось Чехову «грубоватым и неуместно придирчивым» – литературных своих вкусов он никому не уступает, а сам Толстой, весь его облик, нравится ему особенно, вызывает чувство поклонения. Это был единственный человек, на которого он смотрел снизу вверх. В Крыму они довольно часто виделись. «Боюсь только Толстого (Бунин о Чехове, воспоминания). Ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте! «Серьезно, я его боюсь», – говорил он смеясь и как будто радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах.

– Нет, эти неприлично узки. Подумает: щелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

– А эти шириной с Черное море! Подумает: нахал».

# К главе «Ялта»

«Ты пишешь»: «не продавай Марксу», а из Петербурга телеграмма: «договор нотариально подписан». Продажа, учиненная мною, может показаться невыгодной и наверно покажется таковою в будущем, но она тем хороша, что развязала мне руки».

Верная «Маша», сестра Мария Павловна, правильно оценила: истинная его слава в будущем. Связывать себя с Марксом не надо. Понимал это и Антон Павлович, но хотелось вздохнуть.

Успех книг оказался огромным. Очень скоро выяснилось и для всех, что выиграл тут Маркс, Горький обратился к Чехову с письмом, предлагая нарушить договор, вернуть Марксу аванс, заплатить неустойку и перейти в «Знание» (новое книгоиздательство самого Горького) – на условиях несоизмеримых. Вместе с Л. Андреевым составил он проект письма к Марксу от русских писателей, ученых и общественных деятелей с просьбой освободить Чехова от договора – приурочивали это к 25-летнему юбилею его. Н.Д. Телешов в воспоминаниях своих приводит текст письма. Написано оно спокойно, вежливо, не задевая Маркса. Главное соображение: успех оказался большим, чем ожидали, Чехов нуждается в отдыхе, обеспеченности и т. п. Собрали уже много подписей, но Чехов не разрешил послать письмо. («Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик».) Чехов, как и всегда, остался Чеховым. Промах мог сделать, но не мог перестать быть Чеховым.

# К главе «О любви»

Лидия Алексеевна Авилова, писательница-беллетристка, родилась в 1865 г., скончалась в 1943 г. С Чеховым познакомилась в 1889 году, в доме ее зятя, редактора «Петербургской газеты» С.Н. Худякова. О Чехове и романе своем с ним – довольно тяжелом для нее и неудачном (она была замужем, мать семейства) – рассказала в воспоминаниях. Письма Чехова к ней, быть может, не все – напечатаны. Из них ничего нельзя узнать о сердечных делах его (кроме разве упрека в холодности и в том, что он только писатель).

В этом роде писал он письма и Шавровой, тоже неудачной писательнице, с которой тоже долго переписывался и об отношениях с которой тоже из писем ничего не узнаешь.

В переписке с Авиловой самое интересное – литературные советы. Их он Авиловой, как и Шавровой, давал много.

«Рассказ хорош, даже очень хорош…» – но дальше не так радостно: «Во-первых, архитектура. Начинать надо прямо со слов: “Он подошел к окну…” – и проч. Затем герой и Соня должны беседовать не в коридоре, а на Невском, и разговор их надо передать с середины…» (Всегдашнее у него: сокращение. Он полагал – очень разумно, – что половина литературного искусств состоит в умении сокращать.)

«Во-вторых, то, что есть Дуня, должно быть мужчиной. В-третьих, о Соне нужно побольше сказать. В-четвертых, нет надобности, чтобы герои были студентами и репетиторами – это старо. Сделайте героя чиновником из департамента окладных сборов, а Дуню офицером, что ли…» Выкиньте слова «идеал» и «порыв».

Авилова несколько обиделась. Чехову пришлось смягчать. «Я боюсь, что моя критика была и резка, и не ясна, и поверхностна. Рассказ Ваш, повторяю, очень хорош». «Офицера не нужно, Бог с Вами – уступаю, оставьте Дуню, но утрите ей слезы и велите ей попудриться». О другом ее рассказе: «Только вот Вам мой читательский совет: когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны» (1892).

Это один из устоев чеховского художества. Пусть автор будет скрыт за своими подчиненными. Пусть в чувствительность не впадает, лучше бы изобразил так, чтобы выходило трогательно. Здесь всегдашнее его столкновение с дамским писанием, с

многоточиями, слезливостью, длиннотами, фразой, загруженной прилагательными. (Главная дешевка прозы. Чехов одиноко ее преследовал еще в прошлом веке.)

Авилова немало претерпела от него по литературной части. В 1895 г. оказывается, что ее «Власть» милый рассказ, но… «будет лучше, если Вы изобразите не земского начальника, а просто помещика». Что касается «Ко дню ангела», то это не рассказ, а вещь, и притом громоздкая вещь. Вы нагромоздили целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце».

«Вы не работаете над фразой; ее надо делать – в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи», надо заботиться об ее музыкальности». Это написано во времена, когда в России Флобера знал (и ценил) едва ли не один Урусов.

Музыкальность, ритмичность прозы Чехова бесспорны. В языке мелкие промахи он и сам делал, но некий слух в словесности у него был.

Ритмы прозы вообще еще не изучались. Они разные у разных писателей и очень сложны, сложнее чем в стихах. Звуковой оттенок придает каждому прозаику свойственное ему своеобразие. А пора бы взяться за прозу. Ритмами стихов занимался Андрей Белый, а прозу обошел. Сам писал иногда такой прозой, которая укладывается в стихотворные размеры, т. е. совершал над ней насилие. У Чехова же именно проза, а не переодетые стихи.

Проза Авиловой не выше «Вестника Европы» и «Русской мысли». Но воспоминания о Чехове она написала хорошо – как будто сказались его уроки.

Когда Чехов продал Марксу сочинения, Авилова очень ему помогла, разыскивая старые рассказики в газетах, переписывая, отсылая в Ялту. Проявляла в этом скромное женское поклонение – служение.

# К главе «Архиерей»

Кто именно послужил Чехову прототипом преосв. Петра в рассказе «Архиерей», не совсем ясно. М.П. Чехов (брат писателя) указывает на епископа Сергия (в миру С.А. Петров. Студентом Московского университета жил в доме Корнеева на Кудринской-Садовой, давний знакомый семьи Чехова. Антон Павлович относился к нему с уважением и любовью – это видно из переписки их, не особенно интересной, но продолжавшейся всю жизнь).

Епископ Сергий родился в 1864 г., университет окончил в 1891 г., через год принял монашество. В 1899 г. он уже еп. Бийский, далее Омский, Ковенский, в 1913 г. еп. Сухумский. М.П. Чехов подчеркивает, что еп. Сергий «наткнулся на темные стороны архиерейской жизни», «попал в немилость» и «сослан на покой в один из глухих монастырей на Кавказе». Все это отзывает советской стилизацией (книга М.П. Чехова о брате вышла в 1923 г.): еп. Сухумский ничем не хуже, чем викарий Херсонский епархии. На «немилость» не похоже. Еп. Сергий благополучно закончил свою духовную карьеру в России – «после революции переименован во еп. Черноморского, в этом звании эвакуировался с Белой армией в Сербию». По словам проф. архим. Киприана, лично знавшего его в Сербии, никогда он о Чехове не упоминал в рассказах о России и деятельности своей там. Ничего выдающегося в нем самом не было.

Гораздо более отвечает облику преосв. Петра другой святитель, епископ Михаил Таврический – в миру Михаил Грибановский. Родился он в 1856 г., СПб. Духовную академию окончил в 1884 г. Оставлен доцентом по Основному богословию. Монашество принял еще студентом (что тогда было редкостью). В академии был душой того кружка молодых ревнителей монашества, в котором видное место занимали Алексий Храповицкий, будущий митрополит Киевский Антоний, и Василий Белавин, будущий патриарх Тихон. «Болезнь Михаила (чахотка) заставила его покинуть академию, и он был назначен настоятелем нашей посольской церкви в Афинах (1890–1894)». Был вызван в С.-Петербург и хиротонисан во епископа Таврического. На этом посту и скончался в 1898 г. Был автором ученых богословских трудов.

«Личностью он был исключительно благородною и даже, скажу, благоуханною: чистота монашеского облика им была вознесена на большую высоту; ум его был глубокий, светлый, мысль очень ясная; благочестие его лучше всего видно в его книге

«Над Евангелием».

«Многие черты из его биографии отражены и Чеховым: южный город, жизнь заграницей, ученость и, конечно, самый облик его кротости и молитвенности» (Архим. Киприан, из письма мне).

Лично с епископом Михаилом Чехов знаком был. Но переписки между ними нет. Черты биографии преосв. Петра, несомненно, заимствованы у еп. Михаила, да и общий облик с ним совпадает. Все же – вполне возможно, что нечто взято и из жизни еп. Сергия (трудности в управлении епархий, запуганность низшего духовенства и т. п.). Бунин, хорошо Чехова знавший, говорил мне когда-то: «В «Архиерее» он слил черты одного таврического архиерея со своими собственными, а для матери взял Евгению Яковлевну».

Это очень правдоподобно. И, во всяком случае, образ преосв. Петра есть нечто, прошедшее «сквозь душу и воображение поэта» и в ней получившего вторую жизнь (волшебно-поэтическую). Это не фотография того или иного епископа.

# Москва. Главы из книги

# «Мы, военные…» (Записки «шляпы»)

## I

Юным студентом, обитая на Арбате, проходил я нередко по Знаменке в Румянцевский музей и на углу площади Арбатской с памятником Гоголя, булочной Савостьянова и старинной церковкой видел приземистое здание, двухэтажное, с колоннами, времен начала XIX века. Знал, что это Александровское военное училище, и был глубоко к тому равнодушен. Училище и училище. Выпускает пехотных офицеров, мне до этого дела нет. Меня интересуют книги и литература. Я всегда очень любил Москву. Меньше всего, однако, могли бы меня заинтересовать лагеря на Ходынке, кадетский корпус в Лефортове да училище на Знаменке…

* * *

Летом 1916 года призвали ратников ополчения 2-го разряда.

Не желая идти на войну солдатом, я решил поступить в военное училище.

Странная была та осень в деревне – последняя обычная, человеческая. Вот запись о ней:

«…Березы Рытовки и узенькая тропка, по которой выходили мы на зеленя, покой равнин, серые вечера сентябрьские с красной рябиной, зеркалами прудов, криком совы и лиловой луной из-за леса – все осталось как воспоминание прощальное и светлое. Однажды, выходя из леса, набрели на гнездо птички, опустелое. Взяли с собой. Сентиментальность? Но так захотелось. Пересекли межой поле, и внизу Притыкино, пруды и мельница, деревья парка. Колокольня мирно подымалась из ложбины. И спокойный, мягко-сероватый лик небес, дымки над деревнями, дальний лепет молотилки, дальняя, как облачко, стая грачей, свивавшаяся, развивавшаяся над овинами, все ясное, родное… так пронзительно печальное, как будто мы навеки с ним прощались».

Навеки не навеки, но 1 декабря подъезжал я на извозчичьих санках, в новых высоких сапогах, с чемоданчиком, к фронтону того самого здания на Знаменке, мимо которого высокомерно некогда проходил. Попрощался с женой у подъезда и, как сноп, был подан в неведомый мне и казавшийся суровым барабан. Десятки таких же снопов с разных концов России и Москвы подавались в те же самые двери, в большинстве молодежь. Но они

были веселей, бурней и беззаботнее меня.

Низкая прихожая, лестница наверх, огромные коридоры, огромные холодноватые залы и дортуары. Вот нас переодевают – в цейхгаузе какой-то бойкий тип раздает гимнастерки и шинели: вернее, все сами набрасываются на груду этого добра, он только наблюдает. Скоро нечто мешкообразное, с погонами однако, оказывается на мне. Я заранее наголо острижен, этот форменный наряд, высокие сапоги сразу меня топят: не чувствую себя прежним. Что-то случилось. Меня зачисляют во вторую роту. Я юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска. Должен маршировать, «строиться» к обеду, «строиться» на молитву, по трубе вставать… мне должно бы быть не тридцать пять, а двадцать лет… И так далее.

Первый день было чувство, что просто попал в тюрьму. Никто мне ничего дурного не делал. Но меня самого, такого, к какому привык, с книгами, рукописями, медлительными прогулками, – больше не существовало. Был юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска, и притом «шляпа»[78]. «Шляпа», разумеется, первосортная. С военной точки зрения такое существо не радует. Но и у «шляпы» есть душа, сердце, воображение. Например, лежит этот юнкер-«шляпа» впервые на своей койке в роте. Огромная колонная зала. Холодновато, сумрак. У столика дежурного маленькая лампочка – небольшое пятно света. В аккуратных станках винтовки. Рядом, сбоку, насупротив храпят юноши – мой сосед, двадцатилетний Бартенев, задувает изо всех сил (обычная его мольба впоследствии: сразу же тормошить при утренней трубе, а то никак не проснется). Раз-другой в ночь войдет дежурный офицер, пройдет по роте с дежурным юнкером при тесаке: проверит, все ли в порядке, правильно ли сложено платье у спящих. (Полагалось складывать его аккуратно и перевязывать ременным поясом, не туго, но и не слабо. Кое-где офицер подымет этот пакетик жалкий: «Велите подтянуть туже…» – «Слушаюсь, ваше высокоблагородие…»)

«Шляпе» не спится. Что такое? Где это он? Почему острижен, лежит в холодной зале? Вот она, новая жизнь! Это только начало. Это еще мир, война впереди. Если мир таков, что же самое – то, «настоящее»?

И часы бегут, в тоске, одиночестве. Добегают до какой-то странной и даже таинственной минуты, когда серо-синеватая мгла в окнах и вся пустынность колонной залы вдруг разрывается от рева дикого, неистового – вряд ли устояли бы и стены Иерихона! Половина шестого. Сигнал к жизни. Мощь его рассчитана именно на Бартеневых и им подобных, на силу молодого сна.

Начинают в холоде копошиться фигуры. Зажигается свет. Один за другим тянутся в умывальную заспанные «извозчики» (первая, царская, рота называется «жеребцы», мы, вторая, – «извозчики»). А потом строят «к чаю»: длинными, гулкими коридорами сходят роты одна за другой (их у нас двенадцать) – в полумгле, в начинающемся зимнем рассвете – вниз в огромную столовую, где молитва и чай с булкою за деревянными столами, а там вновь строят, вновь ведут – лекции, строевые занятия, гимнастика: машина заработала.

* * *

Мы, вновь прибывшие, называемся «фараонами». Нас надо обломать, хоть сколько-нибудь привести в военный вид, и только тогда можно пустить в отпуск. (Мало ли опасностей на воле: а вдруг встретишь генерала, да не станешь вовремя во фронт? прозеваешь резвого капитана, только что вернувшегося с фронта? сядешь в театре, не спросись у старшего по чину офицера? – жизнь сложна.) И вот, кто хочет в субботу идти в отпуск, должен выдержать «экзамен чести». Это для «шляп» дело нелегкое. Казалось бы, не так уже хитро: бодро и весело подойти, остановиться, сделать под козырек, отрапортовать, повернуться и отойти… Но это целая наука! Элементы гимнастики (может быть, и балета) входят сюда. И немало надо попотеть, прорепетировать со своими же, прежде чем командир роты пропустит. Но тогда завоевано право отпуска, священное право, то, чем все здесь дышат и о чем мечтают старые и малые, простые юнкера и «портупеи», «шляпы» и «строевые орлы».

Кроме отпуска есть еще развлечение в трудовой жизни: три раза в неделю, с пяти до семи, ждут нас в приемной жены, сестры, друзья – к нам является уголок прежней милой жизни. Но и в залу эту, полную благожелательных, веселых лиц со всяческими приношениями (конфеты, пирожки, яблоки, мало ли чего можно натащить в Москве, еще человекообразной), к ним туда не так-то легко проникнуть. Некие Церберы стерегут. Надо пройти через маленькую дежурную комнату и сделать, казалось бы, простую вещь: подойти к дежурному по училищу офицеру, взять под козырек и сказать, что юнкер такой-то роты просит разрешения пройти в приемную. Тут-то вот и таятся для «шляпы» опасности. Обыкновенный юнкер войдет, быстро исполнит номер – и уж он среди болтающих и восхищающихся дам, барышень, невест. «Шляпе» грозят отовсюду опасности.

I. Распахнув дверь, с перепугу он не заметит, сколько

звездочек на погоне дежурного, и, на беду, бахнет капитану:

– Господин поручик…

Или поручику:

– Господин капитан…

Но тогда дело предрешено:

– Кру-гом!

II. Или он разбежится и у самого столика как вкопанный замрет со своей сакраментальной фразой (а надо за два шага до столика), и тогда опять:

– Кру-гом!

III. Или, в ужасе, вместо «в приемную» скажет «в отпуск», и снова:

– Кру-гом!

Но жизнь научает. «Шляпе» тоже ведь хочется повидать родных. И он «ловчит»: заранее разузнает, кто дежурный и в каком чине, в отворяющуюся дверь на глаз размерит, где сделать балетное па – в конце концов, малые эти пустяки не остановят: в приемную все-таки прорвешься.

И какая радость – видеть родное лицо, получить какие-нибудь шоколадки… Когда человеку живется туго, всякая малость так освещает, так помогает…

Но особенно, конечно, важен отпуск.

В отпуск идут по субботам – и лишь те, кто за неделю чист и безупречен, преступлениями не замаран, репетиции сдал. Последнее не так-то легко. В четыре месяца надо пройти двухлетний курс – хоть наскоро и с сокращениями все-таки трудно, – и в дне нашем все рассчитано по минутам, до одиннадцати по вечерам мы зубрим. (Помню одно свое поражение: двойку по топографии – не туда как-то заехал по карте. Ночь без сна, удвоенное зубренье, на другой день у того же немца двенадцать, и в отпуск все-таки ушел.)

Час отпуска – час блаженный. Одеваемся, чистимся, друг другу оправляем пояса, складки шинели на спине.

– Отпускные, стройся!

Выбегаем, толкаясь, как маленькие, в коридор. За некую мзду тип в цейхгаузе выбрал выходную шинель получше, обменил прежнюю. То же и с фуражкой. Сапоги вычищены, пояс затянут, пряжка с орлом сияет. Иногда стоим с первой ротой, с «жеребцами», – они по одной стенке, мы по другой. Все в хорошем расположении духа. Пока не пришел офицер, развлекаемся, как умеем. У нас свои задиралы, у них свои.

– И-го-го-го! – гогочет какой-нибудь наш Гущин, румяный и веселый парень. – Го-го! – И делает вид, что поднимается на задние ноги, скачет на одном месте…

– Эй, «извозчик», – кричит правофланговый «жеребец», – в Большой театр, полтинник! Живо! В оперу опоздали!

Гущин копытом роет землю.

– Т-с-с!

Дежурный офицер. Все волшебно меняется. Ни «жеребцов», ни «извозчиков», замершие в струнку, грудь вперед, голова несколько на отлете, юнкера – те, что веселыми, молодыми телами делают на дворе ротное ученье, ходят за Дорогомилово в поход, маршируя, бойко поют: «Взвейтесь, соколы, орлами…»

Осмотр опять касается того, все ли в порядке, туго ли стянуты пояса, все ли пуговицы на месте, – александровец должен быть в отпуску на высоте своего училища.

И вот хлопнула тяжелая входная дверь, заснеженный тротуар, десятки молодых лиц, проезжающий ванька (на этот раз настоящий уже извозчик, а не символический), Арбатская площадь в сизости сумерек, галки на золотом кресте церковки.

Молодежь разбегается. «Шляпа» весело, но и осторожно идет к себе на Арбат, норовит больше переулками. Того и гляди, из-за памятника Гоголю в сумерках выскочит какой-нибудь штабс-капитан, и ты вовремя не откозыряешь. «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина…»

Или же другая крайность: вдруг козырнешь земгусару (в сумерках все кошки серы: генеральный штаб, Земский союз… да, не дай бог, еще гимназист взрослый пролетит на лихаче… Жутко подумать, если и ему честь отдашь).

Но впереди дом, свой угол, жена, Арбат, что может быть радостней субботнего вечера!

## II

Да, блажен отпуск, блажен вечер субботы. В двух комнатках переулка у Пречистенки все кажется так светло, чисто и уютно! Пусть бы и не две, а одна, но вот с этим мирным снегом за окном, с вороной на дворе, смешно прыгающей около корки, с кустиком, запущенным белым… Благовест церкви рядом – знаменитой приютской Дурновского переулка – тоже особенный: милого московского захолустья. (Там замечательный хор, чудная служба. Если бы не усталость, хорошо бы по чуть протоптанной тропке дойти ко всенощной.)

Но никуда не пойдешь. Никакого желания двигаться. Столько надвигался, столько напрыгался на параллелях, набегался в строевом учении – только б лежать, пить чай, читать – самое большее газету – и чувствовать, что ни фельдфебель, ни дежурный офицер в эту комнатку с образами и мещанскими

занавесками не войдут, не придется вскакивать как угорелому и опять садиться по команде:

– Занимайтесь своим делом!

Здесь если заглянет, то какая-нибудь Аксинья или Матрена, полуотворит дверь, робко высунется: дома ли, мол, барин? Самоварчика свеженького не поставить ли? Барин дома, он в субботу всегда безнадежно и как-то райски дома… и бесконечно может распивать чаи. Ночью же будет, просыпаясь, бормотать спросонку:

– Встать! Смирно! На первый-второй рассчитайсь!

Но уже воскресный день – иной… Вечером надо уходить. Горизонт мирного утра с калачом, бубликом, свежим маслом омрачен дальней тучей. Ее почти не видать, но она надвигается – медленно, неотвратимо. До завтрака большая часть неба светла: «мы», здешние – из Дурновского, – еще в большинстве. С двух-трех часов перевес получают «они»: военная машина на Знаменке, пред которой мы ничто.

К девяти надо возвращаться. Тут все точно, очень строго. Если опоздал хотя бы на несколько минут, месяц без отпуска. Так что держи ухо востро! И держали. Лишь самые отчаянные являлись к третьему звонку. «Шляпы» забирались раньше. «Шляпа» грустно появляется у колонн фасада часов в восемь с чем-нибудь и, простившись с другом, ныряет в знакомые, на блоке, двери.

В передней светло. Дожидаются несколько юнкеров.

– Кто нынче дежурный?

– Капитан Тимохин.

Ладно. Хоть и из «Войны и мира», да зато наверно знаешь, что уж капитан. И через две минуты в дежурной комнате, вытянувшись пред Тимохиным, вовсе на толстовского непохожим, гаркнет «шляпа»:

– Господин капитан, юнкер второй роты пятнадцатого ускоренного выпуска из отпуска прибыл!

«Прибыл!» Какое важное событие. Прибывают цари, президенты… Скромный же воин, столь торжественно прибывший, гулким коридором идет к себе в колонную – «извозчицкую». Койки еще пусты. Темно, холодно. Лишь в глубине, у столика дежурного, лампочка под темным абажуром (бедняга целый день сидел тут, сторожил стены и винтовки – дежурство его выпало на субботу).

– Ну вот, – говорит он, зевая, – распишитесь. Хорошо погуляли?

* * *

Меняется жизнь, но меняется и человек. Каждая утренняя труба, каждое умыванье на холоде, каждый обед внизу в столовой как-то его меняют. Через «кобылу», конечно, до гробовой доски «шляпа» не перепрыгнет и в строю его фигура не из блестящих («портупеем» никогда не быть), но в пределах «шляпских» своих возможностей он пообтесывается и привыкает. Учится хорошо. Устает сильно. Телом похудел, подтянулся, живет изо дня в день почти без дум, едва поспевая за непрерывным, неустанным ходом жизни. Есть в его монашеско-военном бытии малые радости и кроме отпуска: время от половины пятого до четверти шестого. Тут имеет он право растянуться у себя на койке, пожевать шоколадку, принесенную женой, и блаженно, с детской простотой на несколько минут выйти из условий жизни, зачерпнуть иного мира, тоже бессвязного, но от барабана далекого… Именно несколько минут. Та же труба, что зовет к суду утром, так же разрывает уши ревом в неизменную минуту. Перемирие окончено. До трубы можно лежать не вставая, хоть бы сам батальонный вошел. Теперь надо вставать, хотя в роте и никого нет.

Да и не очень належишься. Раза два в неделю репетиция. Днем на лекциях, готовиться можно лишь по вечерам – и до одиннадцати клонятся стриженые юнкерские головы над учебниками.

Самое страшное в пехоте – артиллерия, в Александровском пехотном артиллерийский полковник Александер: живой, бодрый, пятидесятилетний человек, бодростью-то и нагоняющий на юнкеров ужас.

– Юнкер, чем же пушка отличается от гаубицы?

Ему почти весело, он, того гляди, захохочет, а пехотинец помалкивает.

– А какова траектория?..

Юнкер краснеет. Полковник же чувствует себя превосходно.

– Юнкер, если не умеете говорить, может быть, нам споете?

Юнкер и петь не умеет. Юнкер не знает ничего и о взрывчатых веществах…

– Следующий!

Полковник совсем развеселился. Радостно ставит ноль. (Странным образом, «шляпе» именно у него и повезло: получил двенадцать, очень редкий балл. Друзья-«извозчики» устроили ему овацию. И он ощущал славу более, чем выходя на вызовы в театре Корша на премьере пьесы.)

Зато ученейший и старенький генерал по фортификации, кротостью больше походивший на монаха, подвергался беззастенчивым жульничествам. Правда, предмет его трудный.

Хорошо ему, старичку в золотых погонах зигзагами, всю жизнь рисовавшему всякие брустверы да блиндажи: он-то их наизусть помнит, вероятно, во сне способен изобразить какое-нибудь «укрытие». А мы только укрываемся от разных репетиций… – да и вообще разве можно такую науку, инженерно-строительную, усвоить в четыре месяца?

Выход простой: самопомощь. Пока генерал грустно объясняет что-то слабым, как у ветхого священника, голосом юнкеру у одной доски, к другим доскам, где томятся два других юнкера, летят подкрепления: выдранные странички из лекций.

– Господа, прошу потише!

Бывает так, что стрела с подкреплением упадет у самых ног генерала или он обернется в ту минуту, когда юнкер Гущин вслух читает бестолковому юнкеру Гундасову страницу учебника.

– Па-а-громче! Не слыш-но! Па-жа-луйста, па-а-громче!

Генерал страдальчески вздыхает:

– Господа, я принужден буду налагать взыскания…

Все вытягиваются, лица беспредельно постны, добродетельны. Ни в какие генеральские взыскания никто не верит. Но конец странички Гущин через несколько минут читает все же тише.

– Па-а-громче! – слышится от доски. – Па-жа-луйста, па-а-громче!

* * *

«Рождество Твое, Христе Боже наш, – пели в церквах, – воссия мирови свет разу-ума». Юнкеров распустили на три дня. В Дурновском была елочка. Мы с некою грустью прятались за ней от будущего – фронта, невдали уже рисовавшегося, всех раскатов, ужасов войны. Но многого не понимали и не различали еще в жизни. Мир же все не понимал «света разума», вернее, от него отрекался. Те же бойни шли, и сама родина наша, сама Россия и Москва близились к страшному рубежу.

Новый год встречали у друзей, в роскошной квартире близ Мясницкой. Ужин был мало похож на юнкерские. Воронежская хозяйка, тяжелого купеческого рода, блеснула жемчугами, угощением. Хрусталь сервировки, цветы, индейка, мороженое, шампанское, поляк лакей в белых перчатках, дамы в бальном, мужчины в смокингах… – прежний русский мир точно давал последнее свое представление: спектакль перед закрытием сезона.

Кроме приятеля моего, хозяина – европейского приват-

доцента государственного права, – помню другого приват-доцента, анархического, помню еще кой-кого из всем известных московско-российских фигур. Но вот запомнился больше других в тот вечер Кокошкин, может быть и потому, что не сразу меня узнал.

– Боже мой, вы… стриженый, в этой странной на вас форме…

Кокошкин был надушен, элегантен, кончики его усов, вздымавшихся полукружиями, слегка покачивались, когда нежнейшим платочком проводил он по ним. (Эти усы помню еще с университета, студентом, когда у него держал экзамены.) Кокошкин остался все тот же, такой же культурно-нарядный, такой же московский «кадет», интеллигент, способный кроме государственного права поговорить и о музыке, о Вячеславе Иванове.

Говорили, конечно, много о войне. Розовый доктор Блюм, с серебряной шевелюрой, бодрый, веселый, все и всех знающий, явился поздно. Блестя глазами черносливными, вкусно выпил водки, закусил икрой, обтер салфеткой ус с капелькой растаявшего снега. Наливая вторую рюмку, благодушно кивнул мне и через стол чокнулся:

– Ура! За армию и за победу до конца!

Опрокинул рюмку, проглотил и засмеялся так раскатисто и весело, точно победить было ему нисколько не трудней, чем выпить эту водку.

– У меня самые свежие новости. Да, мы были на волоске, едва не заключили мира. Не забывайте, что императрица и вся партия ее… немецкой ориентации… Сепаратный мир, а? Как это вам понравится?

Он обвел всех взглядом ласково-победоносным:

– Сепаратный мир, когда Германия и до весны не продержится!

– А вы долго будете держаться? – спросил кто-то.

– Да, но позвольте, вам известно, сколько теперь вырабатывают в день шрапнелей на заводах?

Поднялся спор. Блюм так распоряжался шрапнелями и пулеметами, точно они лежали у него в кармане.

В двенадцать часов, разумеется, чокались, пили шампанское (за победу, за скорый мир, за всеобщее счастье – мало ли за что можно пить в веселую минуту, за обеденным столом, при ярком свете, хрустале, дамах, цветах?). Было шумно и, как всегда под Новый год, грустно-весело. Все же шла война (за «серых героев» тоже, конечно, выпили). Не все были так радостно-самоуверенны, как Блюм. Кой у кого сжималось все же сердце, смутным и волнующим щемлением.

…Мы вышли поздно. По Москве морозной, цепенеющей от холода, мчал нас лихач в Дурновский. Знакомые созвездия неслись над головой в узких, знакомых улицах. На Лубянской площади у костра грелись извозчики. Думали ли мы тогда, чем будет впоследствии это место, этот дом Страхового общества?

Небо да тайна были над нами в канун года, так шумно встреченного Года, разбившего наши жизни, залившего Москву кровью. А Кокошкина, с его надушенными усами, приведшего к кончине мученической.

## III

Первого февраля 1917 года старшая половина нашей роты вышла в прапорщики. Мы с завистью смотрели, как в колонную нашу залу натаскивали свежую обмундировку, офицерские шашки, фуражки, как вчерашние сотоварищи надевали более элегантные сапоги, получали великолепные револьверы – кольты. И неукоснительно по движению стрелки произошла перемена: дружески с нами попрощавшись, обратившись в чистеньких, иногда даже изящных прапорщиков, внезапно исчезли. На их место в тот же час появились «фараоны», вполне еще «шляпы», такие же, как мы были два месяца назад, наполовину в штатском, растерянные, робеющие. Нельзя сказать, чтобы мы их цукали. Но даже «шляпы» декабрьские все же смотрели на февральских несколько сверху вниз. Их так же, как и нас, готовили к экзамену чести. Как «опытные» строевики, мы снисходительно давали им советы, учили, обдергивали топорщившиеся гимнастерки, заправляли пояса под хлястики шинелей. Вообще чувствовали себя господами.

Лично я, впрочем, в эти недели потерпел жестокое поражение. Хорошим строевиком я не был никогда, все-таки на третьем месяце юнкерства, казалось бы, должен был кое-что смыслить в командовании. Курсовые офицеры знали, что я писатель. Некоторые относились ко мне с подчеркнутой любезностью. Эта любезность однажды меня и погубила. Обычно вечером роту рассчитывали или фельдфебель (юнкер же), или «портупей» – юноши из самых ловких, залихватских, смелых. Поручик Н., желая оказать мне внимание, стоя перед фронтом роты, вдруг вызвал меня:

– Ну-ка, рассчитайте роту!

Под светом неярких ламп шеренга юношей – многие среди них приятели, с которыми вместе разбирали и чистили винтовки, другие – робкие новые «шляпы», еще неподтянутые и мешковатые. Расчет роты производился каждый вечер. Все команды как будто

знакомы.

– Рота, смир-но!

Это-то я знал наверно. «Фараоны» с благоговейным ужасом подтянулись. Рота действительно затихла, обратилась в молодую, живую и неподвижную изгородь.

– На первый-второй рассчитайсь!

Тоже неплохо.

Как в заводной игрушке, головы поворачивались слева направо, и эта волна быстро, легко бежала от одного фланга к другому. Теперь надо раздвинуть взводы, вздвоить ряды, сделать еще какие-то мелочи, повернуть направо и колонной двинуть вниз, в столовую.

Что со мной сделалось? Очень простая вещь. Я скомандовал так, точно бы сам находился в строю, а не перед строем. И все вышло наоборот, как в зеркале. Команда – магическое слово. С ней не спорят, и ее не обсуждают. Взводы покорно исполнили, что им было приказано; «фараоны» с окаменелыми лицами полезли друг на друга, плечо на плечо; вместо того, чтобы раздвинуть роту, образовав промежутки, я обратил ее в бессмысленную кашу. Сразу все пропало! Погибла стройная фаланга, исчез ритм ее и эластичность. «Не так… что вы делаете!» – зашептали из строя приятели. «Фараоны» испуганно смотрели во все глаза: может, это они еще напутали… Офицер поправил меня. Но уже все было потеряно. Растерявшись, я и вновь неправильно скомандовал, опять вышла какая-то чепуха… Нет, под несчастной звездой все затеялось. Остальное Н. командовал уже сам.

* * *

Наступили морозы. Какие холода выпали на начало 1917 года! Стекла нашей роты промерзли, «пар от дыханья волнами ходил», мучительно – умываться в шесть часов при такой стуже. И именно тут мы ходили в походы. В своем роде это и интересно. С раннего утра возимся с винтовками, одеваемся потеплее – башлыки, шерстяные варежки, прилаживаем сумки с патронами, веселой колонной выходим на Знаменку, рассыпаемся длинной шеренгой. Настоящий офицер, правильно командующий, строит нас в походную колонну, и мы трогаемся. То ли в Хамовники, то ли за Дорогомилово. Быстрая ходьба разогревает. А там из дымного тумана означится краснеющее над Москвой солнце, и покажется, что теплей, и московский снег, промерзший и певучий, скрипит под сотнями молодых ног. Похоже на прогулку, на какую-то игру. Прохожие оглядываются сочувственно. На

каком-нибудь углу поджидают – кого жена, кого сестра, невеста. Машут платочками, смеются: эти приветы дорогих и близких всегда в нашем положении так радостны!

Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать…

Наша рота певучая. Какие бы мы ни были «извозчики», а поем действительно хорошо, и «жеребцы» нам завидуют. А под песню, даже на морозе, идти легче. По правде же говоря, длинный поход не так особенно и легок: трудно с винтовками. Идти нам нужно стройно и красиво («бравые александровцы»), а для этого штыки должны торчать стойком и весело позванивать иногда, задевая один за другой. Нельзя винтовку просто положить на плечо: и безобразно будет, и, того гляди, выколешь глаза кому-нибудь. Значит, вся тяжесть винтовки на ладони, в которую упирается ложе, а штык – в небе. Рука устает. И очень устает. Правда, мы научились и ловчить: приноровишь петельку шинели и обопрешь на нее ложе. А рукой держишь только для декорации.

За городом рассыпание в цепи, перебежки, атаки, все это уже настоящий спорт, игра. По легкомыслию ли, по могучей ли, таинственной жизненности, вся эта молодежь и даже «шляпы» не первой молодости как-то забывали на пустырях Хамовников, на искрящему снегом поле пред видом Воробьевых гор, куполов Новодевичьего, что это за игра, к чему, собственно, готовимся. Перебегали, залегали, хохотали в снегу… А тайными путями Провидения в те самые дни нарастали события, долженствовавшие все перевернуть.

С какого-то дня все же морозы прекратились.

Походы стали еще легче. И теперь ходили мы больше за Дорогомилово, под Фили – знаменитые Фили 1812 года, с Наполеоном, Кутузовым, победоносным нашим отступлением. Тут уже, в снегах лощин, лесочков, деревушек, сразу чувствовалась весна, и нередко теперь, с резким переломом погоды, легкие, прозрачные облачка веялись по голубому небу, шоссе вдруг темнело, рыжело, грачи появились… Как весело и радостно забиваться гурьбою в деревенский трактир – с разрумяненными лицами, широко дышащей грудью: пить из пузатых чайников чай с калачами, закусывать немудрящей колбасой – игра и охота продолжались перед самыми «событиями».

* * *

Скажи-ка, дядя, ве-едь не даром

Москва, спале-спаленная пожаром,
Французу отдана… Французу отдана…

Мы шли Арбатом, возвращались в училище. Роту вел красивый Прапорщик Николай Сергеич.

– Ать-два, ать-два. – По временам он обертывался и шагал спиной вперед на легких, молодых ногах.

В первом ряду четыре портупей-юнкера маршировали резво-высоко, точно держа винтовки, – узкой лентой колыхалась дальше рота, звякали штыки, отблескивая солнцем. Оттепельный светлый день! Ноги шлепали по шоколадному, с голубыми лужами снегу Арбата. На углу Серебряного Николай Сергеич отдал честь жене моей, поджидавшей наш проход и шагавшей потом рядом с нами по тротуару… (приятели мои уже знали ее и тоже кланялись из строя: вещь не совсем законная, но сходившая с рук).

На Арбатской площади мы немножко задержались: наперерез неслась пара в дышло. Снег и грязь летели из-под лошадей, кучер воздымался истуканом. Мелькнула полость, сани полицеймейстерские с высоченной спинкой, генерал в серой мерлушковой шапке с золотым перекрещением на ней. Лицо его тоже пронеслось видением мгновенным… – но что-то было в нем особенное, совсем другое.

Не знаю, как, откуда к нам проникло это. Но лишь мы разделись, придя в роту, из уст в уста побежало:

– В Петербурге восстание!

Сразу все изменилось. То есть по видимости было прежнее, машина шла, но безумное волнение охватило всех сразу, и «шляп», и «портупеев», офицеров курсовых и батальонных, поваров и генералов. Выдержка скрывала еще новое, но ненадолго…

В городе что-то происходило. Проходили по Знаменке кучки солдат, штатские, дамы, иногда нам махали с тротуаров, кричали. Мы выставили караул у входа. Нас никуда не выпускали.

Если не ошибаюсь, этот день еще прошел спокойно. Утром следующего дня меня вызвали с лекции вниз в приемную – необычайный случай: с лекции и в неурочный час… Там ждал родственник, профессор медицинский, с зеленым от волнения лицом.

– В Петербурге вчера убит Юра…

Прост и страшен был рассказ. Я его выслушал. Я его, кажется, и бессмысленно, сразу окоченев, выслушал. И потом все пошло призрачно. Сквозь туман прощался с родственником, вернулся на лекцию – на лекцию-то все-таки вернулся. Да немного из нее

вынес.

– Что с вами? – шептали соседи.

Юра был мой племянник. Полковник что-то дочитывал. Я сидел, закрыв лицо руками. В ушах – слова о статьях полевого устава. В темноте с радужными кругами – мальчик, на моих глазах родившийся, на моих глазах выросший – изящный, скромный рыцарь. Только что кончил Павловское училище. Вышел в Измайловский полк. 27 февраля был дежурным в полку – вот он в снаряжении, ремнях, с револьвером и шашкой, юношески стройный, с карими веселыми, смешливыми глазами… Петя Ростов?

Когда чернь ворвалась во двор казарм, он один загородил дорогу. На предложение сдаться отвечал отказом… так бы и Петя поступил. И тотчас пал.

Началась «бескровная», «великая бескровная» – суд над всеми нами, с непонятною таинственностью начавший с самых юных и невинных: ими сердца наши разивший.

* * *

Юра пал, как рыцарь, как военный. Самодержавный строй, его жизнью расплачивавшийся, сам валился стремительно – никто его не защищал. К вечеру войска двинулись в Москве на площадь перед Думою (кажется, присягать Временному правительству). В нашем училище электрически пронеслось и установилось такое душенастроение: против большевиков и за Временное правительство. За самодержавие никого, или почти никого, из юнкеров и молодых офицеров. Старые – другое дело.

Часов в шесть была сделана по приказу Мрозовского, командующего войсками округа, последняя попытка борьбы. Нас выстроили в ротах, роздали винтовки, боевые патроны. Стало известно, что поведут «усмирять». Молнией пронеслось:

– В народ стрелять не будем!

Те часы в памяти остались огненными. В голове вертелась гибель и кровь Юры, предстоящая кровь, неизвестность, мучительная тоска, невозможность стрелять и возможность быть сзади расстрелянным из пулеметов за отказ повиноваться, ненависть к убийцам в Петербурге и нежелание проливать кровь неубийц (как нам тогда казалось).

Тот самый офицер, что подвел меня своей любезностью в мирное (казавшееся столь далеким!) время, в боевом снаряжении вышел перед фронтом нашей роты. Рота уже не стояла так «смирно», как тогда. Под светом ламп штыки нервно

покачивались у примкнутых к плечам винтовок. Он объяснил, куда идем.

Что-то задышало, заволновалось, начались «шевеления»… глухие слова, сначала неясные. Потом кто-то крикнул:

– Не будем стрелять!

– Юнкер, вы в строю…

– Мы не будем стрелять, господин поручик! – закричали с разных сторон.

Офицер еще сильнее побледнел:

– А вы знаете, что Москва на военном положении и что бывает за ослушание…

Но уж не мог сопротивляться он той буре, что неслась одновременно, электрически, по всем ротам. Строй потерялся. Штыки звякали, все кругом говорили. Взволнованные, раскрасневшиеся лица…

– Послать узнать в другие роты…

В величайшем волнении сам офицер ушел. Мы остались стоять. Что-то решалось, колебалось в старых стенах училища, с портретами государей, полководцев на стенах… Какие-то стены падали.

Через час нам велели разоблачиться. Никуда мы не вышли.

В таком настроении наши двенадцать рот не выведешь.

## IV

…На улицу нас так и не пустили, чтобы не подвергать опасностям. По-прежнему в передней стоял караул. На противоположном тротуаре толклись любопытные, студенты, дамы. Махали нам, как бы нас звали. Лекции и занятия все же шли. Вернувшись с ротного учения, встретил я в колонной зале юнкера Гущина. Веселый юнкер, со штыком у пояса, на ходу крикнул:

– Сейчас на улице вашей супруге салютовали!

– Как так?

– А вон, взгляните…

У окна толпились юнкера. Махали носовыми платками, один кричал что-то в форточку.

– Она спрашивала, – объяснил Гущин, – живы ли вы и как здоровье. Ну, вот ей и ответили…

Особенную известность жена моя получила в эти дни за то, что первая дала знать в училище об аресте командующего войсками (генерала Мрозовского). В приемную к ней меня не пустили. Но в бутербродах ухитрилась она передать мне записку о Мрозовском, – это произвело у нас огромнейшее впечатление. В

знак благодарности юнкера вывешивали ей теперь бюллетени о моем состоянии.

Подойдя, увидел я на оконном стекле приклеенный огромный лист бумаги. На нем усердно, крупно было выведено:

– Боря здоров.

* * *

Недолго продолжался наш нейтралитет. Тот самый ветер, что перебуровил всю Россию, проник и сюда. Само начальство наше перешло под власть Временного правительства.

Все помнят эти дни – ощущение стихии надвигающейся, все сметающей. Мне же особенно врезался один вечер в училище, первый после падения самодержавия. Обычно при расчете роты шеренга «извозчиков» пела: «Боже, царя храни!» Офицеры и фельдфебеля держали под козырек, все мы тянулись во фронт. Это считалось минутой торжественной.

Наступила она и в тот день. Когда надо было взять дружно, хором – раздалось всего два-три неуверенных голоса, по привычке.

– Отставить, – сказал высокий, худой ротный наш, с сединою, при «Георгии». Все замолчали. Странная, невеселая минута! Одиноко мы стояли. Сумерки наступали. Где-то вдали играла музыка. Екатерина, во весь рост, смотрела с овального портрета в глубине залы. Александр, насупротив, выставлял белые лосины, зачесанные височки. Николай скакал на коне. Гимна не пели.

Высокий ротный, с сединой и плешью, отирал платочком слезы.

* * *

А на другой день юнкера весело выбегали на мокрую, в мартовском солнце улицу, месили сырой снег, прыгали через лужи – бежали в отпуск. И старый ротный, старый гимн, все это позади. Улицы бурлят народом, еще радостным и оживленным. Разочарований еще нет. Медовый месяц. Что же говорить, большинство наших нацепили красные банты: Временное правительство как-никак из революции ведь родилось. И все близкие: жены, сестры, матери – приблизительно так чувствовали.

Но дисциплину мы сохраняли. Помню, встретил я на Пречистенском старичка генерала, худенького, с красными

лампасами, в кованых калошах. Он старательно обходил лужу на тротуаре. Бравый александровец, хоть и с красным бантом, стал, разумеется, перед ним во фронт, да так ловко, что треть лужи выплеснул на генералово пальто. Старичок горестно махнул рукой:

– Эх, юнкер, юнкер…

* * *

Новая жизнь началась и у нас, в старом, вековом дворце на Знаменке. Новая жизнь, с революцией пришедшая, состояла в том, что прежний, грозно-крепкий строй вдруг обратился в некий призрак. О, мы вели себя благопристойно, с внешней стороны машина будто бы и двигалась. Но в самом этом движении появилась некая фальшь. Не было ощущения власти, неотвратимой силы, прежде смалывавшей… надо просто признать: лично, для каждого, стало в училище легче. (И если так произошло с нами, то что же стало с солдатами! Как же им было не хотеть революции!)

И начальство переменилось. Как не иным может стать начальство, когда сразу же роты выбрали свои комитеты и уполномоченные эти в любое время могли докладывать старику-генералу, начальнику училища, о своих нуждах. Царство «шляп» начиналось. О, если б я хотел выплыть, время подошло. Но и без всякого моего желания, только за то, что я писатель и «шляпа», выбрали меня и в ротный комитет, и потом в «комитет семи» от всего училища – мы вошли в Совет солдатских и офицерских депутатов Москвы. Много интересней, разумеется, было заседать вместо лекций в какой-нибудь для нас отведенной аудитории или ехать в Политехнический музей на общее собрание Совета. Или идти депутацией к нашему генералу, просить о каких-нибудь послаблениях (о «подтягивании» никогда мы не просили) – и при всей внешней почтительности нашей все же генерал смущался… и никак не мог взять тона: что мы, подчиненные его или он нам в чем-то уже подчинен? Мы старались, разумеется, быть мягче и приличнее, но за спиной нашей «ловчилы» уже действовали: старый, тяжеловатый и суровый строй военный отступал.

По-прежнему ходили мы в походы, были даже на параде на Красной площади, по-прежнему учились стрельбе в тире и разбирали проклятый пулемет (понять устройство коего невозможно). Но все это было наполовину игра, «нарочно».

* * *

Важное или важным лишь кажущееся надвигалось так же неотвратимо, как в свое время минута погружения в училище.

…Последние дни нашей жизни на Знаменке были легки, несколько и ленивы, занятны. Помню московскую весну, свет, лужи, огромный офицерский магазин на Воздвиженке, куда ходили мы примерять новенькие френчи, фуражки с офицерской кокардой, шинели. А потом все это волокли к нам в роту. Лекции уже окончились, мы валялись по койкам, вновь мерили, охорашивались, сравнивали револьверы, пробовали острия шашек, – возраст наш сразу понижался до полуребяческого, несмотря ни на какие погоны. В эти же дни шло медленное, но тоже непрерывное возвращение к жизни обычной: точно бы просыпался после четырехмесячного сна с удивительными сновидениями (команды, марши, трубы, походы…). В эти светлые весенние дни, лежа на своей койке, опять я читал, как обычный человек и истинная «шляпа», нечто глубоко невоенное, совершенно здесь неподходящее, что, однако, уводило в некий иной, романтический мир: «Воображаемые портреты» Уолтера Патера (в переводе Павла Муратова) – и светлый опал с нежным сиреневым оттенком дней московских, дней весенних сливался с обликами Ватто, пейзажами дальнего Оксерра. Эта смесь поэзии и странной жизни вокруг и тогда волновала, и теперь о ней вспоминаешь с удивленным чувством.

1 апреля обратились мы в нарядных прапорщиков армии, дни которой и вообще-то были сочтены. Обнимались, прощались весело и грустно. Выходили все в разные полки. Будущее было загадочно и неясно – судьба наша недостоверна. И действительно, веером разнесло нас кого куда. Из всех полутораста своих сотоварищей по роте лишь одного довелось встретить мне за пятнадцать лет.

…На моих новеньких погонах стояла цифра «192» – запасной пехотный полк Московского гарнизона.

# Офицеры (1917)

## I

…Казармы – вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся без толку, – кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. Офицеры, изредка пересекающие двор, – больше в канцелярию или в столовую. Ненужное, скучное, бестолковое… пока еще мирное, но уже в себе искры таящее. Такой же сумбур и снаружи, вокруг знаменитой башни Сухаревской, пристанища чернокнижника Брюса. Базар, суета, солдаты, квас, палатки, семечки.

Вернувшись из деревни, надеваю парадную форму, со всеми портупеями и крестообразными ремнями, чищусь, подтягиваюсь, отправляюсь представляться полковому командиру.

Часам к десяти собираемся мы, пять-шесть прапорщиков, в небольшой комнате, светлой, носящей еще следы старой, налаженной жизни, – приемная полкового командира. Скоро вышел и он. Мы вытянулись, поочередно представились… Вспоминая лысого старичка с большим лбом, вижу его как бы на сцене: не то из «Трех сестер», не то из другой чеховской вещи. Во всяком случае, это чеховский человек. Он радостно, как родным и близким, пожимал нам руки. Кажется, это был генерал-майор, с седыми бачками, в сюртуке с эполетами и с красными лампасами (теперь иногда таких показывают в русских фильмах).

– Александровского училища? Так, так-с, прекрасно. Отличное заведение… Надеюсь, будем в согласии работать. Времена трудные, господа, вы сами понимаете, требующие особенного такта, осмотрительности…

Из окна виден двор. Солдаты шляются по нему, иногда в обнимку, другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки. Такой же двор, вероятно, был и в Измайловском полку, когда туда ворвались (тоже лущившие семечки) и убили Юру. Мы многое понимаем и без старенького генерала.

Он отпустил рас с лучшими пожеланиями. Понимаю его. В нашем облике, тоне, почтительности чувствовал уголок своего. Мы не обидим. Не нагрубим – тонкая пленочка, еще отделяющая его от семечек.

Возвращаясь домой, остановился я на Сухаревке, ждал трамвая. В сутолоке базара случайно взглянул на лоток, где лежали разные мелкие вещи: гребни, шкатулки, бусы. Среди них небольшая деревянная икона, без оклада, старинного письма. В

середине ангел-хранитель, в белом с золотом, с округлым, чуть припухлым ликом рублевского типа. Слева Николай Мирликийский, справа св. Татиана. (Редкая по сюжету композиция XVII века.)

Татьяна – это Пушкин, Москва. Имя моей матери, моей сестры, с детства как бы священное. На перекрестке жизни, в нищете и убожестве сухаревского рынка предстала мне св. Великомученица.

…Через несколько минут я вез икону, тщательно завернутую, к себе на Долгоруковскую. И она вошла в дом мой в первые месяцы страстей России.

* * *

Так началась в Москве офицерская моя жизнь. На юнкерскую вовсе непохожая. Там напряженность, дисциплина, труд, здесь распущенность и грустная ненужность. Война еще гремела. На Западе принимала даже характер апокалипсический. У нас вырождалась. Мы уже не могли воевать, мы – толпа. Это чувствовалось и в тылу. В Москве тоже делали вид, что живут, обучают солдат и к чему-то готовятся. В действительности же…

Я поселился в особняке у друзей. Старинный купеческий дом, фасадом на Сущевскую, двором на Долгоруковскую. У меня отличная комната. Для работы огромный кабинет, рядом пустая зала, по которой взад-вперед можно ходить без устали. Блистающий паркет, фанера на стенах, лукутинские табакерки и коробки, жара, солнце и пыльная улица за окном с церковью Казанской Божией Матери (где некогда я венчался).

Служба… Состояла она в том, что по утрам надо ехать в казармы. Там решительно нечего делать, при всем желании. Бездельничали и солдаты и офицеры. Смысл поездок этих только тот, что в полдень в офицерском собрании, там же в казармах мы и завтракали. А после завтрака Сухаревка, трамвай, и к себе на Сущевскую.

Но одних суток все-таки и мне не забыть: меня назначили дежурным по полку. Опять снаряжение, ремни, портупея, теперь и заряженный револьвер. Весь полк на твоей ответственности… А уж какой это теперь полк!

Около полудня спустился я с какой-то лестницы во двор казарм. К великому моему удивлению, там стоял хорошо построенный взвод, со старым фельдфебелем. К моему окончательному изумлению, при моем появлении взвод взял на караул – винтовки тяжело, но правильно взлетели, штыки

блеснули – военный театр первого сорта. И на приветствие мое караул ответил совсем по-старорежимному:

– Здравия желаем, господин прапорщик!

Начался «день в караульном помещении»…

Что я там делал? В своем вооружении («до зубов») сидел в нечистой комнате с клеенчатым диваном у столика. Подписывал какие-то бумажки, пил чай. Бессмысленно смотрел на приходивших, спрашивавших, можно ли послать ефрейтора туда-то, делать то-то, разрешить отпуск тому-то, сделать то-то на кухне. Если бы был властолюбив, вероятно, все запрещал бы. Но я взял иную линию: все можно. Если угодно, это линия отчаяния: ни в одном распоряжении своем я не мог уловить смысла. Что надо делать на кухне? Как поступить с ефрейтором Ничипоренко?

Ночью «камера» моя обратилась просто в полицейский участок. Беспрерывно ловили на Сухаревке дезертиров, жуликов, воров – перед столиком моим проходили типы с чужими сапогами под мышкой, кое-кто уже с синяками, какие-то мальчишки, солдаты с фантастическими документами… Царь Соломон, разреши, кого куда? В преддверие ада или в нижние круги?

Меня выручил тот же фельдфебель, что утром так отлично отсалютовал. Я его взял на ночь «техническим экспертом».

– Этого сукина сына, ваше благородие, – шептал эксперт, – прямо на гауптвахту.

– У того, с заячьей губой, документ отберем.

Вводят лохматую «косую сажень» с подбитым глазом, растерзанного, в солдатской фуражке: стащил чуть ли не тюфяк.

– Этого, ваше благородие, прикажите в комиссариат…

Часам к трем ночи в окне бледно зеленеет. Выхожу на двор, курю. Нежное предутреннее небо, тающий, знакомый узор милых звезд, таинственные дуновения ночные. Сладок дым папиросы на чистом воздухе майскою ночью! Неужели я писал когда-то книги? Неужели и сейчас в столе на Сущевской лежит начатая рукопись «Голубая звезда»?

Опять ведут дезертира. Этот, пожалуй, украл всю полковую кухню? Папироса докурена. Начинается суд. Клеенчатый диван, спертый воздух, нечистота… Нет, всю жизнь прослужил я в полицейском участке.

* * *

Все-таки некоторые полки уходили на фронт. Как, кому удавалось уговаривать на это странное предприятие? Но сами мы с женой провожали 193-й пехотный на Днестр. С ним уезжал

пасынок мой, прапорщик Алеша С. (впоследствии большевиками расстрелянный).

…Знойный, блестящий день, платформа где-то у Ходынки, товарный поезд с вагоном второго класса для офицеров. Толпа солдат с гиканьем, песнями валит в вагоны. Круглое, в пенсне лицо Алеши, нервно смеющегося, бегающего по платформе, на ходу целующего руки матери.

– Ты, мама, не волнуйся… Какая теперь война, просто сидение в окопах…

Ни одна мама мира не утешится такими утешеньями – да станут ли ее и спрашивать? Идет стихия, буря, судьбы российские решаются – приходится тащить таинственные жребии. Мать дала ему на войну иконку – Николая Чудотворца – да по-женски плакала, когда уходил поезд, весь в серых шинелях… и оркестр играл:

По улицам ходила
Большая крокодила…

О, знаменитая музыка революции, Блоку мерещившаяся, – «Большая крокодила»…

Юношеское лицо в пенсне, конечно в слезах, виднелось из окна вагона. Белый платочек, да ветер, да солнце. Скоро и мой черед.

## II

…В конце мая 192-й пехотный полк выступил в лагерь. Май стоял чудесный. Солнце, тепло, сады московские залились зеленью… Кое-как выстроили полк, даже музыка появилась, песенники. Офицеры в снаряжении – через всю Москву повели мы своих «серых героев» на зеленую дачу. Не так много в строю их и было: остальные предпочитали слоняться по городу, вечерами флиртовать в Александровском саду. Да и те, кто шли, делали нам великое одолжение: в сущности, с половины дороги (если бы надоело) могли они разбежаться вполне безнаказанно: нам бы оставалось лишь доказывать им, что в лагере лучше, чем в казармах.

Впрочем, и действительно лучше. Ходынский лагерь очень приятен. Слева Петровский парк, весь свежий и густой, крепко зеленый. Прямо – Москва с золотым куполом Христа Спасителя, знаменитое поле, некогда трагическое, а теперь мирное, поросшее травкой, – тропинки по нем протоптаны солдатами. Лагерь

окопан канавой – это опушка леса, и все палатки под деревьями. Похоже на дачное место для военных. Роты размещаются по участкам. Приезжают кухни, обозы, начинается извечное военное хозяйство.

Нам, троим младшим офицерам роты, отвели небольшой домик. Мы там устраиваемся «приблизительно»: лишь толстый немолодой прапорщик латвийского происхождения будет здесь ночевать, а мы каждый вечер домой.

Ротный Л. у нас милейший. По профессии певец, с недурным баритоном и левых устремлений – эсер. Но не «шляпа». Высокий и стройный, веселый, отлично командует, верит в республику и победу соединенных армий. Верит, что нравственным влиянием можно поддержать дисциплину и в наше время.

– Работать надо, господа, дело делать, а не опускать носы. Только этим мы и сможем одолеть анархию и большевизм. Вот вы, например (обращаясь ко мне): вы писатель, надо завести собеседования с солдатами, объяснять им необходимость войны до победного конца, чтобы они, знаете ли, поняли ту высокую цель, из-за которой мы боремся… подумать только: германский империализм! Ну, да что мне вас учить, сами найдете нужные слова.

Грех мой состоял в том, что тогда я писал для одного издательства брошюру о необходимости войны «до победного конца». Л. знал об этом. И считал меня самым подходящим для таких бесед.

Мы их устроили. Тут же, под березами и осинками лагеря. Никак это не походило на митинги, скорее на семинары. О войне говорили, но мало: тема быстро исчерпалась. Разговор же шел, и оживленно, о деревне, жизни, о литературе. Кое-что я им читал: Толстого, Гаршина. Не знаю, имело ли это смысл и достигало ли какой-нибудь цели. Но в памяти остались некоторые солнечные утра на Ходынке, десятка два-три молодых солдат, сидящих и полулежащих на траве, чтения наши и разговоры. Некоторые из солдат глядели со вниманием и любопытством. Некоторые, казалось мне, даже с сочувствием. Трудно определить, каким кажешься. Приблизительно так представляю себе их впечатления.

– Разумеется, дело – барин и в свою сторону гнет. Книжки читал, рассказывает по-печатному.

Вмешивается пожилой ефрейтор.

– Теперь прапорщик пошел лядащий. Одна видимость. Бывало, как Михаил Михайлыч выскочит да как гаркнет: «Вы что тут, сукины дети, лежебоки, прохлаждаетесь!» – даже в середке похолодеет. Это были военные люди…

– Теперь, дядя, другие времена. Слабода!

Ефрейтор крутит цигарку:

– А коли слабода, так на кой хрен мы тут? Война – война, до победного конца… Я, братцы мои, порядки знаю. Перемышль брал, в руку ранен. Да. А с такими кобелями, как вы, какое мы войско? Нас немецкие бабы в плен возьмут.

Пристает рыжий большевик с веснушчатым лицом:

– Вы, товарищ, несознательный… Это, конечно, прапорщик, как он помещичий сын, то о войне и рассуждает по-буржуйски. А нас ежели на фронт пошлют, мы тотчас братание в окопах устроим…

– Гаврюха, ты куда мою рубаху повесил?

– И даже ничего ее не трогал…

– Вот сукин кот! А мне вечером в город.

Ефрейторская цигарка едко курится. По Ходынке в летнем зное вяло бредут несколько солдат. Здесь, в тени, и то жарковато.

– До победного конца! Какие теперь ахвицеры!

* * *

Я знал, что еще в марте были предприняты шаги для перевода моего в артиллерию. Куда-то жена ездила со знаменитым москвичом, что-то налаживала, хлопотала. Но шли месяцы, не было ни ответа ни привета. Войска же понемногу шли на фронт. Наш черед приближался.

Ротный Л. вызвал нас троих в канцелярию:

– Господа, завтра смотр. Приезжает командующий войсками, все как полагается. Прошу показать роту нашу образцово… и вообще, – он улыбнулся, – не ночующим в лагере – не опоздать! Да, трудное время (он напустил на свое худощавое, бритое лицо серьезное выражение), но упорство и культурная, демократическая работа в армии преодолеют анархию. Твердо верю! Надеюсь на вас, господа. Надеюсь.

Мы поклонились. Через четверть часа ротный плескался в умывальнике, приятным баритоном напевал:

– «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею ис-ку-пи-ть, верну я че-есть свою и славу! И Ру-усь от недру-гов спасу!»

Может быть, и взаправду, командуя своей ротой, рассчитывал веселый Л. спасти Россию, как, может быть, мечтал о том же и Верховский, молодой генерал, тоже из эсеров, командующий войсками округа.

«Кто штык точил, ворча сердито…» – нам Бородинского сражения не предстояло, и штыка я не точил, все-таки шашку с вечера осмотрел – главное: легко ли вынимается из ножен. И

опять не для того, чтобы рубить головы, а чтобы салютовать авантюристу Верховскому.

Встал на другой день пораньше, приоделся и в седьмом часу ждал на перекрестке Бутырок трамвая к «Трухмальным». Все прошло правильно. Приехал загодя – видел свежий, зеленый утренний лагерь (по правде сказать – впервые так рано). Л. был нервен, оживлен. Даже кого-то распекал, с театральными переливами баритона. Солдаты тоже подтягивались. Смотр – это большое развлечение.

Что после Толстого скажешь об этом военном зрелище? Откуда взять Кутузовых, Багратионов, Ростовых, Болконских? И «серые герои» наши – не павлоградцы и не апшеронцы: все-таки, сколько могли, мы выстроили их по опушке вдоль лагеря. Как водится, долго стояли «вольно», а потом увидали группу всадников, на рысях шедших к нам по Ходынке (Наполеон! Александр!). До Александра далеко, всего-навсего Верховский со штабом. Заиграла музыка, полк взял на караул. Наш лысый старичок, в мундире, орденах, трепеща рапортовал командующему. Бедный, трепетал только он один. Солдаты равнодушно зевали. (Замечательно, что еще удосужились взять на караул: вероятно, потому, что командующий тоже делил землю.)

Верховский, фатоватый, театральный, явно кокетничавший перед «героями», покачивался на седле высокой, худой кобылы. «Я человек новый, энергический, я этих протухших генералов подтяну…»

С нашим генералом был небрежен, просто груб. Ехал вдоль фронта рысцой, а полковой командир почти бежал за ним по жаре, пыли, бросал короткие, надменные замечания. (И верхом-то ехал, только чтобы унизить старика, обливавшегося потом. Отлично мог пройтись пешком, да и лучше разглядел бы солдат.) Кончилось нее все митингом, как полагается. Для такого случая соблаговолил Верховский даже слезть с лошади. Взобрался на какой-то стол или пустую бочку и начал ораторствовать.

«Апшеронцы» и «павлоградцы» побросали винтовки, сбились в кучу вокруг «товарища командующего». Резким, неприятным голосом выкликал он знакомые шаблоны.

Вечером большевики устроили свой митинг. Там уж не стеснялись.

* * *

Итак, полк наш считается готовым. Не сегодня завтра чудо-богатыри с «железными» офицерами выступят… мокренько

останется от австрийцев при одном нашем приближении.

…Сереньким июньским утром подали мне на Сущевской пакет-распоряжение штаба округа. Прапорщик 192-го полка такой-то переводится в первую запасную артиллерийскую бригаду.

С этой бумагой поехал я в полк. Дождичек покрапал на Ходынке, завешивая дали легкой сеткой. Березы вкусно пахли. Солдаты попрятались. Вблизи ротной канцелярии попался Л. Увидев меня, улыбнулся:

– Вас отчислили. В артиллерию.

– Вот, только что получил назначение.

– Что же, поздравляю. А знаете, наш полк завтра выступает. Вам повезло.

И протянул приказ: действительно, назавтра 192-му уходить на позиции.

«Повезло!» Да, конечно. Это судьба называется. В книге ее было записано, что такому-то прапорщику-«шляпе» не воевать. Так и вышло. И потому за него хлопотали, и месяцы пролежало все без движения, в нужную же минуту таинственная рука протянулась…

«Не ехать».

Все-таки было смутное чувство, точно бы я все подстроил. Пошел к себе в домик, где стояли походные наши постели, прощаться с латышом и К. Они меня тоже поздравляли. И тоже, как Л., не совсем искренно.

За походной постелью, памятью Александровского училища, собирался приехать на извозчике… Да пока собирался, и полк ушел. А постель, разумеется, стащили.

## III

…Некогда слушал я лекции в Горном институте, теперь это пригодилось. В прошлом студент высшей технической школы: явно быть ему в артиллерии. Пусть от всей горной мудрости осталось только то, что кристаллографию понять нельзя. Все-таки для военного начальства я бывший техник. Значит – первая запасная артиллерийская бригада.

Ее казармы недалеко от Ходынки. Но все здесь иное. В лагере зелень, природа, некоторая улыбка. Казармы – как бы военный поселок. Фабрики и казармы – ярчайшие облики некрасоты мира (впрочем, еще: больницы, тюрьмы).

Если бы наши казармы обнести стеной, была бы типическая тюрьма – красные корпуса с запасными окнами, с грязью на дворе, ленивым движением фургонов, подвод, солдат с

верховыми лошадьми в поводу. Но в тюрьме должен быть порядок. Мы же – в священно-освободительной анархии. Наша жизнь – прямое продолжение Сухаревки.

Собираемся в десятом часу в офицерской комнате. Здороваемся. Пьем чай. (Некие солдаты, денщикообразного состояния, еще подают его.) Читаем газеты. Мухи жужжат на грязных окнах, ползают по грязной скатерти. Если отворить дверь в коридор, там шмыгают писаря с разными записками, бумажками для канцелярий.

– Прапорщик, читали, что в Петербурге делается?

– Да, большевички работают.

– Погодите, скоро и у нас начнется.

Но у нас, собственно, начинался только в полдень завтрак: разумнейшая часть программы. Завтрак тоже казарменный, скучный, но питательный. Белобрысые типы подают тарелки щей, вареную говядину… Клеенка в хлебных крошках, в кругообразных подтеках щей под тарелками.

– Поручик, передайте, пожалуйста, горчицу.

– Я бы этих большевицких болтунов давно перевешал.

Толстый, неповоротливый прапорщик настроен грозно. Успел ли бы он?.. Похоже, что его предупредили бы в этом намерении.

* * *

Приятно-детская сторона новой жизни: форма. Она элегантней. Вместо тяжелой шашки кортик. На ногах краги. Главное же шпоры!.. Летний московский вечер. Выходишь из квартиры на Сущевской, идешь по Долгоруковской в Литературный кружок. В летней полумгле зеркальные окна, тихая библиотека, веранда, востряковский сад, столиками уставленный, зелень. Сиренево-зеленоватая ночь спускающаяся. На веранде картежники. Приятен свет свечей под колпачками! В саду фонарики – похоже на какой-то летний праздник. Боскеты (фантастические в ночном свете), листья, мелкий гравий, олеандры в кадках.

Знакомых в Москве много. Шпоры позвякивают. Голубые звезды на небе. Холодная бутылка белого вина. Как далеко это от Александровского училища!

* * *

Все-таки начинается и вновь учение. Для пяти-шести

прапорщиков из пехоты устроены занятия. Три раза В неделю поручик Н. водит к орудиям – в поле, за казармы. Пушки глядят на Ходынку. Из Петровского парка тянет свежестью леса, полей. Н. объясняет устройство затвора, приемы наводки. При всей своей «шляпности» слушаю с интересом. Нечто добропорядочное, прочное в стройной, слегка полной – несмотря на молодость – фигуре Н. Бедного нет уже в живых. И его, и двух его братьев, должно быть таких же прямых и славных юношей, через несколько месяцев расстреляли большевики.

Обучали нас и верховой езде. Я с детства хорошо ездил – теперь считал эту науку скучноватой. Всё-таки для порядка приходилось делать круги рысью на нескладной артиллерийской лошади.

С верховою ездою связано и решающее событие «военной» моей жизни.

Вот о нем воображаемая запись:

«*12 июля*. В понедельник назначен под Архангельское с солдатами и лошадьми батареи в ночное. Когда-то, ребенком, занимался этим. Что же, пусть и взрослым… Во всяком случае, прогулка верхом за двенадцать верст, ночь в палатке, бивуак, природа. Ничего дурного не вижу. Получше одеться. Взять книгу. Что именно? Марка Аврелия “Размышления”. Всегда любил.

*15 июля*. Оказалось даже лучше, чем предполагал. В три явился в бригаду – в шинели, снаряжении, на этот раз даже с шашкой. Вот теперь со шпорами надо осторожней – с непривычки можно раздражать ими зря лошадь. Ординарец привел вороную высокую кобылу. Рысь у нее редкая, грубоватая, но неплохая. Тронули сразу полным ходом. Хорошие места. Подмосковные. Леса, долины, извивы Москва-реки. Не зря баре наши любили этот край. Их следы остались: Архангельское, Ильинское, дальше, к Звенигороду, имение графа Гудовича. Тут и дороги хорошие, и деревни зажиточные. Солнце, приятный вечер. Наливающиеся овсы, кое-где рожь убирают уже – что может быть лучше крестцов ее в поле, возов поскрипывающих, загорелых девок и баб под вечерним солнцем, при небе стеклянно-голубом над синим лесом?

Жарковато одет: под шинель уговорили надеть кожаную куртку – ночи, мол, холодны. Очень распарился.

…Через час приехали. Все прошло благополучно. Шпоры не мешали (не забыть с детства покойного отца наставления в езде: “Береги носки! Опять носки врозь!”). Да, тут уж настоящий бивуак, не Ходынка. Сосновый лес, в нем палатки, костер, кухня, фуры… Сквозь деревья видна луговина, там пасутся стреноженные лошади. Верно, где-нибудь и в Галиции так же,

только впереди окопы. У меня отдельная палатка – маленькая, но приятная. Постель походная, все как следует. В чем же моя служба? Кажется, в том, чтобы просто присутствовать. “Стеснять собою солдат”. Верный ли это расчет? Бог знает. Он основан на том, что у пожилых ефрейторов, фельдфебелей сохранилось еще некоторое отношение к погонам. “Все-таки неловко при прапорщике…”

Мог ли я что-нибудь приказать? Настоять, заставить сделать? Forse che si, forse che no[79]. К счастью, ничего и не приходилось приказывать. Солдаты приглядывали за лошадьми, подбрасывали в огонь еловых шишек, кипятили воду в котелке. Когда солнце закраснело у горизонта, спели хором. У меня с ними такие отношения: пассажиры одного и того же поезда. Друг с другом довольно любезны – и безразличны. В одном вагоне проведем ночь, утром, в Саратове, выйдем на станцию, чтобы никогда больше не встретиться.

Пока было светло, читал, сидя на пенечке, своего Марка Аврелия. “Судьба загадочна, слава недостоверна…” Писано это тоже в палатке, в какой-нибудь дикой Паннонии, Дакии. И как волнуют слова, две тысячи лет назад нацарапанные холодным зимним вечером, при свете факела… Слово, великое наше слово!

На закате вышел на луг. Туман по нем зароился. Красная заря гасла над Архангельским. Недалеко Барвиха, где случалось бывать ранее.

Долго сидел на поваленном дереве. Туман все более стелился. Лошади в нем позвякивали бубенцами. Так вот будешь скоро сидеть где-нибудь на Днестре и ждать смерти. “Судьба загадочна…” И одиноко человеку перед вечными звездами, в неверных испарениях родной земли. Думаешь о близких и любимых, одиночество еще острее.

…Все что-то холодно. Слишком распарился в дороге, вот и прохватывает. И в палатке лег, укрылся, а согреться не могу. Удивительный воздух! Лес, хвоя, такой чистейший смоляной настой… Волнение – поэтическое, радостно-грустное – мешает спать. Раза два встаю, в шинели выхожу из палатки. Солдаты спят. Костер догорает. Теперь, с пофыркиванием лошадей в темноте, за кругом света, озаряющего лишь недалекие деревья, да фургон, да храпящих, – весь бивуак наш, под черным шатром сосен, похож и на привал разбойников. Только не хватает землянки Дубровского.

Сквозь просвет дерев в небе звезды – милые мои…

*20 июля*. Нынче утро провели у орудия. Н. разбирал затвор. Нездоровится. Кашляю. Порядочный ветер. Кашель мешает сосредоточиться.

*23 июля*. Кашляю, голова болит.

*25 июля*. Приехала жена из деревни. Вид у меня мерзейший. Кашляю и хриплю так, точно в груди плохой граммофон.

*26 июля*. Вот она и поэзия, и лес, и Марк Аврелий. Зря надел кожаную куртку, только распарился и ночью промерз. Кашляю уже кровью. Доктор выслушал – воспаление легких, гриппозное и сильнейшее, запущенное. Лежу здесь в компрессе. Противно, но тепло. Близкие, разумеется, в ужасе. Особенно кровь их пугает. Но врач объяснил: при воспалении легких всегда так. Полагается».

* * *

Вспоминаю свою военную «деятельность», не могу не улыбнуться. Но и задумываюсь. Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения – всегда научают. *Бессмысленного* нет.

Тот странный, военный год мой (при всей незначительности его, объективно) имеет тоже свою философию. Вот почему я не только на него улыбаюсь: он некое звено в моей судьбе. «Хочешь делить с другими бремя войны, опасностей? Хочешь идти в самое пекло, пехотным офицером на фронт? Что же, пробуй».

Военная жизнь, ее суровость, дисциплина настоящей армии были показаны, как показано и разложение. Но как только подходило к *действию*, в котором мог бы принять участие, невидимая рука отводила.

Я не попал на фронт – ни пехотинцем, ни артиллеристом, хоть именно мои товарищи в бригаде скоро и уехали туда. «Случайная» болезнь, едва не разыгравшаяся в бурный туберкулез, вывела вовремя из строя. В сентябре бригадный врач дал мне шестинедельный отпуск. В последние его дни, когда я жил в деревне, разразилось Октябрьское восстание. Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых.

«Нет, не нужно. Нет, не то».

И опять та же рука, что показала военную жизнь, как бы дав ощутить (но издали, со стороны) иное, чего как раз и не хватало в прежнем опыте, – повела далее: не путем воина.

# Москва 20–21 гг.

## Studio Italiano

Убогий быт Москвы, разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус («Михаил Михайлыч, верный мой примус!»), «пшенка» без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко.

Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том «Canzoniere» в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, где висят красные шубы для извозчиков и бабы торгуют всяким добром, а Джованни деле Банде Нере сидит на своем монументе и смотрит сколько сольди взяла с меня торговка. Думал ли я, покупая, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции же, в это же время мы по-богемски жили в «Corona d'ltalia», пили кианти и рассуждали о Боттичелли?

Да, но тогда времена были в некоем смысле младенческие.

…А вот наше Studio Italiano. В Лавке писателей вывешивается плакат: «Цикл Рафаэля», «Венеция», «Данте». Председатель этого вольного учреждения – П. Муратов. Члены – Грифцов, я, Дживелегов, Осоргин и др. И мы читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие женские курсы. В дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и политика, и Дантова символика. Мне назначили лекцию, открывавшую цикл.

На зимних курсах бывало в нашей аудитории холодно! Дамы и барышни, да и другие слушатели сидели в шубах. Вряд ли когда-либо, где-либо, кроме России, при такой обстановке шли чтения.

Но сейчас апрель, влажный весенний вечер. Как и в дни мира, арбатское небо, к закату, к Дорогомилову, затянуто нежно-розовыми пеленами. Можно из Кривоарбатского идти в Мерзляковский даже не сплошь по Арбату, а в Серебряном повернуть у церкви направо, и пройдешь среди развалин уничтоженных заборов, развалин фундаментов, «римским форумом», как я называл, к Молчановке. Прямо к тому старому барскому дому с мезонином, где – в столь отдаленные времена! – жил я студентом, дышал тополем, светом, милой Москвой. Дом еще держится, тополя уже нет.

Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты,

неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною.

Ну, почитаем и без манжет.

Сиреневый вечер, мягкий туман, барышни, пожилые любители Италии, кафедра, все как следует. Моральный и аллегорический смысл «Божественной комедии», Данте в Падуе, Орделаффи… В окне апрельский влажно-грустный вечер. Аплодисменты, бледное электричество, друзья… и над убогой жизнью дантовский Орел, подобный виденному у венца Афона. Прореял – все к себе поднял.

*ДАНТЕ У СКИФОВ*
На половине странствия нашей жизни
Я оказался в некоем темном лесу.
Ибо с праведного пути сбился.
О, сколь трудно рассказать об этом
Диком лесе, страшном и непроходимом,
Наводящем ужас при одном воспоминании!
Так он горек, что немногим горше его смерть.
Но дабы помянуть о добром, что я там нашел,
Скажу сначала об ином, замеченном в нем мною.

Что, если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах времен «великих исторических событий»?

Он жил в век гражданских войн. Сам был изгнанником. Самому грозила смерть в случае, если бы ступил на родную землю, флорентийскую (сожгли бы его – igne comburator, sic quod moriatur). «Божественная комедия» почти вся написана в изгнании.

Данте не знал «техники» нашего века, его изумили бы автомобили, авиация и т. п. Удивила бы открытость и развязность богохульства. Но борьба классов, диктатура, казни, насилия – вряд ли остановили внимание. Флоренция его века знала popolo grasso (буржуазия) и popolo minuto (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли.

Четыре года назад профессор Оттокар, русский историк Флоренции, выходя со мной из отеля моего «Corona d'ltalia», показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал:

– В четырнадцатом веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов.

Было это во время так называемого «восстания Чиомпи», несколько позже Данте, но в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня.

Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть. И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица…

## Паек

Думаю, что в осажденных городах население на паек сажали и в Средние века. Данте сражался при Кампальдино, но осады ни одной ему не пришлось переживать. Так что насчет пайка он, наверно, столь же непонимающий, как и вообще все на Западе, они в пайке (1ё рауок) ничего не смыслят вследствие своей крайней отсталости.

Пайки бывают разные. Я хорошо знаю академический и всегда буду ему благодарен, буду курить ладан из кадильниц, и петь, и славить его, ибо благодаря ему и семья моя, и я сам уцелели, и многие из моих знакомых тоже.

– В среду выдают паек!

Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы с Гагаринского, Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним утром с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Там в кооперативе будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, критиками и юристами. А потом наступит наконец блаженный час: нагрузят в повозку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд муки, столько-то сахару, спички, кофе, папиросы…

Жены с благоговением взирают. Вот мы везем свое богатство в детской тележке с деревянными колесиками, они скрипят и визжат на весь Арбат, не беда, чередуемся, тащим, когда пересекаем улицу, то старательно сзади поддерживаем поклажу – ведь это все ценное, на целый месяц, стоимость всего этого рубля два, а то и два с половиной. Паек, паек, награда долгих лет признания, известности, как не оценить костей твоего барана и десятков твоих папирос? Как не потрудиться над тобой, не развести музыки диссонансов на весь Кривоарбатский?

## Интермеццо

Облик Орла – это гений в изгнании, нищете и бездомности. Данте был флорентийский дворянин. Жил в своем доме, обладал достатком. Гражданские усобицы разметали все. Он потерял семью, Флоренцию, родную землю. Скитаясь в Северной Италии учителем литературы, полуприживальщиком сильных мира сего, написал великое творение.

Труднее всего было ему одолевать свой гнев и гордость. Он

ненавидел «подлое», плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких «царьков» Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового «царя» скифской земли – с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упрямца и сумасшедшего?

Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения.

## Эклер при Нэпе

В надвигающемся безумии, в ощущении гибели того, что сам и выдумал, хитрец отменил половину собственного дела. Среди других последствий оказалось одно, малое для «событий», человеческому же сердцу видимое, милое, понятное.

Появился эклер – победа жизни. Его где-то пекли, но уже не тайком, а законно. Законно же и продавали – сладкий, гладко-глянцевитый эклер на Арбате, Никитской, где угодно, прямо на улице. Сколько миллионов спустил я на эти эклеры, на ласточек «слишком медленной весны», но все же ласточек, все же эклер, знак вольного творчества, личное, а не казарма.

В моего друга Х. была влюблена барышня. Ее болезнь носила нежный, мечтательный, но и упорный характер. Они встречались иногда в обществе, на заседаниях. Но ей этого было мало. С упорством влюбленных она неожиданно являлась где-нибудь на углу Никитской и Спиридоновки, как раз когда он проходил, здоровалась, вспыхивала, бормотала несколько слов и исчезала.

Однажды в сухой августовский день пыль и коричневые листья летели по бульвару. Х. выходил из переулка. И не удивился, встретив темные, застенчивые, но и полоумные глаза.

– Здравствуйте, – сказал он, как обычно; снял шапку, пожал ее горячую руку. Она молча сунула ему левой рукой теплый и глянцевитый эклер.

– Это вам… возьмите, вам…

Вспыхнула, слезы блеснули на глазах, и от любви, от смущения ничего уже больше не могла прибавить, убежала.

– Что же бы ты сделал с этим эклером? – спросил меня Х.

– Я бы его съел.

– Вот именно. Я так и поступил.

– И я считал бы его очень трогательным и милым подарком.

– Так ведь оно и есть в действительности.

– Благодаря чему я сохранил бы славное, с улыбкою, воспоминание.

– Оно и сохранилось. Эклер же показался мне особо вкусным.

## Федериго да Монтефельтро

На столе у меня лежит том Сизеранна о знаменитом урбинском кондотьере. Его носатый профиль вспоминается еще во Флоренции, по Пьеро делла Франческа в Уффици. Во время «великой» русской революции, работая над книгой об Италии, я изучал жизнь сына Федериго, меланхолического и несчастного Гвидобальдо.

Да, Италия и красота много помогли пережить страшное время. И, развертывая книгу, сейчас ощущаешь сразу три эпохи русского человека: первую, мирно-довоенную, поэтическую, когда Италия входила золотым светом. Вторую, трагическую, – в ужасе, ярости и безобразии жизни она была единственным как бы прибежищем. Рафаэль и божественная империя, Парнас и музы Ватикана умеряли бешенство скифа. И вот теперь – третья…

Как о ней сказать верно? – Революция кончилась. Но для нас кончилось и младенчески-поэтическое. Началась жизнь. Революция научила жизни. С прибрежья, где гуляли, любовались и позировали, – спустились мы в «бытие». Пусть ведет вечный Вергилий. Началось схождение в горький мир, в «темный лес». Да будет благословенна поэзия. Не забыть Аполлона, не забыть Рафаэля. Но иное á l'ordre du jour[80]. Не позабудешь Италии и не разлюбишь ее. Но нельзя уже позабыть «человечества», его скорбного взора, его преступлений и бед, крестного его пути.

Федериго, уважаемый герцог, покоритель и завоеватель, книголюб, собравший лучшую библиотеку Ренессанса (считал, что напечатанная книга – дурной тон!), – вы теперь мирно будете стоять на полках той моей библиотечки, на которую с высоты своего урбинского замка вы и не взглянули бы, не удостоили б. Я прочту книгу о вас – и отложу. Я не буду в ней, ею жить. Эстет, воитель, государь – вы правы. Но и у меня есть своя правда. Ни вам, да никому вообще я ее не отдам.

# М.О. Гершензон

Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, Староконюшенный, Николо- и Спасопесковский, Никольский. В тридцатом номере последнего обитает гражданин Гершензон.

Морозный день, тихий, дымный, с палевым небом и седым инеем. Калитка запушена снегом. Через двор мимо особняка тропка, подъем во второй этаж, и начало жития Гершензонова. Конец еще этажом выше, там две рабочие комнаты хозяина.

Гершензон маленький, черноволосый, очкастый, путано-нервный, несколько похожий на черного жука. Говорит невнятно. Он почти наш сосед. Иной раз встречаемся мы на Арбате в молочной, в аптеке или на Смоленском.

Сейчас, мягко пошлепывая валенками, ведет он наверх. Гость, разумеется, тоже в валенках. Но приятно удивлен тем, что в комнатах тепло. Можно снять пальто, сесть за деревянный простой стол арбатского отшельника, слушать сбивчивую речь, глядеть, как худые пальцы набивают бесконечные папиросы. В комнате очень светло! Белые крыши, черные ветви дерев, золотой московский купол – по стенам книги, откуда этот маг, еврей, вросший в русскую старину, извлекает свою «Грибоедовскую Москву», «Декабриста Кривцова». Лучший Гершензон, какого знал я, находился в этой тихой и уединенной комнате. Лучше и глубже, своеобразнее всего он говорил здесь, с глазу на глаз, в вольности, никем не подгоняемый, не мучимый, застенчивостью, некрасотой и гордостью. Вообще он был склонен к преувеличениям, извивался, мучительная ущемленность была в нем. Вот кому не хватало здоровья! Свет, солнце, Эллада – полярное Гершензону. Он перевел «Исповедь» Петрарки и отлично написал о душевных раздираниях этого первого в средневековье человека нового времени, о его самогрызении, тоске.

Но, разумеется, Гершензону приятно было и отдохнуть. Он отдыхал на александровском времени. И в мирном разговоре, под крик галок московских тоже отдыхал.

* * *

Я заходил к нему однажды по личному делу, и он помог мне. А потом – по «союзному»: Союз писателей посылал нас с ним к Каменеву «за хлебом». Так что в этой точке силуэт Гершензона

пересекается в памяти моей со «Львом Борисовичем». Есть такой рассказ у Чехова: «Толстый и тонкий»…

* * *

О Каменеве надо начать издали. В юношеские еще годы занес меня однажды случай на окраину Москвы, в провинциальный домик тихого человека, г. Х. Там было собрание молодежи, несмотря на безобидность хозяина, напоминавшее главы известного романа Достоевского или картину Ярошенки. Особенно ораторствовал молодой человек – самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой. Звали его Каменевым.

Прошло много лет. В революцию имя Каменева попадалось часто, но ни с чем для меня не связывалось: «тот» был просто юноша, «этот» председатель московского совета, «хозяин» Москвы. Что между ними общего?

Однажды вышел случай, что из нашего Союза арестовали двоих членов. Правление послало меня к Каменеву хлопотать. Он считался «либеральным сановником» и даже закрыл на третьем номере «Вестник» ЧК за открытый призыв к пыткам на допросах.

Чтобы получить пропуск, пришлось зайти в боковой подъезд бывшего генерал-губернаторского Дома на Тверской, с Чернышевского переулка. Некогда чиновник с длинным щелкающим ногтем на мизинце выдавал нам здесь заграничные паспорта.

Теперь, спускаясь по лестнице с бумажкою, я увидел бабу. Она стояла на коленях перед высоким «типом» в сером полушубке, барашковой шапке, высоких сапогах.

– Голубчик ты мой, да отпусти ты моего-то…

– Убирайся, некогда мне пустяками заниматься.

Баба приникла к его ногам.

– Да ведь сколько времени сидит, миленький мой, за что сидит-то…

…У главного подъезда солдат с винтовкой. Берут пропуск. Лестница, знакомые залы и зеркальные окна. Здесь мы заседали при Временном правительстве, опираясь на наши шашки, – Совет офицерских депутатов. Теперь стучали на машинках барышни. Какие-то дамы, торговцы, приезжие из провинции «товарищи» ждали приема. Пришлось и мне подождать. Потом провели в большой, светлый кабинет. Спиной к окнам, за столом сидел бывший молодой человек Марьиной рощи, сильно пополневший, в пенсне, довольно кудлатый, более похожий сейчас на благополучного московского адвоката. Он курил. Увидев меня,

привстал, любезно поздоровался. Сквозь зеркальные стекла слегка синела каланча части, виднелась зимняя улица. Странный и горестный покой давала эта зеркальность, как бы в Елисейских полях медленно двигались люди, извозчики, детишки волокли санки. В левом окне так же призрачно и элегически выступали ветви тополя, телефонные проволоки в снегу, нахохленная галка…

Мы вспомнили нашу встречу. Каменев держался приветливо-небрежно, покровительственно, но вполне прилично.

– Как их фамилии? – спросил он об арестованных.

Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам.

– А за что?

– Насколько знаю, ни за что.

– Посмотрим, посмотрим…

Раздался звонок по телефону. Грузно, несколько устало сидя, поджимая под себя ноги, Каменев взял трубку – видимо, лениво.

– А? Феликс? Да, да, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду, непременно.

Положив трубку, обратился ко мне:

– Если действительно не виноваты, то отпустим.

Мне повезло. Арсеньева и Ильина удалось на этот раз выудить.

* * *

Что могло нравиться Гершензону в советском строе? Быть может, то, что вот ему, нервно-путаному, слабому, но с глубокой душой, «тип» в полушубке даст по затылку? Что свирепая, зверская лапа сразу сомнет и повалит все хитросплетение его умствований? Но легко ли ему было бы видеть этого типа у себя в Никольском, в светлой рабочей комнате и в другой, через коридорчик, где у него тоже стояли книги. Гершензон не раз плакался на перегруженность культурой. В нем была древняя усталость. Все хотелось приникнуть к чему-то сильному и свежему. Истинно свежего и истинно здорового он так и не узнал, все лишь мечтал о нем в подполье. И, стремясь к такому, готов был принять даже большевистскую «силушку» – лишь за то, что она первобытно дика, первобытно яростна, не источена жучком культуры.

После случая с Ильиным и Арсеньевым я приобрел репутацию «спеца» по Каменеву. Считалось, что я могу брать его без промаху. Так что в мелких писательских бедах направляли к нему меня.

Одна беда надвигалась на нас внушительно: голод.

Гершензон разузнал, что у московского совета есть двести пудов муки, с неба свалившихся. В его извилистом мозгу вдруг возникла практическая мысль: съесть эту муку, т. е. не в одиночку, а пусть русская литература ее съест. Наше правление одобрило ее. И вот я снова в Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, несвязная речь, несвязный ход гершензоновских ног по зимним улицам Москвы…

Без радости вспоминаю эти малые дела тогдашней жизни, более как летописец. Что веселого было в восторженном волнении Гершензона, в его странном благоговении перед властью? В том, что мы, русские писатели, должны были ждать в приемной, подгоняемые голодом? В том, что Гершензон патетически курил, что Каменев принял нас с знакомой «благодушною» небрежностью, учтиво и покровительственно? Заикаясь и путаясь, Гершензон говорил вместо «здравствуйте» «дадуте», весь он был парадокс, противоречие, всегда склонное к самобичеванию, всегда готовое запылать восторгом или смертельно обидеться. Рядом с ним Каменев казался ярким обликом буржуазности, самодовольства и упитанности – торжествующего и «культурного» мещанина.

Да, на каких-то мельницах московского совета, правда, залежалось двести пудов, и мы, по-своему, даже должны быть благодарны Каменеву: мука попала голодающим писателям. Но… «ходить в Орду» невесело.

И далее картина: Смоленский бульвар, какой-то склад или лабаз. Морозный день. Бердяев, Айхенвальд, я, Вяч. Иванов, Чулков, Гершензон, Жилкин и другие – с салазочками, на них пустые мешки. Кто с женами, кто с детьми. Кого заменяют домашние. В лабазе наш представитель, И.А. Матусевич, белый от муки, как мельник, самоотверженно распределяет «пайки» (пуд, полтора). Назад везем мы их на санках, тоже овеянные питательною сединою, по раскатам и ухабам бульвара – кто на Плюхищу, кто к Сивцеву Вражку, кто в Чернышевский. Ну что ж, теперь две-три недели смело провертимся.

* * *

В эти тяжелые годы многое претерпел Михаил Осипович Гершензон. Много салазок волок собственным горбом, по многим горьким чужим лестницам подымался, много колол на морозе дров, чистил снег, даже голодал достаточно. Он упорно и благородно боролся за свою семью, как многие в то время. Семью

любил, кажется, безмерно. Знал великие скорби болезни детей, их тяжелой жизни и переутомленья. Стоически голодал, вместе со своею супругой, отдавая лучшее детям, за тяготы этих лет заплатил ранней смертью.

Как всякий «истинный», не сделал карьеры при большевиках. Как Сологуб, писал довольно много, для себя, но сдался раньше его. Гершензон умер в 1925 году.

…Гершензоновой могиле кланяюсь.

# «Веселые дни» 1921 г.

## Лавка

Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и самих нас.

Книжная лавка писателей, Осоргин, Бердяев, Грифцов, Александр Яковлев, Живелегов и я – не первые ли мы по времени нэпманы? Похоже на то: хорошие мы были купцы или плохие, другой вопрос, но в лавке нашей покупатели чувствовали себя неплохо. С Осоргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кризисах и имманентностях, с Грифцовым о Бальзаке, мы с Живелеговым («Карпыч») по части ренессансно-итальянской. Елена Александровна, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы.

Осоргин вечно что-то клеил, мастерил. Собирал (и собрал) замечательную коллекцию: за отменою книгопечатания (для нас, по крайней мере), мы писали от руки небольшие «творения», сами устраивали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали. За свою «Италию» я получил 15 тысяч (фунт масла). Продавались у нас так изготовленные книжечки чуть не всех московских писателей. Но по одному экземпляру покупала непременно сама лавка, отсюда и коллекция Осоргина. Помещалась она у нас же, под стеклом. А потом поступила, как ценнейший документ «средневековья», в Румянцевский музей.

Итак, Осоргин хозяйничал, Бердяев спорил об имманентностях, горячился из-за пайков, был добросовестен, элегантен и картинен. Грифцов «углубленно» вычислял наши бенефиции. Нервически поводил голубыми, прохладными глазами, ни с кем ни в чем не соглашался: где-то подкожно заседал у него Бальзак, им он презрительно громил противников. Я… в зимние дни, когда холодновато в лавке, сидел на ступеньках передвижной лестницы, где было теплее. До конца дней своего купечества так и не усвоил, где что стоит (книги у нас, правда, постоянно менялись). Если покупатель был приятный, то еще он мог рассчитывать, что я двинусь. Если же появлялась, например, барышня и спрашивала:

– Есть у вас биографии вождей? – я прикидывался вовсе непонимающим:

– Каких вождей?

– Ну, пролетариата…

– Нет, не держим.

И вообще для несимпатичных редко слезал с насеста.

Такой книги нет.

А если есть, то обычный вопрос (вполголоса):

– Елена Александровна, где у нас это?

И Паллада, отсчитывая миллионы, молча указывала пальцем полку.

Мы, «купцы», жили между собою дружно. Зимой топили печурку, являлись в валенках. Летом Николай Александрович надевал нарядный чечунчовый костюм с галстуком-бантом, Над зеркальным окном спускали маркизу, и легенькие барышни смотрели подолгу задумчиво на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль.

## Развлечение

В глубине лавки была у нас дверка и узкая лестница наверх, на хоры с комнаткой, куда мы иногда прятались от скучных посетителей, где устраивали лавочные собрания, – вообще это были «кулисы» торгового дома. В комнатке стоял огромный стол, заваленный книгами, и вокруг на полках тоже много книг. Но уж что здесь находится, не знал не только я, а, пожалуй, и сам Грифцов.

Место это носило несколько таинственный и романтический характер. С хоров можно было, незамеченными, наблюдать жизнь лавки. Полутьма, витая лесенка, пыль – все давало ощущение спрятанности, укрытия.

В этом-то уголке и собрал нас однажды Осоргин – стоял знойный, сухой август, в лавку набивалась пыль, и горячий ветер трепал волосы, как только выйдешь. Осоргин многозначительно сообщил, что в городе организован Комитет помощи голодающим, состоять он будет из «порядочных» людей, но под контролем власти. Голод (на Волге, в Крыму) в то лето, правда, был ужасный. В Самарской губернии так выжгло зелень еще с весны, что поля имели вид черно-бархатной, с отливом, скатерти. Урожая «не оказалось», а так как у крестьян своевременно обобрали прежние запасы, то голод наступил мгновенно.

Власть растерялась. И под минутой паники согласилась на Общественный комитет. Нам, представителям литературы, Предложили тоже войти – об этом мы и совещались наверху.

Предложение шло от Прокоповича, Кусковой и Кишкина. От «власти» председателем назначили Каменева.

Идти или не идти? Вот о чем мы рассуждали. И так как лавка заключала в себе президиум Союза писателей, то нас это близко касалось. Решили идти. Выбрали Осоргина и меня.

У русского человека есть такие, выражения: «за компанию», «с хорошим человеком и выпить можно». «За компанию»… отчего же не попробовать? Пожалуй, не будь это в лавке, с Осоргиным, пришел бы меня приглашать какой-либо честный бородач в калошах или старая дама, я бы и не согласился. Но тут – была не была!

На другой день уже весь город знал о Комитете. Тогда еще считали, что «они» вот-вот падут. Поэтому Комитет мгновенно разрисовали. Было целое течение, считавшее, что это – в замаскированном виде – будущее правительство! Другие ругали нас, среди них С.П. Мельгунов, за «соглашательство»: ведь мы должны были работать под покровительством Льва Борисовича. Помню какого-то желчного интеллигента, который купил у меня на грош, а расстроил на тысячу рублей: выходило, что мы чуть ли не подсобники и т. п. На следующий день в газетах нас превозносили (очевидно, уже считали «своими»), а нашими именами уязвили непошедших.

Газеты эти были расклеены. Выйдя из лавки, завернув в Леонтьевский, я наткнулся на такую «стенгазету». Вокруг нее куча читателей. Безрадостно увидал я свое имя рядом с Максимом Горьким. Мрачный тип сзади, прочитав, фукнул и сказал:

– Персональный список идиотов.

## «Дело»

Были мы идиотами или нет, каждый решает по-своему. Несомненно лишь то, что наша жизнь приобрела некий острый, романтически-заговорщицкий оттенок. Мы ходили в переулочек у Арбата к Кусковой. В ее квартире шла непрерывная суматоха. Являлись, совещались, заседали. Смесь барства, интеллигентства с крепкой настойкой Москвы… Вблизи двухэтажного ее дома церковка, окно кабинета Прокоповича выходит во двор, где играют детишки, с деревьев листья летят, самый дом – не то особняк, не то помещичья усадьба, угол старой Москвы. Еще Герцены, Хомяковы, Аксаковы жили в этих краях. Небольшие сады при небольших особняках – разве не деревня?

И Сергей Николаевич и Екатерина Дмитриевна были очень серьезны. Их положение не из легких. Все это они затеяли, предстояло найти линию и достойную, и осуществимую.

Мы составили литературную группу. Осоргин редактировал газету Комитета – «Помощь». Ее внешний вид вполне повторял «Русские ведомости». Как только появился первый номер, по Москве прошел вздох: «Теперь уж падут!» «Русские ведомости» вышли, стало быть, уж капут!»

Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с «ними» в особняке на Собачьей площадке. «Наших» было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы – вроде парламента. Вот какие люди: Прокопович, Кускова, Кишкин, Кутлер, Ф.А. Головин, проф. Тарасевич (ныне покойный), Вера Фигнер и много других, С «их» стороны: Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у «нас», права «наши» считались большие, и настроение (в наивности нашей) такое:

– А п-па-звольте спросить, милостис-дарь, а н-на каком основании вы изволили обобрать Нижегородскую губернию? А н-не угодно ли вам будет срочно отправить пятьсот вагонов в Самар-р-скую?

Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву – он председательствовал. Приезжал и Рыков. Но, сколько помню, всегда пьяный. В тужурке, с длинным мальчишеским галстуком, сальными волосами. Понять, что говорит, трудно, очень плохо двигал языком. Каменев же был взят как наилучший мост к нам.

Вспоминая эту свою «деятельность», я не могу припомнить, что именно путного сделал. Кажется, больше слушал да рассматривал. Садился в первый ряд, с независимым видом. Однажды сказал Каменеву:

– Прошу слова.

Он любезно кивнул и записал меня, но тут встал Прокопович и очень толково, именно то и сказал («А п-азвольте, милостис-дарь, на каком основании?»), что я хотел спросить. Мне не повезло. Я от слова отказался, просто только с победоносным видом оглянулся на стулья «наших», за которыми светлые окна – в них вечерняя Москва, невысокие домики Собачьей площадки, урна, зеркальное небо и раннепадающие листы.

Из этих шумных заседаний я вынес такое наблюдение: «они» и «мы» – это название комедии Островского «Волки и овцы». У них зуб, наглость, жестокость. Все они шершавые, урчат, огрызаются. (Особенно это ясно стало, когда за Каменевым начали появляться какие-то безымянные типы в куртках… Позже мы все это хорошо поняли.) И нет добрых глаз, доброго взгляда. Все это страшная черта советских людей, я ее часто замечал: недобрые глаза и отсутствие улыбки. А «наши»… – ну, мы себя

хорошо знаем.

«Мы» настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от Комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. «Им» это не так-то нравилось. Началась торговля. То ли мы им должны уступить, то ли они нам.

Я жил тогда в Москве один, в Кривоарбатском – семья была в деревне. Ходил обедать на Арбат в столовую, очень нарядную, только что открывшуюся. Бывал и в лавке, но реже.

Как-то жарко, ветрено было в Москве, нервно и занято. Так оставалась у меня в памяти пустынность московских вечерних переулков, горячая сушь августа, ощущение легкости и полета.

Раз вечером мы выходили с Осоргиным с заседания. Луна хорошо светила. На этом заседании я просил Каменева за «сидевшего» в Одессе писателя Соболя.

Он небрежно спросил:

– Какого Соболя? Который написал роман «Пыль»?

– Да.

– Плохой роман. Пусть посидит.

Я заметил, что он сидит уже семь месяцев неизвестно за что.

– Ну, это много. Постараемся выпустить.

И вот у выхода Каменев, подходя к своей машине, столкнулся с нами.

– Пожалуйста, – сказал любезно, – вам далеко? Я подвезу.

Не сговариваясь, мы с Осоргиным толкнули слегка друг друга и отказались. Мы шли лунным, пахучим вечером, радостно-грустным в красоте ночи московской. Шли некоторое время вместе, а потом разошлись: я на Арбат, он в Чернышевский. Памятен был этот вечер, сладок и пронзителен. Но и он ушел, и много с тех пор изменилось. Тогда Соболь сидел, а Каменев уезжал на шикарной машине – «генерал-губернатор» Москвы. Затем Соболь – этот глубоко несчастный человек – вышел из тюрьмы, ушел к «ним», окончательно запутался и револьверным выстрелом разрешил свою незадачливую жизнь. Соболя я просто жалею, над Каменевым злорадствовать не хочу.

А в тот вечер мягко нес его автомобиль к Кремлю.

## Coup d'etat (Крутая мера)

Мы собрались в свой особняк часам к пяти, на заседание, как было назначено. Сегодня решалось все дальнейшее. Комитет поставил ультиматум: или нашу делегацию выпускают в Европу для сбора денег, или мы закрываемся, ибо местными силами помочь нельзя. Настроение нервное, напряженное. «Наши» сидят на подоконниках залы, толпятся в смежной комнате,

разговаривают около стенных карт и диаграмм.

Время идет. Вечереет. Под окнами какие-то куртки, а Каменева все нет. Нервность и удивление. Вынимают часы, смотрят.

Я находился в комнате рядом с залой. Помню, в прихожей раздался шум, неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул:

– Постановлением Всероссийской Чрезвычайной Комиссии все присутствующие арестованы!

## Путешествие

Паники не произошло. Все были довольно покойны. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер и багрово-вспыхнувшую Екатерину Дмитриевну. Еще помню, что через несколько минут по водворении пришельцев, через ту же прихожую пробирался к нам несколько неуклюже и как бы конфузливо П.П. Муратов.

– Ты зачем тут? Эх-х ты…

П.П. был тоже членом Комитета. Он опоздал. Подойдя к особняку, увидел чекистов, увидел арест…

– Ну и чего же ты не повернул?

– Да уж так, вместе заседали, вместе и отвечать…

Теперь он уже за чертой чекистов. Не утечешь!

Был бледно-сиреневый вечер, когда мы вышли. У подъезда стояли автомобили. Осоргин, я и Муратов как прожили полжизни вместе, так вместе и сели. Теплый воздух засвистел в ушах, казалось почему-то, что машина мчится головокружительно. Неслись знакомые переулки, Арбат, мелькнула площадь, Воздвиженка, и странно пустынной казалась Москва. Очень хотелось встретить хоть кого-нибудь знакомого… Моховая, университет. У книжной лавки Мельгунова мелькнуло наконец чье-то знакомое лицо – но машина наддала, через две-три минуты, после удивительнейшего полета (я другого все-таки такого в жизни не запомню!), мы остановились у «приветливых» дверей дома «России», на Лубянской площади, и сошли с автомобиля: два года назад в эти же двери вошел и не вышел живым мальчик – Алеша Смирнов, многострадальный мой пасынок.

## Ночь

…Всем нам пришлось перебывать у окошечка, похожего на кассу банка или на бюро спальных вагонов: там о каждом записывали, что требуется, и вновь собрались мы в нашей «случайной» комнате – ждали дальнейшей участи.

Я думаю, самым невозмутимым из нас оказался Ф.А. Головин. Всегда у меня была слабость к этой безукоризненно лысой, изящной и умной голове, к тонкому, древнему профилю (он потомок Комненов), бесцветно-спокойным глазам. На воле в барское довоенное время и в голодные дни революции мы немало играли с ним в шахматы. Он с одинаковым безразличием и выигрывал и проигрывал. Через полчаса по прибытии, когда другие еще горячились, расходовали подожженную нервную энергию, Федор Александрович уже сел играть с черно-мрачным и так же равнодушным Кутлером. Откуда они добыли шахматы, я не помню: кажется, тут же и смастерили из картона. Впрочем, игра продолжалась недолго: нас повели в еще новое помещение. Ф.А. равнодушно забрал фигурки, запирал положение и в своем элегантном костюме, белых брюках, с шахматами под мышкой зашагал по застеночным коридорам.

Мы вошли в довольно большую комнату с двумя цельного стекла окнами. Надпись на стекле глядевшего в переулок можно было прочесть и отсюда: «Контора Аванесова».

Теперь в конторе нары. Их ненадолго занимали случайные постояльцы. Здесь перст Судьбы сортировал: жизнь – смерть, смерть – жизнь. Кускову, Прокоповича и Кишкина очень скоро увели от нас во внутреннюю тюрьму. Мы попрощались сдержанно, но с волнением. Никто не знал, на что их ведут.

Мы с П.П. Муратовым легли рядом на голые нары, около окна. Осоргин находился в другом углу с гр. Бенкендорфом. Хотелось есть. Электрическая лампочка заливала все сверху мертвым светом. Мы лежали и сначала говорили, а потом стали умолкать. Заснуть в эту первую свою ночь в тюрьме я не мог. К счастью, ужаса не испытывал. Но нервное возбуждение заставляло бодрствовать. Мне даже казалось, что я очень оживлен, почти весел. Странным образом, мало думалось о безумии окружающего. Знал, что в этом же доме, может быть, в эти глухие часы кого-то ведут в подвал… но (самозащита, что ли?) мысль на таком не останавливалась. Часа в три, например, ясно помню шум мотора, заведенного на дворе, – мы отлично знали, что это значит, – все же впечатление было меньше, чем можно было бы думать. Очень уязвляла мысль о семье: жена и дочь были в деревне, все хотелось, чтобы до них пока не дошла весть о моем аресте.

А затем… затем я наблюдал. По моему мнению, спали

многие. Среди них, недалеко от меня – Ф.А. Головин. Он лежал на спине. На его правильном, лысом черепе блестел, как на слоновой кости, луч электричества. Руки аккуратно сложены накрест, белые брюки в складке, желтые ботинки, воротнички даже не расстегнуты. (Он и позже спал всегда в полном параде. Объяснял так, что если ночью позовут на допрос или расстрел, то нельзя выходить на такое дело не в порядке.) Сейчас клоп медленно взбирался по теневой стороне его черепа, ища удобного места. Доползши до освещенно-блестящей части, испуганно повернул назад.

В это время в камеру ввели высокого человека, неуверенно шагавшего к нам. Я толкнул П.П. – тот поднял заспанное, затекшее от неудобного изголовья лицо и ухмыльнулся: это был его приятель – Борис Виппер, молодой профессор.

– Ну, вот… – пробормотал П.П., – и вы тут. Нашего полку прибыло.

Виппера взяли ночью и прямо доставили сюда.

## «Что день грядущий мне готовит»

1) Яркое солнце. Было воскресенье, этот августовский свет весело блистал по Москве. В Петербурге сквозь влажно-голубоватую невскую дымку освещал тела безвинно убиенных по таганцевскому заговору.

2) И очень приятное, что он нам дал, были посылки. Да, за стенами, там, на воле, оказалась Москва, добрая Москва! Чрез тысячи пор, щелей просочилась она в тюрьму, обходя правила адских кругов. Жены, сестры, невесты, дружественные, знакомые и полузнакомые руки упаковывали нам свертки – и в солнечный воскресный день вдруг въехала груда пакетов – «передач». К этому времени Осоргин был уже избран нашим старостой. Ловкий и легкий, в счастливом нервном возбуждении ответственности, он хорошо провел роль, «был в форме». Вот и сейчас элегантно распоряжался раздачей передач, весело выкликая адресатов.

Так как все «мои» находились в деревне, я ничего не ждал. Вдруг улыбающееся лицо Осоргина обернулось, он назвал мое имя. Только тут я понял, как приятно получить в тюрьме знак благожелания и памяти. Этим обязан был я Р.Г. Осоргиной – вместе с пакетом мужу уложила, притащила на себе она и мне подмогу. Никогда, даже в детстве, не радовал меня так подарок, за него храню Рахили Григорьевне всегдашнюю благодарность. Там было одеяло, подушка, белый хлеб, сахар, какао – вообще столько прелестей!

Неполучившие (немосквичи) сразу заметны были по

грустным глазам. Разумеется, тотчас же началась дележка, «первобытно-братственное» равенство осуществилось с некоторым даже напором со стороны получивших. Вся наша «преступная банда» оживилась. Особенно старался один инженер – Метт. Он получил огромную посылку, с нервной расточительностью раздавал свои сокровища.

Вид камеры изменился: стали устраиваться, на нарах появились пледы, одеяла, подушки, началось бритье и умыванье, вообще жизнь вроде вагонной – дальнего следования.

Мы с П.П. Муратовым и Виппером устроили свой уголок у окна аванесовской конторы и залегли крепко, по-медвежьи. После бессонной ночи дремалось неплохо. Время шло быстро. Черно-лохматый Кутлер играл, как полагалось, в шахматы с Головиным, и по их виду нельзя было понять, кто побеждает. Осоргин хлопотал с Бенкендорфом в другом углу. Под вечер он прибежал ко мне, несколько женственно припал, обнял и гаркнул:

– Вот она, жизнь-то, какая! Веселая жизнь. Ругаешь меня, что я тебя сюда затащил?

Историко-литературный угол оживленно загоготал.

А Осоргин уже вспорхнул, подобно Нижинскому, помчался для переговоров о кипятке.

## Звезды

По вечерам мы их видели, но минутно, пересекая тесный двор, когда ходили умываться, за кипятком и т. п. Никогда звезды не казались столь прекрасными. К сожалению, в том узком куске бархата, что восставал над головой, я не мог найти Веги. Но другие звезды видел. И они видели меня – в грязи, убожестве, кровавой слякоти отверженного места. Звезды и Вега вызывают в памяти рассказ, слышанный тоже в дни революции.

Г-жа Н. была замужем за немолодым человеком. Полюбила другого. После разных колебаний муж согласился, чтобы она устроила себе новую жизнь с этим другом. Они встретились все трое у Н., и решение было принято окончательно. На другой день г-жа Н. должна была уехать.

Ночью, однако, и она, и муж, и все родные были арестованы по обвинению в контрреволюции. Новая жизнь для г-жи Н. оказалась камерою смертников в Бутырках.

Еще на воле, когда шел их роман, г-жа Н. и г. Х. – оба мистики – полюбили звезду Вегу. Однажды, идя по Кузнецкому, г. Х. увидел на витрине книгу: «Голубая звезда». В повести этой было то же мистическое поклонение Веге как символу женственного. Книга пришлась по душе влюбленным. Они вместе

читали ее.

Г-ну Х. удалось доставить книгу в тюрьму. Подчеркнув буквы слов, он дал понять, что каждый вечер, когда Вега появляется, он думает о г-же Н. – пусть и она поступит так же.

Г-жа Н… женщина изящная и тонкая, очень страдала в заточении. Жизнь отнимали у нее на грани долгожданного счастья! Она исполнила завет любимого человека. И по вечерам, при появлении звезды, глядя на нее, они мечтали друг о друге, тем поддерживали себя. Г-жа Н. при этом часто читала книгу.

Обвинение было ложным. Но погибла вся семья, не пощадила родных и знакомых, по-древнему «до седьмого колена». За г-жой Н. смерть пришла, когда она читала о голубой звезде.

Встав, перекрестившись, она с книгою в спокойствии пошла навстречу Вечности.

Этот рассказ слышал я от той, кто последняя сестрински поцеловала ее в лоб – и кому чудом удалось спастись.

Звезды в застенке! Вас вспоминаю с любовью, взволнованно и благодарно…

## Сидим

К нам попали газеты. О, теперь о нас писали иначе, чем в дни «персонального списка идиотов». Клонили к тому, чтобы весь наш Комитет рассматривать как «заговор» и соответственно расправиться. С Таганцевым уж так и обошлись. Наших начали водить на допросы. Кутлер, Федор Александрович кроме шахмат получили и еще обязанности. Прокопович, Кишкин и Кускова в эти дни были на черте смерти. Их гибель была решена, спасло вмешательство Нансена. Насколько знаю, он поставил условием своей помощи сохранение их жизней.

Понемногу начали мы сживаться с конторою Аванесова. Нам подбавляли кое-кого, кой-кто из наших уходил во внутреннюю тюрьму. По-прежнему из города шли передачи. Настроение держалось бодрое. Чтобы его не ослаблять, решили развлекаться – читать лекции.

Кутлер читал о финансах. Этот умный, сумрачный человек был глубоким скептиком. Я думаю, он убежденно считал, что вообще все погибло: Россия, финансы, он сам, Комитет… Я спросил его раз:

– Николай Николаевич, а вот вы верили в это дело, когда шли?

Он улыбнулся, как бы отвечая младенцу:

– Разумеется, ни минуты.

– Зачем же вы шли?

Из его слов, сказанных с оттенком горечи, выходило, что и этот многоопытный муж, бывший министр, вроде нас грешных тоже пошел «за компанию»… Его лекция доказывала, что с советскими финансами плохо. Вспоминая его, я, однако, все более убеждаюсь в бессилии скептицизма. Люди этого склада мало могут сделать. Верно ли даже они угадывают жизнь? Не нужна ли даже для этого живая сила веры? Ведь вот и не рухнули советские финансы, и сам Николай Николаевич, выйдя из тюрьмы, как раз занялся укреплением червонца – за него верили другие, он, должно быть, действовал и там по инерции, «так случилось»… И с удивлением, вероятно, видел плоды рук своих. На этом червонце он и умер – грустный человек, всегда готовый к смерти и равнодушный к ней. Мне кажется, и умер он в горестном недоумении.

Борис Виппер читал, кажется, о живописи. П.П. Муратов о древней иконописи. С моим чтением произошел маленький веселый случай.

Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке у одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить.

Правда, я не хотел играть под Архимеда. Вообще ни о чем не думал.

Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение «постороннего тела», да еще грубоватого, прерывающего меня, я ответил почти недовольно:

– Ну да, да, вот кончу сперва лекцию…

Все захохотали, и я смутился. Улыбнулся даже чекист.

– Успеете на свободе кончить.

## Москва

Я пожимал десятки рук. Со всех сторон наперебой давали поручения. И через несколько минут сухой и звонкий ветер, пыль, дребезг московских улиц… Как светло, просторно! Извозчик медленно вез меня с моим тюремным скарбом на Арбат.

Весь этот день слился у меня в какое-то пестро-огненное движение. Я не мог усидеть на месте. Пустынная, большая наша комната в Кривоарбатском показалась скучной. Но Москва – родной. Меня приветствовали в арбатской столовой. На улице останавливали незнакомые и поздравляли. А я все не мог остановиться. Все мне хотелось идти, без конца говорить, волноваться – я и ходил по гостям до двух часов ночи – передавал

и рассказывал женам, сестрам, родным об оставшихся. Был на Козихе у Головиных, был в Чернышевском у Р.Г. Осоргиной.

* * *

Что можно прибавить о нас? Кускова, Прокопович, Кишкин, Осоргин и еще некоторые просидели долго. Потом были сосланы. Потом попали за границу. Пользы голодающим, конечно, мы не принесли. Предсказания наших жен при начале Комитета («через месяц будете все в чеке») с точностью осуществились. Но, вспоминая наше сидение, я вспоминаю не плохое дело, а хорошее. Мы ошиблись в расчете. Но мне не стыдно, что я сидел. И Кусковой не стыдно.

Ну, а вот Каменеву…

В этом только и смысл. Мы в тюрьме были бодры, потому что правда была за нами. Мало? Нет, очень много!

## Чтения

В декабре 1920 года, на «трудмобилизации» в Притыкине, предложили мне как человеку «письменному» поступить писарем, в Каширу. Жене моей заняться рубкой леса. Это не устраивало нас, и мы выбрались в Москву.

Денег, разумеется, не было. Но друзья нашлись. Друзья взяли в Лавку писателей, и я встал за прилавком торговать книгами. Это куда лучше, чем служить у коммунистов, да и давало возможность жить. Получали мы уж не помню какие тысячи, но тысячи платили и за сахар, кофе. Так что не совсем хватало, приходилось подрабатывать. Приглашали кое-куда читать. Занятие не из веселых, но…

* * *

– Как бы чего не вышло, смотрите, – говорили мне в Лавке. – Будете все-таки читать у коммунистов…

Тогда в Москве можно было еще позволить себе роскошь не читать у коммунистов! Надо сказать прямо: кроме **нужды**, меня никто не принуждал читать в Доме печати. (Еще отчасти было любопытство, да и некий вызов.) Пригласил меня Полонский, известный критик, – кажется, он и заведовал этим учреждением; и приглашал-то с опаской, может быть, мол, еще не соблаговолит…

Я пришел часу в девятом, нарочно пораньше. После холодной моей комнаты, где мы с женой едва натапливали до десяти – одиннадцати градусов, приятно удивила теплота, освещение, культурный вид вестибюля, гостиной. Зала прямо отличная, с небольшой, но довольно элегантной эстрадой. И еще прелесть: буфет! Столики, как некогда в Литературном кружке, можно спросить стакан чаю, бутерброд с красной икрой и т. п. – этого я нигде не видал за годы революции. Так что вражеский стан хоть куда.

Немедленно сел за столик, честь честью, все мне и подали – и вполне развеселили. Собственно, не барышня, мне подававшая, а соседи. Их было двое, за столиком у стены. Одного совсем не помню, а другой, спиною ко мне, был в какой-то фригийской шапочке, в три четверти виднелось суховатое лицо, бритое, – я даже обратил внимание, про себя назвал его: «Якобинец!»

Они разговаривали между собой. Сначала о чем-то «вообще», потом о Доме печати. Якобинец угрюмо сутулился, буркал. Видимо, скептик здешних мест, некий «печальный Демон, дух изгнанья».

– Что же сегодня такое будет? – спросил собеседник.

– Черт их знает, литературный вечер…

Собеседник зевнул.

– А кто будет читать?

– Известный мерзавец Борис Зайцев, – хмыкнул Робеспьер.

Собеседник, по-видимому, удовлетворился, – они спокойно продолжали о другом.

Подошел Полонский, любезно поздоровался, взглянул на мой крахмальный воротничок, приличный костюм, усмехнулся:

– Вы по-европейски…

Я улыбнулся тоже:

– Да и у вас по-европейски… светло, чисто, видите, чай пью. И меня только что обозвали мерзавцем.

Длинный нос Полонского выехал еще более вперед.

– ?

– Ничего, тут два типа рядом тоже чай пили и делились впечатлениями… Их право…

– Ну, это недоразумение.

На эстраде у меня стоял стол, стул, электрическая лампочка, стакан с чаем. Зала была полна – все молодежь, довольно сдержанная, много барышень, люди в куртках, косоворотках, но фригийского своего приятеля я не заметил.

Особенно приятно было произнести вслух эпиграф:

– «Мирен сон и безмятежен даруй ми». – Молитва.

На слове «молитва» я даже остановился, оглядел публику.

Некоторое, как бы легкое недоумение по ней прошло, но чуть-чуть, ветерком.

Читал я спокойно, и спокойно слушали. Настолько спокойно (и почти благожелательно!), будто я у себя в Союзе. Когда кончил, аплодировали – что за удивленье? Где же другие Робеспьеры?

Наверное, в прениях-то насыплют… Прения были объявлены тотчас за чтением. Но и тут что-то странное… Хотел ли Полонский быть наперекор всему любезен или загладить давешнее, но произнес слово почти юбилейное (оговариваясь, конечно, что я «не наш»). Петр Семенович Коган, Львов-Рогачевский тоже сказали более чем дружественно. Возражать не на что, спорить не с кем, только кланяйся да благодари…

* * *

Не всегда так идиллически приходилось читать. Странно требовать, чтобы в революции все было «мирен сон и безмятежен»…

Наш Союз устраивал иногда большие выступления: для сбора средств, частью из целей литературных. Один такой вечер назначили в Политехническом музее. Читать пригласили Сологуба, Вяч. Иванова, Белого, Балтрушайтиса и меня.

Политехнический музей известен – кудреватое здание, смотрит на Ильинские ворота – внутри коридоры, переходы, яркий свет, огромная аудитория, круто подымающаяся вверх. В тот морозный вечер все это кишело, бурлило: на недостаток публики не могли мы жаловаться.

Белый не приехал. Сологуб сидел в артистической – лысый, холодноватый.

– Да, – говорил, слегка встряхивая на носу пенсне. – Будем читать. Да, читать так читать. Читать так читать.

Явился красный с морозу Балтрушайтис. Вячеслав Иванов, в длинном старомодном сюртуке, с золотящимися седоватыми локонами вокруг лба (сильно обнажившегося), пил чай, устремляясь всею фигурою вперед (от него и вообще осталось впечатление, что, даже когда он стоит, тело его наклонено вперед – как бы плывущий корабль. Золотое пенсне, влажная кожа, слегка воспаленная, быстрые небольшие глаза, носовой голос, редкостный блеск речи – более интересного и значительного собеседника я не встречал).

В общем же мы кучка, горсть, а в приоткрытую на эстраду дверь видно, как втекают, растекаются по рядам скамей темные фигуры, и чем выше, тем все гуще. Еще в первых рядах можно

кое-кого рассмотреть «своих», дальше идет «племя молодое, незнакомое…», разговаривающее, курящее, топающее в нетерпении ногами.

– Читать так читать, – говорил Сологуб. – Да, будем читать. – Любил он однообразно и «загадочно» повторять одни и те же слова.

Львов-Рогачевский сделал маленькое вступление: сам социал-демократ, как бы преподносил нас своей аудитории.

Все это вышло мирно и естественно. Читал и Вячеслав Иванов – кажется, стихи. Мы с Сологубом сидели на эстраде. Вячеслав Иванович раскланивался на аплодисменты. Была очередь Балтрушайтиса.

Поэт сумрачный, одинокий, неблагодарного типа, Балтрушайтис никогда не пользовался «популярностью». Его ценили в литературе и мало знала публика. В то время был он послом Литвы при СССР.

Но появление его вдруг оказалось необыкновенным: только он выступил, по аудитории пролетела молния, зигзагом разодрала массу, дотоле равнодушную. Особенно силен был разрыв на верхах. Сразу вскочили какие-то люди, замахали руками, поднялся шум, крик, ничего нельзя ни понять, ни разобрать. Кто-то пытался кого-то удержать, кто-то с кем-то спорил… Потом донеслось:

– Долой! Убийца! Кровь, убийца!..

Юргис Казимирович Балтрушайтис так же похож на убийцу, как и я. Но уже сверху катились, буквально скатывались вниз к нашему суденышку, разъяренные люди, потрясая кулаками, красные от гнева – с лицами ужасными, это я хорошо помню.

– Убийца! Долой! Прекратить!

Балтрушайтис стоял бледный, что-то пытался сказать, но ничего не удавалось.

– Скандал, – повторял спокойно Сологуб. – Это скандал. Настоящий скандал.

Выявилось, что литовские коммунисты протестуют против казней их товарищей в Литве – ответствен оказался Балтрушайтис как посол. В сущности, мы в их власти. Ни оружия, ни полиции – несколько литераторов на эстраде! Балтрушайтиса поскорее увели. Львов-Рогачевский добился слова. Объяснил: Балтрушайтис известный поэт, ни к каким казням не имеет отношения и т. п. Несколько приутихли. Раздались даже аплодисменты, устроители ободрились. Но лишь только Балтрушайтис показался, все опять вскипело, и на этот раз уж безнадежно. Пришлось объявить перерыв, спешно отправить домой Юрги-са Казимировича.

Затем выступать предстояло мне. Может быть, и я какой-нибудь «убийца». Не особенно радостно подходил я к кафедре…

– Господа, я прочту сейчас…

– Не господа, а товарищи, – поправили с верхов.

Но тут я проявил упрямство.

– Господа, – повторил громче, – сейчас я прочту свою вещь, называется она «Дон Жуан».

Я читал плохо. Приходилось напрягать голос, и явно не было никакого созвучия. Но раздражения тоже я не ощущал в толпе. Прямо перед собой, во втором ряду, видел фуражку молодого писателя, нередко у меня бывавшего. Он относился ко мне дружественно и отчасти покровительственно. «Ах, – говорил, – нельзя теперь о таком и так писать! Вот имажинисты – это другое дело». Его молоденькое лицо с рыжеватыми глазами, не без приятности и не без плутовства, посматривало с обычной снисходительной сочувственностью. Заламывая назад кепку, ухарским своим видом хотел он сказать – вот тебе и Дон Жуан, знай наших, калуцких!

Сологуб прочел превосходные стихи – и то же было настроение: льда без прежней ненависти. Нет, кроме Балтрушайтиса, никто теперь не интересен.

* * *

Из музея мы шли с Сологубом в Замоскворечье. Ильинка пуста, холодна. Идем серединою улицы, снег хрустит. Звезды. Небо протекает узкой лентою над головой, черны, угрюмы дома. На перекрестке костер, греются милиционеры. На углу Красной площади дохлая лошадь.

– Проклятая жизнь. Проклятая жизнь. Как при Гришке Отрепьеве. Жизнь как при Гришке Отрепьеве.

Сологуб поднял меховой воротник, пенсне запотело. Шагает неторопливо.

– Как при Гришке Отрепьеве…

Василий Блаженный, Красная площадь… Туман от мороза, скрип валенок наших, чернота в золоте неба, дальний выстрел, багровый костер сзади.

– А могли бы и нас с вами нынче в клочья разорвать. Да, могли бы в клочья. Так бы нас и разорвали в клочья. Мы бы ничего и не поделали. Вот бы и разорвали в клочья.

Говорил Федор Кузьмич, точно каркал. Да и правда, несло нам время великие беды. Та самая Анастасия Николаевна (жена его), что сопровождала нас по Москве застывающей, не так много

позже кинулась в Неву… Федор Кузьмич скоро умер – в бедности, болезнях, отвержении… (советской власти он не поклонился). Испытал и я, что полагается, но тою грозною ночью все еще было в предвестии, за недалекими горами – только гул.

И тем резче противоположность с теплым домом, светлым и приветливым, куда мы наконец пришли.

В те годы в Москве находились люди промежуточной позиции (между «нами» и «ими»). Преуспевали они «там», но и прежних друзей не забывали. Некоторые из «нас» благодаря этому и выжили. Доктор, к которому шли мы, был именно из таких. Временами устраивались у него сборища – литераторов и художников, музыкантов, актеров. Практика в Кремле позволяла ему иметь порядочную квартиру, теплую, с электричеством, доставать коньяк, питаться по-человечески… какая роскошь для времен проклятой «пшенки»! Доктор был любителем «наук и искусств». Кружок, у него собиравшийся, назывался «Академия неугомонных»; цель его – давать передышку в страшной жизни и вообще: жить! хоть минутами. Вяч. Иванов сочинил гимн академический. (Начинался он словами: «Не огни святого Эльма…» Кажется, была и музыка к нему, если не ошибаюсь, А.Т. Гречанинова, одного из основателей кружка.)

Чуть ли не гимном этим нас и встретили. Помню Гречанинова с женой, веселых и оживленных, самого доктора (позже, когда помирал я от тифа, в числе других и он меня вытаскивал…). Главное, помню ощущение дружественности, свободы, изящества, **своего** художнического круга. Москвин и Юон, Гречанинов и Сологуб, Вячеслав Иванов, Чулков – это не литовские большевики. Хозяин кормил нас, поил, ухаживал – видно было, что ему занятно, делает он это от души. Что-то играли на рояле, много болтали, хохотали, рассказывали о музее и скандале. Потом Сологуб читал – и читал много, замечательно – в редком ударе находился, да и мы не в обычном состоянии. Этот пир артистический если был и «во время чумы», то с иным настроением, но не будничный, в странном сочетании восторга и беды, вокруг нас завивавшейся. Кажется, Сологуб договаривал последние свои слова, было это как бы прощание со всею нашей жизнью. Никогда раньше не пронзали так его стихи (да и читал он много; мы не замечали времени – до четырех часов).

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
«Что сделал ты?» – меня он вниз
Железным посохом не сбросит.
Скажу: «Слагал романы и стихи

И утешал, но и вводил в соблазны.
И вообще мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.
Но я – поэт». И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье,
И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье.

Больше Сологуба я никогда не видел. Той ночью был он весь особенный и вдохновленный – вышел из обычного своего сумрака. Таким запомнился. Его дальнейшая недолгая жизнь была, кажется, сплошной Голгофой.

# Революционная пшеница

…Годы после войны прожили мы в деревне, тульском имении отца. Не могу сказать, чтобы нас обижали. Меня не только не убили, но и заложником не взяли. Не лишили и крова. Я занимал по-прежнему свой флигель. Мне вернули книги, реквизированные во время моей отлучки: все Соловьевы и Флоберы, Данте, Тургеневы и Мериме не без торжественности возвратились (в розвальнях) домой – на родные притыкинские полки. Правда, пришлось воевать: молодой, бешеный коммунист в Кашире, местный министр просвещения, библиотеки не хотел возвращать. Когда жена моя явилась к нему с разными «мандатами», он отказался их исполнить. В исступлении кричал:

– Вижу, что подпись Каменева! Пусть Чека из Москвы едет, пусть меня расстреляют, не отдам народного достояния!

– Да ведь это муж на свои деньги чуть не всю жизнь собирал…

– Ваш муж и так все знает – зачем ему книги, а народ жаждет просвещения…

В товарище Федорове, или Федулине, была искренность. Он искренне ненавидел нас, по его мнению, угнетателей народа. Малограмотный – искренне полагал, что «народ» жаждет прочитать Вячеслава Иванова и «Образы Италии» Муратова. Хуже, конечно, было то, что половина книг оказалась на французском языке. Комическое же состояло в Чеке: из Москвы жене удалось достать столь грозные бумаги, что ими можно было припугнуть каширского Сен Жюста. К чести его, он не испугался.

– Хотя бы сам Карл Маркс пришел и потребовал – не отдам. Пускай расстреливают, наплевать.

Через несколько же дней потух, успокоился и сдался на простое соображение: книги для меня орудия производства.

– Орудия производства мы обобществляем, – хмуро сказал было сначала.

– Да, в капитализме. Но я кустарь-самоучка.

На самоучку возражать не пришлось. Народ моими книгами не просветился.

Слух же о том, что «молодой барин» может раздобыть такой мандат, по которому и книги возвращают, в деревню проник. Это укрепляло наше положение. Жили мы с крестьянами отлично, все-таки не вредно было иной раз показать свое могущество.

В начале революции Кускова и Осоргин издавали в Москве кооперативную газету – очень приличную. Я там кое-что печатал. Писали иногда и обо мне, И вот раз, во флигеле, жена показала

некоей собирательной Анютке номер газеты.

– Ну, видишь это, чье тут имя?

Анютка по складам прочла:

– Бариново.

– А тут?

Та не без трепета разобрала: При-ты-ки-но.

Жена сложила газету.

– А дальше сказано, что если барина хоть пальцем тронут, так деревню артиллерией снесут… Понятно?

В тот же вечер вся деревня это знала – артиллерия Кусковой и Осоргина выступила на мою защиту.

* * *

К осени 20-го года выяснилось, что семян для озимого у нас мало. Еще мать могла кое-что посеять, на деревне же у крестьян почти все было съедено (т. е. остатки реквизиций и разверсток). Жуткая вещь – очутиться без семян! Сограждане мои забеспокоились. Да и нам приходилось туго.

И тогда пришла мне странная (но к революции подходящая) мысль: спуститься прямо в пасть львиную, что-нибудь оттуда выудить. Съездить в Москву, добыть семян у того самого «правительства», которое нас обирало.

Нерадостно вспоминаешь поездки того времени: тряску в телеге, мытарства с разрешениями, билетами, забитые толпой вокзалы, запакощенные вагоны. Только осенние поля наши, крестцы овсов, запах мякины, конопли в деревнях, теплый дымок над трубами, спутанные лошади в ложочке – вечный пейзаж России – всегда прекрасны. В Кашире пришлось прожить целый день. Мы останавливались у знакомой дамы железнодорожницы. Привозили ей ковриги хлеба, а она выхлопатывала билеты. От скуки забрели на митинг – в это время воевали с Польшей. Попали как раз на речь приятеля нашего библиотечного. Он громил с эстрады перед сотней слушателей Польшу. От волнения побледнел, задыхался, грозил кулаком – но «панская Польша» ему не давалась, все он кричал:

– Товарищи, покажем империалистам польской панши… – Или: – Польская панша, вооруженная до зубов…

Слушатели равнодушно принимали «паншу» – может быть, даже больше так нравилось, – за Окой видны были синеющие леса, августовское солнце бледнело, и тощи казались деревца, запыленные в садике. Русь, Кашира! Пусть Дворянская называется улицей Карла Маркса, но такая ж скакучая мостовая на ней, такие

ж булыжники, пыль, запах дегтя, заборы, и так же милы сады каширские – многояблочные, многовишенные, – над ними звонят колокола белых церквей.

Тяжким, ночным путем добрались до Москвы.

Через несколько дней удалось побывать и у Каменева. Он дал записку к комиссару земледелия. Тот и должен был все сделать.

Комиссар Середа помещался со своим учреждением на Пречистенском бульваре, в доме Управления уделов. Ясным утром осенним подходил я, не без волнения, к этим «уделам»: некогда гостил тут Тургенев, здесь читал друзьям «Дворянское гнездо», а теперь вот приходится подыматься по лестнице, в чем-то убеждать, чего-то просить у какого-то Середы… Ничего не поделаешь: голод есть голод.

И не сразу, конечно, дался Середа. Плотненькая, но приветливая барышня, секретарша, потомила – однако каменевское имя имело вес. Провели в угловой огромный кабинет, весь залитый солнцем. Над большим столом увидал я черную народническую бороду (наверно, в этой комнате – лучшей – и жил Тургенев!).

Думаю, Середа был не большевицкой закваски, а эсеровской и общеинтеллигентской: что-то человеческое, более мягкое, в нем чувствовалось. Над столом он сгибался, как сотрудник «Русских ведомостей», тяготел к общине, летом, наверно, ходил в калошах. Бороду утюжил под Михайловского.

Я ему передал прошение наших крестьян, подтвердил, что положение вправду тяжелое, рассказал об общине – одним словом, получился разговор двух народолюбцев семидесятых годов. Середа успел разгладить, вновь завертеть свою бороду, опять разутюжить ее – и признал, что без семян сеять трудно.

Опять секретарша, машинки, печати – и через день по всем правилам предписание складу: выдать гражданам сельца Притыкина столько-то пудов семян **озимой** пшеницы.

Успех настолько удивительный, что за него простишь и Тургенева, и Дом уделов.

* * *

«Мандат» мой произвел в деревне впечатление огромное. Крестьяне, в осторожности своей и вековечной подозрительности, не очень-то сначала и поверили (все Дуньки и Анютки мигом перекинули победу из нашей кухни на деревню). Но на сходке я документ показал. Его ощупали, обнюхали, осмотрели: все в порядке!

Надо было решиться на одно: обозом двинуться в Москву, оттуда привезти семян – таково условие подарка. Начались разногласия. Мудрецы утверждали – что-нибудь тут да не так. Почему это ни с того ни с сего двести пудов пшеницы? И без возврата? На это ответили: а как же книги вернули? Он, барин-то, ты не смотри, что у себя во хригеле всё книжки читает. Он свой интерес понимает: у бабушки (так называли мою мать) семянов тоже нет, он и хлопочет…

Взяло верх мнение, что ехать надо. Мы считались «гражданами сельца Притыкина», и от нашего двора выехал гражданин Климка, наш работник, знаменитый святою своею дуростью. Баба Авдотья голосила, что у ней нет лошади и подводы, «а семенов-то и на моих дармоедов, на моих праликов надо» (у ней были дети), – ей решили уделить сообща. После долгих сборов, споров, проволочек – обоз наконец тронулся. До Москвы сто тридцать верст, осень сухая, дней в пять-шесть обернутся…

Не без волнения ждали мы их. Мандат мандатом, но ведь Бог их знает, комиссаров…

На седьмой день Климка въехал на серой кобыле во двор – с нагруженным, укрытым брезентом возом.

– Что ж, хорошо в Москву съездил?

Климка был человек сумрачный, неразговорчивый. Да и слова не особенно гладко из него шли.

– Москва-то тебе понравилась?

– Понравилась… понравилась… Я тебе семянов привез… а ты… понравилась.

«Семянов» привез не один Климка – вся деревня.

– Даже замечательной пшеницы дали, – рассказывал на другой день Федор Степаныч, наш приятель и «комиссар деревни», неглупый, бойкий человек, из бывших приказчиков. Он немного кашлял, шея у него замотана шарфом. – Так что, знаешь-понимаешь, не задаром в Москву съездили… И мужики премного вам благодарны…

Началась моя слава. Слава вообще связана с ужасом, особенно в «народных массах». Некоторый тихий ужас возник и вокруг моего «хригеля». Если возвращают книги, дают семена; если Кускова с Осоргиным угрожают артиллерией, значит же… И в те дни случалось, что в дверь ко мне раздавался стук. Отворял ее робкий посетитель откуда-нибудь из Мокрого, Оленькова, даже с Мордвеса.

– Значит, как мы слыхали, что вы очень до семянов ходовиты, то селение наше и кланяется, а насчет чего прочего мы завсегда поблагодарим…

Выходило что-то из «Ревизора». Бобчинский с Добчинским не являлись, но плакалась и баба, и вообще, будь у меня характер Хлестакова, я мог бы процвесть.

Но Судьба не так долго держала меня на подмостках.

Пшеницу посеяли. Кто подоверчивей – всю. Мудрецы (в том числе Федор Степаныч) смололи ее и пустили на пищу, а посеяли из остатков урожая – хотя зерном пшеница была превосходная: с Северного Кавказа.

Она взошла удивительно. На вечерних прогулках нередко я любовался ее мощной, густой изумрудной зеленью. Стебелек к стебельку, как под щетку. Уже грач мог почти прятаться в ней, когда начались заморозки. Утром зеленя стояли седые – спутанные лошади, которые паслись на них, – оставляли темно-зеленые следы и борозды.

И к удивлению моему… стал я замечать, что днем всходы не так изумрудны. Они бледнели, с каждым днем прибавлялись погибшие стебельки.

Через несколько дней с нашей же кухни пришло известие: пшеница вся вымерзла. Середа подкузьмил – вместо озимой дал яровую.

* * *

– Куда же вы смотрели, когда брали? – спрашивал я Федора Степаныча.

– Оно действительно вышло ошибочно, но на глаз она что озимая, что яровая одинаково оказывает, никак не разберешь, да и начальство спутало…

Я не могу и тут жаловаться: слава моя уходила под горизонт, наподобие солнца, медленно и непоправимо, но **лояльно**. Меня никто не укорил. Но в дверь больше не стучали, ходоков не присылали, и вокруг меня устанавливалась прохладная пустота.

Впрочем, это были последние вообще мои месяцы деревенские: с падением Перекопа и мы отступили на Москву.

# Пасть львина

*Памяти недавно скончавшегося*
*Я.Л. Г.*

Всякому, кто Москву знает, ясно, что за Никитским бульваром, почти параллельно ему, идет Мерзляковский переулок (прямо к «Праге»), а около него ютятся разные Скатертные, Хлебные, Столовые и другие симпатично-хозяйственные: барская, интеллигентская Москва.

Скатертный, д. № 8, в нижнем этаже, помещалось писательское содружество – книгоиздательство писателей. На началах артельных выпускали там альманахи и собственные сочинения Бунин, Шмелев, Вересаев, Телешов, Алексей Толстой, Сургучев, я, другие. Управлял делами некий Клестов. Предприятие было поставлено основательно. Книги авторов прочих, альманахи отлично шли, писатели зарабатывали.

Войну книгоиздательство выдержало, даже преуспело. В революцию произошла такая вещь, что Клестов отошел к большевикам, Бунин, Толстой, позже Шмелев уехали. Остались книжные склады, Вересаев, Телешов да я. Клестов издали, но по старому знакомству, покровительствовал. Власти не закрывали – частью недоглядели, да и Вересаева настоящая фамилия Смидович. Значит, большая рука в правительстве.

Мы кое-что продолжали печатать, кое-как держались. Благодаря различным комбинациям дипломатическим в 21-м году председателем оказался я: выбрали оставшиеся пайщики.

* * *

Вместо Клестова хозяйством заведовал теперь секретарь, старичок Яков Лукич. Прежде он служил бухгалтером в лабазе на Ильинке – худенький, носил очки, сгорбленный, несколько напоминал Ключевского. Имел какое-то отношение к старообрядцам – работник был замечательный и человек дотошный. К нам относился сочувственно, но слегка покровительственно, как к людям книжным, непрактическим. Я покорно подписывал разные бумажки, какие он мне подавал, а он посматривал на меня иногда строго, маленькими глазками, из-под очков. Я немного смущался. Что понимаю я в его бухгалтериях? Того и гляди, поставит «неполный балл», как некогда инспектор в гимназии.

Раз, в начале апреля, захожу в издательство. Яков Лукич расстроен – сразу видно.

– У нас маленько затрудненьице-с…

– Что такое?

– Выселяют. Что, мол, за писатели такие, вы больше контрреволюционеры, да и то ни черта не издаете. А мы коминтерн. И квартиру вашу заберем и типографию.

– Невесело, Яков Лукич.

– До веселья даже весьма далеко.

– М-м… что же мы будем делать?

Яков Лукич призадумался.

– Что ж тут поделаешь… Аки в пасть львину махнем. На двенадцатое число – изволите видеть, – он показал бумажку, – назначено заседание в московском совете. Коминтерн выступит. Ну и мы… тово, не должны бы лицом в грязь ударить. Мы же кооперация, не забудьте! Трудовое товарищество, и зарегистрированы, и книжечки издаем, работаем…

– Отлично. Вы с Викентием Викентьичем и займетесь…

Яков Лукич ухмыльнулся не без яду.

– Нет-с уж, какой там Викентий Викентьич. В бумажке прямо сказано: объяснения должен дать председатель правления.

– Да ведь у Викентия Викентьича брат в совете…

– Мало бы что. Сказано: председатель, они иначе и разговаривать не станут… Да ведь и вы с товарищем Каменевым знакомы-с? Чего же проще.

Правление наше вполне подтвердило взгляд Якова Лукича: идти мне, а секретаря взять с собой – для справок, отчетности и тому подобного.

У Подколесина было окно, куда выскочить. Мне – куда же? Значит, надо идти.

* * *

Апрельский мягкий день. Лужи, почки на тополях, нежная московская дымка над полузамученным городом.

Дворец генерал-губернатора. Стучат машинки, входят и выходят товарищи, аккуратные барышни бегают. У входа два красноармейца.

– Я вчера у св. Андрея Неокесарийского в толковании к Апокалипсису читал-с… да, я теперь знаю уж точно… насчет коминтерна-с…

Яков Лукич, в потертом пальто, сильно закутав платком шею, в огромных калошах входил со мной в вестибюль. Мрачный у него

был вид. Хорошо бы закрестить всю эту дьявольскую чепуху.

Мы подали кому следует свою бумажку, сколько надо ждали, потом нас попросили в зал заседаний. Узкая комната с окном на площадь. Длинный стол, в центре Каменев, по бокам «товарищи», больше молодежь.

– Ваше дело теперь скоро, – шепнула барышня. – Можете здесь побыть.

Каменев сидел несколько развалясь, побалтывая под столом ногой. Ботинок снят, очевидно натер. Он – председатель совета, а тут заседание президиума. «В самое ихнее пекло и попали-с…» – шепнул Яков Лукич. И стал разбирать свои бумажки. (Там у него подробно, тщательно было разрисовано, какие мы когда выпускали книги, в каком количестве, как работала типография и т. п.).

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы по виду пекло было страшное. Каменев кивнул почти любезно, «разбойнички» имели тоже веселый вид – слесаря, вроде приказчиков, булочники, некоторые с залихватскими вихрами. Во френчах, кожаных куртках. Тоже поглядывали на нас с любопытством. «Про Короленку, Владимира Галактионовича, не забудьте, про Короленку, – шептал Яков Лукич. – Что, мол, такого знаменитого писателя тоже издаем. Они его уважают. И Кропоткина… Гаршина обязательно надо…» – «Яков Лукич, а как бы это не наврать, какой у нас с первого-то января баланс?» Яков Лукич не без раздражения тычет ведомость с колонкой цифр – все это я приблизительно знаю, да вдруг собьешься перед коминтерном. «Я уж ведь вам показывал-с… А ежели, извините, собьетесь – только уж не уменьшайте…»

Нельзя отрицать, симпатичные молодцы действовали решительно. До нас были дела тоже мелкие, хозяйственные по Москве. Отпуск дров районному совету, ремонт казарм, довольствие пожарным москворецкой части. Долго не разговаривали. Раз, два – готово. По правде сказать, темп и решительность даже понравились мне.

Наконец:

– Дело книгоиздательства писателей и коминтерна… Кто присутствует? А, председатель, так. Сядьте сюда. Коминтерн? Товарищ Герцберг. Слушаем. Товарищ, изложите свою претензию.

Товарищ Герцберг оказалась сытенькая, стриженая барышня еврейского вида. У ней тоже была какая-то папка, она разложила ее. Я сел рядом, справа Яков Лукич. «Про Толстого-то, Толстого не забудьте, – побледнев, зашептал Яков Лукич. – Он хоть Алексей, а для них вполне за Льва сойдет».

О, если бы слышала это товарищ Герцберг! Но она поводила

плечами в кожаной незастегнутой куртке, напирала грудями на свою папку и сразу пошла галопом:

– Товарищи, так называемое книгоиздательство писателей в прежнее время издавало реакционную литературу, но вот уже два года находится в полном интеллигентском параличе.

То ли слишком велик был ее азарт, то ли она не подготовилась, но ничего лучшего для нас и представить себе нельзя было. Она утверждала, что мы существуем лишь на бумаге, книг не издаем, квартира пустует, типография не работает… – в то время как бедный коминтерн теснится, жмется в каких-то углах, у него нет ни помещений, ни достаточного количества типографских машин.

Говорила быстро, по-одесски. Все знает, все понимает товарищ Герцберг. Даже удивлена, что ей, представительнице могучей организации, приходится доказывать… (таков был тон).

Всякое собрание есть театр. На каждом представлении родится атмосфера, спасающая пьесу или ее губящая. Не ту ноту взяла товарищ Герцберг – и сразу это почувствовалось.

Каменев холодно разрисовывает круги.

Пугачевцы недовольны. Что-то говорят друг другу вполголоса. Неприязненно улыбаются. (Позже мы узнали, что у московского совета именно тогда и были нелады с коминтерном.)

– Товарищ, кратче, – сухо сказал Каменев.

Она рассердилась и стала еще красноречивей.

– Хорошо, все ясно. Представитель другой стороны.

Не нужно было быть ни Маклаковым, ни Плевакой, чтобы по шпаргалке прочитать, сколько книг и на какую сумму издали мы в этом году. (При именах **Кропоткин, Толстой** – победоносные усмешки на лицах слесарей.) На следующий месяц предположен Короленко – избранные сочинения… Типография работает. В квартире издательства телефон и постоянные часы приема.

Коминтерн нервно попросил слова.

Опять митинговая речь.

«Гаршина-то, Гаршина позабыли…» – шептал сбоку Яков Лукич тем тоном, как некогда, в молодости, говорил мне объездчик Филипп на охоте: «Эх, барин, опять черныша смазали!» Но теперь сам коминтерн на нас работал.

Каменев наконец вмешался:

– Все это, товарищ, известно. Вы повторяетесь. Мы теряем время.

– Довольно, довольно, – раздалось кругом.

Каменев предложил высказаться президиуму. Сказано было всего несколько слов. Трудовое товарищество работает – и пусть работает. Издает великих писателей, как Толстой. Мешать не

надо.

Товарищ Герцберг, не спросясь, перебила говорившего, вновь громя нас. Каменев рассердился:

– Товарищ, я лишаю вас слова. Мнение президиума? Да. Так. Постановлено: коминтерну отказать. Секретарь, следующее там что у вас?

* * *

Через полчаса мы сидели уже в Скатертном. Мимо окон проходили прохожие. Закат сиял за Молчановками, Поварскими. Недалеко особняк Муромцевых. Недалеко дом Элькина, где когда-то мы жили. Мирная, другая Москва.

– Что ж, Яков Лукич, пасть львина уж не так страшна? Победили мы с вами коминтерн – два таких воеводы?

– Изумляюсь, поистине…

Он встал и отворил шкафчик.

– Тут у меня на лимонной корочке настойка есть, то и следовало бы по случаю поражения иноплеменных чокнуться.

Нашлись две рюмки. И мы чокнулись.

– Разоряют Москву, стервецы-с, – сказал вдруг грустно Яков Лукич. – До всего добраться хотят, это что-с, квартира наша, типография. Пустяки. Подробность. Они глубже метят. Им бы до святыни дорваться…

Он помолчал.

– А что мы с вами так фуксом выскочили, это действительно…

– И то слава Богу, Яков Лукич. Я не надеялся.

Он вдруг засмеялся тихим смехом, погладил стол, кресло.

– Все теперь опять наше… И квартира, и типография. А как вы скажете, ежели по второй?

Выпив, Яков Лукич поднялся. Невысокий, сгорбленный, показался он мне дальним потомком дьяков московских, родственником Ключевского. Трепаная бороденка – не то хвост лошадиный, не то редкие кустарники по вырубкам.

– У св. Андрея Неокесарийского про этот самый коминтерн весьма даже ясно сказано…

И, трижды показав дулю невидимому врагу, обернулся ко мне. Что-то строгое мелькнуло в умных его глазках.

– А Гаршина вы все-таки изволили позабыть.

# Прощание с Москвой

Много в Москве было для нас всяческого, и радостного, и горького, и большого, и малого, и через нашу жизнь Москва прошла насквозь, проросла существа наши, людей московских. Но в судьбе некоторых из нас было и удаление из Москвы, расставание с нею – временное ли? Или навсегда?

Есть в Москве улица Арбат. Некогда названа она была улицей Св. Николая – по трем церквам святителя на ней: Никола Плотник, Никола на Песках, Никола Явленный. Вокруг всякие улочки и переулочки с именами затейливыми – Годеинский, Серебряный, Кривоарбатский. Этот последний в самой середине Арбата, рядом со зданием Военно-Окружного суда, – и переулок действительно кривой: назван правильно.

Вспоминая московскую свою жизнь, видишь, что и началась она и окончилась близ Арбата. На углу Спасопесковского было первое, юное наше пристанище, в этом Кривоарбатском – последнее.

Вижу его теперь, через много лет, взором неравнодушным. Пристанище для времен революции, и совсем неплохое: мы снимали в квартире артистки одной огромную комнату, сами ее обставили, устроили печку, в зимнюю стужу обогревали и боками своими. Прожили в ней полтора года. В эту-то комнату и пришел раз, поздно вечером, друг наш, издатель Гржебин. Вполголоса, в полутьме, говорили мы об отъезде: сам он уезжал в Берлин, там основывал издательство, вывозя и меня, и мою семью.

В эту комнату пришла первая иностранная виза – из Италии! Отсюда мы уезжали.

Отсюда же, мысленно, веду я рассказ и сейчас – о последних моих днях на родине.

* * *

Та весна была теплая, почти жаркий май и довольно пыльный. Много приходилось путешествовать по учреждениям… – грязноватые лестницы, очереди, товарищи, штемпеля, бланки. «Из ЧК разрешения еще нет», – значит, опять ждать, комиссариат иностранных дел без чеки ничего не даст.

Все равно мы терпели, ждали, дело серьезное. Сила же терпения и упорства велика. Одна бумажка выйдет, ждешь другую, один штемпель прибавился, и то хлеб, ждешь следующего. Удостоверения, разрешения – без конца.

Но конец все-таки пришел. Однажды, в начале июня, взобравшись на очередной третий этаж, получил я две красные паспортные книжки с фотографиями, печатями и подписями. Сохраняю их – след прошлого, а отчасти – знак хода судеб: на восьмой странице книжечек этих, по голубоватой сетке бумаги красными чернилами подпись: Г. Ягода. С ним рядом, мельче и тусклее: М. Трилиссер.

Участи Трилиссера я не знаю, судьба Ягоды всем известна. Не без содрогания смотришь теперь на эти имена, но тогда меньше всего я о них думал. Сквозь всю усталость пробивалось лишь одно: выпустили! Едем.

По улицам нес документы благопристойно. Дома же разложил их по полу и – надо сознаться – протанцевал над ними.

А между тем дело ведь шло об отъезде из родного города, родной земли! Мы покидали самых близких. Хоть и говорили, что на время, и в сознательной, освещенной части души так как будто и было, но в потемках глубин… Все-таки мы не колебались. Нас несла уже некая сила – корабли у пристани, на дальний Запад, прочь от Трои пылающей. Это судьба. Все текло в жизни нашей к отъезду. То одно, то другое удалялось из комнаты – что дарили, а что продавали. И все ближе, ближе…

* * *

В Москве в эти дни шел большой политический процесс – эсеров. Процесс был многолюдный, публика волновалась, и все требовали смерти. На защиту приезжал из Бельгии Вандервельде. На Виндавском вокзале, откуда мы должны были уезжать, ему устроили такой прием, какого европейский человек не ожидал: орали и свистели, бросали камни, даже и ругали его по-французски. Это, кажется, его удивило, он не знал, что так распространен его язык в России (если бы знал, что несколько мальчишек специально были обучены, изображая народ, удивление его убавилось бы).

Приговор приготовили, разумеется, загодя, но ему надо было дать характер воли народа. Решили сделать это, «поднять массы».

Молочница, носившая нам молоко, тоже была из масс.

Накануне дня манифестации сказала моей жене:

– Завтра, барыня, прямо все пойдем. Вея Москва.

– Куда же это?

– И со знаменами, со флагами. Этих вот, как их там… чтобы требовать наказания.

– А что они тебе?

– Да мне-то ничего. А так, что сказано, кто пойдет, тому калоши выдадут. А достань-ка ныне калоши?

Мы должны были выезжать накануне манифестации. Но из-за Вандервельде, спешно, в беспорядке отступавшего со своими спутниками, наш отъезд отодвинулся; все места в заграничном вагоне оказались уж заняты. Так что день получения калош мы проводили еще в Москве. Это было именно наше последнее московское утро.

Поезд уходил в пятом часу. И среди всех формальностей отъезда все-таки одна не была еще выполнена.

Пришлось идти в Китай-город. Я шел по Арбату мимо «Праги», где когда-то мы веселились. Сперва Арбатская площадь с памятником Гоголю. Против Гоголя стена Александровского военного училища. Памятник при мне открывали, форму училища я одно время носил.

Мимо церкви Св. Бориса и Глеба вышел на Воздвиженку, обогнул «Петергоф», прошел мимо университета, где учился. Повернул к Историческому музею. Было теплое утро, солнечное, совсем как весной 1918 года, когда православная Москва вышла с иконами и хоругвями на улицу. С разных концов города, при громовом гуле колоколов, собирались крестные ходы ко храму Христа Спасителя, а оттуда двинулись ко Кремлю. Наш Арбатский район шел Пречистенским бульваром, влился в общую массу, и потом все двинулось именно к этому месту, где я сейчас находился, – проезду между Кремлем и музеем: тут стоял патриарх Тихон и благословлял народ. Он был спокоен, сдержан. Навсегда запомнилось глубоко народное, как у Толстого, лицо с крупным носом, ясными глазами, русой бородой. В руке у него был золотой крест, солнце горело в этом кресте. Он остался видением древней несокрушимой Святой Руси, восставшей из тысячелетнего лона.

За патриархом были исповедничество, нищета, близкое заточение – тот самый крест, облик которого он держал в правой руке и на который как бы звал всех склонявшихся перед ним. Никольские ворота, в Кремль, были заперты. Из-за итальянских зубцов глядели солдатские лица в остроконечных шапках со звездой.

Мимо музея повернул я теперь налево, наискосок через площадь к Ильинке – это Китай-город, московское Сити. Как в Сити, глухие и неказистые тут переулки, конторы, лабазы. На Варварке знаменитый трактир, тоже невзрачный, как и лондонские. И тоже – миллионные дела.

Здесь теперь оказался и комиссариат финансов – там и должны были мне ставить последний штемпель.

Вход тоже сумрачный. Свету мало, дома из узеньких улиц заслоняют. Большое здание – к удивлению, некоторому и ужасу моему, оказалось оно полупустым. Служащие расходились, конторки одна за другой закрывались.

Опять надо было упорствовать. Но ведь вечером поезд… Как-никак, чуть не у последнего окошечка, но бойкая барышня подала мне документ в исправности. И тотчас застучала на своей машинке. Вошел некто начальственного (но не из высших) вида.

– Товарищ, почему же вы работаете? Не знаете, на манифестацию идти?

Она продолжала выстукивать.

– Я сейчас кончаю и иду завтракать.

– Успеете завтракать. Наши уже все ушли.

Она вдруг остановилась, подняла на него голову в кудряшках, не без дерзости.

– Сверхурочные дадите?

– Слушайте, товарищ… – Он зашел к ней за прилавок, наклонился, стал говорить тише. Видимо, я его стеснял.

Барышня захлопнула машинку, поднялась.

– Ну, если так, согласна…

Торг пора было и кончать. Время действительно на исходе. Когда я вышел от них на Лубянскую площадь, снизу, от Театральной, подымалась уже голова процессии.

Шли люди в кепках и юноши, отряд голоногих спортсменов, работницы, служащие несли плакаты, знамена, флаги. И везде одно: «Смерть! Смерть! Смерть!» Несли какие-то чучела, пели хором. Всё шли и шли, рядами, строем, в беспорядке, как придется. Манифестация многолюдная. Но не более, чем тогда с патриархом.

* * *

Наша большая комната уже в полном разгроме. Даже печка уехала – хранительница наша и спасительница от морозов. Несколько чемоданов на кровати без подушки и без одеял, ремни, пледы, картонки, сор на полу… – удаление человека, смерть жилья до минуты, пока новый насельник не оживит его.

Не так давно, уже здесь, в Париже, пришлось провожать друзей за море – в Австралию, навсегда: они туда переселялись.

Может быть, наши друзья в Москве смотрели уже на нас – как и мы позже на австралийцев: тени иной планеты. Во всяком случае, это они скрывали. И все шло покойно и правильно. Пришел час, подъехали наши извозчики, передвинулись вниз

чемоданы, присели мы на кровать, помолчали, перекрестились да с Богом и тронулись. Извозчики нас везли по тому же Арбату юности нашей, мимо Николы на Песках на Виндавский вокзал. Извозчики были обыкновенные. Тащились серенькою рысцой. Москва медленно протекала мимо.

Мы не встретили никаких процессий – нам давался свободный выход. Сретенкою, мимо Сухаревки со знаменитою башней, тенью Брюса таинственного, неторопливые наши возницы по Мещанской подвезли к невысокому и нехитрому зданию. Виндавский вокзал на небольшой площади.

Странно сказать, но никогда раньше не приходилось не только что уезжать отсюда, а и видеть вокзал этот.

Носильщики в белых фартуках, поезд дальнего следования, вагон, купе, последние звонки, последние поцелуи. Ждали, стремились и волновались, вот и пришла минута, преломился кусок хлеба в крепких руках – медленно утекала назад платформа, милые лица, платочки, слезы. Замелькали строения железнодорожные, а потом домики и сады. Мы одни были в купе. Погода менялась. Над Москвой заходила сизеющая туча, подбираясь к солнцу. Вот остался узкий златистый нимб, а там и он померк, ушло солнце в глубины туманно-смутные. Прохладная тень кинулась вниз. Начинались уже поля. Ветерком донесло запах дождя.

Мы почувствовали только теперь, как устали.

# Далекое. Главы из книги

# Побежденный

Я встретил Блока в первый раз весною 1907 года, в Петербурге, на собрании «Шиповника». Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик – юноши, пажа, поэта – все показалось хорошо. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто – и это шло ему. Стихи читал как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя – холодком. Сам же себя туманил, как бы хмелел.

В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке». То, первое, весеннее от него впечатление более связалось с ранней его настроенностью (именно с настроением души, а как художник он вполне уж отходил от «первоначальной» своей манеры).

Июль 1908 года мне пришлось жить у Г.И. Чулкова, на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов. О взморье, о ночах туманно-полусветлых, о блужданьях – и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и не скажу, чтобы значительное. Все-таки осталось. Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским, бродячей, нервно-возбужденной жизни, полуискусственному, полуестественному дурману, в котором полагалось тогда жить «порядочному» петербургскому писателю.

Помнится, у Блока резче обозначились уже черты, вес в них прибавился, огрубел цвет лица. Уходил юноша, являлся «совсем взрослый». В этом взрослом что-то колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил как бы покачиваясь. И на сердце невесело – такое впечатление производил. Мы ездили в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром. Много и довольно бестолково пили, рассуждали, разумеется, превыспренно, особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок был довольно хмур, что-то утомленное, несвежее в нем ощущалось. Он нездорово жил, теперь-то это ясно, а тогда мы мало понимали.

От вина лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возросла.

Странные вообще были у него глаза.

* * *

В эти годы и последующие Блок написал книги, глубоко вошедшие в нашу поэзию. Из них особенно пронзающей казалась мне «Снежная маска». Ее отчаянье заражало. Сильный, почти трубный звук был в ней. «Прекрасная Дама» рухнула, вместо нее метели (сильно Блоком, как и Белым, почувствованные), хаос, подозрительные незнакомки – искаженный отблеск прежнего, Беатриче у кабацкой стойки. Спокойным это не могло быть. Рыдательность, хотя и сдержанная (Блоку не шел бурный экстаз), все проникала – и большая искренность. Блок никогда не писал для «стихописанья». Формальное никогда его не занимало. У него не было особой выработки, «достижения» его не весьма велики. Стихом хмельным, сомнамбулическим записывал он внутренний свой путь. Его судьба – в его стихах. А так как выражал он и судьбу некоей полосы русской жизни, то он идет в числе немногих «обязательных» в нашем веке.

В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыханье». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее – поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц, богемы и полубогемы, всех «Бродячих собак» и театральных студий – был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа).

Откуда бы это взялось в то время? Печаль и опасность для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли охотно – был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке – над болотом.

* * *

16 августа 1912 года, свежим утром, на Мясницкой у Эйнем я встретил Блока – и запомнил встречу потому, что это был день важного события в моей семье – рождение нашей дочери. Радостно было встретить именно тогда Блока московского – спокойного, приветливого, дружески поздравившего и прислявшего жене моей цветы и свои книги с очень ласковой

надписью. Эти книги долго странствовали с нами, в разнообразных положениях страшной эпохи, – теперь развеяны по ветру.

А сам Блок надолго тогда ушел из поля зрения. Я жил в Москве, он в Петербурге – там и вел то сражение, которое есть – земной наш путь.

Ударила война. Он на нее как будто бы не отозвался (общее тогда явление в России). За нею революция, конец всего того и зыбкого и промежуточно-изящно-романтического, что и был наш склад душевный. Блок стал уж признанной звездой литературы. За это время написал «Розу и Крест» – одно из самых тонких и возвышенных своих произведений с удивительною песнью Гаэтана. Пьеса – в очень разреженном воздухе. Печаль ее неразрешима.

Затем, уж в революцию, шел «Соловьиный сад» – прощание с прежним; наконец, «Двенадцать».

Ясно помню вечер в одном литературном доме, когда подали мне серый лист газеты.

– Вот, смотрите, что Блок написал.

Фельетоном была напечатана поэма. Блок на сером и унылом листе газеты. Но Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и Кресту» шла готика. «Двенадцать» – другой мир, уже клубившийся вокруг нас, – шинелей, и винтовок, и махорки, и мешочников, и крови. Ну что же, взять его, не побояться, дать грозную его поэзию, возвести к высшему, **разрешить**… чем не задача?

Я принялся читать. А позже – возвращался домой снежной, бурной ночью. Трамваев не было уже. Кой-где постреливали и нередко грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую – своей поэмой.

* * *

«Наш, наш!» – завопили одни и кровавыми объятиями стали «обымать». Блок с нами, вон он как попа продернул, и буржуя, и длинноволосого интеллигента… Ну, понятно, у самого пережитки… в белом венчике из роз впереди Исус Христос… старый словарь… Но это первые шаги, а там он разработается.

Другие отходили – некоторые резко, иные с грустью.

– Блок стал большевиком! Такой поэт… и с ними!

Ни те, ни другие сполна правы не были, а основания имели. Действительно, двусмысленна поэма.

Появление Христа, ведущего своих двенадцать апостолов-убийц, Христа не только «в белом венчике из роз», но и с

«кровавым флагом» – есть некоторое «да». Можно так рассуждать: идут двенадцать разрушителей старого (и грешного), тоже грешные, в крови, загаженные. Все же их ведет – хоть и слепых – какой-то дух истины. Сами-то они погибнут, но погибнут за великое дело, за освобождение «малых сих», – и Христос это благословляет. Он простит им кровь и убийства, как простил разбойника на кресте. Поэтому им «да», и «да» их делу.

Чем не мысль? И чем не тема для поэмы? А пожалуй, даже, и мистерии? Какое грандиозное **разрешение**? Сам Христос, за мир свою кровь изливший, сам омоет прегрешения?

Все это хорошо, но Блок такой поэмы не написал. Быть может, он хотел бы написать – не смог.

Он написал не поэму разрешения, а духоты. В «Двенадцати» нет воздуха, ни света, и ни пафоса, ни искупления. Живое гибнет в ней, как в «Снежной маске» (но еще сильней), – ибо нет духа животворящего. «Скучно!» – так кончается восьмая главка. Как не быть скучно в атмосфере смерти?

«И сказал Иисусу: помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!»

«И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Это Священное Писание. Но Достоевский не священный, просто писатель, и у него «убийца и блудница» читают вместе Евангелие – только Евангелие, никакого Христа олеографического нет, – и это трогает и очищает. У Блока же все вышло мертво. В одном лишь «Петьке», застрелившем сдуру «Катьку», что-то шевельнулось и – заглохло. Разве дадут «этому» процвесть «апостолы»?

Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!

А раз Блок написал такую «скушную», «безвоздушную» и безнадежную революцию, то на что он, в сущности, революционерам? Разве может его поэма кого-нибудь воодушевить? Нет, ибо в ней нет духа. Потому-то она и двусмысленна, потому-то более умные из «тех» должны вполне от нее открещиваться, она полнаного маразма, нигилизма, с каким вообще ничего сделать нельзя – даже человека убить.

Мертва духовно – и проникнута поэзией, вот удивительно! В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний блоковский хмель, и тоска, и дикая Русь, и мрак. И еще удивительно: «Двенадцать» менее всего «произведение искусства». Это явление, происшествие. Показание на некотором суде. Блок тут себя предъявил. И можно

понимать поэму как порыв в борьбе, отчаянную контратаку в жизненном сражении – на давно наседавшего врага.

– Любви, любви! И разрешения! И воздуха!

Вот чего надо было Блоку. Надо было что-нибудь да полюбить, на чем-нибудь да утвердиться. Прекрасной Дамы давно нет, черти слопали ее, и даже Незнакомки нет, все это прежнее, «Соловьиный сад», а трудно жить ведь без чего-то «по ту сторону», да еще такому поэту – Блоку. И вот появились «человечество» и «революция». Отдаться бы им!

Как будто бы отдался. Как будто бы почувствовал трагедию полюбленного, и мелькнуло разрешение. Писал в подъеме очень сильном (поэтическом подъеме), звуки, слова, ритмы… из-под ног же земля уходила. Опереться не на что. «Музыка революции» дана, а разрешение…

Дело простое.

Чтобы Христос действительно сошел, чтобы действительно была оправдана, возведена трагедия, нужно, чтобы Блок действительно полюбил и революцию, и Христа. Этого не было. Христос мелькнул ему, призрачный и туманный, потому что зова настоящего в нем не было – исчез. Мелькнуло и видение революции, как ложная Незнакомка.

И получилось то двусмысленное, путаное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, где имя Христа всуе помянуто, и что есть – «Двенадцать».

* * *

Вначале Блок читал свою поэму часто. Время шло. Революция двигалась, а он стоял на одном месте, после «Двенадцати» умолк. С некоторых пор и перестал читать эту вещь. Раз, на вопрос о Христе, ответил:

– У меня Христос компилятивный.

Что этим хотел сказать, не очень ясно. Вряд ли ответил бы так тот, кто Христа живого чувствует.

Весной 1920 года приезжал Блок в Москву. Под аккомпанемент взрывав на артиллерийских складах он читал стихи в Политехническом музее. Но «Двенадцати» не прочел. Был очень мрачен, на вопрос моей жены ответил:

– Я больше этой вещи не читаю.

Люди близкие передавали, что Блок в страшном упадке, что надорвано его здоровье, – он не пишет, окончательно во всем разуверился и едва жив. Надо сказать, что революция подорвала Блока сильно. Он таскал наверх дрова, дурно питался, холодал –

в этом делил судьбу почти что всех. Но и особенный мрак над ним сгущался, не зависящий от дров или цинги.

Из деревни я послал ему последнюю свою книгу (печатавшуюся в самом начале революции). Получил длинное письмо, очень дружественное, от «сочувственного сердца». Поразил меня тон беспредельной грусти, разлитой в письме, – и тронул. Точно он прощался и о чем-то сожалел, недоделанном и самом важном. Нас же ощущал как «Путников» (так называлась книга). Я помню, была фраза: «Давно мы с вами встретились, да все были врозь, не пришлось сойтись ближе, хоть и можно было бы. А теперь, кажется, уж поздно».

Победители не пишут так. Что-то пронзало, убивало. И в тоске своей вы правильно почувствовали, Александр Александрыч: поздно было уж сходиться.

* * *

В последний раз Блок приезжал в Москву весною 1921 года. Слава его была значительна, его много читали, даже много и покупали. (В Книжных лавках писателей.) Много печатали. Дошло до того, что одно издательство объявило подписку на собрание детских стихов Блока (в детстве написанных).

Сколько мне помнится, эта глупость не удалась. Но все равно Блок считался признанным, прошедшим в публику и начинающим стареть.

Читал он в нескольких местах. Союз писателей устроил вечер в честь его.

Союз наш – старый особняк, дом Герцена на Тверском бульваре, во дворе, в саду. Уютное и мягкое, покойное осталось в памяти от двух зал, большой, с библиотечными шкафами и диванами, колоннами у двери, и от малой, с креслами удобными, столом огромным, тоже книжными шкафами, бюстом Пушкина.

На вечер Блока собралось много народу. В первом отделении читал Чуковский, в малой зале, а потом подъехал Блок. В глубине большой залы он стоял у раскрытого в сад окна. На темной зелени яснее выступала голова знакомая, огромный лоб, рыжеватые волосы. Вокруг кольцо девиц и литераторов. Чуковский кончил. Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок! Что осталось в нем от прежнего пажа и юноши, поэта с отложным воротничком и белой шеей! Лицо землистое, стеклянные глаза, резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол и, полузакрыв усталые глаза, начал читать.

Сбивался, путал иногда. Но «Скифов» прочел хорошо, с мрачною силой.

И в этой вещи, и в манере чтения, и в том, как он держался, была некая отходная: поэзии своей, и самой жизни. «Вот человек, – казалось, – из которого ушло живое, и с горестным достоинством поддерживает он лишь видимость».

Он был уж тяжко болен. Но думаю, что не в одной болезни было дело. Заключалось оно в том, что не хватало воздуха. Прежде тоска его хоть чем-то вуалировалась. После «Двенадцати» все было сорвано. Тьма, пустота.

В тот же приезд Блок выступал в коммунистическом Доме печати. Там было проще и грубее. Футуристы и имажинисты прямо закричали ему:

– Мертвец! Мертвец!

Устроили скандал, как полагается. Блок с верной свитой барышень пришел оттуда в наше Studio Italiano. Там холодно, полуживой, читал стихи об Италии – и как далеко это было от Италии!

* * *

Он прожил после этого недолго. Страдальчески прошли последние его месяцы. Теперь он был обставлен материально уж неплохо, кажется. И разрешили ему ехать лечиться (раньше не позволяли) – было поздно. В августе на Никитской, в окне нашей Лавки писателей появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз писателей приглашает на панихиду в церкви Николы на Песках, в 21/2 часа дня». Этот плакат глядел на юг, на солнце. На него с улицы печально взирали барышни московские.

В 21/2 часа дня о. Василий в сослужении с о. Ник. Бруни, молодым священником-поэтом, отслужили панихиду в ясном, солнечном дне августовском – по «безвременно скончавшемся» поэте.

* * *

Так он ушел. Его уход вызвал в России очень большой отклик (заседания, собрания, статьи. Отличились и тут имажинисты – устроили издевательские поминки под непристойным названием). Пожалуй, Блок был любимейшим из писателей последних лет. Многие хоронили в нем часть и себя, своей души –

повторяю: Блок выражал собою полосу России. Эта полоса кончалась с революцией, умирал «блокизм» – ибо ничего не мог противопоставить напору революции. «Блокизм» расплывчат и тепличен, нездоров, некрепок и ничем активным не обладает.

Он истек «клюквенным соком» (крови настоящей не было!). Да как могло быть и иначе, когда сам его создатель сдался, повалился в «Двенадцати»?

По смерти Блока появилось множество статей, воспоминаний, книг. Неумеренные почитатели печатают теперь такое из его писаний, что, пожалуй, не весьма его порадовало бы. Как отнестись к этому? Заметки из записной книжки, строки, которых Блок не отдавал **сам** в печать, сейчас, однако, появляются. Раз напечатаны, мы вправе обсуждать их.

И один отрывок – величайшей важности для понимания Блока. Набросок пьесы из жизни Христа («Русский соврем.»). Может быть, Блок сам почувствовал, что нехорошо говорить об Иисусе: «ни женщина, ни мужчина», о св. Петре «дурак Симон с отвислой губой», или «все в нем (Иисусе) значительное от народа», «апостолы крали для него колосья» – все-таки он написал. Это, скажем, не литература. Но… что же, и не Блок? Увы, именно Блок, и помечено: 1918 г. Блок эпохи «Двенадцати». Вот еще новый поворот, новый свет на загадочную поэму. Вот в каком настроении она создавалась. Что же, «настоящий» Христос вел «Двенадцать» или блоковский, «ни женщина, ни мужчина», у которого «все значительное от народа»? Я говорил уже, что настоящий Христос вовсе не сходил в поэму. А теперь видно, какого Христа Блок пристегнул к своему писанью. Вот что значит-то: «компилятивный».

Так что здесь новое свидетельство о тяжком обострении давней болезни души Блока – погубившей его.

* * *

Я чувствую, что это надо написать, и все-таки писать мне грустно. В общем, вспоминая Блока, больше вижу его молодым, мечтательным, в низком отложном воротничке, слышу его стихи, пронзающий шарм их:

Уж не мечтать о подвигах, о славе,
Все миновалось, молодость прошла.
Твое лицо, в его простой оправе,
Своей рукой убрал я со стола.

Куда бы ни зашел Блок и чего бы ни наделал, как бы жизнь свою ни прожигал, туманил, иногда грязнил – в нем было то очарование, которое влекло сердца и женские, и мужские, та печать, что называется «избранничеством». Хотелось бы, чтоб именно такой, которому дано не скупо, выдержал бы, пришел к Истине, победил. А он не выдержал. Жизненный бой проиграл. И побежден. Что же из этого? Показан нам облик печальный, может быть, даже трагический. И Данте находился in una selva oscura, и лишь любовь Беатриче, пославшая ему Вергилия, вывела из тьмы. Данте сам сильно любил. Ему и была дана помощь. В Блоке страстности, пылания никогда не было, и вышло так, что за него не заступилась та Прекрасная Дама, которой он изменил. Но тут уж мы подходим к тем истокам судеб, о которых не дано нам судить.

* * *

Здесь, в Провансе, часто вспоминаю вас, Александр Александрыч. Это край и тот пейзаж, где жил Петрарка, где старинные труверы пели, край Лауры. Все это вам близко – вам, автору «Розы и Креста».

Когда идешь, пред вечером, по гребню гор, среди душистых сосен, а внизу разостланы долины, взгорья, хвойные леса, оливковые рощи и рыжеющие весной виноградники, фермы с задумчивыми кипарисами, вдали белеющие городки с храмами древними, и дальше все нежней и шире раздвигаются холмы, и тонкий, голубеющий свет разливается над всем, – когда спокойно видишь чистый и изящный край, пронизанный благословенным солнцем, когда так один в горах, то… часто чувствуешь ваш облик, наш поэт. Быть может, это странно и не нужно: кажется, показать бы вам вот этот светлый Божий мир. Дать бы глазам вашим, замученным туманами, болотами, снегами, войнами и бойнями, – взглянуть в голубоватые дали Прованса, светом и благоуханием смолистым вам омыть бы душу, как омыл лицо росой Чистилища при выходе из Ада Данте, – и вы вспомнили бы о Прекрасной Даме, вырвали б раз навсегда слова кощунственные. Вы бы дышали Истиной, она бы оживила вас.

Но это все напрасные слова. Вас нет. Мы все – души Чистилища. Из светлого Прованса хочется послать вам ток благоволения, благожелания. На этом свете не пришлось нам сблизиться.

*Domaine de la Pugette*
*Пасха 1925 г.*

# Андрей Белый

Царицыно – дачное место под Москвой, по Курской дороге. Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк вроде леса. Очень красиво. Сила зелени, произрастание, свежесть и влага. В Москве многие любили Царицыно. Были там и собственные дачи, или – кому особенно нравилось – снимали помещения из года в год у местных жителей, становились как бы летними обитателями Царицына.

– Борю Бугаева отлично помню, – говорила моя жена, в юности тоже царицынская дачница.

– Я была девочкой еще, мы жили в Воздушных Садах, около дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был светленький мальчик лет двенадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу, даже – очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду, так и представляется мне с удочкой на берегу – пруды там огромные. Мать у него была бледная, красивая, отец – профессор в Москве, чудаковатый какой-то. За Борей присматривала гувернантка. Потом, много позже, я встретилась с ним в Москве, он стал студентом и, оказывается, поэт, пишет «Симфонии», «Золото в лазури»… Боря Бугаев оказался Андреем Белым!

Отец «Бори Бугаева» математик, крашеный старик с разными причудами – молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встречать. Мать Белого я немного знал: блестящая женщина, но совсем иных устремлений – кажется, очень бурных. Так что Андрей Белый явился порождением противоположностей.

На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились – не просто голубые, а лазурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала оттеняли они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком, всегда закидывая немного назад голову, по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхоленный, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном факультете, печатался в «Скорпионе» (издательство), в журнале «Весы» под началом Валерия Брюсова. Считалось среди молодежи тогдашней, что он «необыкновенный» какой-то – поэт, мистик с

оттенком пророчественности и символист (по другим «декадент»). Но не просто декадент, а всем обликом своим являет нечто особенное – не предвестие ли «новой религии»? Видели в нем нечто общее и с князем Мышкиным из «Идиота». Передавали, что в университете вышел с ним даже случай схожий: на студенческом собрании в раздражении спора кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку.

Ранние его произведения быстро привлекли внимание – насмешливое у старших, сочувственное у молодежи. Лазурь бугаевских глаз в стихах «Золото в лазури» сияла почти ослепительно. Конечно, острей и духовней ощущал он свет, чем кто-либо. «Симфонии» показались необычайными и по форме – полулитература, полумузыка… Лес, кентавры, беклиновское нечто в «Северной». В «Драматической» синие глаза московской красавицы, Владимир Соловьев, Евангелие от Иоанна – все это неслось в туманно-музыкальном вихре.

В то время и он и Блок только еще выходили из-под плаща Соловьева – в «Симфонии» Соловьев с «брадою» своей и в крылатке, развевающейся фантастически, «шествовал» над Москвой в утренних зорях, обещавших и Белому и Блоку некие откровения, «раскрытия».

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языке «прелестью». И оба оказались – по-разному – но вроде одаренных лжепророков.

Как бы, однако, об этом ни судить, что бы ни говорить о Белом и Блоке в целом, юношеский образ «Бори Бугаева» оттиснут в памяти печатью романтическою – прозрачные, чистые краски в нем были тогда. И нечто певуче-летящее, с оттенком безумия.

* * *

В публике его сразу определили чудаком, многие и смеялись. Все газеты обошло двустишие из «Золота в лазури»:

Завопил низким басом,
В небеса запустил ананасом.

Это недалеко от брюсовского:

О закрой свои бледные ноги.

Но Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь. А у Белого это – природа его. Брюсов был делец, Белый – безумец.

Читал стихи он хорошо, в тогдашней манере, но очень своеобразно, как и во всем не походил ни на кого. Некоторые считали его гениальным.

Литературно-художественный кружок в Москве, богатый клуб тогдашний, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровке отлично был приспособлен – зрительный зал на шестьсот мест, библиотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан хороший, игральные залы. Брюсов был одним из заправил: заведовал кухней и рестораном.

На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель.

Из-за кулис видна резкая горизонталь рампы с лампочками, свет прямо в глаза. За рампой, как ржаное поле с колосьями, зрители в легкой туманной полумгле. А по нашу сторону, «на этом берегу», худощавый человек в черном сюртуке, с голубыми глазами и пушистым руном вокруг головы – Андрей Белый. Он читает стихи, разыгрывает нечто руками, отпрядывает назад, налетает на рампу – вроде как танцует. Читает – поет, заливается.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево – долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствовал ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец, почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение…

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты – присел основательно.

Это было совсем неплохо сыграно, могло и нравиться. Но нива ощущала иначе. Там произошло нечто вне программы. Теперь уже не ветер – налетел вихрь, и колосья заметались, волнами склоняясь чуть не до полу. Надо сознаться: дамы помирали со смеху. Смех этот, сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетал и до нас, за кулисы.

«И смех толпы холодной…» – но дамский смех этот в кружке даже не смех врагов, и толпа не «холодная», а скорее благодушно-веселая. «Ну что же, он декадент, ему так и полагается».

Все-таки… – какая бы ни была, насмешка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи, раздражения, уязвленности скоплялось в том, кого одно время считали «князем

Мышкиным».

* * *

В 1906–1907 годах кучка молодежи Литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-художественная неделя». Объединяли участников родственные черты – некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских – Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался – искреннее увлечение юных лет, правда некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских – там была строгая дисциплина – он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как, он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него исступленно, поносил и его и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов, вне себя, прибежал ко мне:

– Он всех нас позорит, оскорбляет…

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что – при нервности и обидчивости юных литераторов – из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясняться. Если он не возьмет назад оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие как личные, так и литературные отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В.И. Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился – изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим

поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг – именно он… Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвалебный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.

В назначенное время собрались в кабинете поэта Стражева: кроме хозяина Б.А. Грифцов, П.П. Муратов, Ал. Койранский, поэт Муни и я.

Звонок. Появляется Белый – в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

– Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

– В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив – кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, наскакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видно он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

– Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть не на дуэль вызывают…

Я не уступал.

– Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не подавался ни на шаг. Наконец Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали, после страшных прожитых лет, это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез.)

И уже много позже, в светлой, теплой зале Эрмитажа петербургского, около Луки Кранаха случайно столкнулись – нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего неверного дня, рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра – врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам, и разные радиоволны на разное его направление. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица проносившимся над Россией, воплощавшим в себе… не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но вблизи нее он находился. Гораздо позже я узнал, что в 14-м году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского).

* * *

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев – к ней и добраться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Белым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация – Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.

Белый был очень мил, даже почти трогателен, – мы христосовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С.А. Соколову («Грифу», поэту, издателю раннего Блока), разговляться.

Легко можно себе представить, что такое были разговены в

Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния – все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом все мы и разместились – литературная молодежь того времени. На одном конце стола Гриф, на другом жена его, артистка Лидия Рындина. Христосовались, смеялись, ели, пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи… Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский – критик, художник, острослов, – всегда он Белого не весьма чтил, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его… Койранский подзуживал, разговор обострился.

И вот Белый впал в исступление. Он вскочил, начал некую речь – исповедь-поэму:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления. Тут уже и Койранский и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший, –

Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.
……,
Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь,
О, любите меня, полюбите,
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь.
Вернусь…

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах, – будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что странней всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят, – но пустынность внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный венок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнул:

– Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь… Все радуются, а я распят…

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.

* * *

Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению – приобрел и там верных почитателей.

В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури» это, пожалуй, лучшее, что он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут…» – но в позднейшем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже.)

Дал и романы: «Серебряный голубь» – детская и лубочная вещь, и «Петербург» – безвоздушная фантасмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во всяком случае, боевую.

Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.

Читает он в Литературно-художественном кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, невзрачный, невоинственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде, перед сотнями

слушателей, так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопиял»:

– Я оскорблю вас действием!

К нам, заседавшим наверху, в ресторане кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.

– Борис, Борис, скорей, там скандал!

Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис вовремя задернули занавес, отделив публику (Белым возмущенную) от эстрады. Зал кипел, бурлил: «Безобразие!», «Еще поэтами называются»…

На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый в полуобморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом, Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.

Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись мы из кружка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого – секунданты не секунданты, а вроде того.

Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата, мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый, почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.

Высокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

– Тищенко – ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска… (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его как человека.) Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный… но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете… сила хаоса, темная сила, вы понимаете… (Белый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде «м-м-м…» – будто вот они, вокруг, эти силы.) Враги воспользовались безобидным Тищенкой… он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный… Тищенко хороший.

Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.

По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале… поговорили и забыли.

* * *

В самые страшные годы России вспоминается Белый более мирно.

Как будто ни с кем не ссорился. Увлекался антропософией, в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во Дворце искусств.

Этот «дворец» – дом гр. Соллогуба на Поварской, у Кудринской площади. Старый дом прославлен «Войной и миром». Там, где Наташа носилась резвыми своими ножками, поселился поэт Рукавишников – его избрал главой «дворца» Луначарский. Во «дворце» читались какие-то лекции, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Среди них – Белый, куда и позвал меня к себе в гости.

Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда она пришла, очень многое в ней принял. В те годы (20–21-й), всего был ближе к левым эсерам, разным «Скифам» (как и Блок). Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню «революционной мысли», к калмыцкому облику Ленина.

Не без волнения шел я, в сумерках зимнего дня, по старым, благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам соллогубовского дома. Он построен «покоем» с боковыми крыльями, обнимающими просторный двор (подводы с вещами Ростовых, бегущих от Наполеона… Раненый князь Андрей в коляске своей… Великая слава России).

В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из залы можно было выйти на балкон перед колоннами, – а там дальше опять плакаты с расписанием лекций.

Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдали, в своей комнате, выходившей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее «клочковатостями» волос, такой же изящный, танцующий, приседающий.

Комната в книгах, рукописях – все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе.

…Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с «убийцей Мирбаха» он говорил бы иначе, но со мной стал почти на мою позицию – тут помогала ему и его антропософия.

Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро

расчертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории поспешно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно – во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел – вообще всегда им что-то владело, а не он владел.

Разумеется, понял я четверть, может быть – треть, самое большее. Астролог же и эуритмик вытанцовывал неутомимо и убедительно. Надо даже сказать, что в соллогубовском этом доме не было в нем обычного исступления. Скорее фантастика успокаивающая. Снег синел в саду, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается назад, взор соколиный, в горле радостное клокотание «м-м-м…». На слушателя это хорошо действует.

– Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.

Спираль долго еще выносила Россию на простор – море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных… но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что вот уже кончается Голгофа: наверно, потому, что хотели этого. Спираль же украшала желание.

* * *

В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.

В напутственном слове Белому можно было еще сказать:

– Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива…

Много прошло лет, а и сейчас чувствую, как спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить:

– И никогда… никому… ни за что не уступит своей свободы.

Говорил я от лица Союза, как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня – в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились, весь он напрягался, что-то

пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказалась. А потом он вскочил.

– Да, скажу, скажу…

В ту минуту, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что, сев в вагон, все сразу же и забыл.

Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.

Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно **серое**, берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего – не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны – был он антропософом и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:

– Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!

И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степуном: что он любил, собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще.)

Его пустили.

На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

– Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:

– Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских друзьях» (с одним из которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.

Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел…

Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его – горестного, мятушегося, всю жизнь искавшего пристани.

*1938–1963*

# Бальмонт

В поэзии серебряного века место Бальмонта немалое, вернее – большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета.

* * *

1902 год. В Москве только что основался Литературный кружок – клуб писателей, поэтов, журналистов. Помещение довольно скромное, в Козицком переулке, близ Тверской. (Позже – роскошный особняк Востряковых, на Большой Дмитровке.)

В то время во главе кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литературы. Немолодой, но тяготел к искусству «новому», тогда только что появившемуся (веянье Запада: символизм, «декадентство», импрессионизм). Появились на горизонте и Уайльд, Метерлинк, Ибсен. Из своих – Бальмонт, Брюсов.

Первая встреча с Бальмонтом именно в этом кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (de l'époque), бородка клинушком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает.) Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклэр, приветствующий день, свет, жизнь. («Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…»).

Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову; попробуй противоречить мне!

В зале было два слоя: молодые и старые («обыватели», как мы их называли). Молодые сочувствовали, зубные врачи, пожилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бурного не произошло. «Мы», литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи: мы с

женой жили в Спасо-Песковском вблизи Арбата, Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко.

Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической «пробой пера». Но «Будем как Солнце», «Только любовь» – Бальмонт в цвете силы. Жил он тогда еще вместе с женою своей, Екатериной Алексеевной, женщиной изящной, прохладной и благородной, высококультурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была делом рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам, находился еще в верных, любящих и здоровых руках и дома вел жизнь даже просто трудовую: кроме собственных стихов много переводил – Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов» (модернистский журнал тогдашний в Москве). Издатель его С.А. Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в «Метрополе» и других местах. (На бальмонтовском языке он назывался «нежный, как мимоза, Поляков».)

После нежного, как мимоза, Полякова Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось и на заре. Но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. И в своем Толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли.

В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилось, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей, – нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как Солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток» – разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру).

Из некоторых окон его квартиры видны были окна нашей, выходившие во двор.

Однажды, изогнув голову по-бальмонтовски, несколько ввысь и вбок, Бальмонт сказал жене моей:

– Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя в комнату Бориса, по воздуху?

Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие «воздушные пути»: «вышел», после какой-то сердечной ссоры, прямо из окна. Как не раскроил себе черепа, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил, несколько

припадая на нее. Но и это тотчас обратил в поэзию.

И семь воздушных ступеней
Моих надежд не оправдали.

Слава Богу, в Толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными земными тропами, по тротуару своего переулка, сворачивал в наш Спасо-Песковский, мимо церкви.

Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верною Матрешей.

Позвонили. Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно тряхнула огромной медной серьгой в ухе, сказала озабоченно:

– Вас спрашивают. Энтот рыжий, что у нас читает. Да сегодня строгий какой… Будто и не очень в себе они…

Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем «в себе». Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений нежного, как мимоза, Полякова.

Был несколько и мрачен – Матреша права: «строг». Бальмонтисток никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной.

– Где Вера? Люба Рыбакова?

Тон такой, будто я виноват в чем-то.

– Их нет.

– Вы один едите этот ничтожный суп?

– Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте. Матреша хорошо готовит.

Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее.

– Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?

Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. («Поэт не думал, что в доме начинающего писателя нет моего бельгийского собрата…» – нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы.)

Я начал читать – и читал очень плохо. Частью стеснялся, по молодости лет, главное же, потому, что вообще мало знал французский язык – хотя Верхарна как раз читал.

Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил:

– Вы понимаете то, что читаете? Мне кажется, что нет…

Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух – другое дело.

Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный.

* * *

Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда пред вечером, тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц, держался просто – никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго – хорошее воспоминание: под знаком поэзии, иногда даже растроганности.

Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее, в сумерки пришел он к нам, в эту арбатскую квартиру, в настроении особо лирическом. Вынул книжку – в боковом кармане у него всегда были запасные стихи.

Нас было трое кроме него: жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я.

Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом, в нем не было никакого вызова, сказал негромко:

– Я прочту вам нечто из нового моего.

Что именно, какие стихотворения он читал – не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь».

На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны.

В конце он вдруг выпрямился, поднял голову и обычным бальмонтовским тоном заключил (из более ранней книги):

Я в этот мир пришел,
Чтоб видеть Солнце,
А если Свет погас,
Я буду петь, я буду петь
о Солнце
В предсмертный час.

* * *

Случалось и опять по-иному. Вот появляется он днем, часа в четыре, с Максом Волошиным (огромная шляпа, широченная лента на пенсне, бархатная куртка – только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе Closerie de Lilas и т. п.). Бальмонт в мажоре, как бы «заявляет», что будет читать стихи. У нас состав прежний – хозяева и неизменная красавица Люба Рыбакова («Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой…» – в альбом от Бальмонта).

На этот раз он победоносно-капризен и властен.

– Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рощ и пальм Таити или Полинезии.

– Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт?

Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.

– Мечта поможет нам. За мной! – И подходит к большому, старому обеденному столу. – Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы.

И он ловко нырнул под стол. Волошину было труднее, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по-детски. Но «Борис» не пошел.

Вскоре из пальмовой рощи Спасо-Песковского раздались протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов.

Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что Я не полез в эти «рощи», ОН запомнил.

Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида:

– Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии.

(Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике.)

* * *

Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал – новизной, блеском, задором, певучестью.

Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и бальмонтистки кончились – наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бельмонта. Он отошел и до сих пор полузабыт. Написал очень

много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.

В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный – и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе…» – мало ли чем это могло кончиться.

Но, слава Богу, осенним утром в Николо-Песковском (недалеко от нас) мы – несколько литераторов и дам – прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.

Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел – лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем, в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым.

Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния – считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.

Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:

> И с отвращением читая жизнь мою,
> Я трепещу и проклинаю,
> И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
> Но строк печальных не смываю.

Казалось бы, Пушкин мало подходящ для покаяния и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакался горько».

Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь.

Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.

*1963*

# Вячеслав Иванов

Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.

Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама – его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.

Смущенно и робко приветствую их – как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще всё на волоске… Учишься в университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет, все еще впереди: 1905 год!

Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением – «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).

Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром – два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках – соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по-теперешнему «авангардным» в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чаю с куском сахара мог – и устраивал – некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов – сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда **свое**, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец Подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) – вот он-то и оказался праправнуком Платоновых диалогов.

У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы жизни» мой рассказ небольшой

«Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец – утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи… Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.

Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и вознбшении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае, тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.

Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и, начав с моего Кронида, он прочел нам целую лекцию – да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.

* * *

Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма – немало до революции было «измов» в литературе, и сама литература кипела. По-разному можно относиться к ней, но дух Мачтетов и Баранцевичей, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.

Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою вовсю.

Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».

Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи – громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре – славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них

маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для **мужчин**.

Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на «особенное» считалось, что он живет «в башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» – этот маг заведовал отделом кухни в Литер, кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования», – говорил мне один приятель литературный в Москве.

Слова «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммсена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов, и религии тех лет, и поэзию, литературу – да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.

Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! – тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уже об этом упоминал – собеседник он был исключительный.

Раз, в 1908 году, был я к нему приглашен **не** на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.

Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет – и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой – спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею действительно живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего

и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.

Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.

* * *

На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались – все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.

«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уже там не до «башен» и снобистских собраний.

Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком-то литературном учреждении; кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.

Как будто начинали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе – но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь».

На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) – не так просто было и доставать это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.

Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 году Вячеслав Иванов со своей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 году «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.

В Риме он выступил с публичной лекцией по-итальянски.

Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи, и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского университета.

Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. (А в отделе редких книг быв. Румянцевского музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову.)

* * *

В 1949 году наш приятель – ныне покойный А.П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей «Казакова», – неожиданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.

– У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу – проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.

Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце – Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало при неблестящем складе быта нашего соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой.

Началось наше blitz-tournee. Оно – смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.

Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове:

– Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.

Он даже рассердился.

– Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но, увы, можно будет остаться всего день.

Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать

в Ватикане, а после завтрака в кабачке у Бернииевой колоннады поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.

Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.

Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.

Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность и сюда вернулся неузнанным.

Теперь известный поэт, столп русского символизма доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.

Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно; оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был к настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.

Мы обнялись не без волнения, расцеловались.

– Да, сил мало. Прежде в университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу… Теперь уже не читаю.

Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора…» – «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме, Нас в Excelsior'е ждет импресарио». – «Ну, так я вкратце расскажу вам…»

Не помню содержания поэмы – нечто фантастическо-символическое, как будто связанное с древней Сербией – какой-то король… – но не настаиваю, боюсь ошибиться.

Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии – тут же был символ расставания. Разумеется, бормотал я какие-то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же – последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».

Но минуты наши действительно были считаны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались.

Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.

Автобус мчал нас чрез Рим. Знакомые места, «там, где был счастлив», видениями промелькнули, и вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе, – и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас Казакова с Анитой.

На другой день, рано утром, поезд уносил нас обратно, на север.

Месяца через два, летом, в римской жаре, Вячеслав Иванович скончался.

*1963*

# Бердяев

*Никого нет! Все ушли.*

*Неизвестный автор*

Так давно все это было, а все-таки – было. Петербург начала века, журнал «Вопросы жизни», огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков – вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные, – секретарь редакции. Издатель журнала скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание.

Мы с женой, наезжая из Москвы, останавливались у Чулковых (недавно скончалась и Надежда Григорьевна Чулкова, супруга его, – царство небесное!).

Георгий тогда кипел, действовал, проповедовал вместе с Вячеславом Ивановым свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству).

Вот в этих «Вопросах жизни», где и сам я сотрудничал, встретились мы впервые с Бердяевым и его женой Лидией Юдифовной. Было это в 1906 году, в памяти удержалось первое впечатление: большая комната, вроде гостиной, в кресле сидит красивый человек с темными кудрями, горячо разглагольствует и по временам (нервный тик) широко раскрывает рот, высовывая язык. Никогда ни у кого больше не видал я такого. Очень необычно и, быть может, похоже даже на некую дантовскую казнь, но – странное дело – меня не смущал нисколько этот удивительный и равномерно-вечный жест. Позже я так привык, что и не замечал вовсе. (Не знаю, как относился к этому сам Николай Александрович: может быть, считал знаком некой кары.)

Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин – это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно кипящий. В молодости я немало его читал, и в развитии моем внутреннем он роль сыграл – христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Странным образом деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы – заявления, почти предписания. Повторяю,

имел он на меня влияние как философ. Как **писатель** никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного своеобразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.

В нем была и французская кровь – кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южнорусских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость: помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н.А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен.)

* * *

Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен, – все это недалеко от Арбата, место Москвы дворянско-литературно-художественной.

Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице).

Иногда заходит к нам Лидия Юдифовна – редкостный профиль и по красоте редкостные глаза. Полная противоположность мужу: он православный, может быть, с некоторыми своими «уклонами», она ортодоксальнейшая католичка. Облик особенный, среди интеллигенток наших редкий, ни на кого не похожий. Католический фанатизм! Мало подходит для русской женщины (хотя примеры бывали: кн. Зинаида Волконская).

Однажды, спускаясь с нами с крыльца, вдруг остановилась, посмотрела на мою жену своими прекрасными прозрачно-зеленоватыми глазами сфинкса и сказала:

– Я за догмат непорочного зачатия на смерть пойду!

Какие мы с женой богословы? Мы и не задевали никого, и никто этого догмата не обижал, но у нее был действительно такой вид, будто вблизи разведен уже костер для сожжения

верящих в непорочное зачатие.

Николай Александрович мог приходить в ярость, мог хохотать, но этого тайного, тихого фанатизма в нем не было.

Много позже, уже в начале революции, запомнилась мне сценка в его же квартире, там же. Было довольно много народу, довольно пестрого. Затесался и большевик один, Аксенов. Что-то говорили, спорили, Д. Кузьмин-Караваев и жена моя коршунами налетали на этого Аксенова, он стал отступать к выходу, но спор продолжался и в прихожей. Ругали они его ужасно. Николай Александрович стоял в дверях и весело улыбался. Когда Аксенов ухватил свою фуражку и поскорей стал удирать, Бердяев захохотал совсем радостно.

– Ты с ума сошла, – шептал я жене, – ведь он донести может. Подводишь Николая Александровича…

Но тогда можно еще было выкидывать такие штуки. Сами большевики иной раз как бы стеснялись. (У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже его ругали как хотели. Он терпел, даже как бы извинялся. Потом свои же его и расстреляли.)

* * *

И вот в полном ходу революция. Тут мы с Бердяевым гораздо чаще встречались – и в правлении Союза писателей (некоммунистического), и в Книжной лавке писателей – это была маленькая кооперация, независимая от правительства.

Мы стояли за прилавками, торговали книгами. Осоргин, проф. Дживелегов, Бердяев, я, Грифцов.

Дело шло хорошо. Мы скупали книги у одних, продавали другим. Осоргин, Грифцов занимались коммерческой частью. Мы с Бердяевым были «так себе», в сущности мало нужные, во всяком случае, не деловые. Покорно доставали с полок книги, редко знали цену, спрашивали Палладу, красивую нашу кассиршу, она была вроде «хозяйки гостиницы», все знала и все умела. (Жива ли сейчас эта Елена Александровна или скончала дни свои в каком-нибудь концлагере, а то и просто в Москве? Если да, то мир тени ее!)

Мы жили дружно, по-товарищески. Но вот в этой самой Лавке довелось мне видеть раз огненность Бердяева.

Кроме нижнего помещения была у нас и наверху комнатка и даже нечто вроде галерейки с книгами, напоминавшей хоры в залах старых домов.

Раз рылся я там в чем-то, искал книгу, что ли, вдруг снизу раздался громовой вопль Бердяева. Что такое? Перегнулся через

решетку, вижу – Николай Александрович, багровый, кричит неистово на Дживелегова, а тот пятится, что-то бормочет смущенно…. Проснулась кровь отцовская. Никаким монахом Дживелегов не был, ненавидеть его совсем не за что, но Бердяеву только недоставало костыля, чтобы получилось «action directe».

Оказалось, «Карпыч» сказал что-то игриво-обидное, но пустяки, конечно. Бердяев же взбеленился. Дживелегов поднялся ко мне на вышку несколько бледный.

– Ну и характерец…

А через четверть часа взошел и Бердяев, уже успокоившийся, смущенный.

– Простите меня, Алексей Карпович, я виноват перед вами…

Это в его духе. Натура прямая и благородная, иногда меры не знающая.

Он перед этим написал книгу «Философия неравенства», против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы, вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком). Она печаталась частью в «Народоправстве», журнале Чулкова в Москве, в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга-памфлет, написана с такою яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кровью написано. Замечательная книга (позже он почему-то ее стеснялся… Думаю, в позднейшей его европейской славе она не участвовала, для европейского среднелевого интеллигента слишком бешеная).

* * *

Революция шла, и мы куда-то шли. Разносил ветер кучку писателей российских по лицу Европы. Бердяев попал в группу высланных за границу в 22-м году, я с семьей по болезни был выпущен в Берлин, и вот снова мы встретились, под иным уже небом. Не только что встретились, а целое лето 23-го года прожили в одном доме, в Прерове близ Штральзунда (на Балтийском море). В одном этаже С.Л. Франк с семьей, в другом Бердяев с Лидией Юдифовной, в нижнем я с женой и дочерью. Так что над головами у нас гнездились звезды философии. С этими звездами жили мы вполне мирно и дружески. С Николаем Александровичем ходили иногда в курзал, я пил пиво, а Бердяев с моей женой разглядывали танцующих немцев, немок, хохотали, веселились – не помню уж из-за чего. (Странная вещь: Бердяев вспоминается очень часто веселым!)

Наверху сочинялись философии, внизу я готовил чтение о русской литературе (да и наверху, наверно, готовились: всех нас пригласил в Рим читать в Istituto per Europa Orientate проф. Этторе Ло Гатто – каждого по специальности).

Той осенью оказался в Риме как бы съезд русских: Вышеславцев, Осоргин, Муратов, Чупров (младший, сын профессора. Тоже экономист), Бердяев, Франк, я – каждый выступал перед публикой римской по своей части. (По-французски и по-итальянски.)

* * *

Италия мелькнула перед нами видением, как всегда для меня блаженным, но прочно, «навеки» поглотил нас Париж – почти всех тех участников римских бдений. История, страшные волны ее проносились над нашими головами в Париже. Николай Александрович обосновался в Кламаре, Вышеславцев, Осоргин, я, Муратов – в самом Париже.

Тут видели мы войну, нашествий иноплеменных, поражение сперва одних, потом других, появление советских военных как победителей – всё, всё как полагается…

Эмиграция же пережила некое смятение, некие увлечения, несбыточные надежды.

С Бердяевым произошло тоже странное: и немолод он был, и революцию вместе с нами пережил, и «Философию неравенства» написал, и свободу, достоинство и самостоятельность человека высочайше ценил… – и вдруг этот седеющий благородный лев вообразил, что вот теперь-то, после победоносной войны, прежние волки обратятся в овечек. Что общего у Бердяева со Сталиным? А однако, в Союзе советских патриотов он под портретом Сталина читал, в советской парижской газете печатался, эмигрантам брать советские паспорта советовал, вел разные переговоры с Богомоловым, – кажется, считался у «них» почти своим.

В Россию, однако, не поехал. Но в доме у него в Кламаре гнездилось чуть не все просоветское тогдашнего Парижа.

Да, это были не времена Лавки писателей в Москве и «одиночества и свободы». Одиночество было у тех, кто не ездил по советским посольствам, но и свобода осталась за ними.

> Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
> Иди, куда влечет тебя свободный ум…

Мы с женой не бывали больше у Бердяевых. (Любопытно, что

и Лидия Юдифовна никак не уступила: к коммунизму осталась непримиримой. И вот если бы попала в тогдашнюю Россию, вполне могла бы принять венец мученический за непорочное зачатие. Слава Богу, не поехала.)

Здоровье Николая Александровича сдало – последствия давнего диабета.

Наша последняя встреча была грустной. Мы с женой шли по улице Кламара – навстречу похудевший, несколько сгорбленный и совсем не картинно-бурный Бердяев. Увидев нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших времен Сивцева Вражка, Прерова, появилось в улыбке. Подошел будто как прежде.

Нет, прежнего не воротишь! Жена холодно, отдаленно подала ему руку – да, это не Москва, не взморье немецкое с пляшущими немцами.

Он понял. Сразу потух… Разговора не вышло никакого. Поздоровались на улице малознакомые люди, побрели каждый в свою сторону. Может быть, тик сильней дергал его губы. Может быть, и еще больше он сгорбился. Может быть, мы могли быть мягче с ним. (Но так кажется издалека! **Тогда** слишком все было остро. Он слишком был с «победителями». Тогда трудно было быть равнодушным.)

* * *

В Россию он не попал. Книги его там под полным запретом. Я думаю! Очень он им подходящ!

*1962*

# Пастернак в революции

Пастернак был уже взрослым, но молодым, когда началась революция. Вырос он в семье культурной и интеллигентной – его отец был известный художник-портретист Леонид Пастернак, довольно близкий ко Льву Толстому и лично и по душевному настроению. Писал он и портреты Толстого, сделал рисунки к «Воскресению».

Мать писателя была музыкантша, и Борис Леонидович с детства знал и любил музыку, одно время собирался даже стать профессиональным музыкантом. При всем том получил отличное образование в России, заканчивал его в одном из германских университетов. Знал несколько иностранных языков.

Очень молодого я не знал его лично. По позднейшим своим впечатлениям могу представить себе Пастернака юного угловатым, темпераментным, внутренне одиноким, ищущим и пылким. Равнодушия и серости в нем никак не могло быть. Был он искателем – таким и остался. И поэтом – таким тоже остался. А путь выбрал литературный. В путь этот вышел в самую трудную пору: ломки и переустройства всего в России, грохота рушащегося, крови, насилия, новизны во что бы то ни стало – в ту бурю, которая никогда не благоприятна художникам и поэтам, да и вообще натурам художническим, склонным к одиночеству и созерцанию.

* * *

С первых же шагов революции в литературе русской дико зашумели футуристы. Появились они еще в дореволюционные предвоенные годы России, полные сумрачного тумана и предчувствия грядущих потрясений. Но футуристам-то потрясения и нужны были: на них легче выскочить, прошуметь, прославиться, чем в мирное время.

Еще до войны надевал Маяковский шутовские куртки из разноцветных лоскутов, его приверженцы размазывали себе лица разными красками, и своим зычным голосом орал этот Маяковский: «Долой Пушкина! Сбросить его с корабля современности!»

На банкете в самом начале революции, еще «февральской», еще «бескровной», Маяковский, вождь футуристов, учинил зверский скандал, и все это как-то сошло ему безнаказанно, наглость победила еще оставшуюся благопристойную

либерально-культурную Россию. А чем дальше, тем дело шло все хлестче. Маяковский мгновенно пристроился к победителям, кричал еще громче, вокруг расплодились подголоски, появились разные «заумные» поэты вроде Хлебникова, появилась литературная группа «имажинистов» («образ», «имаж» – сравнивали луну с коровой, вот как ярко).

Это было самое разудалое и полоумное время революции, когда разрушали церкви, а на площадях ставили наскоро слепленных из плохого гипса Марксов и Энгельсов – одна такая пара, помню, просто растрескалась в Москве от мороза, а потом растеклась под дождем, как снежная кукла от весенних лучей.

Это было очень страшное время – террора, холода, голода и всяческого зверства. Из виднейших писателей многие уже эмигрировали – Мережковский, Бунин, Шмелев. Но в Москве оставалась еще группа писателей культурно-интеллигентской закваски, державшаяся в стороне от власти, кое-как выбивавшаяся сама. У нас был даже в Москве Союз писателей, и – по парадоксу революции – престиж «литературы» еще крепко держался у власть имущих – нам отвели особняк – Дом Герцена, где мы и собирались. Ни одного коммуниста не было среди наших членов.

Пастернак в нашем Союзе не состоял, хотя коммунистом не был, по культуре подходил к нашему уровню.

Так что в Москве существовали как бы две струи литературные: наша – Союз писателей, с академическим оттенком и без скандалов, и футуристическо-имажинистская – со скандалами. Мы находились в сдержанной, но оппозиции правительству, они лобызались с ним, в самых низменных его этажах: в кругах Чеки (политическая полиция).

Власть слишком еще была занята тогда международным своим положением, гражданской войной, подавлением восстаний, грабежом, чтобы обращать внимание на нас, кучку интеллигентов-писателей, устраивавших свои чтения в Доме Герцена. Мы пользовались даже некоторой свободой. Бердяева не засадили за бурную и блестящую книжку «Философия неравенства» – против коммунизма (она вышла в самом начале революции, когда Существовали еще частные издательства). Айхенвальд прочел у нас в Союзе в 1921 г. восторженный доклад о Гумилеве, только что расстрелянном за контрреволюцию в Петрограде. Троцкий ответил на это чтение Айхенвальд а статьей «Диктатура, где твой хлыст», но ни Айхенвальда, ни Союз наш все же не тронули.

Подошла и полоса нэпа, некоторого вообще послабления, и нам, старшим писателям, разрешили открыть свою Лавку писателей, кооперативную, где мы могли торговать старыми

книгами самостоятельно, не завися от власти. Это дало нам возможность не умереть с голоду.

Были в этой жизни революционного времени любопытные черты. Печататься открыто мы уже не могли. Писали от руки небольшие свои вещицы, тщательно выписывая, украшали обложками собственного изделия, иногда рисунками и продавали в нашей же Лавке. Подбор таких рукописных произведений попал тогда же в Румянцевский музей (ныне Публичная библиотека в Москве). Не знаю, сохранились ли там эти образцы как бы «подпольной» литературы (но политического в них не было).

Во все эти ранние годы революции позиция Пастернака была довольно странная. Он сидел где-то безмолвно. Ни в каких выступлениях и бесчинствах футуристов и имажинистов участия не принимал. Не выступал в подозрительных кафе, куда набивались спекулянты всякого рода, а «поэты» типа Маяковского и подручных его громили этих же разжившихся на спекуляциях «нэпманов» (так называли тогда новых буржуа революции). А тем это как раз и нравилось, они аплодировали и хохотали.

Такие кафе были очень в моде. Там торговали тайно кокаином и в сообществе низов литературных и чекистов устраивались темные дела, затевались грязные оргии. Это было время Есенина и Айседоры Дункан, безобразного пьянства и полного оголтения.

Ни к чему **такому** Пастернак не имел отношения. Кроме его собственной натуры, за ним стояла культурная порядочность отца и матери, а вдали где-то легендарная тень Льва Толстого. Но в писании своем тогдашнем все же тяготел он к футуризму и имажинизму. Что влекло его к этому? Позже он скажет: «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить». В этом «позже» он очень строг к себе, даже чрезмерно. (Опять тень Толстого и «золотого века» русской литературы – склонность к покаянию.)

Но тогда, при кипучести его натуры, ему вполне естественно было увлекаться некоей словесной новизной и невнятицей, увлекаться и чрезмерностью сравнений. Стихи его того времени, сколько помню, являлись некиими глыбами, в первозданном положении, не сведенные к гармонии. Да и вообще «гармония» не подходила к тому времени, полному крика и дисгармонии.

* * *

Я не знал того круга людского, где Пастернак вращался.

Единственной точкой соприкосновения была известная поэтесса, тогда еще молодая, Марина Цветаева. Принадлежала она к «левому» литературному течению тогдашнему, но выступала с чтением своих стихов и у нас в Союзе. У нее было какое-то душевное соответствие или родство с Пастернаком тогдашним, но литературные пути их оказались разными. Она, чем далее, тем становилась вычурнее, он, напротив, в созревании своем шел к простоте – великой силе великого века литературы нашей, девятнадцатого.

Не помню я Пастернака и у нас в Лавке писателей. У нас бывал Андрей Белый, даже писал что-то тоже от руки. Как почетный гость – Александр Блок, в 21-м году, незадолго до кончины. Есенин, в шубе и цилиндре на голове – так мало это шло к его простенькому лицу паренька из Рязанской губернии! (Он тогда спивался вместе с Айседорой Дункан и водил компанию с очень подозрительными людьми.)

Но вот – все-таки с Пастернаком я был знаком, где-то бегло встречались, а потом встретились у меня, в огромной моей комнате, где жил я с женой и дочерью, подтапливая печку посреди комнаты, сложенную каменщиком, с железной трубой через все помещение.

Встреча с Пастернаком особенно мне запомнилась потому, что уж очень отличалась от другой литературной встречи, с «заумным» поэтом Хлебниковым, в этой же комнате, но несколько раньше.

Хлебников принадлежал к какому-то подразделению футуризма, но «тихого». Его считали (правда, немногие) «необыкновенным». Радость поэзии, насколько помню, заключалась для него в подборе бессмысленных слов, звучавших какой-то музыкой. По «необычности» и «новизне» это подходило к революционной эпохе, по содержанию нисколько. Но у него были все-таки некие связи с властями, и у него самого с его последователями был даже автомобиль, на котором вывесили они плакат: «Председатели Земного Шара».

Почему он забрел ко мне, не знаю. Сам этот «председатель» был довольно скромный молодой человек, бедно одетый, несколько идиотического вида, смотрел больше в землю и говорил негромко. Чем-то он мне даже нравился: вероятно, беззащитностью своей и детскостью. Если память не изменяет, именно тогда и предложил мне прокатиться на всемирном автомобиле, все так же диковато и застенчиво поглядывая вниз на пол. Председатель Земного Шара! Звучит хорошо, все-таки я поблагодарил и отказался.

– Ну, тогда приходите к нам на Мясницкую. Там наши

соберутся. Будут стихи. Но и от старших, серьезные люди. От символистов Вячеслав Иванов. – Он вздохнул и как-то задумчиво добавил: – Будет очень учено и очень похабно.

Почему похабно, не объяснил. Я и не настаивал. Сам по себе молодой человек никаких безобразий не творил. Но сотоварищей его я представлял себе живо, тем более что как раз не так давно Пильняк звал меня на вечер в загородном доме известного в Москве скульптора, где должны были быть Есенин, Дункан и выпивка. Я позже узнал, что там кончилось безобразным скандалом – о нем и написать невозможно. К Хлебникову и его друзьям я тоже не поехал.

Посещение Пастернака (тогдашнему Пастернаку могли нравиться стихи Хлебникова) – было совсем в другом роде. Ни автомобиля у него не было, ни Председателем Земного Шара он себя не считал. Этот высокий, с крупными чертами лица, несколько нескладной фигурой, крепкими руками и нервными, очень умными глазами тридцатилетний человек принес мне свою рукопись: отрывок произведения в прозе. Рукопись тоже походила видом на хозяина своего: написана крупным, размашистым почерком, нервным и выразительным. Пришел он как младший писатель к старшему, показать образец своей прозы – он этим доселе мало занимался, а я много. Не был я ни редактором, ни издателем, ни каким-нибудь другом правительства. Жил более чем небогато. Так что практического значения в том, что он принес мне рукопись, не было для него никакого. Я даже не мог угостить его порядочным завтраком или обедом – быт революционных эпох беден.

Мы сидели у окна, за моим столом, где лежали мои рукописи, говорили о литературе в простом, дружеском тоне, а жена моя хозяйничала около той же каменной печки посреди комнаты. Десятилетняя наша дочь, в зимней ушастой шапке, только что вернулась из советской школы, скромно складывала свои тетрадочки, потряхивая двумя косицами с бантиками. А Пастернак, при всей своей склонности к самоновейшему, «передовому» в литературе, тоже скромно и совсем не по-футуристически со мной разговаривал. Он был ровно на девять лет, день в день, моложе меня, но ему вообще был свойствен дух молодости, открытости и прямодушия. Будто свежий морской ветер. «В Пастернаке навсегда останется юность», – сказала знаменитая наша поэтесса Анна Ахматова. Очень верно, насколько могу судить издалека. Молодое и открытое, располагающее.

Рукопись оказалась отрывком из довольно большого повествования. Описывалось детство на Урале, на горном заводе.

Подробностей не помню, но общее впечатление такое: никакого крика, никакого футуризма, написано человеческим, а не заумным языком, но очень по-своему. То есть – ни на кого не похоже и потому ново. Ново потому, что талантливо. Талант именно и выражает неповторимую личность, нечто органическое, созданное Господом Богом, а не навязанное никаким направлением литературным.

Насколько знаю, те главы, которые он тогда приносил, вошли в повесть «Детство Люверс», изданную позже в Советской России, но гораздо раньше «Доктора Живаго». У меня нет этого «Детства Люверс». Весьма подозреваю, что все это были подходы, еще довольно несмелые, к Позднейшему «Доктору Живаго». Можно было самым искренним образом – что я и сделал – приветствовать нового сотоварища по прозе, но никак нельзя было предугадать будущую судьбу этого молодого писателя с крупными чертами лица, крупным телом, неловкого и привлекательного, несущего в себе большой духовный заряд. Нельзя было предугадать и его будущую мировую славу.

* * *

Осенью 1922 г. почти все правление нашего Союза выслали за границу, вместе с группой других профессоров и писателей из Петрограда. Высылка эта была делом рук Троцкого. За нее высланные должны быть ему благодарны: это дало им возможность дожить свои жизни в условиях свободы и культуры. Бердяеву же открыло дорогу к мировой известности.

Берлин 1922 года оказался неким русско-интеллигентским центром. Туда как-то съехались и высланные, и уехавшие по своей воле (Андрей Белый, Пастернак, Марина Цветаева). Из Парижа, пробираясь уже из эмиграции в Россию, попал туда и гр. Алексей Толстой, впоследствии придворный Сталина и один из первых литературных буржуев Советской России.

В Берлине Пастернака я встречал очень бегло, кажется, на литературных собраниях, в кафе Ноллендорфплатц. Да все это продолжалось и недолго: в 23-м году начался разъезд. Одни выбрали направление на Италию – Париж, другие вернулись в Москву. Три последних были А. Толстой, Андрей Белый и Пастернак. Там судьба их сложилась по-разному. Алексей Толстой нажил дом, автомобили, возможность кутить и пьянствовать сколько угодно и сколько угодно пресмыкаться перед Сталиным. Андрей Белый, всегда склонный к левому в политике, тоже старался изо всех сил, но ничего не вышло.

Облику его не соответствовали дачи, деньги, безобразия – ловкачом и подхалимом он никогда не был. Писания же его, фантастический склад души и необычный язык казались там смешными и непонятными, а потому ненужными. Жизнь его в России была очень тяжела. Он скончался в тридцатых годах.

Судьба Пастернака оказалась самой сложной (из вернувшихся в Россию тогда писателей). Уклонов «вправо», в смысле политическом, у него никогда не было. Скорее левое устремление, свойственное ему с молодых лет. Насколько знаю, есть у него и произведение в таком духе («Лейтенант Шмидт»). Думаю, октябрьский переворот 1917 года он принял, но чем дальше шло время, тем труднее ему становилось. Очень уж он оказался самостоятельным, личным, не поддающимся указке. О том, что переживал внутри, судить трудно, но по роману «Доктор Живаго» и некоторым частным высказываниям можно о многим догадываться. Сыну художника, близкого Льву Толстому, выросшему в воздухе высшей культуры того времени, никак не по дороге с террором, кровью и диким насилием «сталинской эпохи».

В 1937 году Пастернак, едва ли не единственный среди писателей в Советской России, **не** подписал петиции писательской о смертной казни целой группы прежних большевиков-интеллигентов, не одобрявших в чем-то Сталина. Надо иметь понятие о жизни в тогдашней России, о беспредельной подавленности людей деспотизмом, чтобы достаточно оценить мужество писателя, сказавшего наперекор всему: «нет».

В это время была беременна его жена. Легко ли ему было сказать это «нет»? Сам он признает особый свой склад, требующий необычайной «свободы духовных поисков». Конечно, он понимает, какой он «неудобный» муж, отец, глава семьи. Но вот все поставил на карту, не побоялся – и выиграл. Его не тронули. Правда, и не печатали ничего, кроме его переводов – переводил он и Шекспира, и Гёте (теперь как будто Рабиндраната Тагора).

Нелегкие для него годы. Но они, конечно, заново перепахали его душу. Теперь он далеко не тот, каким был в молодости. Трудно представить себе, чтобы тот Пастернак, которого некогда встречал и в Москве, позже в Берлине, писавший косноязычные, хаотические стихи, мог писать на евангельские темы! А написал – опять все по-своему, но благоговейно.

Да, конечно, он и тогда писал хорошую прозу, но должен был пройти долгий и тяжкий путь, неся крест одиночества, отчужденности, видя страдания вокруг, нечеловеческие беды,

среди подхалимов, льстецов, фанатиков и просто негодяев, чтобы прийти к Истине Христовой – к любви, милосердию, состраданию и уважению к человеку, к признанию его не роботом и машиной, а образом Божиим.

От своего раннего писания он отрекся. Отрекся и от Маяковского. В Советской России голос покаяния! О, не такого «покаяния», перед «партией», которое нужно для карьеры, а потому ничтожно, лживо и унизительно. Нет, у него – без припадания к стопам власть имущих – голос бескорыстный и внутренний. Некогда Маяковский кричал вместе со своей ордой: «Долой Пушкина». Пастернак не кричит, а просто отходит от этого Маяковского – не по пути им.

«Одиночество и свобода» – так определяет, очень верно, критик и поэт Адамович положение писателя русского в эмиграции. Одиночество и несвобода – так можно было бы сказать о положении Пастернака в России.

* * *

И вот, неожиданно для всех, появился роман его – «Доктор Живаго». Роман вызвал целую литературу о себе, вышел чуть ли не на всех европейских языках, получил автор за него Нобелевскую премию – только в России книги этой нет, но представители бесчисленных «республик» СССР, вплоть до ингушей и чувашей, не читавши строчки из этого «Живаго», «строго осудили» его, автора всячески поносили, а один Герострат советский в Москве заявил на собрании некоем, в присутствии Хрущева, что Пастернак «хуже свиньи». (Слава этого «товарища» стала мгновенной. Мгновенно и забудется его ничтожное имя.)

В действительности «Доктор Живаго» выдающееся произведение, ни «правое», ни «левое», а просто роман из революционной эпохи, написанный поэтом – прямодушным, чистым и правдивым, полным христианского гуманизма, с возвышенным представлением о человеке – не таким лубочным, конечно, как у Горького: «Человек – это звучит гордо!» – безвкусицы в Пастернаке нет, как нет позы и дешевой ходульности. Роман, очень верно изображающий эпоху революции, но не пропагандный. И никогда настоящее искусство не было пропагандной листовкой.

*1960*

# Другие и Марина Цветаева

Прочитал список погибших («Известия Литер. фонда») – все писатели, поэты, критики: «арестован», «пропал без вести», «расстрелян», «покончил с собой». Список длинный, есть имена общеизвестные, некоторых знал лично.

Есенина помню юношей-пастушком, кудреватым, довольно славным, но не моего романа. А потом заходил он к нам в Лавку писателей на Никитской уже в шубе, чуть ли и не в цилиндре, залихватски и совсем в моветонном роде. Начиналась его история с Дункан – для обоих бесславно кончившаяся.

Борис Пильняк был рыжеватый литератор, приходил иногда ко мне, в нем всегда чувствовалось пестрое, мутное. Природных сил довольно, а как их прилагать, неведомо. Прежний стиль свой (довольно бледный) он сменил на нечто по наследству от Белого. Получалась сумятица, с темпераментом, но без толку. Ему нравилось земляное, плотское. В революции привлекали стихия и разнузданность, думаю, нравился ему и разбойный дух ее – т. е. первых ее шагов.

Однажды мы выходили с ним из моей квартиры в Кривоарбатском; был вечер, мрачно.

– Вам вот кровь не нравится, – говорил он. – Насилие. А на крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого. Возьмите Петра Великого. Они правы.

– Все равно ненавижу. С детства терпеть не мог и уж теперь навсегда. Никогда не приму.

– Да, конечно, вам неподходяще.

Потом через минуту:

– Поедем к Коненкову. У него отличная мастерская. Там будет Есенин, Дункан, имажинисты. Выпивка настоящая.

У меня был свой круг, веселились иной раз и мы, но по-другому, и чокались по-другому. С имажинистами я не пожелал.

Позже и оказалось, что в тот вечер творились в мастерской Коненкова великие безобразия. Напаивали Есенина и Дункан и прочее, прочее… – подробности нерассказуемы…

Прошло время. Пильняк очень прославился. Ездил по всему свету (не по-эмигрантски), в Америке ему устраивали банкеты, говорили речи. Но потом как-то вышло, он написал «Повесть о непогашенной луне» (смерть Фрунзе после «приказанной» операции) – и со своим своеволием, стихийностью земляной, резкостью попал в немилость. А там в ссылку и под пулю… «На крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого».

А Есенин, дарование простодушное и пронзительное, но

изломанное, тоже русский безудерж, тоже в конце концов нигилизм – Есенин в петлю.

Страшное время. Аминь, аминь, рассыпься.

* * *

Абрам Эфрос, секретарь Союза писателей в Москве. Это просто интеллигент, быстрый, многоречивый и предприимчивый, с тонким, изящным лицом, большими глазами, в бархатной артистической куртке – свой человек, но примитив, его дружески авали «Вам», он всегда в хлопотах, что-то устраивает, читает и пишет, увлечен искусством и литературой (у меня сейчас в руках его книжечка «Автопортреты Пушкина», 1945).

– Ах, Вам, Вам, отчего не выслали вас в 22-м году вместе с профессорами, писателями в Германию? Выли бы вы и сейчас живы. Писали бы в «Новом журнале», «Новом русском слове», и, так как вы много моложе нас, принимали бы из рук старших, коих недолог уж век, завет свободы, человечности, творчества – всего наследия литературы нашей. – Но вас не выслали. «Абрам Эфрос, искусствовед, пропал без вести».

Вспоминаю вас – оплакиваю.

* * *

Две барышни, худенькие и миловидные, в одинаковых платьицах, читают с эстрады стихи – вдвоем, в унисон. Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева (основателя Музея Александра III в Москве).

Стишки острые, колкие, барышни читают-щебечут, остроугольно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности. Но к тогдашнему это подходило, даровитость же чувствовалась.

Вспоминая то время, предреволюционное, поражаешься, сколько было поэтов, художников, философов, писателей, «богоискателей»… Марина и Ася тонули в артистическо-литературной среде: почти гимназистки!

Но вот Марина уже повзрослевшая, уже замужем за Эфроном (с удивительными глазами), уже у нее дочь Аля. В нашем кругу небезызвестна. Автор более зрелых и своеобразных стихов, ходит к нам в гости, помаргивая глазами – нервными, острыми, – восторгается Гейне, Германией, одновременной Ростаном. Читает

на вечерах нашего Союза, в Доме Герцена. (Подарила мне бюст Пушкина, отцовский еще, огромный. Он стоял на моем шкафу, под него я клал миллионы рублей, на которые можно было купить бутылку вина, два фунта масла. Позже Пушкин этот переехал в Союз писателей, белыми гипсовыми глазами смотрел, тоже со шкафа, как Марина стрекочет свои стихи – им я тогда покровительствовал.)

Но жила она невозможно. Эфрон был «белый», где-то на юге, верно в эвакуации. Она одна с Алей, в квартире покойного отца, от нашего Кривоарбатского недалеко.

Этого всего не забыть. Везу по московскому снегу на салазках дровишки – у Марины с девочкой – 1 градус. Квартира немалая, так расположена, что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолке, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам с намерзшим в углах снегом, стуча в знакомую дверь, грохаю на пол охапку дров, – картина обычная: посредине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми нервно мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякою теплой рванью Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые, как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка.

Марина благодарит, но рассеянна, отсутствует. Верней, занята своим. А вот чем: крупными, почти печатными буквами переписывает произведение кн. Волконского (его писанием тогда увлекалась). Остальное не важно. Печка так печка, дрова так дрова.

– Аля, сиди смирно, опять ты там возишься…

– Мама, я крысов боюсь, вон опять за шкафом пробежали. Ты уйдешь, они на кровать ко мне вскочат…

– Глупости, ничего не вскочат…

Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму.

Иногда Алю приводят к нам, она подружилась с моей дочерью. Ее кормят, отогревают. Ее огромные, серо-выпуклые, с водянистым оттенком глаза смотрят веселей, она играет и хохочет с Наташей.

Весной решили взять ее на месяц в деревню – подкормить, подправить.

Мою мать не выселили еще из именьица, она жила в своем доме, очень скромно, но в сравнении с Алей совершенно роскошно. Молоко, яйца, масло, даже и мясо!

Как дочь поэтессы и девочка вообще даровитая, Аля вначале

и вела себя поэтессой: видела необыкновенные сны, сочиняла стихи («Под цыганской звездою любви», – ей было лет семь, она отлично подражала Марине).

Сидя утром в столовой за кофе с моей матерью, она рассказывала, что во сне видела три пересекающихся солнца, над ними ангелов, они сыпали золотые цветы, а внизу шла Марина в короне с изумрудами.

– Нет, знаешь, у нас дети таких поэтических снов не видят. Или ты каши слишком много на ночь съела, или просто выдумываешь.

На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке.

– Вот это другое дело…

Через месяц уехала Аля в Москву загорелая, розовая – неузнаваемая.

* * *

Марина очень любила мужа, Сергея Эфрона. Когда Аля гостила у нас в Притыкине, Эфрон был белый офицер. Марина возводила «белизну» его в культ, романтически увлекалась монархизмом, пожалуй, соединяла ростановского «Орленка» со своим Сергеем… Стихи писала соответственные.

Началась и для нее эмиграция. И вот Эфрон оказался не прежним белым принцем в поэтическом плаще, а чем-то совсем иным… Как многие тогда, перешел к победителям. Да попал еще в самое пекло… От бывшего белого офицера много потребовали.

Тяжело говорить об этом – приходится. Я когда-то его знал лично, этот изящный юноша с действительно очаровательными глазами никак не укладывался в «сотрудника», да еще какого учреждения! Но вот уложился. Но вот принимал здесь участие в темном деле – убийстве Рейсса, после чего оставаться во Франций стало неудобно. Он и уехал в Россию.

Как относилась Марина ко всему этому? Не могу сказать. Знаю, что стала не той, что в Москве. Мы разошлись вовсе.

Аля выросла, обратилась в готовую коммунистку. И уехала тоже в Москву. Марина довольно долго влачила здесь одинокую жизнь, от эмиграции отошла, к «тем» целиком не прикрепилась… – но в Москву все-таки уехала. Это понятно. Что было ей делать в Париже? А там муж, дочь, сын. (Кое-где все-таки и тут печаталась. Стихи ее приобрели предельно кричащие ритмы, пестрота и манерность в слове, истеричность и надлом стали невыносимыми.)

В Москве же «вкусила мало меду». Эфрон, видимо, погиб. (С Рейссом вышла неудача, слишком много шума, – неудач там не прощают.) С Алей близости не было. Пробовала печататься – разругали, и дальше ходу уж не было. Одиночество, покинутость. Наступали немцы (авг. 1941 г.). Эвакуация, безнадежность.

Осенью 41-го года, не знаю точно когда, Марина покончила с собой.

* * *

«Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его».

Кто из нас смеет учить кого-то, кто жизнью заплатил за ошибки?

Но сказать – где правда и где неправда – мы можем. Может быть, даже должны крикнуть:

– Отойдите! Не дышите парами серы! «Аминь, аминь, рассыпься!»

*1950*

**notes**

# Сноски

# 1

Радостный дом (*итал.*).

## 2

Любовная дружба, дружеская любовь (*франц.*).

## 3

«Любовь, что движет солнце и светила» (*итал.*) – этой строкой заканчивается «Божественная комедия» Данте.

# 4

Задумчивая (*итал.*).

# 5

Веселая (*итал.*).

# 6

Где может быть лучше, как не в лоне своей семьи? (*франц.*)

## 7

Салонные игры, светские забавы (*франц.*).

# 8

Праздник королей (*франц.*).

## 9

«Диоген Синопский» (*нем.*); сокращенное название книги новелл классика немецкой литературы Кристофера Мартина Виланда (1733–1813) «Сократ беснующийся, или Диалоги Диогена Синопского».

# 10

«Ты пообещаешь мне много заниматься, Базиль, твои сочинения станут моей славой и моим счастьем» (*франц.*).

«Настоящая супружеская пара» (*нем.*).

# 12

«Здравствуйте, господин Уваров» (*франц.*).

# 13

Во внимание заслугам (*лат.*).

## 14

Спального вагона (*нем.*).

# 15

«Признаюсь тебе, Авдотья, что то мгновенье, когда я решилась, было ужасно, но Бог столько сделал для меня, что я благодарю его за решение, которое приняла» (*франц.*).

# 16

Воспоминание детства: домашний шут у старого Бунина.

# 17

Хотя он русский (*нем.*).

# 18

«Жизнь бесполезна и всегда слишком длинна» (*франц.*).

# 19

«Когда я думаю, что должна скоро умереть, я испытываю удивительное безразличие к настоящему, лишь прошлое владеет всем моим сердцем» (*франц.*).

# 20

Мать Мария (*нем.*).

# 21

Теклы божественный голос (*нем.*).

# 22

«На жизнь мадонны Лауры» (*итал.*).

## 23

«На смерть мадонны Лауры» (*итал.*).

«Мама, успокойтесь…» (франц.).

# 25

Улица Бак (*франц.*).

# 26

Материнский остров (*итал.*).

## 27

«Это от меня не зависит и продолжается иногда часами» (*франц.*).

Беляк (*нем.*).

## 29

Знаменитый русский поэт (*нем.*).

# 30

Улице Счастливой (*итал.*).

# 31

«Великий русский писатель Николай Гоголь в этом доме, где он жил в 1838–1842, задумал и написал свой шедевр» (*итал.*).

# 32

Шедевром (*итал.*).

## 33

Единственное место из всего, написанного Жуковским, где упоминается отец. – *Прим. В.К. Зайцева*.

Тараса Шевченку, например; собственных крепостных. – *Здесь и далее прим. Б.К. Зайцева.*

«Подражание Иисусу Христу» (*франц.*).

Дорогой Иван (*франц.*).

Салтыкова, знаменитая по зверству крепостница.

# 38

Божественный Гай Юлий Цезарь (*итал.*).

# 39

Сухой, презрительный (*франц.*).

Кастильском языке (*франц.*).

# 41

В 1930 году он еще существовал. Теперь его нет.

# 42

Началось! (*франц.*).

Это никуда не годится (*франц.*).

«Они вернутся» (*франц.*).

## 45

Доброй ночи, мама! (*франц.*).

Иван приехал (*франц.*).

## 47

Листки для записей (*франц.*).

## 48

Матушка и дети! Простите меня. И ты, Боже, тоже прости меня, ибо смертный грех гордыни всегда был моим грехом (*франц.*).

# 49

Дорогая, любимая, лучшая подруга (*нем.*).

«И ваши часами я целую ноги» (*нем.*).

## 51

Человек своевольный, дерзкий (*франц.*).

Прифранченного (*франц.*).

«Всегда мои сверчки стрекочут» (*нем.*).

Мое сердце скачет в груди (*нем.*).

«Последний колдун», «Людоед», «Слишком много женщин» (*франц.*).

«Вас ждет комната Пича» (*франц.*).

Между двором и садом; флигель (*франц.*).

Редкостный, закадычный друг (*франц.*).

Всем известную Тургеневскую. Она погибла во время последней войны – немцы вывезли ее.

Сразу, не задумываясь (*франц.*).

# 61

Сельский домик, дача (*франц.*).

# 62

Нижний этаж в доме (*франц.*).

Большой русский Гого (*франц.*).

Кто боится смерти, подними руку! (*франц.*).

Ну и я не хочу умирать (*франц.*).

Слуга Деда Мороза (*нем.*).

Редкостный, закадычный друг (*франц.*).

Салонные игры (*франц.*).

# 69

Советский биограф Чехова выпустил фразу о Боге, красоте и природе.

«Светло» на языке Евг. Як. означало «освещение».

# 71

Олух Царя Небесного.

# 72

Не наши васильки. Это южные цветочки, очень благовонные.

Бог в своих бедняках (*франц.*).

Любовь, движущая солнце и другие звезды (*итал.*).

## 75

«Да здравствует Пенза! Да здравствует член Земства! Да здравствует порка мужиков!» (*франц.*).

Городу и вселенной (*лат.*).

Я умираю (*нем.*).

Слово жаргонное. Означает безнадежно «штатского» и нерасторопного человека. – *Прим. автора.*

То ли да, то ли нет (*итал.*).

Является предметом заботы, злобой дня (*франц.*).